Сергей Хрущев

никита хрущев
ПЕНСИОНЕР СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ТРИЛОГИЯ ОБ ОТЦЕ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга завершает трилогию С. Н. Хрущева об отце, начатую «Реформатором» и продолженную «Рождением сверхдержавы». Речь идет о последних семи годах жизни Никиты Сергеевича Хрущева — бывшего Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР, смещенного в октябре 1964 года со всех постов. Разумеется, на эти годы лег отраженный свет всей предыдущей «эпохи Хрущева» — борьбы с наследием сталинизма, попытки модернизировать экономику, достичь стратегического паритета с США. Страну, разбуженную Хрущевым, уже невозможно было развернуть вспять — об этом ясно свидетельствовали и реакция передовой части общества на его отставку, и публикация его мемуаров, и прощание с опальным лидером, и история с установкой ему памятника работы Эрнста Неизвестного.

- Сергей Никитич Хрущев
  - Предисловие к третьему изданию
  - Предисловие 1991 года
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава восьмая
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59

- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103

- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147

- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186

Сергей Никитич Хрущев
НИКИТА ХРУЩЕВ
Пенсионер союзного значения

Предисловие к третьему изданию

Эта книга переиздается уже в третий раз. В 1991 году ее выпустило в свет издательство «Новости» немыслимым по нынешним временам тиражом в сто пятьдесят тысяч экземпляров. Они разошлись в неделю, и тогда допечатали еще сто тысяч. В те годы все источники информации о моем отце, Никите Сергеевиче Хрущеве, ограничивались моей собственной памятью. О нем уже разрешили говорить, но архивы оставались наглухо запечатанными, даже до старых газет удавалось добраться с огромным трудом. В связи с этим некоторые события, в которых я сам не участвовал, пришлось описывать, следуя людской молве.

В 1991 году были живы некоторые участники событий. Сотрудники КГБ, следившие за нами, уже не имели возможности наложить запрет на публикацию, но упросили меня изменить их имена. Таинственный «английский журналист» тоже остался безымянным.

Через десять лет, в 2001 году, книгу переиздали в «Вагриусе», изменив заголовок с «Пенсионера союзного значения» на просто «Хрущев», — так им показалось лучше, и я не стал спорить. Настали новые времена, тираж ограничился скромными пятью тысячами экземпляров. Во втором издании я восстановил настоящие имена всех действующих лиц, завершил историю надиктовки и публикации мемуаров отца, добавил кое-какие, ставшие известными к тому времени, детали заговора против него и… совершил новую ошибку, уже по собственному разумению, вернее — неразумению.

Описывая попытки вызволить мемуары на свет Божий, которые сопровождались публикацией главы «Заговор» из этой книги, я не поверил собственным записям. Согласно им каскад событий: разрешение Горбачевым и саботаж его соратником-перестройщиком, секретарем ЦК КПСС Александром Яковлевым возврата диктовок отца, признание журналистом журнала «Огонек» Константином Смирновым моих записок достойными опубликования и фурор, вызванный их появлением на журнальных страницах, уложились в два месяца 1988 года. В 2001 году такое мне показалось немыслимым, но дату я проверить не смог, вернее поленился, экземпляров «Огонька» с моими воспоминаниями под руками не оказалось, и я, обругав себя за хронологическую «неаккуратность», растянул события с двух месяцев до года, волюнтаристски перенес завершение «огоньковской» эпопеи с октября 1988 года в октябрь 1989-го.

В новом издании я исправляю эту ошибку, так же как

некоторые другие, дополняю повествование новыми фактами, почерпнутыми мною из архивов, и вычеркиваю повторы, описание части событий, уже включенных в две предыдущие книги «Трилогии об отце».

Теперь о заглавии. «Пенсионер союзного значения» — термин, не требовавший разъяснений в 1991 году, по истечении почти двух десятилетий непонятен многим читателям. Все очень просто. В Советском Союзе, как и сейчас в России, пенсия складывалась из базовой части и различных доплат: за выслугу лет, работу в тяжелых условиях, личные заслуги и подвиги. Имелись пенсионеры «местного значения», «республиканского значения» и самые-самые — «союзного значения». Такую пенсию установили Хрущеву. В этом звании он доживал жизнь.

В заключение хочу поблагодарить за неоценимую помощь при подготовке книги мою жену Валентину Николаевну и сына Никиту, к несчастью, умершего в 2007 году.

Отдельная благодарность коллективу издательства «Время» и особо Алле Михайловне Гладковой, не только обеспечившим выход в свет книги, но и сделавшим ее профессионально и элегантно.

Спасибо и всем остальным, не упомянутым поименно, помогавшим и поддерживавшим меня во время работы.

Сергей Хрущев
Февраль 2010 года

Предисловие 1991 года

В этой книге я хочу рассказать о последних семи годах жизни моего отца — Никиты Сергеевича Хрущева, Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР.

В октябре 1964 года отца вынудили уйти в отставку со всех постов. Первоначально мои записки предназначались только для детей и внуков, а может быть, если повезет, и для будущих историков. В те времена, когда я писал эти строки, не приходилось думать о возможности издания книги об опальном лидере. Все усилия я направлял на то, чтобы уберечь их, что было сопряжено с немалыми трудностями. Но времена изменились, и появление книги стало возможным. Более того, на мой взгляд, необходимым, поскольку вокруг имени отца стали создаваться всевозможные мифы и небылицы. В некоторых публикациях истинные события нередко искажаются до неузнаваемости, а то и просто подменяются выдумками, как, скажем, легенда о покушении на него на крейсере «Червона Украина» или требование лететь в Киев вместо Москвы в октябре 1964 года, или «звонки» военным из Пицунды в том же октябре 1964-го и многие другие «или»…

В этом плане любопытны метаморфозы с сентенцией Черчилля о «невозможности перепрыгнуть пропасть в два приема». К каким только событиям эпохи Хрущева ее не привязывали. На самом деле случай этот произошел весной 1956 года во время визита в Великобританию. Я был тогда среди сопровождавших делегацию лиц. На обеде, устроенном хозяевами в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, отца посадили за столом рядом с сэром Уинстоном Черчиллем. Он тогда уже отошел от дел, но не потерял интереса к политике. Ему было любопытно, кто же теперь стоит у руководства советской страной.

Той весной мир был возбужден слухами о секретном докладе Хрущева на XX съезде КПСС, закончившемся всего два месяца назад. Человек, посмевший замахнуться на Сталина, привлекал всеобщее внимание. Отец не подтвердил, что он делал доклад, но и не уклонился от разговора о Сталине по существу, рассказал о вскрытых преступлениях. Одновременно он подчеркнул, что мы не забываем и о заслугах покойного лидера. В заключение он отметил, что начатый процесс очень сложен и болезнен, и потому проводить его надо постепенно, в несколько этапов. Вот этот тезис и вызвал ставший знаменитым ответ. Черчилль с сомнением покачал головой и сказал примерно следующее:

— Господин Хрущев, именно в силу той болезненности, о

которой вы говорите, мне кажется, вопрос надо решать одним ударом и до конца. Затяжки могут привести к серьезным последствиям. Это как преодоление пропасти. Ее можно перепрыгнуть, если достанет сил, но никому не удавалось это сделать в два приема.

Сравнение понравилось отцу, и он не раз возвращался к нему при обсуждении предостережений «справа», предложений о приостановке или замедлении темпов десталинизации.

Жизнь показала, что оба мировых лидера недооценивали трудности десталинизации, освобождения народа от оков рабского сознания, но это тема другой книги.

Прошло время, многое позабылось, и высказывание Черчилля теперь фигурирует как оценка то одних, то других хрущевских мероприятий, а кое-кто соотносит его и со всей эпохой «оттепели». И таких неточностей появилось немало.

В своем повествовании мне хотелось передать события такими, какими они виделись мне в то время, по возможности сохранив при этом объективность. Я надеюсь, что эта книга хоть немного поможет читателям увидеть в исторических персонажах не голые схемы, а живых людей.

Глава первая
Преддверие

С Алексеем Владимировичем Снеговым я познакомился в начале шестидесятых, через несколько лет после его возвращения из лагеря в Москву. В то время он уже отошел, а вернее, его «отошли», от службы. Жил он с женой Галиной и маленькой дочкой на Кропоткинской улице (сейчас Пречистенка).

В тот период Снегов работал над острыми вопросами истории нашей страны и Коммунистической партии, занимался тем, что сейчас называют ликвидацией «белых пятен». Уже прошел XXII съезд партии, тело Сталина вынесли из Мавзолея, но не рискнули нести далеко и закопали тут же, у Кремлевской стены. И эта двойственность была во всем. Страна с трудом произносила словосочетание «культ личности».

А еще несколько лет назад его просто не знали. Когда формировалась комиссия Поспелова для предварительного анализа событий, происходивших в тридцатые годы, отец впервые произнес эти слова: «культ личности». Естественно, стали искать в первоисточниках, в трудах Карла Маркса и Владимира Ленина, нет ли там чего-нибудь подходящего к случаю, и, конечно, нашли соответствующие цитаты.

Помню, дело было в выходной, на даче. Отцу принесли портфель с бумагами, откуда он достал тоненькую серо-голубую папку с подборкой из классиков. Отец попросил меня прочитать вслух мысли Маркса об опасности и недопустимости возвеличивания вождя.

Я начал с заголовка: «Карл Маркс о культуре личности».

Над ошибкой посмеялись, а ведь, если вдуматься, в этой опечатке мало смешного: чтобы осмыслить происходившее, нужны были годы и годы.

Тогда и поразил меня Снегов, доказывавший, что нет отдельных ошибок и заблуждений Сталина, все происшедшее — плод его преступной политики. Снегов замахнулся не только на догмы «Краткого курса истории ВКП(б)», но и на всю канонизированную историю.

Алексей Владимирович написал несколько статей по истории, в том числе о позиции Сталина по вопросу явки Ленина в суд летом 1917 года и о трагическом самоволии Сталина и Ворошилова, что явилось одной из причин поражения Красной Армии в Польше во время войны 1920 года. Сегодня эти материалы встали бы в ряд с себе подобными. Тогда же они

производили эффект разорвавшейся бомбы.

Сталинисты делали все, чтобы его исследования не увидели свет. Против Снегова сплотились теоретики и практики во главе с Михаилом Андреевичем Сусловым, главным идеологом, и заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС Леонидом Федоровичем Ильичевым. Ведь это они писали «историю», от которой Снегов не оставлял камня на камне, обвиняя их в фальсификаторстве.

В борьбе с консерваторами Снегов мог рассчитывать на поддержку лишь Хрущева и Микояна, в чьей честности он не сомневался. Официальным путем до высокого начальства добраться было трудно, помощникам Хрущева он не доверял, а Владимира Семеновича Лебедева, ведавшего в аппарате Хрущева вопросами, связанными с идеологией, просто считал человеком Суслова и скрытым сталинистом.

Последовавшие события показали, что Снегов в отношении Лебедева заблуждался, но тогда он не сомневался в своей правоте.

Через сына Анастаса Ивановича Микояна Серго Снегов вышел на меня. Серго, историк по профессии, несколько раз встречался с ним, передавал статьи Снегова Микояну, но дело не двигалось.

Как-то Серго предложил мне отправиться к Алексею Владимировичу, обещав познакомить с какими-то уникальными материалами о Сталине, которыми тот располагал. Я, конечно, согласился.

Дверь нам открыл невысокий, суховатый, очень подвижный человек с пронзительным суровым взглядом. Лет ему, видимо, было немало, но седина едва тронула густую черную шевелюру.

Поскольку я был молод, мне он казался довольно старым.

Квартира его была завалена книгами, рукописями, журналами, просто бумагами. Они лежали на полках, на столе, на стульях, кучами на полу.

Хозяин пригласил нас в кабинет, принесли чай. Алексей Владимирович сразу вывалил на нас гору информации о Сталине и его методах, о современных сталинистах. Он бил в одну точку: сталинизм не сломлен, XX съезд — это лишь начало, впереди долгий и трудный путь, на котором нас ждут не только победы.

Поражали его подвижность, энергия, способность вспыхнуть и без оглядки броситься в бой за правое дело.

Рассказывал Снегов и о себе. В революцию Алексей Владимирович, тогда Алеша, пришел молодым пареньком. Судьба бросала его с места на место. В те годы он и встретился сначала с Микояном, а позднее на Украине с никому не известным Хрущевым. Потом жизнь развела их. Карьера отца пошла вверх.

Снегов же продвигался по служебной лестнице значительно медленнее.

Наступил 1937 год. Алексей Владимирович, в то время секретарь одного из обкомов, был репрессирован, прошел через все круги следственного ада, но так никого и не назвал. Получив в итоге двадцать пять лет, он исчез из жизни и Хрущева, и Микояна.

В оккупации фашисты заживо сожгли его мать как мать активного коммуниста. А Снегов сидел в лагере как враг народа и иностранный шпион. Закончилась война, но на его судьбе это никак не отразилось.

Но вот пришел 1953-й…

В марте умер Сталин, к власти рвался Берия. Снегов был хорошо знаком с ним. Вместе они работали в Закавказье в первые годы Советской власти. Пересекались пути и позднее. Но близости между ними никогда не было: друг друга они не любили. Снегов многое знал о Берии, в том числе и такое, о чем Лаврентий Павлович предпочитал не вспоминать. Знал он и о службе Берии у мусаватистов в Гражданскую, помнил кровавую историю его возвышения в Грузии, не забыл о книге «историка» Берии, переворачивающей с ног на голову революционное прошлое Закавказья.

Несмотря на подобные знания, Снегов каким-то чудом остался в живых.

Летом 1953 года Берию арестовали. Готовился суд, следствие искало свидетелей. Их почти не осталось. О прошлом обвиняемого могли рассказать единицы.

Тут-то и вспомнили о Снегове. Его нашли в лагере, срочно доставили в Москву. На процессе снова встретились жертва и палач…

Суд свершился. Берию расстреляли.

Тем не менее судьба свидетеля обвинения сложилась непросто. Новым Генеральным прокурором СССР был назначен Роман Андреевич Руденко, когда-то близкий друг Снегова. Заключенного Снегова под конвоем доставили в прокуратуру, и они встретились.

В разговоре Руденко упорно избегал главного, но наконец, пряча глаза, спросил Снегова, что он мог бы для него сделать.

Алексей Владимирович, по его словам, в ответ только удивленно поднял голову.

Тогда Руденко стал объяснять ему, что закон един для всех. Снегов осужден, и никто приговора не отменял. Ему предстояло возвращение в лагерь. В конце концов Руденко предложил Снегову сохранить до освобождения записи Алексея

Владимировича.

Снегов был ошеломлен…

Записи свои он отдал, и Руденко спрятал их в свой личный сейф. Там, в сейфе Генерального прокурора, и пролежали дневники заключенного Снегова больше двух лет.

Сам же он… отправился досиживать. В пересыльной тюрьме, рассказывал Алексей Владимирович, его едва не убили уголовники. Время, казалось, остановилось. Вести с воли приходили редко, а так хотелось знать, что там происходит? Почему их не освобождают? Неужели все осталось по-прежнему?

Наконец наступил 1956 год. В феврале предстоял XX съезд партии. В качестве гостей отец решил пригласить старых коммунистов, уцелевших после сталинских чисток. Когда помощник показывал ему список гостей, отец вдруг вспомнил о Снегове. Никто не рискнул сказать ему, что Снегов досиживает свой срок, полученный в 37-м.

Бросились искать. Прямо из тюрьмы голодного и обросшего Алексея Владимировича доставили в Москву. Тут заменили лагерную робу на добротный костюм, выдали гостевой билет в Кремль. О недосиженном сроке больше, понятно, не вспоминали…

После съезда отец не выпускал Снегова из поля зрения.[1] С такими людьми, как Алексей Владимирович Снегов или Ольга Григорьевна Шатуновская, он связывал серьезные надежды в деле ломки старого аппарата. Ему нужны были единомышленники.

После освобождения из лагеря Шатуновскую направили в Комитет партийного контроля заниматься реабилитацией, а Снегова послали «комиссаром» в Министерство внутренних дел. Но консерваторы сдаваться не собирались, и в конце концов под благовидным предлогом должность Снегова была сокращена, а сам он оказался на «заслуженном отдыхе» «по возрасту и по состоянию здоровья».

И вот теперь мы сидим в его кабинете и пьем чай. Все больше увлекаясь, горячась, Алексей Владимирович вспоминал, доказывал, объяснял.

Хрущев сегодня практически изолирован, убеждал он нас, его поддерживает очень небольшая прослойка молодых сотрудников аппарата ЦК. Противников гораздо больше, и они, оправившись от шока, вызванного XX съездом, лишь ждут подходящего момента, чтобы взять реванш.

Главным врагом Снегов называл Суслова и его аппарат. Именно они, по его словам, тормозили десталинизацию, топили в согласованиях попытки критики сталинских методов, старались скрыть совершенные преступления. Любые робкие ростки нового,

прогрессивного тщательно выпалывались опытными руками этих «садовников» с «богатым» прошлым. Попытки взглянуть на происходящее с объективных позиций безжалостно пресекались. Недоволен Снегов был и Хрущевым, и Микояном, обвиняя их в непростительном либерализме и медлительности. Алексей Владимирович считал, что отец занимается «не тем».

— Зачем, — говорил Снегов, — он лезет во все вопросы промышленности, сельского хозяйства? Один человек все равно ничего не сделает. Не кукурузу надо насаждать, а бороться с главным врагом — сталинизмом и его последователями, засевшими в самом сердце, в ЦК и правительстве, иначе старый аппарат сломает Хрущева. В ЦК необходим честный, принципиальный человек, настоящий коммунист, способный навести порядок, и ему нужно предоставить чрезвычайные полномочия.

Если бы удалось добиться победы в ЦК, то дальнейшее развитие в прогрессивном направлении пошло бы быстрее, с гарантией от возврата к прошлому. Людей, которые могли бы перешерстить аппарат, вокруг Хрущева почти нет. Большинство поддерживает его только на словах, на деле препятствуя любым начинаниям. Алексей Владимирович верил одному Микояну. Ему, по мнению Снегова, и должен Хрущев поручить чистку в аппарате ЦК.

Снегов попросил меня передать отцу письмо с просьбой принять его для важного разговора. Я колебался. Ко мне и раньше обращались с различными ходатайствами. Когда я передавал их отцу, он неизменно отчитывал меня, говоря, что обращения должны направляться в канцелярию ЦК, а там, мол, знают, что делать.

И все-таки я согласился — Снегов был не просто проситель, он беспокоился об общем деле.

С того дня мы подружились с Алексеем Владимировичем. При каждой встрече Снегов рассказывал все новые и новые подробности, приводил факты, свидетельствующие о нарастающей оппозиции и лично Хрущеву, и, главное, проводимой им политике.

Прошло какое-то время. Письмо было готово. Я выбрал момент и передал его отцу, кратко рассказав, что знал. Он почему-то не слишком обрадовался весточке от старого товарища, пробормотав что-то об экстремизме Снегова, а письмо, не вскрыв, положил в карман. Снегова отец в скором времени принял, но на мой вопрос о впечатлениях от встречи отмахнулся, сказав, что Алексей Владимирович многое преувеличивает, а многого просто не понимает. Может быть, в словах Снегова есть доля истины, но

выводы его, по мнению отца, были просто неверны, раздуты, а страхи необоснованны.

Поддерживать разговор отец не стал, и больше мы к этому вопросу не возвращались.

Я поехал к Снегову. Он был в отчаянии и ярости. По его словам, отец ничего не понял и просто не принял его всерьез. Снегов рассказал ему о том, что делается в ЦК, об интригах за его спиной. Взывал к благоразумию и бдительности, предупреждал о нависшей опасности реставрации сталинизма, а отец только посмеялся и сказал в ответ, что у Снегова сильно развито воображение и потому в каждом углу ему мерещатся враги.

Хрущев сказал ему, что в ЦК работают искренние, беззаветно преданные делу партии люди. Как и у всех, у них есть свои недостатки, но каждый из них предан идее до конца, и подозревать их в интригах, преследовании своекорыстных интересов, а тем более в приверженности сталинизму, осужденному съездом партии, неправильно. Не надо заниматься сведением счетов, это вызовет новую волну насилия и ненависти — так отец отреагировал на призыв Снегова провести следствие и наказать палачей.

Когда же Алексей Владимирович принялся убеждать его оставить текущие хозяйственные дела специалистам, а самому заняться кардинальными вопросами партийной политики, отец просто рассмеялся и сказал, что нет более важного дела, чем накормить, одеть и обуть народ, и в решении вот таких будничных дел он и видит свою самую главную задачу. Микояна (в то время Председателя Президиума Верховного Совета СССР) передвинуть в ЦК он отказался, сославшись на то, что все заняты своим делом. Сейчас они пишут проект новой Конституции, которая обеспечит в будущем демократическое развитие страны, не допустит самой возможности повторения тирании, прихода к власти нового Сталина.

— Он просто слеп, — заключил Снегов.

Разговор получился тягостным. До встречи с отцом Алексей Владимирович встречался с Микояном, но и тут ничего не добился. Словом, он был в отчаянии.

Невольно и я заразился настроением Снегова: чувствовал необходимость что-то сделать, предпринять, предупредить. Становилось страшно за наше государство и, не скрою, за себя, вокруг виделись заговорщики.

За стенами квартиры Снегова все менялось. Жизнь шла своим чередом и была прекрасна, как это свойственно видеть молодости. Меня окружали милые дружеские лица, добрые, честные улыбки, никак не соответствовавшие мрачным прогнозам

из заваленной бумагами квартиры. Я стал все реже бывать у Снегова. Тем более что после приема у отца и он потерял интерес ко мне. Теперь в его борьбе я мало чем мог ему помочь. Вскоре беспокойство забылось…

Жизнь между тем продолжалась. Наступал новый, 1964 год. Он был для отца юбилейным: ему исполнялось 70 лет и примерно 10 лет пребывания на высших партийных и государственных постах.

По случаю новогоднего праздника в огромном зале на верхнем этаже недавно отстроенного Кремлевского Дворца съездов устроили прием. Те, кто бывал во Дворце съездов, хорошо представляют себе этот зал: в перерывах все устремляются в расположенные здесь буфеты.

В последние годы отец установил традицию встречать Новый год не дома, в кругу семьи, а в этом зале. Здесь собирались члены Президиума и ответственные сотрудники ЦК, работники Президиума Верховного Совета и Совета Министров, военачальники, передовики производства, писатели, режиссеры, актеры, поэты, драматурги, художники, конструкторы самолетов и ракет, дипломаты.

В углу зала на возвышении стояла большая, ярко украшенная елка. Прием проходил пышно, с обилием тостов, танцами. Далеко за полночь гости разъезжались по домам догуливать в кругу близких.

Кому-то нововведение нравилось — здесь завязывались новые знакомства, велись интересные разговоры, устанавливались нужные контакты. Кое-кто морщился: Новый год — праздник семейный, домашний. Но ходили исправно все.

Отец чувствовал себя здесь радушным хозяином. В том году среди гостей был Николай Александрович Булганин. После Пленума ЦК 1957 года он еще некоторое время оставался Председателем Совмина, но его отставка была предрешена, когда выступивших против отца сталинистов — так называемую «антипартийную группу» — рассеяли по отдаленным городам. Постепенно выходили на пенсию и возвращались в Москву ее члены: Молотов, Каганович, Маленков, Шепилов и другие. Вернулся и Булганин. Жил он одиноко. Мало кто из старых друзей рисковал с ним общаться.

Отцу захотелось увидеться с ним, и опальному экс-премьеру было отослано приглашение на встречу Нового года.

Двигало отцом, уверен, вовсе не желание увидеть поверженного противника. В преддверии семидесятилетия все чаще вспоминались молодые годы, тянуло к старым друзьям. Долгое время они были близки: Хрущев — секретарь МК,

Булганин — председатель Моссовета. Жили в одном доме на улице Грановского, на пятом этаже, дверь в дверь. Даже в глухие времена всеобщей подозрительности они, бывало, незаметно для чужих глаз забегали друг к другу в гости выпить стакан чаю или рюмку коньяку накоротке…

На том памятном новогоднем празднике отец тепло встретил Николая Александровича, они обнялись, как в прошлые годы, и… разошлись, теперь уже навсегда.

Кончился праздник, погасли елочные огни, отгремела музыка, и на отца навалились будничные заботы. Дела шли далеко не блестяще. Необходимо было найти выход, ту единственную ниточку, дернув за которую, удалось бы запустить хозяйственный механизм. Но нити рвались, завязывались в узлы, клубки проблем…

Отец понимал, как я неоднократно слышал от него в то время, что старая система управления народным хозяйством, расчет на голый энтузиазм рабочего класса, лозунг «догнать и перегнать Америку» ничего уже не дают и дать не смогут. Он лихорадочно искал экономическую схему, способную обеспечить функционирование хозяйственного механизма без окриков сверху. Но реальных результатов по-прежнему не было. Одно он знал твердо: без материальной заинтересованности труженика ничего не выйдет.

Каждый новый шаг не только натыкался на скрытую оппозицию со стороны коллег-идеологов и ученых-экономистов, нужно было преодолеть сопротивление внутри самого себя. Ведь рынок, конкуренция, прибыль были осуждены еще в двадцатых годах, когда было заявлено, что это прямой путь к реставрации капитализма. Как же перешагнуть через такой барьер?…

Но и стоять на месте нельзя, нужно было найти способ, чтобы «накормить, одеть и обуть народ».

С трудом новые непривычные идеи пробивали себе путь. Отец поддержал экономиста Либермана из Харькова, одобрил эксперимент в казахстанском совхозе, где директорствовал Худенко. (Я подробно рассказываю о них в «Реформаторе», первой книге «Трилогии об отце».) К тому времени в его воображении складывались основные контуры экономических преобразований, были даже приняты основные принципиальные решения. Речь шла о предоставлении большей свободы директорам. Предполагалось, что они лучше верхов представляют, что нужно предпринять, чтобы совершить рывок, обогнать соперников, занять лидирующее место в мире. В те годы никто не подозревал, что широкие права распоряжаться чужой собственностью могут привести к обратным результатам, что интересы собственника-

государства и облеченного широкими полномочиями директора могут не совпадать, что расширение прав должно быть ограничено дополнительной ответственностью, ответственностью частной собственности, ответственностью распоряжаться своими, а не чужими деньгами. Но это мы знаем сейчас, а тогда казалось, что правильный ответ где-то совсем рядом. Против обыкновения отец на этот раз не спешил, хотелось еще и еще раз проверить закладываемые в фундамент будущей экономики принципы. Ведь на исправление возможных ошибок времени не оставалось, это была его последняя надежда.

Присматривался отец и к опыту других стран. Большое впечатление на него произвели беседы с Тито. Он внимательно приглядывался к опыту югославских друзей, но попробовать применить его у нас не торопился. В 1963 году отец провел почти весь свой отпуск в Югославии, исколесил страну вдоль и поперек, спускался в шахты, посещал заводы и фабрики, говорил с крестьянами. Вывод для себя он сделал неутешительный. «Все устроено так же, как и у нас, только выкрашено в другой цвет», — ответил он на мои расспросы о его впечатлениях от увиденного. К тому же идеологи в один голос твердили, что в Югославии социализм не чистый, отдает сильным капиталистическим душком.

Пока шла подготовка коренной реформы, отец попытался найти сиюминутное решение, позволившее бы улучшить работу народного хозяйства в рамках существующей структуры.

В целях лучшего функционирования системы было принято решение о разделении обкомов на промышленные и сельские.

Соображения, высказанные отцом, были просты: народное хозяйство необыкновенно усложнилось, секретарь обкома, его аппарат не могут одновременно быть специалистами и в промышленности, и в сельском хозяйстве. А значит, нужно создать два параллельных аппарата.

Новый подход, по сути, означал, что в партийном руководстве всех уровней, вплоть до районного, должны сидеть люди, досконально разбирающиеся в любых мелочах.

Другими словами, партии предстояло от руководства вообще перейти к профессиональному управлению, а партийным секретарям всех уровней превратиться в искусных менеджеров. Естественно, чиновники не пришли в восторг от подобной перспективы, понимали, что раньше или позже, скорее раньше, им придется уступить свои места более образованной молодежи. А кому такое придется по нраву?

Руководители всех рангов глухо роптали. Это была последняя реорганизация, осуществленная отцом. Но окончательное

решение так и не было найдено…

И все-таки за эти годы многое удалось сдвинуть: развернулось жилищное строительство, поднялась целина, что дало заметную прибавку к урожаю, началось развитие большой химии.

Серьезно изменилось положение и в области внешней политики. Выдвинутый на XX съезде партии тезис о реальной возможности предотвращения войны между странами с разными социальными укладами провозгласил начало новой эпохи в международных отношениях, позволив перейти от бесконечного наращивания вооруженных сил к их сокращению.

Способствовало разрядке и решение проблемы сбалансирования военной мощи Советского Союза и Соединенных Штатов.

В течение многих лет наше руководство жило в кошмаре — американские бомбардировщики могли легко нанести ядерный удар по Советскому Союзу без всякого возмездия. Теперь же, с появлением ракет, обе державы оказались в равном положении. И, как следствие, открылась возможность сокращения вооруженных сил. За короткий срок Советская Армия уменьшилась почти наполовину: с 5,5 до 2,5 миллионов человек. Уменьшился срок действительной службы. Молодые люди вернулись домой, и экономика получила дополнительные рабочие руки.

Предпринятые шаги вызвали недовольство генералитета; военные, казалось им, теряли свои позиции и привилегии. Мириться с таким положением они не хотели. Но отец был непреклонен. Он хорошо знал нравы военных и не намеревался плясать под дудку доморощенных милитаристов. В его понимании в будущем должны были сохраниться лишь минимальные силы взаимного сдерживания, и отцу не терпелось провести эти планы в жизнь: ракетный бум был в самом разгаре, а он уже всерьез ставил вопрос о переводе ряда ракетных заводов на выпуск мирной продукции.

Серьезным успехом стало подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой.

Важные сдвиги произошли и во внутренней жизни страны. Начавшийся на XX съезде процесс разоблачения культа личности Сталина неизбежно перерастал в демократизацию всей нашей системы, всего общественного уклада. Вставал вопрос о новой Конституции. Дело шло медленно, со скрипом, но все-таки шло.

Отца чрезвычайно волновала проблема власти, ее преемственности, создание общественных и государственных

гарантий, не допускающих сосредоточения власти в одних руках, и тем более злоупотреблений ею. Одной из ключевых проблем были выборы депутатов трудящихся. Вместо существовавшей системы выдвижения одного кандидата отец предлагал выдвигать нескольких, чтобы люди могли свободно выбрать лучшего — так появлялась реальная зависимость депутатов от избирателей.

В качестве доказательства несовершенства существовавшей избирательной системы он приводил пример с депутатом Верховного Совета СССР писательницей Вандой Львовной Василевской. Отец высоко ценил ее творчество и общественную деятельность. Она часто бывала у нас в доме. Теплые отношения сохранились еще с войны. В 1939 году Ванда Львовна, дочь крупного государственного деятеля буржуазной Польши, пришла в освобожденный Львов и навсегда связала свою судьбу с нашей страной. Во время войны она вместе с мужем, известным драматургом Александром Корнейчуком, часто бывала в войсках, встречалась с отцом в Сталинграде, на Курской дуге. Но как депутат она… ничего не делала. Причем настолько демонстративно, что украинские власти, опасаясь неприятностей, в очередной избирательной кампании каждый раз отводили ей новый избирательный округ, подальше от предыдущего. Там, где ее как депутата еще не знали…

— Разве так можно! — возмущался отец. — Какие это депутаты! Кого подсовывают, того и выбирай!

Однако изменить порочную систему ему было не суждено. Времени для этого не оставалось.

В рамках работы над новой Конституцией обсуждался и вопрос установления такого регламента работы Советов, при котором они реально могли бы контролировать жизнь в своих регионах. Ставилась задача придания им большего авторитета и передачи полноты власти. В одном из вариантов рассматривалась возможность перехода к непрерывной работе Советов, как это принято в парламентах западных стран.

Важнейшим компонентом проблемы власти была процедура преемственности. Отец мучился: как сделать передачу власти из одних рук в другие естественной, безболезненной. Созрела идея сократить время пребывания на руководящей работе до двух сроков. XXII съезд КПСС принял такое постановление в отношении партийных функционеров. Теперь оставалось распространить его на государственные органы и закрепить решение в новой Конституции. Но сразу же возникло множество проблем, и в первую очередь — куда уйдет функционер после двух сроков? Где и как он сможет приложить свои опыт и знания?

В этом деле отец впрямую следовал примеру США. После

двух визитов в эту страну он стал внимательнее приглядываться к заокеанскому опыту, примериваться к нему.

Но если многие другие нововведения отца одобрялись или не одобрялись и все-таки принимались аппаратом, пусть и с недовольным ворчанием, то тут он задел за живое. В руководящем звене, от района и выше, началась паника. Сформировалась не просто группа недовольных, а серьезная оппозиция, жаждущая активных действий.

Подлили масла в огонь и акции, лишавшие аппаратчиков многих привилегий, дарованных Сталиным. Первым шагом в этом направлении сразу после XX съезда была отмена так называемых «пакетов» — не облагаемых налогом дополнительных регулярных выплат определенным категориям чиновников. Но испуг, вызванный «секретным докладом», привел бюрократию в оцепенение, видимо, поэтому «урезание» прошло сравнительно безболезненно. Слишком все были перепуганы, слишком свежи в памяти были ночные аресты, чтобы решиться на противоборство.

Однако шок быстро прошел, и аппарат усвоил, что теперь никому не грозят ни расстрелы, ни аресты, ни ссылки. Бюрократия стала все увереннее ощущать себя решающей силой, хозяйкой положения. Последовавшие инициативы безнадежно буксовали. Предложения о ликвидации «закрытых распределителей» и сокращении числа персональных машин должна была выработать и осуществить специально назначенная комиссия ЦК. Возглавил ее Алексей Илларионович Кириченко, в то время Второй секретарь ЦК. Комиссия заседала, обсуждала, рекомендовала, отвергала и уточняла, но… ничего не решала.

Отец нервничал, торопил. Его заверяли, что дело близится к завершению. Показывали какие-то бумаги. Он на время успокаивался, и все возвращалось в прежнее состояние.

Кириченко сменили еще несколько председателей, и наконец после октября 1964 года комиссия прекратила свое существование. Единственно, что удалось отцу, — немного сократить парк персональных машин, пересадить чиновников с «Чаек» ручной сборки на более дешевые «Волги». Не всех. Министры, апеллируя к соображениям престижа, отстояли свое право на «Чайки».

Громоздкими «ЗИЛами» теперь пользовались тоже не все члены Президиума ЦК, а только три высших лица в государстве: Первый секретарь ЦК, Председатель Правительства и Председатель Президиума Верховного Совета. Остальные ездили на «Чайках».

Подсократили в то время и охрану. Отца, кроме его личного адъютанта-прикрепленного, сопровождал второй «ЗИЛ» с тремя

охранниками, остальные члены высшего руководства довольствовались одним прикрепленным.

По выходным дням, когда было тепло, отец садился на весла, а мы размещались в лодке. Отец любил эти гребные прогулки. От Усова, где мы жили на даче, до Ильинского, где расположилось опытное поле, недалеко — путешествие занимало минут сорок. За лодкой отца в отдалении следовала лодка с охраной, сидевший на корме дежурный начальник охраны зорко наблюдал за обстановкой. Держались охранники на почтительном расстоянии, отец их близко не подпускал, грубовато ставил на место:

— Что вы за спиной толчетесь, нюхаете? Держитесь подальше, дышите свежим воздухом.

Во время поездок на дачу по Рублевскому шоссе отец не раз замечал гуляющих по окружающему шоссе лесу, даже в самую неподходящую погоду, похожих друг на друга молодых людей. Поинтересовался у Председателя КГБ Серова: не его ли это люди? Тот не отпирался: «мои», и стал пространно говорить о необходимом минимуме безопасности, о возможных покушениях со стороны вражеских разведок. Отец его не дослушал, подобные разговоры ему обрыдли еще в сталинские времена, и перебил: «Если американцы захотят меня убить, то они это сделают, сколько бы людей вы ни натыкали вдоль дорог. Тут не убережешься. Но вряд ли они пойдут на такое. А так вы впустую расходуете народные средства». Серов не возражал, но и людей в штатском вдоль шоссе не убавилось. Правда, теперь они старались при приближении машины отца спешно укрыться в ближайших кустах.

Вторично объясняться с Серовым отец посчитал излишним, приказал урезать соответствующую статью расходов КГБ и передать Председателю, что, видимо, в его ведомстве столько излишних средств, что он просто не знает на что их расходовать. После этого «любители» лесных прогулок исчезли.

Не терпел отец и всяких «мероприятий» по пути его следования. Его лимузин шел в общем потоке транспорта, позволяя себе разве что в нарушение правил выскочить при обгоне за осевую линию, да нетерпеливо покрякивать сигналами, приближаясь к светофору. Заслышав знакомые требовательные звуки, регулировщики поспешно включали зеленый свет. Перекрытие улиц, организация шумных, мигающих разноцветными огнями, как новогодняя елка, кортежей, — такое никому не приходило и в голову. Конечно, не обходилось без заминок, особенно на перекрестках вблизи центра. Машин в городе становилось все больше. Для расшивки пробок отец предложил построить разноуровневые развязки и подземные

переходы. Городские власти поначалу встретили очередную его «выдумку» без энтузиазма — сложно все и дорого. Но потом идея привилась.

Конечно, установление социальной справедливости за счет ликвидации привилегий носило скорее морально-этический характер, поскольку решение экономических проблем от этого не зависело. Удовлетворить потребности в товарах можно было только их производством в достаточном количестве и нужного качества, а не путем перераспределения благ.

Принятые решения безмерно озлобили тех, кому грозило лишение привилегий. И, что немаловажно, не только их самих, но и их жен.

«Проходя коридорами ЦК, я просто физически ощущаю, как его обитатели в спину расстреливают меня взглядами», — при последней встрече, несколько противореча самому себе, пожаловался отец Снегову. Все это, в свою очередь, сыграло не последнюю роль в падении Хрущева.

Не увенчались успехом и попытки отца сократить государственный аппарат. Чиновники, сокращенные в министерствах, переходили в совнархозы, комитеты и другие новообразования, появлявшиеся как из-под земли. Понятно, что и эти мероприятия тоже ни в коей мере не добавляли симпатий к отцу со стороны бюрократии.

Все мы наслышаны о непростых отношениях отца с творческой интеллигенцией. Я позволю себе лишь несколько замечаний.

Результаты XX съезда партии вызвали резкое оживление в общественной жизни, литературе и искусстве. Появились новые имена, смелые произведения. Вслух стали говорить о том, о чем вчера боялись и подумать. Зашатались «авторитеты». Многих это пугало, а испуг, в свою очередь, вызывал ответные меры.

Отец никогда не занимался вплотную этими вопросами. В официальной идеологии царили М. А. Суслов и Л. Ф. Ильичев. Однако в критических ситуациях оппоненты апеллировали к отцу: писатели присылали произведения, отвергнутые инстанциями, а «идеологи» при малейшем ослаблении «вожжей» хором стращали, говоря, что контрреволюция в Венгрии начиналась с «кружка Петефи», кончили же виселицами и стрельбой. Стоит отпустить «вожжи», и у нас может такое случиться.

В этих предостережениях была доля истины. Ведь бездумное расширение политических свобод может легко привести к непредсказуемым последствиям.

Последние годы перед отставкой омрачились его резкими столкновениями с писателями, поэтами, художниками,

музыкантами. Он вступил в борьбу с теми, кто, по сути, стоял с ним по одну сторону баррикады, что было особенно обидно.

Нужно, впрочем, сказать, что акция была тщательно и продуманно срежиссирована. Отца долго обрабатывали, и наконец его удалось убедить, что «зараза» буржуазной идеологии овладела умами наших творческих интеллигентов, особенно молодых. Их надо спасать. Иначе они погубят себя и нанесут неизмеримый вред нашей стране, делу коммунизма. Известно, что «буржуазная идеология» лезет во все щели, стоит только потерять бдительность.

Расчетливо выбрав момент, Хрущева спровоцировали на ряд выступлений, поссоривших его с людьми, которые еще вчера были его самыми горячими сторонниками. Теперь же они оказались в разных лагерях.

Ко всем бедам добавились осложнения внутри социалистического сообщества. Только-только стали утихать бури в Европе, стабилизировалось положение в Польше и Венгрии, как появился новый очаг напряженности. На сей раз возникли разногласия с Китаем. Анализ причин и следствий противостояния, приведшего к вооруженным столкновениям, — удел специалистов. Я только скажу, что в те тяжелые дни всю ответственность за конфликт принял на свои плечи отец. Кому-то казалось, а кое-кто сознательно хотел представить дело в таком виде, будто это не идеологический и политический конфликт, а проявление дурной воли лидеров двух стран, в частности Хрущева. Чтобы окончательно понять несостоятельность такого подхода, потребовались годы.

Груз проблем был тяжел, а сил к семидесяти годам оставалось все меньше. Домой отец приходил усталый, измотанный. Делал два круга по дорожке вокруг двухэтажного особняка на Ленинских горах, ужинал, вытаскивал из портфеля толстые разноцветные папки с бумагами — вечернюю порцию работы. Ежедневно отцу на стол ложились многостраничные проекты постановлений правительства, записки по различным вопросам, донесения послов и разведки, обзоры зарубежной прессы плюс подавляющее большинство газет, от «Правды» до «Строительной» и «Учительской». Отец читал все, внимательно просматривал газеты, заинтересовавшие его статьи откладывал на вечер для детального изучения. Устраивался он тут же, в столовой, на уголке стола, или поднимался на второй этаж в свою спальню. И хотя в доме был кабинет, он им никогда не пользовался. Как правило, работа затягивалась до полуночи. Утром, к девяти, он всегда был на работе. От бесконечного чтения болели глаза. Когда стало совсем невмоготу, отец попросил

помощников сортировать поступающую почту, отбирать для него наиболее важные материалы, а по остальным — составлять обзоры. Жизнь сразу облегчилась. Через пару недель отец решил проверить, что помощники сочли недостойным его внимания. Оказалось, что критерии отца и помощников различались, и различались значительно. «Неважные», по их мнению, материалы ему представлялись очень важными, «второстепенная» информация — решающей. Пришлось вернуться к старой практике. Только все чаще он просил кого-нибудь из помощников или нас, детей, почитать вслух.

В те годы Президиум ЦК принял решение, устанавливающее отцу сокращенный рабочий день и дополнительные две недели отпуска. Решение осталось на бумаге, работа занимала не только весь рабочий день, но и все свободное время. Дополнительным отпуском он пользовался — хорошо было уехать в Пицунду, в Крым или Беловежскую Пущу, хоть чуть-чуть оторваться от рутины. Там отец мог сосредоточиться, обдумать кардинальные проблемы. Свои выводы и предложения он тут же оформлял в виде записок в ЦК. Часто отец пользовался свободным временем на отдыхе для совещаний или просто для бесед с учеными и конструкторами. Помню многолюдные собрания, обсуждавшие в Пицунде пути развития авиации, ракетостроения, химии.

Отец твердо отдавал себе отчет в том, что силы его на исходе, да и приближающийся семидесятилетний юбилей знаменовал определенный рубеж. Все чаще и настойчивее обращался он к мыслям о преемнике. Все чаще думал об отставке. О желании уйти не раз говорил в кругу семьи, иногда в шутку, иногда всерьез. Возвращался он к этому вопросу и в разговорах со своими коллегами по Президиуму ЦК.

«Мы, старики, свое отработали. Пора уступать дорогу. Надо дать возможность молодежи поработать», — вот, насколько я помню, типичное его высказывание на эту тему. При этом он широко улыбался, а окружающие похохатывали, сводя его слова к шутке.

В 1964 году он впервые заговорил об отставке публично, на одной из встреч с молодежью. Его речь была опубликована во всех газетах. Скрывались ли за этими словами серьезные намерения? Думаю, отец действительно собирался уходить. Не раз он упоминал о приближающемся XXIII съезде партии как о своем последнем рубеже.

Если дома его слова не встречали возражений, то товарищи по работе бурно протестовали.

— Что вы, Никита Сергеевич! Вы отлично выглядите! У вас и сил больше, чем у молодого! — слышалось в ответ на его мысли

вслух.

Мне трудно сказать, мог ли он принять такое решение в действительности. Ведь у него рождались все новые замыслы, планы. Хотелось претворить их в жизнь, а уж потом уйти.

Но какими бы серьезными ни были мысли об отставке, о своем преемнике отец думал неотступно. Один кандидат заменялся другим, потом третьим. А окончательного решения все не виделось, хотелось найти достойного человека и обязательно помоложе, поэнергичнее.

В конце концов он остановился на Фроле Романовиче Козлове. Ему все больше доверялся отец, хотя и не обходилось без конфликтов, острых перепалок.

Однако случилось несчастье. Весной 1963 года Козлов тяжело заболел — инсульт. Когда он немного пришел в себя и вернулся из больницы на дачу, отец поехал его навестить. Был выходной день, и, как обычно, он захватил с собой меня. Раньше Козлов часто бывал у нас дома, и наши семьи хорошо знали друг друга.

Дача Козлова располагалась неподалеку, сразу за Успенским. Миновав стандартные зеленые ворота, машина остановилась у подъезда. Встречала нас жена Фрола Романовича и еще какие-то люди. Прошли в дом. Кровать, на которой лежал Фрол Романович, стояла посередине комнаты, чтобы сестрам было удобнее подходить к больному. У стены стоял столик с лекарствами, стерилизатором, шприцами.

Козлов полулежал на подоткнутых подушках, бледное лицо отсвечивало желтизной. Когда мы вошли, он узнал отца, попытался сдвинуться с места, заговорить, но речь была бессвязна. Впечатление он производил удручающее. Отец постоял возле него некоторое время, пытался ободрить, шутил в своей манере, говоря, что Козлов, мол, отдыхает, симулирует. Пора выздоравливать — и на работу.

Попрощавшись, мы прошли в соседнюю комнату. Там собрались врачи. Нам объяснили, что опасности для жизни Фрола Романовича нет, но до выздоровления пройдет еще много месяцев.

— Работать сможет? — спросил тогда отец.

Приговор медиков был единодушным: безусловно нет. Он останется полным инвалидом. К тому же сильное волнение может привести к новому приступу и к смерти.

Рассчитывать на Козлова не приходилось…

Отец запомнил предостережение медиков о том, что нервный стресс может оказаться пагубным для больного. И поэтому на ближайшем заседании Президиума ЦК, когда речь зашла о судьбе Козлова, он предложил оставить Фрола Романовича, несмотря на

болезнь, членом Президиума ЦК. Никто не противился. Но после октября 1964 года решение пересмотрели и Козлова отправили на пенсию. Врачи оказались правы. Он не перенес потрясения и вскоре умер.

В связи с болезнью Козлова перед отцом еще острее встала проблема теперь уже не только будущего преемника, но и сегодняшней кандидатуры на пост Второго секретаря ЦК.

А решение все не находилось. Посоветоваться было не с кем. И вот эта внутренняя потребность выговориться, видимо, и послужила причиной того, что мне довелось проникнуть в святая святых политической кухни, стать свидетелем раздумий отца.

Отец был энергичным, увлекающимся человеком и, как и все люди такого типа, с наслаждением обсуждал с кем угодно нюансы полюбившейся ему идеи. Дома на нас обрушивались различные технологии изготовления панелей для жилых домов, мы знали много о преимуществах и недостатках сборного и монолитного железобетона, представляли, во сколько раз выгоднее плавить сталь в конверторе по сравнению с мартеном, разбирались в особенностях выращивания не только кукурузы, но и чумизы, пшеницы, овощей, винограда, фруктов, восхищались возможностями замены металла пластмассой, следили за успехами судов на подводных крыльях, знали и о многом другом.

Со мной, поскольку я был причастен к оборонным делам, отец обсуждал еще и технические вопросы, связанные с авиацией, ракетами, танками. Но никогда в разговорах при нас он не касался кадровых вопросов. Взаимоотношения в руководстве были абсолютно запретной темой. Даже в июне 1957 года, когда противоречия между отцом и сталинистами вылились в бурные заседания Президиума, а затем Пленума ЦК, мы могли только по косвенным признакам догадываться, что же происходит. Сведения приходили со стороны. О том, чтобы задать вопрос отцу, не могло быть и речи. Ответ был известен, форма тоже:

— Не лезь не в свое дело. Не мешай.

Поэтому я был просто ошарашен, когда в ответ на мой вопрос о Козлове отец вдруг заговорил о мучивших его сомнениях.

Дело происходило на даче глубокой осенью 1963 года. Вечером вышли пройтись. Мы гуляли в свете фонарей по парадной асфальтированной дороге, ведущей от ворот к дому, как вдруг отец заговорил о ситуации в Президиуме. Насколько я помню, он пожалел, что Козлов не может вернуться на работу. По его словам, он очень рассчитывал на Фрола Романовича: тот был на месте, самостоятельно решал вопросы, хорошо знал хозяйство. Замены отец не видел, а самому ему уже пора думать об уходе на пенсию. Силы не те, и дорогу надо дать молодым. «Дотяну до

XXIII съезда и подам в отставку», — сказал он тогда. Потом он стал говорить, что постарел, да и остальные члены Президиума — деды пенсионного возраста. Молодых почти нет. Отец стал членом Политбюро в сорок пять лет. Подходящий возраст для больших дел — есть силы, есть время впереди. А в шестьдесят уже не думаешь о будущем. Самое время внуков нянчить.

Он ломал голову над кандидатурой на место Козлова. Ведь надо знать и народное хозяйство, и оборону, и идеологию, а главное — в людях разбираться. Хотелось бы найти человека помоложе. Раньше отец очень рассчитывал на Шелепина. Он казался самым подходящим кандидатом: молодой, прошел школу комсомола, поработал в ЦК. Правда, плохо ориентируется в хозяйственных делах. Все время на бюрократических должностях. Отец рассчитывал, что он подучится, наберется опыта живой работы. Для этого предлагал ему пойти секретарем обкома в Ленинград. Крупнейшая организация, современная промышленность, огромные революционные традиции. После такой школы можно занимать любой пост в ЦК.

Шелепин же неожиданно отказался. Обиделся: посчитал за понижение смену бюрократического кресла секретаря ЦК на пост секретаря Ленинградского обкома партии.

— Жаль, видно, переоценил я его, — посетовал отец. — Может, оно и к лучшему, ошибаться тут нельзя. А посидел бы несколько лет в Ленинграде, набил бы руку, и можно было бы его рекомендовать на место Козлова. А сейчас он так и остался бюрократом. Жизни не знает. Нет, Шелепин не подходит, хотя и жалко. Он самый молодой в Президиуме.

Отец, помню, тогда замолчал, задумался, а потом продолжал рассуждать о возможных преемниках Козлова. В частности, о Подгорном. Николай Викторович Подгорный — человек толковый, и в хозяйственных делах разбирается, и с людьми работать может. На Украине проявил себя. Опыт у него богатый, но кругозора не хватает. После перехода в ЦК никак не справляется с порученными вопросами в области пищевой промышленности. Словом, по мнению отца, на этот пост и он не годился.

И тут он заговорил о Брежневе, сказав, что у него огромный опыт, хозяйство и людей знает. Но, как считал отец, он не может держать свою линию, поддается чересчур и чужим влияниям, и своим настроениям. Человеку с сильной волей ничего не стоит подчинить его себе. До войны, когда его назначили секретарем обкома в Днепропетровск, местные острословы окрестили его «балериной» — мол, кто как хочет, тот так им и вертит. А на этом месте нужен крепкий человек, которого с пути не свернешь. Таков

был Козлов. Нет, и Брежнев, выходило, не годится.

Отец замолчал. Больше этот разговор не возобновлялся. Мы долго еще бродили по дорожке к дому и обратно, думая каждый о своем. Отец, видимо, снова и снова перебирал в уме возможных кандидатов на пост Второго секретаря ЦК.

Я же был подавлен этой неожиданной откровенностью. Насколько тяжко и одиноко отцу, подумалось мне, если ему приходится откровенничать на эти темы со мной. Раньше такого не случалось. Даже представить подобное было невозможно.

Это был единственный разговор на запретную тему кадров. К ней отец больше никогда не возвращался. Об этих откровениях я, естественно, никому не рассказал. Хотя отец меня не предупреждал, но я и не нуждался в подобных предупреждениях.

Легко вообразить мое удивление, когда я узнал, что на место Второго секретаря ЦК все-таки планируется Брежнев. Так и не нашлось более подходящей кандидатуры. Впрочем, задавать отцу какие-либо вопросы я не стал…

Лично мне Леонид Ильич был симпатичен. На лице его всегда играла благожелательная улыбка. На языке всегда занятная история. Всегда готов выслушать и помочь. Несколько удивляло меня его пристрастие к домино — уж очень не соответствовало такое хобби сложившемуся у меня образу государственного деятеля.

Однако сам Брежнев, как оказалось, вовсе не обрадовался лестному предложению. Он принял его с неохотой, но вынужден был подчиниться.

Новый пост давал огромную власть, но он был… незаметен. Это была напряженная работа внутри разветвленного партийного организма. Требовалось готовить решения, взаимодействовать с обкомами, следить за работой в армии и… отвечать за провалы. Характеру Леонида Ильича, склонностям его натуры больше подходила представительская должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Здесь ему нравилось все: приемы президентов, королей и послов, почетные караулы, завтраки, обеды, ужины, посещение театров. Приятно было вручать ордена, награды. Вокруг улыбающиеся лица, рукопожатия, поцелуи. Речи награжденных полны искренней благодарности и любви. Государственные визиты — снова почетные караулы, приемы, пресса, улыбки, рукопожатия, тосты. Ему нравилось быть на виду, в центре события, видеть свое лицо в газетах, журналах, кинохронике.

Теперь все это неминуемо должно было уйти. Впереди — изнурительная работа, груз ответственности и необходимость принимать многочисленные решения, влекущие за собой

огромные, порой трудно предсказуемые последствия. Все это Брежневу не нравилось, назначением он был недоволен, но вслух не только отказаться, но даже выразить неудовлетворенность не мог. Поблагодарил за оказанное доверие, обещал его оправдать.

Очередной Пленум ЦК открылся 10 февраля 1964 года. Он снова посвящался проблеме сельского хозяйства. Отец упорно искал способы вывести страну из кризиса, нащупать пути к изобилию.

Он продолжал искать новые методы управления экономикой, позволяющие развязать инициативу производителей, повысить эффективность труда. Эти вопросы обсуждались на совещаниях и в прессе, проводились эксперименты.

Докладывал на Пленуме министр сельского хозяйства Иван Платонович Во-ловченко. Еще недавно директор совхоза, он сделал головокружительную карьеру. На одном из совещаний он удачно выступил, рассказал о больших достижениях возглавляемого им хозяйства, внес дельные предложения. Отец ухватился за него. Одну из причин наших неуспехов в сельском хозяйстве он видел в забюрокрачен-ности руководства, в отрыве от живого дела. Ему представлялось, что появление человека от «земли» может в корне изменить ситуацию.

Так Воловченко стал министром. Однако чуда не произошло. И вот теперь он делал доклад с пышным заголовком «Об интенсификации сельскохозяйственного производства на основе широкого применения удобрений, развития ирригации, комплексной механизации и внедрения достижений науки и передового опыта для быстрейшего увеличения производства сельскохозяйственной продукции». Казалось, даже в названии не забыли ничего…

На Пленум пригласили множество людей со всех концов страны: партийных работников, сотрудников министерств, специалистов сельского хозяйства, ученых. По сути дела, это был не Пленум, а всесоюзное совещание.

Последнее время отец ввел в практику такие расширенные Пленумы, на которых подробно освещались те или иные хозяйственные вопросы. Далеко не всем это нравилось. Аппаратчики считали, что тем самым снижается престиж Пленума, размывается его значение. Однако вслух никто крамольных мыслей не высказывал.

На февральском Пленуме 1964 года, кроме доклада министра сельского хозяйства, было выслушано еще множество содокладов по различным аспектам, связанным с ведением сельского хозяйства. Выступал на Пленуме и отец.

Многих свидетелей уже нет в живых, но если собрать воедино

крупицы информации от разных людей, так или иначе причастных к событиям того периода, можно с уверенностью сказать: в период января-марта 1964 года в Секретариате ЦК сформировалась оппозиция Хрущеву, в которой объединились Подгорный, Брежнев, Полянский и Шелепин. Цели этих людей окончательно ясны не были, роли, видимо, не распределены, но работа началась.

Кто явился центром консолидации оппозиционных отцу сил, сказать нелегко, и это несмотря на то, что многие участники событий тех лет оставили свои воспоминания. Одни, впоследствии обиженные Брежневым, смазывают, преуменьшают свою роль в сравнении с реалиями 1964 года. Другие, прежде всего Шелепин и Семичастный, строят глухую оборону перед историей. И тем не менее можно попытаться воспроизвести расстановку сил. Старики, в первую очередь выходцы с Украины, на роль лидера прочили Брежнева, но с известными оговорками. Вот как о зарождении сговора вспоминает Виктор Васильевич Гришин: «Это было рискованное дело, связанное с возможными тяжелыми последствиями в случае неудачи. Идейным, если можно так выразиться, вдохновителем этого дела являлся Подгорный… Практическую работу по подготовке отставки Хрущева вел Брежнев…»[2]

«Молодежь», недавние комсомольцы, не сомневались, что будущее принадлежит им. Когда настанет пора действовать, инициативу перехватит Шелепин. Брежнева же они считали в какой-то степени подставной фигурой.

Нужно было выявить настроение членов ЦК, секретарей обкомов, руководства армии. В памяти свеж был урок 1957 года, когда Пленум ЦК встал на сторону потерпевшего, казалось, окончательное поражение Хрущева. Процесс предстоял кропотливый, таивший немалую опасность в случае провала плана.

«Брежнев лично переговорил с каждым членом и кандидатом в члены Президиума ЦК», — вспоминает Гришин.[3] Ему вторит бывший Секретарь ЦК Компартии Украины Петр Ефимович Шелест: «Главным интриганом и карьеристом выступал Брежнев. Нельзя сказать, чтобы он сам это делал, но хитро привлек разными посулами на свою сторону немало руководящих работников. Но мотив был один: сместить Хрущева, которого он смертельно боялся и перед которым подобострастно заискивал».[4]

Когда же конкретно началась подготовка к смещению отца?

Бывший Председатель КГБ Владимир Ефимович Семичастный в беседе с одним из журналистов сказал, что подготовка к снятию

Хрущева началась месяцев за восемь до отставки. Ему, как он заявил, это стало известно с самого начала, поскольку без него этого никто не начал бы.

Шелест приводит точную дату — 14 февраля. Он рассказывал:

— Это был день моего рождения. Я нахожусь в особняке… Поздравить приехали Подгорный и Брежнев. Основательно посидели за столом и выпили изрядно. Разговор вертелся в основном вокруг положения дел в стране… Подгорный и Брежнев вели себя неуверенно, чувствовалось, что их что-то тревожит. Они говорили о трудностях взаимоотношений в верхах, о несработанности центрального аппарата… Жалобы Подгорного и Брежнева на судьбу были, по сути дела, лейтмотивом всей нашей беседы.

Уже тогда у меня зародилось чувство тревоги, неловкости. Не знал я, что за всем этим… Какую роль предстоит сыграть мне в последующие месяцы в смене руководства партии, государства. Мысли подобной не было, но чувствовал тревогу. Не сознавал ее. Еле уловимо все же предчувствовал… Не очень доверяли. Прощупывали.

Видимо, для тех месяцев подготовки слово «прощупывали» — ключевое.

Велась незаметная, но настойчивая работа: поездки, разговоры. Все это сопровождалось непомерным раздуванием культа отца: все чаще мелькали его портреты на улицах Москвы и других городов, его непрерывно цитировали, на него ссылались по любому поводу.

Началась работа над новым фильмом с претенциозным названием «Славное десятилетие». Возглавил ее Аджубей. Об этом недавно напомнил мне один из соавторов Алексея Ивановича, журналист Мэлор Стуруа.

К семидесятилетию подготовили красочные альбомы с фотографиями Хрущева: до войны, на войне, после войны. Часть из них успела выйти, часть так и не увидела свет. В каждом выступлении к месту и ни к месту упоминался отец. Тон этой кампании задавали Брежнев, Подгорный, Шелепин, а уж им вовсю подтягивали остальные.

Отец между тем совершал ошибки одну за другой, слишком вяло сопротивляясь развязанной кампании восхваления. Он не нашел в себе сил стукнуть кулаком по столу и потребовать ее прекращения. Человек слаб…

Конечно, все это началось не вдруг. Еще в 1961 году на экраны выпустили фильм по сценарию писателя Василия Захарченко «Наш Никита Сергеевич». Сделан он был в лучших

традициях недавнего прошлого: с неумеренными славословиями и назойливыми восторгами. Фильм показали отцу. Он просмотрел его молча, не похвалил, но и не запретил.

А вот другой аналогичный случай. В самом конце июля 1962 года, по дороге в отпуск, отец решил по старой памяти проехать по областям. Он хотел посмотреть поля перед уборкой, посетить промышленные предприятия. Это вошло в привычку. 27 июля отец провел в Тульской и Орловской областях. На следующий день он на Курщине, посещает разрез Курской магнитной аномалии, где недавно начали добывать железную руду, заезжает в Калиновку, село, где он родился и провел первые десять лет жизни. На 29 июля наметили осмотр недавно сооруженной Кременчугской ГЭС. Рядом вырос целый город с неблагозвучным названием КремГЭС.

Ехали на машинах. Впереди Хрущев с Подгорным и руководителями республики, а за ними целый «хвост». Я был далеко сзади. День, помню, выдался солнечный, жаркий. Подъехали к городу, утонувшему в зелени. Вдруг я поразился: на придорожном указателе надпись по-украински: «Місто Хрущов».

Несколько лет назад по инициативе отца приняли решение не присваивать городам имен живых политических деятелей. Многие сопротивлялись, особенно почему-то Ворошилов, но постановление было принято.

Мы не раз слышали, как отец с возмущением вспоминал предвоенные годы, когда появилась мания «коллекционирования» городов и сел, названных по собственной фамилии. Целое соревнование — и Молотов, и Молотовск, и Ворошиловград, и Кировабад — чего только тогда не выдумывали.

Машины остановились у здания горкома. Я пробился поближе, по реакции окружающих вижу — отец промолчал. Напрягшиеся было лица местного начальства расплылись в улыбках. Осмотрели город, съездили на плотину, поговорили в горкоме. Отец будто и не видел надписи. Наконец приехали на пристань, дальше предстояло плыть на пароходе до Днепропетровска. Отчалили. Все собрались в салоне, предстоял обед.

Отец начал с благодарности, ему очень приятно, что город назвали его именем, поблагодарил за честь. Все закивали, наперебой стали говорить о заслугах отца, как много он делает для страны, для народа, как все его любят.

Я окончательно перестал что-либо понимать. С момента въезда в город меня преследовало чувство неловкости. Я ожидал, что отец запротестует, и такое начало меня обескуражило.

Но это было только начало.

— Вы разве не читаете постановления ЦК или не считаете обязательным их выполнять?! — продолжал отец. — Я настоял на запрещении присваивать городам имена руководителей. А тут моя фамилия! В какое положение вы меня ставите?!

Последовал разнос. В газетах на следующий день давалась информация о посещении Первым секретарем ЦК КПСС Н. С. Хрущевым города КремГЭС.

К сожалению, так было не всегда.

Неблагополучие в делах всегда вызывает неудовлетворенность, заставляет искать виновных. Не обошло это поветрие и отца. Нам трудно сегодня судить о степени обоснованности принимавшихся тогда решений о кадровых перемещениях, об их причинах и поводах. Одно не вызывает сомнений — высшие партийные круги принимали их сквозь зубы, симпатии были не на стороне Хрущева. В 1962–1963 годах происходила смена руководства в областных комитетах партии, на место стариков приходила «молодежь», более инициативная, но главное — более подготовленная, все с высшим образованием. Освобожденных от должностей распихивали кого куда — одних отправляли на пенсию, другим подыскивали синекуру. Все они недовольно ворчали, но до поры до времени недовольство открыто не выражали. Отставники продолжали числиться членами Центрального Комитета партии, высшего органа власти в государстве. Именно Центральный Комитет своим голосованием избирал Президиум и Секретариат, которые реально руководили страной. Он же имел право, проголосовав, отстранить от власти всех, включая и отца. Сталин приучил членов ЦК к покорности, с начала 1930-х годов они никогда не только не голосовали против, но и не воздерживались. Теперь времена поменялись, их жизням больше ничего не угрожало, терять им тоже было нечего, на следующем съезде партии в ЦК их уже не выберут. Перестановки затронули и высшие эшелоны власти. Состоявшийся 9 — 13 декабря 1963 года Пленум ЦК после принятия решения о широкой химизации сельского хозяйства — именно в ней, по примеру Америки, отец видел единственный путь решения продовольственной проблемы — без обсуждения принял решения и по кадровым вопросам. Он освободил Председателя Совета Министров Украины В. В. Щербицкого от обязанностей кандидата в члены Президиума ЦК КПСС. На его место был избран П. Е. Шелест. Отец Шелеста близко не знал, его очень продвигал Подгорный. После недавнего переезда в Москву Подгорный стал быстро входить в силу, и на последних октябрьских торжествах именно он делал доклад. А это свидетельствовало о многом.

Истинной причины снятия Щербицкого мы не знали.

Говорили, что Хрущев был очень недоволен докладом о состоянии дел в народном хозяйстве Украины, который Щербицкий сделал во время последнего посещения им Киева. Много говорили и о том, что серьезную роль в его перемещении сыграли его заместители. С ними отец работал на Украине и к их мнению прислушивался. После Пленума Щербицкий уехал секретарем в одну из областей. Всеобщее недовольство аппарата этим решением стало почти открытым, среди них Щербицкий слыл хорошим хозяйственником и способным руководителем.

Следом за Щербицким пришла очередь Мазурова. 6 января 1964 года отец вместе с Кириллом Трофимовичем направился по приглашению Владислава Гомулки и Юзефа Циранкевича в Польшу с неофициальным визитом. В середине зимы отец, по настоянию врачей, обычно брал отпуск дней на десять. Поляки пригласили его на несколько дней поохотиться, и он взял с собой Мазурова, желая, как всегда, совместить отдых с делами: помочь установлению более тесных прямых экономических связей между Белоруссией и Польшей. Да и вообще к Мазурову он относился с симпатией и уважением.

В середине января я, взяв отпуск, встречал их на границе. Еще пару дней отец намеревался провести в Белоруссии. Его поселили на даче в Беловежской Пуще. Во время одной из прогулок Мазуров долго рассказывал, какими ему видятся пути развития народного хозяйства республики. О чем конкретно шла речь, я не слушал, хотя и держался все время рядом. Таких разговоров при мне происходило множество. Помню только, что отцу мысли Мазурова не понравились, и он стал поправлять его. Мазуров не согласился — вышла размолвка. Расставались они недовольные друг другом, тем не менее корректно, по-дружески. Каково же было мое удивление, когда на Белорусском вокзале отец вдруг сказал членам Президиума ЦК, встречавшим его, что ему очень не понравился Мазуров. Они, мол, с ним долго говорили, но предложения его не выдерживают критики. Надо думать о его замене. Эти слова были для всех неожиданны, правда, и возражений не последовало.

Что происходило дальше, я не знал. Видимо, отец остыл, еще раз обдумал разговор и от своих намерений отказался. Во всяком случае, разговоров об освобождении Мазурова больше не возникало. Без сомнения, слова отца немедленно донесли Мазурову, и после этого он никак не мог числиться в сторонниках Первого секретаря.

Тем временем жизнь шла своим чередом. Как всегда, на не отложные дела, связанные с актуальными хозяйственными и политическими вопросами, накладывались встречи, приемы,

поездки. Зимой и весной отец побывал в Венгрии, на Украине, в Ленинграде. В Москве он проводил все меньше времени. Нити центрального руководства все больше переходили в руки Брежнева. В отсутствие отца он чувствовал себя увереннее и свободнее. Его возвращения становились все менее желательными. Отец вмешивался во все вопросы — и большие, и маленькие. Такая опека, естественно, раздражала.

Начиналась весна 1964 года, а с ней и сев. Хороший урожай был необходим. Неурожай 1963 года заставил покупать зерно за границей, ухудшилось и качество выпекаемых изделий. Отец считал закупку зерна за границей единичной, экстраординарной мерой, которая никак не должна была повториться. Должны же мы в конце концов научиться выращивать хлеб. Ссылки на неурожай из-за плохих погодных условий он не принимал вообще.

— Это оправдание для бюрократов, отписка, — обычно говорил он. — В такой огромной стране, как наша, каждый год где-то засуха, где-то заливает, но в других-то местах урожай хороший. Так что всегда можно найти оправдание собственной бесхозяйственности, свалить все на солнце или дождь. И не приходите ко мне с такими объяснениями. Урожай зависит от того, как мы все работаем.

Были, конечно, и другие проблемы.

Вот так, в заботах, незаметно пришел апрель. 17-го числа отцу исполнялось 70 лет.

День этот был радостным, как все юбилеи, но и трагичным: волна раздуваемого культа отца достигла невероятных масштабов. Особенно чутко на все перегибы реагировала мама, но… молчала. Замечали мы, что и отцу не по душе бурные славословия, но и он молчал, не желая портить праздник.

Поздравления в тот день начались с утра. Весь дом проснулся от грохота — охрана затаскивала в столовую большой радиотелекомбайн производства рижского завода. На боку металлическая табличка с дарственной надписью: «Подарок от товарищей по работе в ЦК и Совете Министров». Этот подарок был исключением. Отец заранее предупредил, что он категорически требует не делать ему подарков к юбилею, особенно от советских организаций.

— Нечего тратить народные деньги. Никаких подарков, — категорично отрезал он.

На этот счет была дана специальная директива ЦК, в которой разрешалось присылать только поздравления. Распространялся этот запрет и на членов семьи, но мы, конечно, директиве не

последовали. Пренебрегли ею и члены Президиума ЦК.

Весеннее утро было солнечным. К 9 часам утра стали съезжаться с поздравлениями гости: родственники, члены Президиума и секретари ЦК. Другого времени не было — оставшийся день был отдан официальным мероприятиям и расписан по минутам.

Резиденция, где мы располагались, представляла собой двух этажный особняк на Воробьевском шоссе, номер 40, предназначенный для жилья и небольших приемов.

До 1953 года отец, Маленков, Булганин и многие другие члены Президиума ЦК жили с семьями в большом доме на улице Грановского (ныне Романов переулок). Ворошилов, Микоян и Молотов жили тогда в Кремле. Жизнь в многоэтажном доме тяготила отца. В Киеве мы занимали одноэтажный особняк (до революции он принадлежал преуспевавшему аптекарю), окруженный большим садом. Там можно было погулять, посидеть на лавочке, подумать, отдохнуть.

Не изменил своей привычке гулять после работы отец и в Москве. Часто он вытаскивал на прогулки Маленкова, жившего под нами. Шли по улице Калинина (Воздвиженке), на Красную площадь, вокруг Кремля. Иногда заходили в Александровский сад или, изменив маршрут, возвращались по улице Горького (Тверской).

После смерти Сталина по заказу Маленкова был сделан проект правительственных особняков-резиденций на окраине города, на Ленинских горах, над Москвой-рекой. Маленков показал проект отцу, тот сначала засомневался — не дороговато ли, но потом согласился. Предполагалось, что в новые дома переедут все члены Президиума ЦК. Однако на переезд решились не все. Молотов, Ворошилов и еще кто-то поселились на улице Грановского.

На первом этаже резиденции размещались официальные помещения: большая столовая и гостиная. Там же два двухкомнатных жилых блока. Кабинет и спальня хозяев дома помещались на втором этаже.

Приехавших с поздравлениями становилось все больше. Вновь прибывающие проходили в гостиную, собирались кучками, обменивались новостями, шутили. Никто не курил: отец не выносил табачного дыма.

Виновник торжества запаздывал. Наконец улыбающийся, нарядно одетый отец появился на залитой солнцем дубовой лестнице. Гости двинулись навстречу. Рукопожатия, пожелания здоровья и счастья — словом, все, как обычно, независимо от ранга юбиляра. Брежнев расцеловал отца. Понемногу суета

улеглась. Отец пригласил всех в столовую. Большой стол был празднично накрыт. В другие дни, даже торжественные, редко набиралось гостей на половину стола, сегодня мест не хватало, люди теснились, усаживались на углах.

Эта комната была свидетельницей многих событий — и семейных, и государственных. Именно здесь, вернувшись из Кремля, до поздней ночи обсуждали члены Президиума ЦК события карибского кризиса. Отсюда отец диктовал свои послания президенту Кеннеди.

Сюда же ноябрьским вечером 1963 года позвонил Андрей Андреевич Громыко и сообщил о покушении на Президента Соединенных Штатов.

А сегодня здесь был праздник.

Брежнев как Председатель Президиума Верховного Совета СССР начинает первым, он зачитывает поздравление, подписанное собравшимися здесь членами и кандидатами в члены Президиума Центрального Комитета партии, секретарями ЦК.

«Дорогой Никита Сергеевич!

Мы, Ваши ближайшие соратники, члены Президиума ЦК, кандидаты в члены Президиума ЦК, секретари ЦК КПСС, особо приветствуем и горячо поздравляем Вас, нашего самого близкого друга и товарища, в день Вашего семидесятилетия. (Все зааплодировали.)

Мы, как и вся наша партия, весь советский народ, видим в Вашем лице, дорогой Никита Сергеевич, выдающегося марксиста-ленинца, виднейшего деятеля Коммунистической партии и Советского государства, международного коммунистического и рабочего движения, мужественного борца против империализма и колониализма, за мир, демократию и социализм. (Аплодисменты.)

Ваша кипучая политическая и государственная деятельность, огромный жизненный опыт и мудрость, неиссякаемая энергия и революционная воля, стойкость и непоколебимая принципиальность снискали глубокое уважение и любовь к Вам всех коммунистов, всех советских людей. (Аплодисменты.)

Мы счастливы работать рука об руку с Вами и брать с Вас пример ленинского подхода к решению вопросов партийной жизни и государственного строительства, быть всегда вместе с народом, отдавать ему все свои силы, идти вперед и вперед к великой цели — построению коммунистического общества.

От всей души желаем Вам, Никита Сергеевич, доброго здоровья, многих лет жизни и новых успехов в Вашей огромной и

чудесной деятельности. (Бурные аплодисменты.)

Мы считаем, наш дорогой друг, что Вами прожита только половина жизни. Желаем Вам жить еще по меньшей мере столько же, и столь же блистательно и плодотворно. Сердечно обнимаем Вас в этот знаменательный день.

Тут стоят подписи Ваших верных друзей и соратников, сидящих за этим столом, и к ним присоединяются многие и многие по всей стране».

Леонид Ильич расчувствовался, смахнул слезу и обнял Никиту Сергеевича. Все подходили, чокались, говорили подходящие к случаю фразы. Наконец прошли все, и Брежнев вручил юбиляру красивую папку с только что прочитанным адресом, подписанным в соответствии с алфавитом и табелью о рангах:

Л. Брежнев
Г. Воронов
А. Кириленко
Ф. Козлов
А. Косыгин
О. Куусинен
А. Микоян
Н. Подгорный
Д. Полянский
М. Суслов
Н. Шверник
В. Гришин
Ш. Рашидов
Л. Ефремов
К. Мазуров
В. Мжаванадзе
П. Шелест
Ю. Андропов
П. Демичев
Л. Ильичев
Б. Пономарев
В. Поляков
А.Рудаков
В. Титов
А. Шелепин

Эта папка впоследствии не давала покоя ее авторам до самой смерти юбиляра…

Перечитал приветствие, и вспомнилось, что в то время

фамилии всех членов Президиума ЦК, без исключения, печатали строго по алфавиту. Поэтому во всех перечислениях отец оказывался в конце.

После отставки отца порядок изменили, первым стали упоминать Генерального секретаря. Сам этот титул и новый табель о рангах введены были уже Брежневым.

Вручение адреса как бы подвело черту под официальными поздравлениями. Началась обычная, присущая таким случаям суета. По очереди вставали соратники отца, с которыми пройден такой непростой путь. Потоком лились пожелания, здравицы. Часа через два пришла пора расходиться: впереди официальные поздравления в Кремле, а вечером предстоял большой прием.

На юбилейные торжества приехали руководители социалистических стран, секретари ЦК братских коммунистических партий. Прибыл и Президент Финляндии Урхо Кекконен. Его связывала с отцом давняя дружба.

Многие привезли с собой ордена. Так что к концу церемонии пиджак утомленного речами и рукопожатиями отца изрядно потяжелел.

На следующий день все вошло в обычную рабочую колею. Праздник остался в прошлом, нужно было думать о будущем.

В Москве в те дни находилась польская делегация во главе с Гомулкой. 19 апреля поляки отправились домой, а 25-го с визитом прибывал Президент Алжира Ахмед Бен Белла. После первомайских праздников отец вместе с ним уехал в Крым. Проводив оттуда гостей, он хотел немного отдохнуть и из Ялты на теплоходе отправиться с официальным визитом в Египет. Его ждали на торжество по случаю торжественного перекрытия Нила перемычкой Асуанской плотины.

Отец считал дружеские отношения с арабскими странами чрезвычайно важными. Казалось, наш союз с арабским миром складывался прочно, поскольку основу ему заложил удачный внешнеполитический маневр Хрущева, во многом способствовавший прекращению в период суэцкого кризиса в 1956 году военных действий западных стран против молодой Египетской республики.

Отец гордился своим успехом. Любил вспоминать о переговорах с тогдашними руководителями Великобритании и Франции сэром Антони Иденом и Ги Молле, приведшими и к молниеносному окончанию войны, и к выводу войск из зоны Суэцкого канала.

События 1956 года перевернули арабский мир. Раньше эти страны традиционно ориентировались на Западную Европу и о Советском Союзе знали так же мало, как и мы о них. Провал

карательной акции, направленной против молодых офицеров в Египте, сменил ориентацию большинства стран региона. Отец развивал достигнутый успех. В арабские страны пошло сначала чехословацкое, а затем советское оружие, расширялась экономическая помощь. Вся наша военная мощь демонстративно приводилась в движение при возникновении угрозы союзникам на Ближнем Востоке.

Правда, пришлось пожертвовать добрыми отношениями с Израилем. Отец пошел на это с большой внутренней неохотой.

Выбирать тут не приходилось. Он предпочел укрепить дружбу с многомиллионным арабским миром. Нужно сказать, что отец часто возвращался к мыслям о возможных путях примирения враждующих сторон, не раз говорил об этом и с премьер-министром Египта Насером.

Встав на сторону арабов, он тем не менее не раз вспоминал с симпатией о своих встречах с Голдой Меир в Москве.

— Когда-нибудь и там наступит мир. Все перемелется, — бывало, философски замечал он.

Вершиной развития дружбы с Египтом было соглашение о строительстве высотной Асуанской плотины и Хелуанского металлургического комбината. Эти шаги продемонстрировали всем арабам, кто их настоящие друзья.

В нашей стране не все одобряли ближневосточную политику отца. Раздавались голоса о растранжиривании народных денег, о неоправданности нашей экономической и военной помощи.

В условиях оформляющейся оппозиции в ЦК эти настроения можно было умело использовать. На разговоры о зря выброшенных на помощь слаборазвитым странам миллионах отец обычно приводил пример Афганистана. Мы даем королю десятки миллионов, говорил он, помогаем ему строить дороги, предприятия, развивать сельское хозяйство. Зато мы имеем спокойную границу. На ее укрепление понадобились бы миллиарды. Так что, оказывая помощь, мы имеем прямую выгоду.

К описываемому периоду относится и попытка реализации идеи объединить всех арабов в едином государстве — Объединенной Арабской Республике. К государственному слиянию арабских стран отец относился скептически. Он предостерегал Насера от поспешных шагов в интеграции с Сирией, считая, что разница в политических свободах и экономическом развитии скоро приведет к конфликту.

Отец гордился нашими достижениями на Ближнем Востоке, в значительной мере числя их на своем счету, и теперь хотел увидеть все сам. Поездке на Ближний Восток долгое время препятствовало одно серьезное обстоятельство.

Коммунистические партии в большинстве арабских стран были запрещены, действовали в подполье, а многие коммунисты находились в тюрьмах. В течение всей подготовки к визиту этот вопрос неоднократно поднимался. Наше руководство ставило условие: без решения вопроса о коммунистах, томящихся в тюремных застенках, визит состояться не может.

Наконец Насер заверил, что заключенные будут освобождены. Отец сделал вид, будто его удовлетворили данные заверения, последняя преграда к визиту была снята.

В поездку отец решил взять и меня. В Крым я с ним поехать не мог (задерживала работа) и потому прилетел перед самым отъездом. Вся делегация была в сборе: министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко, Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Михаил Порфирьевич Георгадзе, Главнокомандующий войсками стран Варшавского договора маршал Андрей Антонович Гречко, главный редактор газеты «Правда» Павел Алексеевич Сатюков, главный редактор газеты «Известия» Алексей Иванович Аджубей и другие.

Делегация отправлялась в путь на небольшом теплоходе «Армения». Он уже стоял у причала Ялтинского порта. Этот отъезд Хрущева с государственным визитом мало отличался от любого другого, разве что южным солнцем и голубым морем. Провожал нас Брежнев.

В предотъездной суете мне бросилась в глаза непонятная перемена в поведении Леонида Ильича. Его всегда отличала широкая располагающая улыбка, готовая сорваться с языка шутка. На сей раз он был мрачен, даже отцу отвечал односложно, почти грубо. Остальных же просто не замечал. А ведь еще несколько недель назад при встрече он расцветал, широко раскрывал объятия, за чем неизменно следовали пахнущие дорогим коньяком и одеколоном поцелуи.

Я был в недоумении. Наконец объяснение нашлось. Брежнев обижен на отца за предполагаемое в скором времени перемещение с поста Председателя Президиума Верховного Совета СССР в ЦК. Отказаться он не мог и теперь переживал.

Эта примитивная версия владела мною многие годы. Только в последнее время, когда стали известны многие обстоятельства тех лет, все предстало в ином свете. Очевидно, к маю окончательно оформилось решение избавиться от Хрущева. Оставалось, видимо, продумать детали и возможные сроки. Тогда, в Ялте, Брежнев, вероятно, не смог скрыть своего истинного отношения к отцу.

Конечно, в тот солнечный день я не слишком задумывался о причинах дурного настроения Брежнева.

Корабль отошел от причала, и путешествие началось. Отец с

помощниками засели за бумаги, остальные члены делегации наслаждались майским солнцем или занимались своими делами. Всякого рода игры были в то время не приняты. Отца побаивались, а он не любил игр, считая их пустым времяпрепровождением. Ни футбол, ни домино, ни карты никогда не занимали его внимание и время. В его присутствии коллеги, за редким исключением, тоже не проявляли интереса к подобным развлечениям. Предпочитали беседу. Темами были строительство, сельское хозяйство или военные проблемы, в зависимости от обстоятельств и компании. Другое дело, когда отец уходил к себе.

Мне невольно вспомнилось недавнее прошлое. Тогда отец присутствовал на маневрах Черноморского флота. Наше Опытное конструкторское бюро (им руководил академик Владимир Николаевич Челомей) тоже демонстрировало свои достижения, и я находился среди участников. Все внимательно следили за пусками ракет, заинтересованно обсуждали доклады гражданских и военных специалистов. Затем объявили двухчасовой перерыв. Отец привычно собрал свою объемистую коричневую папку, позвал помощника и отправился в каюту.

— Пойду почитаю почту и поработаю над постановлением по флоту, — бросил он.

Отец ушел. На палубе остались Брежнев, Подгорный, Кириленко, Гречко, Устинов, министры, адмиралы, конструкторы. С лица Леонида Ильича спало напряженно-внимательное выражение. Глаза его повеселели.

— Что ж, Коля, — обратился он к Подгорному, — забьем козла? Принесли домино. Брежнев, Подгорный, Кириленко и Гречко отдались любимому занятию. К возвращению отца стол очистили.

«Армения» пересекала Черное море в направлении проливов. Все, кроме отца, отдыхали. К вечеру мы входили в проливы. Сопровождавшие нас корабли Черноморского флота, отсалютовав, легли на обратный курс.

Весь следующий день отец готовился к предстоящей встрече. На палубе вокруг легкого столика собрались члены делегации, советники, помощники. Проблем было много, но главной темой были более чем неаккуратные платежи египтян, их безалаберность. Наши корабли неделями ждали в портах разгрузки. Возникли и другие нелегкие проблемы. Военных беспокоило положение в египетской армии. Несмотря на современное вооружение, ее боеспособность оставалась крайне

низкой.

Наконец путешествие подошло к концу. На пирсе Александрийского порта нас встречал президент Гамаль Абдель Насер и другие высшие руководители республики. По всему многокилометровому пути до Каира делегацию восторженно приветствовали толпы египтян.

Насер понравился отцу своей напористостью, искренним желанием преобразовать страну. Правда, многое в его позиции настораживало отца: и расплывчатость положений арабского социализма, и планы создания гигантского арабского государства.

Переговоры проходили сложно. Заседания затягивались, нарушался отведенный протоколом регламент. Насер просил еще и еще оружия, отец соглашался удовлетворить его запросы, но настаивал на мирном сосуществовании с соседями. Не раз казалось, что согласованное решение найдено, оставалось последнее слово, последняя формулировка… И тут все начиналось сначала.

Споры, впрочем, не влияли на взаимное дружеское расположение, и когда раскрывались двери комнаты переговоров, руководители обеих стран появлялись с ослепительными улыбками на лицах.

В конце концов противоречия были преодолены.

Из Каира наш путь лежал в Асуан. На торжества перекрытия Нила собрались руководители дружественных арабских стран. Отец хотел воспользоваться благоприятным случаем и обсудить с ними тенденции политического и экономического развития региона. Наконец долгожданное событие произошло. Насер и Хрущев одновременно нажали на кнопку, раздался взрыв, и воды Нила хлынули в специально вырытый котлован и далее в обводной канал. Всем присутствующим вручили памятные золотые медали. Еще в день приезда президент Насер объявил о награждении отца высшей наградой Объединенной Арабской Республики орденом «Ожерелье Нила», которым отмечали лишь за особые заслуги, и то чрезвычайно редко. Этим жестом хотели продемонстрировать глубокое уважение к нашей стране, подчеркивались особые отношения между государствами арабского региона и Советским Союзом.

Сопутствовавшие этому награждению обстоятельства вызвали много кривотолков. А поскольку они были прямо связаны с последующими событиями, остановлюсь на них подробнее.

В соответствии с принятым международным этикетом и в знак особо дружеских отношений между странами необходимо было произвести адекватное награждение хозяев. Возникла

проблема: каким советским орденом можно наградить президента Насера и вице-президента, главнокомандующего вооруженными силами маршала Мухаммеда Амера.

Такие вопросы возникали и раньше. С руководителями братских стран было проще. Они придерживались социалистической ориентации, идеологическая основа у нас была единой, и легко находился эквивалент немецкому ордену Карла Маркса или болгарскому Георгия Димитрова.

В случае капиталистических или развивающихся стран все усложнялось. В первую очередь ни мы, ни они не хотели награждения знаком, связанным с нашими идеологическими, коммунистическими принципами. Отец несколько раз возвращался к вопросу об учреждении нового ордена со статутом, отражающим заслуги в укреплении дружбы между народами и государствами. Но надолго его внимание на этом вопросе не задерживалось. Он не был сторонником увеличения числа наград и, как только разрешалась возникшая проблема, терял интерес к новому ордену.

Когда посетивший нас в июле 1959 года с государственным визитом император Эфиопии Хайле Селассие I наградил Председателя Президиума Верховного Совета СССР Климента Ефремовича Ворошилова высшим орденом империи, все встали в тупик. Ведь не наградишь же монарха орденом Ленина или Красного Знамени. Наконец нашли выход из положения. Вручили ему орден Суворова I степени. Вспомнили, что высокий гость руководил борьбой своего народа с итальянскими фашистами.

Вот и сейчас Никита Сергеевич поинтересовался, какая наша награда соответствует ордену «Ожерелье Нила»? Из Президиума Верховного Совета СССР ответили: «Высшая». Такой наградой, не несшей впрямую идеологической нагрузки, у нас было звание Героя Советского Союза. Вспомнили прецеденты, когда это звание было присвоено Фиделю Кастро и Яношу Кадару.

Поэтому отец, долго не раздумывая, принял представление о присвоении звания Героя Советского Союза президенту Насеру и — по предложению маршала Гречко — маршалу Амеру. Андрей Андреевич Громыко, человек дотошный и чувствующий нюансы в международных отношениях, одобрил решение.

В Москву ушла соответствующая шифровка, и вскоре был получен положительный ответ в виде Указа Президиума Верховного Совета СССР за подписью Брежнева. Привезли и запечатанный сургучными печатями сверток с наградами.

В торжественной обстановке отец вручил ордена Насеру и Амеру. Казалось, вопрос исчерпан, международный этикет и ритуал соблюдены.

Но не тут-то было.

Неожиданно начались неприятные разговоры о том, что Хрущев, мол, путешествуя за границей, самовольно раздает ордена по принципу «ты — мне, я — тебе», игнорируя при этом Президиум ЦК и Президиум Верховного Совета СССР. К этому добавлялись слухи о якобы дорогих подарках, полученных отцом от правительства ОАР.

Я долго раздумывал, останавливаться ли мне в своих воспоминаниях на подобных щекотливых моментах. Ведь это тот случай, когда ничего нельзя доказать, а любое оправдание и опровержение выглядят даже в глазах дружески настроенного читателя более чем подозрительными. Легче было бы отмолчаться. Тем не менее я решил не уходить от обсуждения возникших тем летом кривотолков. Сегодня я убежден: это была очень тонко рассчитанная акция, направленная на дискредитацию отца, подготавливавшая общественное мнение и выяснявшая расстановку сил.

Суть первой части выдвинутых впоследствии обвинений сводилась к двум пунктам. Отцу инкриминировали, что он публично объявил о награждении, не дожидаясь согласия Президиума ЦК, а кроме того, президент Насер вообще недостоин этой награды. Разобраться в справедливости первого обвинения сейчас довольно трудно. Прошло много лет, и восстановить события по часам попросту невозможно. С одинаковой легкостью через четверть века очевидцы, в зависимости от своих симпатий и антипатий, могут поддержать или отвергнуть эту версию. Мне сама проблема представляется надуманной: во-первых, и раньше бывали прецеденты, а во-вторых, министр иностранных дел и Секретарь Президиума Верховного Совета, входившие в состав делегации, а также протокол МИДа подтвердили адекватность наград. Остальное — уже детали, чисто бюрократическая процедура. Как я уже говорил, указ последовал без возражений.

Достоин или недостоин глава дружественного государства награды, соответствующей его рангу, — вопрос, на мой взгляд, обывательский. Межгосударственные отношения не строятся на базе личных симпатий или антипатий, а сообразуются с высшими национальными интересами. В таком контексте вопрос, достойны Насер и Амер звания Героя Советского Союза или нет, очевидно, некорректен. Важно другое — правильной ли была политика Советского Союза на Ближнем Востоке, направленная на поддержку арабских стран? А уж ответив на это, легко решить, нужен ли был ответный жест на награждение Председателя Совета Министров СССР высшим орденом принимающей стороны, адекватное награждение признанных в то время лидеров

арабского мира.

Но логика логикой, а слухи распространяются по иным законам, и иначе расставляются акценты. Автору версии нельзя было отказать ни в уме, ни в ловкости. Чувствовался высокий профессионализм. Полагаю, что Шелепин с Семичастным задействовали в этой акции незадолго до того созданный в недрах КГБ отдел дезинформации — отдел «К».

Еще сложнее вопрос о ценных подарках. Здесь, как водится, все всё знают, никого не проведешь. Философия примитивна: все берут, а если кто-то не берет, значит, уже столько набрал, что больше некуда.

Однако же я вынужден разочаровать «доброжелателей»: ни тогда, ни раньше в нашем доме ценных подарков не хранилось. За этим следила мама. Ценности сдавались в ЦК нераспакованными или после беглого осмотра отцом. Он сам к ценным вещам и украшениям относился в высшей степени равнодушно, чем сильно отличался от Кириченко и Брежнева, которых могла привести в восторг красивая побрякушка. Куда девались эти вещи потом — не знаю. Одно время хотели устроить музей, но, памятуя о Музее подарков Сталину, отец категорически отверг предложенную идею. Все где-то оприходовалось и оседало. То и дело среди хранящихся у меня маминых бумаг попадаются описи сданных вещей.

Конечно, в доме накопилось множество адресов, сувениров, шкатулок, рисунков. Особенно много было макетов шахтерских ламп. Их дарили отцу все и по любому поводу — помнили его бывшую профессию. И сейчас с десяток таких ламп стоит у нас дома на полках. В резиденции на Ленинских горах для сувениров на первом этаже было сооружено два больших шкафа — витрины с зеркальными задними стенками. После отставки отца они остались там вместе со всем содержимым.

В условиях подготовки смены власти слух о том, что Хрущев нечист на руку, был, без сомнения, очень выгоден. Распространением его занимались те же профессионалы из КГБ. Он тщательно поддерживался, культивировался и подновлялся новыми «фактами», как только прежние переставали работать. Причем не прекратилось это и после отставки отца.

Прошло какое-то время. Тяжелые события ушли в прошлое, быт устоялся. Жил отец в Петрове-Дальнем. Для его нечастых поездок была выделена машина из кремлевского гаража. Это был «ЗИМ» выпуска конца 1940-х годов — единственный подобный автомобиль устаревшей марки во всем гараже. Там стояли машины членов Политбюро — «ЗИЛы», «Чайки», «Волги». Рассказывали, что появились «Мерседесы», «Кадиллаки», другие

престижные иномарки, но сам я, впрочем, их не видел.

Водители жаловались на «ЗИМ»: старый, ломается часто, а запчастей нет, ищут по всему Союзу.

Так вот, у этого «ЗИМа» был… частный номер. В гараже использовались разные номера — и сменные, и постоянные, но государственные, и только один частный…

…Вернусь к поездке в Египет.

После торжеств в Асуане президент Насер пригласил отца на рыбную ловлю в Красном море. 15 мая на президентской яхте «Сирия», стоявшей в Рас-Бенасе. Кроме самого президента Насера, вице-президента маршала Амера и других высших руководителей Объединенной Арабской Республики, отца и членов советской делегации собрались: Президент Алжира Бен Белла, Президент Ирака маршал Ареф, Президент Йемена маршал ас-Саляль и другие «рыбаки».

На следующий день вдали от берега, журналистов и чужих ушей на яхте велись откровенные разговоры о мире и войне в регионе, о проведении согласованной политики, о будущем арабского мира, о намерениях этих стран создать федерацию. На политическом горизонте, казалось, уже маячило объединяющее всех арабов Великое арабское государство. Я упоминал, что отец относился к этой идее скептически. Не скрывал он своих опасений и здесь, но обещал всяческую поддержку новым прогрессивным режимам со стороны Советского Союза.

Рыба осталась цела, поскольку за весь день удочки забросили от силы пару раз, и то лишь затем, чтобы показать северному гостю красноморскую экзотику.

На следующий день вернулись в Асуан. Визит проходил без происшествий, в соответствии с хорошо разработанной программой.

Наконец в понедельник, 25 мая отец самолетом вернулся в Москву, а 15 июня отбыл с новым визитом в скандинавские страны. Хрущев опять отсутствовал. У тех, кто готовил его отставку, руки были развязаны. Все нити управления государством и партией сходились к ним.

На середину июля назначили четвертую сессию Верховного Совета СССР шестого созыва. На ней предполагалось рассмотреть два вопроса, которые и на искушенный взгляд не могли вызвать драмы, разыгравшейся за кулисами в период подготовки сессии.

Первым пунктом стоял вопрос о мерах по выполнению Программы КПСС в области повышения благосостояния народа:
а) о пенсиях и пособиях колхозникам;

б) о повышении заработной платы работникам просвещения,

здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и общественного питания и других отраслей народного хозяйства, непосредственно обслуживающих население;

в) о переходе на пятидневную рабочую неделю.

Вопрос вносился Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров СССР. Докладчиком был Хрущев. Инициатива в постановке этой проблемы принадлежала ему.

Вторым вопросом повестки дня шло утверждение указов Президиума Верховного Совета СССР. Своей привычной формулировкой, кочующей из сессии в сессию, он казался и вовсе незначительным. Однако основные страсти разыгрались именно вокруг него. На этой сессии Верховного Совета отец наконец собрался окончательно оформить решение о переходе Брежнева с поста Председателя Президиума Верховного Совета СССР в ЦК.

Я постараюсь восстановить последовательность развития событий, какой она мне представляется сегодня.

Как я уже упоминал, в апреле 1963 года тяжело заболел Козлов, но отец еще надеялся на его возвращение к работе. Однако дел было слишком много, и в июне 1963 года Брежнева вновь избрали секретарем ЦК, поручив ему некоторые вопросы, находившиеся в ведении Козлова, в первую очередь оборонную промышленность. При этом он сохранил пост Председателя Президиума Верховного Совета.

Тем временем отец подыскивал ему замену: одному человеку совмещать два таких поста тяжело, а Брежневу предстоит все силы отдать работе в ЦК.

Предложений о конкретном кандидате у него на тот момент не было — должность в основном представительская, на нее нецелесообразно назначать делового человека, способного приносить пользу в другом месте. С другой стороны — глава государства. Этот пост должен занять человек с непререкаемым авторитетом, хорошо известный и в партии, и в народе.

Наконец его выбор остановился на Микояне. Уважаемое в стране и известное в мире имя, да и в следующем году ему исполнится семьдесят лет. Силы уже не те, здесь же он будет на месте. Кроме того, по мнению отца, Микоян мог оказаться полезным при реализации положений новой Конституции. Ее проект предполагалось обнародовать в конце 1964 года.

Когда отец обнародовал свою точку зрения, Брежнев, видимо, отбросил последние сомнения. Отныне он — активный участник в акции по устранению Хрущева.

К началу лета инициативная группа окончательно сложилась. Одним из основных исполнителей стал Председатель КГБ Семичастный. В 1957 году, когда в первый раз хотели сбросить

отца, не последнюю роль в провале этой затеи сыграл генерал Иван Александрович Серов, тогдашний Председатель КГБ, сохранивший верность ЦК и его Первому секретарю. Теперь Председатель КГБ выступал против Председателя Правительства.

В июне в преддверии сессии Верховного Совета Леонид Ильич одолевал Семичастного различными предложениями устранения Хрущева. Как свидетельствует Семичастный, далеко не джентльменского характера.

Перед возвращением отца из поездки в Объединенную Арабскую Республику Леонид Ильич был одержим идеей отравить его. Семичастному его замысел пришелся не по душе. В отстранении Хрущева от власти он участвовал охотно. Это сулило быстрый взлет. Ведь он входил в когорту Шелепина, чьи люди были расставлены на ключевых постах. Однако уголовщиной он заниматься не хотел, понимая, что рано или поздно это может быть использовано против него самого и его союзника Шелепина. Семичастный юлил, выискивал разнообразные контраргументы.

Вот как вспоминает об этом сам Владимир Ефимович в интервью главному редактору «Аргументов и фактов» В. Старкову:

— Было мне предложено Брежневым: «Может, отравить его?» Тогда я сказал: «Только через мой труп. Ни в коем случае. Никогда я на это не пойду. Я не заговорщик и не убийца… Потом, обстановка в стране не такая, и такими методами нельзя идти».

Вопрос: Как отравить?

Семичастный: Кто-то должен был. Службе я своей должен был приказать… Поварам.

Вопрос: Поставить тем самым себя под угрозу?

Семичастный: Да, дурацкое дело. Я тогда приехал, возразил… В конце концов Брежнев согласился, что идея отравить Хрущева неосуществима.

Через несколько дней у Брежнева появился новый план — устроить авиационную катастрофу при перелете из Каира в Москву.

— Самолет стоит на чужом аэродроме, в чужом государстве. Вся вина ляжет на иностранные спецслужбы, — убеждал он Семичастного.

С Хрущевым летает преданный ему экипаж. Первый пилот — генерал Цыбин, вы знаете, начал летать с ним еще подполковником в 1941-м. Прошел всю войну. Да и как вы все это представляете? Мирное время. Кроме Хрущева, в самолете Громыко, Гречко, команда и, наконец, наши люди — чекисты. Этот вариант абсолютно невыполним, — собеседник отказался наотрез.

Брежнев на осуществлении своего плана больше не настаивал. Советская делегация благополучно возвратилась в Москву. Никто не знал о состоявшемся разговоре. Однако Брежнев не успокаивался.

В начале июня отец собирался в Ленинград. На 9-е число там была запланирована однодневная встреча с Президентом Югославии Иосипом Броз Тито. Отец выехал днем раньше, решил познакомиться с ходом жилищного строительства в Ленинграде, подготовиться к встрече, да и очень хотелось съездить в Петродворец, взглянуть на восстановленные фонтаны.

Тогда Брежневу пришла идея устроить автокатастрофу. Но и тут он, очевидно, не нашел поддержки.

Из Скандинавии Никита Сергеевич возвращался за неделю до открытия сессии. У Леонида Ильича совсем не оставалось времени.

В этом цейтноте появилось последнее, отчаянное предложение: арестовать Хрущева в момент его возвращения из Швеции и поместить в охотничьем хозяйстве Завидово неподалеку от Калинина (Твери). Везти такого пленника в Москву Брежнев опасался. Однако и это предложение не встретило одобрения ни у Семичастного, ни у других участников затеи. Они предпочитали более верный и менее авантюрный путь.

К сожалению, свидетельство Семичастного об этом факте лаконично. Он лишь отметил:

— Это длилось долгое время… Так был же вариант и такой, когда, понимаешь, он приехал из Швеции: остановить поезд где-то в районе Завидово, арестовать и привезти. Был и такой вариант…

В это же время начались активные переговоры с членами Президиума ЦК, секретарями обкомов, министрами, военными.

Наиболее важные переговоры Брежнев, Подгорный, Шелепин вели сами, но их на всех не хватало и по мере разрастания заговора приходилось привлекать других людей, естественно, абсолютно доверенных.

Исключительную роль сыграл земляк Брежнева днепропетровец Николай Романович Миронов. Еще до войны они вместе работали в Днепродзержинске. С 1951 по 1959 год Миронов служил в КГБ, последние три года начальником управления по Ленинградской области. С секретарем областного комитета партии Козловым они ладили, и в 1959 году Фрол Романович, к тому времени уже обосновавшийся в Москве, рекомендовал его Хрущеву. Миронова взяли в ЦК заведовать отделом административных органов, курировавшим назначения в армии, госбезопасности, прокуратуре, судах и милиции. Тогда-то

он и сошелся с председателями КГБ — Шелепиным и его преемником Семичастным. Когда Козлова разбил паралич, Миронов переориентировался на Брежнева, благо они знали друг друга не только по Днепродзержинску, в 1947–1950 годах Леонид Ильич возглавлял Днепропетровскую областную партийную организацию, а Николай Романович в 1949 — 1951-м — соседнюю Кировоградскую. Теперь в Миронове нуждались и Шелепин с Семичастным, и Брежнев с Подгорным. Он смог поставить себя так, что выигрывал при любом раскладе.

В качестве заведующего отделом ЦК Миронов общался практически со всеми мало-мальски имевшими значение людьми, со многими он переговорил и почти всех уговорил.

Среди «комсомольцев», людей Шелепина, выделялся своей активностью Николай Григорьевич Егорычев, сорокачетырехлетний секретарь Московского областного комитета партии. Егорычев входил в число тех, кому власть и так шла в руки, ведь отец намеревался передать ее молодым, но тот не хотел ждать, рассчитывал получить все и сразу. Егорычев, в отличие от Миронова, не осторожничал, старался охватить, как можно больше потенциальных союзников, но судьба в лице Семичастного его хранила. Он склонил на сторону заговорщиков «президента Академии наук Келдыша, министров Вячеслава Петровича Елютина, Анатолия Ивановича Костоусова, Евгения Федоровича Кожевникова, председателя Исполкома Ленсовета Василия Яковлевича Исаева, Первого секретаря Ленинградского горкома партии Георгия Ивановича Попова, вице-президента Академии наук Владимира Алексеевича Кириллина».

А вот Суслов (с ним Егорычев заговорил в июне 1964 года в Париже, где они оказались вместе в составе советской делегации) от обсуждения опасной темы уклонился. Также как и Первый секретарь ЦК партии Литвы Антас Юозович Снечкус (с ним Егорычев безрезультатно пытался установить контакт в августе 1964 года в Паланге, куда специально приехал для «наведения мостов»).

Не повезло Егорычеву и с секретарем Ленинградского обкома Василием Сергеевичем Толстиковым. Тот, по словам Николая Григорьевича, так и не понял, о чем идет речь, и убеждал его, что «Хрущев — молоток!».

«К моим доводам Толстиков остался глух», — заключает Егорычев.

«Откровенно негативно к планам смещения Хрущева отнесся Михаил Авксентьевич Лесечко, заместитель Председателя Совета Министров СССР, — продолжает Егорычев, — я его хорошо знал еще по работе в райкоме партии, он у нас в районе

директорствовал на заводе Счетно-Аналитических машин. В беседе со мной он сказал: “Имей в виду — лучше после Хрущева не будет”».[5]

Особую роль играли Николай Григорьевич Игнатов, но о нем речь пойдет дальше, и Устинов, тоже сталинист, старый знакомый Брежнева, после войны он курировал строительство ракетного завода в Днепропетровске, где Леонид Ильич возглавлял областную партийную организацию. Дмитрию Федоровичу поручили вербовать сторонников среди промышленников.

Как видим, команда подобралась солидная и подготовку они вели основательно. С одними говорили открыто, других лишь осторожно прощупывали, третьих решили до поры не посвящать в дело. Ведь любая утечка информации грозила крахом всему замыслу. Дата окончательного решения не была определена. В одном сходились все — завершить дело надо к концу этого года.

Брежнев и иже с ним «работали» не с одними членами Центрального Комитета, по мере возможностей они готовили общественное мнение, предпринимали все для дискредитации Хрущева в стране. И, кажется, все для этого делалось. В регионах, с руководителями которых удалось найти общий язык, из магазинов исчезали продукты, предметы первой необходимости. Выстраивались многочасовые очереди за любыми товарами, в том числе и за хлебом. Полки должны были заполниться снова только после устранения от власти «источника всех бед», буквально на следующий день.

В этом свете вызывала опасения повестка дня предстоящей сессии Верховного Совета, открывавшейся в понедельник, 13 июля.

Отец давно вынашивал вопрос об установлении пенсий колхозникам. Это был не только экономический, но и крупный политический шаг. Тем самым они приравнивались к рабочим, обретали равный со всеми социальный статус. Одновременно он хотел решить и другой больной вопрос: увеличить мизерные ставки учителям, врачам и работникам, занятым в сфере обслуживания.

И пенсии, и прибавки были невелики, особенно по нынешним меркам, но и на них средства отыскать было очень трудно. В начале года отец проводил многочасовые разговоры со специалистами, руководителями ведомств. В результате деньги наскребли, и он готовил обстоятельный доклад к предстоящей сессии.

Отменить или затормозить принятие этих решений было невозможно. Слишком долго и подробно готовился вопрос.

Подходящего предлога не находилось. Брежнев и его команда нервничали. Ход их рассуждений, очевидно, был прост: «Хрущев, сделав доклад, опять свяжет свое имя с мероприятиями, обеспечивающими улучшение условий жизни многим людям. Это поднимет его популярность, сильно подмоченную повышением в 1962 году цен на мясо, молоко и масло. Как себя поведут люди при его устранении, предсказать трудно…»

Эти опасения были не слишком обоснованны, но они, вероятно, были. Тем не менее изменить им ничего не удалось. Вопрос остался в повестке дня.

Иначе сложилось с предложением отца установить два выходных дня в неделю. Этот вопрос не менее тщательно прорабатывался с начала года. На первых порах особых возражений не было, ведь почти весь мир к тому времени строил свой трудовой распорядок таким образом. Но в июне вдруг возникли почти неразрешимые трудности. Отцу стали доказывать, что переход на пятидневную неделю внесет дезорганизацию в работу многих отраслей народного хозяйства. В качестве основных аргументов приводились возможные затруднения на предприятиях с непрерывным характером производства: в металлургии, химии, нефтехимии. Высказывались опасения, что, несмотря на сохранение продолжительности рабочей недели в часах, общий объем выпуска продукции при переходе на пятидневку может упасть.

Давление на Хрущева оказывалось планомерно со всех сторон: ведомства, аппарат Совета Министров и аппарат Секретариата ЦК. Отец спорил, выдвигал контрдоводы, поколебать его не удавалось. Особенно рьяным противником перехода на новую неделю был секретарь ЦК А. П. Рудаков, отвечавший за работу промышленности.

До сессии оставалась неделя. Отец засел за окончательную подготовку доклада. Этого дела он никогда не доверял помощникам. На первом этапе отец обычно диктовал стенографисткам черновые мысли, часто вразброс. Расшифрованный текст приглаживали помощники с привлечением необходимых, в зависимости от темы выступления, специалистов по международным, промышленным, военным, сельскохозяйственным и другим вопросам.

Затем текст возвращался к отцу и начиналось редактирование. Он перекраивал композицию доклада, надиктовывал или выбрасывал отдельные куски, и так до тех пор, пока не добивался четкого выражения своих мыслей. На этом его активное участие в работе заканчивалось — теперь помощники со специалистами подбирали подходящие цитаты и представляли

окончательный вариант. Отец его внимательно читал, вносил последние коррективы, и текст готов.

Правда и другое. Очень часто в своих выступлениях он не любил придерживаться бумажки, вообще отходил от написанного текста. Отец любил повторять одну из заповедей Петра I, запрещавшую читать речи по писанному, «дабы дурость каждого видна была». Такой стиль делал его выступления живыми, образными, позволял чутко реагировать на конкретную обстановку и выявлять реакцию слушателей.

Справедливости ради надо отметить, что иногда в запале выступления им высказывались и незрелые мысли, возникшие спонтанно в процессе произнесения речи. В этих случаях при подготовке текста к печати отцу приходилось устранять огрехи.

Все это, конечно, не касалось так называемых протокольных выступлений: при встречах и проводах иностранных делегаций, выступлений на приемах и других подобных мероприятиях. Эти речи, как и во всем мире, готовили соответствующие службы и представляли их отцу для окончательного зачтения уже в готовом виде.

Вот и сейчас он дошлифовывал свое предстоящее выступление на сессии Верховного Совета.

Рудаков решил пойти в обход. Ему удалось уговорить Аджубея попытаться воздействовать на тестя. Не знаю уж, какие аргументы оказались для Алексея Ивановича решающими, но он согласился.

Тем летом отец часто ночевал на даче, расположенной неподалеку от совхоза Горки-II, в сосновом бору на берегу Москвы-реки. Построили этот дом для Председателя Совета Народных Комиссаров Алексея Ивановича Рыкова, но об этом говорили глухо, вполголоса. Потом дачу занимал Молотов. Сейчас ее называют Горки-9.

Отцу понравилась обширная территория с длинной прогулочной дорожкой вдоль забора, без заметных подъемов и спусков, которые становились для него все более чувствительными. По этой дорожке отец обходил территорию каждый вечер, возвращаясь с работы. Завершалась прогулка на лугу, отделявшем территорию дачи от Москвы-реки.

Если на даче в Усово, где до последнего времени жил отец, пространство между забором дачи и рекой не было огорожено и заполнялось в солнечные дни массой москвичей, приезжавших позагорать и искупаться, то на доставшейся в наследство от Молотова даче проходы на луг с двух сторон были перегорожены колючей проволокой. Правда, состояние ее было не лучшим: то тут, то там зияли огромные дыры.

Охрана регулярно обходила периметр дачи по этому коридору. Рваная колючая проволока служила своеобразной приманкой для бродивших по окрестным лесам парочек. И в самый интересный момент из густых кустов появлялся человек в форме и требовал документы. Обычно дело кончалось мирным исходом: ретированием «нарушителей» и красочным рассказом бдительного стража в дежурке.

Однажды в кустах у самой кромки берега Москвы-реки охрана наткнулась на любопытную парочку. В ответ на требование предъявить документы молодой человек долго отнекивался, но когда понял, что выхода нет, показал удостоверение сотрудника посольства Великобритании.

Обе стороны были в шоковом состоянии. С перепугу охрана задержала обоих, хотя «злоумышленники» вразумительно объяснили, что они приплыли на лодке с пляжа на Николиной горе, где обычно летом отдыхают сотрудники иностранных представительств. Не зная, как поступить, дежурный начальник охраны поспешил к отцу с докладом о возможных намерениях задержанных разведать подступы к объекту.

Отец улыбнулся:

— А спутница у вашего шпиона симпатичная?

— Вполне, — замялся офицер.

— Пусть плывут, куда хотят. Не мешайте людям отдыхать. Боюсь, что она интересует вашего «разведчика» значительно больше, чем я, — отмахнулся отец, приостановив «международный конфликт».

Когда мы переехали сюда, луг зарос густой травой. Справа в углу было маленькое болотце. Летом здесь жил коростель. Отец, заслышав его знакомый с детства голос, останавливался, вслушивался, и лицо его расплывалось в улыбке. Эта птица была нашей достопримечательностью. У кромки леса на лугу стояла круглая зеленая беседка, а в ней плетеный стол и такие же кресла. Летом по выходным отец читал здесь бумаги или газеты. Тут же собирались и частые гости. Помню, в один из приездов в СССР гостивший у нас на даче Фидель Кастро фотографировал здесь нашу семью.

На этом лугу отец решил устроить опытное сельскохозяйственное угодье. Вдоль дорожки высадили кусты калины. Отец очень любил и ее белые цветы по весне, и красные грозди ягод осенью. Слева и справа от дорожки разбили грядки. На них росли разные овощи: морковь, огурцы, помидоры, кабачки, салат — словом, все, что должно расти на хорошем огороде.

Отдельно располагались грядки с культурами, чем-либо

особо заинтересовавшими отца. Помню, вначале это были просо и чумиза. Отец помнил ее еще по Донбассу и решил сам проверить слухи о высокой урожайности этой китайской гостьи. Чумизу сеяли несколько лет. Каша из нее стала регулярным нашим блюдом. Но сведения об урожайности не подтвердились: подмосковный климат оказался для нее слишком суров.

Место чумизы заняла кукуруза. Рядками высевались разные сорта, посевы делались в разные сроки, по-разному обрабатывались. Отец внимательно следил за ростом растений. Это было не просто увлечение. Он хотел сам убедиться, пощупать результат своими руками. Рапортам он доверял мало, зная, как часто урожаи остаются на бумаге. Еще с Украины у него сложилась привычка объезжать поля, чтобы своими глазами увидеть сев, а потом и урожай.

Всякий приезд Первого секретаря ЦК в областной центр местное начальство старалось начать с обеда. После него Хрущев, мол, подобреет. В те времена он ездил чаще всего в открытой машине. Из нее лучше было видно, что творится на полях, можно остановиться в любом месте, расспросить селян, узнать их мнение, а оно часто оказывалось ценнее официальных сводок.

Бронированным «ЗИС-110», положенным членам Политбюро, он не пользовался. И тот без дела пылился в гараже ЦК.

Испытав несколько «теплых» встреч, отец придумал ответный ход. Он купил огромную чугунную сковороду. Чтоб она не пачкалась в багажнике автомобиля, заказал жестяной футляр. Теперь, подъезжая к областному центру, он не спешил, находил в придорожных посадках место поуютнее и делал привал. Быстро разводили костер, доставали вскоре ставшую легендарной сковородку и жарили яичницу с салом и помидорами. Да такую, чтобы хватило всем — и помощникам, и водителю.

Отец любил в лицах рассказывать о встречах с секретарями обкомов.

— С дороги, Никита Сергеевич, просим к обеду.

Отец хитро улыбался:

— Спасибо, мы только что пообедали. Давайте лучше займемся делом. Поехали по полям, а по дороге вы мне все расскажете.

Конечно, эта хитрость очень скоро стала всеобщим достоянием, но отец и не делал из своей выдумки секрета.

Главного он добился: по приезде в обком начинали с работы, а обедали поздно вечером.

Вернемся к событиям июля 1964 года.

В один из вечеров недели, остававшейся до сессии Верховного Совета, мы гуляли по лугу. Кроме отца, меня и

Аджубея был, возможно, кто-то еще.

Алексей Иванович со свойственными ему красноречием и убежденностью доказывал, что переход на пятидневную неделю несвоевремен, не подготовлен и может повлечь за собой серьезные отрицательные последствия. Отец молча слушал.

Хорошо помню этот разговор; я был молод, мне ужасно хотелось иметь два выходных. Постепенно я заметил, что отец начал колебаться. Алексей Иванович находил нужные доводы. Тогда я решил вмешаться и робко возразил. Получилось неуклюже, и отец только отмахнулся:

— Не мешай.

В конце концов он сдался. Алексей Иванович просиял. Третий подпункт первого пункта повестки дня сняли. Он стал активом на послехрущевские времена. В ноябре 1967 года Брежнев поднесет второй выходной день советским людям в качестве собственного подарка к 50-летию Октябрьской революции 1917 года.

Сессия прошла без происшествий. 15 июля после принятия Закона «О пенсиях и пособиях членам колхозов» слово вновь взял отец.

— Товарищи депутаты!

Вы знаете, что товарищ Брежнев Леонид Ильич на Пленуме ЦК в июне 1963 года был избран секретарем Центрального Комитета партии. Центральный Комитет считает целесообразным, чтобы товарищ Брежнев сосредоточил свою деятельность в Центральном Комитете партии как секретарь ЦК КПСС.

В связи с этим Центральный Комитет вносит предложение освободить товарища Брежнева от обязанностей Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

На пост Председателя Президиума Верховного Совета Центральный Комитет партии рекомендует для обсуждения на данной сессии кандидатуру товарища Микояна Анастаса Ивановича. При этом имеется в виду освободить его от обязанностей первого заместителя Председателя Совета Министров СССР.

Думаю, что нет надобности давать характеристику товарищу Микояну. Вы все знаете, какую большую политическую и государственную работу проводил и проводит Анастас Иванович в нашей партии и Советском государстве. Он зарекомендовал себя как верный ленинец, активный борец за дело коммунизма. Его деятельность известна нашему народу на протяжении десятилетий. Она известна не только у нас в стране, но и за ее пределами.

Центральный Комитет партии считает, что товарищ Микоян достоин того, чтобы доверить ему большой и ответственный пост

Председателя Президиума Верховного Совета Советского Союза.

Товарищи!

Мы надеемся, что депутаты поддержат и примут предложение Центрального Комитета партии. Я позволю себе до голосования — хотя это может показаться несколько преждевременным — выразить сердечную благодарность Леониду Ильичу Брежневу за его плодотворную работу на посту Председателя Президиума Верховного Совета, а Анастасу Ивановичу Микояну от всей души пожелать больших успехов в его деятельности на посту Председателя Президиума Верховного Совета. (Бурные, продолжительные аплодисменты.)

На этом, собственно, все и закончилось. Депутаты дружно проголосовали за кандидатуру Микояна и приняли постановление:

«Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:

В связи с занятостью на работе в ЦК КПСС освободить товарища Брежнева Леонида Ильича от обязанностей Председателя Президиума Верховного Совета СССР».

Давно созревшее решение получило юридическое оформление.

Обстановка, с которой столкнулся в Президиуме Верховного Совета Анастас Иванович после назначения на новый пост, ему крайне не понравилась. Начал он с кадров. Начальнику Секретариата Президиума Верховного Совета Константину Устиновичу Черненко предложили освободить место. Пришлось Леониду Ильичу подыскивать своему приятелю место в ЦК. Большого труда это не составило.

После сессии и окончательного перехода на новое место Брежнева, видимо, раздирали противоречивые чувства. Очевидно, с одной стороны, он несколько успокоился, поскольку, хотя решение сессии было малоприятным, тем не менее в стане его сторонников прибывало, и недалек, казалось, час торжества. С другой стороны, его не покидало беспокойство: что произойдет, если Хрущев хотя бы заподозрит что-то? Но подготовка к смене власти вступала в решающую фазу, она требовала встреч, разговоров, подключения все новых людей. Менять планы уже было поздно.

После сессии в июле-августе начинался период отпусков. Жизнь замедлялась. Как обычно, Леонид Ильич отправился в Крым…

Отцу же о летнем отдыхе думать пока не приходилось: в конце июля намечался большой праздник в Польше — 20-летие образования народного государства. Несколько раз звонил

Гомулка, просил приехать, поскольку визиту Хрущева он придавал особое значение. Отец конечно же не мог отказать своему старому другу.

А затем надо было обязательно проехать по восточным районам страны, чтобы самому посмотреть, как на целине готовятся к уборке урожая.

Опять отец уезжал из Москвы, оставив, пока Брежнев был в отпуске, «на хозяйстве» Подгорного. Все складывалось для них чрезвычайно благоприятно.

Нужно было максимально использовать лето, поскольку такого случая потом не представится: секретари обкомов, председатели исполкомов уходили в отпуск и съезжались в санатории Крыма и Кавказа. Здесь, не привлекая особого внимания, в непринужденной обстановке можно было прощупать их настроение. Ведь поездки по областям и республикам могли возбудить ненужное любопытство.

Новый пост Второго секретаря ЦК в этом смысле предоставлял обширные возможности — именно на нем лежала работа с обкомами. Но одно дело разговор в кабинете, а другое — за рюмкой хорошего коньяка на юге. В сомнительном случае все можно легко перевести в шутку, заглушить анекдотами. Ведь о чем только не болтают на отдыхе?…

В Крыму Брежневу удалось, насколько это сейчас известно, переговорить со многими. Общая кадровая ситуация складывалась в его пользу — Хрущевым были недовольны, казалось, все. Хрущев, судя по расстановке сил, не мог иметь поддержки ни в Президиуме ЦК, ни на Пленуме.

Славословия в адрес Хрущева в выступлениях Брежнева, Подгорного и других в то время лились потоком.

К этому периоду относится вторая беседа Шелеста с Брежневым.

Вот как вспоминает об этой памятной встрече сам Петр Ефимович.

«…Визит Брежнева.

Я отдыхал в Крыму, он неожиданно ко мне приехал. Это было в июле 1964 года.

Он не уговаривал меня, он просто рыдал, ударялся в слезу. Он же артист был, большой артист. Вплоть до того, что, когда выпьет, — взгромоздится на стул и декламацию какую-то несет. Не Маяковского там и не Есенина, а какой-то свой каламбур.

…Он приехал ко мне:

— Как живешь? Как дела?

— Да как живу, — отвечаю, — работа сложная.

— Как тебя, поддерживают?

— Если бы не поддерживали, нечего и делать. Только суму брать и удирать. Демьян Сергеевич Коротченко оказывает большую поддержку. Опытный человек. Секретари обкомов поддерживают.

— А как у тебя взаимоотношения с Хрущевым?

— Как младшего со старшим. А что ты мне такой вопрос задаешь? Ты там ближе, в Москве работаешь.

— Он нас ругает, бездельниками обзывает.

— А может, и правильно?

— Нет, с ним нельзя работать.

— А чего же ты тогда на семидесятилетии выступал? “Наш товарищ, наш любимый, наш вождь, руководитель, ленинец и так далее”. Что же ты не выступил и не сказал: “Никита, с вами нельзя работать!”

— Мы просто не знаем, что с ним делать. Я решил держаться на расстоянии.

— Вы сами там и разбирайтесь. Мы в низах работаем. Какие нам директивы дают, такие и выполняем… А что вы хотите сделать? — все-таки разрешил я себе проявить сдержанное любопытство.

— Мы думаем собрать Пленум и покритиковать его.

— Так в чем дело? Я — за».

На этом разговор, больше напоминающий осторожный зондаж, прекратился. Брежнев свернул разговор и уехал — видимо, что-то в ответах Шелеста насторожило его.

Как я уже писал, когда отец отдыхал в Крыму или на Кавказе, там часто проводились совместные встречи руководства нашей страны с руководителями социалистических стран, коммунистических партий, к нему приезжали отдыхавшие поблизости ведущие ученые, конструкторы, члены правительства.

Проходили такие встречи непринужденно. Все приезжавшие были с семьями, ведь собирались отдыхающие. Обычно такие мероприятия проводились в бывшем дворце Александра III в горах над Ялтой.

Очевидно, есть смысл рассказать кое-что об истории крымских дворцов.

До войны в них размещались санатории. При подготовке Ялтинской конференции глав антигитлеровской коалиции в конце войны Ливадийский, Алупкинский и некоторые другие дворцы были срочно приведены в порядок и приспособлены для размещения в них делегаций. Конференция закончилась, а дворцы остались в ведении НКВД. Никто уже не вспоминал старый лозунг «Дворцы должны принадлежать народу!».

Ливадийский дворец считался дачей Сталина, хотя он там

отдыхал лишь однажды. В Воронцовском, в Алупке, поселился Молотов. Остальные не имели персональной привязки. После смерти Сталина отец вспомнил о старом решении, предписывавшем передать дворцы знати в пользование народу, и провел постановление правительства об использовании их под профсоюзные дома отдыха. Однако они оказались плохо приспособленными для массового отдыха, и вскоре в большинстве из них были устроены музеи. И только расположенный в горах над Массандрой Александровский дворец так и остался на правах государственной дачи. Его решили использовать как резиденцию для приема высоких иностранных гостей. Большую же часть времени он пустовал.

Отдыхая в Крыму, отец иногда заезжал туда, гулял по пустынным аллеям парка. Видимо, во время таких прогулок у него и возникла идея этих встреч. Обычно гости собирались с утра, все вместе гуляли, играли в городки, волейбол. Просто сидели на лавочках, беседуя. Заканчивалось все обедом на открытом воздухе. Без отца такие мероприятия не устраивались. Сначала, видимо, потому, что это была его затея, а потом, очевидно, никто не осмеливался занять его место.

В этом году Леонид Ильич впервые взял инициативу на себя.

Нужно сказать, что, несмотря на общую непринужденность встреч, этикет выдерживался строго. Гости приезжали с семьями, но отдельно от главы семьи ни жен, ни детей не приглашали никогда.

Тем летом в одном из ялтинских санаториев отдыхала моя старшая сестра Юлия Никитична. Она была чрезвычайно удивлена, когда получила приглашение на такую встречу, устраиваемую Брежневым. В этом необычном приглашении, видимо, сыграли роль прямо противоположные эмоции. С одной стороны, Леониду Ильичу очень хотелось показать и, очевидно, в первую очередь себе, что он тут без пяти минут хозяин. С другой — опасаясь Хрущева, он демонстрировал верноподданнические чувства, пригласив Юлию Никитичну.

Сестру поразило поведение Брежнева на приеме. Причем говорила она об этом еще до отставки отца. По ее словам, Брежнев вел себя как полновластный хозяин и был со всеми необычайно фамильярен. Таким она его не видела никогда. К концу вечера он даже забрался на стул и стал декламировать стихи собственного сочинения. По всему чувствовалось, что он чрезвычайно доволен собой.

Резкая перемена в поведении Леонида Ильича вызвала недоумение у многих, но мотивов ее не разгадал никто. Как у нас водится, решили, что он выпил лишнего.

В августе аналогичная история приключилась и со мной. Отца тогда не было в Москве, он уехал на целину. По служебным делам мы с коллегами поехали в Центр подготовки космонавтов. Приняли нас радушно. Мы ходили по залам, разглядывали тренажеры, разговаривали с космонавтами. Сопровождал нас генерал Николай Петрович Каманин, в то время заместитель начальника Главного штаба ВВС, занимавшийся вопросами подготовки космонавтов. В конце этой экскурсии мы зашли в одну из лабораторий посмотреть тренажер первого пилотируемого корабля «Восток». Внезапно в дверь вбежал запыхавшийся адъютант Каманина:

— Товарищ генерал! Товарища Хрущева просили позвонить товарищу Брежневу. Только что звонили из ЦК.

Представьте мое удивление: ведь никогда прежде Леонид Ильич мне не звонил — кто я и кто он?… Я быстро прошел с адъютантом в кабинет Каманина и набрал номер телефона Брежнева в ЦК.

Он поднял трубку:

— Вот что, — услышал я, — Никиты Сергеевича нет, а завтра открытие охоты на уток. Мы все едем в Завидово, приглашаю и тебя. Ты поедешь?

— Конечно. Спасибо, Леонид Ильич. В субботу вечером буду там, — обалдело ответил я, пораженный предложением.

Я не ожидал от члена Президиума ЦК личного приглашения на утиную охоту! Отец, бывало, брал меня, но исключительно в виде «бесплатного приложения». Иногда привозил с собой сына и Дмитрий Степанович Полянский. Но одно дело поехать на охоту с отцом, а тут вдруг приглашают на равных. Не скрою, такое приглашение мне очень польстило.

Когда я вернулся в лабораторию, Каманин смотрел на меня влюбленными глазами.

— Наверное, Леонид Ильич вам частенько звонит? — спросил он. Я не знал, что ответить, и пробормотал:

— Да. Нет… Не очень…

В то время я не слишком задумывался над этим звонком, приняв его за простой знак внимания и симпатии.

Вернувшись в Москву, отец спросил меня:

— Ну как поохотился? Мне по телефону Брежнев сказал, что он тебя не забыл и пригласил с собой в Завидово.

Видимо, этот звонок был еще одним шагом, чтобы задобрить отца. Другого объяснения я, признаться, не нахожу.

Однако едва ли утиная охота была главной целью, привлекшей в тот сезон в Завидово Брежнева, Подгорного, Полянского и других «охотников».

В уютных домиках, вдали от чужих любопытных глаз и ушей, они имели большие возможности обработать тех, кого после долгих колебаний решились посвятить в свои планы.

Вот что говорит об этом Геннадий Иванович Воронов, в то время член Президиума ЦК, Председатель Совета Министров РСФСР:

— Все это готовилось примерно с год. Нити вели в Завидово, где Брежнев обычно охотился. Сам Брежнев в списке членов ЦК ставил против каждой фамилии плюсы (кто готов поддержать его в борьбе против Хрущева) и минусы. Каждого индивидуально обрабатывали.

Вопрос: Вас тоже?

— Да. Целую ночь!

Нити вели не только в Завидово, но и в Крым, и на Кавказ, и в другие уголки страны.

Тогда я, понятно, не подозревал, что судьба уготовила мне роль одного из активных если и не участников, то наблюдателей надвигавшихся событий.

Глава вторая
Октябрь

Кончилось лето. Стало прохладнее, на деревьях пожелтели листья. Ушли в прошлое хлопоты об урожае 1964 года, поездки по сельскохозяйственным районам. Закончились и намеченные на 1964 год зарубежные поездки.

Осенью отец надеялся отдохнуть, собраться с мыслями и наметить планы на будущее. Замыслы были обширные: в ноябре — декабре должен был состояться очередной Пленум ЦК, на котором ожидали принятия важных решений. Одним из центральных вопросов был вопрос о положении в сельском хозяйстве. За истекшее десятилетие производство сельскохозяйственных продуктов возросло, но эффективность была далека от тех наметок, к которым стремился отец. Закупленные за границей комплексные фермы не обеспечивали в наших условиях обещанного выхода продукции.

Другой не менее важной проблемой была кадровая политика. Президиум ЦК КПСС старел — возраст большинства его членов приближался к шестидесяти, а сам отец только что отпраздновал семидесятилетие. Все чаще и чаще он возвращался к мысли: а кто же придет на смену, в чьи руки передать управление страной и партией? Умер Сталин, и пути его соратников разошлись, начались споры, разногласия. Кончилось все открытой схваткой. Подобного допускать нельзя, считал отец, выход один — законодательно установить сменность руководства и гласность. Если каждый член Президиума будет знать, что ему отводится, скажем, два срока по пять лет, он будет больше думать о деле, смелее действовать, меньше оглядываться по сторонам. Да и подрастающее поколение в ЦК, в обкомах будет видеть для себя перспективу.

Очередной, XXII съезд уже принял решение о сменности партийного руководства, но это только первый шаг. Нужно идти дальше, утвердить те же принципы в Конституции. Я уже останавливался на этой проблеме в предыдущей главе.

Самое подходящее время для работы над новой Конституцией — отпуск. Там, на мысе Пицунда, меньше будут отвлекать «пожарными» вопросами. Конечно, телефон не выключишь и присылаемые бумаги отнимают время, но разве можно это сравнить с московской суетой? Да и думается там, под соснами, лучше.

Я слышал о планах отца. На Пленуме для начала собирались

расширить состав Президиума ЦК. За последние годы, считал отец, выросла молодежь: Шелепин, Андропов, Ильичев, Поляков, Сатюков, Харламов, Аджубей. Очень инициативные товарищи. Они живо откликаются на новые предложения, на лету улавливают мысль, развивают ее, сразу же вываливают ворох предложений. С ними интереснее, живее идет работа. По существу, в решении многих партийных и государственных дел они играют не меньшую роль, чем члены Президиума, и целесообразно оформить сложившееся положение — обновить Президиум ЦК. Эта молодежь и должна прийти на смену. Но все это следовало еще и еще раз обдумать.

К сожалению, в отпуск удастся поехать не раньше октября. С весны откладывается смотр новой ракетной техники, а Малиновский нажимает — нужно принять решение о постановке на вооружение новых межконтинентальных ракет. Смотр новых видов ракетного оружия на Байконуре после многократных переносов был окончательно назначен на сентябрь. Вместе с Хрущевым должны были поехать секретари ЦК, отвечавшие за оборонную промышленность: Брежнев и Кириленко, Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Устинов. На полигоне их ожидали министры, командующие военными округами, конструкторы.

К сентябрю вся подготовка была закончена, утрясались последние детали — кто будет сопровождать высокое начальство. А поскольку число желающих во много раз превышало количество мест, списки придирчиво проверяли в ЦК и куратор оборонной промышленности в ЦК Иван Дмитриевич Сербин безжалостно вычеркивал лишние фамилии.

Мне очень хотелось попасть в число счастливчиков, ведь на всех прежних смотрах я был среди демонстраторов новой военной техники в нашем ОКБ. Недавно завершилась разработка межконтинентальной ракеты. Сейчас решалась ее судьба. Будут выслушаны мнения сторонников и оппонентов и принято окончательное решение о запуске в серию.

К своей радости, я остался в списках. Началась предотъездная суета. Однако судьбе было угодно распорядиться иначе. За несколько дней до отъезда у меня разболелась нога. Я поначалу не придал значения такому пустяку. Но через пару дней уже ходил с трудом. Пришлось обратиться к медицине.

— Ни о какой командировке не может быть и речи! — замахал руками врач. — Мы должны положить вас в больницу.

После недолгих препирательств вопрос о больнице отпал, решили, что лечить меня будут дома. Но я уже и сам понимал, что в таком виде на полигоне делать нечего.

Мои коллеги улетели, пожелав скорого выздоровления, а во второй половине дня 23 сентября вслед за ними отправился и отец. На осмотр отвели полтора дня, 24-е и утро 25-го. К вечеру отец не только рассчитывал возвратиться в Москву, но даже назначил заседание Президиума ЦК. Я лежал в постели, читал книги и с грустью смотрел в окна — стояла ясная солнечная осень. Изредка звонил телефон, и я кое-как ковылял к нему.

Известий с полигона не было, да и не могло быть — все находились там. Чувствовал я себя все лучше и вскоре намеревался выйти на работу.

В доме на Ленинских горах я с семьей занимал на первом этаже две комнаты с ванной, они представляли как бы отдельную квартиру, дверь которой выходила в коридор. Напротив располагалась обширная столовая.

Вся семья редко собиралась за столом вместе. Каждый был занят собственными делами и ел в удобное для него время. Только вечером, когда отец возвращался с работы, все вместе пили чай, делились новостями. Затем отец брал бумаги, пересаживался на свободное от посуды место и начинал читать. Семейное чаепитие заканчивалось, начиналась вечерняя работа. Все потихоньку, чтобы не мешать, расходились по своим комнатам или молча усаживались здесь же, на диване и в креслах, с газетами или книгами.

У меня был отдельный городской телефон и местный телефон связи с дежурным офицером охраны особняка. Телефоны, которыми пользовался отец, располагались на специальном столике, в углу гостиной, по соседству со столовой. Там стояли аппараты городской и междугородной правительственной связи, а также обычный городской телефон и прямой телефон в дежурную комнату охраны. Звонил отец по ним редко, только в не отложных случаях, считая, что рабочее время кончилось и надо дать людям отдохнуть, а не загружать их делами, которые можно выполнить в течение рабочего дня. Он не любил, когда не соблюдался принятый распорядок рабочего дня и кто-либо засиживался на работе допоздна. Это ему напоминало ночные бдения в сталинские времена.

— То, что вы задерживаетесь по вечерам, говорит не о рвении, а о вашем неумении как следует организоваться, — часто повторял он. — Рабочий день кончается в шесть часов. После шести сходите в театр, погуляйте, а не просиживайте штаны в кабинете. Иначе назавтра вы не сможете полноценно работать.

Зная это, домой к нам звонили по делам чрезвычайно редко, только в экстренных случаях. Каждый звонок телефона правительственной связи в нашем доме был маленьким событием,

и все присутствующие прислушивались к разговору, стараясь из отрывочных фраз понять, что же случилось.

Поэтому, когда вечером 23 или 24-го сентября зазвонила «вертушка», я удивился: ведь отца нет в Москве.

В трубке раздался незнакомый голос:

— Можно попросить к телефону Никиту Сергеевича?

— Его нет в Москве, — ответил я, недоумевая, кто же это звонит на квартиру. Тот, кто может звонить по этому телефону, прекрасно знает, где сейчас находится отец.

— А кто со мной говорит? — последовал вопрос. В голосе чувствовалось разочарование.

— Это его сын.

— Здравствуйте, Сергей Никитич, — заторопился мой собеседник, — с вами говорит Галюков Василий Иванович, бывший начальник охраны Николая Григорьевича Игнатова.[6] Я с лета пытаюсь дозвониться до Никиты Сергеевича, мне надо ему сообщить очень важную информацию, и никак мне это не удается. Наконец я добрался до «вертушки», решился позвонить к нему домой, и опять неудача.

Я очень удивился: о чем может говорить бывший начальник охраны Игнатова с Хрущевым, что у них может быть общего? Ситуация была необычной.

— Выслушайте меня, — заторопился Галюков, опасаясь, и не без оснований, что я положу трубку, — мне стало известно, что против Никиты Сергеевича готовится заговор! Об этом я хотел сообщить ему лично. Это очень важно. О заговоре мне стало известно из разговоров Игнатова. В него вовлечен широкий круг людей.

«Час от часу не легче, — подумал я. — Это, наверное, сумасшедший. Какой может быть заговор в наше время? Чушь какая-то!..»

— Василий Иванович, вам надо обратиться в КГБ к Семичастному. Подобные дела в их компетенции, тем более что вы сами работаете там. Они во всем разберутся, если будет надо, доложат Никите Сергеевичу, — сказал я, радуясь, что нашел выход из создавшегося положения. Однако радоваться было рано.

— К Семичастному я обратиться не могу, он сам активный участник заговора, вместе с Шелепиным, Подгорным и другими. Обо всем этом я хотел лично рассказать Никите Сергеевичу. Ему грозит опасность. Теперь, когда вы сказали, что его нет в Москве, я не знаю, что и делать!

— Позвоните через несколько дней. Он скоро вернется, — я попытался успокоить его.

— Мне это, может, не удастся. Просто счастливый случай, что

я добрался до «вертушки» и мне удалось остаться в комнате одному. Такое может не повториться, а дело очень важное. Речь идет о безопасности нашего государства, — настаивал человек. — Может быть, вы выслушаете меня и передадите потом наш разговор Никите Сергеевичу?

— Вы знаете, я… немного болен, — мямлил я, пытаясь выиграть время.

Я не знал, что делать. Не хватало мне встрять в подобную историю. Если это сумасшедший, он замучает меня разговорами, беспочвенными подозрениями, звонками. И зачем я подошел?…

Ну а если он нормальный? И вдруг в его сообщении есть хотя бы частица правды? Я, выходит, отмахнулся от него ради собственного покоя? Очевидно, все-таки надо с ним встретиться и разобраться, правда это или игра больного воображения. Конечно, отец терпеть не может, когда домашние суются в его государственные дела. Если я вылезу с такими разговорами, мне может здорово нагореть, несмотря на все его хорошее ко мне отношение. Касайся вопрос новых ракет, удобрений или конвертеров, еще куда ни шло. А тут я, получается, должен буду вмешаться в святая святых — во взаимоотношения среди высшего руководства партии и государства! Эта область совершенно запретна для посторонних.

А вдруг это правда? Надо решать.

На том конце провода Галюков ждал ответа. Еще секунду поколебавшись, я наконец решился:

— Ну хорошо. Скажите ваш адрес, я заеду сегодня вечером, и вы мне все расскажете.

— Нет, нет! Ко мне нельзя. У меня разговаривать опасно. Давайте поговорим где-нибудь на улице. Вы знаете дом ЦК на Кутузовском проспекте? Это дом, где живет ваша сестра Юля. Скажите, как выглядит ваша машина, я буду ждать на углу.

— У меня машина черного цвета, номер 02–32. Ждите, я буду через полчаса, — сказал я.

Мы попрощались.

Обеспокоенный, я пошел переодеваться, на ходу убеждая себя, что весь этот разговор — плод больного воображения и мне по возвращении только придется пожалеть о потере нескольких часов. Но на душе было неспокойно…

Быстро переодевшись, я пошел к расположенному у ворот гаражу, где стояла машина. Дежурный офицер привычно распахнул высокие, выкрашенные зеленой краской железные ворота, отделявшие двор от улицы. Все было как обычно. Необычной была только сама поездка, ее цель. Ехать предстояло недалеко, от силы минут пятнадцать, и я стал внутренне

собираться, готовясь к разговору…

В то время я не знал, что информация о назревавших событиях еще раньше дошла до моей сестры Рады. Летом 1964 года ей позвонила какая-то женщина. Фамилии ее она не запомнила. Эта женщина настойчиво добивалась встречи с сестрой, заявляя, что обладает важными сведениями. Рада от встречи всячески уклонялась, и тогда, отчаявшись, женщина сказала по телефону, что ей известна квартира, где собираются заговорщики и обсуждают планы устранения Хрущева.

— А почему вы обращаетесь ко мне? Такими делами занимается КГБ. Вот туда и звоните, — ответила Рада.

— Как я могу туда звонить, если Председатель КГБ Семичастный сам участвует в этих собраниях! Именно об этом я и хотела с вами поговорить. Это настоящий заговор.

Семичастный в те времена дружил с Алексеем Ивановичем Аджубеем, мужем сестры, бывал у них в гостях.

Вся эта информация показалась Раде несерьезной. Она не захотела тратить время на неприятную встречу и ответила, что, к сожалению, ничего сделать не может, она — лицо частное, а это дело государственных органов. Поэтому она просит больше ей не звонить.

Новых звонков не последовало.

С аналогичными предупреждениями обращался к ней и Валентин Васильевич Пивоваров, бывший управляющий делами ЦК. По поводу его звонка Рада даже советовалась со старым другом нашей семьи, в то время возглавлявшим Четвертое главное управление Минздрава, которое обслуживало высшее руководство страны, профессором Александром Михайловичем Марковым. Он посоветовал не придавать этой информации значения, сочтя ее за плод повышенной мнительности Пивоварова. Рада воспользовалась авторитетным мнением и выбросила этот случай из головы.

Еще любопытное сообщение. Вот что я узнал от старого известинца Мэлора Стуруа. У каждого поколения есть своя главная тема. Нас, «шестидесятников», влекут годы первой «оттепели». И на сей раз, слово за слово, разговор сполз к Хрущеву.

В 1964 году брат Мэлора Дэви работал секретарем ЦК Компартии Грузии. Летом, видимо, в преддверии июльской сессии Верховного Совета, он приехал в Москву. Прямо с аэродрома он поспешил на квартиру к брату. Мэлор давно не видел его таким обеспокоенным.

— Произошла неприятная и непонятная история, — едва поздоровавшись, начал Дэви, — затевается какая-то возня вокруг

Никиты Сергеевича…

Он рассказал, что перед отъездом из Тбилиси имел встречу с Мжаванадзе, первым секретарем ЦК КП Грузии, и тот намекнул ему: с Хрущевым пора кончать. Конечно, не в открытую, но тренированное ухо безошибочно улавливает нюансы.

Теперь Дэви просил у брата совета: предупредить Никиту Сергеевича? Или промолчать? Ситуация складывалась непростая — грузину одинаково противны и предательство, и донос. А тут еще кто знает, какие следует ожидать последствия.

Мэлор предложил немедленно свести Дэви с Аджубеем. Его кабинет в «Известиях» доступен Стуруа в любой момент. Но… решение брат пусть примет сам. В этой семье хорошо знали, что может произойти, если Мжаванадзе, а особенно тем, кто стоит над ним, станет известно, кто разоблачил заговорщиков. Дэви колебался не более нескольких секунд и коротко бросил: «Пойдем». Через полчаса они входили в кабинет главного редактора второй по значимости газеты в стране.

Дэви коротко рассказал о своем подозрительном разговоре с Мжаванадзе. Аджубей кисло заметил, что грузины вообще не любят Хрущева.

По отношению к Мжаванадзе подобное замечание звучало по меньшей мере странно. (Василий Павлович до последних лет грузином числился лишь по фамилии. В 1953 году после смерти Сталина и ареста Берии отец оказался перед дилеммой: кого послать в беспокойную республику. Требовался человек надежный, проверенный. Вот тут он и вспомнил о служившем на Украине генерале Мжаванадзе. Он хорошо знал Василия Павловича по войне. Так генерал стал секретарем ЦК. Теперь Мжаванадзе превратился в одного из активных противников отца. Видимо, сработали старые украинские связи.)

Дэви Стуруа возразил Аджубею: он говорит не о Грузии, все нити ведут в Москву. Дело затевается серьезное.

Но Алексей Иванович не стал слушать, только бросил непонятную фразу: им с Шелепиным обо всем давно известно.

Братья Стуруа покинули кабинет обескураженными. Что известно? Кому известно? При чем тут Шелепин, если речь идет о Хрущеве?

Обсуждать столь опасную тему они больше ни с кем не решились. Алексей Иванович не обмолвился отцу о происшедшем разговоре ни словом.

Как теперь известно, поступала такая информация и в ЦК. Она ложилась на стол к первому помощнику отца Г. Т. Шуйскому, который ее предусмотрительно «топил». Об этом через много лет рассказал бывший начальник охраны Никиты Сергеевича

полковник Никифор Трофимович Литовченко.

Сообщение о предательстве потрясло меня, обидело донельзя. Ведь Шуйский проработал с отцом не один десяток лет, почти со Сталинграда. За эти годы случалось всякое. В начале 50-х годов отцу с огромным трудом удалось отвести нависшую над ним смертельную угрозу. Сталину пришла в голову сумасбродная мысль: будто кто-то нелегально переправляет куда-то информацию о содержании еще неопубликованной рукописи «гениальных» «Экономических проблем социализма». Трудно понять ход мыслей вождя, но в число подозреваемых попал и Шуйский. Отец долго уговаривал Сталина, убеждал, что подобное невозможно, немыслимо. Подействовал последний аргумент — Григорий Трофимович не имел ни малейшего доступа к сталинским бумагам. По обвинению в измене в тюрьму сел бессменный сталинский секретарь Поскребышев.

Все мое естество отказывалось верить Литовченко. Шуйский и предательство?! Но Литовченко стоял на своем. Я сдался…

В момент написания этой книги, году в 1988 или 1989-м, при встрече с другим бывшим помощником отца, Олегом Александровичем Трояновским, мы затронули больную и для него тему. Ведь он проработал бок о бок с Шуйским не один год. Трояновский рассказал мне, что в конце 1960-х они как-то разговорились с Шуйским о последних месяцах работы с отцом. Григорий Трофимович сетовал, что не придал значения доходившим до него неясным слухам. Его соседи по шестому этажу в здании ЦК на Старой площади, помощники Брежнева и Подгорного, порой затевали разговоры на тему, что их патроны устали от отца, но не более. Шуйский сказал Трояновскому, что о происходящих приготовлениях он не имел ни малейшего понятия. Не скрою, версия Трояновского мне больше по сердцу. А там — кто знает?!

Возникали ли у самого отца какие-нибудь подозрения? До последнего момента я считал, что нет. Однако теперь я стал сомневаться. Приведу один эпизод. Летом 1964 года отец посетил конструкторское бюро Челомея. Приурочили визит к вручению организации ордена «За достижения в области ракетного вооружения флота».

Как водится, к приезду гостя собрали выставку.

Челомей славился пристрастием к инженерным новинкам. На сей раз его очаровала волоконная оптика. Стекловолокно позволяло транспортировать изображение не по прямой, обтекая острые углы. Новой инженерной идее посвятили отдельный стенд. Стеклокабель причудливо извивался, а на экране застыла отчетливая картинка, принимаемая его противоположным

концом, прилаженным к детскому эпидиаскопу. Изображение выбрали приличествующее случаю — фотографию Спасской башни Московского Кремля.

Отец, сам любитель технических новинок, остановился, завороженный. И так и эдак он прилаживался к экрану. Перемещал передатчик, изображение послушно сдвигалось. Прощаясь с инженером, демонстрировавшим ему все эти чудеса, отец, вдруг усмехаясь проговорил:

— Закажу и себе такую штуку. Мне кое за кем надо бы подглядеть из-за угла. Он пошел дальше, оставив присутствующих в недоумении. Стоящий рядом с отцом и ловивший каждое слово Брежнев побледнел.

Тогда слова отца воспринимались как шутка. Сейчас в них невольно ищется скрытый смысл…

Я ехал по Бережковской набережной Москвы-реки.

Небо заволокло тучами. Временами срывались отдельные капли дождя. Начинались сумерки. Вот и поворот у гостиницы «Украина». Через несколько минут стал виден большой, облицованный кремовой плиткой дом ЦК. На углу маячила одинокая мужская фигура в темном пальто и глубоко надвинутой шляпе.

Я остановил машину.

— Вы Василий Иванович Галюков?

Человек кивнул в ответ и оглянулся. На вид ему было лет пятьдесят.

— Я — Хрущев. Садитесь.

Он осторожно сел на переднее сиденье рядом со мной. Я тронул машину.

— Что же вы хотели рассказать? Я вас слушаю.

Мой пассажир нервничал. Несколько раз он оглянулся, внимательно посмотрел в заднее стекло и нерешительно предложил:

— Давайте поедем куда-нибудь за город. В лесок. Там спокойнее.

Невольно и я глянул в зеркало, но ничего подозрительного не заметил. Как обычно, по Кутузовскому проспекту несся поток машин.

— Что ж, за город так за город. Поехали на кольцевую, там что-нибудь придумаем.

Молчим. Вот путепровод через кольцевую дорогу. Сворачиваем направо, проезжаем под мостом, и уже мелькают по обе стороны подмосковные леса. На ум приходили головокружительные эпизоды из детективов. Никогда бы не подумал, что самому придется участвовать в чем-то подобном.

Слева проплыла обширная автомобильная стоянка, где пристроились несколько легковушек и большой грузовик с плечевым прицепом — видимо, водитель решил тут заночевать. Переглянулись с Василием Ивановичем — нет, тут слишком людно, нам нужно уединение. Двинулись дальше. Прошло уже около получаса, скоро будет Киевское шоссе.

Справа показался проселок, ведущий в молодой сосняк. Свернули на него. За поворотом появилась большая поляна. Начинало смеркаться, а низкие тучи придавали окружающему безобидно-мирному пейзажу некую таинственность.

Наконец я остановил машину. Мы вышли и двинулись по тропке. Тропка узкая, идти рядом неудобно — ноги то и дело попадают в заросшие травой ямки.

Галюков начал разговор. Вот что он рассказал.

— В бытность Николая Григорьевича Игнатова членом Президиума ЦК я состоял при нем, занимая должность начальника охраны. Вы меня, наверное, не запомнили, а я вас хорошо знаю. Бывал с хозяином на даче у Никиты Сергеевича и вас там видел.

Вообще-то с Игнатовым жизнь меня столкнула давно, я у него начал работать порученцем еще в 1949 году. В 1957 году Николая Григорьевича избрали секретарем ЦК и членом Президиума, а я стал начальником его охраны. Отношения у нас сложились не просто служебные, а, я бы сказал, дружеские. Сопровождая его в поездках, я был как бы его компаньоном и собеседником, на мне он разряжался, говорил подчас то, что не сказал бы никому другому. И я был ему предан.

Когда Николая Григорьевича в октябре 1961 года на XXII съезде КПСС не избрали в Президиум ЦК, мы вместе с ним переживали это, мягко говоря, неприятное событие. Кроме всего прочего, ему теперь не полагался начальник охраны, а я привязался к нему за долгие годы.

— Не переживай, — успокаивал меня Игнатов, — я тебя пристрою. Уходи из органов. Свое ты уже отслужил, пенсию заработал. Остались у меня друзья, найдется тебе хорошее место.

Так я в 1961 году вышел на пенсию и начал работать в Комитете заготовок старшим референтом. Потом пришлось подыскивать новое место. Позвонил я Николаю Григорьевичу, и он пообещал помочь. Игнатов в то время стал уже Председателем Президиума Верховного Совета РСФСР и в скором времени подыскал мне нехлопотную должность у себя в хозяйственном отделе. Забот там особых не было. Когда Николай Григорьевич ехал отдыхать или в командировку, я обычно сопровождал его. Он любил часть отпуска использовать весной. В Москве еще снег,

морозы, а мы едем в Среднюю Азию, там уже настоящее лето. Местные руководители принимали нас, по старой памяти, по высшему разряду, а это Игнатову очень льстило. Бывало, толкнет меня в бок:

— Смотри, Вася, как меня ценят…

Если не в Среднюю Азию, то на Кавказ махнем — там ему тоже очень нравилось.

Сопровождал я его в поездках на отдых и летом, обычно в августе. На мне лежали заботы по обеспечению комфорта. Николай Григорьевич придавал большое значение тому, где, как и с кем он будет жить. Ему хотелось, чтобы условия не отличались от тех, к которым он успел привыкнуть, отдыхая в качестве секретаря ЦК на госдачах.

Так было и в этом году. Вызвал он меня к себе в кабинет 3 августа. Захожу, вижу, сидит он за столом довольный, вид у него хороший, как после отдыха.

Сказал мне, что решил 8-го ехать отдыхать на Кавказ, и, как бы сомневаясь, спрашивает:

— Может, и тебе поехать со мной?

О том, что он собирается на отдых, я уже знал, он заранее мне поручил все подготовить.

На предложение ехать отдыхать вместе я ничего не ответил, решать ему. Поэтому я только доложил, что для отдыха все подготовлено, что я договорился с директором санатория «Россия» в Сочи об отдельной даче. Обычно мы там останавливались.

На этот раз Николай Григорьевич вдруг вспылил:

— Переговорил, договорился… Что ты там можешь сделать своими разговорами?

Я ничего не понял:

— Может, мне тогда с вами не ехать?

— Там видно будет, — проворчал Игнатов. — Можешь идти.

На этом разговор окончился, мы распрощались суше, чем обычно, и я ушел, не понимая, чем вызвана такая реакция. Вины за мной нет — все сделано как обычно.

Прошло несколько дней. Николай Григорьевич молчит. За что ж это, думаю, он на меня обиделся?

6 августа мне позвонил начальник секретариата Игнатова и передал указание позвонить Николаю Григорьевичу.

7-го утром я ему позвонил, и он как ни в чем не бывало говорит:

— Ты готов? Завтра вылетаем в Сочи.

Такие отъезды для меня были привычными. Я быстренько собрал вещи и на следующее утро позвонил на квартиру

Игнатову. Он живет в том же доме, что и я. Забрал я его чемоданы, и вдвоем на игнатовской «Чайке» поехали во Внуково. В тот же день мы были в Сочи.

Расположились на отведенной нам даче — она стояла несколько на отшибе, в саду, поодаль от основных корпусов. После обеда отправились гулять по территории санатория. Николай Григорьевич был в хорошем расположении духа, шутил. Дача ему понравилась.

— Вполне ничего дачка, на уровне, — обратился он ко мне и, следуя каким-то своим мыслям, добавил: — Вообще-то Брежнев и Подгорный перед отъездом предлагали мне поселиться на четвертой госдаче.

— Так что, сказать, что мы займем эту дачу? — спросил я. — А они доложили Никите Сергеевичу? Ведь эти дачи вроде только для членов Президиума. Вдруг он узнает, и будут неприятности?

Игнатов ничего не ответил, и мы молча пошли по дорожке. Николай Григорьевич повернул обратно, а я следовал за ним на полшага позади. Как бы в раздумье Игнатов бросил мне:

— Всему свое время. А Хруща они не слушаются.

Ругал он Никиту Сергеевича часто, особенно в последнее время, после вывода из состава Президиума, но бывало это после крепкой выпивки и по поводу каких-то конкретных решений. Игнатов считал, что на месте Никиты Сергеевича он все сделал бы иначе. Однако, что бы он ни говорил о Хрущеве, чувствовалось, что он его побаивается. А тут явно намекает, что с Хрущевым можно вообще не считаться, — это была новая нотка.

— Надо решить вопросы с продуктами и катером. Какие будут указания? Вы мне в Москве ничего не говорили, — уходя от этой темы, спросил я.

— Все в порядке. Я уже договорился с Семичастным и о катере, и о продуктах, и о подключении «ВЧ»[7] к нашей даче. Спроси у дежурного: они получили распоряжение, — хохотнул Игнатов, глядя на мое вытянувшееся от удивления лицо.

Раньше у Игнатова с Семичастным не было никаких отношений. Более того, Игнатов терпеть его не мог, ругал за всякую оплошность, хотя в то же время боялся Семичастного, зная его хорошие отношения с Хрущевым, а особенно дружбу с Аджубеем. О том, чтобы обратиться с просьбой к Семичастному, еще год назад не могло быть и речи.

«Что же произошло?» — недоумевал я. Позвонил дежурному по санаторию и дежурному по КГБ — оба ответили, что все распоряжения о снабжении продуктами и катере получены.

Я доложил Игнатову.

Он был очень доволен.

— Есть же такие хорошие люди — Шелепин и Семичастный. Они мне ни в чем не откажут.

Такая перемена в отношениях между этими людьми тоже была непонятна. Почему плохо скрываемая вражда сменилась такой сердечностью? Тут явно что-то было не так… Потом Игнатов попросил меня узнать, кто еще из членов ЦК отдыхает поблизости.

С дачи я позвонил секретарю Сочинского горкома партии, сказал ему, что Николай Григорьевич Игнатов отдыхает в санатории «Россия» и интересуется, кто из товарищей в Сочи. Такой вопрос был обычным: каждый вновь прибывший в первую очередь интересовался соседями.

Секретарь горкома всегда был в курсе дела. Он тут же ответил мне, что в соседних санаториях отдыхают несколько первых секретарей обкомов — в частности, Камчатского, Белгородского и Волынского. Фамилия последнего, кажется, Калита. Я все доложил Игнатову.

— Спасибо. А звонить в горком больше не надо. Сами разберемся, — ответил он.

Прошло несколько дней. Игнатов никем больше не интересовался. Каждый занимался своими делами. Я старался ему особенно глаза не мозолить.

Вдруг мне передают, что он срочно меня разыскивает. Через несколько минут я был у Игнатова.

— Знаешь, мне показалось, что я видел секретаря Чечено-Ингушского обкома Титова. Правда, он был далеко и я мог обознаться. Позвони в регистратуру санатория, узнай, он это или нет. Если спросят, кто говорит, скажи, звонят из обкома.

Оказалось, что Титов действительно отдыхает рядом в люксе. Я позвонил к нему в номер, но мне ответили, что он вышел. Я попросил передать, что звонили от Игнатова, он отдыхает здесь, на даче, и просит товарища Титова позвонить ему.

На следующий день Игнатов довольным голосом сообщил мне, что Титов звонил и он пригласил его в гости.

— Ты организуй все, — сказал он.

Организация застолья была одной из моих обязанностей во время нашего совместного отдыха. Собрались гости. Стол накрыли на веранде. Коньяк, осетрина, икра, шашлык — все как обычно.

Кроме Титова, пришел Чмутов, председатель Волгоградского облисполкома, и еще несколько человек, кто, я сейчас и не припомню. Меня тоже пригласили за стол. В перерывах между тостами Игнатов много вспоминал о своей работе в Ленинграде. Чмутов и другие рассказывали анекдоты о Хрущеве. Все громко

смеялись. Ничего подозрительного в этом не было — собрались, выпили, поболтали и разошлись.

Игнатов остался доволен встречей. Несколько раз во время прогулок он возвращался к разговору о Титове.

— Очень хороший человек Титов, нужный нам, стоящий, — говорил Игнатов.

Август близился к концу.

Двадцать девятого Игнатову вдруг позвонил Брежнев. Я присутствовал при этом разговоре.

Брежнев сказал, что раз Игнатов отдыхает в Сочи, то он его просит на пару дней съездить в Краснодар для участия в торжествах по случаю награждения объединения «Краснодарнефтегаз» Северо-Кавказского совнархоза орденом.

Игнатов с готовностью согласился.

— Заодно прощупаю Георгия, — пообещал он. (Георгий — это секретарь Краснодарского сельского крайкома партии Георгий Иванович Воробьев, давний знакомый Игнатова.) — Лёня, у меня были Титов с Чмутовым. Выпили немного, языки поразвязались. Их слова говорят сами за себя. Они отражают общее настроение. Однако меня беспокоит Грузия. Числа десятого сентября вернусь из отпуска и думаю съездить в Тбилиси. Надо там поработать.

— А что тебя в Грузии беспокоит?

— Прочитал я в газетах письмо какой-то стодвадцатилетней колхозницы в адрес Никиты Сергеевича. Это неспроста. Видно, они там не понимают ситуации.

— Только-то? Пусть это тебя не беспокоит, — успокоил его Брежнев.

— Так это твоя работа? Тогда другое дело, — обрадовался Игнатов. — Есть еще кое-что. Говорил с Заробяном[8] из Армении, он настроен хорошо. Наш человек, Лёня, но об одном я тебя прошу: все надо сделать до ноября.

Они еще немного поговорили о погоде, об охотничьих успехах Леонида Ильича, и Игнатов положил трубку. Он радостно улыбался: было видно, что разговор пришелся ему по душе.

Я забыл сказать, спохватился Галюков, сразу по приезде в санаторий Николай Григорьевич предупредил меня, что во время отпуска собирается съездить в Грузию, Армению, Орджоникидзе и еще куда-то.

— Скучно сидеть на одном месте, — пояснил он. Однако поездка все откладывалась.

— Подожди, не время, — отмахивался он, когда я напоминал, что надо побеспокоиться о билетах.

В Краснодар мы выехали 30 августа, на следующий день после разговора с Брежневым. Остановились в крайкомовском

особняке. Вечером того же дня приехали гости — Байбаков,[9] Качанов, Чуркин и другие руководители.

Сели ужинать. За ужином разговор крутился вокруг завтрашнего митинга по случаю награждения. Подробно обсуждали процедуру. Наконец все разъехались. Ужином Игнатов остался недоволен. Видимо, настроение ему испортило отсутствие Воробьева, он так и не приехал.

— Гордится. Не едет… — бурчал он.

— Что ж тут такого особенного? Конец августа, самая уборка, а у них туго с планом по хлебу. Наверное, носится по районам, — попытался я успокоить Игнатова, но он только махнул рукой.

31 августа состоялся митинг, на котором Николай Григорьевич как Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР вручил орден. Как обычно, после митинга был большой банкет для местного партийного и советского актива. Оттуда мы вернулись в особняк. С нами в машине ехали Качанов и Чуркин. Они проводили Николая Григорьевича до дверей, распрощались и уехали.

Вскоре подъехал Трубилин — председатель крайисполкома. Они с Игнатовым стали дожидаться Воробьева, который провожал уезжавшего в тот же день секретаря Саратовского обкома Шибаева. Часам к одиннадцати вечера приехал Воробьев. Посидели они втроем в доме несколько минут, и Игнатов с Воробьевым вышли в парк, примыкающий к особняку. Трубилина с ними не было, он остался в доме. Я пошел его искать — он сидел в комнате один, расстроенный. Видно, ему тоже хотелось принять участие в разговоре. Вдвоем с ним мы стали дожидаться возвращения Игнатова с Воробьевым. Выпили по рюмочке коньяку. Я затеял разговор об успехах края, награждении, но Трубилин отвечал вяло, видно было, что мысли его там, в парке. Время тянулось медленно. Прошел час, второй. Игнатов с Воробьевым все гуляли. Для Игнатова это было очень необычно: как правило, он ложился спать в одиннадцать часов, и должно было случиться что-то из ряда вон выходящее, чтобы заставить его изменить своим привычкам.

В час ночи Трубилин начал нервничать, несколько раз подходил к двери, ведущей в парк, пытался разглядеть гуляющих. Потом не выдержал и отправился их искать. Вскоре он вернулся еще более мрачный.

— Всё гуляют. Мне завтра работать. Поеду домой спать. С ними я попрощался, — ответил он на мой немой вопрос.

Трубилин вызвал машину и уехал. Я тоже отправился спать: после банкета у меня слипались глаза. Игнатов с Воробьевым продолжали кружить по дорожкам парка.

О чем они говорили, я не знаю. На следующее утро Воробьев приехал опять. Мы только встали. С ним был новый гость — Миронов из Ростова. Чуть позже приехал Байбаков. Все вместе сели завтракать. Байбаков после завтрака заторопился по делам и уехал, а остальные пошли гулять в парк. Завязался оживленный разговор. Мне было видно, как Игнатов что-то доказывает, а остальные молча слушают.

Далеко отойти они не успели — дежурный доложил, что по «ВЧ» звонит Брежнев и просит к телефону Игнатова. Вместе с Николаем Григорьевичем в комнату вошли Воробьев и только что подъехавший Качанов.

Я остался за дверью, но через нее разговор был отчетливо слышен. Говорили о награждении.

Сначала слышался голос Игнатова:

— Спасибо, Лёня, все прошло хорошо. Спасибо за помощь, без тебя пришлось бы туго.

Дело в том, что Брежнев помог оформить выделение денег на банкет, так как проведение банкетов за государственный счет было запрещено и запрет этот строго контролировался. Только Брежнев как Второй секретарь ЦК мог дать такое разрешение.

— У меня здесь Воробьев, — продолжал Игнатов, обращаясь к Брежневу, — мы с ним обо всем переговорили. Говорил я еще и с саратовским секретарем Шибаевым. Сначала не понимали друг друга, но потом нашли общий язык, так что с ним тоже все в порядке, я его обработал.

Они попрощались, пожелали друг другу успехов, и трубку взял Воробьев. Говорили о награждении. Воробьев поблагодарил Брежнева за высокую оценку их труда, пообещал еще настойчивее добиваться новых успехов. За ним трубку взял Качанов и говорил о том же самом.

После разговора все, оживленные, вышли на крыльцо и стали обсуждать, что делать дальше. Решили сначала заехать в крайком, а оттуда в Приморско-Ахтарский район на рыбалку.

Воробьев по дороге от нас отделился, остался в крайкоме, а с нами поехали Качанов и Чуркин. Все было подготовлено на высоком уровне. На месте уже дожидался накрытый стол, на костре булькала уха. Первым делом выпили и закусили. Все это заняло несколько часов. За столом наперебой рассказывались рыбацкие и охотничьи байки, одна другой невероятней, а былые уловы увеличивались с каждым тостом.

После короткого отдыха отправились на вечернюю зорьку — кто с ружьем за утками, кто со спиннингом.

На следующий день повторилось то же самое, и в Краснодар мы вернулись только под вечер 2 сентября.

В особняке дожидался Воробьев. Поговорив с Игнатовым, быстро собрался и куда-то уехал. К ужину он возвратился, а после ужина повторилась старая история — опять они вдвоем гуляли до часу ночи, что-то обсуждая.

На следующий день мы собрались уезжать. Провожали нас Воробьев, Качанов, Чуркин, Трубилин. Прощаясь, Николай Григорьевич пригласил всех в Сочи в ближайшую субботу, 6 сентября, к себе на обед. При этом специально подчеркнул, чтобы приезжали без жен.

6 сентября у нас собралось человек двадцать. Были Байбаков, министр культуры РСФСР Попов, приглашенные краснодарцы и другие. Качанов и Трубилин опоздали — задержались в дороге.

Обед затянулся допоздна, было много тостов. Воробьев вспомнил о Ленинграде, о том, какую правильную и принципиальную позицию занимал Игнатов, будучи секретарем Ленин градского обкома.

В бытность Игнатова секретарем Ленинградского обкома он прославился проведением жесткой линии по отношению к интеллигенции. Тогда много говорили о его грубости и невыдержанности. В ЦК была направлена коллективная жалоба, подписанная многими деятелями литературы и искусства. В результате Игнатов был освобожден от работы и позже направлен Первым секретарем обкома в Воронеж — там-де люди попроще и с работой справиться легче.

Часов в десять вечера обед подошел к концу. Наиболее стойкие остались допивать и доедать, а остальные разбрелись кто куда. Игнатов, оставшись один, подозвал меня и приказал соединить его по «ВЧ» с дачей Подгорного в Ялте.

Пока подзывали к аппарату Николая Викторовича, он зажал рукой микрофон и попросил:

— Давай сюда быстренько Георгия, только так, чтобы другие не увязались. Я пригласил в кабинет Воробьева. Там уже находился Титов.

Пока я ходил за Воробьевым, Подгорный на том конце провода уже взял трубку. О чем был разговор, не знаю. По-видимому, Подгорный пожелал Игнатову успехов. В ответ Николай Григорьевич многозначительно произнес:

— Главный успех не от нас, а от тебя зависит.

Тут он обратил внимание, что я остался в кабинете, и кивнул мне — можешь быть свободен. Я потихоньку вышел и закрыл дверь.

Происходившее в последние дни — шушуканье допоздна, недомолвки, намеки — все это возбуждало любопытство и настораживало меня. Вот и сейчас выставили. Через дверь

разобрать слова было невозможно, да и не хотелось мне оказаться в роли подслушивающего. «В конце концов, эти дела меня не касаются», — решил я и, потоптавшись в коридоре, вышел на крыльцо.

Справа светилось окно кабинета, и сквозь стекло были видны три мужские фигуры, окружившие телефонный аппарат. Я видел, что теперь трубку взял Титов. Голос его слышался довольно хорошо, хотя слова разбирались с трудом.

Мне очень захотелось послушать, о чем же это они говорят с Подгорным, для чего такая конспирация. Обычно Игнатов любил демонстрировать свои близкие отношения с членами Президиума ЦК и громко кричал в трубку: «Здравствуй, Лёня!» или «Привет, Коля!»

Только я спустился с крыльца, как заметил приближающуюся по дорожке фигуру.

— Вася, а где Николай Григорьевич? — окликнули меня.

Это был Трубилин. Он не заметил, куда делись Игнатов, Титов и Воробьев, и теперь разыскивал их по парку.

— Вот там все собрались, — показал я Трубилину на освещенное окно кабинета.

Он заторопился в дом, но тут же вернулся.

— Все прячутся. Они всё знают, а я ничего не знаю…

— О ком это вы? Трубилин встрепенулся:

— Не буду говорить, ну их… Я и без них всё знаю, ведь все постановления идут через меня…

Бормоча что-то себе под нос, он скрылся в темноте.

Из кабинета вышли Игнатов, Титов и Воробьев. На ходу они вполголоса о чем-то говорили — видимо, обсуждали разговор с Подгорным. Заметив меня на крыльце, они умолкли и стали прощаться. Краснодарцы остались ночевать на соседней даче, а остальные отправились по домам.

Утром, проводив краснодарцев домой, Николай Григорьевич пригласил меня на прогулку. Разговор крутился вокруг вчерашнего приема.

— Видишь, никто за него и тоста не поднял. Это хорошо! — с удовлетворением произнес Игнатов.

— За кого «за него»? — не понял я.

— За Никиту.

Без видимой связи с предыдущим он добавил:

— Титов — хороший человек.

Это была его обычная оценка окружающих: те, кто согласен с Игнатовым, поддерживает его, — хорошие люди, остальные — нехорошие, разных оттенков.

— Ничего, Вася, — успокоил он меня, — подожди немного. И

у тебя впереди есть перспектива. Не волнуйся.

Я не стал уточнять, что он имеет в виду, и разговор перешел на рыбную ловлю.

Больше ничего примечательного в Сочи не произошло. Отпуск подходил к концу, и я еще раз напомнил Николаю Григорьевичу, что он собирался заехать в Армению.

— Не поеду. Заробян был у Брежнева в Москве. Пора домой собираться, — ответил он.

В Москву мы вернулись 19 сентября. В понедельник я был у него на даче, занимался устройством различных хозяйственных дел. Игнатов часто использовал меня в качестве секретаря, и в этот раз, увидев меня, попросил соединить с Кириленко, отдыхавшим в Новом Афоне. Трубку взял дежурный и, узнав, кто спрашивает, ответил, что Андрей Павлович купается в море и к телефону подойти не может.

Этот ответ, к моему удивлению, привел Игнатова в волнение.

— На самом деле купается или говорить не хочет? — бормотал он, ни к кому не обращаясь.

Нервничая, Николай Григорьевич стал названивать Брежневу в ЦК. Трубку «вертушки» взял секретарь:

— Леонида Ильича нет на работе и сегодня не будет. Он заболел.

Тут Игнатов совсем разнервничался. Шагая из угла в угол, он приговаривал:

— Болеет или не болеет? Что это у него за болезнь? Нужная это болезнь или ненужная?…

Почувствовав себя лишним, я вышел.

Вернулся я в кабинет примерно через час. Игнатов сидел в кожаном кресле и умиротворенно улыбался.

— Ничего. Все в порядке. У него просто грипп. Все нормально, — сказал он. Я не понял: почему грипп у Брежнева — это нормально?… Но этот разговор

добавил к списку необычных событий, происходивших в течение последнего месяца.

Если сложить все эти мелочи вместе, получается подозрительная картина. Недомолвки, намеки, беседы один на один с секретарями обкомов, неожиданная дружба с Шелепиным и Семичастным, частые звонки Брежневу, Подгорному, Кириленко… Почему упоминается ноябрь? Что должно быть сделано до ноября?

Галюков стал пересказывать различные эпизоды, характеризующие отношения Игнатова к моему отцу: одни относились к прошлым годам, другие произошли совсем недавно.

Дурной характер Игнатова был известен всем, не была

секретом и его неприязнь к Хрущеву, он не мог смириться с неизбранием в состав Президиума ЦК. И раньше Игнатов после нескольких рюмок любил поговорить в своем кругу о том, что всю работу в ЦК тянет он, остальные бездари и бездельники, а Хрущев только штампует подготовленные им решения и произносит речи…

Я взглянул на часы — гуляли мы почти два часа. Стало совсем темно. Мы повернули к машине.

Я поблагодарил Василия Ивановича за сообщение, заверил, что отношусь к его словам с полным доверием и со всей серьезностью. Пообещал, как только появится отец, сразу же пересказать ему все. На всякий случай попросил номер домашнего телефона — вдруг что-то понадобится. Василий Иванович неохотно продиктовал мне его.

— Сергей Никитич, пожалуйста, звоните мне только в случае крайней необходимости, — нерешительно сказал он. — И прошу вас ничего по телефону не говорить, только условиться о встрече. Мой телефон прослушивается, я в этом убежден. Даже проверял: не платил за телефон долгое время. По всем законам аппарат должны были отключить, а этого не сделали. Значит, меня подслушивают, — заключил Галюков.

Я опять почувствовал себя участником детективной истории — слежка, подслушивание телефонов, заговоры. Все это было непривычно, жутковато и нереально. До сего времени я жил в убеждении, что КГБ и другие службы находятся в лагере союзников. Им можно доверять, на них можно опереться. Сколько я себя помню, вокруг дома стояла охрана из людей в синих фуражках. Я всегда видел в них своих друзей, собеседников и даже участников детских игр.

И вдруг эта организация повернулась другой стороной. Она уже не защищала, она выслеживала, знала каждый шаг. От таких мыслей по спине начинали бегать мурашки.

В глубине души я надеялся, убеждал себя, что этот дурной сон пройдет, все выяснится и жизнь покатится дальше по привычной колее. И все же что-то говорило: нет, это очень серьезно, и, как бы ни сложились дальнейшие события, по-прежнему уже ничего не будет.

Как выяснилось позднее, и Галюков, и я были одинаково наивны в оценке возможностей КГБ. Его опасения о прослушивании домашнего телефона оказались только частью истины. Телефон правительственной связи на квартире Хрущева тоже прослушивался, а наша встреча с Василием Ивановичем была зафиксирована от первого до последнего шага. И потом мы

не могли сделать ни шагу без ведома компетентных органов.

Но в тот момент, уславливаясь о конспирации, мы, естественно, ничего не знали. Вернее, Галюков беспокоился, я же, на словах соглашаясь с ним, в душе посмеивался: у страха глаза велики. Впрочем, считал я, осторожность тоже не повредит. И ему будет спокойнее, независимо от того, правда это или нет, — человек пришел с добрыми намерениями.

Пора было возвращаться. Без приключений мы выбрались на дорогу, огляделись: хвоста за нами не было. Святая простота!..

Через полчаса я высадил Василия Ивановича напротив его дома, пообещав позвонить, если возникнет необходимость. Еще раз поблагодарил за информацию.

Спустя несколько минут я въезжал во двор особняка. Дежурный закрыл ворота, и вот я уже отгорожен от внешнего мира. Здесь, внутри, все так знакомо, спокойно и незыблемо. Происшедшее там, за воротами, отсюда казалось совсем нереальным и неопасным.

Отца нет, и пока можно заняться другими делами. Заговорщики подождут, никуда не денутся. Приедет отец и во всем разберется, все поставит на свои места.

На следующий день я вышел на работу. Там я узнал, что произошло на полигоне. Показ военной техники заканчивался, но для конструкторского бюро Генерального конструктора Владимира Николаевича Челомея, где я работал, результаты оказались нерадостными. Межконтинентальная баллистическая ракета УР-200, разработку и испытания которой мы только что закончили, не выдержала конкуренции со стороны аналогичной ракеты Р-36 КБ Михаила Кузьмича Янгеля. Эти две ракеты делались параллельно и предназначались для решения одинаковых задач.

Уже в процессе испытаний военные отдавали предпочтение ракете Янгеля. Их активно поддерживал Дмитрий Федорович Устинов. Хотя в то время он уже непосредственно не занимался оборонными делами, но авторитет его как одного из отцов ракетной техники в нашей стране был чрезвычайно велик, и слово его значило многое. Леонид Ильич Брежнев, к которому после инсульта Козлова вместе с постом Второго секретаря ЦК перешло наблюдение за военной промышленностью, по свойственной ему мягкости характера не высказывал определенного мнения. Несколько месяцев тому назад к нему на прием пробился Челомей. С присущим ему красноречием он убедил Брежнева в преимуществах своего детища и получил заверения в полной поддержке. Однако в августе случилось «несчастье». Устинов пошел к Брежневу, они проговорили за

закрытыми дверями несколько часов, и мнение Брежнева резко переменилось. Это чувствовалось по недомолвкам и общему отношению к нашему КБ со стороны работников аппарата ЦК, чутко улавливающих любые изменения в симпатиях руководства.

Брежнева связывало с Устиновым давнее знакомство. Впервые, как я уже упоминал, они сошлись сразу после войны, когда Брежнев был секретарем Днепропетровского обкома. На строительной площадке гигантского ракетного завода молодой энергичный министр вооружений познакомился с симпатичным секретарем обкома. С тех пор и связывала Устинова и Брежнева если и не дружба, то непреходящее чувство взаимного расположения. Пути их расходились, они не виделись годами, но при встречах с удовольствием вспоминали конец сороковых. Деловой и целеустремленный Устинов подчинял своей воле Брежнева, известного своим податливым характером. Об этом знали все.

О чем же говорили в августе Устинов с Брежневым? Свидетелей не было. Сейчас можно предположить, что главной темой были не челомеевские или янгелевские ракеты: речь, видимо, шла о будущем без Хрущева. Ракетные дела затронули лишь вскользь — пока надо сосредоточиться на главном.

Не подозревая, о чем же шла речь на этой встрече, мы все ломали голову: в чем Устинов убедил Брежнева? (Как выяснилось, мы не угадали: на сей раз Брежнев убеждал Устинова.) Какую позицию займет Леонид Ильич? Челомей нервничал, бесконечно твердил:

— Я знаю характер Леонида Ильича. Он согласится со всем, что ему скажет Устинов. Устинов им командует как хочет, он полностью подчиняет его своей воле.

Технические характеристики ракет были примерно одинаковы, а поэтому чашу весов мог перевесить в любую сторону самый незначительный аргумент.

И вот информация — Хрущев высказался не в нашу пользу. И хотя нашему КБ недавно был дан крупный заказ и будущее рисовалось в розовом свете, неудача с первым опытом создания баллистической ракеты всех опечалила. Однако это были только первые сведения: и отец, и Челомей находились на полигоне. Мы с нетерпением ждали их возвращения, хотелось все узнать из первых рук.

Все эти события отодвинули на второй план проблемы, высказанные Галюковым. Там все сомнительно, а здесь сейчас решается судьба нашего детища, плода упорной работы последних нескольких лет.

25 сентября, ближе к вечеру, отец прилетел с полигона и, не

заезжая домой, отправился в Кремль. Домой он приехал, когда уже стемнело, оставил в столовой портфель с бумагами и позвал меня:

— Пойдем погуляем.

В последнее время отец сменил кожаную папку, которой пользовался все это время, на черный портфель с монограммой на замке. Этот портфель подарил ему один из иностранных посетителей. Чем-то подарок ему понравился, и, вместо того чтобы передать его, как обычно, помощникам и забыть о нем, отец оставил портфель себе и не расставался с ним до самой отставки.

Ритуал вечерней прогулки повторялся ежедневно — от дома к воротам, легкий кивок взявшему под козырек офицеру охраны, поворот налево на узенькую асфальтированную аллейку, идущую вдоль высокого каменного забора. Дорожка с обеих сторон обсажена молодыми березками. В углу маленькая лужайка со стайкой березок посредине. Здесь короткая остановка — нельзя не полюбоваться на них. Это тоже вошло в привычку. И опять поворот налево. Справа за забором — соседний особняк, точная копия того, в котором живем мы. Раньше там жил Маленков, после него Кириченко, а сейчас дом пустует. В заборе зеленая калитка, и при желании можно пройти через соседний участок к Воронову и дальше до особняка, занимаемого Микояном.

Сегодня мы проходим мимо калитки и идем дальше, обходя дом справа. Березки уступили место вишневым деревьям. Весной это пышные шары, покрытые белыми цветами, а сейчас на тоненьких веточках только кое-где торчат одинокие красноватые листочки — осень…

Дом позади, и дорожка начинает петлять по склону над Москвой-рекой — по серпантину можно спуститься до самого берега, а затем вернуться и завершить круг.

Мы гуляем вдвоем — эта привычка выработалась у нас обоих. Так ведется изо дня в день. Иногда присоединяются Рада и Аджубей, реже мама. Наша же пара постоянна. Часть пути шли молча: видимо, отец устал и говорить ему не хотелось.

Я иду рядом, раздумывая: начать разговор о встрече с Галюковым или отложить? Говорить на эту тему не хотелось — можно нарваться на грубое: «Не лезь не в свое дело». Такое уже бывало. Сейчас мое положение еще более щекотливое — никто и никогда не вмешивался в вопросы взаимоотношений в высшем эшелоне руководства. Эта тема запретна. Отец никогда не позволял даже себе высказываться в нашем присутствии о своих коллегах. Я же должен был не только нарушить этот запрет, но намеревался обвинить ближайших соратников и товарищей отца

в заговоре.

Да и по-человечески мне этого делать очень не хотелось. И Брежнев, и Подгорный, и Косыгин, и Полянский — все они часто бывают у нас в гостях, гуляют, шутят. Многих я помню с детства еще по Киеву. Если все это окажется ерундой, выдумкой малознакомого человека, в чем я все время пытаюсь себя убедить, как я взгляну потом им в глаза, что они будут обо мне думать? Словом, я решил отложить разговор. Вместо этого я осведомился о его впечатлениях от показа техники.

Отец за эти дни подзагорел под осенним солнцем пустыни, выглядел посвежевшим. Он был доволен увиденным и, как обычно, спешил поделиться впечатлениями. Отец рассказывал о них своим коллегам за обедом в Кремле, а дома его собеседником был я. Работая в КБ, я разбирался в технике, и отец как бы проверял на мне свои впечатления, расспрашивал о деталях.

Сначала нехотя, а потом все более и более увлекаясь, отец начинает говорить. Глаза его загораются, на лице уже не видно усталости. Ракеты — это его гордость. Он перечисляет типы ракет, сравнивает их характеристики, вспоминает разговоры с главными конструкторами и военными. Отец горд — теперь мы сравнялись по военной мощи с Америкой. Когда он стал Первым секретарем ЦК в начале пятидесятых годов, США были недостижимы, а американские бомбардировщики могли поразить любой пункт на нашей территории. Теперь же сам Президент США Кеннеди признал равенство военной мощи Советского Союза и Соединенных Штатов. И всего за десять лет! Есть чем гордиться.

На полигоне ему показали новый трехместный «Восход», который в ближайшие дни должен будет стартовать на орбиту искусственного спутника, представили его экипаж — Комарова, Феоктистова и Егорова.

Отец прямо-таки светился, — в космосе мы уверенно держим первенство.

Улучив удобный момент, я спросил:

— А как тебе понравилась наша ракета?

Явно не желая обсуждать проблему, — видимо, там, на полигоне, обо всем было много разговоров, — отец ответил:

— Ракета хорошая, но у Янгеля лучше. Ее и будем запускать в производство. Мы все обсудили и приняли решение. Не поднимай этот вопрос сызнова.

Я промолчал, хотя было очень обидно за наш коллектив, который столько сил вложил в разработку.

Как бы почувствовав это, отец добавил:

— У вас много хороших предложений. Мы одобрили программу работ. Сейчас Смирнов[10] занимается оформлением.

Закончилась неделя. В субботу вечером, как обычно, все отправились на дачу. Жизнь текла по давно заведенному привычному графику: в воскресенье утром завтрак, затем отец просмотрел газеты, отметил заинтересовавшие его статьи и пошел гулять.

Снова мы гуляли вдвоем. Дорожка извивалась в густом сосновом лесу. Шли молча, я все выбирал момент, оттягивая начало разговора. Дошли до калитки, через нее вышли за ограду дачи на лужок в пойме Москвы-реки.

Сейчас луг был разрыт. Везде валялись бетонные столбы, лотки, трубы. Здесь начали сооружать оросительную систему, вода в которой текла по бетонным лоткам, установленным на столбиках над землей. Отец увидел эту новинку ирригационной техники в апреле 1960 года на юге Франции, кажется в районе Арля, во время государственного визита. Французское изобретение ему очень понравилось: вода не теряется в почве и арыки не отнимают землю у посевов. Тогда мы не знали точных цифр, сейчас зондирование из космоса установило, что в Средней Азии до семидесяти процентов воды фильтруется из каналов всех видов в почву, не только не доходит до посевов, но выносит на поверхность соль, делая поля бесплодными. Отец загорелся новой идеей: если внедрить поливные лотки у нас, то вод Амударьи и Сырдарьи хватит не только на полив хлопковых плантаций, но и еще останется достаточно для пополнения Аральского моря. Во Францию послали сельскохозяйственную делегацию с заданием не просто изучить опыт, но закупить лицензию. И вот теперь отец решил испытать новую технологию у себя на даче. Сказано — сделано. Была дана команда, и через неделю появились строители. Луг превратился в строительную площадку.

Теперь мы шли по краю леса, и отец с удовольствием обозревал содеянное. Ему уже виделись ровные рядки лотков, на полтора метра поднятые над землей и наполненные тихо журчащей водой. Через мерные отверстия на каждую грядку попадает нужное для полива количество воды, ни больше ни меньше и без потерь. К сожалению, после отставки отца лотковый полив забросили, как и многие другие его начинания.

Обойдя луг, мы повернули обратно. Неприятный разговор больше откладывать было нельзя, прогулка заканчивалась. Сейчас, вернувшись на дачу, отец примется за бумаги, потом обед, но главное — вокруг будут люди, а мне не хотелось затевать разговор при свидетелях.

— Ты знаешь, — начал я, — произошло необычное событие. Я должен тебе о нем рассказать. Может, это ерунда, но молчать я не вправе.

Я начал рассказывать о странном звонке и встрече с Галюковым. Отец слушал меня молча. К середине рассказа мы дошли до калитки, ведущей к дому. Секунду поколебавшись, он повернул обратно на луг.

Я закончил свой рассказ и замолчал.

— Ты правильно сделал, что рассказал мне, — наконец прервал молчание отец. Мы прошли еще несколько шагов.

— Повтори, кого назвал этот человек, — попросил он.

— Игнатов, Подгорный, Брежнев, Шелепин, — стал вспоминать я, стараясь быть поточней.

Отец задумался.

— Нет, невероятно… Брежнев, Подгорный, Шелепин — совершенно разные люди. Не может этого быть, — в раздумье произнес он. — Игнатов — возможно. Он очень недоволен, и вообще он нехороший человек. Но что у него может быть общего с другими?

Он не ждал от меня ответа. Я выполнил свой долг — дальнейшее было вне моей компетенции.

Мы опять повернули к даче. Шли молча. Уже у самого дома он спросил меня:

— Ты кому-нибудь говорил о своей встрече?

— Конечно, нет! Как можно болтать о таком?

— Правильно, — одобрил он, — и никому не говори. Больше к этому вопросу мы не возвращались.

В понедельник я, как обычно, отправился на работу. За ворохом новостей о происходившем на полигоне я совсем забыл о Галюкове. Отец приехал домой поздно вечером, после выступления на торжественном собрании посвященном столетию Первого Интернационала. Я ожидал его. Увидев подъезжавшую машину, я вышел навстречу.

Отец, как бы продолжая вчерашний разговор, сразу же начал без предисловий:

— Мы с Микояном и Подгорным вместе выходили из Совета Министров, и я в двух словах пересказал им твой рассказ. Подгорный просто высмеял меня. «Как вы только могли такое подумать, Никита Сергеевич?» — вот его буквальные слова.

У меня сердце просто упало. Этого мне только не хватало: завести себе врага на уровне члена Президиума ЦК! Ведь если все это ерунда, то Подгорный, да и другие, кому он не преминет обо всем рассказать, никогда мне не простят. Все, что я рассказал, можно квалифицировать как провокацию против них.

Начиная разговор с отцом, я опасался чего-то подобного. Боялся, что информация выйдет наружу, но такого я предположить не мог.

Правда, и раньше случались похожие происшествия. Некоторое время назад отец долго меня расспрашивал о сравнительных характеристиках различных ракетных систем. Я рассказал ему все, что знал, стараясь сохранить объективность. Я не хотел выступить апологетом своей фирмы. На вооружении нашей армии должно быть все самое лучшее, а кто что сделал — вопрос другой. Слишком дорого мы заплатили в 1941 году за субъективизм, чтобы забыть эти кровавые уроки. А через несколько дней, выступая на Совете обороны со своими соображениями о развитии индустрии вооружений, отец вдруг бухнул: «А вот Сергей мне говорил то-то и то-то…»

Когда мне об этом сообщили, я за голову схватился! И надо же было мне лезть со своим мнением вперед. Можно было сказать, что я, мол, не в курсе дела. Вот и «продемонстрировал» свою эрудицию и рвение в защите государственных интересов. А теперь люди, с которыми мне работать, не простят мне ни одного критического замечания отца в их адрес.

С тех пор я решил больше в такие ситуации не попадать. И вот на тебе — еще хуже, вляпался по самые уши, и с кем?! С членами Президиума ЦК!!!

— В среду (30 сентября) я отправлюсь на Пицунду, по дороге залечу в Крым, проеду по полям в Краснодарском крае, — продолжал отец. — Я попросил Микояна побеседовать с этим человеком. Он тебе позвонит. Пусть проверит. Он тоже собирается в отпуск, и тоже на Пицунду, задержится тут немного, все выяснит, когда прилетит, мне расскажет.

Я расстроился. Если все это чепуха, то зачем об этом говорить? Ну а если нет, то как же можно выпускать нить событий из рук? Если же поручать расследование Микояну, то как можно было делать это на ходу, в присутствии Подгорного, о котором шла речь как об участнике готовящихся событий? Все получалось на редкость несерьезно и глупо. В любом случае я оказывался в самом нелепом положении. Однако дело сделано, и переживать было поздно. На ход событий я повлиять уже не мог.

— Может, тебе задержаться и самому поговорить с этим человеком? — робко предложил я.

Отец поморщился:

— Нет, Микоян — человек опытный. Он все сделает. Я устал, хочу отдохнуть. И вообще… давай прекратим этот разговор.

— Можно я тоже прилечу на Пицунду? В этом году я в отпуске не был. Поживу там с тобой, — переменил я тему разговора. В конце концов ему виднее, как поступать в подобной ситуации.

— Конечно! Мне будет веселее, — обрадовался он. —

Сведешь этого чекиста с Микояном, бери отпуск и приезжай.

Подгорный в тот же день рассказал Брежневу о разговоре с отцом. Тот запаниковал.

— Может быть, отложим все это? — запричитал он.

— Хочешь погибать, — погибай, но предавать товарищей не смей, — отрезал Подгорный.

Брежнев сник. Порешили предупредить, кого удастся, особенно Мжаванадзе, чтобы в случае разговора с Микояном они все отрицали.[11]

В последние сентябрьские дни отец отдавался делам, будто не существовало никакого предупреждения. Перед тем как покинуть Москву, утром 30 сентября, он встретился с Президентом Индонезии Сукарно, прибывшим в нашу страну с официальным визитом.

Вечером того же дня он приземлился в Симферополе. Отец выбрал кружной путь, по дороге решил осмотреть новые птицефабрики, закупленные за рубежом. Его очень беспокоило, почему в наших условиях они быстро теряют свою эффективность. Количество кормов, затрачиваемых на килограмм привеса, возрастало вдвое, а то и втрое. Поиск ответа на этот вопрос и тогда, в критический момент, представлялся отцу чрезвычайно важным.

В Крыму отца встречали Петр Ефимович Шелест, другие руководители Украины. Как читатель, несомненно, помнит, Шелест все знал, первый разговор с ним Брежнев провел еще в марте. Посетили птицеводческий совхоз «Южный», затем бройлерную фабрику совхоза «Красный». Отец вел себя как обычно, вникал в суть, интересовался, как содержат птиц, как кормят. Шелест ожидал разноса, но его не последовало.

Через много лет в своих воспоминаниях Шелест отмечал, что Хрущев показался ему как бы подавленным, менее уверенным, чем обычно. Он пожаловался на Брежнева, назвал его «пустым человеком». О Подгорном сказал, что пока большой отдачи от него не видит, ожидал большего. Посетовал, что Президиум ЦК — это общество стариков, в его составе много людей, которые любят поговорить, но работать нет…[12]

В Крыму отец задерживаться не стал. Сказал Шелесту, что там угрюмо, холодно, и уехал в Пицунду. Отдых начался приемом 3 октября группы японских парламентариев во главе с господином Айитира Фудзияма. На следующий день отец встретился с парламентариями Пакистана.

Я оставался в Москве, решив не проявлять больше инициативу.

Несколько дней прошли в обычных служебных хлопотах.

Никто не звонил. Иногда на меня накатывало предчувствие опасности, но я гнал его прочь — нечего впадать в панику. Свой долг я выполнил — остальное не мое дело.

И вдруг в один из этих предотъездных дней, как мне представляется сейчас, 2 октября, у меня на столе зазвонил телефон. Я снял трубку.

— Хрущева мне, — раздался требовательный голос.

Обращение было по меньшей мере необычным, и я несколько опешил.

— Я вас слушаю.

— Микоян говорит, — продолжил мой собеседник. — Ты там говорил Никите Сергеевичу о беседе с каким-то человеком. Можешь его привезти ко мне?

— Конечно, Анастас Иванович. Назовите время, я созвонюсь и привезу его, куда вы скажете, — отозвался я.

— На работу ко мне не привози. Приезжайте на квартиру сегодня в семь вечера. Привези его сам, и поменьше обращайте на себя внимание, — то ли попросил, то ли приказал Анастас Иванович.

— Не знаю, удастся ли его сразу разыскать. Ведь у меня только домашний телефон, его может не быть дома, — засомневался я.

— Если не найдешь сегодня, привезешь завтра. Только предупреди меня, — закончил Анастас Иванович.

Я тут же набрал телефон Галюкова. На мое счастье, он оказался дома и сам снял трубку.

— Василий Иванович, с вами говорит Сергей Никитич, — начал я, умышленно не называя фамилии. — С вами хочет поговорить Анастас Иванович. У него надо быть в семь часов вечера, я за вами заеду без двадцати семь.

В тоне Галюкова было мало радости по поводу моего звонка, а когда я сказал о Микояне, он просто испугался:

— Я бы не хотел, чтобы меня узнали. Меня хорошо знает Захаров,[13] могут быть неприятности, — пробормотал он.

— Не беспокойтесь. Мы поедем прямо на квартиру в моей машине, я сам буду за рулем. В семь часов уже темно. Охрана меня хорошо знает в лицо, я часто у них бываю, дружу с сыном Микояна Серго. Они не будут выяснять, кто сидит со мной в машине, — успокоил я его.

Не знаю, подействовали ли на Василия Ивановича мои разъяснения или он понял, что другого выхода у него нет, но больше он не возражал.

Без пяти минут семь мы были у ворот особняка Микояна. Как я и ожидал, выглянувший в калитку охранник узнал меня и,

ничего не спрашивая, открыл ворота. Мы подъехали ко входу и быстро прошли в незапертую дверь. Аллея перед домом делала поворот, и от въезда нас не было видно. Прихожая была пуста. Меня это не смутило, я хорошо знал расположение комнат в доме. Раздевшись, мы поднялись на второй этаж и постучали в дверь кабинета.

— Войдите, — раздался голос Анастаса Ивановича.

Микоян встретил нас посреди комнаты, сухо поздоровался. Одет он был в строгий темный костюм, только на ногах домашние туфли.

Я представил Галюкова.

Обычно Анастас Иванович встречал меня приветливо, осведомлялся о делах, подшучивал. На этот раз он был холодно-официален и всем своим видом подчеркивал, насколько ему неприятен наш визит. Такой прием меня окончательно расстроил — вот первый результат моего вмешательства не в свое дело. А что будет дальше?

Все особняки на Ленинских горах были похожи друг на друга как близнецы. Даже мебель в комнатах была одинаковой. Так же, как и в нашем доме, стены кабинета Микояна были обиты деревянными панелями под орех. Одну стену целиком занимал большой книжный шкаф, заставленный сочинениями Ленина, Маркса, Энгельса, материалами партийных съездов. В углу у окна стоял большой письменный стол красного дерева с двумя обтянутыми коричневой кожей креслами перед ним. На столе сгрудились четыре телефона: массивный белый «ВЧ», обтекаемый, с только что появившимся витым шнуром, кремлевская «вертушка», попроще — черный городской, без наборного диска — для связи с дежурным офицером охраны. Чуть в стороне на отдельном столике — большая фотография лихого казачьего унтер-офицера в дореволюционной форме, с закрученными черными усами и четырьмя «Георгиями» на груди — подарок Семена Михайловича Буденного.

Анастас Иванович предложил нам сесть в кресла. Сам устроился за столом. Обстановка была сугубо официальной.

— Ручка есть? — спросил он меня.

— Конечно, — не понял я, полез в карман и достал авторучку. Микоян показал на стопку чистых листов, лежавших на столе.

— Вот бумага, будешь записывать наш разговор. Потом расшифруешь запись и передашь мне.

После этого он несколько приветливее обратился к Галюкову:

— Повторите мне то, что вы рассказывали Сергею. Постарайтесь быть поточнее. Говорите только то, что вы на самом

деле знаете. Домыслы и предположения оставьте при себе. Вы понимаете всю ответственность, которую берете на себя вашим сообщением?

Василий Иванович к тому времени полностью овладел собой. Конечно, он волновался, но внешне это никак не проявлялось.

— Да, Анастас Иванович, я полностью сознаю ответственность и отвечаю за свои слова. Позвольте изложить вам только факты.

Галюков почти слово в слово повторил то, что он говорил мне во время нашей встречи в лесу. Я быстро писал, стараясь не пропустить ни слова.

Пока Галюков рассказывал, Микоян периодически кивал ему головой, как бы подбадривая, иногда слегка морщился. Но постепенно он стал проявлять все больший интерес.

Василий Иванович закончил рассказ об уже известных мне событиях и вопросительно посмотрел на Микояна.

— Вы давно работаете с Игнатовым? Расскажите о нем, может быть, вас что-то настораживало раньше? — поинтересовался Микоян.

Галюков начал вспоминать о каких-то фактах многолетней давности, они неожиданно вплетались в недавние события.

— Нужно сказать, что отношение Игнатова к Хрущеву менялось в зависимости от продвижения Николая Григорьевича вверх или вниз по служебной лестнице. А у него постоянно взлеты перемежались падениями. В эти периоды он начинал зло ругать Хрущева. Когда нас перевели из Ленинградского обкома в Воронеж, Игнатов был очень недоволен — из второй столицы его выбросили в рядовую область.

Помню, приехал Никита Сергеевич в Воронеж на совещание по сельскому хозяйству. Он тогда объезжал основные районы, проверял подготовку к севу, беседовал с активом. Вышел Хрущев из вагона, поезд был не специальный, а обычный. Вокруг народ снует, каждый своим делом занят: одни целуются, обнимаются, другие уже вещички к выходу тащат. Никто на Хрущева внимания не обращает. Только уж если кто совсем на него переть начинает, охранник в штатском вежливо ручкой показывает — мол, обойдите сторонкой. Все это недолго продолжалось.

Местное начальство, конечно, встречать Хрущева приехало: обком, исполком, военные — как принято. Только мы подошли, толпа стала собираться — любопытно, кого это встречают. Тут и узнали Хрущева, зааплодировали, приветствовать стали, выкрики раздались одобрительные. Игнатов все заметил и, когда мы, проводив Хрущева в приготовленную для него резиденцию, садились в свою машину, удовлетворенно отметил:

— Не любят его. Видел, как плохо встречали?

Совещание проходило бурно. На нем были не только воронежцы, но и руководители соседних областей. Никита Сергеевич часто перебивал докладчиков, задавал вопросы, вставлял едкие критические замечания. Другим доставалось, а Воронежскую область он похвалил.

В перерыве, когда Игнатов вышел из комнаты президиума, я поздравил его:

— С успехом вас, Николай Григорьевич. Нас одних Никита Сергеевич похвалил.

— Что ж, я мало труда вложил? — задиристо ответил Игнатов.

— Бывает, работаешь, работаешь, сил не жалеешь, а начальство приедет и по косточкам разложит.

— Хм, попробовал бы он только. Я бы его сам разделал, — отозвался он и отошел.

Или вот в ту же осень отдыхали мы в Сочи, как обычно. Я узнал, что на отдых приезжает Хрущев. Доложил об этом Игнатову и предложил съездить в Адлер, на аэродром, встретить.

Игнатов меня выругал:

— Хруща-то? Иди ты с ним… Если хочешь, встречай сам.

Надо сказать, что в раздражении он никогда не произносил фамилию правильно, а сокращал презрительно: «Хрущ».

Потом из Воронежа мы перебрались в Горьковский обком. И там Игнатов не мог забыть, что его выдворили из Ленинграда, по каждому поводу выражал свое неудовольствие.

Стал Хрущев в сентябре 1953 года именоваться не просто секретарем ЦК, а Первым секретарем, Игнатов тут же прокомментировал:

— Вот, приставку себе приделал. Ничего, он долго не протянет. Лет пять еще от силы. Возраст у него уже преклонный.

Про пленумы и совещания по сельскому хозяйству отзывался неизменно презрительно:

— Ничего у них не выйдет. Болтовня одна…

Потом все переменилось. В апреле 1957 года Хрущев приезжал в Горький, он тогда предложил отсрочку платежей по займам. Они долго разговаривали с Игнатовым, и того как подменили — начал он Хрущева расхваливать на всех перекрестках. Я думаю, что у них был разговор о переводе Игнатова на работу в Москву.

В 1957 году в первых числах июня[14] Никита Сергеевич пригласил Игнатова (он тогда еще в Горьком был) и Мыларщикова (заведующего отделом сельского хозяйства ЦК КПСС) к себе на дачу посмотреть посевы. Стал он нам показывать

грядки с чумизой и кукурузой. Тогда Хрущев увлекался чумизой, надеясь, что ее можно выращивать в наших условиях и получать большие урожаи. Когда выяснилось, что культура эта требует большого ухода и очень капризна, Никита Сергеевич к ней охладел и впоследствии к мысли о широком ее внедрении не возвращался.

Когда Хрущев и Мыларщиков отошли чуть в сторону, Николай Григорьевич поманил меня:

— Скажи Мыларщикову, пусть уезжает, не задерживается. Мне с Хрущевым наедине поговорить надо.

Мыларщиков вскоре уехал.

В это время против Хрущева выступила антипартийная группа. Игнатов был на стороне Хрущева.

Хрущев довольно долго гулял с Игнатовым, о чем-то ему рассказывал, видимо, о ситуации, сложившейся в Президиуме ЦК, говорил о позиции, занятой Молотовым, Кагановичем, Маленковым и другими.

Я с начальником охраны Хрущева следовал за ними чуть поодаль и, естественно, разговора не слышал, только под конец до нас долетела фраза, сказанная Игнатовым:

— …это дело нужное. Надо его решать.

Видимо, речь шла о Пленуме ЦК, который должен был вот-вот собраться для обсуждения разногласий, возникших в Президиуме. На этом Пленуме, где была осуждена антипартийная группа, Игнатов вошел в состав Президиума ЦК. Он был на седьмом небе от счастья, но пытался не подать вида, как будто ничего иного и не могло произойти. Сразу же он озаботился вопросом, как распределятся портфели в Президиуме и какой пост достанется ему. К Хрущеву с этим вопросом он идти не решился и подключил к выяснению Валентина Пивоварова, он в то время работал секретарем в приемной Хрущева. Вскоре Пивоваров сообщил Игнатову:

— Прощупал Хрущева. Будешь секретарем ЦК.

Игнатов очень обрадовался. Он рассчитывал занять пост второго секретаря. Просто был уверен в этом. И тут разочарование — вторым секретарем избирают Кириченко, а Игнатов становится секретарем, отвечающим за сельское хозяйство.

Ярости его не было границ.

— Чем я хуже Кириченко? Что я, хуже его разбираюсь?

Благожелательное отношение к Хрущеву опять перешло в плохо скрытую ненависть. Хрущев стал для него как бы навязчивой идеей. Бывало, вглядывается мне в лицо и вдруг говорит:

— Ну и рожа у тебя. Да ты такой же держиморда, как Хрущ. Другой раз сидит в кресле, молчит и как бы про себя бурчит:

— Он же дурак дураком…

— Вы о ком, Николай Григорьевич? — спрашиваю.

— О Хруще, о ком же еще? И я мог бы так же. Говорили мне, чтобы брал руководство. И надо было.

— Но ведь тяжеловато… — осторожно возразил я. Этот эпизод привлек внимание Микояна, и он уточнил:

— А когда это было?

— Точно не скажу, помню только, что в 1959 году. Видимо, такая точка зрения сложилась в результате разговоров Игнатова с приятелями: Дорониным, Киселевым, Жегалиным, Денисовым, Хворостухиным, Лебедевым, Патоличевым…[15]

— Товарищ Галюков, — вмешался опять Анастас Иванович, — вы сами говорите, что неприязнь Игнатова к Хрущеву существует давно, а обратились к нам только сейчас. Чем это вызвано? Почему у вас появились сомнения? Когда это произошло?

Василий Иванович был готов к ответу — видимо, он много думал на эту тему:

— Сомнения, подозрения, что что-то происходит, оформились у меня в Сочи в этом году. Раньше разговорам Игнатова я особого значения не придавал — болтает себе, и пусть болтает. Гуляем, а он ругает Хрущева, остановиться не может. Никак не мог простить, что его на XXII съезде не выбрали в Президиум ЦК, жаловался: «В 1957 году мой Пленум был, без меня они бы не справились. И “двадцатка”[16] — моя… Сколько я сделал! А он сельское хозяйство запустил. Я бы за два-три года все поднял, он только болтает, а дела нет!»

Летом разговоры стали целенаправленнее. Кроме того, его отношения со многими людьми вдруг резко изменились. До последнего лета Игнатов плохо относился к Шелепину, Семичастному, Брежневу, Подгорному и другим, доброго слова о них не говорил. А тут постепенно все они перешли в разряд друзей. Сам Игнатов не переменился, значит, изменились обстоятельства, что-то их объединило в одной упряжке. После 1957 года до последнего времени Игнатов при каждом удобном случае злословил по адресу Брежнева: «Занял пост, а что он сделал? Даже выступить как следует не мог. Лазарь на него прикрикнул, он и сознание от страха потерял, “борец”».[17]

Потом отношение Игнатова к Брежневу стало более ровным, но он ревниво следил за каждым его шагом. Николай Григорьевич все время сохранял надежду вернуться в Президиум ЦК и занять пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

В начале этого года, когда стало известно, что Брежнев в скором времени полностью сосредоточится на работе в Секретариате ЦК, Игнатов начал активно обзванивать всех, выясняя, кого планируют на освободившееся место, какие у него шансы. В это время Хрущев находился на Украине, Брежневу Николай Григорьевич звонить не хотел, но постоянно переговаривался с Подгорным. Тот его обнадежил, передав свой разговор с Хрущевым в Крыму. Они тогда затронули вопрос о Председателе Президиума — видимо, у Хрущева к тому времени не сложилось определенного мнения о возможной кандидатуре. На вопрос Подгорного, кто же планируется на этот пост, Хрущев ничего не ответил.

Тогда, как сообщил Подгорный Игнатову, он решил спросить впрямую:

— Может быть, подошел бы Игнатов? Хрущев ответил неопределенно:

— Посмотрим, посоветуемся.

Основываясь на этом случайном разговоре, Николай Викторович уверял Игнатова, что он убедил Хрущева, и определенно обещал:

— Никита Сергеевич согласился со мной и думает решить вопрос о твоем назначении.

У Игнатова вырвалось непроизвольно:

— Ну а если правда?…

Он и верил и не верил, что давняя мечта может сбыться. И поэтому допытывался у Подгорного, что же еще сказал Хрущев, насколько все это точно?

Подгорный, естественно, ничего добавить не мог, разговор был мимолетным, и больше в поездке к нему не возвращались. Оставил он Игнатова окрыленным надеждой, и тем сильнее было разочарование. Председателем Президиума стали вы, Анастас Иванович. Узнав об этом, Николай Григорьевич целый вечер почем зря честил и вас, и Никиту Сергеевича. В этом году, возвращаясь домой, Николай Григорьевич часто сообщал как бы невзначай: «Долго мы сегодня у Николая засиделись» (имелся в виду Николай Викторович Подгорный), — и замолкал многозначительно. Иногда бросал: «Был сегодня у Брежнева. Полезно поговорили. Он меня уверял, что все будет хорошо».

Надо сказать, что, после того как Подгорного резко критиковали на Президиуме ЦК, Игнатов очень близко с ним сошелся, хотя раньше отношения между ними были прохладными. Взять хотя бы поездку в 1963 году на празднование 150-летия вхождения Азербайджана в состав России. Игнатов очень хотел поехать в Баку руководителем делегации Москвы.

Вроде все шло к тому, но в последний момент делегацию возглавил Подгорный. Опять разговорам не было конца. «И чего его черт туда несет!.. Опять мы будем на вторых ролях…» — причитал Игнатов. В Баку ему все не нравилось, особенно доклад Первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана Ахундова на торжественном заседании. В нем часто цитировался Хрущев. Игнатов возмущался: «Зачем это Ахундову надо? Зачем как попка за ним повторяет? Совсем ситуации не понимает…»

В Баку нас поселили в одном особняке с Подгорным, но Игнатов с ним почти не общался. Поздороваются только и разойдутся в разные стороны. Подгорный готовился к выступлению, а Игнатову делать было нечего, и, чтобы убить время, он целыми днями гулял вокруг особняка. Ему нужен был слушатель, и я неизменно его сопровождал. На какую бы тему ни начинался разговор, постепенно он стягивался к Подгорному. Казалось, о другом Игнатов не может думать. Чего-то он опасался, часто повторял в раздумье:

— Опасный это человек. Ох, опасный… А что о нем ребята его говорят, охрана? Я тогда, помню, уклонился от прямого ответа:

— Мы, Николай Григорьевич, об этом не разговариваем. Между собой такие темы не затрагиваем.

— Ладно. Может, оно и правильно. Но человек он опасный. Очень опасный. Разговор на том и прекратился.

В Баку Николай Григорьевич держался особняком — видно, чувствовал себя обиженным. Он только встретился с Заробяном, просидели часа два, но о чем говорили, я не знаю.

Галюков замолчал, видимо, собираясь с мыслями:

— Еще вспоминаются разрозненные эпизоды. Не могу сказать конкретнее, но Игнатов часто упоминал о недовольстве военных. «И им Хрущ, — говорит, — надоел со своими сокращениями — поперек горла. Они только и ждут, чтоб его…»

Игнатов тогда не договорил, а только со смаком подковырнул большим пальцем.

Анастас Иванович заинтересовался:

— А как вы думаете, кого он имел в виду? Галюков замялся.

— Не знаю. Он фамилий не называл. Вот с маршалом Коневым они часто встречались. Вместе были в Чехословакии на похоронах Антонина Запотоцкого и там сблизились. После ухода Конева в отставку отношения у них остались теплыми. Они перезванивались, поздравляли друг друга с праздниками, но настоящей близости, дружбы не было. Других я не знаю… Был еще такой эпизод. Перед поездкой в Болгарию Брежнев позвонил Игнатову — по какому вопросу, я уже запамятовал, но одна фраза

засела у меня в голове. Уже прощаясь, Игнатов предупредил: «Лёня, имей в виду, я был там в 1960 году, мы с Живковым долго говорили наедине. Настроен он критически, даже сказал мне: “Странно ведет себя ваш…” — но продолжать не стал».

Еще один факт.

Когда в сентябре 1964 года приезжал к нам Президент Индии Радхакришнан, Николаю Григорьевичу позвонил Высотин из Отдела международных связей Президиума Верховного Совета СССР и предупредил, что во время поездки по стране он будет сопровождать высокого гостя. Игнатов любил такие поездки, они были для него добрым знаком — о нем помнят, без него обойтись не могут. Однако на сей раз вышла осечка — следом за Высотиным, вечером, домой Игнатову позвонил Георгадзе. Извинившись, он сказал, что говорит по поручению Микояна:

— Мы планировали вас в поездку с Радхакришнаном. Сегодня обсуждался маршрут, и Анастас Иванович предложил посетить Армению. Если вы не возражаете, то Анастас Иванович хотел бы сам поехать туда с гостями из Индии. Скоро приезжает с визитом афганский король — вот с ним вы и поедете.

Игнатов возражать не стал, но очень расстроился.

На следующий день утром я зашел к нему. Все сидели за столом, завтракали. Тут же, на столе, лежала кипа утренних газет, видно, их только что просматривали. Сын Игнатова Лев, продолжая прерванный моим приходом разговор, недовольно заметил:

— А в газетах-то не написано, что Микоян сопровождает делегацию… Просто не хотели, чтоб ты поехал. Понимаешь, это вопрос политики.

Игнатов насупился над тарелкой и кивнул головой:

— Да, все непросто. Они хотят меня в тени держать.

Галюков заерзал на стуле и вопросительно посмотрел на Анастаса Ивановича:

— Вы просили рассказывать обо всем, даже о мелочах. Может, это и мелочь, но, мне кажется, она хорошо характеризует общее настроение Игнатова.

Микоян кивнул:

— Рассказывайте все. Василий Иванович продолжал:

— Или вот такой факт. Игнатов ежедневно пересчитывает, сколько раз в газетах упоминается Хрущев. Если есть фотография, то пристально ее рассматривает. Поглядит-поглядит, да и хмыкнет удовлетворенно: «Что ни говорите, а физиономия его с каждым днем выглядит все хуже и хуже». В последнее время Игнатов выглядел очень нервным, часто срывался на крик, особенно его беспокоило, почему Никита Сергеевич не уезжает в

отпуск. Даже выругался недавно: «И что он, черт, отдыхать не едет?» Мне кажется, этот повышенный интерес к отпуску Хрущева как-то связан со всем происходящим, — добавил Галюков.

— Вы излагайте факты, а выводы мы сделаем сами, — повторил Анастас Иванович.

— Надо сказать, — снова продолжил Галюков, — что Игнатов нелестно отзывается и о других членах Президиума ЦК. Вот, например, Полянского он иначе как «прощелыгой» не называет. Воронов для него — человек ограниченный. Косыгину дал кличку «Керенский», часто повторяет, что дела тот не знает, за что ни возьмется — все провалит. Подобным образом он отзывается и о многих других.

Заметив, что Анастас Иванович не проявляет интереса, Галюков переменил тему:

— В последние дни отношение ко мне Игнатова переменилось. Я думаю, что факт моего разговора с Сергеем Никитичем стал ему известен. Очевидно, за нами следили и предупредили Игнатова. Николай Григорьевич стал очень настороженным, никаких откровенных разговоров со мной не ведет и вообще старается держать меня подальше. Конкретные факты привести трудно, но я чувствую, что он мне больше не доверяет.

На днях Николай Григорьевич, собираясь на торжественное заседание по случаю столетия Первого Интернационала,[18] позвонил мне. Это было в четыре часа. Меня на месте не было. Вернулся я домой в семь вечера и, узнав, что Игнатов меня искал, сразу позвонил ему на работу. Он взял трубку. С преувеличенным вниманием Игнатов стал меня расспрашивать, как идут дела, что нового.

Я ответил, что все нормально.

— Я только что приехал с торжественного заседания. Там выступал Никита Сергеевич, говорил он просто замечательно, — заливался Игнатов.

Эти слова резанули мой слух. Такого я давно не слыхал. Последнее время он вообще иначе как «Хрущ» его не называл, а тут — «Никита Сергеевич… говорил замечательно…». Очень мне такой оборот не понравился. 30 сентября я позвонил Игнатову опять. На душе было неспокойно. Николай Григорьевич сам взял трубку.

— Что тебе нужно? — спрашивает.

— Да вот увидел в окнах свет и решил проверить, может, чужие в квартире. Разрешите зайти снять показания со счетчика.

— Ладно, ладно. Завтра сделаешь… — Игнатов, не закончив фразы, повесил трубку.

Он явно хотел от меня отделаться.

— Ну… вот, собственно, и все. — Галюков вытащил платок и отер вспотевший лоб.

Я отложил ручку и стал разминать затекшие пальцы. Передо мной лежала груда листков, испещренных сокращениями, недописанными словами — я очень торопился, стараясь ничего не упустить.

В кабинете повисла настороженная тишина.

Микоян сидел, задумавшись, не обращая на нас никакого внимания. Мысли его были где-то далеко. Наконец он повернул к нам голову, выражение лица было решительным, глаза блестели.

— Благодарю вас за сообщение, товарищ… Анастас Иванович запнулся и взглянул на меня.

— Галюков, Василий Иванович Галюков, — торопливо вполголоса подсказал я.

— …Галюков, — закончил Микоян. — Все, что вы сказали, очень важно. Вы проявили себя настоящим коммунистом. Я надеюсь, вы учитываете, что делаете это сообщение мне официально и тем самым берете на себя большую ответственность.

— Я понимаю всю меру ответственности. Перед тем как обратиться с моим сообщением, я долго думал, перепроверял себя и целиком убежден в истинности своих слов. Как коммунист и чекист я не мог поступить иначе, — твердо ответил Галюков.

— Ну что ж, это хорошо. Я не сомневаюсь, что эти сведения вы нам сообщили с добрыми намерениями, и благодарю вас. Хочу только сказать, что мы знаем и Николая Викторовича Подгорного, и Леонида Ильича Брежнева, и Александра Николаевича Шелепина, и других товарищей как честных коммунистов, много лет беззаветно отдающих все свои силы на благо нашего народа, на благо Коммунистической партии, и продолжаем к ним относиться как к своим соратникам по общей борьбе!

Увидев, что я положил ручку, Анастас Иванович коротко бросил:

— Запиши, что я сказал!

От всего этого я несколько оторопел: для кого предназначалась столь выспренная декларация? Галюков говорил о своих подозрениях, а эти слова перечеркивали все сказанное.

Василий Иванович недоуменно посмотрел на Микояна. В глазах мелькнул страх. А я в который раз подумал, что напрасно ввязался в это дело.

Анастас Иванович встал, давая понять, что разговор закончен.

— Если у вас будут какие-то добавления или новости, позвоните Сергею. Когда понадобитесь, мы вас вызовем. — И,

повернув голову ко мне, Микоян закончил: — Оформи запись беседы и передай мне. Я завтра улетаю в Пицунду.[19]

— Я тоже поеду туда, хочу догулять отпуск, — ответил я.

— Вот и привезешь запись. Никому ее не показывай, ни одному человеку. Я расскажу обо всем Никите Сергеевичу, посоветуемся.

Анастас Иванович протянул Галюкову руку.

— Сергей отвезет вас.

По ярко освещенной лестнице мы спустились в пустую прихожую. Одевались торопливо, чтобы нас не заметили. Но дом был пуст. Василий Иванович нервничал, пытался скрыть свое волнение и от этого нервничал еще больше. Мы сели в машину.

— Анастас Иванович мне не поверил. Напрасно мы вообще к нему поехали, — огорченно произнес Галюков.

Я стал его успокаивать:

— Вы поступили совершенно правильно. Последние слова носили просто характер общей декларации. До проверки Анастас Иванович не хотел бросать тень на членов Президиума ЦК.

Василий Иванович не стал со мной спорить, но было видно, что он крайне подавлен. Условившись при необходимости созвониться, мы расстались.

Больше я Галюкова не видел. События вскоре понеслись вскачь, и было не до встреч. Я очень беспокоился за его судьбу — наверняка Игнатов все знал и не преминул расправиться с «изменником». А может, его арестовали? Окольными путями я позднее выведал, что неприятности у Василия Ивановича были, но всерьез им не занимались и вскоре оставили в покое. Лишь осенью 1988 года, после публикации в журнале «Огонек» этого отрывка, Василий Иванович позвонил в редакцию, и мы встретились. Он оказался жив, здоров, работал в аппарате Совета Министров СССР…

На следующее утро я поехал на работу. Нужно было ликвидировать долги перед отпуском, как всегда, накопилось много дел, но главное — успеть оформить стенограмму беседы.

Расшифровать ее — я расшифрую. А как быть дальше? Печатать я не умею, а доверить эту тайну кому-то постороннему невозможно и подумать. Есть у нас, конечно, машинописное бюро, где печатают самые секретные документы. Может, отдать туда? Нет, слишком рискованно. Придется писать от руки. Почерк у меня препаршивейший, но выбора нет.

Разложив свои листочки, я принялся за работу. Писал разборчиво, почти печатными буквами. Дело продвигалось медленно. Я вспоминал каждую фразу, старался не упустить ни слова. Постепенно втянулся, разговор врезался мне в память

намертво, к тому же рядом лежали конспективные записи, сделанные в кабинете Микояна. Крупные буквы заполняли страницу за страницей. Откуда-то пришло чувство собственной значимости, причастности к решению проблем государственной важности. Тревога последних дней отступила на второй план. Свой долг я выполнил. Сейчас Микоян уже в Пицунде, там они разберутся, что к чему, и примут все необходимые решения.

Вот и последняя страница. Заявление Анастаса Ивановича я опустил — оно как-то не укладывалось в общий тон сухого перечисления фактов. Ведь пишу я не декларацию, а справку для памяти.

Аккуратно собрал исписанные листы. Получилось хорошо, читается легко, буквы все четкие, разборчивые. Мелькнула мысль: «Надо было бы под копирку сделать второй экземпляр». И тут же ее отбросил: «Зачем? Документ слишком секретный. Мало ли кому он может попасть в руки?»

В тот момент я не мог себе представить реальной судьбы этой записки. Потом пришлось восстанавливать все по своим записям, благо хватило ума их не сжечь…

Теперь оставалось только проститься с Челомеем, и можно трогаться в путь. Владимир Николаевич меня принял немедленно. Он был полон впечатлений от последних встреч на полигоне и остро переживал постигшую нас неудачу. В ней он больше всего винил Дмитрия Федоровича Устинова, для которого не жалел эпитетов. Постепенно страсти улеглись, и разговор перешел на наши повседневные дела.

— Ты должен больше помогать мне, — неожиданно произнес Владимир Николаевич.

Я несколько опешил и стал говорить о наших делах, о предполагаемых решениях, своих задумках.

Челомей перебил меня:

— Нет, я о другом. Хватит тебе сидеть заместителем начальника КБ у Самойлова. Приборное подразделение ты должен возглавлять сам. Так лучше для дела, и мне ты сможешь больше помогать. Надо расти.

Как и всякому человеку, мне было лестно такое предложение. Похвалы всегда приятны. К ответу я не был готов — меня моя должность устраивала, и я не задумывался о служебном продвижении, тем более что считал своих начальников людьми достойными и знающими.

В свою очередь я задал вопрос:

— А куда вы думаете назначить Самойлова?

— Найдем куда, — отмахнулся Челомей, — пусть тебя это не волнует.

Но я все же стал настаивать. Чувствовалось, что у Владимира Николаевича решения нет и он начал импровизировать на ходу.

— Назначим его начальником приборного производства. Будет реализовывать твои разработки. И вообще, что ты о нем беспокоишься? Я его работой недоволен, пора менять. Ты на эту должность подходишь куда лучше.

С такой ситуацией я согласиться не мог. Самойлов много лет проработал начальником КБ, с делами справлялся не хуже других, а к тому же был моим другом. Занимать его место я не хотел.

Однако спорить не стал. О чем бы я ни говорил, что бы ни делал, в подсознании острой занозой сидели разговоры с Галюковым, его предупреждения. Вот и сейчас я подумал: «А интересно, что бы сказал Челомей, знай он то, что знаю я? Продолжил бы он свой разговор?» Здравый смысл и практика взаимоотношений в нашем ОКБ отвечали: нет…

— Владимир Николаевич, какой смысл обсуждать все это перед отпуском? Вот вернусь, и, если вы не передумаете, можно будет возобновить разговор, — ответил я.

— Я уже все обдумал, и решение принято. Так и считай. Вернешься из отпуска, оформим приказом, — отрезал Челомей.

Больше к этому разговору мы не возвращались никогда…

Итак, с воскресенья 11 октября я — в отпуске.

Позади короткий перелет, и вот уже машина тормозит у знакомых зеленых ворот пицундской дачи. В доме все идет по давно заведенному распорядку. Отец занят послеобеденной почтой. Коротко здороваемся.

— Ты пообедай, а я пока закончу читать. Потом пойдем погуляем, — говорит он и возвращается к тоненьким листочкам с красной типографской шапкой — расшифрованным донесениям послов. Все как обычно.

Через час-полтора дела закончены, и мы выходим на аллейку, тянущуюся вдоль пляжа. Но сначала заходим в соседний дом за Микояном.

Мне не терпится узнать, что же происходит, но вопросов не задаю. Надо будет — сами скажут.

И все-таки, не утерпев, вставляю в их разговор:

— Я привез запись, Анастас Иванович. Что с ней делать?

— Вернемся, отдашь Анастасу, — отвечает за Микояна отец. — Вчера приезжал к нам Воробьев, секретарь Краснодарского крайкома, — продолжил он. — Мы его спросили обо всех этих разговорах с Игнатовым. Он все начисто отрицал. Он у нас тут целый день пробыл. Еще пару индюков в подарок привез, очень красивых. Ты сходи на хозяйственный двор, посмотри.

Считая тему исчерпанной, отец вернулся к текущим делам.

Я оторопел. Так значит, они все эти дни не только ничего не предпринимали, но даже не пытались выяснить, соответствует ли истине полученная информация?!

«Поговорили с Воробьевым», — но если он действительно о чем-то договаривался с Игнатовым, что-то знает, то, без сомнения, им ничего не скажет. Интересно, чего они ожидали: признания в подготовке отстранения Хрущева? Что это? Наивность? Как можно проявлять такое легкомыслие?

Только значительно позже я понял истоки поведения отца.

Итак, поверил ли отец сообщению Галюкова?

Я думаю, скорее да, чем нет.

Возможно, не до конца. Сомневался. Хотелось ошибиться. Ведь все они не только соратники, но и старые друзья. С отцом связаны их первые назначения, вместе они работали до войны,

прошли войну, вернулись к мирному труду. Он их привел с Украины в Москву, видел в них твердую опору, людей, которым можно довериться.

И тут такое!.. Но это политика…

Так почему же отец даже не предпринял всесторонней проверки информации Галюкова? Беседу с Микояном нельзя рассматривать как серьезный шаг.

В 1957 году в аналогичной ситуации он оперативно привлек на свою сторону армию и госбезопасность. Галюков сообщил, что Семичастный на стороне противника. Ну а Малиновский? Отец имел все основания на него рассчитывать. Когда в 1943 году после самоубийства члена Военного Совета его армии Ларина Сталин уже занес топор над головой Малиновского, отцу с большим трудом удалось отвести удар. Малиновский об этом знал и, надо отдать ему должное, в ответ на зондаж Шелеста ответил однозначно: вмешиваться в решения внутриполитических проблем он не станет.[20]

Однако отец даже не позвонил ему…

Он уехал, освобождая поле боя, предоставляя противникам свободу действий. Он просто не хотел сопротивляться? Почему?

Отец устал, безмерно устал морально и физически. У него не было ни сил, ни желания вступать в борьбу за власть. Он все отчетливее ощущал, что ноша с каждым днем становится все тяжелее, а сил все меньше.

Я уже упоминал, что отец после своего семидесятилетия всерьез заговорил об отставке.

— Пусть теперь поработают молодые, — повторял он.

В такой ситуации отцу приходилось выбирать между никому не известным бывшим охранником и много раз проверенными сотоварищами.

О его психологическом состоянии можно судить по такому, на первый взгляд незначительному, эпизоду.

В одном из интервью Дмитрий Степанович Полянский, заместитель председателя правительства, на время отпуска замещавший отца, вспоминает свой разговор с Хрущевым по телефону. Отец позвонил исполняющему обязанности Председателя Совета Министров по какому-то сиюминутному делу. В заключение разговора, прощаясь, он задал, казалось бы, нейтральный вопрос:

— Ну, как вы там без меня?

— Все нормально, — ответил Полянский, — ждем вас.

— Так уж и ждете? — с грустной иронией переспросил отец.

Полянский уловил необычность интонации и немедленно доложил о подозрительном разговоре Брежневу и Подгорному.

Интуиция политика взывала к борьбе, но отцу очень не хотелось полагаться на интуицию. Допустим, отец поверил всему. Отбросил все сомнения и решил вступить в борьбу. Обстановка в 1964 году коренным образом отличалась от 1957 года. Тогда он сражался с открытыми сталинистами, речь шла о том, по какому пути двигаться дальше: по сталинскому или развернуться к общечеловеческому? От исхода битвы зависела судьба страны. Отец принял бой и победил.

Теперь же в Президиуме ЦК сидят его соратники, люди, которых он отбирал все эти семь лет. Старался оставить лучших, самых способных, преданных делу. Нет, он не считал этих людей идеальными, но и найти более подходящих не удавалось. Он и они вместе делали одно дело, хуже или лучше, но одно и вместе.

Именно их он намеревался оставить «на хозяйстве», уходя на покой. Им предстояло продолжить дело. Они…

Сейчас их обвиняли в том, что они в нетерпении решили поторопить естественный ход событий, получить сегодня то, что и так предназначалось им завтра.

И вот теперь необходимо сражаться с ними. Со своими.

А мог ли отец победить?

В 1964 году это было невозможно. Его не поддерживал ни аппарат, ни армия, ни КГБ — реальные участники спектакля; ни народ, — ему отводилось место в зрительном зале, отгороженном от сцены глубокой «оркестровой ямой». Время отца прошло. Но он-то об этом не знал.

Наверное, отец задумывался о победе, не мог не рассчитывать на нее. Так что же ожидало его в случае победы?

Логика борьбы диктует совершенно определенные шаги. Победив, придется устранить с политической арены побежденных противников. Я не говорю как. Сталин предпочитал убийство. В цивилизованном мире поражение означает отставку, переход в оппозицию. Только не сохранение у власти. Итак, отец должен был отстранить от дел своих ближайших соратников, тех, кого он подбирал последние годы, кому рассчитывал передать власть.

А дальше?

Дальше пришлось бы искать новых, все там же, на вершине пирамиды. Он попытался выдергивать людей с более низких уровней, но положительного результата опыт не дал ни в случае с министром сельского хозяйства Воловченко, ни со Смирновым.[21] Итак, оставалось снова искать там, где он уже отобрал, по его мнению, лучших.

Взбудоражить страну и после всего этого уйти в отставку, оставив всё на этих, на новых. Неизбежно возникала мысль: а будут ли они лучше старых, подобранных тоже им самим? Стоит

ли игра свеч? Видимо, отец посчитал, что лучше предоставить решение судьбе, и не стал вмешиваться в естественное течение событий.

При таком предположении все сходится. Отъезд в Пицунду — единственный логически объяснимый шаг. И оставленный без последствий разговор Микояна с Галюковым… И встреча с Воробьевым… И разговор с Полянским, которому он издали погрозил пальчиком…

Он не хотел действовать. Если Галюков ошибся — тем лучше, не придется возводить напраслину на друзей. Если нет, то пусть будет, как будет. Он готов уйти в любой момент…

Я никогда не говорил на эту тему с отцом. Слишком болезненными для него оставались воспоминания об этих октябрь ских днях. Все семь последних отведенных ему лет. Но сам я много думал о событиях тех дней и недель, сопоставлял. Снова и снова возвращался к разговорам в Москве и в Пицунде. Другого объяснения я не нахожу. Возможно, кто-то думает иначе. Его право. Нам остаются только домыслы, догадки, логические построения. Правда ушла вместе с отцом.

…Дорожка была узкой, втроем в ряд не уместиться. Я несколько поотстал и предался своим невеселым мыслям. Начало смеркаться. Стал накрапывать мелкий дождичек. Наконец мы вернулись к даче. Микоян сказал, что пойдет к себе, а после ужина зайдет. Отец пригласил его вечером посмотреть присланный из Москвы новый кинофильм.

Пока они разговаривали, я сбегал в свою комнату и принес папку с записью беседы. Правда, я уже перестал понимать, нужна ли она еще кому-нибудь здесь, в Пицунде. Анастас Иванович, не раскрывая, сунул папку под мышку и ушел к себе.

Итак, свою роль я выполнил до конца, мне оставалось только ждать дальнейшего развития событий, если они, конечно, наступят. Оказалось, однако, что в тот день мне уготовано участие еще в одном, правда, совсем незначительном эпизоде.

Вечером, после окончания фильма, Анастас Иванович попросил меня зайти. Недоумевая, я пошел следом за ним. На даче Микоян жил один. Мы поднялись на второй этаж, и он жестом пригласил меня в спальню. Там он открыл трехстворчатый гардероб и, согнувшись, полез рукой под лежавшую на нижней полке высокую стопку белья. Повозившись, он достал из-под белья мою папку.

— Все правильно записано, только добавь в конце мои слова о том, что мы полностью доверяем и не сомневаемся в честности товарищей Подгорного, Брежнева и других, не допускаем мысли о возможности каких-то сепаратных действий с их стороны.

Микоян говорил «мы» по привычке, от имени Президиума ЦК. Мы вышли из спальни в столовую, точно такую же, как и у нас на даче. Даже мебель и чехлы на ней были одинаковы.

— Садись пиши.

Я присел и начал писать. Анастас Иванович стоял рядом, изредка поглядывая через мое плечо. Закончив писать, я протянул ему рукопись. Он внимательно прочитал последний абзац и удовлетворенно кивнул. Некоторое время он о чем-то раздумывал, потом протянул листы мне назад.

— Распишись.

Я удивился: это же неофициальный документ.

— А зачем?

— Так лучше. Ведь ты же записывал беседу.

Никаких оснований возражать у меня не было. На многочисленных стенограммах, которые мне приходилось читать вслух отцу, всегда внизу стояло: «Беседу записал такой-то».

Я взял листок и расписался.

— Вот теперь все хорошо. — Анастас Иванович аккуратно подровнял листы, сложил их в папку и молча направился в спальню.

Я не знал, что мне делать, и, секунду поколебавшись, так же молча последовал за ним. Микоян открыл шкаф и засунул папку под стопку рубашек.

Когда я вернулся, отец уже ушел к себе дочитывать вечернюю порцию бумаг.

Утро 12 октября встретило нас теплой, ясной погодой. Невысокое солнце слабо пригревало. На тумбах вокруг дома торчали шапками яркие георгины, алели канны — последние цветы уходящего летнего сезона. О Галюкове и его предупреждениях не вспоминали. Микоян не появлялся, а отец после завтрака и массажа удобно расположился в кресле на открытой террасе плавательного бассейна, выстроенного у самой кромки воды. Тут же стоял плетеный столик с аппаратом правительственной связи «ВЧ».

Я пристроился рядом.

— Что там у нас? — спросил отец помощника, державшего в одной руке толстую папку с полученными сегодня из Москвы документами. В другой у него был тугой портфель с бумагами, ждущими своей очереди; материалы, требующие изучения, по новой Конституции, докладные записки, проекты постановлений.

— Ничего срочного, Никита Сергеевич, — ответил Владимир Семенович Лебедев.

— Хорошо, сейчас посмотрим. А как дела с Конституцией?

— В ближайшие дни обработаем ваши замечания и

представим, — как обычно вежливо улыбнулся Лебедев.

— Мы тут на свободе занялись подготовкой текста новой Конституции. Затянули это дело. Хотелось к Пленуму в ноябре подготовить редакцию для обсуждения. Я надиктовал свои мысли, сейчас над ними работают, — пояснил мне отец.

Моего ответа не требовалось. Я мог слушать доклад молча, пока очередь не доходила до секретных документов. Тогда отец обычно кратко бросал: «Сходи-ка погуляй…»

— Завтра вы принимаете француза Гастона Палевского, государственного министра Франции, ответственного за научные исследования, в том числе атомные и космические. Он прилетит вечерним самолетом, — напомнил Лебедев. — Вот справка о нем.

— Хорошо, положите. С гостем поступим так: привозите его часа в два. Мы с ним поговорим, а потом погуляем по парку и пообедаем вместе, — отозвался отец.

Лебедев положил на стол тонкую бумажную папку со справкой, а рядом легли толстые папки: зеленая — с материалами зарубежной прессы, красная — с шифровками послов и серо-голубая — с бумагами, поступившими из различных ведомств. Сам Владимир Семенович сел рядом на стул и приготовился докладывать.

Сегодня отец не торопился приступать к просмотру почты. День был не совсем обычным — утром должны были запустить на орбиту космический корабль «Восход» с экипажем из трех человек.

Отец внимательно следил за каждым запуском. Ракетная и космическая техника была его любимым делом, и он всей душой болел за каждый новый шаг, с детской непосредственностью радовался удачам и горько переживал неполадки. Аварийных запусков с космонавтами не случалось, но никто не был от них застрахован. Именно поэтому он запрещал такие запуски приурочивать к праздникам: вдруг произойдет несчастье.

— Работайте спокойно, без спешки, не гонитесь за торжественными датами. Пускайте людей только после тщательной подготовки, — неоднократно повторял он Сергею Павловичу Королеву.

Час запуска был известен, и отец то и дело поглядывал на небольшие прямоугольные карманные часы, подаренные ему Лео Сцилардом, известным американским физиком. Их свели вместе стремление запретить атомные испытания, тревога за будущее человечества. Последний раз они встретились в октябре 1960 года в Нью-Йорке, куда отец приезжал на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Сцилард лежал в больнице, у него развился рак — видимо, он в свое время как следует облучился. Отец навестил

его, о болезни ученого они не вспоминали, шутили, говорили о будущем. Возможно, что именно тогда Сцилард и подарил отцу часы на память. Он очень дорожил этими часами и с удовольствием демонстрировал их всем желающим. Часики были заключены в стальной футляр, состоящий из двух половинок, раздвигающихся в стороны. Тогда становился виден циферблат. При открывании и закрывании часы подзаводились — это особенно нравилось отцу, он любил остроумные технические решения. Льстило ему и то, что это подарок от такой мировой знаменитости, как Сцилард.

Отец любил вспоминать слова Сциларда, которые тот сказал, вручая ему часы:

— Я хотел подарить вам какой-нибудь сувенир, который доставил бы вам удовольствие. Не хотелось делать формальный подарок. Эти часы очень удобны, я сам ношу такие — они надежно упрятаны в корпусе и не разобьются, если упадут. Их не надо заводить по утрам. Нам, пожилым людям, бывает тяжело носить наручные часы, они мешают кровообращению. Надеюсь, вы будете ими пользоваться.

Искренность и сердечность его слов очень тронули отца, запали ему в душу. И сейчас, сидя в кресле, он поигрывал часами, то и дело открывая и закрывая крышки.

— Запуск прошел, — объявил он и посмотрел на телефон. Аппарат молчал.

— Еще рано, наверное, не успели получить информацию.

Обычно сразу после запуска отцу звонил Смирнов, заместитель Председателя Совета Министров, отвечающий за ракетную технику, докладывал о результатах, потом звонил Королев, иногда Малиновский. Каждому хотелось первым сообщить приятную весть и получить свою порцию комплиментов. Сам отец не звонил, не справлялся, как идут дела.

— Пусть спокойно работают. Помочь я им ничем не могу, а звонки начальства только нервируют, люди начинают спешить, могут ошибиться. В этом деле ошибки недопустимы, — объяснял он свою позицию.

На сей раз телефон молчал долго. Отец занялся бумагами, но сосредоточиться не мог. То и дело поглядывал он на массивный белый аппарат. Никто не звонил. Прошло полчаса, сорок минут — молчание становилось все более странным.

Если все благополучно, то космонавты давно на орбите; если произошла задержка или авария, тоже должны были уже сообщить…

Мне стало не по себе. Казалось, о Хрущеве забыли, сбросили со счетов, и никто уже не интересуется ни его мнением, ни его

распоряжениями. Что-то зловещее было в этом молчащем телефонном аппарате. Засосало под ложечкой, опять невольно вспомнился Галюков, события последних недель.

«Нет, это неспроста», — подумал я.

Видимо, у отца тоже появились такие мысли, и он приказал Лебедеву:

— Соедините меня со Смирновым.

— У телефона Смирнов, — через минуту доложил Владимир Семенович. Связь действовала отлично. Отец взял трубку.

— Товарищ Смирнов, — сдержанно произнес он, — как дела с запуском космонавтов у Королева? Почему не докладываете?

В голосе слышалось раздражение. Смирнов, очевидно, ответил, что с запуском все нормально, космонавты уже на орбите, чувствуют себя хорошо.

— Так почему вы мне не докладываете? Раздражение перерастало в гнев.

— Вы обязаны были немедленно доложить мне результаты!

Смирнов, видимо, сказал, что не успел позвонить. Он, конечно, уже все знал и не торопился звонить отцу. Для него смена власти фактически произошла…

Несомненно, столь необычное поведение могло бы насторожить отца, но что он мог сделать, будучи здесь, в Пицунде…

— Как это «не успели»?! Я не понимаю вас! Ваше поведение возмутительно! — бушевал отец.

Судя по реакции, Смирнов слабо оправдывался.

— Товарищ Смирнов, учтите, я требую от вас большей оперативности! Вы затягиваете решение вопросов! — Отец тут же перешел к другой теме: — На полигоне вам поручили подготовить предложения по новой ракете Королева. Срок давно истек, а предложений нет! Учтите, я вами недоволен!

Отец бросил трубку. Постепенно гнев его остывал. Попросил соединить с Королевым. Тепло поздравил его с очередной победой, пожелал новых успехов коллективу. Успокоившись, занялся текущими делами.

— Чего тебе без дела сидеть, — обратился он ко мне с улыбкой, — почитай-ка ТАСС, а Лебедев пока отдохнет.

Я открыл толстую зеленую папку и начал читать информацию ТАСС, сообщения иностранной прессы. Лебедев потихоньку ушел. Через полчаса он вернулся и сообщил, что вскоре с космическим кораблем будет установлена прямая связь.

— Никита Сергеевич, вы поприветствуете космонавтов?

— Конечно. Им это будет приятно, да и для меня поговорить с ними — удовольствие. Предупредите Микояна, пусть тоже

подходит.

— Связь лучше всего организовать из маленького кабинета, не надо будет подниматься на второй этаж. Журналисты очень хотят сделать снимки. Вы не возражаете? — спросил Лебедев формального разрешения, заранее зная результат.

— Конечно. Когда все будет готово, предупредите меня.

Отец обожал эти телефонные разговоры с космонавтами. Он восхищался техникой, которая позволяет вот так просто, из дачного кабинета, связаться с космическим кораблем. Он гордился этими достижениями, видел в них частичку и своего труда.

— Пусть люди порадуются, ощутят наше внимание. Им там нелегко, — повторял отец, когда к нему обращались по поводу приветствия космонавтам или их торжественной встречи в Москве.

Пришел Анастас Иванович. Они начали обсуждать какие-то дела, ожидая приглашения к телефону. Наконец появился Лебедев и доложил, что все готово.

Маленький кабинет — комната площадью около 15 квадратных метров — располагался рядом со столовой на первом этаже. Стены были обшиты панелями из красного дерева. В углу стоял письменный стол, тоже красного дерева, затянутый зеленым сукном, с батареей телефонов на крышке. Обстановку дополняли обтянутые кожей стулья и диван с гнутой спинкой. Из-за мебели в комнате было тесновато. Двери кабинета выходили прямо на большую веранду, обращенную к морю.

Раньше здесь была проходная комната. Последнее время отцу стало трудно подниматься по лестнице, а все телефоны стояли в кабинете на втором этаже. Вот и оборудовали этот кабинетик, чтобы отец мог без помех связаться с Москвой, когда работал на террасе.

Надо сказать, что отец не любил пользоваться кабинетом и обычно пристраивался со своими бумагами на конце обеденного стола в большой столовой на втором этаже или же внизу на свежем воздухе. Но больше всего он любил открытую террасу у плавательного бассейна.

Сейчас комната была забита людьми с фото— и киноаппаратами, по углам стояли софиты, заливавшие все вокруг ярким светом, по полу тянулись в разные стороны толстые провода.

Отец с Микояном вошли через балконную дверь. Защелкали фотоаппараты, возникла обычная в таких случаях толчея. Дежурный связист доложил, что связь установят через одну-две минуты, и, не выпуская трубки из рук, чуть-чуть посторонился,

пропуская отца к креслу, стоящему у стола. Микоян расположился рядом на стуле. Лебедев, вооружившись фотоаппаратом, присоединился к корреспондентам. Я остался у двери, стараясь не попасть в кадр.

— Есть связь, — торжественно объявил дежурный.

Отец взял трубку. Защелкали фотокамеры, еще ярче вспыхнули софиты. Началась киносъемка.

Разговор был похож на все предыдущие беседы с космонавтами на орбите. Взаимные поздравления и пожелания успехов перемежались шутками.

— Вот здесь рядом со мной Микоян, просто вырывает трубку, — закончил отец. К телефону подошел Анастас Иванович. Опять поздравления, пожелания благополучного возвращения.

— Космический корабль выходит из связи, — предупредил дежурный. Приветствия окончены. Все стали расходиться.

Подошло время обеда. Пообедали все вместе. После обеда отец остался в столовой и занялся своими бумагами. Рядом сидел Лебедев. Я примостился с книгой на диване. Мое внимание привлекли слова Лебедева. Передавая очередной документ, он произнес:

— Это объяснение, которое написал Аджубей.

Я бросил книгу и стал прислушиваться. Отец молча прочитал отпечатанный на машинке текст и отложил листки в сторону.

Я недоумевал: что случилось?

Недавно Аджубей (муж моей сестры Рады, главный редактор газеты «Известия») в качестве личного представителя Хрущева побывал в Западной Германии. Эра Аденауэра кончилась, и обе стороны осторожно нащупывали почву для сближения. Одним из шагов навстречу друг другу должна была послужить поездка Аджубея в Бонн. Он был удобной фигурой: с одной стороны, лицо неофициальное, главный редактор газеты, с другой — зять премьера. Все сказанное ему достигнет ушей, которым информация предназначалась. На эту поездку отец возлагал большие надежды. В случае удачи он сам собирался нанести визит западным немцам. Любопытство победило, и я задал вопрос вслух:

— Что случилось? Отец поднял голову.

— Сам еще не понимаю. По разведывательным каналам поступила информация, что Алексей в Бонне наболтал лишнего. Я попросил его написать объяснение в Президиум ЦК. Может, какая-то провокация?…

История, как выяснилось, заключалась в следующем. Результаты советского зондажа с целью установления прямых контактов между двумя странами интересовали всех: ведь

разрядка между СССР и ФРГ неизбежно меняла весь политический климат в Европе. Особо пристальное внимание привлекала поездка Аджубея в Польшу — для них многое зависело от того, как сложатся отношения СССР и Западной Германии.

Хотя руководители дружественных государств постоянно обменивались политической информацией, польская разведка следила за каждым шагом Аджубея в Бонне, стараясь не упустить ни единого слова.

Усердие окупилось с лихвой. В одном из донесений говорилось, что в ответ на осторожный зондаж, может ли улучшение отношений между Россией и Западной Германией повлиять на существование Берлинской стены, Аджубей якобы ответил, что, когда приедет Хрущев и увидит сам, какие немцы хорошие ребята, от Берлинской стены не останется камня на камне.

История выглядела подозрительной, но поляки сообщили, что разговор записан на магнитофон. Положение создалось чрезвычайно щекотливое…

Обо всем этом Семичастный доложил Президиуму ЦК.

В своем объяснении Аджубей все начисто отрицал. Конечно, не исключено, что пленку подсунули спецслужбы ФРГ, желая вбить клин между нашими странами. Но если информация Галюкова соответствовала истине, то пресловутая пленка подоспела как раз вовремя. Ведь речь шла уже не об Аджубее, а о Хрущеве, который доверил ему проведение столь важной и деликатной миссии.

Эта история так и осталась невыясненной: после отставки Никиты Сергеевича ею никто не занимался. Видимо, игра была сыграна, и боннский эпизод уже никому не был нужен…

…Наступал вечер. Мирно заканчивался еще один день. Отец и Микоян не спеша прогуливались по аллейке вдоль моря. Девятьсот метров туда, девятьсот — обратно. Сзади, стараясь не попадаться на глаза, следовала охрана. Стемнело. На небе в просветах между тучами засветились первые звезды.

Прогулку прервал подбежавший дежурный:

— Никита Сергеевич, вас просит к телефону товарищ Суслов.

Все повернули к даче. Отец с Микояном вошли в маленький кабинет, где стоял аппарат «ВЧ». Я последовал за ними. Охрана осталась в парке. Отец снял трубку:

— Слушаю вас, товарищ Суслов.

Наступила длинная пауза. Михаил Андреевич что-то говорил.

— Не понимаю, какие вопросы? Решайте без меня, — произнес отец. Опять пауза.

— Я же отдыхаю. Что может быть такого срочного? Вернусь через две недели, тогда и обсудим.

Отец начал нервничать.

— Ничего не понимаю! Что значит «все собрались»? Вопросы сельского хозяйства будем обсуждать на Пленуме в ноябре. Еще будет время обо всем поговорить!..

Суслов продолжал настаивать.

— Хорошо, — наконец сдался отец. — Если это так срочно, завтра я прилечу. Узнаю только, есть ли самолет. До свидания.

Он положил трубку.

— Звонил Суслов, — обратился он к Микояну. — Якобы собрались все члены Президиума и у них возникли какие-то срочные вопросы по сельскому хозяйству, которые надо обсудить перед Пленумом. Настаивают, чтобы я завтра же прилетел в Москву. Ты слышал, я хотел отложить до возвращения из отпуска, но они не соглашаются. Придется лететь. Ты полетишь?

— Конечно.

— Ну что ж. Надо решить, как быть с завтрашней встречей, и попросить подготовить самолет… Бунаев! — позвал отец в раскрытую на балкон дверь.

Появился майор Василий Иванович Бунаев, заместитель начальника личной охраны отца. Начальник охраны полковник Литовченко находился в отпуске.

— Мы завтра вылетаем в Москву. Анастас Иванович тоже летит. Свяжитесь с Цыбиным,[22] пусть подготовит самолет. Прием француза перенесем на утро. Побеседуем с ним полчаса. Обед отменим. После беседы перекусим и полетим. Заказывайте вылет приблизительно на двенадцать часов, если летчики успеют. Всё.

Бунаев повернулся и исчез за деревьями.

Мы возвратились на аллейку. Прогулка продолжалась. В воздухе повисло тягостное молчание.

Первым разговор начал отец:

— Знаешь, Анастас, нет у них никаких неотложных сельскохозяйственных проблем. Думаю, что этот звонок связан с тем, о чем говорил Сергей.

Отец вздохнул, обернулся назад и заметил, что я иду за ними следом.

— Шел бы ты по своим делам, — произнес он, обращаясь ко мне.

Я отстал и продолжения разговора не слышал. Только потом мне стало известно, что отец сказал Микояну примерно следующее:

— Если речь идет обо мне — я бороться не стану.

А тогда, оставшись наедине со своими мыслями, я невольно подумал: «Началось…»

…Сегодня, основываясь на воспоминаниях участников описываемых событий, можно с достаточной степенью точности реконструировать происходившее в этот момент в Москве. Речь идет прежде всего о воспоминаниях Семичастного и Шелеста. Семичастный в сентябре отдыхал в Железноводске. В том же санатории жил Демичев, а по соседству в Кисловодске находился Шелепин. Они часто встречались, ездили на Домбай, в другие места, не обошли своим вниманием и охоту. Вместе они провели всего неделю. Шелепин и Демичев торопились в Москву, и Семичастный остался один.

Через несколько дней ему по «ВЧ» позвонил Шелепин и потребовал, чтобы он немедленно вернулся в Москву. Владимиру Ефимовичу не хотелось срываться из отпуска, поскольку это случалось уже не впервые, но, как вскоре выяснялось, каждый раз попусту.

В начале октября Брежнев находился в Берлине, он возглавлял советскую делегацию на праздновании пятнадцатилетия ГДР.

В ЦК заправлял Подгорный. В кресле Председателя Совета Министров сидел Полянский. Все нити сходились к ним в руки.

С приближением решительного момента Брежнев чувствовал себя все неувереннее. Больше всего он боялся, что отец узнает…

И самое страшное произошло: отец узнал. Неприятную новость Брежневу сообщили в Берлине.

Поведение отца ему, видимо, представлялось загадочным. Отец ничего не предпринимал.

Брежнев запаниковал. От страха он чуть не потерял рассудок. Как вспоминает Николай Григорьевич Егорычев (он входил в делегацию), в какой-то момент Брежнев вдруг отказался возвращаться в Москву, страх перед отцом парализовал его волю. Пришлось потрудиться, чтобы его уговорить. Свой испуг он компенсировал в речи, произнесенной по случаю торжественной даты. Такого панегирика в адрес отца мне еще не приходилось читать.

Домой Брежнев в конце концов вернулся, но приступать к реализации своих планов по-прежнему опасался. Шли нескончаемые разговоры, перебирались всевозможные варианты исхода, а «дело» с места не двигалось.

Поэтому Семичастный стал допытываться, насколько серьезна перспектива на этот раз. Шелепин был непреклонен.

— На этот раз — все, — отрезал он.

— Хорошо, — отбросил колебания Семичастный, — завтра я

буду в Москве.

На следующий день после этого разговора все посвященные собрались на квартире у Брежнева. Были там почти все члены Президиума, секретари ЦК, прилетел из отпуска и Семичастный. Решили звонить в Пицунду Хрущеву, чтобы вызвать его в Москву под предлогом обсуждения вопросов, связанных с предстоящим Пленумом ЦК. Звонить, по общему мнению, должен был Брежнев, но он все не решался. «Его силой притащили к телефону», — свидетельствует Семичастный.

Нужно сказать, что все участники событий с «той» стороны утверждают, что отцу звонил Брежнев, а не Суслов.

В одном из своих многочисленных интервью Семичастный описывает такую сцену:

«— Пусть звонит Коля, — назвал Брежнев имя Подгорного, — ведь он тут, пока Никиты не было, председательствовал.

— Но что я ему скажу? — возразил тот. — Ведь я только третьего дня разговаривал с ним, сказал, что все у нас идет нормально, никаких проблем не возникает… Пусть лучше говорит Леня, тем более что ему надо передать привет от товарищей из ГДР Ульбрихта и Штофа.

Все согласились. Брежнев же уперся. Еле уговорили. С дрожью в голосе он начал разговор с Хрущевым».[23]

Все очень убедительно, все очень подробно. Но мне точно запомнилось, что звонил Суслов. С другой стороны, какая разница: Брежнев или Суслов, Суслов или Брежнев?

Теперь мы знаем, что до самого последнего момента Суслова, по существу, не привлекали к подготовке этой акции. Видимо, потому, что он не принадлежал ни к «украинской» группировке Брежнева — Подгорного, ни к «молодежной» Шелепина.

Разговор с Демичевым в Париже не в счет. Теперь же настала пора действий.

Вот что говорит Петр Ефимович Шелест:

— Суслов до последнего времени не знал об этом. Когда ему сказали, у него посинели губы, передернуло рот: «Да что вы? Будет гражданская война…» — только и смог произнести он.

Тем не менее Михаил Андреевич быстро сориентировался в обстановке. Не только Суслова известили в последнюю минуту. По словам Семичастного, «когда пришли к Косыгину за неделю до этого, то первый вопрос был:

— Как КГБ?

Когда ему сказали, что мы в этом участвуем, он сказал:

— Я согласен.

А министру обороны Малиновскому сказали за два дня, — свидетельствует Семичастный. — Я уже собрал начальников

особых отделов Московского округа. Не стал говорить о существе дела, но предупредил:

— Если в эти дни хоть один мотоциклист выедет из расположения части с оружием, с пулеметом и прочим… имейте в виду — не сносить вам головы… Без сообщения мне ничего никому не позволять предпринимать.

…Министр еще не знал [о готовящихся событиях], командующий округом не знал, а уже все было наготове.

Через два дня Пленум!!!

Представляете?…»

Ничего этого мы в Пицунде, конечно, не знали.

…Отец с Микояном кружили по дорожкам под соснами, а я остался на прибрежной тропинке. Бросил взгляд на море. На горизонте мое внимание привлек силуэт военного корабля. «Сторожевик пограничной охраны», — автоматически отметил я про себя. Во время отдыха отца его резиденция охранялась и с моря. Слева, в нескольких километрах от дачи, у пирса рыбоконсервного завода постоянно дежурил пограничный катер: вдруг кто-нибудь решит высадиться с моря. Никто на него не обращал внимания, все привыкли, что он там стоит, — это была часть пейзажа.

Занятый мыслями о телефонном разговоре, я автоматически следил за приближающимся кораблем. Стремительные контуры военных кораблей всегда притягивают взор. На сей раз поведение сторожевика было необычным: он не обходил бухту по широкой дуге, чтобы потом резко свернуть к пирсу, а шел параллельно берегу на расстоянии нескольких сотен метров. Прямо напротив дачи корабль застопорил ход и остановился. Тут было слишком глубоко, чтобы бросать якорь, поэтому легкий ветерок постепенно разворачивал его носом к берегу. Людей на палубе видно не было. В вечерней тишине гулко отдавался скрежет каких-то механизмов.

Все это было очень необычно, а в связи с последними событиями — предупреждением Галюкова, звонком Суслова (Брежнева) — выглядело зловеще.

Неподалеку я заметил Бунаева. Он как офицер охраны должен был знать все.

Я подошел к нему и показал на черный силуэт.

— Что это он тут делает?

— Сам не понимаю. Мы запросили пограничную заставу, они ответили, что корабль пришел по распоряжению Семичастного. Я потребовал от пограничников, чтобы они отвели его на обычное место. Здесь ему быть не положено. Его место у пирса.

Быстро темнело. Чернота ночи растворила зловещий силуэт,

только ярко светились желтоватые точки иллюминаторов. Через некоторое время корабль ожил, раздались какие-то команды, что-то зазвенело, загрохотало. Потихонечку, как бы нехотя, сторожевик двинулся к пирсу, но пришвартовываться не стал, а остановился чуть поодаль, развернувшись носом к морю.

Цель прихода этого корабля так и осталась неясной. В бурном потоке последующих событий такая мелочь никого не заинтересовала. Вряд ли кто-то мог предположить, что отец решит вплавь бежать в Турцию или высаживаться с десантом в районе Сухуми.

Но мрачность черного силуэта на фоне безмятежного моря врезалась мне в память. Эта фигура четко вписывалась в ощущение общего душевного беспокойства. «Все в наших руках», — как бы говорила она.

Видел ли отец этот корабль, или его появление прошло для него незамеченным — никто не знает. Спросить об этом, естественно, никому не пришло в голову.

Погуляв около часа, отец и Микоян разошлись по домам. Я тоже вошел в дом. Стемнело. Отец стоял у маленького столика в углу столовой и пил боржоми. Вид у него был усталый и расстроенный.

— Не приставай, — предупредил он, увидев, что я раскрыл рот, собираясь задать вопрос.

Допив воду, он постоял еще некоторое время со стаканом в руке, потом осторожно поставил его на столик, повернулся и медленно пошел к себе в спальню.

— Спокойной ночи, — не оборачиваясь, произнес он.

Мне очень хотелось с кем-нибудь поговорить обо всем происшедшем, посоветоваться. Я просто не мог больше хранить все, что знал, в памяти. Надо было на что-то решаться. Не могло быть сомнений, что никто, кроме отца, никаких действий предпринять не может, тем более я, не связанный ни с кем из политических деятелей. Но мне была необходима хоть какая-то иллюзия деятельности.

Отец со мной говорить не хотел, да я и не рассчитывал на это. В его глазах я был мальчишкой, а с мальчишками в таком серьезном деле не советуются. С помощниками или с охраной говорить не хотелось. Неизвестно, что они знают и какую роль играют во всем этом деле. Тем более что за Лебедевым почему-то утвердилась репутация «правого», человека Суслова.[24]

Я пошел шататься по комнатам. Забрел к Лебедеву. Он молча паковал бумаги в объемистые портфели. Вид у него был растерянный. Мы обменялись ничего не значащими фразами: отъезд-де неуместен, Никита Сергеевич не успел отдохнуть, а он

очень устал. Как бы сговорившись, мы не затрагивали главного. Помявшись у двери, я ушел.

Мелькнула мысль позвонить Серго Микояну. Он мой старый друг, с ним можно всем поделиться. Тем более Анастас Иванович непосредственный участник всего этого дела. Нужно предупредить Серго о происходящих событиях.

Я понимал, что Серго реального ничего не предпримет, он так же беспомощен, как и я. Однако ум хорошо, а два лучше. Я прошел в маленький кабинет и, сняв трубку «ВЧ», попросил соединить с квартирой Микояна в Москве. Серго оказался дома. Я сказал ему, что отец с Анастасом Ивановичем срочно летят в Москву, возникли какие-то дела.

— Очень прошу тебя встретить меня, — попросил я, — надо посоветоваться. Понятно, что я боялся доверить телефону хотя бы крупицу информации. Серго обещал, — впрочем, это ничего не значило. Человек крайне безответственный, он вечно опаздывал, а то и вовсе не являлся на встречу. К этому все привыкли.

Я еще раз повторил:

— Обязательно встречай.

— Да, да, конечно, — беззаботно отозвался он. Положив трубку, я отправился спать…

Не только нас выбил из колеи звонок Суслова. Как говорит в своих воспоминаниях Семичастный, не находил себе места и Брежнев. «Через каждый час мне Брежнев звонил:

— Ну, как?

Почему мне? Потому что (Хрущев должен был) заказать самолет через меня, через мои службы.

Только в двенадцать часов ночи мне дежурный… позвонил и сказал, что позвонили с Пицунды и заказали самолет на шесть утра. Чтобы в шесть утра самолет был там.

Я тут же ему позвонил. Рассказал. Вот тогда немножко отлегло у всех».

«Отлегло», поскольку все они — и трусоватый Брежнев, и сухой и осторожный Суслов, и рассудительный Косыгин, и самоуверенный Шелепин — каждый по-своему побаивались Хрущева.

Семичастный вспоминает: «…Он смял таких, как Маленков, Молотов, всех. Ему, как говорят, природа и мама дали дай бог. Сила воли, сообразительность… быстрое мышление, разумное.

Когда я к нему шел докладывать, я готовился всегда дай бог. У Лёни я мог… с закрытыми глазами. Можно было пару анекдотов рассказать — и весь доклад».

Все ждали от Хрущева быстрых и решительных ответных действий. Молчание Пицунды пугало. Никто не мог

предположить, что отец… пошел спать.

От Семичастного требовали подробной информации, гарантий. А новости от него поступали скупо.

«Мне… сообщили, что с ним летит Микоян. Хорошо… Я принял все это. Я… не знал, сколько он привезет охраны. Если он додумается, он может что-то еще новое (придумать). С Малиновским уже был разговор, поэтому дать команду войскам как главнокомандующий он уже не мог. (Малиновский заблокировал бы.) Потому что, если беда, все равно притянули бы его, притащили».

Вот в таких драматичных переживаниях в Москве, на Кутузовском[25] и Лубянке, тянулась ночь с 12 на 13 октября…

Утро 13 октября — последнее утро «славного десятилетия» Хрущева — встретило нас теплом и покоем. Распорядок дня не нарушился. Внешне отец был абсолютно спокоен. За завтраком он, как обычно, пошутил с женщиной, подающей на стол, посетовал на свою диету. Потом заговорил с помощником о текущих делах.

После завтрака отец просмотрел бумаги, хотя теперь это уже не было нужно ни ему, ни тем, кто эти бумаги направил. Но многолетняя привычка требовала исполнения ритуала. Одно только было необычным — телефоны молчали…

Бунаев доложил, что самолет подготовлен и вылет назначен на час дня. Отец только кивнул головой.

Тем временем на открытой террасе у плавательного бассейна расставили плетеные кресла, принесли фрукты и минеральную воду — готовились к приему гостя.

Делать мне было нечего, на месте не сиделось, и я вышел к морю. Пляж был пуст. Вдали у пирса маячил вчерашний сторожевик.

Отец сидел на террасе у бассейна, где должен был состояться прием, и лениво перелистывал какие-то бумаги.

Лебедев и Бунаев стояли чуть поодаль, перекидываясь ничего не значащими фразами.

Наконец на дорожке появилась группа незнакомых людей. Отец уже заметил их. Он не спеша поднялся, надел пиджак, висевший на спинке соседнего кресла, и направился навстречу с улыбкой радушного хозяина.

Обычно до начала официальных разговоров он знакомил гостей с членами семьи, отдыхавшими с ним, показывал парк и только потом приглашал к разговору о делах. Сейчас он даже не посмотрел в мою сторону.

Продолжая улыбаться, он пожал руку гостю, переводчику и еще каким-то сопровождавшим его людям и жестом пригласил их

на террасу. Все расположились вокруг небольшого летнего столика. Лебедев повертелся вокруг, убедился, что все в порядке, и уселся поблизости на случай, если понадобится.

Беседа была короткой. Меньше чем через полчаса гости удалились, а отец пошел к даче. Последний в его жизни официальный прием закончился. Пора было собираться в Москву. Вещи уже увезли на аэродром.

Подали легкий обед — овощной суп, вареный судак. По совету врачей отец последнее время придерживался диеты. Ели молча. С нами за столом сидели, как обычно, помощник и личный врач отца — Владимир Григорьевич Беззубик.

Это был прощальный обед, прощание с дачей, которую отец так любил, с соснами и морем. Всякое прощание навевает грусть, а тут еще полная неизвестность впереди…

Тем временем обед закончился. Пора было ехать.

На крыльце нас дожидалась сестра-хозяйка — «властительница» дачи — с большим букетом осенних цветов. Так она всегда встречала и провожала своих высоких постояльцев. К этому давно привыкли, но сейчас все выглядело иначе, многозначительнее.

— До свидания, Никита Сергеевич, жаль, что мало отдохнули. Приезжайте еще, — произнесла она привычную фразу, протягивая букет.

Отец поблагодарил ее за гостеприимство и, передав букет стоявшему рядом офицеру охраны, сел на переднее сиденье «ЗИЛа».

Машина тронулась. Вот и ворота. У левой створки вытянулся часовой. За воротами к машине бросился какой-то человек.

— Остановите, — приказал отец. Бунаев открыл заднюю дверь.

— Командующий Закавказским военным округом, — представился несколько запыхавшийся генерал. — Разрешите, Никита Сергеевич, вас проводить?

— Садитесь, — равнодушно ответил отец. Тучный генерал взгромоздился на откидное сиденье.

— Прошу прощения, Никита Сергеевич. Василий Павлович Мжаванадзе в Москве, отдыхает в Барвихе, а товарищ Джавахишвили уехал по районам. Мы не ожидали вашего отъезда и не смогли его предупредить, — стал извиняться генерал.

— И правильно, пусть работает. И вы напрасно приехали, — недовольно буркнул отец. — Уж раз приехали, оставайтесь, — остановил он готового выскочить генерала.

Машина тронулась.

Обычно приезжавшего на отдых отца встречали и провожали

первый секретарь ЦК Компартии Грузии Мжаванадзе и Председатель Совета Министров Джавахишвили. Отец всегда ворчал на них:

— Я отдыхаю, а вы попусту тратите рабочее время. Прогул вам запишем. Однако всерьез никогда не сердился, и эта традиция встреч и проводов сохранялась.

Мжаванадзе отшучивался:

— Отработаем сверхурочно!

На сей раз их не было. Это не было связано со срочностью отъезда, объяснение выглядело неубедительным. Оба — Мжаванадзе и Джавахишвили, — видимо, заранее уехали в Москву для участия в дальнейших событиях. Генералу же поручили компенсировать неудобство ситуации и заодно проконтролировать отъезд отца и Микояна.

По пути генерал информировал гостей о положении в сельском хозяйстве Грузии. Отец молчал, и было непонятно, слушает он или занят своими мыслями.

Наконец приехали в аэропорт. «ЗИЛ» подкатил к самолету. У трапа выстроился экипаж, и личный пилот отца генерал Цыбин отдал традиционный рапорт:

— Машина к полету готова! Неполадок нет. Погода по трассе хорошая.

Его широкое лицо расплылось в улыбке. Отец пожал ему руку, стал легко подниматься по трапу. За ним последовал Микоян. Они оба прошли в хвостовой салон. В правительственном варианте в хвостовом салоне «ИЛ-18» убрали обычные самолетные кресла, там установили небольшой столик, диван и два широких кресла. Это было самое тихое место в самолете.

Отец не любил одиночества, и в полете в «хвосте» всегда собирались попутчики: он что-то обсуждал с помощниками, правил стенограммы своих выступлений, а то и просто разговаривал с сопровождающими. На сей раз было иначе.

— Оставьте нас вдвоем, — коротко приказал он.

И вот мы в воздухе. Самолет полупустой. В салоне помощники обоих государственных деятелей — президента и премьера, охрана, стенографистки. Деловитый Лебедев раскрыл свой необъятный желтый портфель и копается в многочисленных папках. Надо иметь недюжинную память, чтобы не запутаться в этой бумажной массе.

Бортпроводница проносит в задний салон поднос с бутылкой армянского коньяка, минеральной водой и закуской, но через минуту возвращается, неся все обратно. Не до того…

Каждый занят своими делами. Для большинства это обычный

перелет — сколько они уже отмахали с отцом по нашей стране и за ее пределами.

В заднем салоне, закрывшись от всех, два человека вырабатывали линию поведения, проигрывали варианты, пытались угадать, что их ждет там, впереди, в аэропорту Внуково-2.

Теплая встреча? Едва ли…

Оцепленный войсками аэродром? Еще менее вероятно. Не те времена. Но что-то, безусловно, ждет…

А от принятых сейчас здесь, в вибрирующем самолете, решений зависит будущее. И не только их личное, но и будущее страны, будущее дела, которому оба этих старых человека посвятили свою жизнь…

…Самолет начал снижаться. Уже можно различить отдельные деревья. Наконец мягкий толчок. Посадка, как всегда, отличная. Сколько налетано с Николаем Ивановичем Цыбиным? Хорошо бы подсчитать. И в войну на «дугласах» в любую погоду, и потом на Украине, и из Москвы в разные уголки нашей планеты.

Самолет подрулил к правительственному павильону в аэропорту Внуково-2. Последний раз взревели моторы, и наступила тишина. Внизу — никого. Площадка перед самолетом пуста, лишь вдали маячат две фигуры. Отсюда не разберешь, кто это. Недобрый знак…

Последние годы члены Президиума ЦК гурьбой приезжали провожать и встречать отца. Он притворно хмурил брови, ругал встречавших «бездельниками», ворчал: «Что я, без вас дороги не знаю», — но видно было, что такая встреча ему приятна.

Теперь внизу — никого.

Медленно подкатился трап. Загадочные фигуры приблизились вслед за ним. Теперь их уже можно узнать — это Председатель КГБ Семичастный и начальник Управления охраны Чекалов. Следом спешит Георгадзе.[26]

Отец, поблагодарив бортпроводниц за приятный полет, спускается по трапу первым. За ним в цепочку растянулись остальные.

Семичастный подходит к отцу, вежливо, но сдержанно здоровается:

— С благополучным прибытием, Никита Сергеевич. Потом пожимает руку Микояну.

Чекалов держится на два шага сзади, руки по швам — служба. Лицо напряжено.

Семичастный наклоняется к отцу и как бы доверительно сообщает вполголоса:

— Все собрались в Кремле. Ждут вас. Роли, видно, расписаны

до мелочей.

Отец поворачивается к Микояну и спокойно, даже как-то весело произносит:

— Поехали, Анастас.

На мгновение задержавшись, он ищет кого-то глазами. Меня не замечает. Увидев Цыбина, улыбается, делает шаг в сторону, жмет руку — благодарит за полет. Теперь ритуал выполнен.

Наконец кивает на прощание своим спутникам, и они вдвоем с Микояном быстрым шагом идут к павильону. Чуть сзади следует Семичастный, за ним я, а замыкает процессию Чекалов. Он держится на несколько метров сзади, как бы отсекая нас от всего, что осталось в самолете.

Проходим пустой стеклянный павильон. Эхом отдаются шаги. В дальних углах вытягивается охрана. Дежурный предупредительно открывает большую, из цельного стекла, дверь. Напротив двери у тротуара застыл длинный «ЗИЛ-111», автомобиль отца. На площадке выстроились черные машины: еще один «ЗИЛ» — охраны, «Чайки» Микояна и Семичастного, «Волги».

Хрущев и Микоян садятся в машину. Бунаев захлопывает дверцу и занимает место впереди. Автомобиль стремительно трогается и исчезает за поворотом. За ним срываются остальные. Семичастный на ходу запрыгивает в притормозившую «Чайку». Мимо меня пробегает Чекалов.

— Тебя подвезти?

— Нет, спасибо. Меня должны встречать.

— Тогда до свидания.

Он буквально влетает в свою «Волгу» и уносится вслед, только слышится визг покрышек на повороте…

А вот что рассказывает об этой встрече на аэродроме сам Семичастный: «Я утром звоню Леониду Ильичу.

— Кто поедет встречать? — спрашиваю.

— Никто, ты сам езжай, — отвечает.

— Как же? — запнулся я.

— В данной обстановке зачем же всем ехать? — тянул он. В общем-то правильно…

— Не поймет ли он? — побеспокоился я.

— Ты возьми [себе] охрану и поезжай, — закончил разговор Брежнев.

Я взял парня из «девятки» (управления охраны). Взял себе пистолет, и парень этот взял.

Вопрос: Вы волновались?

— Нет… Зная Хрущева, я был убежден, что он не пойдет на конфронтацию. Понимаешь, [не в его стиле] такие шальные вещи.

Это просто была с моей стороны перестраховка.

Самолет приземлился, он выходит немного насупившийся.

Они сели в одну машину с Микояном. Я еду следом за охраной. Спереди у меня сидит охранник… А те [охрана Хрущева в машине впереди] все время головами крутят: что вдруг у меня впереди сидит охранник… Насторожило их.

На середине пути между Внуково и Москвой говорю своему водителю: “Затормози. Давай на обочину”. Пусть едут. У меня же в машине телефон. Позвонил, сказал…»

…Я остался на аэродроме один. Все произошло чрезвычайно стремительно. Серго не видно нигде. Не было его на поле, нет и здесь. Все мои многозначительные просьбы не возымели никакого действия. Обидно. Очень он мне сейчас нужен. Хорошо еще, если он дома.

Я сажусь в машину, волнение последних минут несколько сглаживается. Как будто ничего особенного не произошло. Едем по знакомым улицам. Тротуары полны людей — все ловят последние погожие денечки. Вот и Воробьевское шоссе. Справа возникает желтая громада каменного забора. У микояновских ворот прошу остановиться — надо все-таки найти Серго.

Мне повезло. Он с чем-то возится на втором этаже. Улыбаясь знакомой, немного виноватой улыбкой, Серго произносит:

— Понимаешь, я забыл. А потом было поздно. А добраться тебе было на чем. Так что, ничего не случилось?

— Бросай свои дела. Есть важный разговор. Пойдем на улицу, — говорю я ему. Все знают, что у стен есть уши.

— Пойдем, — легко соглашается он.

Особняки расположены один за другим: у Микояна — номер 34, у нас — номер 40. Можно пройти, минуя улицу, через соседние дворы, но тогда нужно искать ключи от калиток. По улице проще.

Я начинаю свой рассказ с разговора с Галюковым и заканчиваю встречей во Внуково, стараюсь не упустить подробностей. Постепенно увлекаюсь, мне даже начинает казаться, что речь идет о чем-то постороннем, меня не касающемся. Тревога, копившаяся последние дни, как будто притупилась.

Но что же происходит сейчас? У нас могли быть только предположения. Ситуации в Кремле не знал никто.

Прогуливаясь, мы перебирали варианты. В голову пришла мысль позвонить Аджубею. Ведь он главный редактор «Известий». Возможно, ему что-то известно. Во всяком случае, это была хотя бы иллюзия действий. В дом мы решили не заходить, чтобы не посвящать в это дело родных. Незачем раньше времени

поднимать панику. В дежурке охраны набрали номер Аджубея. Звонили мы по телефону правительственной связи, и он сам снял трубку.

Аджубей ответил, что очень занят и приехать никак не может. Я стал его уговаривать. Аджубей отвечал все резче и раздраженнее.

Говорить, в чем дело, по телефону, а тем более — от дежурного, который все слышал, мне не хотелось. И тем не менее я сказал:

— Отца и Анастаса Ивановича срочно вызвали из Пицунды на заседание в Кремль. Мы с Серго беспокоимся: что произошло? Хотели выяснить у тебя.

Аджубей ничего не знал.

— Перезвоните мне через десять минут, я постараюсь узнать, — сказал он.

Через десять минут голос его изменился до неузнаваемости. Никто ему ничего не сказал, только дежурный в Кремле ответил, что действительно идет заседание Президиума ЦК. Повестки дня он не знал.

— Мы с Серго ничего не знаем, но у нас есть некоторые соображения. Если сможешь, приезжай в особняк, — попросил я его.

У Аджубея, видимо, больше не было важных государственных дел.

— Сейчас еду, — пробормотал он. Через двадцать минут он был у нас.

Я еще раз повторил свой рассказ. Аджубей стал звонить в разные места. Горюнову[27] в ТАСС — ничего не знает; Семичастному в КГБ — нет на месте; Шелепину в ЦК — на заседании; Григоряну[28] в ЦК — ничего не знает.

Аджубей сник. Ясно было, что пользы от него мало и в таком состоянии советоваться с ним бесполезно.

А тем временем происходило следующее. Отец с Микояном без помех доехали до Кремля и прошли в комнату заседаний Президиума ЦК. Как только за ними закрылась дверь, события стали развиваться с головокружительной быстротой.

И снова воспользуюсь свидетельством Владимира Ефимовича Семичастного:

«Когда приехали в Кремль и они зашли в зал, я немедленно сменил охрану в приемной. Заменил охрану на квартире и на даче. Предварительно я успел отпустить в отпуск начальника охраны. Литовченко был такой, полковник.

Оставил за него хлопца молодого, Васю Бунаева. Я его в Кремле прижал в переходах: “Слушай! Сейчас началось заседание

Президиума ЦК. Может все быть. Я выполняю волю Президиума и ЦК. Ты, как коммунист, должен все правильно понимать. От этого будет зависеть решение твоей дальнейшей судьбы. Имей в виду — ни одной команды, ни одного приказа, ни одного распоряжения [не выполняй] без моего ведома. Я тебе запрещаю".

Очевидно, имелись в виду возможные приказы Хрущева. Однако таковых не последовало.

Что касается нас, то мы даже не заметили, что в дежурке у ворот появились новые люди. Все проходило внешне буднично.

Вернемся к свидетельству Семичастного: «Я не закрывал даже Кремля для посещения людей. Люди ходили, а в… зале шло заседание Президиума ЦК. Я по Кремлю расставил, где нужно, своих людей. Все, что нужно.

Брежнев и Шелепин беспокоились.

Я ответил: "Не надо ничего лишнего. Не создавайте видимости переворота…"»

Время шло.

Так мы ничего и не узнали до самого вечера. Серго ушел к себе. Я бесцельно кружил вокруг дома, хотя ноги гудели от усталости.

Около восьми часов вечера приехал отец. Машина его привычно остановилась у самых ворот. Он пошел вдоль забора по дорожке, это был обычный маршрут. Я догнал его. Несколько шагов прошли молча, я ни о чем не спрашивал. Вид у него был расстроенный и очень усталый.

— Все получилось так, как ты говорил, — начал он первым.

— Требуют твоей отставки со всех постов? — спросил я.

— Пока только с какого-нибудь одного, но это ничего не значит. Это только начало… Надо быть ко всему готовым…

И добавил:

— Вопросов не задавай. Устал я, и подумать надо…

Дальше шли молча. Прошли круг вдоль забора, начали второй. Вдруг он спросил:

— Ты доктор? Я опешил.

— Какой доктор?

— Доктор наук?

— Нет, кандидат, доктор — это следующая ступень. Я…

— Ладно… Опять молчание.

Прошли второй круг, и отец свернул к дому. На звук хлопнувшей двери в прихожую вышел Аджубей. В его глазах застыл немой вопрос: что случилось?

Отец молча кивнул ему и стал подниматься на второй этаж к себе в спальню. Он попросил принести туда чай. Никто не решился его беспокоить.

Позвонил Серго. Он появился через несколько минут, но информации у него было еще меньше. Анастас Иванович приехал домой и гуляет с академиком Анушаваном Агафоновичем Арзуманяном. О чем говорят — неизвестно. Серго предложил дождаться отъезда Арзуманяна и поехать вслед за ним, расспросить его дома. Наверняка он и Микоян сейчас говорят о событиях минувшего дня.

Серго ушел к себе. Опять предстояло ждать. Время тянулось нестерпимо медленно. Аджубей попытался дозвониться домой Шелепину. Телефон не отвечал. Позвонил на дачу. Ответа нет. Попытки соединиться с Полянским и еще кем-то тоже окончились неудачей. Только через несколько дней я узнал, что после отъезда отца все члены Президиума договорились к телефону не подходить: вдруг Хрущев начнет их обзванивать и ему удастся склонить кого-нибудь на свою сторону.

Тем не менее Брежневу было неспокойно. Вечером он снова позвонил Семичастному:

«— Володя, мы только что закончили заседание. Хрущев уходит, куда он поедет?

— На квартиру.

— А если на дачу?

— Пусть едет на дачу.

— Ну а ты?

— А у меня и там и сям, и везде наготовлено. Никаких не будет неожиданностей.

— А если он позвонит? Позовет на помощь?

— Никуда он не позвонит. Вся связь у меня!.. Кремлевка, “ВЧ”, а по городским пусть говорят».

Отец был надежно изолирован.

Часов в десять вечера снова пришел Серго с известием, что Арзуманян уехал домой. Мы заторопились, вскочили в мою машину и ринулись из ворот. На полном ходу пересекаю бульвар, тянущийся по Воробьевскому шоссе, и делаю левый поворот. Из темноты деревьев к машине бросается какой-то человек. Проскакиваю мимо него. Он не пытается нам помешать, только внимательно смотрит вслед. Ему важно разглядеть номер.

Наш путь лежит на Ленинский проспект. Там в большом академическом доме живет Арзуманян. Проверить, не следует ли кто за нами, не приходит в голову. Все слишком возбуждены. Без помех достигаем цели. Машину оставляем на улице. Теперь надо найти подъезд. Тротуары пустынны. Только впереди на углу маячат две характерные мужские фигуры. Мы проходим мимо, они не препятствуют, лишь пристально вглядываются в лица.

Анушаван Агафонович не удивился столь позднему визиту.

Он возбужден новостями, ему тоже хочется выговориться. Рассаживаемся в столовой вокруг стола. Комната неярко освещена лампой под тяжелым матерчатым абажуром.

Никто не знает, с чего начать.

Молчание нарушает Серго, он здесь свой человек. Серго коротко рассказывает все, что нам известно о происходящем, и спрашивает, о чем конкретно шла речь на сегодняшнем заседании.

— Анастас Иванович просил держать наш разговор в секрете, — нерешительно говорит Арзуманян, — но вам я могу рассказать. Положение очень серьезно. Никите Сергеевичу предъявлены различные претензии, и члены Президиума требуют его смещения. Заседание тщательно подготовлено: все, кроме Микояна, выступают единым фронтом. Хрущева обвиняют в разных грехах: тут и неудовлетворительное положение в сельском хозяйстве, и неуважительное отношение к членам Президиума ЦК, пренебрежение их мнением, и многое другое. Главное не в этом, ошибки есть у всех, и у Никиты Сергеевича их немало.

Все согласно закивали головой. Аджубей воспользовался паузой:

— Скажите, а что на заседании говорили обо мне? Арзуманян удивленно поднял голову:

— О вас? О вас ничего не говорили. Дело сейчас не в ошибках Никиты Сергеевича, а в линии, которую он олицетворяет и проводит. Если его не будет, к власти могут прийти сталинисты, и никто не знает, что произойдет. Нужно дать бой и не допустить смещения Хрущева. Однако, боюсь, это трудновыполнимо. Впрочем, нельзя сидеть сложа руки, попробуем что-то сделать.

Его слова вселяли надежду — отец не одинок. Ведь в 1957 году большинство членов Президиума тоже требовали его отставки, но Пленум решил иначе. Теперь же все говорило о том, что надежды эти иллюзорны, опыт 1957 года учли, да и основная масса членов ЦК была недовольна многими нововведениями Хрущева.

Мы просидели у Арзуманянов больше часа. Хотелось узнать обо всем как можно подробнее, но Арзуманян и сам знал не слишком много. Основные обвинения, выдвинутые против отца, сейчас известны. Они отражали различные подходы к руководству народным хозяйством. К примеру, Хрущев постоянно выступал за приближение руководства непосредственно к производителям. Для этого он настоял на введении децентрализованной территориальной системы хозяйствования, ввел совнархозы. Он исходил из того, что местные руководители лучше знают нужды и возможности своих регионов, следовательно, будут оперативнее

решать возникающие вопросы. Министерства, в большинстве преобразованные в государственные комитеты, пусть лишь надзирают за соблюдением основных принципов государственной политики в своей отрасли. Он предложил разделить обкомы и облисполкомы на промышленные и сельские, так как и тут считал, что руководители должны быть ближе к производству, а в условиях развившегося хозяйства задачи усложнились и трудно найти людей, одинаково хорошо понимающих и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Был принят и ряд других решений.

Естественно, все предложения предварительно обсуждались и были одобрены как Президиумом, так и Пленумами ЦК.

Но сторонники централизованного отраслевого принципа управления народным хозяйством, не высказываясь открыто, оставались в оппозиции нововведения. И вот сейчас эти разногласия вылились наружу и стали предметом острейшей дискуссии.

Серьезным было обвинение Хрущева в недооценке других членов Президиума ЦК, в нетактичном с ними обращении, пренебрежении их мнением. Все это относилось к взаимоотношениям между людьми в высшем партийном органе, и непосвященным трудно судить о правомерности и обоснованности сказанного. Чего не бывает между людьми. Тем не менее здесь, видимо, была значительная доля истины: я сам неоднократно бывал свидетелем того, как отец, не стесняясь окружающих, выговаривал тому или иному члену Президиума за упущение в курируемых им вопросах.

Да и другие претензии соответствовали истине, но были, на мой взгляд, непринципиальны в серьезном споре. Их было много. Можно только привести примеры.

Стараясь приблизить руководство к производству, отец настойчиво выселял Министерство сельского хозяйства из Москвы, стремясь при этом заставить чиновников чуть ли не своими руками возделывать опытные делянки. Или присвоение Президенту Объединенной Арабской Республики Насеру и вице-президенту Амеру звания Героя Советского Союза, вызвавшее широкое недовольство во всей стране.

Перечисление можно продолжать. И хотя все решения принимались коллективно, Президиумом ЦК, автором их справедливо считался Хрущев.

Сейчас эти обвинения одно за другим сыпались на его голову как из рога изобилия. Каждый вспоминал давние и свежие обиды. Были претензии просто надуманные, хотя выглядели они для непосвященных довольно основательными.

Например, отца обвинили в том, что, выезжая с официальными визитами за границу, он брал с собой жену или детей и возил их туда за государственный счет. Однако членам Президиума было хорошо известно, что инициатором в этом вопросе был не Хрущев, а Министерство иностранных дел, которое поддержал и эксперт по Западу, еще до войны много поколесивший по миру, Анастас Иванович Микоян. Аргументировалось же предложение тем, что так принято на Западе: присутствие членов семьи делает обстановку более доверительной. Нашему государству это ничего не стоило, так как расходы по приему гостей при государственных визитах несет другая сторона, а в самолете во время спецрейсов пустых мест всегда достаточно. Тем не менее внешне такое обвинение выглядело эффектно и впоследствии получило широкую огласку.

Арзуманян рассказал нам, что наибольшую активность проявляют Шелепин и Шелест. Особенно Шелепин, он долго перечислял ошибки Хрущева, свалив все в одну кучу — и принципиальные вещи, и ерунду.

— Кстати, — обратился ко мне Арзуманян. — Шелепин сослался на то, что вам без защиты присвоили степень доктора наук.

— Так вот в чем дело! — невольно вырвалось у меня. Присутствующие повернулись в мою сторону.

— Сегодня отец спросил, не доктор ли я. Я ничего не мог понять и стал объяснять ему, что три года назад защитил кандидатскую диссертацию и какая разница между степенью кандидата и доктора наук. Теперь ясно, почему у него возник этот вопрос. Это чистейшей воды выдумка. О докторской диссертации я даже еще и не думал.

Ложь действительно была мелкой, но она очень расстроила меня. Ведь Александр Николаевич Шелепин постоянно демонстрировал мне если и не дружбу, то явное дружеское расположение. Нередко он первым звонил и поздравлял с праздниками, всегда участливо интересовался моими успехами. Этим он выделялся среди коллег, которые проявляли ко мне внимание только как к сыну своего товарища, и не более того. Мне, конечно, льстило дружеское отношение секретаря ЦК, хотя где-то в глубине души скрывалось чувство неудобства, ощущение какой-то неискренности со стороны Шелепина. Но я загонял его внутрь, не давал развиться. И вот такое неприкрытое предательство. Воистину все средства хороши…

— Очень грубо вел себя Воронов, — продолжал Арзуманян. — Он не сдерживался в выражениях. Когда Никита Сергеевич назвал членов Президиума своими друзьями, он оборвал: «У вас здесь

нет друзей!»

Эта реплика даже вызвала отповедь со стороны Гришина. «Вы не правы, — возразил он, — мы все друзья Никиты Сергеевича». Остальные выступали более сдержанно, а Брежнев, Подгорный и Косыгин вообще молчали. Микоян внес предложение освободить Хрущева от обязанностей Первого секретаря ЦК, сохранив за ним должность Председателя Совета Министров СССР. Однако идею его отвергли…

…Время было позднее, мы откланялись. Оставалось только ждать завтрашнего дня.

В то время мы не знали, что отец уже принял решение без борьбы подать в отставку. Поздно вечером он позвонил Микояну и сказал, что если все хотят освободить его от занимаемых постов, он возражать не будет.

— Я уже стар и устал. Пусть теперь справляются сами. Главное я сделал. Отношения между нами, стиль руководства поменялись в корне. Разве кому-нибудь могло пригрезиться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку? От нас бы мокрого места не осталось. Теперь все иначе. Исчез страх, и разговор идет на равных. В этом моя заслуга. А бороться я не буду.

Телефон прослушивался, и его слова мгновенно стали известны кому надо. Мы же ничего не знали.

Все утро 14 октября прошло в томительном ожидании. Я оставался в резиденции, нервно гулял во дворе, благо пришло тепло, светило солнце, стояло бабье лето. Наконец около двух часов дня позвонил дежурный из приемной отца в Кремле и передал, что Никита Сергеевич поехал домой. Обычно днем он никогда домой не приезжал, а экономя время, обедал в Кремле.

Тяжело раскрылись массивные железные ворота, в них вполз черный ЗИЛ. Отец вернулся. Я вздохнул с облегчением — ведь мог и не вернуться. Сталин, его методы и приемы тогда еще не скрылись в дымке истории, для меня, для всех нас они оставались реалиями недавнего прошлого.

Я поспешил навстречу отцу. Он вылез из машины и, держа в руке черный портфель — подарок каких-то аргентинских визитеров, направился не в дом, а в противоположном направлении, по асфальтированной дорожке, обрамленной молодыми березками, поблескивающими в лучах солнца золотистыми листочками. Когда я догнал отца, он сунул мне в руки портфель, как бы распрощавшись с ним. Мы молча шли рядом.

— Все, в отставке, — не сказал, а выдохнул отец. Еще немного помолчал и продолжил: — Если бы в своей жизни я

сделал только одно: изменил нашу жизнь так, что стало возможным отстранить первое лицо от власти вот так, без крови, простым голосованием, — я бы мог считать, что прожил свою жизнь не напрасно…

Мы еще какое-то время шли молча.

— Не стал с ними обедать.[29] — Отец обращался не ко мне, а произнес эти слова как бы в пространство.

Все кончилось. Начинался новый этап жизни. Что будет впереди, не знал никто. Ясно было одно — от нас ничего не зависит, остается только ждать.

— Я сам написал заявление с просьбой освободить меня по состоянию здоровья.[30] Теперь остается оформить решением Пленума. Сказал, что подчиняюсь дисциплине и выполню все решения, которые примет Центральный Комитет. Еще сказал, что жить буду, где мне укажут: в Москве или в другом месте.

Что еще происходило на заседании, отец не сказал, а я не хотел травмировать его вопросами. Лишь спустя годы я узнал подробности.

Наиболее обстоятельно происходившее отражено в записях Петра Ефимовича Шелеста, которые он вел по ходу заседания Президиума ЦК: «Хрущев подавлен. Изолирован. Бессилен что-либо предпринять и все же нашел в себе силы и мужество сказать: “Я благодарю за то, что все же кое-что сказали положительного о моей деятельности. Рад за Президиум, в целом за его зрелость. В формировании этой зрелости есть и крупинка моей работы”. И это говорит человек, выдержавший два дня чудовищных обвинений, человек, находившийся в тяжелейшем моральном и физическом состоянии».

— Всех нас, и меня в том числе, воспитала партия, — говорил, по свидетельству Шелеста, в своем последнем выступлении отец, — в нашем политическом положении только ее заслуга, партии. У нас с вами одна политическая и идеологическая основа, и против вас я бороться не могу. Я уйду и драться не буду. Еще раз прошу извинения, если когда-то нанес кому-то обиду, допустил грубость. В работе все могло быть. Однако хочу сказать, что ряд предъявленных мне обвинений я категорически отвергаю. Не могу сейчас все обвинения вспомнить и ответить на них. Скажу об одном: главный мой недостаток и слабость — это доброта и доверчивость, а может быть, еще и то, что я сам не замечал своих недостатков. Но и вы, все здесь присутствующие, открыто и честно мне о моих недостатках никогда не говорили, всегда поддакивали, поддерживали буквально все мои предложения. С вашей стороны отсутствовали принципиальность и смелость. Вы меня обвиняете в совмещении

постов Первого секретаря ЦК и Председателя Совмина. Но будем объективны, этого совмещения я сам не добивался. Вспомните, вопрос решался коллективно и многие из вас, в том числе и Брежнев, настаивали на таком совмещении. Возможно, было моей ошибкой то, что я не воспротивился этому решению, но вы все говорили, что так надо сделать в интересах дела. Теперь вы же меня обвиняете в совмещении постов.

Да, я признаю, что допускал некоторую нетактичность по отношению к работникам искусства и науки, в частности, сюда можно отнести мои высказывания в адрес Академии наук. Но ведь не секрет, что наша наука по многим вопросам отстает от зарубежной науки и техники. Мы же в науку вкладываем огромные народные средства, создаем все условия для творчества и внедрения в народное хозяйство ее результатов. Надо заставлять, требовать от научных учреждений более активных действий, настоящей отдачи. Это ведь истина, от нее никуда не уйдешь.

Далее, пишет Шелест, Хрущев аргументированно объяснил предпринятые в свое время меры в связи с событиями на Суэцком канале в 1956 году и в связи с Карибским кризисом в октябре 1962-го. В частности, он сказал:

— Вы меня обвиняете в том, что мы увезли оттуда наши ракеты. А что же, мы должны были начать мировую войну?

(Вывод ракет тоже ставился ему в вину, констатирует П. Е. Шелест.)

— Почему же вы меня теперь хором обвиняете в какой-то авантюре по кубинскому вопросу, если все вопросы мы решали вместе?

Возьмем установку пограничной стены в Берлине в августе 1961 года. Тогда тоже решение вы все одобрили, а теперь обвиняете меня… В чем же? Говорить можно все. Но вот решить, что сделать конкретно, никто из вас не предлагал и на вряд ли может сейчас предложить. Или наши взаимоотношения с руководством Китая. Они довольно сложны, и они еще будут обостряться. Вы столкнетесь с большими трудностями и сложностями через четыре-пять лет. Не теряйте классового чутья, политической и тактической маневренности во всех взаимоотношениях, решении спорных вопросов.

Я понимаю, что это моя последняя политическая речь, как бы сказать, лебединая песня. Если у вас пойдут дела хорошо, я буду только радоваться и следить за вашей деятельностью по сообщениям в газетах. На Пленуме я выступать не буду, но хотел бы обратиться к Пленуму с просьбой…

«Не успел он договорить, — пишет Шелест, — с какой

просьбой хочет обратиться, как последовал категорический ответ Брежнева: “Этого не будет!” Его поддержал Суслов.

У Никиты Сергеевича на глазах появились слезы, а затем он просто заплакал… Тяжко было смотреть… Я думаю, — предполагает Шелест, — он хотел сказать: “Товарищи, простите меня, если в чем виноват. Мы вместе работали, правда, не все сделали…”

Думаю, другого он бы не сказал. Ведь он был в одиночестве, и все было заранее предрешено.

Но Брежнев боялся, что Хрущеву могут на Пленуме задать вопросы, он на них ответит и разгорятся дебаты. Поэтому он принял решение: никаких вопросов.

Хрущев продолжил:

— Очевидно, теперь будет так, как вы считаете… Что ж, я заслужил то, что получил. Я готов ко всему. Вы знаете, я сам думал, что мне пора уходить, вопросов много и в мои годы справиться с ними трудно. Надо двигать молодежь. Я понимаю, что кое у кого сегодня не хватает смелости и честности… Но речь сейчас идет не об этом. О том, что происходит сейчас, история когда-нибудь скажет свое веское, правдивое слово… А теперь я прошу написать заявление о моем уходе, о моей отставке и я его подпишу. В этом вопросе полагаюсь на вас. Если вам нужно, я уеду из Москвы.

Кто-то подал голос:

— Зачем это делать? Все поддержали…

Доклад для Пленума ЦК готовил Полянский».

Здесь я приостановлюсь в цитировании Шелеста. История так называемого доклада Полянского требует разъяснений. В Президиуме ЦК Дмитрий Степанович курировал сельское хозяйство, и по положению ему никак не полагалось выступать главным обвинителем Хрущева. Это прерогатива старших товарищей. Более того, подобная инициатива возбуждала подозрение, что Полянский претендует на нечто большее. И тем не менее он, якобы по собственной инициативе, представил очень резкий антихрущевский документ, в котором факты очень профессионально препарировались, кое-где перемешивались с ложью.[31]

Когда Полянский показал свой доклад Брежневу, тот счел его неподходящим, и слово Дмитрию Степановичу не предоставили.

Сейчас выяснились обстоятельства появления этого доклада. Оказалось, что писал его не Полянский и не его сельскохозяйственный аппарат. Документ по поручению Шелепина с Семичастным составили в недрах КГБ, по всей вероятности в отделе «К» — отделе дезинформации, официально

созданном для ведения идеологических акций против Западной Германии, а на деле выполнявшем деликатные поручения Председателя Комитета. Полянскому же отводилась роль подставного лица или, если хотите, подсадной утки. Ему передали второй экземпляр текста доклада, первый оставался у Шелепина.

В 1999 году Семичастный проговорился об этом историку Рудольфу Пихоя, который нашел копию «доклада Полянского» в Кремлевском Президентском архиве.

«Доклад Полянского готовился экономистами КГБ, а печатали документ на дому две доверенные старые (отставные) машинистки КГБ, специально привлеченные для этого дела», — Пихоя цитирует Семичастного и дальше пишет, что тот очень удивился и даже испугался, когда услышал, что копия доклада попала в архив. По его словам, доклад не должен был сохраниться. Шелепин свою копию уничтожил, а за Полянским не уследили, в сутолоке первых постхрущевских дней он 21 октября 1964 года отправил свой экземпляр в Общий отдел ЦК, где тот и осел.[32]

Как Шелепин с Семичастным в дальнейшем хотели использовать Полянского, для меня остается загадкой.

Итак, Брежнев инициативу Полянского отверг, и вопрос о докладчике на Пленуме остался открытым.

«По идее, должен был выступать Брежнев или, в крайнем случае, Подгорный, — пишет Шелест. — Брежнев просто сдрейфил. Подгорный, в свою очередь, тоже отказался:

— Я не могу выступать с этим докладом против Хрущева. Я с ним бок о бок проработал много лет. Как это будет понято? Не могу, и все! Я бы выпустил Шелепина, у него язык хорошо подвешен, но он слишком молод.

Тогда и решили: “Давайте выпустим Михаила Андреевича, тем более он наш идеолог…”»[33]

В конце заседания, когда все уже было решено, Анастас Иванович повторно попросил слова. Он сказал, что «присоединяется ко всему тому, что здесь уже было сказано», — бесстрастно записал присутствовавший на заседании Владимир Никифорович Малин.[34]

Другой, не менее важный свидетель — Семичастный, хотя и не мог по рангу быть на заседании Президиума ЦК, по-своему оценивает ситуацию вокруг второго дня заседания 14 октября:

«Аджубей[35] пишет, что его (Хрущева) освободили “келейно”. Как келейно? На Пленуме. Не было дискуссий, но такие вопросы на дискуссию не выносятся. Я ему (Брежневу) во второй день (14 октября) позвонил, вызвал с Президиума и говорю: “Дорвались до

критики. Кончайте. Вторую ночь я не выдержу. Леонид Ильич, вы дозаседаетесь до того, что или вас посадят, или Хрущева. Мне этого не надо. Я за день наслушался и тех и других".

Одни переживают — хотят Хрущева спасать, другие призывают вас спасать. Третьи спрашивают, что же ты в ЧК сидишь, бездействуешь? А я делаю вид, что ничего не знаю.

Людей (членов ЦК) под благовидными предлогами вызвали, чтобы они были под рукой и можно было бы сразу Пленум провести. Они нервничают. Мне идут звонки со всех сторон.

Брежнев взмолился: "Товарищи дорогие, подождите еще. Я сейчас посоветуюсь". Минут через тридцать он мне звонит: "Слушай, успокой всех. Мы так условились: тем, кто не успел выступить, даем три-четыре минуты. Члены Президиума уже все выступили, остались кандидаты и секретари. Пусть каждый выскажет свое отношение. В шесть — пленум".

"Меня устраивает. Могу объявлять?"

"Давай объявляй"».

Пленум открылся 14 октября около шести часов вечера. Докладывал Михаил Андреевич Суслов. За последние годы он поднаторел в подобных выступлениях, был главным обвинителем на Пленуме ЦК, посвященном антипартийной группе Молотова, Маленкова, Кагановича, произносил обвинительную речь на Пленуме, когда снимали маршала Жукова, и вот теперь — отец. Суслов не рассусоливал, не нагромождал обвинений, чувствовалось, что Брежнев и иже с ним не хотели обсуждения.

Далее Семичастный кратко делится впечатлениями о Пленуме, участником которого он был.

«…Я даже не знал, что прений не будет… Я возмутился этим и потом и Шелепину, и Брежневу сказал. Я думаю, они не без царя в голове это сделали. Не знали, куда покатится, как бы не задело и других. Там мог быть разговор… я думаю, эти старики продумали все и, боясь за свои… кости, все сделали, чтобы не открывать прения на Пленуме. Не объяснили толком.

В зале такая кутерьма началась. Я сидел, наблюдал.

Самые рьяные подхалимы кричали: "Исключить из партии! Отдать под суд!"

Те, кто поспокойнее, сидели молча. Так что разговора серьезного, критического, аналитического, такого, чтобы почувствовалась власть ЦК, не было. Все за ЦК решил Президиум и решенное, готовое, жеванное-пережеванное выбросил: "Голосуйте!"

О том, что отсутствие прений на Пленуме было запрограммировано, говорит и Егорычев: «Теперь, по прошествии стольких лет, ясно и то, что Брежнев не зря был против

выступлений на Пленуме. Во время прений под горячую руку могло быть высказано много такого, что потом связало бы ему руки. А у Леонида Ильича в голове, очевидно, уже тогда были другие планы».

Хочу отметить еще такой эпизод.

Как рассказывала секретарь ЦК Компартии Украины Ольга Ильинична Иващенко, в начале октября она узнала о готовящихся событиях и попыталась по «ВЧ» дозвониться Никите Сергеевичу. Соединиться ей не удалось. Хрущев был надежно блокирован. На Пленум ее не допустили, как и другого члена ЦК — Зиновия Тимофеевича Сердюка. Боялись, как бы чего не вышло. Вскоре их обоих освободили от занимаемых постов и отправили на пенсию.

Некоторые из участников событий тех дней впоследствии пересматривают свои оценки. Так Геннадий Иванович Воронов считает: «Мотивы у участников Пленума были разные, а ошибка — общая: вместо того, чтобы исправить одну яркую личность, мы сделали ставку на другую, куда менее яркую».[36] Ему вторит Шелест: «Объективной необходимости заменять Хрущева Брежневым не было. Это мое твердое убеждение, хотя сам принимал участие в случившемся. Сейчас сам себя критикую и искренне сожалею о том».[37]

Комсомольцы — Шелепин, Семичастный, Егорычев и иже с ними — наоборот, убежденно доказывают, что отец исчерпал себя и все происшедшее закономерно.

…Возвращаюсь к тому октябрьскому дню.

За обедом отец сидел за столом, но ничего не ел. Потом мы вышли погулять. Все было необычно и непривычно в этот день — эта прогулка в рабочее время и цель ее, вернее, бесцельность. Раньше он гулял час после работы, чтобы сбросить с себя усталость, накопившуюся за день, и, немного отдохнув, приняться за вечернюю почту. Час этот был строго отмерен, ни больше ни меньше.

Теперь последние бумаги — материалы к очередному заседанию Президиума ЦК, изложение доктрины Макнамары, сводки ТАСС — остались в портфеле. Там им было суждено пролежать нераскрытыми и забытыми до самой смерти отца. Он больше никогда не заглядывал в этот портфель…

Мы шли молча. Рядом лениво трусил Арбат, немецкая овчарка, жившая в доме. Это была собака Лены — моей сестры. Раньше он относился к отцу равнодушно, не выказывая к нему никакого особого внимания. Подойдет, бывало, вильнет хвостом и идет по своим делам. Сегодня же не отходит ни на шаг. С этого

дня он постоянно следовал за отцом.

В конце концов я не выдержал молчания и задал интересовавший меня вопрос:

— А кого назначили?

— Первым секретарем будет Брежнев, а Косыгин — Председателем Совмина. Косыгин — достойная кандидатура, — привычка отца оценивать людей, примеряя их к тому или иному посту, по-прежнему брала свое. — Еще когда освобождали Булганина, я предлагал его на эту должность. Он хорошо знает народное хозяйство и справится с работой. Насчет Брежнева сказать труднее — слишком у него мягкий характер и слишком он поддается чужому влиянию… Не знаю, хватит ли у него сил проводить правильную линию. Ну меня это уже не касается, я теперь пенсионер, мое дело — сторона, — в уголках рта пролегли горькие складки.

Больше мы к этой теме не возвращались.

Как отец после прогулки уезжал на заседание Пленума ЦК, как вернулся оттуда, у меня не отложилось в памяти.

Вечером к нам пришел Микоян. После Пленума состоялось заседание Президиума ЦК уже без участия отца. Микояна делегировали к нему проинформировать о принятых решениях.

Сели за стол в столовой, отец попросил принести чай. Он любил чай и пил его из тонкого прозрачного стакана с ручкой наподобие той, что бывает у чашек. Этот стакан с ручкой он привез из Германской Демократической Республики. Необычный стакан ему очень нравился, и он постоянно им хвастался перед гостями, демонстрируя, как удобно из него пить горячий чай, не обжигая пальцев.

Подали чай.

— Меня просили передать тебе следующее, — начал Анастас Иванович нерешительно. — Нынешняя дача и городская квартира (особняк на Ленинских горах) сохраняются за тобой пожизненно.

— Хорошо, — неопределенно отозвался отец.

Трудно было понять, что это — знак благодарности или просто подтверждение того, что он расслышал сказанное. Немного подумав, он повторил то, что уже говорил мне:

— Я готов жить там, где мне укажут.

— Охрана и обслуживающий персонал тоже останутся, но людей заменят. Отец понимающе хмыкнул.

— Будет установлена пенсия — 500 рублей в месяц, и закреплена автомашина, — Микоян замялся. — Хотят сохранить за тобой должность члена Президиума Верховного Совета, правда, окончательного решения еще не приняли. Я еще предлагал учредить для тебя должность консультанта Президиума ЦК, но

мое предложение отвергли.

— Это ты напрасно, — твердо сказал отец, — на это они никогда не пойдут. Зачем я им после всего, что произошло? Мои советы и неизбежное вмешательство только связывали бы им руки. Да и встречаться со мной им не доставит удовольствия… Конечно, хорошо бы иметь какое-то дело. Не знаю, как я смогу жить пенсионером, ничего не делая. Но это ты напрасно предлагал. Тем не менее спасибо, приятно чувствовать, что рядом есть друг.

Разговор закончился. Отец вышел проводить гостя на площадку перед домом.

Все эти дни стояла теплая, почти летняя погода. Вот и сейчас было тепло и солнечно.

Анастас Иванович обнял и расцеловал отца. Тогда в руководстве не было принято целоваться, и потому это прощание всех растрогало.

Микоян быстро пошел к воротам. Вот его невысокая фигура скрылась за поворотом. Отец смотрел ему вслед. Больше они не встречались.

И последнее — о роли Микояна в драматической истории октября 1964 года. Получила хождение версия, что Микоян с самого начала сотрудничал с заговорщиками, «как надо» провел беседу с Галюковым, развеял подозрения отца, до последнего момента неотступно следил за ним.

Эта теория логична и подтверждается фактами, но, на мой взгляд, не соответствует сущности Микояна. Скорее всего, Анастас Иванович с первого момента тщательно рассчитывал каждый свой шаг, чтобы, как это случалось не раз в прошлом, выиграть при любом повороте событий. Так он вел себя в июне 1953 года, когда арестовывали Берию, такую же стратегию он избрал в июне 1957 года во время столкновения отца с Молотовым и другими сталинистами, так он решил действовать и в октябре 1964 года.

Глава третья
Отставка

Итак, отец — в отставке…

За эти несколько дней жизнь изменилась в самой своей основе. Предстояло перестроить все наше существование от начала до конца. И главное — отцу нужно было определить какую-то цель, ведь жизнь на этом не кончалась.

Он привык к тому, что всем нужен, привык постоянно находиться в центре событий, думать, что без него не обойтись. Неважно, на каком посту, неважно, насколько высока и значительна занимаемая должность, — надо всем преобладало это постоянное чувство необходимости. Всем был нужен комиссар батальона в Гражданскую войну, все нуждались в секретаре райкома, и так на всех ступенях длинной иерархической лестницы, вплоть до самой вершины — Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета Министров огромного государства.

Время его было спрессовано до предела. Он с самого начала принадлежал к распространенному в мире типу успешных руководителей, старающихся самолично разобраться во всем, вникнуть в мельчайшие детали, даже узкоспециальные, и, поняв суть, идущих в дальнейшем напролом, сшибая все препятствия на пути идеи или технического предложения, которому дана путевка в жизнь. Так было и с жилищным строительством, и с целиной, и с ракетами, и с конверторами,[38] и со многим другим.

Отец был человеком своего времени, и доказательство этой не слишком оригинальной мысли я встретил в неожиданном месте: в мемуарах знаменитого британского премьера Уинстона Черчилля сквозь ворох телеграмм, цитат, документов проглядывает стремление самому разобраться в достоинствах новой пушки, танка, самолета, которые будут применены в схватке с Гитлером. Ведь только ему было дано право принять окончательное решение, а с ним и весь груз ответственности.

Такой подход к делу требовал полной самоотдачи, не оставлял ни минуты свободного времени. Все помыслы всегда подчинялись одному, сознание постоянно было занято только главными проблемами.

Естественно, нужно обладать недюжинной выдержкой и огромной силой воли, чтобы после столь насыщенной жизни не потеряться в новых обстоятельствах, не скиснуть после потрясения, не поддаться жалости к себе или ненависти к другим.

Со всем этим теперь предстояло столкнуться отцу.

Еще вчера все ждали последнего слова, именно он должен был окончательно решить, какие новые предложения выдвинуть в ООН, сокращать ли армию, расширять ли посевные площади, строить гидро— или тепловые электрические станции, преимущественно развивать химию или металлургию.

А сегодня? Идти гулять или посмотреть телевизор? А может, почитать? Или почистить ружье? Впрочем, едва ли еще доведется попасть на охоту…

Заниматься отцу в эти первые тяжелые дни ничем не хотелось. Слишком был силен нервный шок от последних событий. Одно дело говорить об отставке между прочим, исподволь готовиться к ней, как к чему-то неизбежному, но далекому, и совсем другое — остановиться вот так, на полном ходу, вдруг ощутить свою ненужность…

Ни друзья, ни близкие, старающиеся отвлечь разговорами, подсунуть какое-то занятие, ни транквилизаторы, заботливо принесенные доктором Беззубиком, — ничего не помогает. В мозгу настойчиво долбит одна мысль: не нужен, не нужен, не нужен.

Вот так начиналось его первое утро в отставке — утро 15 октября 1964 года.

Еще никто ничего не знал, по Москве только ползли глухие слухи, но в газетах уже исчезли приветствия за подписью Хрущева, не было ставших привычными телеграмм космонавтам, колхозникам…

В ночь с 14 на 15 октября в особняке окончательно заменили личную охрану отца. За последние дни в дежурной комнате появилось много новых лиц, но и старые знакомцы оставались на прежнем месте. Теперь же можно было действовать в открытую. Все было проведено оперативно и тихо, никто ничего не знал. И только утром мы обнаружили на всех постах незнакомых людей.

Недаром дежурный начальник охраны Василий Иванович Бунаев, прощаясь вечером, с каким-то особым значением пожал мне руку и вполголоса произнес:

— Вот как получилось… Может, больше и не увидимся…

Он, понятно, знал о предстоящей замене.

В сталинские времена охрана всех членов Политбюро, впоследствии переименованного в Президиум ЦК, находилась в подчинении начальника специального управления МГБ. Только он мог распоряжаться ее действиями. Такое положение вызвало немалое беспокойство среди руководства во время подготовки ареста Берии.

Обсуждая практические шаги, Хрущев, Булганин, Маленков и другие столкнулись с положением, когда они полностью

находились, в буквальном смысле этого слова, в руках Берии. Ведь ему, министру внутренних дел, подчинялась их личная охрана, только через него отдавались приказания. Формально Берия мог отдать любой приказ. Все чувствовали себя в ловушке.

После устранения Берии личную охрану передали в распоряжение самих охраняемых. Теперь только они распоряжались ее действиями, только их указания обязаны были выполнять охранники. В КГБ существовало, естественно, управление охраны, но в его ведении остались лишь общие организационные и хозяйственные вопросы. Возможного вмешательства личной охраны отца в ход событий и опасался в последние дни Семичастный. Естественно, первым шагом стала замена людей из состава охраны. Исчезли, были разоружены и выведены в резерв чекисты, проработавшие с отцом много лет. Со временем судьба их устроилась: кое-кто вышел в отставку, кого-то взяли в охрану других руководителей, а некоторые впоследствии снова появились на даче отца. Но это произошло много позже.

В первый же день отставки появление незнакомых лиц вызывало тревогу.

Замолчали многочисленные телефоны. Отключили не только аппараты правительственной связи — из нескольких городских телефонов действовал только один, работал и телефон связи с помещением охраны. Молчаливые трубки без знакомого басовитого гудка казались мертвыми…

У ворот с самого утра без вызова застыла «Чайка», заменившая привычный «ЗИЛ».

«Чайка» у ворот простояла недолго. В тот же день она исчезла так же незаметно, как и появилась, а еще через полчаса на ее месте оказалась «Волга» — автомобиль рангом пониже.

В тот момент эти перемены не привлекли особого внимания, сознание просто фиксировало их: стоит «Чайка» — ушла, появилась «Волга»…

Эта таинственная смена автомобилей прояснилась позднее. Когда с утра первого дня отставки отцу выделили «Чайку», кому-то из начальников вспомнились его неоднократные попытки упразднить или хотя бы сократить персональные автомобили. В свое время эта автомобильная инициатива отца вызвала сильное недовольство среди руководителей всех рангов. Теперь наступил их черед. Передавали нам даже слова одного анонимного начальника: «Хотел нас на “Волги” пересадить? Пусть теперь сам попробует».

В будущем отца ожидало множество подобных мелких уколов.

День начался. Помню, отец спустился к завтраку позже

обычного, сегодня уже не надо было выдерживать установленный им самим после смерти Сталина регламент рабочего дня — к девяти утра быть в своем кабинете. Лицо его за ночь осунулось и как-то посерело, движения замедлились. Несмотря на привезенное доктором Беззубиком снотворное, ночь он провел почти без сна.

Позавтракав, как будто не ощущая вкуса пищи, отец вышел во двор. По привычке обогнул дом и направился к воротам. Навстречу ему спешил незнакомый человек.

— Доброе утро, Никита Сергеевич, — начал незнакомец, остановившись в двух шагах. Его фигура, склонившаяся в полупоклоне, выражала почтение, смотрел он сверху вниз — ростом природа не обидела. Круглое русское лицо невольно вызывало симпатию.

— Мельников Сергей Васильевич, ваш новый комендант, — представился он. — Вы меня не помните? Раньше я работал в правительственной ложе во Дворце спорта. Мы там с вами встречались. Какие будут распоряжения? — Он, полуобернувшись, показал на черную «Волгу». — Может быть, хотите поехать на дачу?

Всем своим видом Сергей Васильевич демонстрировал готовность услужить, помочь. Однако в нем не было и тени угодливой лакейской суетливости. Сохраняя достоинство, он, как мог, демонстрировал уважение к отставному премьеру.

Отец протянул Мельникову руку:

— Здравствуйте. — Вопрос застал его врасплох, мысли были где-то далеко. — Скучная вам досталась должность. Я теперь бездельник, сам не знаю, чем себя занять. Вы со мной с тоски зачахнете, — отвечая своим мыслям, произнес отец. — А впрочем, чего тут сидеть. Поехали.

На дачу отправились втроем: отец, Мельников и я. Мама еще не прилетела из Карловых Вар, где она в тот момент отдыхала и лечилась.

За окнами машины мелькали знакомые места. У плотно закрытых ворот дачи машина остановилась и нетерпеливо засигналила.

Обычно заранее предупрежденный о приезде отца охранник ожидал, вытянувшись в струнку, у распахнутых настежь зеленых створок. Теперь на сигнал через форточку выглянул незнакомый человек. Охрану сменили и здесь. Мельников махнул рукой: открывай, мол.

Тогда половинка ворот приоткрылась, образовав щель, в которую высунулся молодой парень с сержантскими голубыми погонами. Он недоверчиво вглядывался в машину, наконец, узнав

отца, облегченно заулыбался и поспешно распахнул ворота. Машина, проскочив по аллее, остановилась около дома.

Отец вылез из кабины, немного потоптался у парадного.

— Пошли гулять по полю. Что нам, пенсионерам, еще делать? Свое отработали, — с наигранным весельем объявил он нам.

За последние годы выработался привычный маршрут: по асфальтированной аллее до ворот и дальше, вниз по склону.

Внизу в овражке чуть слышно журчал ручей. Берега его заросли густой травой, тут ее не косили. Через ручей перекинут мостик, по нему пролегала дорога от ворот дачи. За ним, слева на пригорке, начиналось поле. Летом сплошной стеной здесь стояла совхозная кукуруза. За этим полем ухаживали особенно тщательно — местному начальству хотелось угодить Хрущеву. Сюда часто наведывались фотокорреспонденты, потом в «Огоньке» или где-нибудь еще появлялся снимок всадника, почти целиком скрытого в кукурузных «джунглях».

Сейчас поле было голым. Среди сырых комьев торчали срезанные почти у самой земли пеньки кукурузных стеблей.

Асфальтированная дорога от ворот дачи поворачивала направо к Успенскому шоссе. Мы направились налево по узкой тропе, огибавшей поле.

Мельников поначалу держался в отдалении, как того требовали правила. Однако отец поманил его рукой:

— Идите сюда. У нас секретов нет.

Дальше шли втроем. Отец, вспомнив, какая тут стояла летом кукуруза, все больше увлекаясь, стал говорить о животноводстве, кормовых единицах. На память он приводил цифры, сравнивал урожайность разных культур, тут же переводил все в привесы мяса на один гектар кормов. Рассказывал он захватывающе интересно, убедительно, как-то сами находились сочные, точные слова и сравнения, примеры разили наповал.

Это был прежний отец, только говорил он сейчас не с трибуны какого-нибудь представительного всесоюзного совещания — единственными слушателями были капитан Мельников да я. Мельников вежливо кивал, поддакивал, задавал вопросы — отцовский энтузиазм невольно заражал. Не часто ведь доводится послушать лекцию о путях развития сельского хозяйства из уст пусть и вчерашнего, но премьер-министра.

В разгар беседы отец вдруг сник, взгляд его потух.

— Никому я теперь не нужен. Что я буду делать без работы, как жить — не представляю, — ни к кому не обращаясь, произнес он.

Мы стали возражать с наигранной бодростью и оптимизмом, расписывали прелести отдыха — прогулки, книги, кинофильмы.

Отец угрюмо отмалчивался.

Поле кончилось. Под пригорком с редкими соснами блестела Москва-река.

Возвращались к даче через луг. Совсем недавно мы гуляли здесь с отцом, и я мучительно раздумывал, как рассказать о невероятном сообщении Галюкова. Работы по монтажу ирригационной системы прекратили, кругом так и осталась развороченная земля, валявшиеся в беспорядке цементные лотки. И этому проекту отца никогда не суждено было осуществиться.

На какое-то время такие прогулки стали нашим главным занятием. Отпуск у меня продолжался, и я все время проводил с отцом, не желая оставлять его наедине с невеселыми мыслями.

Гуляли не только на даче, чаще кружили по дорожкам вокруг резиденции на Воробьевых горах. Напротив, через улицу, на многих гектарах раскинулось здание главной киностудии страны — Мосфильма. Как выяснилось много позднее, оттуда за отцом наблюдали любопытные глаза, не агенты КГБ (они следили за отцом открыто), а просто любопытные. Своими впечатлениями они делились с друзьями и знакомыми. В начале XXI века я прочитал запись в дневнике Александра Твардовского от 21 октября 1964 года:

«Рассказывают, что с крыши Мосфильма виден двор и сад его дачи (резиденции) на Воробьевых. И видно, как он (Хрущев) все время кружит, бегает внутри той ограды. Какая бездна поздних беспродуктивных, холостых сожалений, негодования, раскаяния, доводов, отчаяния. Для человека такого типа это смерть, хуже смерти. Обычно низвергнутые или отстраненные правители имеют хоть такую отдушину, как сведение политических счетов с историей — мемуары. Но это ему не дано. Порассказать он бы мог много любопытного, но всему этому уже другая цена, да и кому это теперь нужно. Конец ужасный. Что ему делать, чем занять время между сном, помимо еды, туалета и тому подобного. Разве что слушать радио разных толков, заочные комплименты или насмешки разных “обозревателей” или “коллег” из буржуазного мира. Но скоро и радио умолкнет.

Человеку, который был занят, может быть, больше, чем сам Сталин (тот был так далеко и высоко, как царь и бог, заведомо недоступен, а этот всегда на виду, в близости к жизни и народу), которого все эти десять лет ждала день и ночь, каждый час суток неубывающая гора дел, вопросов, запросов, неотложностей, который носился по стране и по всему свету, непрерывно выступая, обедая, завтракая, беседуя, принимая неисчислимое количество людей, присутствуя, встречая и провожая, улетая и

прилетая, уносясь несколько раз в году “на отдых”, перенасыщенный теми же делами, приемами, переговорами, перепиской и т. п. и т. д. — этому человеку вдруг стало решительно нечего делать, некуда спешить, нечего ждать. Ничего, кроме обрушивающейся на него при столь внезапном торможении, подкатывающей под самое сердце старости, немощи, бессилия, забвения, может быть, еще при жизни».[39]

Мы, домашние, старались развлечь, вернее отвлечь отца, как только могли.

Иногда в оборудованном на даче кинозале показывали новые фильмы, но они не привлекали внимания отца, мысли его были заняты другим, и происходившее на экране проходило мимо, не затрагивая сознания. Некоторый интерес вызвал фильм «Председатель». В то время этот фильм рассматривался как панегирик деятельности отца, его сельскохозяйственной политике. Наверху долго дебатировался вопрос: выпускать ли его на экран?

Мы все ожидали реакции отца, но он ограничился почти равнодушным замечанием:

— Хороший фильм.

Как я уже говорил, Нина Петровна, наша мама, в то время отдыхала в Карловых Варах в Чехословакии. В этом году она поехала туда, как нередко бывало и прежде, вместе с женой Брежнева — Викторией Петровной.

Вечером после заседания Пленума, решившего судьбу отца, он забеспокоился.

— Надо вызвать маму, — сказал он нам. — Но как это теперь сделать? Попробуйте дозвониться до нее.

Возникла неожиданная проблема: привычная правительственная связь «ВЧ» не действовала, а так просто было раньше снять трубку, попросить Карловы Вары, телефон Нины Петровны Хрущевой. Пользоваться же обычной связью… никто не умел.

Обратились к охране, в тот момент людей еще не успели заменить, и дежурный через некоторое время сообщил, что Нину Петровну разыскали и она прилетит на следующий день.

Дежурный сказал нам, что мама очень забеспокоилась, ведь там еще ничего не знали. Ей только сообщили, что все здоровы, а Никита Сергеевич просит ее срочно приехать.

На следующий день — новая проблема, надо встречать самолет. Можно ли послать машину, которая теперь возит отца? Мельников заверил, что все будет в порядке. Самолет прилетел вечером, уже темнело.

Наконец подъехала машина, и из нее вышла мама с большим

букетом цветов. Выглядел он как-то неуместно…

— Это мне на аэродроме в Праге чешские женщины подарили, — пояснила она, словно оправдываясь. — Я уже знаю, что произошло.

Мы прошли в дом и вскоре собрались в столовой, где полгода назад, утром 17 апреля, сидели все члены Президиума ЦК и во всю поздравляли Хрущева. У стены стояла рижская радиола — их подарок.

О происшедшем отец рассказал очень коротко. Выглядел он подавленным.

— Теперь я на пенсии. Вчера был Пленум ЦК, который уволил меня в отставку. Я сказал, что готов подчиниться любым решениям и буду жить, где они сочтут необходимым. Так что готовься к переезду, — вымученно улыбнулся отец, очевидно, вспомнив свою непоседливость и вечные хлопоты, которые доставлял маме каждый переезд.

Как обычно, мама была на высоте. Она никак не проявила своих чувств, была сдержанна и внешне спокойна. Она рассказала, что ее на аэродроме провожали чешские женщины, в том числе и жена Антонина Новотного, желали всего наилучшего и ей, и отцу.

Когда отец поднялся в свою комнату, мама рассказала о «забавном» происшествии, приключившемся с ней в последний день в Карловых Варах.

Как всегда, они с Викторией Петровной Брежневой жили рядом. Часто гуляли вместе, несмотря на больные ноги Виктории Петровны. Несколько раз к ним заезжал М. В. Зимянин, бывший в то время послом СССР в Чехословакии, рассыпался перед мамой в любезностях, привозил сувениры. И вот накануне отъезда зазвонил телефон и телефонистка сообщила, что маму просит товарищ Зимянин. Она тогда ничего не знала и не подозревала о происшедшем, хотя после нашего звонка из Москвы стала очень беспокоиться. Поздоровавшись, Зимянин сказал, что он звонит из Москвы, там состоялся Пленум ЦК, где сняли Хрущева, а он, Зимянин, «врезал» по методам хрущевского руководства. Мама молчала. Ничего не подозревая, Михаил Васильевич поздравил маму с избранием на пост Первого секретаря ЦК Леонида Ильича Брежнева. Мама продолжала молчать, и это, видимо, заставило его забеспокоиться. Он стал соображать и наконец понял, что по привычке попросил его соединить с Ниной Петровной Хрущевой вместо Виктории Петровны Брежневой!.. Пробормотав какие-то невнятные слова, он повесил трубку. Надо же такому случиться! Ему хотелось первым доложиться Брежневой, и такой конфуз…

Дни шли за днями, мало отличаясь один от другого.

Происходившие события почти не затрагивали отцовского внимания.

Несколько раз я заходил к Микоянам. С Анастасом Ивановичем я не разговаривал, но с Серго мы подолгу обсуждали происходящие события. Пытались угадать, что же последует дальше. В доме Микоянов тоже чувствовалась тревога. Вдруг без предупреждения у них затеяли чистку огромных хрустальных люстр, висевших в столовой. Этой работой занимались какие-то незнакомые люди, они сдвинули мебель и долго колдовали под потолком. «Устанавливают подслушивающее устройство», — решили мы с Серго и с тех пор разговаривали только на улице.

Опять возник вопрос о моем докторстве. По рассказу Серго, Микоян на одном из заседаний Президиума ЦК задал вопрос:

— Нам говорил товарищ Шелепин, что Сергею Хрущеву без защиты была присвоена степень доктора наук. Я спрашивал Сергея. Он удивился и сказал, что об этом не было даже разговора.

Возникло некоторое замешательство. Косыгин подлил масла в огонь:

— Так, в конце концов, Александр Николаевич, кто прав? На чем основывались ваши слова?

Шелепин смешался, стал мямлить, что все это мелочи, но он наведет дополнительные справки. На следующем заседании Шелепин сказал, что он допустил неточность: сыну Хрущева не присваивалась научная степень. Представление якобы было подано в ВАК (Высшую аттестационную комиссию).

Одна ложь сменилась другой, никакого дела в ВАКе никогда не было, но вопрос этот, естественно, никого уже не интересовал и никогда не поднимался. Тем не менее у меня навсегда осталось ощущение прикосновения к чему-то грязному.

В тот период Президиум ЦК, как выяснилось, обсуждал и другой вопрос, связанный с моей персоной. Мое общение с Галюковым стало предметом внимания высшего органа партии. Предлагали применить какие-то санкции против нас с Галюковым за то, что мы информировали отца о надвигавшихся событиях и тем самым поставили под угрозу срыва столь тщательно подготовленное мероприятие.

Могли грозить большие неприятности, но, к счастью, предложение не встретило поддержки, поскольку успех был полный и членов Президиума больше волновало будущее. Кто-то из присутствующих даже возразил — мол, как можно обвинять сына в том, что он, узнав обо всем, предупредил своего отца? Ведь это естественно.

Вопрос умер сам по себе.

Трое космонавтов приземлились 13 октября, в день, когда отец вернулся из Пицунды. Они ждали и не дождались еще одного традиционного телефонного разговора с Хрущевым. На фоне бурных событий тех дней о них попросту забыли. Космонавтов обследовали на космодроме, их торжественный прием в Москве откладывался со дня на день.

Наконец объявили: встреча состоится в понедельник 19 октября. Ритуал известен — торжества на аэродроме, парадный проезд кортежа по Москве, митинг на Красной площади и заключительный прием в Кремле. Все, как и раньше, но только… без Хрущева.

С утра началась трансляция с Внуковского аэродрома. Мама включила телевизор, теперь — единственное окно во внешний мир. Раньше отец не любил смотреть телевизор, да и просто у него не хватало на это времени. Вот и сейчас он сидел с книгой в соседней комнате. Однако не читалось, встреча космонавтов волновала его.

Когда полковник Комаров, командир экипажа, отдавал рапорт, отец не выдержал и присоединился к зрителям. Сидел он недолго и, буркнув: «Не хочу смотреть», — пошел гулять. Обошел несколько раз вокруг дома, однако успокоиться не мог. Мы продолжали сидеть у экрана. Как раз в этот момент кортеж прибыл на Красную площадь, все поднимались на Мавзолей.

Внимание отца неожиданно привлек стоявший у ворот автомобиль. Сергей Васильевич Мельников о чем-то разговаривал с шофером. «Поехали на дачу», — обратился он к Мельникову. Они сели в машину и уехали. Естественно, никто, кроме Мельникова, не знал, куда поехал отец. Как обычно, дежурный тут же сообщил по спецсвязи, что Хрущев выехал из особняка. Маршрут неизвестен.

У Бородинского моста поворот направо — к Красной площади, налево — на дачу. Куда повернет автомобиль, не знал никто… Пока машина двигалась по Бережковской набережной, сообщение стремительно преодолевало инстанцию за инстанцией.

Через несколько минут на экранах телевизоров мы увидели, как за спиной Брежнева возник дежурный и зашептал ему что-то на ухо. Брежнев изменился в лице и нагнулся к соседу. Стоявшие на трибуне зашевелились, никто уже не слушал оратора. Шелепин поспешил за спины руководства в специально оборудованную комнату на верхнем этаже Мавзолея, где рядом с традиционным в таких случаях столом с закусками на столике сгрудились телефоны. Нужно было принять меры, чтобы не допустить появления Хрущева на Красной площади. Кто знает,

что может прийти в голову этому импульсивному человеку!..

Замешательство было недолгим, вскоре пришло успокоительное известие — машина с отцом свернула налево, он ехал на дачу…

Митинг закончился без происшествий, все переместились в Георгиевский зал Кремля, где так же традиционно производилось награждение космонавтов, за которым следовал прием, сопровождавшийся тостами, взаимными поздравлениями. На прием позвали множество народа, пригласили и Твардовского.

«Третьего дня за обедом решили поехать на прием в честь космонавтов (билет прислали утром). — Я снова цитирую дневник Александра Трифоновича. — Можно пропустить десять обычных, но этот стоит посмотреть, как новые хозяева принимают.

Было многолюдно, думаю, что пришли все приглашенные: одни, чтобы показать, что их пригласили, с ними все в порядке, другие, как, например, я, отчасти, чтобы не навлекать на себя предположений об “оппозиционном” по отношению к новому руководству демонстративном поведении, третьи потому, что никогда не пропускают такой возможности, а все вместе с известной долей любопытства: как оно будет без привычных за все эти годы речей и тостов Никиты Сергеевича?

Было, по правде, довольно скучно, речей почти что не было слышно, а когда мы от нашего отдаленного стола прошли вперед, чтобы посмотреть, как там что, то оказалось, что президиум отгорожен, и в проходе стоят человеки в черных пиджаках и вежливо преграждают путь. К Никите Сергеевичу, бывало, выстраивалась очередь чокнуться с ним, и он это делал с неутомимой готовностью. Он любил быть хозяином стола, конечно, узурпируя простодушно права остальных членов на провозглашение тостов, на малейшее обнаружение своего присутствия. Он все брал на себя: и торжественную, официальную часть, и порядок провозглашения здравиц, и затейническую часть вплоть до приглашения к танцам.

Здесь все заморожено, несвободно и как бы неуверенно, хотя внешняя сторона была на самом высоком уровне помпезности». [40]

Любопытные замечания, но я их привожу так, к слову, в тот день обстановка и тосты на кремлевском приеме нас интересовали меньше всего.

К концу дня ничего не подозревавший отец вернулся домой. Прогулка освежила и успокоила его. Однако реакция на переполох, вызванный неожиданным отъездом, не заставила себя ждать. Не прошло и часа, как в доме появился Мельников. Вид у

него был расстроенный.

— Никита Сергеевич, вам предложено с завтрашнего дня переехать на дачу и временно не возвращаться на городскую квартиру, — отводя глаза в сторону, вполголоса произнес Сергей Васильевич, обращаясь к сидевшему за обеденным столом со стаканом чая отцу.

— Хорошо, — последовал равнодушный ответ.

Мы уже стали привыкать к этой, столь невяжущейся с привычным образом отца, бесцветной реакции на непрекращающиеся уколы. Казалось, ничто его больше не волнует — на дачу так на дачу, в Сибирь так в Сибирь.

Сидевшая рядом мама заволновалась:

— Как же так, завтра уехать и не возвращаться? Ведь мы даже вещи собрать не успеем!

Отец никак не реагировал на эти слова, а Сергей Васильевич пояснил, что это распоряжение касается только отца. Члены семьи могут бывать здесь, когда им угодно, пока нам не будет предоставлена другая квартира в городе.

Итак, отцу приказано покинуть Москву. Эта уловка была вполне естественной, ведь дорога в город с дачи занимает около часа. Возможность неожиданного появления отставного премьера в нежелательном месте, таким образом, резко уменьшалась.

На следующий день мы переехали на дачу. Отец оставался там безвыездно до переезда в Петрово-Дальнее, если не считать редких поездок в поликлинику.

16 ноября 1964 года открылся очередной Пленум ЦК. Именно на нем отец предполагал обсудить новую Конституцию. Теперь Пленум занимался совсем другими делами: объединили разъединенные Хрущевым областные комитеты партии, решали кадровые вопросы, «хрущевцы» изгонялись из власти, на их места приходили лица, особо проявившие себя в период подготовки перемен во власти.

Отца, хотя он и оставался членом Центрального Комитета, на Пленум не пригласили, более того, ему позвонил заведующий Общим отделом ЦК Малин и, запинаясь, передал «просьбу» в Свердловском зале Кремля не появляться.

Не пошел на Пленум и Аджубей, но его, в отличие от отца, как оказалось, ждали. Когда выяснилось, что Алексей Иванович отсутствует, Брежнев послал за ним нарочного. Алеша до смерти перепугался, на Пленум он шел как на Голгофу, понимал, что с ним решили расправиться, рассчитаться за его близость к отцу, за «чрезмерную» активность, за демонстративное игнорирование прямого начальника Михаила Андреевича Суслова, за то, что он якобы претендовал на пост министра иностранных дел. В общем,

причин для волнения набиралось предостаточно. Что навоображал себе впечатлительный Алеша по пути в Кремль, знал только он сам.

В то время в Москве много судачили о том, что говорил Аджубей, как он себя повел, почему-то делался упор на том, что он не собирается разводиться с моей сестрой. Это ставилось ему в заслугу, в сталинские времена подобное «вольнодумство» могло окончиться очень печально.

А как все происходило на самом деле? Давайте обратимся к стенограмме. Итак, мы в зале заседаний Пленума ЦК, председательствует Брежнев, на трибуну приглашают растерянного Алексея Ивановича.

«БРЕЖНЕВ: Я повторю, что Президиум ЦК КПСС рассмотрел вопрос о т. Аджубее и принял предложение внести на обсуждение Пленума ЦК вопрос о выводе т. Аджубея из состава членов Центрального Комитета за допущенные им ошибки в работе и поведении, это нужно сделать в соответствии с Уставом путем тайного голосования. Товарищ Аджубей здесь присутствует, я хочу спросить т. Аджубея: имеет ли он что сказать или нет?

АДЖУБЕЙ: Во-первых, я хотел объяснить товарищам, что я не присутствовал на первой части Пленума потому, что меня не предупредили, а не из неуважения к собравшимся.

Я очень глубоко и серьезно воспринял критические замечания товарищей в свой адрес, очень справедливые замечания. Я был горд, что мне пришлось присутствовать на таком замечательном Пленуме, каким был октябрьский Пленум, где снимали Хрущева. Я молодой в политическом отношении человек, многие вещи, которые говорились… не только полностью соответствуют моим партийным убеждениям, но это, товарищи знают, в той мере и по той возможности, которыми я располагал, я говорил это и товарищам. Больше того, даже тот вопрос, который обсуждается сегодня, об объединении надуманных сельских и промышленных органов, мы брались писать и тогда, когда речь шла…»

О чем и когда шла речь, так и осталось для слушателей неясным.

Алеша резко сменил тему:

«Я хотел бы также сказать о том, товарищи, что я прошел обычный журналистский путь. Десять лет работал в “Комсомольской правде”, воспитывался без отца, с матерью, кончал университет заочно, последние два года был членом редколлегии, был практически зам. зав. отделом, а в 1959 году, когда меня назначили в “Известия”, постарался сделать так, как я мог, вместе с товарищами, чтобы было интересно. Естественно,

что в деятельности газеты, наверное, были недостатки, промахи и даже ошибки. Я только хотел сказать членам Президиума Центрального Комитета партии, что никогда на деле ни разу не использовал свое положение или родственные отношения. Я никогда не огрызался не только на критические замечания, мне никогда не приходило в голову… Что касается предложения об установлении факта о культе личности т. Хрущева, о беспрерывных публикациях речей, выступлений, фотографий и так далее, то есть возможность разобраться любой компетентной комиссии, об этом знает и Идеологический отдел ЦК. Мы в “Известиях” старались делать таким образом, чтобы этого было как можно меньше. Мне рассказывали потом товарищи из Идеологического отдела, что когда товарищи, члены ЦК, проанализировали публикацию различных восхваляющих материалов за три месяца этого года со стороны некоторых и других органов, то в “Известиях” было значительно меньше…

Я хотел бы сказать только еще об одном, если разрешите на минуту задержать внимание членов ЦК. Я искренне сейчас говорю, я хочу и буду работать так, как поручит партия. Я журналист, у меня в конце концов есть перо. Я позволю искренне сказать, что не выбирал себе жену. Когда я женился, товарищ Хрущев был не в таком зените, он был председателем Совета Министров Украины. Я 15 лет прожил со своей женой, люблю ее, у меня трое детей, и, так сказать, реплика насчет того: “Не имей сто друзей, а женись как Аджубей”, — неправильная. Я никогда не пользовался особым доверительным расположением товарища Хрущева. Это многие товарищи знают. Я никогда не пользовался какой-то особенной доверительностью…

…Считают, что я сам лично возвеличивал свою деятельность и возвеличивал Хрущева, и был под такой рукой, и никогда не высказывал критических замечаний. Это неправильно. И если сказать прямо, за всю мою деятельность в газете “Известия” я с Хрущевым только один раз разговаривал, а дома и подавно не разговаривал. Михаил Андреевич Суслов сказал, видимо, исходя из характера Хрущева, что он в той или иной степени ссылался на меня или еще на кого-то… Но товарищи знают, что я никогда по деловым вопросам с Хрущевым не беседовал и никогда настырно не держался. И в этом смысле все происшедшее для меня — большой урок. (Оживление в зале.)

Я считаю, что не держался настырно ни с секретарями обкома, ни с товарищами из ведомств, никогда не разговаривал невежливо, грубо, недостойно. Я понимаю и принимаю критические замечания в свой адрес, хотя должен сказать, что многие работники идеологического фронта, и в том числе те,

которых не наказывают так сурово, как меня (снятие с “Известий” для меня суровый урок), они тоже должны продумать свое поведение.

Я хочу сказать, что буду работать, как полагается коммунисту, и постараюсь оправдать доверие члена партии».

Я оставляю выступление без комментариев, только повторю, что говорил Алеша в состоянии крайнего испуга. Члены ЦК единогласно проголосовали за исключение Аджубея из своих рядов.[41]

Покончив с Алексеем Ивановичем, Пленум поощрил наиболее активных участников заговора, Шелепина и Шелеста избрали членами Президиума ЦК. Кандидатом в члены Президиума избрали Демичева.

Итак, ноябрьский Пленум 1964 года отметил тройку наиболее отличившихся. Давайте теперь проследим их судьбу и судьбы других активных участников октябрьских событий. В те годы я старался не упустить ни слова, относящегося к людям, сыгравшим столь недобрую роль в судьбе моего отца. Там намек, здесь рассказ. Информация, собираясь по крупицам, постепенно складывалась в отчетливую картину. В одних случаях сведения, доходившие из разных мест, подтверждали друг друга, в других — расходились. Тогда приходилось выбирать. Ведь официально узнать о происходившем в верхах было совершенно невозможно. Так что не исключено, что в описании отдельных деталей я могу и ошибиться.

Так я написал в 1988 году. В этом издании появилась возможность дополнить рассказ новыми фактами, исправить допущенные огрехи.

Далеко не все получили то, на что первоначально рассчитывали. 19 октября 1964 года, всего через пять дней после отстранения Хрущева, погиб Николай Романович Миронов. Он вместе с маршалом Бирюзовым летел в Югославию, в районе Белграда их самолет заплутал в облачности и врезался в гору, все находившиеся на борту погибли.

Одной из ключевых фигур в организации смены руководства был Александр Николаевич Шелепин. Его дальнейшая судьба, пожалуй, представляет наибольший интерес. После ухода отца в отставку Леонид Ильич Брежнев, занимавший кресло Второго секретаря ЦК, автоматически стал Первым секретарем. Главной задачей было смещение Хрущева, и никто не хотел создавать предпосылок для возможных разногласий. Они, естественно, возникли бы при любой другой кандидатуре на высший пост в партийной иерархии. Ведь каждый в душе считал достойным себя. В такой ситуации неизбежны столкновения между

группировками, а в первые дни и месяцы без Хрущева как воздух необходимо было единство. В такой обстановке большинство выступало за естественную смену: Первого секретаря сменил Второй, а Председателя Совета Министров — его первый заместитель.

Однако подобная замена устраивала далеко не всех. В первую очередь Шелепина. Свое избрание членом Президиума ЦК Шелепин рассматривал лишь как первый шаг на пути к высшему положению в партии.

Внешне все складывалось как будто благоприятно. Брежнев — фигура переходная. Пока без него не обойтись, но придет время, и, стоит только прикрикнуть построже, он добровольно уступит кресло. Так или почти так, очевидно, рассуждал Шелепин в конце 1964 года.

На многих важных постах в государстве были расставлены давние его друзья и сторонники: Семичастный контролировал КГБ, в руках Тикунова было Министерство охраны общественного порядка РСФСР, Егорычев контролировал Москву, да и другие посты, рангом помельче, оккупировали свои люди, и они только ждали команды.

Однако в главном Шелепин просчитался. Его роль в октябре 1964 года была всем хорошо известна, цели тоже ни для кого не составляли секрета. Его заранее опасались, а это было почти поражением. Каждый его шаг контролировался, внутренне весь Президиум вскоре объединился против него. Все возможные попытки произвести новую смену руководства заранее обрекались на неудачу, но Шелепин, видимо, не понимал этого и с надеждой смотрел в будущее.

С течением времени почва под ногами начала колебаться — у него умело выбивали одну опору за другой. А ведь поначалу, казалось, все шло хорошо.

Сразу после октября ближайший сторонник Шелепина, Председатель КГБ Семичастный, резко укрепил свои позиции: в благодарность за участие в октябрьских событиях ему присвоили воинское звание генерал-полковника, которого он тщетно домогался от Хрущева. Получил генеральские погоны и кое-кто из его помощников. Однако это была лишь оптимистическая прелюдия к печальному финалу. На посту Председателя КГБ Семичастного через три года сменил Андропов. Все было сделано без лишнего шума и почти не привлекло внимания.

Как говорили в те дни, весной 1967 года на площадь Дзержинского приехал член Политбюро ЦК[42] товарищ Суслов. Его сопровождал секретарь ЦК, отвечавший за связи со странами социалистического содружества, — Юрий Владимирович

Андропов. Должна была состояться встреча с активом Комитета. Ни та ни другая сторона не подавала вида, что происходит что-то из ряда вон выходящее.

Только что закончилось заседание Политбюро ЦК, где приняли решение об освобождении Семичастного. Как вспоминает Шелест, формальным поводом послужил побег на Запад дочери Сталина Светланы Аллилуевой. Семичастный, оправдываясь, доказывал, что категорически возражал против ее поездки в Индию, решение принял Косыгин. Его, однако, не стали слушать.

И вот теперь Михаил Андреевич должен был выполнить непростую миссию — объявить принятое решение аппарату КГБ и представить нового председателя. И в ЦК, и в КГБ нервничали. Кто знает, что предпримет Семичастный в ответ на свое освобождение? Ведь в его руках сосредоточена огромная власть. В миниатюре ситуация напоминала положение, сложившееся при аресте Берии почти полтора десятка лет назад. Правда, в распоряжении Председателя КГБ теперь уже не было войск, но в его руках оставалась охрана Кремля, Центрального Комитета. На всякий случай по распоряжению ЦК войска Московского гарнизона привели в повышенную готовность.

Председательствующий предоставил слово Михаилу Андреевичу. Раздались жидкие аплодисменты. Суслов поднялся на трибуну.

Вначале он пространно говорил о сложной международной и внутренней обстановке, необходимости постоянного укрепления бдительности. Привычные слова лились без запинки. Но вот Суслов заговорил о том огромном значении, которое Центральный Комитет придает деятельности органов государственной безопасности.

— Центральный Комитет решил укрепить руководство органов и назначить на пост Председателя Комитета кандидата в члены Политбюро ЦК товарища Андропова, — произнес Суслов слова, ради которых приехал сюда.

На мгновение он запнулся и взглянул в зал. Ответом ему было настороженное молчание. Присутствующие переваривали давно ожидаемую и все-таки неожиданную новость. Оцепенение длилось недолго. Где-то в глубине зала раздались робкие аплодисменты, и вот они уже понеслись лавиной, поскольку никто не хотел отстать от соседа.

Затем говорил Андропов. Потом еще кто-то, но все это уже не имело никакого значения: главное было сделано.

Семичастный занял пост заместителя Председателя Совета Министров Украины. Отсюда он уже не мог оказывать никакого

реального влияния на события в Москве.

А вот как описывает те же события сам Семичастный.

18 мая 1967 года его вызвали на заседание Политбюро ЦК, где обсуждали вопрос Аллилуевой. В 1966 году она, по разрешению Косыгина, уехала в Индию хоронить мужа-индуса и задержалась на несколько месяцев. Когда ее начали торопить с возвращением, она обиделась, ночью собрала вещички, взяла такси и поехала в посольство США в Дели просить политического убежища. Теперь члены Политбюро ожидали от Семичастного предложений, как пригасить разгоревшийся скандал, поручили КГБ создать комиссию для изучения и отслеживания «проблемы Аллилуевой».

По окончанию обсуждения Семичастный собрался уезжать к себе, но Брежнев попросил Владимира Ефимовича задержаться и огорошил сообщением, что он сам, Подгорный, Косыгин и Суслов предлагают освободить его от должности и, для того чтобы приблизить КГБ к партийному руководству, его председателем назначить Юрия Владимировича Андропова.

Андропову, в отличие от Семичастного, Брежнев доверял, считал, что тот под него копать не решится. И не ошибся.

Собравшиеся дружно поддержали Леонида Ильича. Шелепин на заседании отсутствовал, он недавно попал в автоаварию и лежал в больнице.

«Тут же, на заседании Политбюро, создали комиссию в составе Кириленко, Пельше, Мазурова, Андропова и Семичастного для передачи дел».

Как видите, я ошибся, участие Суслова в этом деле ограничилось внесением предложения на заседании Политбюро.

Дальше тоже все происходило не совсем так, как мне рассказывали. Из Кремля Семичастный направился на Лубянку, собрал заместителей. В обсуждении прошло «час-полтора, как вдруг появился секретарь» и сообщил, что в КГБ приехали члены Политбюро ЦК Пельше, Мазуров и Андропов. Вскоре доставили пакет с указом Президиума Верховного Совета об увольнении Семичастного и назначении Андропова. Шел девятый час вечера, но Кириленко попросил собрать членов Коллегии Комитета и начальников основных отделов. Собирались почти два часа, многим пришлось добираться в Москву с дач.

Передача власти прошла без эксцессов и «незадолго до полуночи похоронная команда (так назвал Семичастный комиссию Политбюро ЦК) покинула дом на Лубянке».[43] Он сам задержался там, собирал вещи до четырех утра.

Семичастного отправили работать в Киев, под присмотром Шелеста. Его сначала назначили заместителем главы

республиканского правительства курировать транспорт и комитет по делам религии, затем перебросили в общество «Знание» заниматься просветительной работой. С властью и честолюбивыми надеждами Владимиру Ефимовичу пришлось распрощаться навсегда.

Интересно также, что впервые после Берии Председателем КГБ стал кандидат в члены Политбюро, вскоре переведенный в члены Политбюро.

В 1953 году по инициативе отца было принято решение изменить роль МВД (тогда не было разделения на МВД и МГБ), сузить его функции и возможности, сделать его более управляемым. Отец старался ограничить власть всесильных «органов», чтобы они не могли больше встать над государством и партией.

МГБ выделили из МВД и преобразовали в комитет при Совете Министров СССР, ниже по статусу в сравнении с министерством. Председателем тогда назначили генерала Ивана Александровича Серова. Ни он, ни его преемники Шелепин и Семичастный и не помышляли о возможности войти в состав высшего политического руководства страны.

Для Министерства обороны и Министерства иностранных дел было установлено то же правило — их руководители не могли состоять в высшем партийном синклите.

Отец аргументировал свои предложения просто: в руках министра обороны и Председателя КГБ сосредоточена огромная сила. Она должна применяться строго в соответствии с принятыми Президиумом ЦК и правительством решениями и направляться на их выполнение. Руководители этих ведомств должны быть подотчетны Президиуму ЦК. Иначе в случае расхождения во мнениях в руководстве они могут использовать служебное положение в групповых интересах.

Об этом говорит в одном из интервью сам Семичастный: «… затем в КГБ он Андропова сунул и сделал членом Политбюро. Чего не было раньше и что было ошибкой. Нельзя делать эти “органы” [бесконтрольными]. В любое время можно написать записку на Малиновского, на Громыко, на их службы, и после уж никто не проверит.

Если раньше отдел ЦК мог моего заместителя вызвать, то сейчас не вызовет, потому что председатель — член Политбюро. Откуда он знает, от кого исходит то или иное указание? Он и отвечать, по существу, не станет, а только скажет: “Мне председатель, член Политбюро дал задание…”, и всё, он вне зоны критики…»

Брежнев возвращался к традициям сталинской эпохи.

С переводом Семичастного изменения в КГБ не завершились. Странной оказалась судьба полковника Чекалова, начальника Управления охраны, встречавшего нас на аэродроме 13 октября. Едва примерив погоны генерал-майора, он отправился продолжать службу в Тамбов на малопрестижной должности заместителя начальника областного управления. Проработал Чекалов там недолго. Случилось несчастье. Здоровый, еще не старый мужчина во время утренней зарядки на местном стадионе вдруг почувствовал себя плохо. Кончилось это, по словам Семичастного, так: «…Пришла сестра, укол сделала, и парень умер…»

Многие руководящие работники КГБ из «комсомольцев» после кратковременного взлета отправились кто куда: кто в отставку, а кто на укрепление кадровых подразделений различных министерств. Перестановки делались не вдруг, не в одночасье, исподволь. Практически не пропустили ни одного сотрудника КГБ, пусть в самой малой степени не заслуживавшего абсолютного доверия Брежнева.

Одновременно занялись и органами внутренних дел. С министром охраны общественного порядка РСФСР Вадимом Степановичем Тикуновым, тоже «шелепинцем», тоже бывшим комсомольским работником, обошлись иначе. Могущественное союзное Министерство внутренних дел при Хрущеве преобразовали в республиканские министерства охраны общественного порядка. При этом говорилось, что по мере продвижения к коммунизму его функции все более будут переходить к общественности.

Некоторое время после освобождения отца структура оставалась прежней. Но вот в начале 1966 года Тикунова вызвали в ЦК. Беседа свелась к нескольким пунктам: надо исправлять допущенные ошибки. Роль органов МВД необходимо поднимать. Есть мнение вернуться к старому названию и восстановить союзное Министерство внутренних дел. Тикунов с готовностью согласился, предложение ему импонировало.

Его тут же попросили написать свои предложения в ЦК, ведь если создадут союзное министерство, оно сможет выполнять и функции МВД РСФСР. Вряд ли целесообразно иметь рядом в Москве два министерства. На этой позиции ему и было предложено построить свою записку.

Через несколько дней записка с проектом реорганизации была готова. Тикунов ожидал решения, ничуть не сомневаясь, что он возглавит новое министерство. Правда, слегка беспокоило затянувшееся молчание. Никакой реакции на записку почему-то не было. Никто больше не вызывал Тикунова в ЦК — казалось,

там потеряли к этому вопросу всякий интерес.

Но вскоре все разъяснилось самым неожиданным образом.

Однажды утром, развернув газету, Тикунов, думаю, с немалым удивлением прочитал Указ Президиума Верховного Совета СССР об упразднении Министерства охраны общественного порядка РСФСР и об образовании МВД СССР. «Министром внутренних дел СССР назначен Николай Анисимович Щелоков».

Тикунов бросился в ЦК. На сей раз встреча была неизмеримо холодней. Его удивленно укорили за горячность, поскольку именно Тикунов сам предложил, исходя из государственных соображений, образовать МВД СССР и упразднить МООП РСФСР. Какие же могут быть претензии? Ведь решение базируется на его собственноручной записке…

После немой сцены, напоминавшей финал «Ревизора», Тикунов отправился в резерв…

По свидетельству Семичастного, услышав о кандидатуре Щелокова, они с Шелепиным подняли шум, но было уже поздно. На заседании Политбюро ЦК Брежнев поставил вопрос на голосование, и, хотя на этот раз и не единогласно, предложение все-таки прошло. Шелепину удалось пристроить Тикунова, и только на время, заместителем заведующего третьестепенным отделом ЦК, занимавшимся личными делами командируемых за границу, а вскоре его вовсе сбыли с рук, назначили в посольство в Румынии.

Перестановки продолжались. Постепенно соратники Шелепина покидали завоеванные с таким трудом при Хрущеве московские посты и разъезжались по стране, а то и по свету. Некоторые из них получали высокий ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла и отправились по назначению, кто в Африку, кто в Азию, кому-то удавалось зацепиться в Европе или Америке. Генерального директора ТАСС Дмитрия Петровича Горюнова отправили в Марокко, Сергей Калистратович Романовский уехал послом в Норвегию, цекист Александр Николаевич Яковлев[44] — заместитель заведующего отделом идеологии — в Канаду. Я уже не помню остальных, но Леонид Ильич никого не забыл.

Александр Николаевич Шелепин понимал, что при таком раскладе сил он вскоре может оказаться в одиночестве, как говорится, генералом без армии, но изменить или хотя бы приостановить начавшийся процесс не мог. Коллеги по Политбюро ЦК были едины в своем противодействии.

Вскоре наступила очередь и самого Шелепина. Подвернулся удобный случай: уехал послом в Данию еще один «комсомолец»

— Николай Григорьевич Егорычев, работавший до этого Первым секретарем Московского городского комитета партии. Егорычев, человек с гипертрофированным самомнением, сам напросился на неприятности. После катастрофического разгрома Израилем арабов, в первую очередь египтян, в Шестидневной войне в сентябре 1967 года, Егорычев на Пленуме ЦК в пух и прах изругал московскую систему ПВО, вооруженную теми же ракетами, которые мы передавали Насеру. Изругал несправедливо, ракеты вскоре хорошо показали себя во Вьетнаме, где сбили более четырех с половиной тысяч современных американских самолетов. Египтяне же не смогли их освоить, а в большинстве случаев просто разбежались, бросив технику на произвол судьбы. Егорычев этого или не знал, или не хотел узнать и не пожалел черной краски. Военные на него не на шутку разобиделись, Брежнев тут же воспользовался подходящим поводом, чтобы избавиться от не вызывавшего у него доверия «хозяина Москвы». Его место занял Председатель Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС) Виктор Васильевич Гришин.

Появилась вакансия. По традиции, пост Председателя ВЦСПС должен был занимать член Политбюро или кандидат в члены Политбюро ЦК. Его предложили Шелепину. Из здания ВЦСПС на Ленинском проспекте, естественно, труднее влиять на решения, готовящиеся в ЦК на Старой площади. Александр Николаевич понимал, что это еще одно поражение, но поделать ничего не мог. Все коллеги по Политбюро единодушно поддержали его кандидатуру, и прямой отказ мог привести к худшим последствиям. В июле 1967 года Суслов представил ВЦСПС их нового председателя, а 26 сентября Пленум ЦК освободил Шелепина от обязанностей Секретаря ЦК. Однако Александр Николаевич не смирился. Он — самый молодой член Политбюро, время работает на него, надо только потерпеть, дождаться, когда обстановка станет более благоприятной. А пока нужно оправиться от неудач и снова подготовить почву.

Как и в 1964 году, он стал искать влиятельную фигуру, которую можно было бы, самому оставаясь в тени, подтолкнуть на сколачивание оппозиции теперь уже Брежневу. В 1964 году таким лицом был Игнатов, в марте 1966 года внимание Шелепина привлек Микоян. Анастас Иванович покинул Политбюро и, видимо, по мнению Шелепина, представлял собой идеальную кандидатуру. Вероятно, Шелепин не сомневался, что после вывода из состава Политбюро Микоян недоволен и настроен враждебно к новому руководству. А на этом уже можно было сыграть. Кроме того, Микоян широко известен в партии и в стране, к его мнению прислушиваются. В случае же провала легко

будет спрятаться в его тени.

Самому идти к Микояну было опасно. Неизвестно еще, как воспримет Анастас Иванович предложение. Мог попросту выгнать или того хуже — выдать, рассказав о визите кому не следует. Да и сам факт разговора едва ли останется в тайне: охрана, собственная или Микояна, без сомнения, доложит о странном свидании. Предстояло найти посредников и конечно же аргументы, способные произвести впечатление на Микояна. Зная крайнюю щепетильность Анастаса Ивановича, в качестве затравки было решено использовать недавний ремонт дачи Брежнева, обошедшийся в несколько миллионов рублей. Если он «клюнет», можно перейти к обсуждению политических вопросов, прощупать его настроения и дальше действовать по обстановке.

Но дело сорвалось в самом начале. Опытный и осторожный Микоян сразу почувствовал неладное и повел себя настороженно. Большие расходы на переоборудование дачи он не одобрил, но попытки обсуждения, не говоря уже о критике действий Брежнева, начисто отмел. По рассказу Серго Микояна, выступавшего в роли посредника в этих переговорах, ответ его отца сводился к следующему: «Конечно, нехорошо, что Леонид Ильич расходует средства на свою дачу. Поступать так нескромно, и я его действия не одобряю. Тем не менее это дело его совести. В целом же принципиальных разногласий по проводимой сейчас внутренней и внешней политике между нами нет, я с ней согласен и считаю линию в целом правильной».

Подводя итог, Микоян добавил, что человек он немолодой, свое отработал. Активной политической деятельностью больше не занимается и не собирается к ней возвращаться.

Шелепин ошибся в главном. Возможно, Микоян и был обижен своей отставкой, но карьера заговорщика его никогда не манила. О возвращении в состав Политбюро он уже не помышлял, еще менее был расположен стать орудием в чужих руках. Разговоры эти остались в тайне. Микоян никому не рассказал о них.

Не исключено, что Шелепин обращался не только к Микояну и проводил зондаж в разных направлениях. Едва ли отказ Микояна от сотрудничества заставил его отказаться от своих планов. Другие попытки Шелепина добиться реализации заветных намерений остаются по сей день тайной. С уверенностью можно сказать одно — к успеху они не привели…

Шли годы. Столь мощная в 1964 году коалиция «комсомольцев» распалась. Мечты о высших партийных и государственных постах становились все более зыбкими и расплывчатыми. Работа в ВЦСПС не клеилась, вызывая только раздражение своей явной бесперспективностью.

Однако «Железный Шурик» (так прозвали Шелепина то ли за жесткость характера, то ли с долей иронии по аналогии с железным Феликсом, легендарным первым Председателем ВЧК Феликсом Дзержинским) не хотел сдавать позиции. И тогда он решился на отчаянный шаг — личный разговор с Брежневым. Шелепин хотел любой ценой добиться возвращения в аппарат ЦК. А чтобы разговор не прошел бесследно, он подготовил письменное заявление в адрес Политбюро. Суть его заключалась в следующем.

Не имея специального экономического образования, он, Шелепин, не может полноценно работать Председателем ВЦСПС и приносить ту пользу, которую мог бы приносить на другом поприще. В связи с этим он обращается в Политбюро ЦК с просьбой освободить его от занимаемой должности и перевести на работу в аппарат Центрального Комитета. Естественно, как член Политбюро он с полным основанием рассчитывал на кресло одного из секретарей.

Леонид Ильич внимательно выслушал все аргументы и, пообещав подумать, положил переданное ему заявление в свою папку. Беседа закончилась ничем.

Тем не менее вскоре после этой безрезультатной встречи снова вспыхнула надежда. Брежнев заболел. Поползли слухи, что он не сможет вернуться к работе.

В первую очередь Шелепин решил переговорить с Сусловым. Он представлялся естественным союзником в возможных столкновениях с Кириленко, занимавшим неофициальную должность Второго секретаря ЦК. Именно с этого поста в 1964 году Брежнев переместился на место Хрущева. Без сомнения, и Андрей Павлович готовился к возможным переменам.

Шелепин зашел к Суслову. Конечно, предпочтительнее было провести этот щекотливый разговор где-нибудь в неофициальной обстановке, но повода все не находилось. Пришлось довольствоваться официальной встречей в кабинете секретаря ЦК.

Быстро покончив с текущими вопросами, Шелепин осторожно перешел к главному, сказав, что его, как, очевидно, и Суслова, больше всего волнуют судьба партии, поступательное движение страны. Во многом это зависит от того, кто стоит во главе Центрального Комитета. Сейчас Леонид Ильич серьезно болен. Неизвестно, сможет ли он вернуться к исполнению своих служебных обязанностей, по крайней мере, в ближайшее время. К тому же все мы смертны. А может быть, стоило бы посоветоваться, подумать о замене?

На это Суслов холодно ответил, что если имеется в виду

болезнь Леонида Ильича, то сведения неверны. Брежнев чувствует себя значительно лучше. Так что затронутая тема по меньшей мере неуместна.

Это была очередная неудача. Оставалось надеяться на молчание Суслова.

Однако надежды оказались тщетными. Уже на следующий день Суслов поехал навестить больного Брежнева и все доложил. Леонид Ильич ничего не ответил, но информацию запомнил, решив, очевидно, дождаться удобного случая. И такой случай вскоре представился.

В 1975 году в Великобритании собрался Всемирный форум профсоюзных деятелей. Решено было, что советскую делегацию возглавит Шелепин. Случайно или умышленно, но никто не обратил внимания на одно щекотливое обстоятельство в биографии тогдашнего Председателя ВЦСПС: ранее он возглавлял КГБ. Никто не задался вопросом: как в связи с этим встретит британская общественность нашу делегацию?

С первого же дня пребывания профсоюзной делегации в Англии разразился скандал. Тон задала пресса. Как может бывший начальник тайной полиции возглавлять профсоюзное движение? Эта тема перепевалась на все лады. Начались демонстрации с требованиями выдворения Шелепина из Великобритании. Обстановка все более накалялась. В результате Шелепина досрочно отозвали на родину. По свидетельству очевидцев, в последний день пребывания в Лондоне Шелепина пришлось вывозить из советского посольства через черный ход, окружавшая здание толпа забросала яйцами и пакетами с молоком пробиравшегося к лимузину человека. На счастье Александра Николаевича, не его самого, а шофера посла.

Встреча в Москве была холодной. И все-таки никто здесь не воспринимал происшедший скандал так остро, как в нашем посольстве в Лондоне. В привычной московской сутолоке английская командировка стала далекой и почти нереальной. Хотелось думать, что о ней никто и не вспомнит.

Звонок из ЦК вернул Шелепина к реальности. Ему сообщили, что на следующем заседании Политбюро одним из вопросов повестки дня будет отчет о поездке в Англию.

Заседание Политбюро началось как обычно. Председательствовал Брежнев. По рассказам очевидцев, вопросов было много — одни решения принимались без дискуссий, другие вызывали краткие обсуждения.

Наконец наступила очередь Шелепина. Александр Николаевич кратко рассказал о происходившем на форуме и подчеркнул, что шумиху вокруг советской делегации

инспирировали определенные круги с провокационными целями.

Началось обсуждение. Все говорили по очереди, но в каждом выступлении был один, главный стержень: руководитель делегации не справился с ответственным поручением и провалил важное международное мероприятие.

Обсуждение закончилось, приняли решение, констатирующее нашу неудачу, возлагавшее ответственность на руководителя делегации Александра Николаевича Шелепина. За резолюцию проголосовали единогласно.

Однако Брежнев на этом не остановился. Обстановка в ВЦСПС, по его мнению, сложилась явно ненормальная. Во многом это зависит от руководства и лично от товарища Шелепина. Время показало, что он плохо справляется с порученной работой. Впрочем, он и сам так считает.

Брежнев раскрыл лежавшую перед ним папку. Внутри было заявление Шелепина в Политбюро с просьбой перевести его на партийную работу, которое он когда-то неосмотрительно передал Брежневу!

Леонид Ильич медленно зачитал первую половину заявления. Но дойдя до фразы с просьбой о переводе в ЦК, дальше читать не стал и поднял голову:

— Кто за то, чтобы удовлетворить просьбу товарища Шелепина? Он обвел взглядом присутствующих.

— Большинство, — констатировал Леонид Ильич, и Политбюро перешло к рассмотрению следующего вопроса…[45]

Через несколько дней Шелепина официально освободили от обязанностей Председателя ВЦСПС и назначили на мелкую должность заместителя председателя Комитета по трудовым ресурсам. Один из самых молодых членов Политбюро, он еще не достиг пенсионного возраста и нуждался в трудоустройстве. 16 апреля 1975 года очередной Пленум ЦК вывел его из состава Политбюро. Политическая карьера Шелепина на этом закончилась…

Не многим лучше сложилась судьба и Николая Григорьевича Игнатова.

Он не сомневался, что его кипучая деятельность будет вознаграждена и с устранением Хрущева он вернется в состав Президиума ЦК. Ведь именно на нем лежала тяжелая и опасная миссия связи со многими членами ЦК, разъяснения им смысла готовящихся изменений. Нужно было добиться согласия едва ли не каждого, чтобы в случае обсуждения на Пленуме все заняли общую позицию. К счастью, завершилось все удачно. После избрания в члены Президиума можно будет начать борьбу за пост Первого секретаря ЦК. Брежнев ему не помеха.

Однако жизнь рассудила иначе. Стремления Игнатова занять доминирующую роль в партии и государстве были известны многим, так же, как и его склонность к интригам. Игнатов сыграл предназначенную ему роль, и теперь, по логике, следовало от него отделаться.

На октябрьском Пленуме после отставки отца решили только главные вопросы: кто займет освободившиеся посты Первого секретаря ЦК и Председателя Совета Министров. Основные перемещения отложили до ноября. В ноябре присутствие Игнатова на очередном Пленуме стало крайне нежелательным. Он мог затеять публичную ссору. А проблем хватало и без него.

Решение пришло само собой. В ноябре в Таиланд и Камбоджу отправлялась правительственная делегация, и главой ее утвердили… Игнатова. Он пытался было возражать, но потом смирился.

Уезжал Николай Григорьевич мрачнее тучи, и хотя где-то теплилась надежда, что выбрать могут и заочно, но умом он понимал — все пропало.

Об итогах Пленума Игнатов узнал в Бангкоке: членами Президиума избрали Шелепина и Шелеста, кандидатом в него стал Демичев. Освободили от секретарства Полякова, вывели из ЦК Аджубея, а о нем ни звука, как будто его и не существовало.

Москва встретила его неприветливо. Игнатов мрачно пожал руки встречавшим. Вопросов никаких не задавал. Как только закончилась официальная процедура, он сел в поджидавшую «Чайку» и уехал домой.

Посчитаться с обидчиками ему не удалось. Он так и не смог оправиться от перенесенного потрясения. Одна за другой стали липнуть болезни. Лекарства не помогали, организм отказывался бороться. Игнатов умер в 1966 году. Похоронили его у Кремлевской стены.

Из наиболее активных заговорщиков-«шелепинцев» легче всех отделался Секретарь ЦК Петр Николаевич Демичев. Сначала он одновременно с Шелепиным в ноябре 1965 года возвысился, стал кандидатом в члены Президиума ЦК, но быстро переориентировался. В результате в 1974 году его «ушли» из Секретарей ЦК, но, оставив кандидатом в члены Президиума, сделали министром культуры. В этом кресле он досидел до самой перестройки, до 1988 года.

Так сложилась судьба некоторых участников тех памятных событий.

Вернемся в осенние дни 1964 года.

Хотя у каждого из нас переживания были еще остры, у отца

постепенно начали складываться новые привычки. Напомню, отец теперь безвыездно жил на даче. По утрам он просматривал газеты, но теперь уже не отмечал, как бывало прежде, статьи из внутренней и международной жизни, которые следовало изучить, осмыслить. Газеты откладывались в сторону, и начиналась прогулка по парку, вниз, к Москве-реке. Предстоял бесконечный день.

— Надо научиться как-то убивать время, — часто повторял он в эти дни.

Из обширной библиотеки отец отобрал груду книг — раньше на них не хватало времени. Сейчас его стало хоть отбавляй, но чтение не увлекало: слишком остры были недавние переживания, страницы перелистывались машинально. Книга откладывалась в сторону, и он опять начинал свою нескончаемую прогулку.

Как всегда, жизнью дома руководила мама. Она успевала везде, следила, чтобы все были накормлены, чтобы отец надел свою неизменную чистую белую рубашку, а вещи не расползлись с привычных мест. Все это она делала с надежной, доброй улыбкой на круглом лице. Казалось, что никакой катастрофы не произошло — просто Центральный Комитет принял очередное решение, на сей раз об отставке ее мужа, и она, как всегда, приняла его к исполнению. Мама привыкла беспрекословно подчиняться этим решениям, всегда регламентировавшим нашу жизнь. Только через много лет, когда отца уже не было в живых, она как-то рассказала мне о своих переживаниях, о долгих ночных монологах, адресованных Брежневу. Вот так, за своей спокойной приветливостью, она лучше нас умела скрыть переживания.

Сила маминого характера проявилась еще в молодости. Совсем юной гимназисткой она стала красной разведчицей и с замиранием сердца пробиралась через позиции белых. И в последние годы, будучи женой главы великой державы, она всегда умела найти единственно правильную линию поведения буквально со всеми — от рабочего до президента.

Вот и в эти трудные дни она как-то незаметно взяла управление на себя, и все без лишних слов приняли это как должное.

Отца почти никто не навещал. Казавшийся раньше неиссякаемым поток посетителей резко сократился. Одним теперь незачем было ехать к Хрущеву, поскольку нужно было срочно устанавливать новые связи; другие, а их было большинство, просто боялись, и не без оснований. Каждый посетитель подвергался строгой проверке, и хотя никто не спрашивал у него документов, уже на следующий день на стол Семичастного

ложилась подробная справка: что за человек приезжал к Хрущеву, кто его родители, друзья, чем он занимается, каких придерживается взглядов и может ли этот контакт представлять опасность…

В одно из воскресений я пригласил на дачу своих друзей и сослуживцев по ОКБ Челомея — Валерия Самойлова, Юру Дятлова и Володю Модестова. Они и раньше часто бывали у нас. Мне хотелось как-то развеять отца, отвлечь от грустных раздумий.

После обеда гости разъехались по домам, а в понедельник в организацию, где мы все работали, пришел запрос с указанием фамилий наших вчерашних гостей и требованием сообщить о них самые подробные сведения…

Хрущева боялись. Поверженный, он казался опасным, все ждали от него чего-то неожиданного, каких-то непредсказуемых действий. Никто не хотел поверить, что он, смирившись со своей участью, ничего не собирается предпринимать. Очень трудно было представить отца с его кипучей энергией пенсионером, не помышляющим о реванше. Каждого посетителя рассматривали как возможного связного — вот Хрущев установит контакт со сторонниками, вырвется из своего уединения и с триумфом въедет в Москву, как Бонапарт в Марсель!

Ничего более далекого от действительности и представить было нельзя. Отец был слишком подавлен, а главное, тогда, в октябре, он принял решение: если коллеги хотят его отставки — он уйдет.

Он снова и снова повторял слова, впервые произнесенные им в день отставки:

— То, что мои товарищи, правы они или нет, смогли потребовать моей отставки — отставки Первого секретаря ЦК и Председателя Совмина, — главное достижение всей моей деятельно сти. Это означает, что удалось восстановить ленинские нормы внутрипартийной жизни. Разве могли мы себе представить что-либо подобное во времена Сталина? Да от нас бы и мокрого места не осталось! Теперь же мы можем свободно говорить друг другу все, что думаем. И если бы я ничего больше не сделал, то ради одного этого стоило жить.

Извиняюсь за повтор, но в эту фразу отец вкладывал очень глубокий смысл, как бы подводил ею итог своей политической жизни.

Даже отставку отец рассматривал как свою победу, как победу курса, который он провозгласил на XX съезде партии в 1956 году.

В связи с этой нервозной атмосферой подозрительности

вспоминается один эпизод. Случилось это в начале декабря 1964 года.

По делам службы мне потребовалось поехать в Ленинград. Выписал я себе командировку и с коллегами — ведущим инженером по крылатой ракете для подводных лодок Семеном Абрамовичем Альперовичем и главным конструктором ее системы управления из НИИ-923 (сейчас Московский институт электромеханики и автоматики) Алексеем Дмитриевичем Александровым — сел в «Красную стрелу». Приехав в Ленинград, мы отправились в Военно-морской институт реактивного вооружения, а оттуда в кораблестроительное ЦКБ-18 (теперь это ЦКБ «Рубин»). Все вопросы решили быстро, и после обеда проблемы больше не существовало, однако не успели отпечатать и подписать официальный протокол. Отложив подписание бумаг на завтра, пошли устраиваться в гостиницу. Обошли все известные адреса, но везде получили стандартный ответ: «Мест нет». Хуже всего был холод — десять градусов мороза в сочетании с влажным ветром с Балтики стоили всех двадцати пяти. Спас нас товарищ по работе — Яша Кавтеладзе, бравый капитан-лейтенант из упомянутого выше Военно-морского института. Встретив нас на набережной Фонтанки, он затащил всех к себе. Тем самым мы выпали из поля зрения тех, у кого из поля зрения выпадать не полагается, чем вызвали немалый переполох…

Завершив дела, мы возвратились в Москву. И тут же попали в атмосферу какого-то нервного шушуканья. Оказалось, заместителю Челомея Семену Борисовичу Пузрину, подписавшему наши командировки, объявили взыскание за потерю бдительности. У Альперовича долго допытывались, зачем мы поехали в Ленинград, была ли в этом настоятельная необходимость, почему не поехали раньше и, главное, не заметил ли он чего-то необычного в моем поведении. Обеспокоенный Семен тут же все пересказал мне.

В ближайшие месяцы я больше в командировки не ездил…

Жизнь на даче текла без происшествий, связи отца с внешним миром оказались напрочь оборванными. Периодически наезжал Владимир Григорьевич Беззубик, прописывал успокоительное, беседовал о жизни, рассказывал о последних событиях и со словами «время — лучший лекарь» уезжал, не забывая напомнить, что наведается через несколько дней.

Внезапно уединение отца нарушило переданное через Мельникова приглашение приехать в ЦК. С ним хотел говорить сам Брежнев. Отец был еще очень подавлен. Для дискуссии сил у него просто не было. При встрече Брежнев сообщил, что принято решение об установлении отцу персональной пенсии в размере

500 рублей в месяц, — до этого он получал зарплату Председателя Совета Министров. Решение определяло и место жительства. Предоставлялись квартира в Москве и дача, а также выделялась в пользование автомашина из кремлевского гаража. Резиденцию на Ленинских горах и дачу в Горках-II следовало освободить. Оговаривались и некоторые другие бытовые вопросы.

Сообщив все это, Леонид Ильич поднялся, давая понять, что аудиенция окончена. Отец кратко поблагодарил, они сухо попрощались. И с тех пор никогда не встречались.

В памяти людей одно и то же событие оставляет неодинаковые следы. Такое смешение событий, контаминация, как говорят ученые, нередко. Вот и этот последний разговор с Брежневым Аджубей в своей книге «Те десять лет» излагает несколько иначе: «В октябре он тяжело заболел гриппом… Когда Никита Сергеевич после болезни получил аудиенцию, на него уже кричали. И как ни странно, даже Косыгин. Он заявил примерно следующее: “Если бы вы появились сейчас на улице, вас бы растерзали”. Хрущев с горечью вспоминал эту фразу». Моя сестра Рада в своих выступлениях последних лет вторит Алексею.

Их подводит память, соединившая воедино встречу с Брежневым, на которой мог присутствовать или отсутствовать глава правительства Косыгин, и «крупный» разговор с Кириленко о диктовке мемуаров, происшедший четырьмя годами позднее. Тогда в запале спора отец заявил, что живет, как арестант, охрана следит за каждым его шагом. Кириленко парировал: «Вы не можете без охраны. Люди вас ненавидят. Если бы вы появились сейчас на улице, вас бы растерзали». Так что Косыгин тут ни при чем. Да и не касались они в тот первый разговор положения в стране, так что взаимным обвинениям не находилось причины. И рассказов отца о стычке с Косыгиным я не помню, а вот к спору с Кириленко он возвращался постоянно.

Другой пример: в своих рассказах о снятии отца Алексей Иванович и Рада упорно соединяют два дня в один, говорят, что после Пленума ЦК отец приехал домой с Микояном, а в резиденции на Ленинских горах его поджидала вся наша семья плюс Серго Микоян. Но Серго Микоян был с нами в первый день — день заседания Президиума ЦК (я написал об этом в предыдущей главе), тогда отец вернулся вечером один. Анастас Иванович зашел проинформировать отца о его будущей судьбе днем позже, уже после Пленума ЦК.[46]

После похода отца к Брежневу у нас наступила суета с переездом на новое место. Квартиру подобрали быстро. Теперь отцу предстояло жить в квартире номер 57 дома номер 19 по Староконюшенному переулку, близ Арбата. Когда-то в этой квартире жил Шолохов. Дом был старый, построенный в 30-х годах для работников ЦК ВКП(б) вслед за Домом на набережной. В нем не было даже мусоропровода. Квартира выглядела не очень комфортабельной, но отец, всегда нетребовательный к собственным удобствам, осмотрел ее только для проформы и дал согласие. Да и неизвестно, мог ли он выбирать. Кроме того, его вообще мало интересовало теперь, где и как он будет жить.

Немедленно начать переезд оказалось невозможно: требовался ремонт. Мы отлично понимали, что квартиру должны оснастить системой прослушивания, а на это, понятно, нужно время. Тут уж ничего не поделаешь. У КГБ сразу возникли осложнения: где ставить приемную аппаратуру, ведь слушать придется не день и не месяц, а, возможно, много лет. Здоровье у отца хорошее. Пришлось службам отобрать одну комнату у жившей двумя этажами ниже семьи Бурмистренко, бывшего секретаря ЦК Коммунистической партии Украины, погибшего при выходе из окруженного фашистами Киева в 1941 году. Там оборудовали дежурку для охранников отца и разместили приемную аппаратуру.

С дачей получилась небольшая заминка. Охрану отца поручили Девятому управлению КГБ, обеспечивающему безопасность членов Президиума ЦК. В распоряжении «девятки» находились и правительственные дачи. Отец попытался было отказаться от охраны, ссылаясь на свое положение пенсионера, но безрезультатно.

Начальник, с которым зашла речь об этом, не преминул уколоть отца:

— Что вы, Никита Сергеевич. Без охраны вам невозможно. Вы даже не представляете, сколько людей вокруг вас ненавидят. Мы отвечаем за вашу безопасность.

Хрущев махнул рукой и больше к этому вопросу не

возвращался, только иногда грустно шутил:

— Сразу и не поймешь, кого от кого охраняют. То ли меня от окружающего мира, то ли его от меня.

Так как Управление охраны занималось обеспечением членов Президиума ЦК, в его распоряжении, естественно, были лучшие дачи. На одной из них пока жил отец. Но ни одна из этих дач не подходила, по мнению руководства, для отставного Хрущева. Следовало подобрать что-нибудь попроще.

Наконец решение нашлось. Вслед за отцом в 1964 году освободили от занимаемых должностей и некоторых работников аппарата, наиболее тесно с ним общавшихся. Постигла такая судьба и управляющего делами Совета Министров СССР Степанова. Дачу, которую он освободил, и выделили отцу. Оставалось только передать ее из ведения Совета Министров СССР в КГБ и оборудовать прослушивающей аппаратурой.

В конце декабря мы поехали смотреть новую дачу. Переезд должен был состояться сразу после новогодних праздников.

Дача понравилась отцу. Одноэтажный, выкрашенный зеленой краской бревенчатый дом стоял на высоком, поросшем соснами берегу речки Истры, неподалеку от места ее впадения в Москву-реку. Вокруг дома сосны вырубили, и освободившееся место занял яблоневый сад. Между яблонями вились дорожки, обрамленные с обеих сторон цветочными грядками. Под самыми окнами росли кусты сирени и жасмина. От ворот к дому вела асфальтированная дорога. Перед крыльцом она заканчивалась прямоугольной площадкой.

Внутри дом оказался просторным и уютным. Мама распределила наше многочисленное семейство по комнатам. Большую бильярдную решили приспособить под столовую, тут может собираться вся семья — дети, внуки, племянники, места хватит на всех.

Осмотрев дом, оделись и вышли во двор. Сергей Васильевич Мельников хотел показать службы и участок. Слева от крыльца стояло несколько строений: оранжерея с высокой трубой. Скат застекленной крыши оранжереи обращен к дому, и сквозь квадратики стекла видны почерневшие стеллажи для цветов. Внутрь заходить не стали.

— За оранжереей — летняя кухня, — показал Сергей Васильевич на маленький щитовой домик, — вернее, это просто холодный дом, внутри две комнаты, одна совсем маленькая, а другая побольше. Вон там, ближе к воротам, еще домик, он теплый, туда проведено отопление.

Взглянув на меня, Сергей Васильевич, видимо, вспомнил, что мне на даче комнаты не досталось, и продолжил:

— Мы там хотели организовать дежурку для охраны, и остается еще комната. Ее можно было бы отдать Сергею.

Осмотрели и этот дом, в нем оказалось три комнаты и небольшая застекленная веранда. Однако мне так и не удалось вселиться в домик, чему причиной были особые обстоятельства, которых при первом посещении Сергей Васильевич не учел. Когда мы начали переезд и я было направился со скарбом в свой «приют», Мельников преградил мне дорогу и, краснея от смущения, стал объяснять, что этот домик, оказывается, считается служебным помещением и, по мнению руководства, я в нем поселиться не могу.

В свою очередь, не понимая, в чем дело, я начал настаивать, ссылаясь на предыдущий разговор, но в конце концов, решив не унижаться, повернул обратно.

Вскоре все разъяснилось. Впрочем, об этом следовало догадаться и раньше. Мы еще в то время не осознали до конца, что отец — лицо, находящееся под наблюдением. Естественно, мы не сомневались, что на даче установлены микрофоны, а где стоят приемные устройства и магнитофоны, никто не задумывался. Это как-то нас не интересовало. Выяснилось, что аппаратура размещена в этой дежурке, и мое постоянное присутствие, возможность заходить туда в любое время по своему желанию, без сомнения, затрудняли бы службу.

Должен сказать, что аппаратура работала весьма посредственно, а подслушивание велось халатно, особенно в последние годы жизни отца. Сменившие Мельникова охранники часто, вместо того чтобы включать магнитофоны на запись, путались в кнопках. Тогда из стены в комнате отца слышались приглушенные напевы, инструментальные пьесы, эстрадные записи — микрофоны превращались в динамики.

Пару раз я позволил себе пошутить. Услышав музыку и изобразив удивление, предлагал поискать загадочные источники звука. Через мгновение наступала тишина…

После осмотра новой дачи мы вернулись к себе на так называемую «девятую» дачу.

Я уже писал, что в нелегкий период перехода к новой жизни наиболее частым и желанным гостем отца стал его врач Владимир Григорьевич Беззубик. За последние годы они привыкли друг к другу. Доктор наблюдал отца не только в Москве, он сопровождал его в поездках по стране и за рубеж. Так они и подружились. Нужно сказать, что к многочисленным врачам, в том числе и к знаменитостям, отец относился внимательно, но с некоторой долей иронии. Ему довелось услышать много советов, и он усвоил главную истину — врач

должен успокоить больного независимо от того, знает ли он диагноз или даже не догадывается. Поэтому он и напускает на себя ученый вид и не говорит, а вещает — ведь пациент непростой.

Беззубик повел себя мудрее. Он быстро раскусил своего подопечного и взял иной тон — дружескую откровенность. Если он не понимал до конца причин заболевания, то открыто признавался в этом, сохраняя, конечно, предписанную профессией дистанцию между врачом и пациентом, обсуждал альтернативные варианты и не предписывал лечение, а советовал.

Такой стиль вызвал адекватную реакцию со стороны отца. Постепенно они стали дружными собеседниками, обсуждавшими самые разные темы, порой очень далекие от медицины. Отец любил беззлобной шуткой подковырнуть Владимира Григорьевича. Тот отвечал с юмором, но в его словах был всегда заложен глубокий смысл. Отец воспринимал эти беседы очень серьезно. Словом, одним своим присутствием Беззубик действовал на отца благотворно. Теперь же отец особенно нуждался в нем. Вместе с Владимиром Григорьевичем в дом входили уверенность и душевное тепло. В моем представлении — это забытый ныне домашний врач, друг, хранитель тайн, человек, на которого можно опереться в трудную минуту.

Нужно сказать, что, работая много лет с отцом, Беззубик всегда оставался бессребреником. Он не только не «пробился» в академию, но не «выбил» себе даже профессорского звания. Владимир Григорьевич считал неприличным делать карьеру таким путем, поэтому так и остался доцентом.

В эти трудные дни конца 1964 года Беззубик прикладывал все усилия, чтобы вывести отца из шока, снять стресс. Они подолгу беседовали, он назначал то одно, то другое снотворное, какие-то транквилизаторы. Однако лекарства не действовали. Очевидно, только время могло изменить ситуацию. Отец молча гулял, думал о своем, обходя раз за разом вдоль забора территорию дачи. Вместе с ним, иногда рядом, иногда следом, ходили и мы с Мельниковым.

Молчание угнетало. Мы пытались отвлечь отца от его мыслей, затевали разговоры о каких-то нейтральных московских новостях, но отец не реагировал. Иногда он нарушал молчание и с горечью повторял, что жизнь его кончена, что он жил, пока был нужен людям, а сейчас жизнь стала бессмысленной. Бывало, на глаза его наворачивались слезы. Мы, конечно, волновались, но Владимир Григорьевич просил нас не пугаться. «Это одно из последствий потрясения», — объяснял он. И снова продолжались бесконечные прогулки, отец по-прежнему был замкнут…

В этих переживаниях пришел новый, 1965 год.

Все уже было готово к переезду, но новогодний праздник мы провели на старом месте — в огромной мрачноватой столовой «девятой» дачи. Ее стены были в сталинском стиле до потолка обшиты дубовыми панелями. Здесь почти ничего не изменилось со времени ухода предыдущего хозяина. — Молотова, разве что из простенков, где висели портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, убрали портрет последнего. Образовалась эдакая бросающаяся в глаза проплешина. Вдоль стен стояли неудобные диваны, затянутые черной кожей, а посредине — стол человек на тридцать-сорок. В столовой находился камин из серого мрамора, который запрещалось зажигать из соображений пожарной безопасности.

31 декабря собрались все члены нашей большой семьи — это был первый за многие годы семейный Новый год.

Отец любил принимать гостей. До самой отставки по выходным в доме у нас всегда кто-то был — партийные работники разных рангов, военные, конструкторы и даже американский посол.

После смерти Сталина отец предложил открыть Кремль для народа. Одним из первых массовых мероприятий стали молодежные новогодние балы в Георгиевском зале Кремлевского дворца. А когда построили Кремлевский Дворец съездов, там, как я уже писал, стали устраивать новогодние приемы. Отца всегда тянуло к людям, жизни, движению. Одной из первых акций нового руководства после отставки Хрущева была отмена новогоднего приема. Правда, к нам это уже не имело отношения, в список гостей отец попасть не мог.

И хотя в тот год нам было не до праздника, все принарядились, стремились казаться бодрыми и веселыми. Дождались одиннадцати часов и расселись по своим местам. Все наше многочисленное семейство не заняло и половины огромного, как взлетная полоса, стола. Выпили за уходящий год, за то, чтобы новый, 1965 год был счастливее. Отец сидел спокойно, безучастно взирая на происходящее.

Телефоны на даче стояли в гостиной, соседствующей со столовой. Все они бездействовали, работал только городской. Поздравительных звонков было мало. К телефону бегал я, в большинстве случаев звонили мои друзья. Иногда отцу передавали поздравления какие-то старые знакомые из далекого прошлого — сослуживцы по Донбассу, мамины товарищи по Электроламповому заводу (она там работала в 1930-е годы). Но отца к телефону не приглашали.

Поэтому я очень удивился, когда, в очередной раз подняв

трубку, услышал чей-то знакомый голос:

— Никиту Сергеевича попрошу.

Мысли мои были настроены на «другую волну», и я не стал особенно ломать голову над тем, кто этот необычно храбрый абонент. Осведомляться же, кто звонит, я не счел возможным и, слегка растерявшись, крикнул в открытую дверь:

— Папа, тебя!

Отец поднял голову и какое-то мгновение не трогался с места. Казалось, он раздумывает, идти или не идти к телефону, и вообще, кто это мог позвонить. Но вопроса не задал, медленно поднялся и, шаркая по-стариковски ногами, пошел к телефону. (Такая у него теперь стала походка. Правда, вскоре она выправилась, и шаг отца обрел былую легкость.)

— Алло, — отец взял трубку. Мы прислушивались к тишине.

— Спасибо, Анастас! — раздался помолодевший, почти прежний голос отца. — И тебя поздравляю с Новым годом. Передай мои поздравления семье… Спасибо, бодрюсь. Мое дело теперь пенсионерское. Учусь отдыхать… — пытался пошутить он.

Вскоре разговор закончился. Как будто в одночасье помолодевший отец показался в дверях.

— Микоян звонил, всех поздравляет, — отец сел на свое место.

Постепенно глаза его снова потухли. Звонок старого друга лишь ненадолго взбодрил его. Мы все обрадовались за отца: для него этот звонок небольшая, но радость. Значит, не все вычеркнули его из своей жизни. Порадовались и за Анастаса Ивановича: чтобы позвонить отцу, требовалось определенное мужество.

Звонок этот не прошел незамеченным. На следующий день информация о разговоре была направлена Семичастным Брежневу. Тот не оставил ее без внимания — Анастасу Ивановичу продемонстрировали крайнюю степень неудовольствия.

Больше отца не поздравил никто из тех, кому было что терять…

Пробило двенадцать часов. Откупорили бутылку шампанского. В этот момент в дверь стали заходить женщины, работавшие по дому: повариха, официантка, уборщицы. Они принесли пирог, который испекли к Новому году, поставили его перед отцом. Он несколько оживился, налил всем по бокалу шампанского. Пришедшие женщины сказали, что пришли попрощаться — их переводят в другие места, но теплые чувства к отцу они сохранят и запомнят его как доброго и хорошего человека, с которым было приятно работать.

К концу этой взволновавшей всех нас речи у них на глазах

появились слезы, прослезился и отец. До сих пор наша семья хранит самые теплые чувства к этим женщинам. При жизни мамы они нередко заходили к ней и поговорить, и помочь по хозяйству. После ее смерти с оставшимися в живых мы изредка встречались на Новодевичьем кладбище, у могилы отца.

Так, прощанием, и закончился новогодний праздник. Через полчаса все разошлись…

В начале 1965 года мы окончательно переехали на новое место. Весь тот год и отец, и мы привыкали к его новому положению пенсионера. Вдобавок ко всему из-за нервного потрясения он тяжело заболел. Поначалу врачи даже подозревали рак поджелудочной железы, но диагноз не подтвердился — это было только воспаление. Беззубик назначил лечение, отец ему прилежно следовал, и все обошлось, если не считать строжайшей диеты и полного отказа от спиртного до конца дней. Но и до этого отец не злоупотреблял спиртным, хотя и не был ханжой: не прочь был по праздникам выпить рюмку-другую хорошего коньяка. Подаренная на юбилей в апреле 1964 года бутылка коньяка 70-летней выдержки, который он тогда только попробовал и по достоинству оценил, так и простояла в буфете до 1971 года и была допита на поминках…

Постепенно отец стал успокаиваться, интересоваться происходящими событиями, подыскивать себе занятие.

Обычным пенсионерским развлечением, кажется, считается рыбная ловля. Оно и понятно — максимум потери времени при минимуме затрат и хлопот. Этим делом отец никогда не увлекался. Помнится, только в Киеве пару раз мы перебирались с дачи, стоявшей на обрывистом правом берегу Днепра, на низкий левый. Компания была большая, шумная. Прихватывали с собой сеть, — тогда еще на эту снасть запрета не было. С шумом и гамом заводили ее на лодке подальше в реку, выметывали и начинали тянуть. Уловы у высокопоставленных рыбаков были невелики, но за вечер на ведро ухи набиралось. Разжигали костер, и допоздна не смолкали разговоры. Бывало, запевали украинские песни. Эти пляжи, сеть и рыба, удирающая из нее в последний момент, запомнились мне на всю жизнь.

Теперь все наперебой советовали отцу рыбачить. К советам он отнесся скептически, но решил попробовать. В кладовке отыскалась коробка с лесками и блеснами — давний подарок Вальтера Ульбрихта, я принес удилище и катушки. Несколько дней отец занимался снастями, читал специальные книжки. Наконец все было готово, и он отправился на Истру — узенькую речушку, протекавшую сразу за забором дачи. По берегам то тут, то там сидели рыболовы. Отца они не узнали, и он без помех

расположился на приглянувшемся месте.

Закинул удочку и стал ждать. Как и полагается, клевало редко и плохо. Он вытаскивал, проверял наживку, закидывал снова. Не помню, поймал он что-нибудь или вернулся без улова, но эксперимент закончился неудачно — отца раздражало это бессмысленное сидение.

— Сидишь, чувствуешь себя полным дураком! Так и слышится, как рыбы под водой над тобой потешаются. Не по мне это, — подвел он итог своим впечатлениям.

Больше на рыбалку он не ходил и только, гуляя по берегу, осведомлялся у рыбаков об успехах. Удочки так без дела и простояли до конца его жизни. Сейчас они так же мирно стоят у меня…

Особой проблемой его нового существования стал отрыв от внешнего мира. Обилие информации из многочисленных источников — государственных, партийных, хозяйственных, дипломатических, разведывательных, доверительных, нашей и зарубежной прессы — сменилось тонким и тщательно процеженным ручейком новостей газет, телевидения, радио. Раньше он называл нас бездельниками, заставая у телевизора. Теперь времена изменились, и отец посмеивался: «Мое дело пенсионерское, пусть “они” там решают, а я посмотрю, что сегодня в программе, что нам покажут». Выходя на прогулку, он не расставался с маленьким батарейным радиоприемником «Сокол». С утра по старой привычке прочитывал газеты от первой до последней страницы, часто неудовлетворенно хмыкал:

— Жвачка… Разве можно так писать? Какая это пропаганда? Кто в это поверит?

Информации отцу явно не хватало. Он разыскал подаренный ему еще в 50-е годы американским бизнесменом Эриком Джонстоном всеволновый приемник «Зенит» и стал слушать западные «голоса». Новости не радовали. Постепенно упразднялись все его нововведения. Одним из первых шагов стал возврат к централизованному управлению народным хозяйством. Председатели ликвидированных совнархозов потянулись в Москву в министерские кресла. Места всем не хватало, приходилось срочно изыскивать необходимые площади. Внимание Косыгина привлекли строящиеся жилые дома на только что пробитом проспекте Калинина. Было дано указание переоборудовать их под новые ведомства. Переделка проектов влетела в копеечку, ведь функциональное жилье и присутственное место несовместимы. Перед затратами не остановились, новорожденные министерства требовали своего, настал их час.

В Петрове-Дальнем отец жил не один. В поселке было еще несколько дач. Там жили заместители Председателя Совета Министров Михаил Авксентьевич Лесечко и Игнатий Трофимович Новиков, министр финансов Арсений Григорьевич Зверев. При встречах они всячески демонстрировали отцу свое уважение, но, видимо, не очень зная, как и о чем с ним теперь говорить, по старой привычке начинали полудокладывать, полурассказывать о своих служебных делах, словно ожидая распоряжения или совета. Отца тяготили и эти встречи, и эти разговоры. Он старался избегать контактов с бывшими подчиненными.

Дачный поселок обслуживался небольшим клубом с кинозалом, где регулярно, два раза в неделю, демонстрировались новые кинофильмы. Но туда отец практически не ходил. Дачи в поселке были отделены друг от друга глухими зелеными заборами с деревянными воротами, выходящими на общую асфальтированную дорогу. Ворота поселка охраняла дежурная из вневедомственной охраны, а у наших дачных ворот службу несли офицеры и сержанты Комитета государственной безопасности. Отсюда начинались отцовские прогулки: по лесной дорожке вниз, к опушке леса. Там, на открытом солнцу месте, отец разбил свой огород.

На здоровье отец не жаловался, но через несколько лет после переезда стал гулять с палочкой. Многочисленные палки и трости — инкрустированные и вычурные, в разное время подаренные ему, он отверг — тяжелы. Сделал себе свою, любимую, из алюминиевой трубки, изогнув ручку полукругом и обмотав ее синей изоляционной лентой. У него с собой всегда был раскладной алюминиевый стульчик с полотняным полосатым сиденьем, каких так много в спортивных магазинах, — вдруг захочется присесть или сердце зашалит, теперь это случалось все чаще. Обычно стульчик нес в зубах Арбат, немецкая овчарка, сопровождавшая отца во всех его прогулках. Если Арбат был не в настроении, приходилось нести самому. На груди у отца вечно болтался неизменный бинокль — подарок канцлера Аденауэра. К сожалению, этот бинокль, как и многие другие памятные вещи отца, пропал, и следы его затерялись, видимо, навсегда.

На опушке леса, на пригорке между соснами, стояла скамейка — любимое место отдыха отца.

С опушки открывался вид на ближние поля. Они начинались сразу за забором и тянулись до самой Москвы-реки. Засевали их то овсом, то ячменем — урожай крохотный. В пойме, где полив дешев, а необъятный московский рынок рядом, надо выращивать овощи. Будет огромный доход. Так считал отец. Бесхозяйственность его расстраивала и сердила. Сначала он

высказывал все это нам, потом не выдержал и начал следить за передвижением людей по полю. Хотелось ему высмотреть местное начальство. Наконец однажды повезло — кто-то приехал на «газике». Отец пошел на поле и попытался вразумить то ли директора совхоза, то ли бригадира — тот толком не представился. Однако из затеи ничего не вышло.

— Нам спускают план, что где сажать и сеять, и следят за его выполнением. Так что тут не до советов, знай поворачивайся, — получил он в ответ, и больше с тех пор с советами не лез, по-прежнему продолжая сетовать на вопиющую бесхозяйственность.

А если хотелось поглядеть поближе, что делается за высоким деревянным забором, то можно было подняться на невысокую «ужиную горку». Так ее назвали младшие внуки из-за обилия ужей, весной вылезавших греться на солнышке. Здесь, на «ужиной горке», отца как-то заприметили отдыхающие из соседнего дома отдыха. Дом отдыха был самый рядовой, так что беспокоиться о последствиях своих встреч с отставным Хрущевым его постояльцам не приходилось. Сначала перекликались через забор, а потом отец попросил проделать в этом месте калитку в заборе. Обычно все гурьбой располагались на опушке на лавочке, фотографировались. И сейчас иногда случайный собеседник вдруг с гордостью показывает мне фото с отцом в центре и толпой отдыхающих вокруг. Отец рассказывал им о минувших событиях: войне, Сталине, XX съезде, аресте Берии или комментировал современные международные дела. Все слушали затаив дыхание — когда еще удастся услышать лекцию по внутренней и внешней политике из уст человека, который совсем недавно эту политику делал.

Такие встречи скрашивали его одиночество. С этими людьми он мог свободно говорить, расспрашивать об их делах, о жизни, да и сам в их лице находил благодарных слушателей. Вскоре посещения Хрущева стали входить в программу культурных мероприятий дома отдыха. Нужно сказать, что злых, провокационных вопросов почти не было, а если кто и задавал неудобный вопрос, то опыт политического деятеля позволял отцу быстро найти достойный ответ. На такие вопросы он никогда не обижался. Темы отцовских рассказов повторялись, но когда я как-то спросил его, не надоело ли ему повторять одно и то же, он хитро прищурился и ответил:

— Наше дело стариковское. Ведь все это умрет со мной, а так, может, кто и запомнит. То, что я рассказываю, это та история, которую сейчас хотели бы спрятать подальше. Но правду не закопаешь, она все равно вылезет…

Продолжу рассказ о доме, о вещах и о думах, которые они

навевают.

Войдя через двойную (с тамбуром) двухстворчатую с застекленным верхом дубовую дверь, мы попадаем в прихожую. Сразу от входа направо комната, где жили моя сестра Лена с мужем Виктором Викторовичем Евреиновым, молодым химиком, работавшим в институте академика Николая Николаевича Семенова. В отличие от других моих сестер, она вышла замуж уже после отставки отца, и Витя не мог рассчитывать на помощь в карьере. Сейчас, в XXI веке, он доктор химических наук, работает в том же институте.

Комната небольшая, темноватая. У левой стены две кровати изголовьями к стене и разделенные тумбочкой, в правом дальнем углу — трельяж светлого дерева, а у самой двери, тоже справа, с другой стороны от окна, — трехстворчатый шкаф. В комнате тесновато. Рядом с комнатой Лены дверь вела в небольшой коридорчик, из него, свернув налево, можно было попасть в кладовку, заставленную стеллажами, на которых лежали всякие припасы и не очень нужные вещи.

Налево от входа шел коридор. В его конце за двухстворчатой стеклянной дверью была расположена небольшая и очень светлая проходная комната. Из-за выходивших сюда трех дверей жить в ней было затруднительно. На диване, стоявшем в углу, ночевали нечастые гости. Над диваном висела в золоченой раме большая картина Глущенко «Днепр весной», написанная в розово-голубых тонах. Ее подарила отцу дочь Юлия на семидесятилетие.

После 1971 года мама отдала ее обратно Юле, а теперь, когда их обеих нет в живых, картина затерялась где-то в Киеве.

У большого, во всю стену трехстворчатого окна стоял огромный дубовый стол, заваленный письмами, фотографиями и другими бумагами. Это было мамино царство.

Отцу писали много: и соотечественники, и из-за рубежа. Письмами сам он практически не занимался — их разбирала мама, и она же читала отцу те, которые, по ее мнению, представляли интерес.

После прогулок и встреч отец, не торопясь, возвращался домой, в свою комнату, где он провел последние семь лет жизни. Она была невелика — около пятнадцати квадратных метров; две стены почти полностью занимали окна, выходившие на веранду и в сад.

Слева в углу, сразу за дверью, стоял большой «присутственный» сейф, покрашенный под дуб в лучшем канцелярском стиле, то есть аляповато разрисованный коричневыми разводами. Его попросил установить отец, думаю, сам не зная зачем, скорее, по многолетней привычке: сейф

должен быть, там хранятся секретные документы и оружие. Сейчас он был пуст, даже партбилет хранился в столе, поскольку открывание дверцы сейфа требовало недюжинных усилий.

На сейфе стояла деревянная картинка. На желтом фоне инкрустация черным деревом, изображавшая девушку, сидящую под деревом с протянутой рукой, а за ее спиной юноша с луком и колчаном со стрелами — подарок Джавахарлала Неру. Рядом на стене висела акварель в зеленых тонах — вид на речку и рисунок художника Бори Жутовского — черный мишка с красной божьей коровкой. Он подарил его отцу на 75-летие. Борис Жутовский подвергся критике со стороны отца в Манеже,[47] но не затаил зла — понимал, что дело тогда было не в Хрущеве. После отцовской отставки он стал одним из немногих, кто регулярно, хотя и не часто, навещал отца.

У единственной глухой стены стояла изголовьем к стене кровать. В стене монтировались подслушивающие устройства, о которых я упоминал ранее. Мы их, естественно, не видели, но точно знали, где они расположены. С одной стороны кровати — тумбочка с ночником, с другой — овальный столик индийской работы с инкрустацией слоновой костью в виде павлина. Тоже подарок Неру. На столе стоял магнитофон, сначала киевского завода, а затем, когда он сломался, это место занял его прообраз — западногерманский «UHER». На пленке записана программа утренней гимнастики. Впоследствии магнитофон весьма успешно использовался для диктовки мемуаров.

Рядом на столе — английский проигрыватель в деревянном африканском ящике — подарок Кваме Нкрума, президента Ганы. Когда-то отец был с ним в теплых отношениях. Рядом лежали пластинки с записями песен Руслановой, Зыкиной, Штоколова и других. Было много пластинок с украинскими народными и современными песнями. Отец любил их слушать и обязательно зазывал гостей в свою комнату «угоститься» музыкой. Причем, не зная меры, предлагал слушать еще и еще.

Джаз и современная музыка ему просто-напросто не нравились. Не нравился ему и Муслим Магомаев, кумир того времени. Он считал его стиль исполнения излишне манерным.

В углу, у двери на террасу, стояла древняя радиола Минского радиозавода. Хрипя, она с трудом «ловила» только Москву. В углу, в простенке между окнами, — трельяж светлого дерева, на нем электробритва фирмы «Браун», которой отец брился последние годы, одеколон, лекарства — все, что так необходимо в повседневной жизни.

У окна, выходящего в сад, стоит красно-желтое кресло — подарок президента Урхо Кекконена. Спинка кресла при нажиме

откидывается, подножник приподнимается, и можно занять полулежачее положение. В этом кресле так удобно читать или дремать с сибирской кошкой на коленях. Рядом с креслом — столик на гнутых металлических ножках. И столик, и широкий длинный подоконник за спиной завалены книгами. В отставке отец много читает, наверстывает упущенное в период, когда он находился в гуще событий и было не до литературы.

Книги со стола и подоконника, лежавшие там в день последнего отъезда в больницу, я собрал, и они стоят у меня дома на отдельной полке. Книги очень разные: это и «Записки Степняка» Эртеля, и «В камышах Балхаша» Шахова, и «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэя, книга о поведении пчел и других насекомых «Пароль скрещенных антенн» Халифмана, «Промышленная гидропоника» Бентли, «Совершенно секретно. Только для командования. Стратегия фашистской Германии в войне против СССР. Документы и материалы». Об этой книге отец неоднократно вспоминает в своих мемуарах, рассказывая о начальном периоде войны. И дальше — «Военная стратегия» под редакцией маршала Соколовского, два тома избранных произведений украинского прозаика Остапа Вишни, «Судебные ораторы Франции XIX века», «Народное хозяйство СССР в цифрах и фактах», рекламный проспект самолетов ОКБ А. Н. Туполева и другие издания.

Я в то время дружил с сыном академика Туполева Алексеем, мы жили в одном доме.

Отец всегда очень интересовался авиацией, раньше часто посещал ОКБ, где его знакомили с последними разработками. И как-то в конце 1960-х он сказал мне:

— Интересно, что сейчас нового у Туполева? Раньше я все знал, а теперь отстал. Попроси Алешу дать мне посмотреть какой-нибудь альбом по новым машинам.

Не знаю, на что он рассчитывал, но просьба его Алексея очень обеспокоила. Отказать моему отцу он не мог в силу старых дружеских отношений с его собственным отцом, а выполнить просьбу побаивался.

Нашелся выход из положения — через пару дней он передал мне красочный буклет «Авиаэкспорта» с фотографиями пассажирских самолетов ОКБ Туполева, которые отец, конечно, прекрасно знал. Когда я показал ему брошюру, он полистал ее, лицо его погрустнело и он только сказал:

— Передай Алеше спасибо.

Брошюру он положил на подоконник и так и не прикасался к ней до самой смерти.

Вообще круг чтения отца был в то время довольно широк.

Больше всего он любил классику, а особенно «Войну и мир». Ее он перечитывал несколько раз, каждый раз находя там для себя что-то новое. Кстати, это одна из немногих книг, которую он любил почитать перед сном, когда еще был у власти. Очень нравились ему Лесков, Куприн. Прочитал он и «Сагу о Форсайтах» Голсуорси.

Конечно, за эти годы он прочитал и многое другое: мы старались привозить ему новинки на свой вкус, но наши склонности часто не совпадали. Иногда он сам заказывал ту или иную книгу, как правило, тоже из классики. Привозил я ему и запретные книги. Как-то достал «Доктора Живаго» Пастернака. Отец читал его долго — шрифт был очень мелкий, «слепой», бумага тонкая, почти папиросная. Не могу сказать, что книга ему не понравилась, но и обсуждать ее, цитировать отдельные места, как это бывало с Лесковым и Куприным, он не стал. И только как-то на прогулке сказал:

— Зря мы ее запретили. Надо было тогда мне самому ее прочитать. Ничего антисоветского в ней нет.

Нынешнее признание отца в своей неправоте запоздало на много лет. Однако в тот тяжелый период, пусть и в самый последний момент, именно он остановил травлю поэта. Получив письмо от Бориса Леонидовича, он сказал примерно следующее:

— Довольно. Он сам признал свои ошибки. Прекратите.

А ведь все шло к тому, что комсомольские ретивые активисты и иже с ними выслали бы из страны Пастернака.

Вообще взаимоотношения отца с деятелями искусства были далеко не так однозначно негативны, как это пытаются представить сегодня многие комментаторы. В этом контексте хочу рассказать еще об одном эпизоде.

Шел Московский международный кинофестиваль 1963 года.

Традиции отдавать главные призы только нашим фильмам тогда уже отошли в прошлое. Жюри присудило первое место ленте «Восемь с половиной» знаменитого итальянского кинорежиссера Федерико Феллини. Решение, для киношников естественное и справедливое, у идеологов вызвало бурную реакцию. Аргументация сводилась к ставшей уже привычной формуле: фильм далек от реалистических традиций, заражает буржуазной идеологией здоровое социалистическое общество. Решение предлагалось традиционное: главного приза не давать, фильм к широкому показу не допускать. Легко представить масштаб скандала: что там Манеж…

Суслов уехал в отпуск, и Ильичев оставался ответственным на идеологическом «хозяйстве». Оказавшись между молотом международного жюри и сусловской наковальней, Леонид

Федорович бросился к Хрущеву. Отец собрал на заседание Президиума ЦК оставшихся в Москве «заинтересованных» лиц: Брежнева, Кириченко, Полякова, Рудакова, Пономарева, Ильичева и Андропова из ЦК, плюс председателя Кинокомитета Алексея Владимировича Романова. Ни Брежнева, ни Кириченко, а уж тем более «селькохозяйственника» Полякова с «промышленником» Рудаковым Феллини и не интересовал, и о его фильме они не слышали. Тем не менее собравшиеся дружно обругали Романова. Кто-то, в записках Малина не обозначено кто, назвал его «обывателем», прозвучало предложение «дезавуировать приз», но потом, поразмыслив, решили не рубить с плеча, поручили с Феллини, его фильмом и присужденной ему премией «разобраться» и высказать свое отношение Секретариату ЦК, то есть Хрущеву.[48]

Фильм тем же вечером прислали к нам на дачу. Обычно о показе фильмов на даче широко оповещалась вся семья — на этот раз отец не позвал никого.

Я заехал на дачу случайно. В доме пусто. На вопрос, где отец, мне ответили, что он смотрит фильм, присланный из ЦК, а не из кинопроката, как обычно. Я заглянул в зал. Бросил взгляд на экран и ужаснулся: «Восемь с половиной» я уже успел посмотреть во время конкурсного показа.

Нужно сказать, что я, как и сусловцы, полагал, что реакция отца будет крайне негативной. В произведения такого рода «рядовому» зрителю достаточно сложно разобраться, залы в кинотеатрах при их демонстрации пустуют. Не скрою, и мне фильм казался вычурным и скучным.

Я проскользнул в зал, тихо сел на диван рядом с отцом, выждал несколько минут и стал нашептывать: какой Феллини гениальный режиссер, какой фурор произвел его фильм в мире, что он символизирует… тут я запнулся. По правде говоря, я понятия не имел, что он символизирует.

— Иди отсюда и не мешай. Я не для своего удовольствия здесь сижу, — прошипел он.

Расстроенный, я ушел.

Вскоре сеанс закончился. Отец вышел в парк, и мы отправились на прогулку.

— Как тебе показался фильм? Это знаменитый режиссер… — начал я.

— Я тебе сказал, не приставай, — оборвал меня, теперь уже беззлобно, отец. — Фильму дали главный приз на фестивале. Суслов с Ильичевым против и просили меня посмотреть.

— И что? — заикнулся я.

— Я мало что понял, но международное жюри присудило

приз. Я здесь при чем? Они лучше понимают, для этого они там и сидят. Обязательно надо мне подсовывать… Я уже позвонил Ильичеву, сказал, чтобы они не вмешивались.

Я вздохнул с облегчением. Разговор перешел на другую тему и больше к Феллини не возвращался.

Скандала не получилось, ведь в случае вмешательства «сверху» в решение жюри, его иностранные члены грозили покинуть Москву. Теперь все вздохнули с облегчением, в том числе и Ильичев. Сам он против Феллини ничего не имел, а теперь еще, с помощью отца, утер нос Суслову.

Роль и место Ильичева в развитии нашей идеологии в те времена далеко не однозначны и даже загадочны. Ведь в отличие от многих он разбирался в искусстве. В конце 1980-х годов по телевизору даже показывали, как академик Ильичев дарил Советскому фонду культуры свою коллекцию живописи. И она состояла далеко не из одних социалистических реалистов…

Заговорив о кино, я вспомнил, насколько резко отрицательно отец отзывался о фильме «Кубанские казаки». Он его просто ненавидел за лакировку, за столы, ломящиеся от яств…

…Но вернусь к кругу чтения отца.

Что еще читал он?

Прочитал он Солженицына — «В круге первом» и «Раковый корпус», а также «1984» Оруэлла. Эти книги ему не понравились.

Как это ни удивительно, но отец не любил читать мемуары. Я неоднократно пытался его приохотить к этому виду литературы, привозил книги Черчилля, де Голля, дневники Валуева, записки Витте, но отец только листал их и отнекивался, откладывая на потом это чтиво, столь почитаемое пенсионерами.

На воспоминания военных, публиковавшиеся в те годы, он реагировал резко отрицательно. Это же относилось и к фильмам о войне. Ему тяжело было вспоминать об ужасах тех лет, прочитанные страницы восстанавливали перед его мысленным взором картины разгрома, которому подверглась страна.

Посмотрев фильм о войне, отец потом не мог заснуть всю ночь. Главное же, он считал, что и мемуары, и художественная литература о войне (ее он тоже не жаловал) не отражают правды, искажают истину то ли в угоду автору, то ли в угоду времени.

Однако как человек, прошедший отступление и наступление, Киев и Барвенково, Сталинград и Курскую дугу, он не мог не вспоминать о войне. Она жила в его душе до самой смерти. Поэтому он так глубоко переживал доходившие вести об измене боевых товарищей.

Началось все с генерала Павла Ивановича Батова, полвойны

провоевавшего бок о бок с отцом. Кто-то рассказал отцу, что Батову на одном из собраний, посвященных годовщине то ли Победы, то ли Советской Армии, задали вопрос о роли Хрущева в войне и конкретно: был ли Хрущев в Сталинграде?

Генерал замешкался на секунду и нетвердо проговорил, что он не знает, был ли Хрущев в Сталинграде, и вообще не знает, что он делал во время войны!..

Впрочем, подобная «забывчивость» была закономерна — ведь теперь фамилия Хрущева вычеркивалась отовсюду. Иван Христофорович Баграмян с трудом отстоял возможность просто упомянуть Хрущева как члена военных советов фронтов, где им пришлось вместе воевать.

Во многих «свидетельствах» того времени немало выдумки или полуправды об отце. Тут отличились многие. И даже Георгий Константинович Жуков. В своем многостраничном труде он дважды упомянул Хрущева: мол, первый раз он заехал к отцу, поскольку у него можно хорошо поесть. А ведь они вместе в первые часы войны на машине добирались из Киева в штаб фронта в Тернополь, а затем не раз сталкивались во время отступления, прошли Сталинград (правда туда Жуков приезжал всего пару раз, в то время он командовал операцией в районе Ржева) и Курскую дугу и расстались только после форсирования Днепра, откуда Георгий Константинович пошел на Берлин, а Хрущев остался в Киеве, ему предстояло восстанавливать разоренную немцами Украину. Жуков так и не выполнил обещания отцу — привезти после окончания войны в Киев плененного Гитлера в железной клетке.

Другое упоминание об отце у Жукова — ранение бандеровцами генерала Ватутина, который якобы закрыл собой Хрущева. Жуков, сменивший Ватутина на посту командующего 1-м Украинским фронтом через день после ранения, не мог не знать, что отца там вообще не было. Сколько усилий тогда приложил отец, чтобы отстоять здоровье своего друга! У Ватутина началось заражение крови, гангрена, и помочь могли только антибиотики, а тут, как назло, Сталин запретил лечить Ватутина американским пенициллином — мало ли что империалисты могли туда намешать. Потом было уже поздно…

Отец предложил похоронить Николая Федоровича не на кладбище, а в парке, в самом центре Киева. «Пусть киевляне никогда не забывают, кто привел к ним освободительную армию», — доказывал тогда отец.

Правда, до конца своих дней отец считал, что Жуков писал свои мемуары не сам. Точнее, его рукопись после написания подверглась «глубокому» редактированию.

Не так давно один мой знакомый рассказывал о встрече с человеком, причастным к созданию воспоминаний маршала Жукова. Я намеренно не называю фамилий. Они беседовали об истории, историках, мемуаристах. В порыве откровенности этот человек посетовал, насколько тяжело было работать с Жуковым. Маршал, как он выразился, «ничего не хотел понимать, ни с чем не хотел соглашаться». Так что отец в своей оценке был недалек от истины.

Больше других на мемуарном поприще отличился генерал Штеменко, для отца он изыскивал наиуничижительные слова. Правда, и отец не жаловал Штеменко, называл его не иначе как сталинским подхалимом и бериевским осведомителем.

— Он только карты умел Сталину носить, — частенько повторял он.

Все эти умолчания, мелкие уколы попадали в цель. Отец переживал, но старался не подавать вида. Помню, только однажды он не выдержал, когда в 1970 году у одного из охранников увидел на груди незнакомый значок. Тот пояснил, что это памятный знак в честь 25-летия Победы, и его выдавали всем, кто в войну служил в армии.

Отец ничего не сказал, но то, что его забыли, глубоко засело в душе. Он несколько раз возвращался к этой теме. Наши уговоры не обращать внимания не имели результата…

…Вернусь к описанию комнаты отца. У двери стоял трехстворчатый гардероб, фанерованный под красное дерево. Там хранились личные вещи отца. На шкафу лежал красивый деревянный ящик с тремя пистолетами: парабеллум, вальтер и еще какой-то. Это подарки органов КГБ к семидесятилетию. Патронов к ним у нас не было. После отставки Мельникова сменивший его начальник охраны Кондрашов как-то предложил отцу сдать оружие, но тот так посмотрел на него, что вопрос этот больше не поднимался. На стене в комнате висела маленькая картинка Налбандяна, изображавшая Ленина в ссылке. Пол был застелен красивым белым ковром, поверх которого отец попросил положить полотняную дорожку.

Напротив отцовской комнаты располагалась мамина. Раньше там была небольшая терраса, через которую можно было, минуя дом, спуститься из бильярдной в сад. Предыдущие владельцы закрыли ее, утеплили, и получилась небольшая светлая комната в два окна.

Чтобы пройти в большую комнату, бывшую бильярдную, а теперь столовую, надо было из коридора свернуть направо. Там мы попадали в широкий темный предбанник длиной метра три-четыре. Здесь стоял длинный шкаф-стойка для ружей с

раздвигающимися фанерованными под дуб дверцами.

У отца в активный период его жизни никогда не было какого-то увлечения, кроме работы. Исключение составляла охота. На охоте он отдыхал. Ездил охотиться регулярно, и в Киеве, и в Москве. Не охотился только в начале пятидесятых годов. Сталин не любил, чтобы его соратники собирались вместе. Тогда охота могла дорого стоить всем участникам.

Отец обожал перебирать свои ружья. Их у него было десятка два — подарки генералов, возвращавшихся после войны домой через Киев, презенты зарубежных гостей.

На охоте или когда приезжали знающие толк в оружии люди, отец любил похвастаться своими ружьями. Тут же выкладывались и ружья гостей. Все они придирчиво осматривались, каждый присутствующий прикладывался, примеривался. После осмотра ружьями, бывало, менялись. Отец не жадничал и, если видел, что ружье гостю понравилось, сам предлагал обмен, обычно в пользу гостя.

Потом он посмеивался:

— Ты видел, как он рад, что ему удалось меня надуть?

После отставки отец на охоту уже не ходил. Изредка он вынимал ружья, разглядывал, любовно гладил стволы. Почистив и обильно смазав, ставил обратно. В 1968 году отец решил раздарить свою коллекцию.

— Пусть достанется хорошим людям. И память у них обо мне сохранится. А то их после моей смерти разворуют, — сказал он как-то — и как в воду смотрел.

Подарил он ружье мне, подарил внукам, врачу, своим охранникам. После смерти отца осталось в основном нарезное оружие — красиво оформленные винтовки и карабины разных калибров и из разных стран. Расставаясь с нами, начальник охраны предупредил меня:

— Ты на винтовки получи разрешение или сдай. А то могут быть неприятности. Прекрасный повод, если кому-нибудь надо будет к тебе придраться. Безо всяких можно получить пять лет.

Когда мы пришли в себя после похорон, я скрупулезно переписал номера всех винтовок и написал заявление министру внутренних дел Щелокову с просьбой разрешить мне хранить это оружие дома как память об отце. Узнав номер телефона, я дозвонился до приемной и изложил свое дело. Николай Анисимович сам поднял трубку:

— Приходи завтра к пяти часам, — сказал он.

В пять я был на улице Огарева, 6. Прошел через «генеральский» подъезд. Меня уже ждали и проводили без пропуска.

Щелоков принял меня очень тепло и любезно. Расспрашивал об отце, произнес в его адрес какие-то теплые слова, интересовался здоровьем мамы. Затем перешли к делу. Он прочитал мое письмо и сказал, что подумает:

— Позвони через неделю. Не беспокойся, все решим по-хорошему.

Через неделю в ответ на мой звонок секретарь передал, что Николай Анисимович ждет меня. В назначенный день и час я явился и был вскоре принят. Министр был любезен, как и в прошлый раз, но в просьбе моей отказал:

— У тебя почти два десятка винтовок. Да ими взвод вооружить можно. Ты пойми правильно, мы их оставить тебе не можем. Они должны храниться в более надежном месте.

Я возразил, что место надежное, в моем доме живут члены Политбюро. Их тщательно охраняют.

— А кроме того, их можно привести в негодность: просверлить стволы — это уже не оружие, — закончил я.

Щелоков не согласился.

— Мы их сдадим в музей, а тебе сделаем альбом с фотографиями. Будут в полной сохранности, — заключил он и вызвал сотрудников.

Мне было обидно до слез, но делать было нечего.

В кабинет зашли генерал и полковник — видимо, Щелоков дал им такую команду заранее.

— Сейчас поедете с Сергеем к нему на квартиру. Заберете винтовки. Они пойдут в музей, — распорядился Щелоков и добавил: — Только сделайте все аккуратно.

Через пять минут мы были на месте. Забравшись на антресоли, я стал спускать им ружья в кожаных футлярах, оптические прицелы.

— Ну вот и все, — я передал последнюю десятизарядную американскую мелкокалиберку.

— Так, — задумчиво проговорил генерал и, на что-то, видимо, решившись, добавил: — Вынимайте ружья из чехлов. Чехлы оставьте себе, оптические прицелы тоже.

— Но как же?… — удивился я, поскольку речь шла о музее.

— Обойдутся, — отрезал генерал. — Это хранить не запрещается. А они денег стоят.

Вид у него был мрачный, происходившее ему явно было не по душе.

— Мы сейчас перенесем все в нашу машину, а вы скажите дежурной, что мы с вами едем на охоту, — подвел итог генерал, выполняя указание министра.

Расписку мне обещали дать на следующий день. Ни ее, ни

обещанный Щелоковым альбом с фотографиями я так и не получил. Звонить ему я больше не стал. Уже потом до меня дошло, что ему просто захотелось заполучить ружья отца себе, а может быть, и подарить их Брежневу, который ими в свое время не раз любовался…

…Напротив шкафа с ружьями в нише стоял огромный, добротный дубовый шкаф. В нем хранилась военная форма отца — и старая, фронтовая, и новый мундир, который он сшил в 1958 году к сорокалетию Советской Армии. Тогда в мундире генерал-лейтенанта он покрасовался на торжественном заседании и сфотографировался со мной на память.

— Видно, последний раз, — как-то грустно сказал он, уходя переодеваться. Это было действительно в последний раз.

Вспоминается, как в тот период маршал Андрей Антонович Гречко вдруг придумал присвоить отцу звание Маршала Советского Союза.

— Вы — Председатель Совета Обороны, наш начальник, — хитро повел разговор Андрей Антонович, — а у нас, военных, свои порядки. Как-то нехорошо подчиняться младшему по званию. Вот если у вас будет маршальское звание, тогда другое дело.

Отцу предложение не понравилось, и он ответил довольно грубо:

— Сейчас мирное время, и войны не предвидится. Так что я с вами и в генеральском звании справлюсь. А, не дай бог, начнется война, тогда и будем присваивать кому что надо. И не лезьте ко мне с ерундой.

Гречко заулыбался, глядя на него сверху вниз с высоты своего почти двухметрового роста, и превратил все в шутку. Они с отцом были старыми приятелями и по войне, и по Киеву, где Андрей Антонович командовал военным округом.

…Здесь же, в предбаннике, стоял круглый столик и на нем 16-миллиметровый звуковой проектор. Когда выяснилось окончательно, что отец в клуб ходить не будет, я разыскал долго стоявший без пользы югославский кинопроектор, немецкий экран и оборудовал в большой комнате импровизированный кинозал. Фильмы брал в прокатной конторе, оказалось все достаточно просто. Иногда иностранными киноновинками меня снабжали друзья. Нравились отцу фильмы Уолта Диснея о природе, особенно о птицах. Очень сильное впечатление на него произвела историческая лента «Шестое июля» по сценарию Михаила Шатрова. Незадолго до этого внучка Юлия привозила Шатрова к нам на дачу. Отец долго гулял с ним, хвастался посадками на огороде. Отец приободрился, было видно, что гость ему нравится

и он старается сделать ему приятное. Михаил Филиппович подарил отцу экземпляр журнала «Театр» со своей пьесой, с приличествующим случаю посвящением и пригласил его в «Современник» на спектакль «Большевики».

В те времена отец в театр ходил редко — он стал плохо слышать и не всегда разбирал реплики актеров. Его это раздражало. Доставлял неудобство и интерес к нему со стороны публики — он себя чувствовал каким-то диковинным экспонатом. Словом, культурных мероприятий в его жизни на пенсии было маловато. Изредка отец выбирался на художественные выставки в Манеж, однажды съездил в Бородино.

На сей раз он с удовольствием принял приглашение. Спектакль ему понравился. Антракт и некоторое время после спектакля мы провели в кабинете директора. Отец благодарил актеров, развлекал их своими воспоминаниями.

Тогда-то, после этого похода в театр, он попросил меня достать фильм «Шестое июля». Фильм ему понравился, он сказал, что тут история изображена правдиво. Потом он еще несколько раз перечитывал пьесу в подаренном Шатровым журнале.

Нужно сказать, что посетителей у отца бывало немного. Пару раз приезжал Роман Кармен с женой Майей и дочерью Аленой. Они долго сидели на опушке. Отец ему много рассказывал. Тогда отец сказал, что жалеет о своих словах в Манеже, резкостях, допущенных на совещаниях, признался, что пошел на поводу у наших идеологов Суслова и Ильичева.

В 1970 году внучка Юля привезла к отцу Владимира Семеновича Высоцкого. Они провели вместе почти целый день. О чем шел разговор, я не знаю, в тот день Высоцкий не пел отцу и гитары у него с собой не было. Да и кажется мне, что исполнительский стиль Высоцкого вряд ли пришелся бы по душе отцу.

Не мог состояться у них и разговор о «бульдозерной» выставке, которую молва приписала Хрущеву.[49] Отец полагался на силу убеждения и голосовые связки. Призывать на помощь технику для доказательства преимуществ реалистических направлений в живописи ему не могло прийти в голову. Эта техника использовалась для борьбы с неугодными направлениями в искусстве Брежневым в 1974 году, уже в послехрущевские времена.

Кто еще вспоминается из гостей отца?

Несколько раз заезжали Стелла и Петр Якиры. В довоенные годы отец был близок с их отцом, тяжело переживал арест и гибель Ионы Якира. Он очень обрадовался появлению у него детей старого друга, переживал за преследующие их несчастья,

сочувствовал, но ничем помочь не мог.

Подолгу в Петрове-Дальнем гостила Вера Александровна Гостинская, старая польская коммунистка. Отец, общаясь с ней, рассказывал о пережитом — таким образом совмещал беседу с работой, записывая на магнитофон свои воспоминания. Она же со своей стороны подбадривала его вопросами. Да и вообще, их многое связывало. В конце двадцатых годов Хрущевы и Гостинские жили в одной коммунальной квартире на Ольгинской улице в Киеве. Потом судьба разметала их. Вскоре Вера Александровна получила свой сталинский срок и пошла мыкаться по лагерям. В 1950-е годы заключенных освободили, без документов погрузили в железнодорожный состав и отправили на родину. На границе поезд задержали — ни у кого не было паспортов, ни советских, ни польских, не говоря уже о визах. Только справки об освобождении. Так они простояли голодными несколько дней. Лишь обращение в ЦК КПСС разрешило проблему, и им, бывшим активистам Польской Компартии, удалось вернуться на родину.

Иногда гостила у отца и Кристина Берут, дочь покойного Первого секретаря ПОРП. Как-то заехал мой старинный приятель, чешский журналист Иржи Плахетка. Мы с ним подружились, когда он работал корреспондентом чехословацкого телевидения в Москве. Потом вернулся в Прагу заведующим крупнейшим издательством «Свет Советов», занимавшимся переводом и публикацией советских произведений. В 1968 году он стал неугоден новым властям и остался без работы.

Появились и новые друзья. Среди них был профессор Михаил Александрович Жуковский, известный детский эндокринолог. Поначалу он лечил внука Ваню, жившего с дедом. Со своей неуемной энергией Михаил Александрович засыпал Никиту Сергеевича вопросами, внимательно выслушивал ответы, что-то записывал. Не раз и отец ездил к нему в гости. Жуковский бережно хранил сувениры, подаренные ему отцом.

Наиболее частыми посетителями были наши друзья, в основном мои и моих сестер. Они гуляли с отцом, подолгу сидели с ним у костра, слушали его рассказы. Эти посетители, не имевшие касательства к политическим сферам, не вызывали беспокойства властей.

С иными же не церемонились. Так, перекрыли дорогу пилоту отца генералу Цыбину, не рекомендовали поддерживать связь с отцом и бывшему начальнику его охраны Литовченко. Забыли дорогу к отцу и те, кому на самом деле ничего не могло грозить. Очень многие не рискнули посетить своего опального друга, с которым проработали не один десяток лет. Как-то приехал в

Москву на съезд горняков старейший, еще по Донбассу, товарищ отца Евграф Иванович Черепов. Они учились вместе на рабфаке в Юзовке, вместе работали в Исполбюро рабфака. Позвонил по телефону в Петрово-Дальнее, поговорил, но приехать отказался, ссылаясь на недостаток времени — надо навестить дочь и скорее домой, дела не ждут…

Часто мне задают вопрос: приезжал ли к отцу Микоян?

Невозможно забыть о позиции, занятой Анастасом Ивановичем на заседании Президиума ЦК в октябре 1964 года. Там ему пришлось проявить немалое мужество. Тогда в ответ на предложение Микояна оставить за отцом один из занимаемых им постов кто-то из присутствующих (по словам Серго Микояна, Шелепин), не считаясь хотя бы с возрастом Анастаса Ивановича, грубо отрезал: «Ни за что! Вы бы поменьше говорили, а то неровен час, и за вас возьмемся».

Угроза не возымела действия, и Микоян с достоинством сказал что-то вроде того: «Мы здесь не пирог делим, а решаем судьбу нашего государства, великого государства. Деятельность Хрущева — это большой политический капитал партии. Прошу мне не угрожать». Но тем не менее, к сожалению, он к отцу не заезжал. Изредка они перезванивались. Потом и звонки прекратились.

Конечно, Микоян, сам находясь в опале, может быть, менее жесткой, чем отец, не хотел рисковать. Это нормально. Каждый человек склонен заботиться о себе и своей семье. Анастас Иванович не посчитал разумным подвергаться риску, да и неизвестно какому, ради выпитой со старым другом чашки чая.

Как рассказывал мне Серго Микоян, Анастасу Ивановичу донесли, что якобы шофер отца заявил шоферу Микояна, что каждый раз, садясь в машину, Хрущев начинает на чем свет стоит ругать Микояна. Сама ситуация была физически нереальна, поскольку водители встречаться не могли: отца возила машина из кремлевского гаража, а Микояна — из гаража Президиума Верховного Совета. Кроме того, на моей памяти отец никогда слова дурного в адрес Анастаса Ивановича не произнес. И тем не менее слушок этот сыграл свою роль: Микоян обиделся на отца и перестал ему звонить. Сам же отец никому не звонил, не желая ставить и собеседника, и себя в неудобное положение — вдруг его звонок нежелателен. Возможно, были и еще какие-то слухи или сплетни, дошедшие до Микояна. Так или иначе, но после отставки Микоян с отцом не встречались.

Тех, кто так и не навестил отца в Петрове-Дальнем, можно понять. Ведь в то время вообще старались забыть, что Хрущев существовал.

Все это отец переживал молча.

После отставки, естественно, перестали общаться с ним и зарубежные друзья. Так что легко представить горячую радость отца, когда ему как-то привезли ящик яблок «джонатан» с теплой запиской от Яноша Кадара и его жены Марии. Отец любил эти яблоки. Кадары об этом знали и раньше неизменно присылали ему осенью посылку. И вот Кадар, испытавший на себе сталин скую тюрьму, решил пренебречь негласным запретом новых руководителей.

Не смог встретиться с отцом и посол Югославии Велько Мичунович. Мичунович работал послом в Москве во времена отца, они регулярно встречались. Отцу в то время очень хотелось наладить добрые отношения с Иосипом Броз Тито. Постепенно встречи с послом переросли в дружбу. И вот теперь, приехав в Москву вторично, Мичунович стал выяснять в МИДе, как ему повидать Никиту Сергеевича? Ответ он получил однозначный: после встречи с отцом послу придется покинуть Советский Союз, он станет персоной нон грата.

Помню еще одного зарубежного гостя, чей визит к отцу не состоялся.

Перед началом своей избирательной кампании, приведшей его в президентское кресло, Ричард Никсон посетил СССР. Во время пребывания в Москве он приехал в Староконюшенный переулок на квартиру отца, но его не застал. С очередной почтой привезли на дачу визитную карточку Никсона и записку, в которой он выражал сожаление о несостоявшейся встрече и просил о возможности увидеться до отъезда в США. В тот момент Никсон уже покинул Москву (доставлять адресату подобные приглашения не «до», а «после», когда встреча становится невозможной, — еще одна уловка КГБ), и вопрос о встрече сам по себе отпал. Но все-таки было видно, что отцу был приятен этот знак внимания со стороны американского государственного деятеля, хотя он и был о Никсоне весьма невысокого мнения.

Насколько мне известно, неблагоприятное впечатление о Никсоне сложилось со времен их первой встречи. Отцу запал в голову некорректный вопрос о типе топлива, используемого в советских ракетах, заданный Никсоном во время их беседы на американской выставке в августе 1959 года.

Отец возмущался:

— Ну о чем с ним говорить? Тогда он выступал не как государственный деятель, а как мелкий шпион. Он, вице-президент США, выспрашивал меня, Председателя Совета Министров СССР, какие виды топлива мы применяем в своих межконтинентальных ракетах! Понятно, я ему это не скажу, не на

его же уровне выведывать, на твердом топливе мы летаем, на жидком или на каком-то еще. Для этого существуют специальные службы. Нужно же думать, какие ты задаешь вопросы.

В то же время отец считал Никсона хитрым политиком. Тем не менее, несостоявшийся визит Никсона доставил отцу удовлетворение. Но, как уже сказано, гости были редкостью, и потому единственным окном в мир стал для него телевизор, как это и водится у пенсионеров.

На дачу перевезли радиотелекомбайн, подарок Президента Египта Насера. Телевизор в нем был черно-белый, но с очень четким изображением. Перед экраном стояло удобное кресло со скамеечкой для ног. Кроме телевизора, в комбайн были вмонтированы приемник и магнитофон. Именно на него отец начал диктовать свои мемуары. Обожая всякие усовершенствования, он сконструировал из деревяшек педаль, с помощью которой простым нажимом ноги останавливал пленку, когда хотел собраться с мыслями. На комбайне громоздился один из наших первых цветных телевизоров «Рубин». Зная, как отец любит всякие технические новинки, я как-то задумал порадовать его цветным телевизором. Забегая вперед, могу сказать, что идея оправдала себя — до конца дней это была одна из его любимых игрушек.

Нас ежегодно одолевали заботы, что подарить отцу на 17 апреля? Ведь у него практически все необходимое было, а безделушек, украшений, побрякушек отец не любил. Вот я и решил приурочить ко дню рождения покупку телевизора. Отец пожурил меня за напрасную трату денег, но по глазам было видно, что он остался доволен. Первые дни он с почти детской радостью и восхищением рассматривал многоцветную розу, которую тогда давали на экран в виде заставки, звал всех полюбоваться оттенками цветов.

Рядом с телевизором на ширму, прикрывавшую служивший мне постелью диван, отец повесил большую политическую карту мира — по ней он уточнял места событий, услышанных в последних известиях. Особенно его интересовали преобразования в Африке, рождение новых независимых государств. Этот процесс начался еще при нем. Он переживал проблемы освобождавшейся Африки как собственные. С президентом Ганы Кваме Нкрума и президентом Алжира Бен Беллой у него в свое время сложились теплые дружеские отношения.

Остро переживал отец гибель премьер-министра Республики Конго Патриса Лумумбы. Степень его чувств в какой-то мере характеризует такой факт. Во время событий в Конго отец, будучи в отпуске, заехал в Киев. Собралось местное руководство, и, когда

беседа перешла с обсуждения хозяйственных вопросов на посторонние темы, одна из секретарей ЦК, Ольга Ильинична Иващенко, пошутила, повторив распространенную тогда присказку:

Был бы ум бы
у Лумумбы,
стал бы Чомбе[50]
ни при чем бы.

Отец любил шутки и сам умел пошутить, а тут нахмурился, лицо стало злым. Он стал говорить о положении в Конго, о том, что Лумумба умный руководитель, но время его еще не пришло, экономически и политически Конго не созрела. Так что шутка не удалась…

…Прошла зима. Время слегка сгладило переживания отца. Постепенно в жизни установился определенный распорядок, возникли новые привычки и увлечения.

Вставал отец в семь часов утра, делал зарядку под магнитофонную запись, завтракал. В последние годы пару утренних часов отдавал диктовке мемуаров, затем следовали прогулка с Арбатом, чтение газет, журналов, книг. После обеда опять диктовка. Вечером — телевизор, ужин, чтение и сон.

Нужно сказать, что после отставки он с трудом осваивался с самыми обыденными правилами и привычками, оставшись, по сути, человеком 20-х годов, — до ухода на пенсию он жил в другом измерении.

В первые дни он вдруг забеспокоился: как ему ездить в город на еженедельные заседания партийной ячейки. Я не понял. Переспросил.

— А разве сейчас ячейки не заседают каждую неделю? Как же решаются текущие вопросы? — удивлялся отец.

Он числился в партийной организации аппарата ЦК, и за все эти годы ни на одно собрание его ни разу не пригласили.

Удивляли его самые обыденные, по нашим меркам, факты. Причем иногда трудно было предугадать, что может задеть отца. Особенно болезненно переживал он факты взяточничества, бюрократизма, лени. Один из охранников в разговоре упомянул, как, нарушив правила движения, ему пришлось откупиться, дав милиционеру трешку. На отца это произвело неизгладимое впечатление. Много раз он возвращался к этому происшествию, рассказывал о нем посетителям и горько заключал:

— Разве можно себе представить! Люди, поставленные охранять закон, берут взятки! Как же мы будем строить

коммунизм?…

Когда охранник увез с соседней стройки какие-то материалы к себе на дачу, отец долго не мог успокоиться:

— Как это мог сделать он, офицер КГБ?… Куда мы придем? Хорошо, что он ничего не знал о деяниях своих бывших соратников…

И все-таки отец понемногу приходил в себя. Его потянуло к какому-нибудь занятию. Он вспомнил о гидропонике. Еще до отставки ему рассказали о возможности выращивания растений без почвы, на питательных растворах. Он загорелся — тут ему виделось одно из решений проблемы снабжения больших городов овощами, в первую очередь Москвы. Добавил энтузиазма и Фидель Кастро, рассказавший о больших гидропонных хозяйствах, которые достались Кубе в наследство от американцев.

— Это у вас просто золотой клад, — позавидовал тогда отец.

В результате он потребовал разработать программу строительства в Подмосковье сети гидропонных тепличных овощных хозяйств. В качестве эксперимента небольшую теплицу на даче премьера тоже переоборудовали под гидропонику. Отец с гордостью демонстрировал гостям огурцы, выросшие на лотках, заполненных камнями.

Весной 1965 года он вернулся к когда-то заинтересовавшей его идее.

Моя сестра Лена, всю жизнь увлекавшаяся цветами и умевшая выращивать даже орхидеи, купила отцу уже упоминавшуюся книгу М. Бентли «Промышленная гидропоника». Отец ее досконально изучил. (Сейчас она стоит у меня на полке со страницами, испещренными множеством подчеркиваний, галочек и других значков.) Освоив теорию, отец принялся за сооружение лотков, составление смесей. Полиэтиленовая пленка еще только входила в обиход — перед самой отставкой отец со свойственной ему энергией пробивал пуск первых заводов. Поэтому теплицу делать было не из чего и открытые лотки стояли на террасе. Камнями и раствором отец заполнил и цементные вазы, стоявшие у дома. Все мы принимали в этом деле посильное участие. Посадили огурцы и помидоры. Особого результата не добились. Техника гидропоники — это уже промышленность с точными дозировками, автоматикой. В домашних условиях заниматься ею трудно. Просуществовало у отца гидропонное хозяйство недолго — года два и постепенно сошло на нет. На смену пришли обычные грядки.

Весной того же 1965 года отец решил попрактиковаться в фотосъемке. Когда-то в молодости он занимался фотографией, и до войны у него была «лейка». Сохранилось лишь несколько

фотографий того времени, поскольку все наше имущество осталось в 1941 году в Киеве и, конечно, пропало.

В 1947 году на киевском заводе «Арсенал» вместо производства оружия на вывезенном из Германии оборудовании фирмы «Контакс» освоили выпуск фотоаппаратов. Назвали их «Киев». Один из первых новых аппаратов подарили отцу. Тогда он только что с трудом оправился от тяжелейшего воспаления легких и его отправили отдыхать — впервые за истекшее десятилетие. Там он снова приобщился к фотоискусству. Однако отпуск кончился, и аппарат остался без дела. Оказавшись в отставке, отец вспомнил о своем давнем увлечении. Я накупил фотопринадлежностей. Отец вооружился новоприобретенным «Зенитом» и занялся поиском фотосюжетов. Первую пленку он проявлял в ванной сам. Получилось неплохо. Однако возня с химикалиями не пришлась ему по душе, и он охотно откликнулся на мое предложение отдавать пленки на обработку в мастерскую.

Вскоре на смену фотографиям пришли слайды, и тут отец по-настоящему увлекся фотографированием природы. То он обнаруживал чудесную цветущую ветвь, то гроздь яркой рябины, то заснеженную изящную сосну; долго выбирал нужную точку, радовался своим удачам.

В этом деле отцу помогал еще один новый знакомый, директор кинофотомагазина на Новом Арбате, профессиональный фотограф-художник и ярый «хрущевец» Петр Михайлович Кримерман. Он стал частым гостем на даче, они вместе разбирались с техникой, Петр Михайлович объяснял, как манипулировать со светом, и вел бесконечные разговоры на все мыслимые и немыслимые темы.

Свои достижения отец неизменно демонстрировал детям, внукам, гостям. В большой комнате занавешивались окна. Отец доставал немецкий полуавтоматический диапроектор. Долго колдовал над ним. Подбирал слайды. Наконец начинался показ, и, нужно сказать, слайды были качественные. Он научился выбирать композицию.

И все-таки фотодело по-настоящему не захватило отца. Скорее, это было простое времяпрепровождение.

В те дни он часто с грустью повторял: «Сейчас у меня одна задача: как-то убить время».

А когда прошло несколько лет, и отец неоднократно перефотографировал все вокруг, это занятие ему окончательно надоело. Он забросил фотоаппарат и доставал его только в особых случаях: когда приезжали гости. Тут он фотографировал сам и фотографировался с посетителями.

Самое большое удовольствие отцу доставляли костры. В

любую погоду, даже если шел дождь, спрятавшись под бежево-зеленоватой накидкой,[51] в которой он напоминал французского полицейского, отец собирал по лесу хворост, зажигал костер и часами смотрел на огонь. Костер напоминал ему далекое детство: ночное, коней, печеную картошку, родную Калиновку. По выходным рядом сидели все мы, но чаще всего его единственным спутником был преданный Арбат.

Другое воспоминание молодости у отца связывалось с южной степью. Он жил в Донбассе, в Гражданскую войну воевал на Дону, в Астрахани, в Причерноморье. Его влекли степные звуки и запахи, особенно запах чабреца. Он часто рассказывал о нем, а когда я собрался на машине в отпуск на юг, с заездом в южноукраинский заповедник Аскания-Нова, попросил привезти букетик этой диковиной травы. Я пообещал выполнить поручение отца, но, на свою беду, очень приблизительно представлял, как этот чабрец выглядит. Отец объяснил, что это низкорослое и пахучее растение. Непаханую целину Аскания-Новы устилал ковер из низкорослых пахучих трав. Вот только какая из них чабрец? Я выбрал лучшую на мой вкус. Со всеми предосторожностями доставил отцу. Он понюхал, поблагодарил и повесил пучок в углу спальни на зеркало. Там он и провисел до его самой смерти, потом еще долго хранился у меня дома, пока окончательно не истлел и не рассыпался в прах. Еще через годы жена принесла домой пучок какой-то травы. Свое детство она провела в приазовских степях, тоже полюбила чабрец и теперь отыскала его в Америке. Травка пахла очень приятно, но не имела ничего общего с той, которую я привез отцу. Вместо чабреца я нарвал низкорослой полыни, но отец и вида не подал, не хотел меня расстраивать.

С приходом весны 1966 года отец нашел себе постоянное занятие в огороде. Появилась полиэтиленовая пленка, и он принялся за теплицы. Собрал валявшиеся на территории дачи водопроводные трубы, согнул их, покрасил, вбил в землю. Каркас теплицы был готов. Работал он самозабвенно, не умея ничего делать вполсилы. К огороду привлекались все: дети, внуки, гости, молодые парни из охраны. Комендант Мельников тоже активно включился в эту деятельность — гнул трубы, копал землю. По-другому вел себя его заместитель Лодыгин — тот в работах сам не участвовал и в свое дежурство запрещал подчиненным помогать отцу.

Теплицы установили у дома. В них вызревали отличные помидоры и огурцы. Растил их отец по науке: завел себе сельскохозяйственную библиотечку, следил за новостями в этой области. Постепенно огород расширялся, у дома уже места не

хватало. Новые грядки отец разбивал внизу под горкой, на опушке окружавшего дачу леса, как он говорил, на лугу. Там без пленки росли укроп, редис, картошка, тыква, подсолнухи и, конечно, кукуруза. Рядом с огородом на деревьях располагалась колония грачей, и они с интересом следили за посадками. Как только всходила кукуруза и подсолнухи, грачи рано утром слетали с деревьев, выдергивали ростки, склевывали зерна, а стебельки оставляли лежать ровными рядками на грядках. Войну с ними отец вел с переменным успехом. Предложение перестрелять грачей из ружья отец отверг сразу. Ему было жалко птиц. Поэтому он пытался защититься пассивными способами: сооружал над проклюнувшимися ростками заграждения из колючих веток, ставил пугало. На пугало грачи внимания не обращали, а между ветками пробирались с ловкостью кошки.

Тем не менее врагами они с отцом не стали. Он любил живность. Как-то подобрал выпавшего из гнезда грачонка, выкормил его. Птенец еще не научился каркать по-взрослому, и когда видел пищу, широко раскрывал клюв и поквакивал. За это его назвали Кавой. Постепенно он стал совсем ручным. Всюду летал за отцом, ел из его рук. Теперь они гуляли втроем: отец, Арбат и Кава. В доме еще жили сибирская кошка, канарейка, которыми поначалу занимались внуки, а потом подбросили деду. В саду стояли ульи с пчелами — хозяйство Лены.

Дел становилось все больше и больше. Не хватало дня, да и не все отец мог сделать сам. Силы уже были не те. За неделю накапливались дела, их отец заготавливал к ожидаемому приезду детей. В субботу каждому гостю выдавалось задание, урок, как он говорил. Не всем это нравилось. Внук Юра, полковник, летчик-испытатель, с удовольствием помогал в слесарных делах, а от сельхозработ был отстранен навсегда после того, как выполол на грядке все огурцы, оставив сорняки.

Алексей Иванович Аджубей стал прихварывать. У него развился радикулит, и он, к сожалению, не мог выполнять физическую работу. Стало неважно и со слухом: то он не услышит, как отец его зовет, то сам, задав вопрос, уйдет, не дослушав до конца ответ. Постепенно бывать у нас Аджубеи стали реже — завели собственную дачу.

Лена и ее муж Витя, отлынивая от отцовских уроков, прикрывались пчелами. Их улей стоял возле дома, и пчелы требовали ухода. Понятно, что и я всячески увиливал, поскольку занятия огородом восторга у меня не вызвали.

Отец видел наши уловки, посмеивался и не обижался: хочешь не хочешь, работали мы дружно. Наш «бригадир», гордясь своим слесарным образованием, командовал:

— Я вам покажу, как это надо делать. Инженерами называетесь, а трубы ни согнуть, ни свинтить не можете.

Он приобрел себе набор слесарных инструментов, разжился паклей, льном, краской и работал как заправский слесарь. Конечно, и тут не щадил себя. Целыми днями таскал и свинчивал трубы, решив провести к огороду вниз, на луг водопровод. Помогать ему новое начальство, сменившее Мельникова, охранникам в то время уже окончательно запретило, и молодые парни со своего поста наблюдали, как отец волочит очередную трубу.

…Сразу после смерти отца дачу в Петрове-Дальнем снесли. Сейчас там, говорят, построили пансионат…

Глава четвертая
Мемуары

Воспоминания отца в 1970-е годы были изданы на шестнадцати языках и читаются в мире уже около тридцати лет. До 1999 года не существовало ни советского, ни российского полного издания. И это при том, что у нас в бывшем архиве ЦК, ныне архиве Президента РФ, лежал полный текст — на магнитофонных бобинах, около 300 часов надиктованных материалов. Более того, к 1990 году магнитофонные записи были расшифрованы, отредактированы и полностью подготовлены к печати. В 1990–1995 годах они даже были опубликованы в журнале «Вопросы истории». Но журнал все-таки журнал. Всего в него не втиснешь, да и журнальный век несравним с книжным. Но книга все не появлялась. Казалось бы, стоило только протянуть руку. Но всё руки не доходили.

Характернейший пример нашего отношения к собственной истории — бездумного и наплевательского.

История создания этих воспоминаний, политиканская возня вокруг них властей предержащих полны самых неожиданных поворотов едва ли не с первого дня работы отца над ними и вплоть до последних дней горбачевской перестройки. А затем… Затем практически полное забвение. Россия снова — уже в который раз — пытается начать писать свою историю с чистого листа.

Первые разговоры о мемуарах начались еще в 1966 году, когда отец стал поправляться после болезни. Тогда никто, в том числе и он, не представлял себе ни их содержания, ни объема, ни той роли, которую им суждено будет сыграть в нашей жизни. В тот момент нам хотелось переключить внимание отца на какое-то дело. Никому и в голову не могло прийти, какую бурю вызовет его решение начать работать над воспоминаниями. Впрочем, отец был не первым, чье обращение к истории вызвало беспокойство.

В начале XX века Сергей Витте, царский министр и реформатор, отставленный от власти за Манифест от 17 октября 1905 года, даровавший России Государственную Думу, решил засесть за мемуары. Что тут началось! Тайная полиция получила от царского двора приказ рукопись выкрасть или уничтожить. За Витте неотступно следили, в его отсутствие залезали в дом. Не получилось, воспоминания в конце концов увидели свет, но не в России, а в Германии.

Меньше повезло Льву Троцкому, пламенному революционеру,

организатору Красной Армии, победителю в Гражданской войне 1918–1921 годов. Проиграв после смерти Ленина в 1924 году схватку за власть Сталину, он оказался в эмиграции, где взялся за мемуары. Сталин дал приказ Троцкого уничтожить, рукопись изъять. В результате Льва Давидовича зарубили в его доме в Мексике ледорубом, но рукопись сохранилась, пусть и в неоконченном виде. Вскоре ее издали — за границей, конечно.

Уже в последнее время «ревнители» от госбезопасности докладывали отцу, что маршал Жуков начал писать воспоминания. Они предлагали выкрасть их, помешать дальнейшей работе.

Отец отреагировал иначе, чем его предшественники:

— Ну и что? Сейчас ему делать нечего. Ничего не предпринимайте, пусть делает то, что считает нужным. Все это очень важно для истории нашего государства. Жукова освободили за его проступки, но это никак не связано ни с его предыдущей деятельностью, ни с сегодняшней работой над мемуарами.

Предлагая отцу заняться воспоминаниями, мы резонно рассчитывали на такую же позицию «наверху». Но не тут-то было…

На наши уговоры отец поначалу не реагировал, иногда отшучивался, но чаще отмалчивался. Не было даже его обычного «не приставайте!». Шло время, жизнь входила в новую колею. Как-то муж Юли,[52] журналист Лева Петров, снова завел разговор о мемуарах. Для затравки мы решили соблазнить отца положительным примером — приохотить его к чтению мемуарной литературы. К тому времени я активно включился в эту деятельность. Разыскал и привез мемуары Черчилля и де Голля. Увы, никакого эффекта.

Дни шли за днями. Почти все, с кем теперь встречался отец, знакомые и незнакомые, в разговоре обычно задавали вопрос, пишет ли он свои воспоминания. Услышав отрицательный ответ, начинали сокрушаться, в один голос убеждая отца, что это преступление, ведь его память держит уникальные факты, которые должны стать достоянием истории.

В конце концов дело сдвинулось с мертвой точки: в августе 1966 года Лева привез магнитофон, и отец начал диктовать. Стояла теплая погода. Они вдвоем садились в саду и приступали к разговору.

Сначала отец не хотел диктовать в доме из-за прослушивающей аппаратуры. Поэтому на первых пленках его слова часто заглушаются ревом пролетающих самолетов. Впоследствии он плюнул на прослушивание и продолжал диктовать в помещении.

Плана мемуаров не было, грандиозность этой работы мы не могли даже вообразить. Да и, по сути дела, это была еще не работа, а лишь прикидка, просто запись рассказов отца, которыми он так щедро делился с посетителями. Но так продолжалось недолго. Работа из любительской быстро стала превращаться в профессиональную.

Первая запись посвящена Карибскому кризису октября 1962 года. Тогда это была совсем недавняя история. Всех волновало драматическое развитие событий, едва не приведших к столкновению двух держав. Да и сегодня они не потеряли своей актуальности. Лева настойчиво просил рассказать именно об этом историческом эпизоде. Он забрал пленку домой, расшифровал ее и через неделю привез отредактированную запись. Лева не обработал запись, а, слушая магнитофон, по сути дела, переписал все заново. То есть это был уже как бы не Хрущев, а Петров по мотивам Хрущева. Пропали оттенки, в корне изменился стиль, а изложение некоторых фактов оказалось искаженным до неузнаваемости.

Нужно сказать, что работать с изначальным текстом отца сложно. Диктовка — не разговор и не выступление, где Хрущев интересно, образно излагает свои мысли. Это результат многочасового сидения один на один с магнитофоном. А вращение катушки к тому же торопит, задает свой темп. Поневоле начинаешь сбиваться, нервничать. Появляется много «сорных» слов, то пропадает сказуемое, то теряется подлежащее, то слова встают не в должном порядке. При редактировании надо все собрать, не исказив текста, сохранив смысл и нюансы. Работа требует огромного терпения и времени. Куда легче и быстрее все переписать своими словами. Так Петров и поступил.

Прочитав расшифрованный текст, отец категорически забраковал редакцию Левы. Дело застопорилось почти на год…

Для того чтобы всерьез взяться за воспоминания, отцу потребовался солидный толчок извне. Надежды отца на то, что его преемники продолжат реформирование страны, не сбылись. Бывшие соратники, еще вчера так единодушно поддерживавшие все его инициативы, теперь сдавали назад, становилось все очевиднее, что им по душе старые, дохрущевские порядки. Но открыто развернуться вспять они не решались, чего-то боялись, действовали исподтишка. Максимум, на что они осмелились — это обвинить отца в волюнтаризме и субъективизме. Как будто человек, принимающий самые простые решения, я уже не говорю о решениях, от которых зависит судьба страны, может не быть волюнтаристом. В этом случае он превратится в соглашателя, постоянно мечущегося в поиске консенсуса, не только

упускающего нити управления страной, но и перестающего понимать, куда он ведет и куда заведет доверившихся ему людей. Ну а субъективизм? Человек не машина. Особенно человек, отстаивающий свою позицию. Он обязан иметь собственное мнение, а оно всегда субъективно.

Но это к слову. Дальше расплывчатых обвинений критика отца не пошла. А вот все его новации, эксперименты, особенно в области структуры управления страной, столь ненавистные чиновникам, немедленно свернули. Все возвращалось на старые рельсы: восстановили единые областные комитеты партии, вернулись к министерствам, захлебнулась экономическая реформа. Заговорили о реабилитации, восстановлении «доброго имени» Сталина. Тщеславному Брежневу очень хотелось ощутить себя сидящим в кресле «гениального вождя всех времен и народов», а не просто числиться новым хозяином кабинета, занимаемого ранее неугомонным «кукурузником»[53] Хрущевым. Но для этого следовало «отмыть» Сталина. Операцию намеревались приурочить к 50-летию Советской власти, к осени 1967 года.

Отец болезненно переживал происходившее в стране, но молчал даже с нами, с близкими, а во время воскресных прогулок говорил только о прошлом. Если же кто-либо из незадачливых гостей пытался навести его на обсуждение современности, отец решительно обрывал: «Я теперь пенсионер, мое дело — вчерашнее, а о сегодняшнем следует говорить с теми, кто решает, а не болтает». После такого отпора любопытствующий гость сникал, и разговор вновь скатывался к войне, Сталинграду, Курской битве, смерти Сталина…

К Сталину отец возвращался постоянно, он, казалось, был отравлен Сталиным, старался вытравить его из себя и не мог. Пытался осознать, понять, что же произошло тогда со страной, с ее лидерами, с ним самим? Как удалось тирану не только подчинить себе страну, но заставить ее жителей обожествить себя? Искал и не находил ответа.

Известие о грядущей реабилитации Сталина просто потрясло отца. Такое не могло ему привидеться даже в кошмарном сне. Как можно оправдать содеянное: концлагеря, казни, издевательства над людьми? Отец решил, что молчать он не имеет права, он должен рассказать о тех временах, предупредить… Даже если шанс, что его предупреждение дойдет до людей, ничтожен. Теперь он начал диктовать свои воспоминания всерьез. Воспоминания, которые стали стержнем оставшихся лет его жизни. Воспоминания, которые постепенно от разоблачения Сталина и сталинизма шаг за шагом перерастали в размышления

о судьбах страны, о реформах, о будущем.

Однако реабилитация Сталина натолкнулась на серьезные преграды. Как объяснить людям, миру столь резкую смену курса? «Секретный» доклад отца на XX съезде партии, доклад, никогда не публиковавшийся в СССР, если не читали, то знали его содержание все. Отмахнуться от преданных гласности чудовищных преступлений, проигнорировать их не представлялось возможным. Требовалось найти выход, и он нашелся.

Профессионалы из КГБ предложили свести дело к личной обиде отца на Сталина, к мести «титану» дорвавшегося до власти эгоистичного «пигмея».

Еще в начале 1965 года КГБ получило от Секретаря ЦК Шелепина задание заняться формированием «соответствующего» образа Хрущева. Операция, естественно, проводилась с одобрения Брежнева. Разработкой Хрущева занялось имевшееся в КГБ подразделение дезинформации.

Собственно, все или почти все, что в конце XX — начале XXI века россияне знали о Хрущеве, — творение их рук.

Разработанные отделом дезинформации легенды выстраивались по правилам психологической войны, реальные факты препарировались до неузнаваемости, но так, чтобы не вызвать отторжения у среднего человека. Дезинформация только тогда становится «информацией», когда у получателя не возникает сомнений в ее «истинности», он не догадывается, что им манипулируют.

Первой жертвой развязанной Шелепиным — Семичастным кампании стал погибший на фронте мой брат Леонид, летчик, старший лейтенант.

«Лейтенант Л. Н. Хрущев с 1.7 по 28.7.41 г. имеет 27 боевых вылетов. Летал в звене командира эскадрильи. Метким бомбометанием его самолет разбомбил танки и артиллерию противника в районе Великих Лук. 26.7.1941 г… бомбил две переправы противника в районе Десны. На обратном пути самолет Хрущева… был обстрелян и имел 20 пробоин. Тов. Хрущев спас самолет и вернулся на свой аэродром.

Решительный, смелый, бесстрашный летчик… Командование части ходатайствует о представлении его к правительственной награде — ордену Боевого Красного Знамени», — написал в представлении его командир майор Ткачев.

Самолет Леонида дотянул до линии фронта и сел с убранными шасси на запасном аэродроме. По другой, на мой сегодняшний взгляд менее достоверной информации, — на нейтральной полосе. Одного из членов экипажа убили еще в

воздухе, а Леонид при посадке самолета сломал ногу и серьезно повредил позвоночник.

В полевом госпитале у Леонида хотели ампутировать ногу, но он, согласно легенде, угрожая пистолетом, не позволил. Нога очень плохо заживала. Леонид более года лечился в Куйбышеве. Там я его видел последний раз, бледного, улыбающегося, с новеньким орденом на груди.

Когда нога срослась, Леонид стал рваться обратно на фронт, теперь уже в истребители. Использовав все доступные ему средства, брат добился перевода.

В начале 1943 года, пройдя пятичасовую практику полетов на истребителе ЯК-7Б, Леонид снова оказался на передовой. Он совершил шесть боевых вылетов, а во время седьмого, 11 марта 1943 года, Леонида, теперь уже старшего лейтенанта, сбили над оккупированной врагом территорией. Его следов не обнаружили ни наши, ни немцы.

В июле 1943 года Леонида наградили орденом Отечественной Войны 1-й степени. Награждая орденом, да еще столь значимым, Сталин как бы публично удостоверял его гибель. Пропавших без вести орденами не награждали, их ожидала совершенно иная участь.

После победы о Леониде вспоминали только в семье, да и то не часто, родители, чтобы не бередить свои раны, а мы, дети, его почти не помнили.

В 1965 году, просеивая сквозь сито всю прошлую жизнь отца, отбирая из нее эпизоды, пригодные для дальнейшей разработки, профессионалы-дезинформаторы наткнулись на историю пропавшего во время войны без вести старшего лейтенанта Хрущева. Она им подходила идеально: о судьбе пилота не известно ничего, а значит, можно, не боясь разоблачений, напридумать все что угодно. И они напридумали. По Москве расползлись слухи, что в Министерстве обороны обнаружены документы (их, естественно, никто не видел), из которых следует, что Леонид не погиб, а сдался немцам, начал с ними сотрудничать, предал Родину. То ли в конце войны, то ли после ее окончания диверсанты генерала Судоплатова выкрали его, доставили в Москву, он попал в руки советской контрразведки, сознался в совершенных преступлениях, и суд приговорил Леонида к смерти. Хрущев якобы на коленях молил Сталина пощадить сына, но Сталин отказал ему, произнеся следующую сентенцию: «И мой сын попал в плен, и хотя он вел себя как герой, я отказался обменять его на фельдмаршала Паулюса. А твой…» На самом деле Гитлер предлагал обменять старшего лейтенанта Якова Джугашвили не на фельдмаршала Паулюса, а

на попавшего в советский плен в Сталинграде своего племянника, лейтенанта Лео Раубля. Сталин от родственного обмена отказался.

Эффектная фраза об отказе обменять лейтенанта на фельдмаршала пошла гулять по свету тоже во второй половине 1960-х годов, и родилась она в недрах того же подразделения дезинформации КГБ СССР.

В конце 1990-х годов американцы занялись поиском своих сограждан, военнослужащих, как пропавших без вести во время Корейской и Вьетнамской войн, так и пилотов разведывательных самолетов, сбитых над советской территорией. Ельцин распахнул перед ними все двери. На собеседования к ним вызывали таких людей, к которым в другое время не достучаться и не дозвониться. Среди заинтересовавших гостей десятков военных и гражданских лиц оказался и Владимир Семичастный, в 1962–1967 годах председатель КГБ.

Входивший в свиту американцев российский историк Александр Николаевич Колесник воспользовался случаем и разговорил Семичастного. О беседах с Семичастным Колесник рассказал на Кругом столе в Государственной думе:

«Я задал вопрос Семичастному: скажите, пожалуйста, почему вопрос сына привязали к Хрущеву? Он улыбнулся и ответил: Знаете, это такая тонкая операция. Так можно уничтожить человека через его отношение к собственному сыну. Если сын предатель, то о чем еще говорить? Кто такой его отец? Какой он глава государства? Какой глава партии?… Он сам предатель!»[54]

Кагэбэшные «творцы истории» задание выполнили, объяснили разоблачения преступлений Сталина личной и мелкой местью.

Поначалу инициатива КГБ пришлась Брежневу по душе, ему самому хотелось подреставрировать образ недавнего «вождя всего прогрессивного человечества». Теперь, когда он сам сидел в его кресле, в его кабинете в Кремле, приятнее чувствовать себя преемником «титана», а не тирана.

«— Однако как следует развернуться нам не позволили. — Я продолжаю цитировать Семичастного в пересказе Колесника. — Через год-два, во время очередного доклада Брежневу о ходе операции, тот неожиданно приказал свернуть работу по дискредитации Хрущева.

— А почему? — не утерпел Колесник. — Ведь Леонид Ильич откровенно ненавидел Хрущева.

— Не знаю, — протянул Семичастный, — наверное, пожалел старика. Мы бы его в такой грязи вываляли!»

Я думаю, что Брежнев в тот момент не отца жалел, а

заботился о себе. Дай волю этим «бандитам», они не сегодня-завтра и за него самого примутся. «Через год-два» — получается 1967 год, именно тогда Леонид Ильич выставил Семичастного из КГБ, а затем и Шелепина отстранил от реальной власти.

Операцию свернули, но клевета продолжала свое победное шествие.

Профессионалы-дезинформаторы предусмотрели все, даже то, что кто-то когда-то доберется до недоступных пока архивов и попробует свести концы с концами. Не сведет, потому что, в соответствии с разработанной дезинформаторами версией, архивы по приказу Хрущева якобы уничтожили, «почистили» дела, касающиеся не только Леонида, но и степени участия отца в сталинских репрессиях и всего прочего.

Опровергнуть клевету становится попросту невозможно. Нет подтверждения в архивах? Но архивы «уничтожены». Нет актов изъятия документов из архивных папок. И тут наготове ответ: «уничтожители» действовали настолько искусно, что не оставили и малейших следов.

«Уничтожение архивов» — наиболее эффективная составляющая операции Шелепина — Семичастного по дискредитации отца.

«Уничтожение» архивов, «дело» Леонида дезинформаторы из КГБ положили в основу кампании по дискредитации отца, но они не брезговали и «мелочами». К примеру, в 1965 году «Волгу» из Кремлевского гаража (на ней теперь по решению Президиума ЦК ездил отставной Хрущев) вдруг сменил громоздкий семиместный черный ЗИМ с «частными» номерами. Я уже писал об этом выше. Единственный экземпляр ЗИМа с трудом разыскали где-то в Грузии и, «специально для обслуживания Хрущева», пригнали в Москву. В глазах москвичей он должен был символизировать «неправедно нажитые» отцом богатства. Шофера ворчали, ЗИМ, произведенный еще в 1940-е годы, постоянно ломался, а запасных частей не найдешь, машину давно сняли с производства. Затея с ЗИМом последствий не имела, на «частные» номера никто, кроме меня, внимания не обратил.

Подробная история провокации, направленной на компрометацию доброго имени моего отца и брата, в том числе и так называемой «чистки» секретных архивов КГБ, изложена в «Реформаторе» — первой книге «Трилогии об отце».

В 1967 году реабилитация Сталина провалилась, воспротивились наши западные друзья-коммунисты, они взмолились: такого их партии не вынесут. Брежнев нехотя пошел на попятную. Прошло еще три десятилетия, и Сталин начал возрождаться вновь. Восстановлением его «доброго имени»

занимаются те же профессионалы, которые приложили столько усилий к предыдущему этапу «разоблачения» Хрущева, и сидят они в тех же кабинетах.

Однако я отвлекся, мой экскурс в историю слишком затянулся.

Когда через год отец начал вновь диктовать мемуары, ему стала помогать мама. Она умела печатать на машинке, одновременно редактируя текст. Дело пошло лучше, качество повысилось, но скорость продвижения работы отца не устраивала: до конца жизни в таком темпе обработать надиктованный текст не представлялось возможным.

Тогда-то к работе над мемуарами подключился и я. Первоначально предложил отцу обратиться в ЦК и попросить выделить в помощь машинистку и секретаря.

— Ведь это не частное дело. В мемуарах должен быть заинтересован ЦК. Это история, — убеждал я его.

Обращаться туда он отказался:

— Не хочу их ни о чем просить. Если сами предложат — не откажусь. Но они не предложат — мои воспоминания им не нужны. Только помешать могут.

Решили, что работать будем самостоятельно и помощи просить не станем.

Забегая вперед, скажу, что вскоре вся работа по расшифровке и редактированию свалилась на меня. При жизни отца я успел обработать 1400 машинописных страниц. Постепенно выработался определенный темп. За день, не разгибаясь, удавалось осилить не более десяти страниц. И хотя я очень старался, результаты, по мнению отца, были не слишком впечатляющи.

С первых шагов возникли проблемы, и главная среди них — где найти доверенную и опытную машинистку. Ведь нужна была уверенность, что материалы не пропадут и не попадут в чужие руки. Задача оказалась не из легких. Своими сомнениями я поделился с друзьями — Семеном Альперовичем (о нем я уже упоминал) и Володей Модестовым (он руководил «траекторщиками», подразделением, рассчитывавшим, куда и как полетит ракета). Обсудив ситуацию, мы нашли такого человека — Леонору Никифоровну Финогенову. Она тогда работала на предприятии в выпускном цехе, часто выезжала с нами в командировки на полигоны. Отличный специалист и честнейший человек. Я обратился к ней с этим предложением, и Лора согласилась. Осталось решить технические вопросы. Машинку я купил в магазине на Пушкинской улице. Четырехдорожечный магнитофон «Грюндиг» у меня был. Мы только приспособили к

нему наушники. Работать решили у меня на квартире, поскольку я считал невозможным выпускать пленки из своих рук.

Помню, осенним вечером 1967 года Лора пришла ко мне домой на улицу Станиславского. Долго приспосабливали магнитофон и машинку, чтобы было удобно включать-выключать звук и синхронно печатать. Опыта такой работы ни у нее, ни у меня не было. Подгонка заняла немало времени. Наконец все устроилось — и работа началась.

Несмотря на свою высокую квалификацию, Лора явно отставала от текста. К тому же некоторые слова звучали неотчетливо. То и дело приходилось останавливаться, возвращаться назад. Через час стало ясно, что так дело не пойдет. В подобном режиме можно напечатать несколько десятков, на худой конец — сотню страниц. У нас же впереди многие сотни и даже тысячи. Мы приуныли.

Время незаметно подкатилось к ночи. Для первого раза мы решили остановиться. Пошли пить чай. Разговор все время вертелся вокруг волновавшей нас темы. Выхода не было — работу приходилось переносить на дом к Лоре, там у нее будет больше времени.

В начальный момент работы над мемуарами «кому следовало» пока еще не интересовались нашими персонами, и перебазирование оргтехники в Реутов не привлекло постороннего внимания.

С того дня дело пошло быстрее. Отец диктовал по нескольку часов в день. Лора печатала быстро и все-таки не успевала за ним. Я совсем задыхался. Редактировал, правил каждую свободную минуту дома и на работе, в будни и в выходные, с утра до позднего вечера. Но как бы то ни было, я не поспевал за ними и все же торопил Лору. Боялся, что не успеем. Что-то подсказывало: не может все идти так гладко.

Отец диктовал по памяти, не пользуясь никакими источниками. И даже не потому, что подбор литературы был затруднен чисто технически. С этим я кое-как справился бы. Но отец привык к живой практической работе с людьми и «рыться не имел охоты в пыли бытописания земли». Надеялся он только на себя, на свою память, и, нужно признать, она у него была феноменальная. Как он мог удерживать в голове такое количество информации: событий, мест, имен, цифр? И донести их до слушателя почти без повторов и путаницы?

Постепенно отец привык к работе со мной, и в тексте диктовки все чаще появлялись обращения ко мне:

— Я говорил о поездке в Марсель и забыл фамилию сопровождавшего правительственного чиновника. Сейчас

вспомнил — Жокс. Я правильно его назвал? Да, да, Жокс. Когда будешь править, вставь в нужном месте.

Или:

— На съезде Болгарской компартии ко мне подошел член румынской делегации, забыл его фамилию (далее следует описание его внешности). Надо посмотреть и вставить фамилию.

Требовали проверки номера армий в военном разделе. Ошибок тут было немного. Отец был на удивление точен. Это можно объяснить одним — события тех лет глубоко врезались в память. Верны были и цифры, и имена, и даты.

Ошибался он, когда по памяти пытался выстроить последовательность событий во время какого-нибудь государственного визита. Так было, скажем, с рассказом о поездке с Булганиным в Бирму в 1955 году. Отец пытался восстановить, кто и где их принимал, откуда и куда они поехали. Обычно человек вообще таких вещей не помнит, а отец держал канву в памяти, безбожно путая при этом, в каком городе их встречали национальной греблей, а в каком — парадом со слонами. Расставить все по местам предстояло мне, что я и делал, сверяя текст с опубликованными в прессе отчетами.

Время от времени отец просматривал готовые куски, делал свои замечания, я их тут же записывал, обычно на обороте страниц исходного текста, для последующей перепечатки. Изредка я предлагал отцу свои дополнения или уточнения; то, что он одобрял, тоже вносилось в текст. Отец работал серьезно, помногу. Он диктовал по три — пять часов в день в два приема — утром и после обеда.

— У меня лучше получается, когда есть слушатель. Видишь перед собой живого человека, а не дурацкий ящик, — не раз сетовал он.

Однако слушатели находились далеко не всегда. Правда, когда они появлялись (а это обычно были старые знакомые пенсионеры, приезжавшие на неделю или побольше), дело шло быстрее и лучше. Когда я сейчас, через много лет, прослушиваю записи воспоминаний отца, то узнаю голос Веры Александровны Гостинской: диктовка постепенно сходит на нет, и начинается обсуждение цен в магазинах, потом разговор перетекает на польские дела. Петр Михайлович Кримерман тоже не удовлетворяется пассивной ролью слушателя, задает вопросы: о Египте и Израиле, о Шестидневной войне и вообще обо всем на свете. При редактировании я по просьбе отца превращал диалоги в монолог и, по-моему, напрасно. Но Вера Александровна и Петр Михайлович — исключения, большинство слушателей сидели, затаив дыхание, в работу отца не вмешивались. Наедине же с

«ящиком» речь становилась менее живой, с запинаниями, долгими паузами. Наиболее продуктивно отцу работалось осенью и зимой. Летом на первый план выдвигались огородные дела, и диктовка велась урывками.

К каждой теме отец серьезно и подолгу готовился, обдумывая во время прогулок, что и как сказать. Наиболее драматические события жизни врезались в память намертво. Пересказывал он их по многу раз. Сюда относятся и поражение под Барвенковом в 1942 году, и арест Берии, и смерть Сталина, и XX съезд, и другие. В рассказах о них он практически не отклонялся ни на шаг от первоначального варианта, и рассказ 1970 года звучал так же и в 1967 году, хотя отец и жаловался: «Старею, память начинает отказывать».

Надиктовывая километры магнитной ленты, отец все больше мучился — какая же судьба ждет его воспоминания?

— Напрасно все это. Пустой труд. Все пропадет. Умру я, все заберут и уничтожат или так похоронят, что и следов не останется, — не раз повторял он во время наших воскресных прогулок.

В доме мы на эти темы никогда не разговаривали, памятуя о лишних ушах. Я успокаивал отца, как мог, хотя в душе склонен был согласиться с ним. Я понимал, что, если сегодня все тихо, это вовсе не значит, что так будет всегда.

На всякий случай мы решили подстраховаться: продублировать пленки и текст и хранить их раздельно в надежных местах. Однако легко сказать, «в надежных местах»,[55] а когда задумаешься, какое из мест можно считать надежным, ответ так сразу не находится. Я мысленно перебирал своих друзей и знакомых, взвешивал, на кого можно положиться, кто не проболтается. Да не только сам, но и жена, теща. Кто в случае моего провала не привлечет к себе повышенного внимания профессионалов? Кто? Кто? Наконец выбор остановился на профессоре Игоре Михайловиче Шумилове, моем коллеге по МВТУ, сыне генерала Шумилова, командовавшего армией, пленившей фельдмаршала Паулюса в Сталинграде в 1943 году. Там, в тяжелые дни отступления, Шумилов-старший близко сошелся с моим отцом, а теперь я сдружился с его сыном. Игорь на мое предложение ответил не колеблясь: «Давай». Он спрячет все на бесчисленных, захламленных привезенным из Германии барахлом антресолях обширной генеральской квартиры в доме неподалеку от станции метро «Сокол». Ни отцу, ни жене он решил ничего не говорить, правда, добавил: «Они, скорее всего, догадаются, но вопросов задавать не станут». На том и порешили. Распечатки, бобины с вновь надиктованными пленками, страницы

готового текста в лучших традициях детективных романов я передавал Игорю в перерывах между лекциями, когда мы «поневоле» сталкивались на кафедре. Дружеские же контакты решили сократить до минимума. На всякий случай.

Казалось, проблема решена, но мы с отцом слишком хорошо знали возможности профессионалов в таких делах. Абсолютно надежных мест не бывает. Во время одной из бесед на прогулке пришла идея поискать сохранное место за границей. Отец сначала сомневался, опасаясь, что рукопись выйдет из-под нашего контроля, может быть искажена и использована во вред нашему государству. С другой стороны, сохранность там обеспечивалась надежнее. После долгих взвешиваний «за» и «против» отец все-таки попросил меня обдумать и такой вариант. Естественно, это решение мы хранили в строжайшей тайне. Но, честно говоря, в те дни я не представлял себе даже приблизительного плана действий…

Что же составляло предмет работы?

С самого начала отец заявил, что не собирается описывать свою жизнь начиная с детства. Хронологических повествований он терпеть не мог, они навевали на него тоску.

— Я хочу рассказать о наиболее драматических моментах нашей истории, свидетелем которых мне пришлось быть. В первую очередь о Сталине, о его ошибках и преступлениях. А то я вижу, опять хотят отмыть с него кровь и возвести на пьедестал. Хочу рассказать правду о войне. Уши вянут, когда слушаешь по радио или видишь по телевизору жвачку, которой пичкают народ. Надо сказать правду — так сформулировал он свою программу.

Поначалу он не собирался освещать период своей службы на высших партийных и государственных постах, считая это то ли нескромным, то ли ненужным по каким-то неведомым мне причинам. Я доказывал, что его собственная жизнь, события, происходившие после Сталина, не менее интересны и важны для истории. Отец не возражал, отмалчивался. Да в то время этот спор был беспредметен — он только приступил к выполнению намеченного.

Начал отец с 30-х годов, с периода своей работы на Украине и в Москве. Потом он перешел к рассказу о подготовке к войне, ее трагическом начале, об отступлении под ударами немцев. То, что он говорил, сильно расходилось с официально признанной в то время версией истории первого периода войны, с многочисленными, весьма сомнительными публикациями на эту тему. Его же описания трагических и героических событий 1941 года поражали меня как читателя. Редактируя, я старался не упустить ни слова, ни в коей мере не исказить мысли автора. Для

меня отец был единственным правдивым источником информации. И теперь сохранение этих воспоминаний для будущих поколений становилось делом моей жизни…

За войной последовал послевоенный период: восстановление хозяйства на Украине, голод, интриги, появление в Киеве Кагановича и его отзыв оттуда, перевод отца в Москву, «ленинградское дело», несостоявшееся «московское дело»[56] и многое, многое другое.

Материала накопилось чрезвычайно много. Мы стали невольно путаться: о чем был разговор, о чем не был. Решили как-то упорядочить работу. Целую неделю я составлял план — своеобразный перечень вопросов, о которых, на мой взгляд, следовало говорить в первую очередь. В воскресенье мы его обсудили, отец забрал листочки, чтобы все обдумать на досуге. Через неделю у нас был готов вариант плана. По нему и работали в последующие годы, вычеркивая выполненные пункты, а то и вписывая новые, изначально забытые.

Предполагалось осветить основные моменты современной жизни: целину и проблемы сельского хозяйства, развитие промышленности, пути реорганизации народного хозяйства, вопросы обороны — формирование армии и военной промышленности, способы демократизации нашего общества, проблемы отношений отца с интеллигенцией. Не забыли мы и международные дела: борьбу за мир, первые встречи с западными государственными деятелями в Женеве, различные контакты и визиты, проблему мирного сосуществования, вопросы разоружения и запрещения ядерного оружия.

Хотя отец работал по плану, но в силу своего характера очень часто, увлекаясь, он уходил далеко в сторону, попутно вспоминая о событиях, далеких от заданной темы. К сожалению, не все намеченное удалось реализовать. Так и остались незафиксированными мысли отца о путях демократизации нашего общества, его идеи об установлении предельных сроков пребывания на государственных и партийных постах, о выборности и гласности работы государства и партии, установлении конституционных гарантий прав граждан, исключающих повторение террора 1930-х годов.

Не получился и раздел о творческой интеллигенции, в котором отец хотел дать оценку событиям, происходившим в последний период его пребывания у власти. Очень ему хотелось объяснить мотивы своего поведения. Но времени не хватило. Последняя запись незадолго до смерти была как раз посвящена этому вопросу, но оставила его неудовлетворенным.

— Сотри все, я потом передиктую, — попросил меня отец.

На передиктовку времени уже не оставалось. Я не послушался отца, и теперь эта запись (он сам ее озаглавил «Я — не судья») — единственное сохранившееся воспоминание на эту тему…

Работа велась слаженно и продуктивно. Наша троица — отец, Лора и я — хорошо сработалась.

Ну а куда же делись многочисленные в нашей семье журналисты? О Леве Петрове я уже говорил. Он и дальше помогал отцу. Правда, длилось это сотрудничество недолго. Лева тяжело заболел, работать больше не мог, а в 1970 году его не стало. Юля занималась маленькими дочерьми, да и по профессиональному складу она была далека от политической журналистики.

Рада в мемуарные дела не вмешивалась. Делала вид, что их просто не существует — ни магнитофона, ни распечаток. Она всецело была занята журналом. В свои не слишком частые наезды в Петрово-Дальнее она уютно устраивалась на диване под картиной, изображающей разлив весеннего Днепра. Там она вычитывала гранки, правила статьи для «Науки и жизни». Рядом с ней блаженствовала кошка. Отец обижался на такое невнимание к его деятельности.

К тому времени я втянулся в прежде незнакомый мне труд, увлекся им, считал работу над мемуарами своим делом. Я постоянно думал о них, приставал к отцу с предложениями и советами. Мне мерещились красиво изданные тома. Так что ко всякому вмешательству в мою новую «епархию» я бы отнесся ревниво, как к вторжению непрошенного гостя. Потому-то индифферентность сестры меня устраивала.

Особое отношение у отца было к Алексею Ивановичу Аджубею. Поначалу именно с ним связывал он свои надежды, видел в нем основного помощника. Это было вполне естественно. В недавнем прошлом Аджубей постоянно сопровождал отца в поездках, вместе с другими видными журналистами входил в рабочую группу при Первом секретаре ЦК КПСС и Председателе Совета Министров СССР, помогавшую ему в составлении выступлений, документов, проектов новых законов. Да и сам он — бывший главный редактор газеты «Известия» — много писал, считался способным журналистом. Теперь они оба в опале, и кому как не зятю помочь тестю в его «литературной» деятельности.

Поначалу все шло к тому. Алексей Иванович поддерживал идею работы над мемуарами. Правда, сам помощь не предлагал, но в ту пору дело только затевалось. Со временем его отношение стало меняться. Упоминать о мемуарах он перестал, разговоров о них с отцом стал избегать. Видимо, он решил проявить

осторожность, развитое политическое чутье подсказывало ему опасность такого сотрудничества. В те годы, в середине шестидесятых, Алексей Иванович еще не терял надежды на возобновление политической карьеры. Он несколько отошел от шока после ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК и искал путей возвращения к активной деятельности. Все свои надежды он связывал с Шелепиным. Еще недавно совсем было поникший, Алексей Иванович снова расправил плечи. Приезжая в Петрово-Дальнее, он вызывал то одного, то другого на улицу и таинственно сообщал:

— Скоро все переменится. Лёня долго не усидит, придет Шелепин. Шурик меня не забудет, ему без меня не обойтись. Надо только немного подождать.

Действительно, такие слухи циркулировали во множестве, и этот вариант развития событий вовсе не казался невероятным. Аджубей подкреплял свои слова ссылками на разговоры с приятелями по комсомолу — то на Григоряна, то на Горюнова. Однажды даже таинственно сообщил, что встречался с самим Александром Николаевичем.

Я и верил, и не верил этим словам. В одном не сомневался — без Хрущева Аджубей Шелепину просто не нужен.

Можем ли мы осудить Алексея Ивановича за его стремление вернуться на политическую арену? Думаю, нет. Ведь ему тогда было чуть больше сорока лет. Естественно, в такой ситуации он счел за благо несколько отдалиться от отца и сделать это так, чтобы его шаг заметили.

Таким образом, участие в работе над мемуарами могло ему только навредить. Вскоре выяснилось, что Брежнев совсем не переходная фигура и знает, как удержать власть в руках. Вопрос прихода к власти Шелепина отпал, но тут произошли новые события, которые не оставили у Алексея Ивановича и мысли о возможном участии в работе над воспоминаниями. Затронули они всех нас, и отца, и меня, и в какой-то степени оказали влияние на судьбу мемуаров.

Летом 1967 года, когда о Хрущеве, казалось, прочно забыли, его имя вдруг опять взбудоражило мир. Ничего особенного не произошло, просто американцы решили сделать биографический фильм о бывшем советском лидере. У нас же это было квалифицировано как провокация, почти как антисоветская вылазка.

Дело в том, что к 1967 году Брежнев уже с трудом переносил даже простое упоминание о Хрущеве. Люди такого склада, с одной стороны, добрые и слабые, с другой — тщеславные, по-особому относятся к своим дурным поступкам, по-своему

переживают их. Совершив их, они переносят всю свою ненависть на жертву, пытаясь тем самым доказать и себе, и окружающим собственную правоту. Упоминание имени отца в какой-то степени мешало упрочению его собственного имиджа — ведь многое из того, что в тот момент приписывал себе Леонид Ильич, началось задолго до него, все ощутимее теряя набранный поступательный ход. Естественно, подобные настроения начальства передавались и подчиненным.

Порой доходило до смешного. Смешного, если речь не шла о людях, облеченных практически неограниченной властью. В Крыму, по дороге из Симферополя в Ялту, на склоне горы раскинулось село Никита. В стародавние времена оно дало приют знаменитому Никитскому ботаническому саду. Однажды, проезжая мимо селения по дороге на крымскую дачу, Брежнев бросил взгляд на придорожный указатель «с. Никита» и недовольно поморщился. Его гримаса не осталась незамеченной: через несколько дней на том же месте появился иной знак «с. Ботаническое», а ботанический сад сохранил свое старое наименование, но теперь оно звучало сюрреалистически: «Никитский ботанический сад в селе Ботаническое». И этот случай не единичный. Постепенно накапливавшаяся в душе Брежнева внутренняя неприязнь к отцу перерастала в откровенную ненависть.

В этой обстановке вслед за выходом на Западе фильма о Хрущеве разразился скандал.

У нас в стране этого фильма пока никто не видел, была только информация о нем. Говорили, что он построен на съемках на даче, отец в нем дает несколько интервью, одно страшнее другого. Мне удалось посмотреть этот фильм, к сожалению, уже после смерти отца.

Как и следовало ожидать, ничего сенсационного или крамольного в нем не было. Он построен исключительно на архивных материалах, фото— и кинодокументах. Весь сыр-бор разгорелся из-за двух-трех минут в конце: там показывают отца, сидящего в «буссаковской» накидке у костра, рядом Арбат. Отец что-то рассказывает. Звучание голоса приглушено, на него наложен дикторский текст — что-то о годах юности, потом о Кубе… Таких сцен у костра в жизни отца было множество.

Я в ту пору занимался киносъемкой и постоянно таскал с собой восьмимиллиметровую камеру. Многие из гостей тоже приезжали с фотоаппаратами и кинокамерами. Я уж не говорю о постояльцах соседнего дома отдыха — фото с отцом на память входило в «культурную программу». При желании пленки легко могли попасть за рубеж. Ничего предосудительного в этом не

было. Скажем, если бы меня попросили, я бы и сам мог снять этот фрагмент.

Но в фильме была не моя съемка. Как выяснилось много позже, снимал Юра Королев, профессиональный фотограф, работавший в те годы вместе с Аджубеем в журнале «Советский Союз» и одновременно, с разрешения властей, сотрудничавший с американским агентством «Ассошиэйтед Пресс». Кроме того, семья Королевых дружила с Юлей и Левой. Время от времени Юра навещал отца, делал фотографии, трещал киноаппаратом. Его съемки, видимо, дополнились архивными материалами — фрагментами магнитофонных записей голоса отца, сделанных до 1964 года: он тогда частенько рассказывал о донбасском периоде своей жизни, о своем друге шахтерском поэте Пантелее Махине. Впрочем, это могли быть и современные записи. Он любил при гостях вспоминать о свой молодости. Карибский кризис тоже был его любимой темой.

Реакция на фильм не заставила себя ждать. Отца не трогали и ничего у него не спрашивали. Гнев обрушился на окружающих.

Первым на ковер вызвали начальника охраны Мельникова. Мельниковым давно были недовольны. Считали, что он слишком «прохрущевский» человек, старается угодить ему во всем, словом, делает все, чтобы скрасить Хрущеву жизнь. Его поведение не отвечало духу времени. Фильм явился хорошим поводом для расправы. Его обвинили в потере бдительности — как он мог допустить, чтобы отец дал интервью иностранному журналисту? То, что никакого иностранного журналиста на даче ни разу не было, никого не интересовало.

В результате Мельников был снят с должности и уволен из органов КГБ. Я с ним потом встретился. Он работал комендантом в одном доме отдыха, постарел, поседел, плохо видел. А последний раз я его видел на похоронах отца. Он пришел проститься.

Место Мельникова занял Василий Михайлович Кондрашов — совсем другой человек, более «современный» работник. Он старался уколоть отца по мелочам, на его просьбы стандартно отвечал, что узнает у начальства. Через несколько дней обычно следовал ответ: «Нельзя. Вам не положено». Возможно, это и не было чертой его характера: просто он строго выполнял инструкции, памятуя о судьбе своего предшественника. Замена начальника охраны должна была, по замыслу начальства, предостеречь отца, напомнить ему, в чьих руках сегодня и сила, и власть.

Однако отец сделал вид, что происшедшие изменения его не касаются. Даже в разговорах с нами он почти не затрагивал этой

темы. На работу над мемуарами эта акция властей влияния не оказала. Отец не только не забросил диктовку, но заработал с удвоенной энергией.

Пик работы над мемуарами пришелся на зиму 1967/68 года. Брежнев к тому времени уже набрал силу и начал внимательно следить за отражением своей личности в зеркале истории. «Малая земля» и «Возрождение» были еще, видимо, в отдаленных планах, но первые ростки нового культа уже вызрели.

Донесение, что Хрущев диктует мемуары, чрезвычайно обеспокоило Леонида Ильича. Решено было заставить отца прекратить работу. Но как?

Рассматривались, наверное, разные варианты. Устроить обыск на даче? Изъять записи силой? Нельзя. Скандала не оберешься. Прославишься на весь мир держимордой, а Хрущева выставишь мучеником. Что же делать? Оставалось одно — встретиться с Хрущевым и убедить его прекратить писать мемуары, а что есть — отдать в ЦК. Не удастся убедить — заставить. Припугнуть, в конце концов.

Самому встречаться с бывшим патроном Брежневу не хотелось. Хватило встречи в 1965 году.

Вызвать к себе Хрущева, провести с ним беседу и попытаться покончить с мемуарами Брежнев поручил Андрею Павловичу Кириленко, своему первому заместителю в ЦК, человеку грубому и нахрапистому. Этот спуску никому не даст. К нему присоединили Арвида Яновича Пельше, Председателя КПК, чтобы он оказал давление одним своим присутствием: с Комитетом партийного контроля не шутят. Третьим был Петр Нилович Демичев. Он в прошлом близкий к Хрущеву человек, так что при необходимости сможет разрядить обстановку, а то и убедить Хрущева не делать глупостей. Примерно такое решение было принято весной 1968 года. Оставалось действовать.

В апреле 1968 года, накануне дня рождения отца, я, как всегда, на выходные приехал в Петрово-Дальнее. Отца в доме не было. Мама сказала, что он пошел на опушку посидеть на солнышке.

— Отец очень расстроен. Вчера его вызывал в ЦК Кириленко, требовал прекратить работу над мемуарами, а что есть — сдать. Отец разнервничался, раскричался там, вышел большой скандал. Он сам тебе все расскажет, — продолжала она, — только ты к нему особенно не приставай. Он сильно перенервничал и плохо себя чувствует.

Расстроенный, я отправился вниз по тропинке. На лавочке сидел отец. Рядом лежал Арбат. Отец не заметил, как я подошел, а когда я молча сел рядом, не сразу повернул голову. Мы

молчали. Отец выглядел усталым, лицо его посерело и постарело.

Повернувшись ко мне, он спросил:

— Ты уже знаешь? Мама тебе рассказала? Я кивнул головой.

— Мерзавцы! Я сказал все, что о них думаю. Может быть, хватил лишнего, но ничего — это пойдет им на пользу. А то они думают, что я буду перед ними ползать на брюхе.

Я решил внести ясность.

— Мама мне практически ничего не рассказала. Только то, что тебя вызывал Кириленко и требовал прекратить работу над мемуарами.

— Так и было. Каков мерзавец! — повторил отец и начал рассказывать.

По мере рассказа лицо его оживало, глаза стали злыми, видно было, что он заново переживает каждую фразу, каждую реплику.

Я помнил, что отец плохо себя чувствует, и попытался перевести разговор, как-то успокоить его. Но отец не хотел отвлекаться. Он кипел от возмущения и пересказал мне возмутительную сцену, происшедшую в ЦК, до конца. Впоследствии он неоднократно возвращался к событиям того дня.

Я все хорошо запомнил и даже сделал по свежим следам какие-то заметки. Вот как выглядел его рассказ.

В кабинете Кириленко сидели, кроме него самого, Пельше и Демичев. Кириленко сразу перешел к делу, без обычных в таких случаях вопросов о самочувствии.

Он заявил, что Центральному Комитету стало известно, что отец уже в течение длительного времени пишет мемуары, в которых рассказывает о различных событиях истории нашей партии и государства. По сути дела, он переписывает историю партии. А вопросы освещения истории партии, истории нашего Советского государства — это дело Центрального Комитета, а не отдельных лиц, тем более пенсионеров. Поэтому Политбюро ЦК требует, чтобы он прекратил свою работу над мемуарами, а то, что уже надиктовано, немедленно сдал бы в ЦК.

Закончив говорить, Кириленко обвел глазами присутствующих — видно было, что заявление стоило ему немалых усилий. Пельше и Демичев молчали. Кириленко достаточно долго проработал с Хрущевым, до и сразу после войны Секретарем Запорожского обкома партии на Украине, а затем в Москве, будучи его первым заместителем в Бюро ЦК по РСФСР. Он знал характер отца и понимал, какое оскорбление наносит человеку, четыре года назад занимавшему пост Первого секретаря ЦК и Председателя Совета Министров СССР. Он, очевидно, надеялся, что новое положение пенсионера, даже в

мелочах зависящего от них, сделает отца более покладистым и сговорчивым. Словом, заставит подчиниться.

Отец помолчал, потом оглядел своих бывших соратников. В ответ он начал говорить сначала спокойно, затем все больше и больше распаляясь. Он сказал, что не может понять, чего хотят от него Кириленко и те, кто его уполномочил. В мире, в том числе и в нашей стране, мемуары пишет огромное число людей. Это нормально. Мемуары являются не историей, а взглядом каждого человека на прожитую им жизнь. Они дополняют историю и могут служить хорошим материалом для будущих историков нашей страны и нашей партии. А коли так, он считает их требование насилием над личностью советского человека, противоречащим Конституции, и отказывается подчиниться.

— Вы можете силой запрятать меня в тюрьму или силой отобрать мои записи. Все это вы сегодня можете со мной сделать, но я категорически протестую. Я живу под арестом, — заводился отец, — ваша охрана следит за каждым моим шагом: не охрана, а тюремщики.

— Вы не можете обойтись без охраны. Люди вас ненавидят. Если бы вы появились сейчас на улице, вас бы растерзали, — не остался в долгу Кириленко.

Спохватившись, что собрались они совсем по иному поводу, не за этим вызвали отца в ЦК, Кириленко уже иным, бесцветным голосом начал произносить заранее заготовленную фразу:

— Никита Сергеевич, то, что я вам передал, — решение Политбюро ЦК, и вы обязаны как коммунист ему подчиниться. В противном случае… — В голосе Кириленко зазвучала угроза, но отец не дал ему договорить.

— То, что позволяете себе вы в отношении меня, не позволяло себе правительство даже в царские времена. Я помню только один подобный случай. Вы хотите поступить со мной так, как царь Николай I поступил с Тарасом Шевченко, сослав его в солдаты, запретив там писать и рисовать. Вы можете у меня отобрать все — пенсию, дачу, квартиру. Все это в ваших силах, и я не удивлюсь, если вы это сделаете. Ничего, я себе пропитание найду. Пойду слесарить, я еще помню, как это делается. А нет, так с котомкой пойду по людям. Мне люди подадут.

Он взглянул на Кириленко.

— А вам никто и крошки не даст. С голоду подохнете.

Тут в разговор вмешался Пельше, сказав, что решение Политбюро обязательно для всех, и для отца в том числе. Этими мемуарами могут воспользоваться враждебные силы. Это было ошибкой со стороны Пельше.

— Вот Политбюро и выделило бы мне стенографистку и

машинистку, которые записывали бы то, что я диктую. Это нормальная работа. Они могли бы делать два экземпляра — один оставался бы в ЦК, а с другим бы я работал, — более спокойно сказал отец. Но, вспомнив о чем-то, с раздражением добавил: — А то, опять же в нарушение Конституции, утыкали всю дачу подслушивающими устройствами. Сортир и тот не забыли. Тратите народные деньги на то, чтобы пердеж подслушивать.

Всем стало ясно, что разговор надо заканчивать — добровольно отец ничего не отдаст.

На прощание отец повторил, что он как гражданин СССР имеет право писать мемуары, и это право у него отнять не могут. Его записки предназначены для ЦК, партии и всего советского народа. Он хочет, чтобы то, что он описывает, послужило на пользу советским людям, нашим советским руководителям и государству. Пусть события, которым он был свидетель, послужат уроком в нашей будущей жизни.

На этом закончился второй после отставки, но, к сожалению, не последний визит отца в ЦК.

Кириленко доложил Брежневу о состоявшемся разговоре. Что предпринять дальше, Леонид Ильич себе не представлял, и на случай, если придется принимать меры, решил заручиться поддержкой товарищей по Политбюро. Он приказал напечатать и разослать для ознакомления текст диктовок отца, который записывали через подслушку в деревянном домике охранники отца. Записывали, естественно, не всё, только то, что диктовалось в доме, но текста и у них набралось изрядно — 450 машинописных страниц.

«Позвонил мне заведующий Общим отделом ЦК К. У. Черненко и сообщил, что высылает мне специальным нарочным мемуары Н. С. Хрущева на 450 страницах», — записал в дневнике Шелест. Есть и дата: 7 — 14 июня 1968 года.

«Срок два дня. Нас, членов Политбюро, только сейчас ознакомливают с этими мемуарами, а их уже давно напечатали за границей», — продолжает Шелест.

Тут он немного напутал, в 1968 году ничего нигде еще не напечатали. В голове у Шелеста перемешались слухи об американском фильме и присланная ему распечатка КГБ. Он тогда еще работал в Киеве и не очень вникал в московские интриги.

«В мемуарах много об И. В. Сталине и о других политических деятелях того времени. По стилю и изложенным фактам чувствуется, что это писал Хрущев: его формулировки, факты, которые он неоднократно приводил в разговорах. Я подробно, добросовестно прочел, даже изучил записки Хрущева и ничего

предусмотрительного не нашел.

По поводу этих записок Никиту Сергеевича вызывали в ЦК. Говорят, там состоялся очень “крутой разговор”. Н. С. Хрущев — честный, прямой, очень порядочный человек, безусловно преданный своему народу. Теперешним многим руководителям надо бы многому учиться, дорасти до его понимания государственных дел и реалий, как во внешней, так и во внутренней политике»,[57] — заключает Шелест. Тот Шелест, который в 1964 году наравне с Шелепиным изо всех сил толкал Брежнева, буквально принудил его завершить начатое ими «дело».

Судя по записям Шелеста, на заседание Политбюро вопрос не выносили.

Свидание с Кириленко выбило отца из колеи. Он переживал, опять и опять возвращаясь к обстоятельствам разговора. Диктовку отец забросил, возобновляя работу лишь эпизодически. Летом 1968 года он продиктовал очень мало. Так что в этом смысле Кириленко добился желаемого результата. Снова отца мучила та же проблема: зачем все это.

В наших разговорах во время прогулок вдали от микрофонов, фиксирующих каждое слово, он опять стал повторять:

— Бессмысленное занятие. Они не успокоятся. Я их знаю. Сейчас не посмеют, а умру — все заберут и уничтожат. Я же вижу, что происходит сегодня. Им правдивая история не нужна.

Я его успокаивал, но сам успокоиться не мог. Надо было отыскать способ, позволявший сохранить материалы до лучших времен. Все возможные варианты хранения пленок и распечаток внутри страны не были абсолютно надежны. Как только за поиски возьмутся профессионалы, а они есть в избытке, все наши дилетантские секреты будут раскрыты.

В обсуждениях с отцом судьбы мемуаров мы вернулись к мысли об укрытии рукописи за границей. Тогда же впервые возникла мысль, что в случае чрезвычайных обстоятельств изъятия надиктованного в качестве ответной меры воспоминания нужно будет опубликовать. Публикация окончательно решала проблему сохранности. Что, спрашивается, искать, если книгу можно запросто купить в магазине? Ведь весь тираж не скупишь. Никаких секретных фондов не хватит — на Западе дефицита с бумагой нет.

Несколько успокоившись после бурной беседы в ЦК, отец принялся за огород. Приближался май, пора было готовиться к посевной.

Тем временем мне удалось нащупать пути передачи копии материалов за рубеж.

Лева Петров познакомил меня со своим давним приятелем Виталием Евгеньевичем Луи. Многие его почему-то звали Виктором. Отсидев десять лет по обычному в сталинское время вздорному политическому обвинению, Луи вышел из тюрьмы после XX съезда и, оглядевшись, решил начать новую жизнь.

Она сложилась очень необычно для того времени, когда контакт с иностранцами приравнивался то ли почти к подвигу, то ли к опасной экспедиции в джунгли, но только не Африки, а капитала.

Виталий Евгеньевич устроился работать московским корреспондентом в английскую газету «Sunday Evening News», что обеспечивало ему несравнимую с обычными советскими гражданами свободу выездов и контактов. После женитьбы на работавшей в Москве англичанке Дженнифер его положение еще более упрочилось.

Конечно, за разрешение работать на англичан госбезопасность потребовала от Луи кое-какие услуги. После недолгих переговоров поладили, и вскоре Виталий Евгеньевич стал неофициальным связным между компетентными лицами у нас в стране и соответствующими кругами за рубежом. Он стал выполнять деликатные поручения на все более высоком уровне, начал общаться даже с руководителями государств.

В конце 1967 года Лева как-то предложил мне:

— Давай зайдем к одному интересному человеку, моему другу. У него собираются любопытные люди. Сам он работает в английской газете.

Я тогда был легок на подъем, охотно знакомился с новыми людьми, любил интеллигентные компании с их разговорами, спорами на самые неожиданные темы. Поэтому я уже совсем было принял предложение, но последние слова меня обеспокоили. Я работал в ракетной фирме, и общаться с иностранцами нам категорически запрещали. Я поделился своими сомнениями с Левой.

— Пустяки. Разве я предложил бы тебе что-то такое, — успокоил он меня. — С иностранцами мы встречаться не будем, а хозяин наш человек, проверенный.

Сам Лева не просто работал в Агентстве печати «Новости», но и служил в Главном разведывательном управлении, и не в малых чинах.

У порога нас встретил приветливый человек средних лет, провел в дом, показал его сверху до низу, от чердака до подвала. Видно было, что он очень гордится своим хозяйством, своим достатком.

Мы приятно побеседовали, разговор вертелся вокруг

политических проблем. Сам я больше молчал, слушал, мне было очень интересно.

Так завязалось наше знакомство. Я стал бывать в этом доме. Особенно меня привлекала обширная библиотека Луи, набитая книгами, которых в другом месте не сыщешь. На полках стояли сочинения Солженицына, западные исследования о Сталине, Хрущеве. Часть книг была на русском, часть — на английском языке. Эта библиотека сыграла немаловажную роль в формировании моего политического сознания.

В беседах мы лучше узнавали друг друга. Виталий Евгеньевич рассказывал о себе, своем трудном и бедном детстве, заключении, тепло отзывался о Никите Сергеевиче. А это в тот период для меня значило очень много. Луи, кроме своей журналистской деятельности, занимался разными делами. В разгар войны путешествовал «туристом» по Южному Вьетнаму, заезжал запросто на Тайвань, после Шестидневной войны посетил Израиль, во времена диктатуры «черных полковников» объезжал греческие православные монастыри, в чилийском концлагере встречался с Луисом Корваланом. Всего не перечислишь… Но эта часть его жизни не предмет моего рассказа.

А вот что меня по-настоящему заинтересовало — это его причастность к полулегальной публикации запрещенных в нашей стране рукописей на Западе. Первой он переправил туда книгу Тарсиса, которого КГБ, тоже по рекомендации Луи, вместо Сибири решило отправить за границу. В момент начала нашего знакомства Виталий Евгеньевич «занимался» книгой Светланы Аллилуевой. Она заканчивала подготовку к изданию своей книги «20 писем к другу», где обещала описать некоторые закулисные стороны из жизни своего отца. Светлана только недавно бежала в Америку, и каждый ее шаг звучно резонировал в московских эшелонах власти. Выход в свет книги намечался на октябрь, в канун празднования пятидесятилетия Советской власти.

Осторожный дипломатический и недипломатический зондаж, прямые обращения к Светлане, издателям и правительствам западных стран о переносе даты выхода книги на несколько месяцев не принесли результата. Тогда Виталий Евгеньевич предложил на свой страх и риск, как частное лицо, сделать в книге купюры, изъять моменты, вызывающие наибольшее беспокойство Кремля и издать эту книгу на несколько месяцев раньше официального срока.

Условия он поставил следующие: нужна рукопись, купюры не должны искажать смысл книги и остаться незаметными для рядового читателя, доходы от издания, наравне с неизбежными неприятностями, отдаются на откуп исключительно Луи. Условия

приняли. Виталию Евгеньевичу предоставили копию рукописи, хранившуюся у Светланиных детей.

Операция началась: издательство, согласное на пиратскую акцию, нашлось без труда. Книга вышла летом 1967 года и до какой-то степени сбила нараставший ажиотаж. Виталий Евгеньевич получил немалый гонорар и повестку в Канадский суд. Авторитет Луи в глазах властей сильно вырос. Тут-то и пришла мне впервые мысль, что Луи — это тот человек, который сможет помочь нам схоронить мемуары отца за границей. У него в Лондоне — теща, материалы можно хранить у нее или положить в банк. А гонорар от публикации воспоминаний Хрущева, пусть даже в отдаленном будущем, ни в какое сравнение не пойдет с суммами, заработанными им на публикации книги Аллилуевой.

Конечно, как во всяком деле, сохранялся риск, и немалый, но хранить рукопись и пленки только в нашей стране было еще рискованнее.

Однако, кроме технического, был и моральный аспект. Шел уже не 1958 год, но еще далеко не 1988-й или 1998-й. Всего десять лет назад метались молнии в Пастернака, передавшего свою рукопись итальянскому издателю. Недавно осудили Синявского и Даниэля. Отец не одобрял этого судилища, но… В голову приходили и более далекие события, вспоминалось письмо Федора Раскольникова, обнажившее ужасы сталинского режима. Не будь оно опубликовано во Франции, мы бы многого тогда не узнали. А письма и статьи Ленина?… Они ведь тоже часто публиковались за границей.

Тем не менее стереотип был силен: коль скоро книга опубликована на Западе — это жест враждебный.

Отец был смелее меня, считая, что мемуары Первого секретаря ЦК — это исповедь человека, отдавшего всю свою жизнь борьбе за Советскую власть, за лучшую жизнь для людей. В них правда жизни, предостережения, факты. Они должны дойти до людей. Пусть сначала и там, но когда-нибудь и здесь. Конечно, наоборот было бы лучше, но как дожить до этих времен? Собственно, выбора у нас не оставалось: или Луи, или — мучительное ожидание, когда КГБ, власти займутся мемуарами всерьез. Я верил, точнее, очень хотел поверить Луи, хотя слышал о нем много гадостей. Он мог подвести и впоследствии подводил меня во многом, правда, во второстепенном, был склонен к авантюрам.

Я поехал в Баковку, где жил Луи. Начинать разговор я не спешил, да и не знал, как произнести первые слова. Этот разговор отделял мою «легальную» жизнь от «нелегальной». Мне было

здорово не по себе. Неизвестно, чем это могло кончиться: арестом, ссылкой? Думать о последствиях не хотелось. Болтая о пустяках, мы спустились в сад и через калитку вышли на соседний пригорок. Здесь, вне дома, мы оба чувствовали себя спокойнее.

Когда мы остались вдвоем, Виталий Евгеньевич неожиданно сам заговорил о публикации мемуаров за рубежом, осторожно, походя, в общих словах: «Хорошо бы… А так они сохранятся для мира и потом вернутся в Россию… Когда созреют условия…» Я молча слушал. Первый шаг сделан, и не мной, — уже легче.

Когда пришел мой черед, я сказал примерно следующее:

— Работа над мемуарами в самом разгаре, а вернее — начале. Далеко не весь текст надиктован, еще меньше расшифровано и отредактировано. Работы еще на несколько лет, нам нужна не сенсация, а законченный труд. О публикации сейчас нечего и думать. Но есть другая проблема, на сегодня более важная, — сохранность материала.

— Ну ведь ты не дурак. У тебя должна быть не одна захоронка, — отреагировал Луи.

Он, конечно, догадался, куда я клоню, но хотел, чтобы я сам высказался до конца.

— Хотелось бы найти место понадежнее, как в швейцарском банке, — пошутил я. — Никогда не знаешь, насколько «Они» тщательно будут искать, и всегда есть опасность, что найдут.

— Да, скорее всего, найдут. Это «они» умеют, — подтвердил Виталий Евгеньевич.

Дальше тянуть не имело смысла.

— Я хотел тебя попросить сохранить копию. Для этого надо ее вывезти за рубеж, может, в Англию. Ведь там у твоей жены Дженни — мама.

— Сундук тещи не самое надежное место, — отпарировал Луи.

— Можно найти и понадежнее, — продолжал я. — Главная проблема — как вывезти.

— Дело непростое, но решаемое. Конечно, потребует соответствующих затрат, — перешел к делу Виталий Евгеньевич.

— В случае публикации гонорар будет очень большим, а мы заинтересованы в сохранении материала, а не в получении денег, — быстро отреагировал я. — Все практические вопросы обсудим позже. Я уже сказал, что сегодня речь идет не о публикации, а о безопасности.

— В денежных вопросах лучше иметь ясность заранее, — задумчиво, но твердо проговорил мой собеседник.

— Не это главное. Мы согласимся на любые варианты.

Понятно, что такое дело требует больших затрат. В конце концов в денежных делах последнее слово останется за тобой, — внес я окончательную ясность.

— Хорошо, я сделаю все что возможно. Думаю, дело уладится. А Никита Сергеевич знает? Он тебя уполномочивал? — задал он вопрос.

— Нет, но у нас договорено, что за безопасность отвечаю я. Не надо его впутывать в это дело, — не раздумывая ответил я.

— Это ваши дела. Я постараюсь все устроить, — проговорил Луи, — но публикацию лучше не затягивать. Через десять лет в мире забудут, кто такой Хрущев. Придут новые люди. Тогда опубликование мемуаров не вызовет такого интереса, как сейчас.

— Мы идем по второму кругу, речь о сохранении рукописи, а не о ее публикации. Мы же договорились, — рассердился я.

— Да, конечно, — не стал настаивать Виталий Евгеньевич.

Когда я рассказал о разговоре отцу, он после короткого обсуждения согласился, что доверяться до конца посреднику не следует, чем меньше он будет осведомлен, тем лучше. Пусть он знает меня одного. Не умолчал я и о разговоре с Луи о публикации, подчеркнув, что категорически отверг его предложение. На этом разговор с отцом оборвался, развивать эту тему он не стал.

Через несколько дней я привез на дачу Луи в запечатанной коробке магнитофонные бобины и отредактированный мною текст.

— Так дело не пойдет. Я должен видеть, что повезу, — обиделся Виталий Евгеньевич.

На секунду я заколебался, картонная коробка из-под печенья, плотная коричневая упаковочная бумага, опоясывавшая все это веревка создавали некую иллюзию сохранности содержимого от чужих глаз. Конечно, только иллюзию. Материалы уходили в чужие руки, и запечатаны они или нет, не имело больше никакого значения. Вообще, увижу ли я их когда-нибудь? Я раскрыл коробку, Луи осмотрел ее содержимое, пересчитал кассеты и снова закрыл.

— Теперь все в порядке, — сказал он и спрятал коробку в большой резной шкаф черного дерева.

Мне стало не по себе. С этого момента все начиналось на самом деле. Разговоры кончились.

Прошло какое-то время. Луи уехал за границу, и известий от него не приходило. Через месяц он вернулся.

— Всё в надежном месте. Только не спрашивай, как я это сделал. Это моя тайна. Конечно, я провез груз не в чемодане, — весело рассказывал он, — теперь ОНИ в сохранности не у тещи —

в банковском сейфе. Туда никто не доберется.

В очередной приезд на дачу я все подробно пересказал отцу. В ответ он кивнул головой. После этого новые порции материалов по мере готовности перекочевывали в заграничный сейф.

Прошло какое-то время, и отец вдруг вернулся к теме публикации мемуаров за границей. Видимо, он много раздумывал, взвешивал, пытался угадать, что же ждет нас в будущем.

— Я думаю, — начал он, — предложение посредника не такое уж глупое. Обстоятельства могут сложиться так, что не только я и ты, но и он не сможет добраться до сейфа. Нам противостоят люди, способные на все, ты не можешь себе даже представить, насколько велики их возможности. Свяжись с посредником. Пусть он поговорит условно с каким-нибудь очень солидным издательством о том, что они получат право опубликовать книгу, но не к какому-то твердому сроку, а только после того, как мы отсюда дадим знак.

Отец замолчал, мы пошли по дорожке, ведущей к лугу, впереди лениво трусил Арбат.

— Надо быть ко всему готовым, — вдруг произнес отец. — «Они» не успокоятся. Можно ожидать любой гадости: или похитят материалы тайно, или просто отберут. Арестовать, видимо, не рискнут. И время не то, и кишка тонка. А отобрать постараются.

Тем временем Брежнева крайне беспокоило, как бы отец не написал что-нибудь плохое о нем. А то, что отец, по докладам охраны, подслушивавшей Хрущева, фамилию Брежнева вообще ни разу не упомянул, еще больше его раздражало. Без сомнения, приходилось ожидать новых неприятностей. С другой стороны, надо было внести ясность в наши отношения с Луи, который постоянно возвращался к проблеме опубликования. У него в этом деле на первом месте стоял коммерческий интерес, и он жаждал определенности.

— Когда? Через год, два, десять? Надо определиться. После смерти уже ничего не будет нужно, — повторял он.

Я уходил от прямого ответа, но бесконечно тянуть невозможно. Когда при очередной встрече я рассказал Луи о решении отца, выдав его за свое, он обрадовался.

— Издателя я найду, это не самая большая проблема, — начал Виталий Евгеньевич. — Я уже зондировал почву в редакции «Тайм» в Штатах.

Услышав о такой самодеятельности, я обомлел, но промолчал, посчитав, что сейчас не время для выяснения отношений, и, наверное, зря. Впоследствии «партизанщина» Луи доставила нам много хлопот и неприятностей.

— Вероятно, они согласятся и на ваши условия, если ждать не слишком долго. Впрочем, у них нет выхода. Не согласятся — найду других, — продолжал Луи. — Главное, максимально отвести от себя удар. Должна быть правдоподобная версия о том, как материалы оказались за границей, и кто-то должен прикрыть нас здесь. Ладно, о первом я подумаю сам, а о втором — посоветуюсь…

Подробностей происходившего я не знаю. Виталий Евгеньевич лишь рассказал, что действовать он начал с головы. К тому времени у него установились доверительные отношения с самим председателем КГБ Андроповым, они не раз встречались, но не в кабинете на площади Дзержинского, а в неформальной обстановке, как бы случайно, у кого-то из общих знакомых. Во время одной из таких встреч Виталий Евгеньевич навел Юрия Владимировича на разговор о мемуарах отца. Он решил рискнуть и рассказал ему все или почти все. Андропов выслушал сообщение не перебивая, только удовлетворенно кивал. На вопрос, не желает ли он ознакомиться с записями отца, улыбнулся и коротко ответил: «Нет». Отныне мы могли рассчитывать если не на помощь, то на нейтралитет КГБ, по крайней мере некоторых из его служб.

Такую версию я услышал от Луи. Через почти половину века мой хороший знакомый Марк Крамер, историк, профессор Гарвардского университета в США, преподал эту же историю в ином виде. Дети Крамера и один из трех сыновей Луи ходили в одну и ту же школу в Великобритании, а их отцы встречались на родительских собраниях. Любознательный Крамер расспрашивал Виталия Евгеньевича о его жизни в Советском Союзе. Луи охотно отвечал на вопросы, не таясь даже там, где, по моему мнению, следовало промолчать. С Крамером они сошлись настолько близко, что позволили себе обсуждать историю передачи мемуаров Хрущева на Запад (к тому времени их уже опубликовали), и Виталий Евгеньевич, рассказав о своей беседе с Андроповым, добавил, что все это он придумал для моего успокоения. Что ж, весьма вероятно, когда в дело замешан Луи, ни в чем нельзя быть уверенным. Но рассчитал он правильно, информация о том, что «Андропов в курсе», меня успокоила и придала уверенности.

С американской стороны Виталию Евгеньевичу и его «друзьям» помогал представитель журнала «Тайм» в Москве Джералд Шехтер. Почему выбор пал именно на него, не берусь судить. Местом переговоров американцы почему-то выбрали Копенгаген. Почему Копенгаген, а не Лондон или Нью-Йорк, трудно сказать. В начале переговоров издатели засомневались,

насколько можно верить представленному тексту? В то время как раз разразился скандал с опубликованием фальшивых дневников Адольфа Гитлера.

Издатели опасались провокации. Встал вопрос, как подтвердить подлинность материалов. Писать мы им не хотели, считая, что опасность провала слишком велика. Тогда наши помощники нашли выход. Решили прибегнуть к помощи фотоаппарата.

Из Вены отцу передали две шляпы — ярко-алую и черную с огромными полями. В подтверждение авторства отца и его согласия на публикацию просили прислать фотографии отца в этих шляпах. Когда я привез шляпы в Петрово-Дальнее, они своей экстравагантностью привлекли всеобщее внимание. Я объяснил, что это сувенир от одного из зарубежных поклонников отца. Мама удивлялась: «Неужто он думает, что отец будет такое носить?»

Отправившись гулять, мы остались одни, я рассказал отцу, в чем дело. Он долго смеялся. Выдумка пришлась ему по душе, он любил остроумных людей, и, когда мы вернулись с прогулки, сам вступил в игру. Присев на скамейку перед домом, отец громко попросил меня:

— Ну-ка, принеси мне эти шляпы. Хочу примерить. Мама была в ужасе:

— Неужели ты собираешься их надевать?

— А почему бы и нет? — подначил ее отец.

— Слишком яркие, — пожала плечами мама.

Я принес шляпы. Заодно захватил и фотоаппарат. Отец надел шляпу и сказал:

— Сфотографируй меня, интересно, как это получится?

Так он и сфотографировался с одной шляпой на голове, а с другой — в руке. Вскоре издатели получили снимки: теперь они удостоверились, что их не водят за нос.

Была достигнута предварительная договоренность о возможности опубликования воспоминаний в американском издательстве «Литтл, Браун энд компани». Договор с издательством Луи подписал от своего имени, ему же причитался и гонорар за книгу. В то время Советский Союз не признавал Конвенции по охране авторских прав, поэтому издатели с легким сердцем подписывали договоры с кем угодно. К слову, этот договор действовал и в самом конце XX века. Когда в 1990-х годах я попытался предъявить издательству свои права, мне вежливо, но твердо указали на дверь.

Подготовку рукописи, приведение ее в порядок, который устраивал американцев, издатели поручили совсем молодому

человеку, никому тогда не известному студенту Оксфордского университета Строубу Тэлботу.[58] Работа поглотила его с головой. Строубу не оставалось времени ни на приготовление пищи, ни на поддержание порядка в общежитии. На его счастье, все заботы о быте взял на себя его сосед по комнате, будущий президент США Билл Клинтон.

Передавать полный текст американцам Луи не решился, предложил изъять из текста упоминания, способные вызвать слишком большое раздражение у Брежнева или у других членов Политбюро. Это в основном касалось крайне редких упоминаний о них самих и некоторых одиозных фактов, таких, как помощь супругов Розенберг[59] в овладении американскими атомными достижениями, кое-какие «секреты», касающиеся ракет, и не помню, что еще.

«Если поднимется слишком большой шум, они не смогут нас прикрыть», — объяснил мне Луи. Таких мест оказалось немного, и отец согласился. Впоследствии, в 1990 году, Луи и Шехтер на базе этих изъятых кусков издали в США отдельную тоненькую третью книжку воспоминаний отца под названием «Магнитофонные ленты гласности».

Подготовку текста Тэлбот вел самостоятельно, ни о каких контактах с ним тогда и мечтать не приходилось. Поэтому американский текст слабо корреспондируется с оригиналом, абзацы исходного текста скомпонованы произвольно, многое, очень многое сокращено. К тому же Луи с Шехтером самовольно дописали несколько страниц о молодости отца, внеся тем самым изрядную путаницу. К примеру, они, не зная имени первой жены отца, перекрестили ее из Ефросиньи в Галину. А так как это подавалось за текст, надиктованный отцом, получалось, что он забыл имя собственной жены.

Случались и иные курьезы. Просматривая перепечатанный после редактирования свой экземпляр рукописи, я в заметках о Мао Цзэдуне обнаружил забавную опечатку. Отец упоминает, что Сталин невысоко оценивал теоретическую подготовку Мао, называл его «пещерным марксистом», последнее еще и потому, что в 1940-е годы, во время войны с японцами, армия Мао отступила в горы и ее штаб размещался в пещере. После перепечатки получился «песчаный марксист». Я посмеялся и при встрече рассказал об этом Виталию Евгеньевичу.

Каково было мое удивление, когда он хлопнул себя по лбу и стал дико хохотать. Оказывается, Тэлбот обратился к нему за разъяснениями, как в России трактуется термин «песчаный марксист». В литературе он такого не встречал. Луи не знал, что ответить, и тут же придумал, что это означает нестойкий,

колеблющийся, стоящий на песке.

В те годы мы ничего, почти ничего не знали о происходивших в Америке событиях. Отец продолжал диктовать, Лора печатала, я редактировал.

Шли дни, месяцы — материалов становилось все больше. Мы работали спокойно: что бы ни случилось, книга будет сохранена.

Впрочем, несмотря ни на что, в душе я очень надеялся, что к последнему средству — публикации книги на Западе — прибегнуть не придется.

Лето было занято сельскохозяйственными работами, они поглощали практически все время. На мемуары времени оставалось мало, да и браться за них отцу не хотелось. Для такого дела нужен настрой, желание. А сейчас при одной мысли о мемуарах всплывала физиономия Кириленко, слышались его слова. И поскольку из разговора с отцом ничего не вышло, «доброжелатели» решили действовать иначе. Взялись за его детей, начав с семьи Аджубеев.

Алексея Ивановича, который теперь работал заведующим отделом в журнале «Советский Союз»,[60] вызвали куда-то и предложили покинуть Москву, перейдя на работу в одно дальневосточное издательство. Алексей Иванович испугался и ударил во все колокола: он заявил, что никуда не поедет и немедленно напишет жалобу Генеральному секретарю ООН. Угроза неожиданно возымела действие. Так тогда рассказывал Аджубей. На самом деле ему предложили не Дальний Восток, а Тамбов. Вот что написано по этому поводу в официальной справке.

ЗАПИСКА ЦК КПСС ОБ А. И. АДЖУБЕЕ

19 апреля 1968 г.

Тов. Аджубей приглашался в Отдел пропаганды ЦК КПСС, где ему было предложено выехать в г. Тамбов для использования его на журналистской работе в качестве заместителя редактора областной газеты. С Тамбовским обкомом КПСС (т. Черным В. И.) вопрос согласован. Жене т. Аджубея — т. Аджубей Р. Н. работа также будет предоставлена по ее журналистской специальности.

Согласия выехать на работу в Тамбом т. Аджубей не дает. Он заявил, что не выедет из Москвы даже в том случае, если на его счет будет принято решение ЦК КПСС. Отказ мотивируется тяжелой болезнью матери и детей (объяснение т. Аджубея прилагается). Учитывая, что в Тамбове имеется возможность квалифицированной медицинской помощи и лечения заболеваний, о которых говорится в записке т. Аджубея, отказ его выехать на работу в Тамбов считаем необоснованным.

Было бы целесообразным направить т. Аджубея решением ЦК КПСС в распоряжение Тамбовского обкома КПСС.

В случае отказа выехать на работу в г. Тамбов полагали бы необходимым вопрос о неправильном поведении т. Аджубея передать на рассмотрение Московской партийной организации.

Зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС В. Степаков

Зав. сектором Отдела пропаганды ЦК КПСС В. Власов

Помета от руки: «Справка. Тов. Аджубей вторично отказался от предложенной работы в газете «Тамбовская правда». Зам. зав. отделом ЦК КПСС Т. Куприков. 16.07.68. В архив. 23.07.68».[61]

Тамбов или Владивосток, обращение в ООН или болезнь детей — в данном случае не имеет особого значения. Важно другое — документ отправили в архив, значит, стороны пришли к соглашению, к Алексею Ивановичу больше не приставали. Видимо, с ним побеседовали и по другим вопросам. Во всяком случае, с тех пор он стал общаться с отцом еще реже. Несколько

раз заводил разговор о мемуарах, причем мнение его диаметрально поменялось. Теперь он считал работу над воспоминаниями бесполезным и ненужным занятием, утверждая, что дела отца говорят сами за себя и никаких дополнительных разъяснений не требуется. Отец отмалчивался или отделывался нейтральными репликами. Обращался Аджубей и ко мне с предложениями уговорить отца больше мемуарами не заниматься. Я не согласился, ответив, что мемуары важны и для истории, и для самого отца.

Нужно сказать, что до того момента наши отношения с Алексеем Ивановичем, Алешей, складывались по-родственному. Для меня он стал старшим товарищем, почти старшим братом, заменив погибшего на фронте Леонида. Алеша тоже демонстрировал благорасположение.

Все враз переменилось вскоре после нашего разговора. Как сейчас помню, в следующий выходной Аджубеи приехали к отцу на дачу. Когда их машина подкатила к крыльцу я, как обычно, бросился навстречу. Алеша сидел за рулем, окно было открыто. Не дожидаясь остановки, я поздоровался, стал делиться какими-то новостями. Обычно Алеша тут же включался в разговор, но на сей раз он не только не ответил на приветствие, но даже не повернул головы. Будто меня тут и не было. Я смешался, не понимая, что же на него нашло. Оказывается, ничего не нашло, просто Аджубей решил больше со мной не знаться. Если у отца за столом мы еще обменивались ничего не значащими фразами, то на улице он демонстративно меня не замечал. Спектакль разыгрывался для охранников, которые, естественно, докладывали о происходившем на даче.

Первые недели после разрыва я очень переживал. Потом смирился и решил, что все к лучшему, друзья познаются в беде.

Дальше — больше, после смерти отца Алексей Иванович повел себя в отношении мамы по-хамски (более мягкого слова я не смог подобрать), и после этого он для меня перестал существовать. О событиях тех дней я говорить не хочу.

Уже после смерти мамы Алексей Иванович решил наладить отношения. Я не возражал, прошло уже много лет, да и родственник все-таки. Но былая дружба не восстановилась, общение ограничивалось ритуальными встречами за столом на днях рождения и других подобных мероприятиях.

Не миновали «репрессии» и меня. Об этом расскажу поподробнее.

Я уже упоминал, что работал в ОКБ-52, в организации, занимавшейся ракетной техникой. Работа мне нравилась, нравился и мой шеф — академик Владимир Николаевич Челомей.

В тот период я вел раздел систем управления в нескольких проектах. Дел было много, но я выкраивал любую свободную минуту для работы над мемуарами отца. Папку с очередной порцией листов, нуждающихся в правке, постоянно таскал с собой.

Вскоре после беседы Кириленко с отцом у меня в кабинете раздался звонок и незнакомый голос сообщил:

— Сергей Никитич, с вами говорят из Управления кадров Министерства приборостроения. Нам сообщили, что вы переходите на работу в Институт электронных управляющих машин нашего ведомства. Зайдите к нам, мы уладим все формальности.

Я ничего не понял.

— Вы, видимо, ошиблись, я никуда переходить не собираюсь, — ответил я.

— Не знаю, не знаю. У меня лежат переводные документы на вас, — продолжал мой собеседник. — Впрочем, это ваше дело. На всякий случай запишите мой телефон, — и он продиктовал номер.

Я не знал, что и подумать. Ситуация была неприятная. Челомей сильно переменился ко мне за последние годы: с одной стороны, старался сохранить дружеские отношения, с другой — хотел, чтобы в ОКБ посторонние меня видели пореже. Он даже как-то сказал мне в минуту откровенности: «Ты им не попадайся на глаза. Сиди в своем КБ, а в смежные организации не езди».

Первым, кого я встретил после странного телефонного разговора, был заместитель Челомея по кадрам Евгений Лукич Журавлев. Я тут же рассказал ему все.

— А я только собирался высказать тебе то, что думаю о твоем предательстве, — вдруг сказал Евгений Лукич. — У меня лежит запрос на твой перевод. Я думал, ты все это обтяпал за нашей спиной. Доложил Владимиру Николаевичу, и он приказал поговорить с тобой.

Это уже была явная ложь. Впоследствии я узнал, что за некоторое время до описываемых событий к Челомею приходили по мою душу представители «органов», предположивших, что в силу известных обстоятельств я обижен, и решивших, что хорошо бы меня перевести на работу, не связанную с секретной тематикой. Если бы Челомей ответил, что это чепуха и я необходим в КБ, разговор тот остался бы без последствий. Во всяком случае, так мне позже объяснили осведомленные люди.

Но Челомей поступил иначе. Появилась возможность избавиться от меня — ведь при его разговорах с Брежневым и Устиновым мое имя всегда могло всплыть (они прекрасно знали и

меня, и где я работаю) и вызвать неудовольствие.

Ничего этого я тогда не знал и сказал Журавлеву, что никуда не собираюсь и даже мыслей таких не имею. Тут же я поднялся на шестой этаж к Челомею. Владимир Николаевич внимательно выслушал меня и не стал утверждать, будто ничего не знает.

— Это все Устинов. Он тебя не любит, — сел он на своего любимого конька. Устинова он ненавидел, и тот платил ему той же монетой. — Это все его дела. Мне уже о тебе звонил Сербин (заведующий оборонным отделом ЦК КПСС), спрашивал, когда ты уходишь. Ты не представляешь, насколько он низкий человек, способен на любую гадость.

Я не понял, кого он имел в виду — Устинова или Сербина, но хорошо знал эту привычку Владимира Николаевича в подобных выражениях характеризовать многих, с кем ему приходилось общаться, и не придал его словам серьезного значения.

Я был растерян и ждал от него помощи:

— Что же мне делать? Я совсем не хочу никуда переходить.

— Знаешь, — в раздумье протянул Челомей, — напиши письмо Леониду Ильичу. Кроме него, никто ничего не сделает. А он тебя знает и всегда тепло к тебе относился.

Совет был безукоризнен: Челомей оказывался «вне игры». Если Брежнев вдруг соблаговолит оставить меня в ОКБ, мое будущее санкционировано свыше и можно не беспокоиться. Ну а на нет и суда нет. Владимир Николаевич сослался на срочный вызов к министру и ушел. Я остался со своими раздумьями. Писать Брежневу, особенно после стычки отца с Кириленко, мне очень не хотелось — и бесполезно, и противно. Решил не предпринимать никаких действий по своей инициативе — авось забудется.

Прошло две недели, и мне позвонил Журавлев:

— Ну так что? Что будешь делать? Мне тут звонили…

— Я, собственно, ничего не делал…

— Зря. Тебе предоставили время на принятие решения. Сейчас пора действовать. Надо тебе съездить в ту организацию.

Я решил предпринять последнюю попытку:

— Лукич, а что ты будешь делать, если я откажусь и никуда не пойду? Ведь по закону меня не за что увольнять.

— Напрасно теряешь время. Мы с тобой старые друзья, но я должен выполнять приказы руководства. А законов много. Например, можно сократить твое КБ за ненадобностью или в связи с реорганизацией. Вот ты и окажешься не у дел. Мой совет: или прими предложение, или прими меры. Время работает не на тебя.

— Спасибо за совет. А ты не можешь связать меня с тем, кто

дает тебе указания?

— На этот вопрос я сам тебе не отвечу. Я перезвоню.

Через полчаса Журавлев сообщил мне номер телефона, назвал фамилию. Из первых цифр было видно, что это номер КГБ, а не нашего министерства. Мой разговор с невидимым собеседником был коротким, ничего нового он мне сообщить не мог. Я только спросил, что делать, если предложенная организация мне не подойдет. Могу я устроиться куда-нибудь еще?

Я наивно полагал, что смогу перейти на «фирму» к кому-нибудь из знакомых главных конструкторов по профилю своей работы.

Мне было сказано, что других вариантов не существует. Если предложение не подойдет, они ничем помочь не смогут. Я положил трубку. Оставалось или подчиниться, или обращаться на самый верх.

В тот же день меня вызвал Челомей:

— Ты связался с Леонидом Ильичом?

— Нет еще. Пытался разобраться, не прибегая к его помощи. Очень уж не хочется ему писать.

— Напрасно. Кроме него, тут никто ничего не сделает. Мне уже дважды звонил Сербин. Я выкручиваюсь как могу, но чувствую, что скоро его терпению придет конец.

Выхода не было, и я вечером написал короткое обращение на имя Генерального секретаря с изложением фактов и просьбой оставить меня на старом месте работы, где я как специалист могу принести наибольшую пользу. Разузнав телефон, я позвонил помощнику Брежнева А. М. Александрову-Агентову. Я не очень разбирался в обязанностях его помощников и не знал, что он занимается международными делами.

Александров сам взял трубку и, выслушав меня, предложил зайти в удобное для меня время. Сговорились встретиться следующим утром. Принят я был чрезвычайно любезно. Александров сказал, что в ближайшее время доложит «самому» и надеется, что все образуется.

— Вы позвоните через пару дней, — обнадеживающе закончил он разговор.

Я несколько успокоился. Такой оперативности, признаться, я не ожидал. Очевидно, думал я, поскольку Брежнев раньше много занимался нашими делами, он хорошо знает и наше ОКБ, и меня. Наверное, все образуется.

Я «услужливо» забыл разговор у Кириленко и то, что после 1964 года Брежнев стал совсем не тем.

Через два дня Александров, помявшись, сказал мне по

телефону, что он доложил мою записку, но Леонид Ильич заниматься существом дела не стал, а сказал: «Это дело Устинова. Пусть он и решает».

— Вы позвоните Дмитрию Федоровичу, вот телефон его помощника, — закончил разговор Александров.

Устинову я звонить не стал. Такой ответ Брежнева означал однозначный и пренебрежительный отказ. О том, что с Устиновым наша организация, а следовательно, и я были не в лучших отношениях, Брежнев прекрасно знал.

Рассказав все Челомею и выслушав, как я понимаю теперь, его не совсем искренние соболезнования, я набрал продиктованный мне номер телефона директора организации, где мне отныне предстояло работать, Бориса Николаевича Наумова. [62]

Секретарь соединила меня мгновенно. В ответ на мои сбивчивые объяснения Наумов дружелюбно сказал, что ему все известно и он обо мне наслышан, а потом выразил уверенность, что я найду себе дело по душе. Предложил приехать. Через два часа я подъезжал к своей будущей обители. Через проходную прошел в небольшой двор, в котором одиноко стояло пятиэтажное школьное здание. После гигантской территории нашего ОКБ и его многочисленных многоэтажных корпусов организация выглядела затрапезно.

Пройдя через раздевалку, я поднялся на второй этаж. Полная белокурая секретарша приветливо улыбнулась:

— Сергей Никитич? Борис Николаевич ждет вас. Проходите.

В кабинете меня встретил большой, весь как бы состоявший из улыбки человек. Он излучал благодушие.

Я стал рассказывать, стараясь быть покороче.

— Подождите, — перебил он меня, — если можно, поподробнее. Я много слышал о вашей деятельности. Любочка, чайку и ни с кем не соединяйте. Ни с кем, — скомандовал он секретарше в переговорное устройство.

За чаем мы проговорили часа два. Я рассказал о себе, о Челомее, кое-что о работе. Что можно. Наумов был весь внимание и любезность. Задавал вопросы, уточнял — видно было, что все это ему чрезвычайно интересно.

На прощание Наумов подбодрил меня, сказал, что на новом месте мне скорее светит поездка в Париж, чем на ракетный полигон в пустыне, и посоветовал обдумать, какая область научной деятельности мне больше по душе — он возьмет меня в подразделение, которое я выберу, на должность заведующего отделом.

— Такое указание я получил, — уточнил он.

Решили встретиться через пару дней. С июля 1968 года я начал работать в Институте электронных управляющих машин. В силу склада характера и обстоятельств я постепенно снова оказался в гуще событий. Отрадным было то, что через год из ОКБ ко мне перебрались несколько моих коллег, с помощью которых удалось создать боевой коллектив.

Теперь, по прошествии многих лет, до меня дошло, что мой перевод от Челомея к Наумову — не козни Устинова или кого-нибудь еще, а сигнал отцу, предупреждение: если не забросит работу над мемуарами, они, то есть Брежнев с председателем КГБ Андроповым, могут прибегнуть к более строгим мерам. Сигнал растворился в пустоте — я его, в силу наивности, не понял, а отцу о смене места работы долго не говорил, не хотел его волновать.

Все эти бурные события отвлекли меня от помощи отцу в работе над мемуарами, но лето 1968 года оказалось непродуктивным и у него. Только осенью отец приступил к диктовке. Дело шло туго, он выбился из ритма, забыл, что намечал. Опять мы обратились к составленному вначале плану. Выбирали тему на неделю и в следующий выходной подводили итог.

Сначала отец сердился, отвечал на мои расспросы о том, что надиктовано за истекшую неделю привычным «Не приставай!». Но постепенно работа оживилась, и надобность в моих приставаниях отпала.

1969 год наступил мирно. «Наверху» о нас не вспоминали. Отпор, встреченный Кириленко, возымел свое действие, и с отцом, видимо, решили не связываться. Все шло по установившемуся распорядку — работа над мемуарами, огород, прогулки, фотографирование, опять мемуары, телевизор, чтение. И так изо дня в день. Весной отец работал так же интенсивно, как и в поза прошлом году, когда мемуары только начинались.

Мы несколько успокоились, но, как оказалось, напрасно. Мемуары отца не выпадали из-под бдительного наблюдения. Все это в полной мере проявилось на следующий год.

Летом произошло событие, внешне, казалось, никак не связанное с темой этого повествования, но в силу ряда обстоятельств вдруг вмешавшееся в работу над мемуарами и оказавшее серьезное влияние на нашу дальнейшую деятельность.

Моя младшая сестра Лена с детства тяжело хворала. Еще ребенком, вернувшись с юга, она заболела системной волчанкой — тяжелым, непонятным современной медицине и неизлечимым недугом.

Чего только не предпринимали мама и отец! Обращения и к светилам науки, и к народной медицине не дали результатов —

болезнь прогрессировала.

Во второй половине 60-х годов состояние ее серьезно ухудшилось. Лена уже не могла работать, с трудом ходила. Однако мужество и оптимизм позволяли ей возиться на даче с пчелами, цветами. Летом после очередного обострения Лену забрали в больницу. Болезнь вступила в новую грозную стадию — ей свело руки и ноги, она не могла ходить. Положение было очень тяжелым. Московские светила академик Тареев, профессор Смоленский, профессор Насонова давно наблюдали сестру, лечили ее, но улучшения не было. Они оказались бессильны.

Лева Петров — муж моей племянницы, проработавший несколько лет корреспондентом АПН в Канаде и уверовавший в западную медицину, предложил проделать анализы за границей — вдруг там существуют диагностика и лечение, о которых мы и не подозреваем. Лечащие врачи отнеслись к этой идее скептически, но не возражали. Они знали: положение безнадежное, а в такой ситуации принято давать родным полную свободу. Встал вопрос, как реализовать идею практически. Тут представился случай.

Повстречавшись в те дни со своими друзьями, Володей Барабошкиным и будущим академиком-математиком Ревазом Гам крелидзе, я в разговоре посетовал на возникшую проблему. Немного подумав, Реваз предложил:

— По-моему, выход есть. Сейчас в Москве гостит делегация американских математиков. Я поговорю с ними — может быть, кто-то из них возьмет на себя труд организовать обследование в одном из госпиталей в Америке.

И хотя мне совсем не хотелось связываться с иностранцами, я бы предпочел, чтобы эту миссию взял на себя кто-нибудь из своих, но выбирать не приходилось. Через несколько дней Гамкрелидзе принимал американских гостей у себя дома. Был приглашен и я. Там я познакомился с доктором Джереми Стоуном, занимавшим какой-то значительный пост в Американской национальной академии. «Этот человек может тебе помочь», — сказал Реваз.

Мы разговорились. Стоун, оказывается, был близок к покойному президенту Кеннеди, тепло отзывался об отце. Реваз уже рассказал ему о моих проблемах, и тот был готов не только взять на себя хлопоты с анализами, но вызвался разыскать и, более того, попробовать прислать в Москву врача, специалиста по коллагенозам. Так по-научному называлось заболевание моей сестры. Перед отъездом доктор Стоун забрал препараты для анализа и обещал вскоре позвонить.

Через пару недель он сообщил, что один из крупных

американских специалистов в этой области (я забыл его фамилию) сейчас находится в Европе. Стоун договорился с ним, что в случае предоставления ему туристской визы он заедет в Москву. Вопрос требовалось решать быстро, в течение одного-двух дней. Поездка американского медика по Европе подходила к концу. Из Вены он должен был направиться домой.

Честно говоря, до этого звонка я не принимал всерьез разговоры о приезде иностранного врача, это не укладывалось в привычное восприятие советского гражданина, сообщение обрушилось на меня как снег на голову. Первым позывом было поблагодарить и отказаться, но я вспомнил, что это, может быть, последний шанс, и решился…

Но как мне организовать в моем положении визу вообще? Да еще за пару дней? Правильное решение пришло неожиданно — надо действовать через «верха». Единственный человек, который может помочь, — министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко. Я не сомневался в его порядочности, но не сбрасывал со счетов и его крайнюю осторожность.

Мы жили в одном доме. Тоже немаловажное обстоятельство, облегчающее возможность встречи. Набравшись смелости, вечером я позвонил ему домой и попросил разрешения зайти по очень важному делу.

Конечно, мой звонок удивил его, и вряд ли просьба о встрече его обрадовала, но внешне это никак не проявилось. Он спокойно и благожелательно, как будто мы переговаривались за эти годы не раз, предложил зайти прямо сейчас. Я спустился на этаж, где он жил. Громыко принял меня в холле своей большой квартиры. С ним была его жена Лидия Дмитриевна.

Я коротко изложил суть дела. Андрей Андреевич хорошо знал нашу семью, был осведомлен о болезни сестры. Мою просьбу он воспринял положительно и проговорил своим густым голосом, напирая на «о»:

— Ну что же, это дело гуманное. Я постараюсь помочь. Позвони мне завтра. Лидия Дмитриевна, постоянно оберегавшая его от возможных неприятностей, вставила:

— Андрюша, сам ты этот вопрос решить не сможешь. Это надо согласовать. Андрей Андреевич не отступился и повторил:

— Позвони мне завтра.

Он лучше всех знал, как это делается и что и с кем надо согласовывать.

Аудиенция закончилась.

Назавтра я позвонил ему в МИД. Я не ошибся в Громыко, в его лучших человеческих качествах — еще до моего звонка вопрос был решен положительно, и телеграмма о выдаче визы

американскому профессору ушла в Вену.

Однако дело сорвалось. Врач, видимо, испугался поездки в незнакомую Москву. Как бы там ни было, от визы он отказался и отбыл из Вены домой. Обо всем доложили Громыко, и, когда я дозвонился к нему со словами благодарности, он сказал, что готов помогать, если понадобится, в этом деле и в будущем.

Как мне рассказали впоследствии, Громыко по собственной инициативе дал телеграмму послу в США А. Ф. Добрынину с просьбой оказать содействие, если к нему обратятся по поводу визы для американского врача. Он сделал много больше того, о чем я его просил.

Я позвонил Стоуну в США и рассказал о случившемся. Он не унывал. Заверил, что найдет новое решение.

— Я был в вашем посольстве, там обещали отнестись благоприятно. Это главное, — закончил он.

О телеграмме Громыко мы тогда еще не знали. Через несколько дней опять позвонил Стоун: нужный врач нашелся. У него большой опыт и знания. Долгое время он был личным врачом Джавахарлала Неру. К тому же он крупнейший в мире специалист в области коллагенозов. Готов поехать в Советский Союз. Приедет с женой. У него умерла теща, жена очень переживает, и они будут рады сменить обстановку.

— Вопрос с визой улажен. В нашем посольстве мне сказали, что выдадут ее без задержки. В качестве гонорара тебе придется оплатить проезд и его пребывание в Москве, а также обеспечить культурную программу, — закончил Стоун.

Я с радостью согласился. Формальности быстро уладились, и в конце октября я встретил в Шереметьеве невысокого худенького доктора Харвея и его супругу. В Москве было морозно, лежал снег. Разместились они в гостинице «Националь».

Неожиданно возникли осложнения с консилиумом — Тареев и Смоленский уклонялись от встречи с американцем, с большим трудом их удалось уговорить. После внимательного осмотра и оценки всех имеющихся результатов — наших и американских — профессор Харвей пришел к тому же заключению, что и советские врачи. С того момента отношения между ними заметно улучшились.

Американский специалист несколько приободрил нас: он считал, что положение не такое уж тяжелое, как можно было ожидать. Болезнь еще можно сдержать, более того — прожить до глубокой старости. К сожалению, она неизлечима, ее не умеют лечить ни в Америке, ни в Европе.

Лена не дожила до глубокой старости. Она умерла в 1972

году. Ошибался профессор или успокаивал нас, следуя медицинской этике, сейчас уже не узнаешь.

После первого консилиума назначили дополнительные анализы, а по получении их результатов — новую встречу. Харвей попросил дополнительно прислать пробы крови сестры в его лабораторию в США — там есть возможность воспользоваться современнейшими приборами, тогда, возможно, будут получены новые результаты. Однако по выражению его лица было видно, что ничего нового он не ждет. Для него все было ясно.

Не скрою, я был несколько разочарован и обескуражен — столько хлопот, фантастических усилий, а чуда не произошло. Профессор лишь подтвердил то, что мы слышали раньше.

Культурная программа сложилась удачно. Гости посетили театры, музеи, Дворец съездов, Оружейную палату, дня на два съездили в Ленинград. Через канцелярию Патриарха удалось организовать экскурсию в Загорск (сейчас Сергиев Посад) с показом сокровищ и парадным ужином.

Приставленная к ним Интуристом переводчица никак не могла понять, кто мы такие. Я и муж Лены — Витя — старались не оставлять гостей одних. Особое ее недоумение вызывало, когда мы время от времени увозили их куда-то. А ездили мы на консилиумы: видимо, эти поездки казались ей подозрительными.

Пребывание Харвеев в Москве подходило к концу. Отец, отдавая дань вежливости, пригласил их в гости. Посоветовавшись с Витей — отца мы об этом не спрашивали, — решили на дачу переводчицу не брать. Никаких особых соображений не было, просто не хотелось тащить в дом постороннего человека.

В тот день, придя утром в гостиницу, мы сказали переводчице, что забираем гостей на весь день, и она свободна. Переводчица обиделась, но мы не придали этому значения. В соответствии с намеченной программой сначала поехали в Архангельское, осмотрели дворец. Пообедали в местном ресторане. Только тут мы сообщили Харвеям, что неподалеку расположена дача Хрущева и он хотел бы повидаться с ними, если они не возражают. Предложение было с благодарностью принято.

По случаю приезда гостей отец переоделся в пиджак. Таким мы его давно не видели, обычно он ходил в домашней куртке. Встретил он гостей радушно. Видно было, что Харвей произвел на него благоприятное впечатление и ему было приятно принимать его в своем доме. Мама пригласила всех к столу — к приезду гостей приготовились. Мы этого не учли, так что пришлось обедать во второй раз.

За столом речь шла не только о медицинских делах. Отец сначала поблагодарил Харвея за согласие приехать в Москву для

консультации. Затем традиционно речь зашла о русской зиме. На дворе лежал глубокий снег. Как и следовало ожидать, дальше беседа перешла на советско-американские отношения. Отец вспомнил о своих визитах в США. С теплотой отозвался о стране и ее народе. Рассказал о встречах с президентом Эйзенхауэром. Беседа была непринужденной. По торжественному случаю отец позволил себе даже выпить с гостями рюмочку коньяка за дружбу между нашими народами.

У отца были две любимые рюмки — одна высокая, узенькая, граммов на пятнадцать, я ее помню еще по Киеву, а другая большая, солидная. Ею он любил похвастаться, также как и не мецким чайным стаканом с ручкой. Внутри она была заполнена стеклом, и для жидкости оставалось несколько миллиметров наверху. Издали рюмка выглядела налитой до краев. Эту рюмку ему подарила в один из приездов в гости к нам на дачу жена американского посла Джейн Томпсон, сказавшая, что господину Хрущеву часто приходится бывать на приемах. Эта рюмка очень удобна, когда приходится часто выпивать. Отец нередко пересказывал эту историю, демонстрировал рюмку. Не обошлось без этого и на сей раз.

После обеда все вышли на крыльцо, уже темнело. Харвей сделал снимки на память. Фотографировались мы и за столом.

Естественно, что в разговорах ни словом не упоминались мемуары. Харвей о них просто не знал, а отцу такое не могло прийти в голову. Уже затемно мы вернулись в гостиницу. Гости были чрезвычайно довольны приемом у бывшего премьера, просили передать самую сердечную благодарность.

Мы и не подозревали, какие тучи сгущались над нашей головой.

Пребывание в Советском Союзе Харвеям пришлось по душе. Мадам пришла в себя, повеселела. Приближался праздник 7 ноября. С самого начала я уговаривал их задержаться на пару дней, посмотреть парад и демонстрацию, они в конце концов согласились и решили перенести отлет с 6 на 8 ноября. «Аэрофлот» без хлопот переоформил билеты.

О том, что гости уезжают шестого, знали все. Рассказал я об этом и Луи, точнее, при очередной встрече вскользь упомянул, что приехал американский профессор, пробудет до 6 ноября, в эти дни я буду занят и мы не увидимся. Упомянул и забыл. Перенос же отъезда прошел незамеченным. Да и кого это могло интересовать — днем раньше, днем позже. Естественно, ничего я не сказал Луи, мне было не до него, да и какое ему дело до даты отъезда американского профессора? На деле же оказалось, что этим двум дням была уготована особая роль.

Билеты на Красную площадь для Харвеев достать не удалось, но я их успокоил — окна «Националя», где разместились наши гости, выходят на улицу Горького, и мы увидим почти все, не выходя из номера. Я собирался принести портативный телевизор, по нему мы могли следить за событиями на Красной площади. В те времена далеко не во всех гостиничных номерах имелись телевизоры.

В гостиницу в день праздника нужно было попасть рано, до 7 часов утра, потом без пропусков не пробиться. У меня с собой набралось много вещей: кроме телевизора, еще два самовара, наши сувениры Харвеям и Стоуну. По случаю праздника все сидели по домам, занят был и Витя. Мне вызвался помочь приятель. В последний момент я захватил с собой и какую-то книгу, чтобы на случай, если гости спят, почитать в холле.

Харвеи нас ждали. Мы выпили кофе и стали рассматривать самовары, в этот момент пришла дежурная и предупредила, что во время парада в номере находиться нельзя. Надо покинуть гостиницу и выйти на улицу. Объясняться она не стала, но мы особо не расстраивались — настроение было праздничное.

Все отправились смотреть парад к крыльцу гостиницы. Простояли на холоде довольно долго и замерзли.

После военного парада разрешалось вернуться в свои номера. Харвеи были очень довольны, оживленно обменивались впечатлениями, шутили. Мистер Хар-вей рассказывал о своих впечатлениях, предвкушал, какие интересные снимки из России он сможет показать друзьям дома. Чтобы согреться, заказали в номер бутылочку армянского коньяка, какую-то закуску. Включили телевизор. Было уютно и мирно. Вскоре предстояла последняя встреча доктора Харвея с его пациенткой, последние советы. Вечером наши гости собирались в Большой театр, а завтра — домой.

— Всем оставаться на своих местах! У нас есть сведения, что вы занимаетесь деятельностью, наносящей ущерб Советскому государству! Не двигаться! — услышали мы грубый окрик.

Через широко распахнувшиеся двери в номер влетели несколько мужчин. Их сопровождала женщина-администратор.

Старший предъявил удостоверение сотрудника КГБ на имя Евгения Михайловича Расщепова… Уже более спокойно он повторил:

— В связи с вашей антигосударственной деятельностью мы должны провести у вас обыск. Предъявите документы и оставайтесь на своих местах.

Ордера на обыск предъявлено не было. Я о такой необходимой формальности забыл, а Харвеи просто не знали,

какие у нас правила. Подтверждались самые мрачные рассказы о порядке в Советской России — наверное, в этот момент они пожалели, что согласились на это путешествие.

Профессор пришел в себя раньше других и вежливо, но твердо потребовал, чтобы ему позволили связаться с посольством Соединенных Штатов. В просьбе было решительно отказано.

Нас поставили лицом к стене, обыскали. Вытащили из карманов все личные вещи, внимательно их осмотрели. Затем начали тщательный обыск гостиничного номера и багажа наших гостей.

Придя в себя, я поинтересовался, что же они ищут. Расщепов не удостоил меня ответом.

Переворошили кровати, чемоданы, перерыли все шкафы, тщательно исследовали унитаз, перелистали принесенную мной книгу. Заинтересовались и телевизором, хотели его разобрать. Я это делать отказался, а сами они не решились, удовлетворившись внимательным исследованием содержимого через решетку в корпусе. Решительности у незваных гостей поубавилось, а человек, шаривший в унитазе, зло бросил: «Нет ничего. Опоздали. Успели передать».

Зазвонил телефон — это могли звонить по поводу билетов в Большой театр или мама, с которой Харвеи вскоре должны были встретиться. «Не двигаться, трубку не снимать», — рявкнул Расщепов. Сам он тоже к телефону не подошел.

Тут ожил мой приятель: «А это не то, что вы ищете?» — он показал на какую-то бумажку, торчавшую из замочной скважины в двери.

Расщепов свирепо посмотрел на него. «Я же не знаю, что вы ищете. Хотел помочь», — оправдывался мой друг.

Наконец Расщепов соизволил ответить на мой вопрос.

— Этот человек — агент ЦРУ. Он занимается шпионской деятельностью, — многозначительно поведал он.

Самое интересное, что я поверил!.. Не до конца, но поверил…

Обыск закончился безрезультатно, если не считать отобранных у гостей фотопленок, которыми так дорожил доктор Харвей. Наши «посетители» чувствовали себя уже просто неуютно, тон резко изменился. Расщепов принес свои извинения. Сказал, что они только выполняли свой долг. Затем пригласил всех нас сесть к столу и начал что-то писать. Это оказалась короткая расписка, в которой говорилось, что мы, такие-то и такие-то, не имеем претензий к органам госбезопасности в связи с произведенным обыском.

Мы с приятелем были ошеломлены случившимся, счастливы, что все «благополучно» кончается, и согласно кивнули. Вслед за

нами неохотно согласились и американцы. Правил игры в нашей стране они не знали.

Расщепов попросил меня переписать расписку своей рукой. Я механически подчинился. Все расписались. «Гости» удалились. Меня Расщепов потянул за собой в коридор:

— Вы понимаете, мы выполняли свой долг. Это опасные люди, — повторил он. Я кивнул.

— Пленки, если на них нет ничего недозволенного, мы вернем им завтра утром проявленными, а вам я позвоню на днях, — голос его стал тверже. — Прошу вас не приглашать их ни под каким видом к себе домой. До свидания.

Я вернулся в номер. Приятель мой торопливо попрощался и ушел. Подавленные, мы уселись вокруг стола. Не знаю, кто из нас был расстроен больше. Я стал успокаивать Харвеев, плести, что де у всех случаются ошибки. Службы должны выполнять свои задачи, но могут и ошибаться.

Видимо, мои слова звучали не очень убедительно. Да и вид оставлял желать лучшего. Харвей, в свою очередь, стал успокаивать меня:

— Господин Хрущев, я проработал несколько лет в Перу. Видел там и не такое. Вы не переживайте. Я понимаю, вы не хотели бы огласки, ручаюсь вам, я не буду дома делать никаких сообщений для прессы.

Огласки я действительно не хотел и благодарно улыбнулся. Постепенно мы успокоились, но Харвею не сиделось в номере.

— Мне противно прикасаться к этим вещам. Давайте уйдем отсюда. И ваша мать и сестра… Ужасно, что им надо прийти сюда. Давайте перенесем встречу к вам на квартиру, — попросил он.

Я помнил прощальные слова Евгения Михайловича: «Ни под каким видом…» Нарушить их я не смел ни под каким видом, а потому промямлил:

— У меня там не прибрано, и мама собиралась приехать сюда. Давайте не менять планы.

Он все понял, грустно улыбнулся одними глазами.

До приезда мамы мы просидели молча. Каждый думал о своем. Последние разговоры с мамой и Леной прошли скомканно, во всяком случае, мне так показалось. Мысли мои были заняты недавним происшествием. О «гостях» мы не говорили. Не рассказывал я о визите и потом, не желая зря волновать близких, неприятностей и так хватало. И отец, и мать, и сестра ушли из жизни, так и не узнав о происшедшем тогда.

Перед расставанием Харвей напомнил, что хорошо бы сделать в его лаборатории еще один анализ крови, и попросил

переслать кровь с оказией.

Наутро мы с Витей провожали гостей. Пленки, как и обещал Расщепов, Харвеям утром вернули проявленными, «испортив» только одну, отснятую на даче у отца.

Хозяйственный и педантичный Витя тщательно запаковал самовары, чтобы они выдержали неблизкую дорогу.

Но не тут-то было.

На таможне чемоданы Харвеев вывернули буквально наизнанку. Их начали трясти в общем зале, потом увели куда-то, наверное, для обыска. В старом Шереметьевском аэропорту всю процедуру досмотра было хорошо видно через решетчатую загородку, разделяющую зал. Самовары нам вернули, сказав, что без сертификата Министерства культуры их не выпустят. Необходимо заключение о том, что они не представляют художественной ценности.

Издерганные и измученные, Харвеи наконец вздохнули с облегчением и, помахав нам на прощание, отправились к самолету. Для них «русское приключение» кончилось. А у нас оставались еще незаконченные дела. Надо было найти способ передать Харвею кровь на анализ.

Сначала все казалось простым. В начале декабря в Вашингтон улетал Юлий Воронцов, бывший сокурсник Серго Микояна, а в то время заместитель советского посла в США Добрынина. Я с ним был в некоторой степени знаком. Воронцов охотно согласился выполнить мою просьбу. Тем более что он принимал участие в организации поездки Харвеев в Москву.

Неожиданно возникли осложнения. Жена Воронцова Фаина встревоженно и удивленно сказала мне буквально накануне отъезда:

— Небывалое дело! Нас специально собрали в МИДе и предупредили: ни у кого не брать передач в Штаты. Не знаю, что и делать.

Правило, запрещающее перевозить посылки от третьих лиц, существовало всегда, но на него обычно смотрели сквозь пальцы. В чем тут дело, мне в отличие от Фаины стало понятно сразу — ведомство Расщепова ставило новый барьер. Имелись в виду не передачи от третьих лиц, а конкретно от меня, поскольку анализ крови мог быть только предлогом, а там…

Мне все же удалось убедить Воронцовых. Термос с кровью они взяли, и он попал по назначению.

Через несколько дней я созвонился с Харвеем. Он сказал, что ничего нового не нашел. Результаты анализа он выслал по почте. Больше наши пути не пересекались. Дозвониться до США мне тоже не удавалось. Буквально на следующий день автоматический

набор номера при международных переговорах перестал действовать, а московская телефонистка день за днем меланхолично извещала меня, что все линии на Америку заняты и когда освободятся — неизвестно. Догадавшись, в чем дело, я прекратил попытки. Результатов анализов я, конечно, не получил. Видимо, они хранятся в архиве КГБ в моем досье.

Вскоре пустили слух, что за свой визит в качестве гонорара Харвей запросил с отца мемуары, и тот согласился. Правда, опубликованные на Западе (и на Востоке) книги содержат тексты, относящиеся к периоду уже после отъезда Харвеев, но это обстоятельство оказалось возможным не принимать во внимание.

Не вызывает сомнения, что все происшедшее не случайность и не результат рутинной подозрительности КГБ ко всем иностранцам. Ключом к отгадке служит день обыска — 7 ноября. В тот момент, когда Расщепов со своей командой вломился в двери номера, который занимали Харвеи, согласно первоначальному плану, гости должны были находиться вне досягаемости, лететь домой.

Напрашивается вывод, что информацию в КГБ «своевременно» подбросил кто-то, кто знал о дате вылета, но не знал о ее переносе. Какую цель преследовал донос? Появлялся простой ответ на вопрос, как мемуары отца попали за рубеж. Ответ, не поддающийся проверке.

В подобном объяснении нуждались все: и те, кто переправлял материалы, и те, кто прикрывал акцию. Кому-то в КГБ оно давало официальную возможность не начинать расследование или, на худой конец, вовремя его прекратить. Кто персонально был автором этой авантюры, не могу сказать.

В конце декабря я вновь встретился с Евгением Михайловичем Расщеповым. Он еще раз предупредил меня, что и Стоун, и Харвей — матерые разведчики. Если я замечу что-либо подозрительное, то должен немедленно сообщить ему, для чего оставил свой телефон.

Ноябрьские происшествия доставили много неприятностей не только нам, но и тем, кто помог пригласить Харвея, и совсем посторонним людям. Гамкрелидзе перестали выпускать за рубеж, а Стоуна — пускать в Советский Союз. Только с началом перестройки эти запреты были сняты, и я с удовольствием прочитал в прессе, что на приеме у Михаила Сергеевича Горбачева в числе других американских ученых был и доктор Стоун. Времена переменились, и он больше не считался «матерым агентом ЦРУ».

До меня дошла информация, что пострадали ни в чем не повинные люди в нашем посольстве в Вашингтоне,

содействовавшие оформлению въездных документов Харвеев. Думаю, досталось и Андрею Андреевичу Громыко. Ведь это он санкционировал приглашение врача. Извиниться перед ним мне не представилось возможности. И это меня очень огорчает.

Моих знакомых, в то время служивших в органах госбезопасности, оттуда уволили, хотя ни о Стоуне, ни о Харвее они слыхом не слыхивали. Правда, их пристроили на неплохие места в другие ведомства.

Хочу принести всем этим людям запоздалые извинения.

Самовары по назначению так и не попали. Витя долго не мог получить сертификат, его мурыжили, гоняли из кабинета в кабинет. При очередной встрече с Расщеповым я вскользь упомянул об отправке в Америку самоваров и Витиной одиссее. Реакция его была для меня неожиданной, он весь посерел и зло бросил: «И дались вам эти самовары. Что вы так рветесь отправить их своим американцам?»

Стало ясно, что уверенность, будто это не простые самовары, сохраняется. В Америку им не попасть. Чего уж боялись наши опекуны, я не догадался. Может быть, они подозревали, что в них упрятаны микропленки…

В 1969 году мемуары стали осязаемы. Это были уже не отдельные листки или главы. У нас в руках была отредактированная мною рукопись объемом около тысячи машинописных страниц, охватывающая период от начала 1930-х годов до смерти Сталина и ареста Берии. К ней примыкали описания отдельных эпизодов жизни отца: Карибский кризис, XX съезд КПСС, Женевская встреча глав четырех держав (СССР, США, Великобритании и Франции) 1955 года, размышления о Генеральном штабе, о военных мемуарах, о взаимоотношениях с Китаем и некоторые другие. Все это умещалось в нескольких папках.

Летом 1969 года отец еще раз перечитал отредактированные мной материалы, сделал новые замечания. Далеко не все ему понравилось, особенно литературная сторона.

Я решил найти настоящего писателя, который взялся бы за обработку. Труд большой, и далеко не каждый на него способен. Да и отец был не той фигурой — работа с ним не могла принести в те времена моральных или материальных дивидендов.

Я дружил с известным сценаристом Вадимом Васильевичем Труниным и как-то рассказал ему о возникших проблемах. Вадим предложил взять на себя литературную обработку, заметив, что, хотя это огромный труд и такая работа оплачивается очень дорого, он сделает ее бесплатно. Выход был найден. Я отдал

Вадиму выправленный мною экземпляр. Прочитав его, он попросил исходные тексты. Я дал. Мою редактуру Вадим разгромил в пух и прах. Сказал, что все придется переделывать заново.

Мне стало немного обидно, я положил на это столько сил и времени, но понимал, что с профессионалом тягаться трудно. Трунин приступил к работе. Я тоже не забросил свою деятельность и продолжал править поступающие от Лоры страницы.

Когда я рассказал о своей договоренности с Труниным, отец несколько обеспокоился:

— Ты уверен, что он не агент? Как бы все, что попало к нему в руки, не исчезло.

Я заверил, что знаю Вадима давно — он честный, проверенный человек, мой друг, с симпатией относится к отцу. Отец успокоился, положившись на меня.

Замечу, что из нашей работы в те времена я не делал тайны, считая, что поскольку власти знают из подслушивания о диктовке, то нечего разводить конспирацию. С Лорой, которая к тому времени поменяла работу, мы регулярно перезванивались, обсуждая по телефону все рабочие вопросы.

В новом, 1970 году в жизни отца практически ничего не изменилось, казалось, о нем забыли. Наряду с другими привычными занятиями он продолжал диктовать. Правда, здоровье его несколько ухудшилось: он заметно ослабел. Владимир Григорьевич Беззубик, регулярно осматривавший отца, предупредил нас, что у него развился сильный склероз.

— Так можно прожить еще много лет, — произнес он стандартную успокаивающую фразу, за которой обычно следует грозное предупреждение, — а можно и умереть в любой момент. Медицина тут бессильна.

Отец к болезням не прислушивался, старался не обращать внимания на недомогания. С приходом весны он приступил к весенним хлопотам: наметил провести от дома вниз, на луг, водопровод, тем самым решить проблему полива огорода. Как и все свои дела, начал он эту работу увлеченно, отдался ей до конца. Целый день таскал трубы, обматывал резьбу на стыках льном, мазал краской, свинчивал. Работа приносила ему радость. Шутил, как и прежде: «Моя слесарная профессия пригодилась. Вы так не сумеете. И чему вас учили?»

Мемуары с наступлением погожих дней он почти напрочь забросил. А тем временем над нашей головой сгущались новые тучи. Как стало известно только теперь, еще в марте, а точнее 25-го, Андропов направил в Политбюро строго секретную записку.

Речь шла о мемуарах отца:

«В последнее время Н. С. Хрущев активизировал работу по подготовке воспоминаний о том периоде своей жизни, когда он занимал ответственные партийные и государственные посты. В продиктованных воспоминаниях подробно излагаются сведения, составляющие исключительно партийную и государственную тайну, по таким определяющим вопросам, как обороноспособность Советского государства, развитие промышленности, сельского хозяйства, экономики в целом, научно-технические достижения, работа органов госбезопасности, внешняя политика взаимоотношения между КПСС и братскими партиями социалистических и капиталистических стран и другие. Раскрывается практика обсуждения вопросов на закрытых заседаниях Политбюро ЦК КПСС.

При таком положении крайне необходимо принять срочные меры оперативного порядка, которые позволяли бы контролировать работу Н. С. Хрущева над воспоминаниями и предупредить вполне вероятную утечку партийных и государственных секретов за границу. В связи с этим полагали бы целесообразным установить оперативный негласный контроль над Н. С. Хрущевым и его сыном Сергеем Хрущевым… Вместе с тем было бы желательно, по нашему мнению, еще раз вызвать Н. С. Хрущева в ЦК КПСС и предупредить об ответственности за разглашение и утечку партийных и государственных секретов и потребовать от него сделать в связи с этим необходимые выводы…»[63]

В поведении Андропова много неясного. О передаче копии магнитофонных пленок на Запад, если верить Луи (а я ему верил), он знал с самого начала. И вдруг такой поворот?! Видимо, происшедшее со Стоунами испугало Андропова, и он решил подстраховаться. Однако те люди, которые содействовали нам, новых распоряжений не получили. В дело включились новые-старые игроки из иного департамента. Но об этом чуть позже.

…29 мая стояла июльская жара. Работалось отцу тяжело, но пришла пора прополки и рыхления. Отец взял тяпку, пошел на огород, возился там до середины дня. Днем вернулся, обедать не стал, пожаловался, что плохо себя чувствует, болит сердце. Походил по дому, надеясь, что боль пройдет. Не прошла. Вызвали врача. Владимир Григорьевич констатировал тяжелейший инфаркт. Отца немедленно отвезли в больницу на углу улиц Грановского и Калинина, в трехэтажное серое здание напротив Государственной библиотеки. Начались беспокойные дни неопределенного ожидания.

Владимир Григорьевич объяснил, что в больнице отцу

пробыть придется долго, несколько месяцев, но критичны первые десять дней. Может случиться все что угодно, и он может умереть в любую минуту. «Мы делаем все возможное», — закончил он стандартной фразой. Несмотря на казенность, его слова подействовали на меня успокаивающе. Пользуясь своими правами главного врача больницы, он выписал мне пропуск, позволявший ежедневные посещения в любое время. Предупредил только, что отца нельзя волновать. Волнение может пагубно сказаться на течении болезни.

Ежедневно, когда днем, когда вечером, я приходил к отцу и проводил у него час-полтора. Дни стояли жаркие, но в палате было прохладно — работал кондиционер. Старое здание, построенное еще в начале тридцатых годов для Лечсанупра Кремля, недавно капитально переоборудовали.

Отец лежал неподвижно на спине, читать ему не разрешали, и он предавался размышлениям. Я пытался развлечь его, рассказывал разные домашние новости, говорил о том, как идет работа над мемуарами, что делаю я, а что Трунин.

Рядом с кроватью стоял прибор, провода от него тянулись к больному, а на экране непрерывно бежала ломаная зеленая линия кардиограммы. В палате постоянно дежурила сестра — состояние больного считалось тяжелым. Только когда я приходил, она ненадолго покидала палату.

Отец не любил, как он говорил, пустого времяпрепровождения. К нему он относил и мои визиты. Начинал притворно сердиться:

— Ну чего ты сюда ходишь? Тебе что, делать нечего? Тратишь свое время и мне мешаешь. Я здесь постоянно занят: то капельницу ставят, то укол делают, то врачи с осмотром приходят, то температуру меряют. Времени скучать не остается.

Но по выражению лица было видно, что приходы мои ему приятны. Навещали его, конечно, и мама и сестры.

Время шло, дела пошли на поправку. Разговоров о смерти больше не возникало. Я помнил предупреждение Беззубика беречь отца от всякого волнения, и потому мои разговоры с ним были преисполнены оптимизма.

Между тем события стали приобретать мрачные тона. Началась новая стадия охоты за мемуарами.

Первые предупреждения прозвучали весной, когда отец еще был здоров. Поначалу я не отнесся к происходящему с надлежащей серьезностью. Слишком все походило на плохой кинофильм. О том, что не все ладно, я узнал в конце апреля.

В нашем отделе работал Володя Лисичкин — симпатичный, улыбчивый молодой человек. Влетевший в тот солнечный

апрельский день в нашу комнату Володя выглядел необычайно растерянным. Оттащив меня в уголок, он без предисловий таинственным шепотом сообщил: «Ты знаешь, за тобой следят!»

Я не поверил. И хотя предыдущие события должны были приучить меня ничему не удивляться, подобное в голове не укладывалось. Следят за шпионами, уголовниками — они прячутся от закона. А чего следить за мной?

Мемуары? Без сомнения!

Володя продолжал:

— Ты час назад ехал по Ленинскому проспекту, там, в конце?

— Да.

— Вот видишь. Я спешил в редакцию на такси, надо было забрать рукопись с машинки. Водитель попался разговорчивый. Он и говорит: «Хочешь посмотреть, как следят за машиной? Вот эти две “Волги” ведут вон ту машину». Я посмотрел и обомлел — номера-то твои. Мы поехали следом, я все хорошо разглядел — одна машина тебя обгоняет, а другая отстает. Потом они меняются местами. Они за мемуарами охотятся? — со свойственным ему любопытством спросил он.

Все на работе знали, что свободное время я посвящаю редактированию записок отца. В вопросе Лисичкина ничего крамольного не было. Я не ответил, только поблагодарил за предупреждение.

Если бы не Лисичкин, мне бы и в голову не пришло следить за снующими вокруг меня на улице автомобилями. Все прошло бы незамеченным. Правда, мое знание ничего не изменило: прятать нечего, бежать никто не собирался. Свое поведение я решил не изменять. Не надо показывать моим преследователям, что они раскрыты.

Кто это, сомнений не было — Евгений Михайлович Расщепов действовал.

Я решил удостовериться в слежке. Меня разбирало любопытство. Отнесся я к сообщению, скажем прямо, по-детски. Серьезность ситуации до меня не дошла. Было очень интересно, как следят. Смогу ли я сразу заметить? Как выделить преследователей из потока машин?

В голове прокручивались эпизоды из детективных фильмов. Перед глазами стояли мужественный, чуть ироничный, не теряющий головы герой Банионисa и его преследователи из боевика «Мертвый сезон». С этим я и отправился на «охоту».

Поехал по Ленинскому проспекту, медленно, еще медленнее, не более сорока километров в час. Есть! Серая «Волга» с двумя антеннами держится сзади. При моей черепашьей скорости все меня обгоняют, а она тащится сзади, как приклеенная. Наконец

не выдерживает. Обгоняет и она. Запоминаю номер. Притормаживаю к обочине. Сзади голубая «Волга» с двумя антеннами не спеша сворачивает в переулок. Через минуту трогаюсь. Вперед почти не смотрю, только назад, в зеркало. Так и есть, знакомая «Волга» выползает из переулка.

Все это я продолжал воспринимать как игру. Ездить стал медленно и все искал, когда «она» появится. Чаще всего я опознавал наблюдателя, хотя часто под подозрение попадало несколько машин.

Были и трюки с переодеванием. Как-то в мае я ехал по набережной Яузы в МВТУ имени Баумана на лекцию, я там преподавал. Сзади подозрительная «Волга». Приглядываюсь — за рулем мужчина, рядом девушка в кофточке, гладко причесанная. Они или нет? Отрываюсь, сворачиваю налево, по Госпитальному мосту пересекаю Яузу и останавливаюсь на автостоянке возле училища. Вылезаю из машины, жду. Никого. Вдруг мимо проносится знакомая машина. За рулем та же девушка, но в свитере, волосы распущены. Молодой человек рядом. Девушку я узнал — это они! Удовлетворив любопытство, я отправился на лекцию.

Отцу я решил ничего пока не рассказывать, не желая волновать его. Повлиять на события он не мог, а прерывать работу над воспоминаниями не представлялось разумным. Тем более что такой шаг говорил бы о нашем испуге.

История продолжалась. На работе, видимо, произвели обыск. Заметил, что исчезла из ящика письменного стола снятая на даче кассета с кодаковской цветной пленкой. У нас в стране ее никто не брался проявлять, и она валялась там уже почти год. Решил сделать вид, что ничего не заметил. Спокойно, без суеты, задвинул ящик — может быть, среди моих соседей был осведомитель. Такое вовсе не исключено.

Вдруг приходит указание из дирекции — срочно проверить и доложить, не печатают ли машинистки на работе посторонние материалы. Видимо, решили устроить проверку в институте чужими руками, для конспирации, и не учли, что в нашем отделе она пойдет через его начальника, то есть через меня.

С чистым сердцем докладываю:

— Не печатают. Провел необходимую воспитательную работу.

Одна моя хорошая знакомая, машинистка по специальности, рассказала о начавшихся вокруг нее непонятных происшествиях. На днях она с полдороги вернулась домой (что-то забыла), а у двери копошатся незнакомые люди. Увидели ее и поспешно поднялись на этаж выше. Стали звонить в верхнюю квартиру. Я ее успокоил — пустые страхи, тебе померещилось.

Самому все стало понятно. Проверяют, хотят удостовериться, нет ли в квартире мемуаров. Их там нет…

Настроение с каждым днем становилось все более скверным. Пока ничего не нашли, но искать они умеют. В нашем же случае даже особого профессионализма не требуется. Скоро доберутся и до Лоры. Ведь именно у нее хранится то, что они так упорно ищут. Лора тем временем заболела и попала в больницу, вернее в расположенный на Садовом кольце неподалеку от Яузы спортивный диспансер. В диспансере она, конечно, не печатала. В конце июня я собрался ее навестить, чтобы заодно предупредить о происходящих событиях.

В тот день меня сопровождала голубая «Волга». Я заметил, как она остановилась у ограды больницы. Пассажиры остались в машине. Мы гуляли с Леонорой по парку, окружавшему старинное здание. Рассказал ей о происходящих событиях, стараясь не испугать. В заключение показал и машину, стоявшую за оградой.

— А я знаю эту машину, — вдруг перебила меня Леонора. — Я ее уже тут видела. Пару дней тому назад мы играли в настольный теннис. Вокруг были все свои. Поэтому я сразу заметила худощавого высокого мужчину в сером макинтоше и шляпе с большими полями. Выглядел он странно, прямо как детектив из кино. Он покрутился, долго смотрел на нас, а потом быстренько исчез. Раньше я тут таких типов не видела. Я тогда бросила играть и подбежала к забору. Смотрю, а там в голубенькой «Волге» сидит эта личность в шляпе и макинтоше. Он сразу же уехал. Точно, это та же машина, — перепугалась Лора.

Я решил ее успокоить:

— Ничего страшного. Поездят, поездят и перестанут. Ничего предосудительного мы не делаем. Если они хотят выяснить, кто печатает мемуары, пусть выясняют. В этом-то никакого секрета нет. Если бы вместо этого дурацкого детектива меня просто спросили, я бы им прямо ответил. Что скрывать?

На этом мы расстались. Сам я не был так спокоен, как хотел казаться. Что-то готовилось. Но что? Одно ясно — о Леоноре они уже знают.

Через несколько дней после моего визита к Леоноре мне в очередной раз позвонил Евгений Михайлович Расщепов. Он вежливо попросил о встрече — мол, надо выяснить кое-какие детали. Я не имел ничего против и легко согласился.

— Удобнее это сделать не у нас, — сказал Евгений Михайлович, имея в виду здание на площади Дзержинского. — Если вы не возражаете, мы будем вас ждать в гостинице «Москва».

Он назвал этаж и номер.

В такое место на встречу я шел впервые. Было любопытно и жутковато. Поднялся на этаж, дежурная указала нужную дверь, номер ничем не отличался от других виденных мною в этой гостинице люксов: спальня и гостиная, красные плюшевые занавески, запах пыли. Здесь явно давно не жили.

С Расщеповым пришел еще один человек. Он представился Владимиром Васильевичем. Во время разговора внимательно следил за каждым моим движением. Вопросы оказались будничными. Было видно, что ответы не очень интересуют моих собеседников. Всего я не запомнил, но кое-что показалось мне заслуживающим внимания.

— Нет ли у вас новых сведений о Стоуне и Харвее? Не поддерживаете ли вы связи с Харвеем? — начал спрашивать Евгений Михайлович.

Скрывать я ничего не собирался.

— От Стоуна известий не было. Думаю, у него хватает дел и без меня. А Харвею мы, как и договаривались с ним в Москве, послали на анализ кровь сестры. Пытался созвониться с ним — почти ничего не слышно, расслышал только, что результаты анализа он пошлет по почте. Однако никакого ответа я не получил. Нас это очень беспокоит. Речь идет о здоровье Лены.

Евгений Михайлович посочувствовал мне, но помощи не предложил.

— Скажите, Сергей Никитич, — спросил вдруг его коллега, — вы знаете человека по фамилии Армитаж? Он с вами не встречался?

— Человека с такой фамилией я когда-то встречал, не могу, конечно, сказать, что это тот, кто вас интересует. Одиннадцать лет назад, в 1959 году, когда я сопровождал отца во время его визита в США, представитель госдепартамета США Армитаж ездил со мной в Нью-Йорке в Бруклин. Там жил коллекционер бабочек, с которым я очень хотел повидаться. Бабочки — мое хобби, — пояснил я. — С тех пор я его не видел и ничего о нем не слышал.

Я был удивлен. При чем тут это? Надо сказать, что вопрос об Армитаже мне задавали и позже. Не знаю, чем он мог так заинтересовать моих собеседников в связи со мной. Даже если он из соответствующих служб, а в этом не было бы ничего необычного, со мной он общался только в рамках протокола. Правда, в сталинские времена и такой «связи» хватило бы за глаза. Как бы то ни было, Армитажа после 1959 года не встречал.

— Он сейчас работает в Москве, в посольстве, — продолжал мой собеседник. — Матерый разведчик, как и Стоун. Оба —

активные агенты ЦРУ. Если вдруг он на вас выйдет, сообщите нам немедленно.

Я согласился.

— Журналисты вами не интересовались? — осведомился Расщепов.

— Нет.

— Будут интересоваться — сообщите нам.

— Хорошо.

Вот, собственно, и весь разговор.

Только на прощание был задан главный вопрос, как бы походя, между прочим.

— Кстати, как идет у Никиты Сергеевича работа над мемуарами? — спросил Евгений Михайлович, а его спутник впился в меня взглядом.

— Спасибо, ничего. Сейчас он болен, в больнице, так что какая там работа. На этом мы расстались.

Прошло около двух недель. 11 июля 1970 года, в субботу, мы с женой собирались в гости к Володе Барабошкину. День близился к вечеру, когда раздался телефонный звонок.

— Сергей Никитич, здравствуйте. С вами говорит Евгений Михайлович. Нам очень срочно нужно с вами переговорить. Не могли бы вы с нами встретиться?

Встреча мне была вовсе не ко времени. Да и совсем недавно мы говорили, по сути дела, ни о чем.

— Евгений Михайлович, сегодня выходной. Вы меня застали случайно, я ухожу в гости. Давайте встретимся на следующей неделе.

— Нет, нет, — заторопился он, — дело чрезвычайной важности. Произошли некоторые события, я не могу говорить по телефону. Я вас очень прошу.

— Хорошо, — сдался я, — сейчас подъеду.

— Спасибо, — обрадовался Расщепов, — проходите прямо ко входу. Вас там встретят.

Действительно, у огромной металлической с причудливым литьем двери массивного, известного всем советским людям здания на Лубянке меня ждал недавний «собеседник» из гостиницы «Москва». Он провел меня мимо всех постов на нужный этаж. Зашли в небольшой кабинет Евгения Михайловича. Тут я уже бывал после истории с Харвеями.

Расщепов поднялся из-за стола. На лице расплылось само радушие. Поздоровались, сели. Мой провожатый устроился напротив меня. Все эти приемы уже стали знакомыми. Евгений Михайлович затянул старую песню. Обо всем этом мы подробно поговорили несколько дней назад. Опять о Стоуне, об Армитаже.

Как здоровье Никиты Сергеевича? Спросил что-то о мемуарах.

Я недоумевал, что ж тут срочного? Что случилось? Что им, делать нечего? Вслух я этого, понятно, не говорил, безмятежно отвечая на вопросы, и ждал, что же будет дальше.

— Сергей Никитич, с вами хотел поговорить наш начальник. Вы не возражаете?

— Нет, что вы. А кто?

— Заместитель начальника управления.

— Второго главного?[64] — Я демонстрировал свою осведомленность. Расщепов не ответил.

Мы вышли из кабинета. Поднялись по лестнице на несколько этажей. Постучавшись в плотно закрытую дверь, Евгений Михайлович пропустил меня вперед. Этот кабинет был побольше, но тоже невелик. Справа у окна письменный стол, слева вдоль стены длинный, орехового дерева, с серединой, затянутой зеленым сукном, стол для заседаний — типичный сталинский стиль.

Из-за стола поднялся худощавый человек лет 45–50, на вид интеллигентный.

— Здравствуйте, меня зовут Виктор Николаевич. Прошу.

Мы сели у длинного стола. Третьим теперь был Евгений Михайлович. Опять начался «светский» разговор о жизни, о работе. Тут я вставил, что два года назад меня, помимо моего желания, перевели из ОКБ в институт.

— А как вам работается на новом месте? — поинтересовался хозяин кабинета. Чувствовалось, что он знает обо мне все, да и перевод мой, видимо, произошел не без его участия.

К тому времени в институте я уже огляделся. Работа мне нравилась, люди тоже. Поэтому я ответил, что претензий у меня нет, а в некотором смысле я даже доволен переменой места работы. Уточнять не стал. Мой ответ его устраивал — труднее найти взаимопонимание с недовольным, озлобленным человеком.

Наконец он перешел к главному:

— Скажите, Сергей Никитич, где в настоящее время хранятся мемуары Никиты Сергеевича?

Я насторожился — началось. Еще раньше, продумывая варианты поведения, я решил не врать. Запутаешься — хуже будет. Да и роль наивного, недалекого простака больше подходила к моей физиономии. А главное — скрывать мне нечего.

— Часть мемуаров хранится у меня, часть — на даче, в сейфе у Никиты Сергеевича.

— Вы знаете, — Виктор Николаевич понизил голос, напустив на себя таинственный вид, — к нам поступили сведения, что

материалы у вас хотят похитить агенты иностранных разведок. Как они у вас хранятся?

Все стало ясно. Меня поразила примитивность аргументации.

— Я их храню в закрытом книжном шкафу. Но это, конечно, не главное. Я живу в доме, где проживают члены Политбюро. Дом тщательно охраняется КГБ. Есть пост у входа, и часовой ходит вокруг дома. Проникнуть в дом, чтобы похитить у меня материалы, иностранным агентам будет так же трудно, как и в это ваше здание, — позволил я себе пошутить.

— Ну-у, знаете, для профессионалов не существует ни охраны, ни замков. И мой сейф не гарантирован на сто процентов…

Дальше он продолжил официальным тоном, сказав, что, поскольку эти мемуары имеют большое государственное значение, в Центральном Комитете принято решение по выздоровлении Никиты Сергеевича выделить ему в помощь секретаря и машинистку для продолжения работы.

Затем от имени Центрального Комитета попросил сдать им хранящиеся у меня материалы, мотивируя это тем, что органы государственной безопасности — это правая рука Центрального Комитета, что об этом не раз говорил и товарищ Хрущев. Все, что они делают, делается исключительно с санкции ЦК, по его поручению. В КГБ материалы будут в большей безопасности, и можно быть уверенным, что они не попадут в руки иностранных разведок.

— Я говорю с вами совершенно официально, как представитель органа Центрального Комитета. Все материалы в целости и сохранности по описи будут возвращены вашем отцу для продолжения работы, — заключил мой собеседник.

Я лихорадочно соображал, что предпринять в этой обстановке, а потом, помявшись, ответил, что он ставит меня в трудное положение, поскольку Никита Сергеевич сейчас в больнице. Посоветоваться с ним я не могу, врачи категорически запретили его волновать. Мемуары — это его собственность, и отдать их без его разрешения я не могу.

Но, очевидно, весь расчет и строился на том, что я не побегу к больному отцу, а уж со мной-то они справятся. Виктор Николаевич твердо заявил, что он понимает мои затруднения, но ведь речь не идет о сдаче. Имеется в виду передача материалов на временное хранение до выздоровления отца.

В ответ я повторил, что не имею права распоряжаться материалами. Но уж если это решение ЦК и делу придается такое значение, то, во всяком случае, я прошу устроить мне встречу с Юрием Владимировичем Андроповым. Хотелось бы услышать о

гарантиях лично от него. Тем более мы с ним хорошо знакомы. Я добавил, что всегда с большим уважением относился к Андропову, ценил его как мудрого и интеллигентного человека, а потому уверен, что он свое слово не нарушит.

Как оказалось, такая просьба не застала врасплох Виктора Николаевича.

— Встретиться с Юрием Владимировичем нет никакой возможности. Он в отъезде. Уехал на встречу с избирателями, — пожал он плечами.

Я молча кивнул. Они оба выжидающе смотрели на меня.

Конечно, думал я, словам Виктора Николаевича верить нельзя, но и отмахнуться от них невозможно. Допустим, я откажусь, и, самое невероятное, они отступятся. Так ведь мне эта публика знакома — материалы в любой момент могут быть похищены «иностранной разведкой». И уж тогда у меня не будет никаких концов. Да еще и меня же в этом обвинят…

С другой стороны, предложение о помощи ЦК заманчиво… Мы с отцом такой вариант не раз обсуждали… И с Кириленко он об этом говорил… И все же не могу я без разрешения отца принимать подобное решение. Брать на себя такую ответственность!.. Ведь отец отказал Кириленко… Впрочем, тогда ведь речь шла о запрете, а сейчас… Но кто даст гарантии?…

Затянувшееся молчание прервал Евгений Михайлович.

— Что же вы молчите? — угрюмо просил он.

— Да вот раздумываю, как мне поступить…

— У вас нет другого выхода! — вырвалось у него.

Виктор Николаевич посмотрел на своего помощника с укоризной. Я улыбнулся.

— Ну… другой выход у меня пока что все-таки есть, — показал я на дверь. Виктор Николаевич забеспокоился:

— Сергей Никитич, решение за вами. Мы вас просто предупреждаем о создавшейся ситуации и возможных последствиях.

Вид у обоих был очень обеспокоенный…

Виктор Николаевич сменил тему разговора, заговорил о Соединенных Штатах, где он проработал много лет и лишь недавно вернулся домой. Он стал рассказывать о своих впечатлениях. Они сводились к тому, что жить в Америке хуже, чем в Советском Союзе. И еда менее вкусная — все мороженое-перемороженое. Я механически кивнул — голова была занята другим.

Если не отдать сейчас материалы, прикидывал я возможные последствия, они не успокоятся, будут искать, и один бог знает, чем это кончится. Работать не дадут. Леонору они, понятно,

знают. Найти другую машинистку едва ли удастся — уж они постараются. Если отдать, они, скорее всего, больше искать не станут. Можно будет переждать какое-то время и вернуться к работе. И, пожалуй, пора дать сигнал к опубликованию… Поговорить бы с отцом… Но нет, нужно на что-то решаться. Если я отдам материалы, они будут довольны — победили. А уж отцу я как-нибудь все объясню. Словом, после подобных размышлений я решился на этот непростой шаг, и мне вдруг стало легче.

— Хорошо, — сказал я. — Я подумал. Если уж за материалами действительно охотятся иностранные разведки, пусть они пока полежат у вас. Раз вы говорите, что так надежнее.

Тут я вспомнил, что надо будет сейчас ехать за папками и пленками домой, а там меня ждет жена, чтобы идти в гости. Придется объясняться, чего мне никак не хотелось.

Я наивно попросил перенести передачу материалов на завтра, на что, естественно, получил категорическую ссылку на чудовищные происки врагов, которые только и ждут сегодняшней ночи, чтобы наконец-то реализовать свои черные замыслы. Делать было нечего. Я согласился, сославшись, впрочем, на непредвиденное в такой ситуации обстоятельство — часть материалов находится у машинистки Леоноры Никифоровны Финогеновой.

Мне было спокойно сказано, что эти материалы в распоряжении моих гостеприимных хозяев — они накоротке к ней заехали и попросили их сдать.

— Это нечестно, — вырвалось у меня, — вы не имели права. Вы должны были действовать только через меня.

Виктор Николаевич постарался сгладить допущенную неловкость, сказав, что он понимает мое возмущение, но время не ждет. Дорога каждая минута. Имеется достоверная информация о том, что иностранная разведка может вот-вот похитить этот материал.

Последний довод окончательно «убедил» меня, и я, начав «сотрудничать», заявил, что еще часть материалов находится на литературной обработке у моего приятеля, кинодраматурга Вадима Трунина.

О Трунине они, как оказалось, не знали! Правда, в последние месяцы мы с ним редко встречались.

Мои собеседники забеспокоились.

— А где он живет? — последовал вопрос.

Трунин снимал квартиру то в одном месте, то в другом, а недавно снова поменял адрес. Устроился он где-то на Варшавском шоссе. Я знал только номер телефона. Евгений Михайлович записал его и вышел из кабинета. Через несколько

минут он вернулся и сообщил, что Трунина нет в Москве, а вернется он на будущей неделе. Затем меня спросили, давно ли я отдал ему материалы?

— Осенью 1969 года.

Кивнув и подумав, Виктор Николаевич предложил установить охрану у дома товарища Трунина. И как только он вернется, я должен буду забрать у него материалы и передать их под охрану моим собеседникам.

Я согласился.

Оставалась последняя операция — сдать мои материалы и получить расписку.

— С вами поедет Евгений Михайлович, — решил Виктор Николаевич, — он подождет в машине.

Через десять минут мы были у моего дома. Я поднялся на шестой этаж и, стараясь не шуметь, незаметно прошел в комнату: не хотелось объяснять все жене. Открыл шкаф, и сердце сжалось от горечи — сколько души, сил и времени вложено в эти папки. Смертельно не хотелось их отдавать. Но… давши слово — держись… Набралось две больших сумки с папками и магнитофонными катушками.

Когда мы вернулись к Виктору Николаевичу, у него на столе уже лежали материалы, изъятые у Финогеновой. И тут среди больших магнитофонных бобин с воспоминаниями отца я заметил еще одну, поменьше. О ней я совсем забыл…

Примерно год назад по своим черновым записям я надиктовал на магнитофон рассказ о событиях, происходивших в октябре 1964 года, свидетелем которых мне случайно довелось стать: на столе перед Виктором Николаевичем лежала эта самая пленка.

Я заволновался. Как я мог забыть! Я был уверен, что содержание мемуаров отца не может вызвать отрицательной реакции властей. Ведь его рассказ был о «делах давно минувших дней», и современные руководители там не упоминались даже мельком. С моей пленкой все обстояло иначе: я говорил о событиях, происшедших совсем недавно, в октябре 1964 года… У меня вовсю фигурировало нынешнее высшее руководство. Мало того, в заключение приводился казавшийся мне очевидным вывод, что все происшедшее не имеет никакого отношения к принципиальной политике партии, представляет собой просто «дворцовый переворот».

В тот момент я наивно считал, что пленки отца будут распечатаны и внимательно изучены если не в ЦК, то в КГБ как минимум. А тогда и моей пленке не избежать чужих ушей. Я лихорадочно соображал: что же делать? Оставалось надеяться на

чудо…

Я сделал безнадежную попытку забрать свою пленку, объявив, что эта маленькая бобина попала не по адресу. Тут записаны мои заметки, я прошу вернуть ее мне и даже протянул руку к коробке.

Но возвращать мне никто ничего не собирался. Мало того, своей оплошностью я невольно привлек внимание к этой катушке. В результате моей собственной глупости из всей массы материалов изученной оказалась только моя пленка. В этом я позднее убедился…

Втроем мы рассортировали материалы, сложив отдельно отредактированный текст, отдельно — черновики, катушки с пленкой, пронумерованные мной по хронологии записей. Подсчитали общее количество страниц и катушек с пленкой.

— Напишите расписку, давайте ее подпишем и разойдемся, — устало попросил я.

— Нет, нет, — возразил Евгений Михайлович, — напишите ее сами, своей рукой.

Я согласился и предложил примерно такую формулировку: «В целях обеспечения сохранности и во избежание захвата иностранными разведками органы государственной безопасности обратились ко мне с требованием передать им мемуары моего отца, Хрущева Никиты Сергеевича…»

Однако моя редакция не устроила Евгения Михайловича, предложившего собственную. Вот как она выглядела в окончательном виде:

> «Хрущевым Сергеем Никитичем 11.7.70 г. по просьбе представителей госбезопасности, в целях обеспечения сохранности и безопасности, переданы на хранение магнитофонные пленки и текст, содержащий мемуарные материалы Хрущева Никиты Сергеевича. Материалы переданы лично Титову Виктору Николаевичу и Расщепову Евгению Михайловичу. Магнитофонные пленки на бобинах диаметром 13 см — 18 штук, на бобинах диаметром 18 см — 10 штук, печатные материалы в 16 папках общим объемом в 2810 страниц. Кроме того, в КГБ переданы Финогеновой Леонорой Никифоровной, работающей по моей просьбе над мемуарными материалами, 6 больших бобин с продиктованным текстом и 929 страниц печатных материалов. Часть отпечатанных материалов в количестве 10 папок, примерно полтора экземпляра мемуаров, мною были переданы осенью 1969 года для литературной обработки писателю Трунину Вадиму

Васильевичу, которые по его возвращении в Москву также будут сданы на хранение в КГБ. Кроме вышеуказанных лиц, материалы никому не передавались. Все перечисленные материалы будут возвращены автору по его выздоровлении. 11 июля 1970 г.».

Подписи: В. Титов, Е. Расщепов, С. Хрущев.

Титов вызвал секретаря, поручил отпечатать расписку. Дожидаясь, когда она будет готова, мы пили кофе, разговаривали на общие темы. Виктор Николаевич не мог скрыть удовлетворения от удачного завершения операции, но особенно откровенно радовался Евгений Михайлович.

Поговорили о мемуарах, сошлись на том, что они представляют большой исторический и политический интерес. Виктор Николаевич еще раз подчеркнул, что КГБ действует только по указаниям ЦК и все их действия полностью согласованы с Центральным Комитетом. Он снова вернулся к тезису, что и сам Никита Сергеевич, говоря о Комитете госбезопасности, подчеркивал, что это правая рука ЦК.

Вдруг Виктор Николаевич как бы невзначай спросил, знаком ли я с Луи. Такого поворота я не ожидал и весь напрягся.

— Да, мы встречаемся время от времени, Виталий Евгеньевич интересный человек, — стараясь скрыть свое волнение, проговорил я и добавил: — Нас познакомил Лева Петров, вы, наверное, знаете, он работает в ГРУ.

Виктор Николаевич знал и это, но Лева его уже не интересовал: незадолго до нашего разговора он скончался.

— Ну и какого вы мнения о Луи? — гнул свое Виктор Николаевич. Я решил не углубляться в опасную тему.

— Не мне о нем судить. Вы знаете о Луи куда больше меня. Ведь он ваш работник, — отпарировал я.

— Ну, это как сказать, — неуверенно протянул Виктор Николаевич, но больше скользкой темы не затрагивал.

Потом перешли на разговоры о США. Виктор Николаевич снова пожаловался, что продукты в США менее вкусны, чем в Советском Союзе. И вообще, работать там тяжело: все время слежка, вся жизнь в напряжении.

— Ничего, слежка — это не так страшно. Надо только привыкнуть. Сколько времени вы за мной следили, и ничего со мной не случилось, — подначил я.

На лицах моих собеседников отразилось беспокойство:

— Нет, что вы! Мы за вами никогда не следили. Это вам

показалось.

— Ну, не будем обострять вопрос. Пусть каждый останется при своем мнении, — не стал я спорить.

Время шло. Текст все еще печатали. И тут я затронул «больную» тему. Незадолго до нашей встречи попросил политического убежища у американских властей капитан госбезопасности Носенко, сын бывшего министра судостроительной промышленности. Шума было много. Вот я и полюбопытствовал: как же это могло произойти и что он сейчас делает?

Виктор Николаевич насупился и заявил, что Носенко — растленный тип. Он нарушал законы в личных целях, считая, что как работнику органов ему все сойдет с рук. Вот и докатился до измены.

Я поддержал его, согласившись, что предательство нельзя оправдать. Но и нарушение законов в государственных интересах путь очень скользкий. Не знаешь, где остановишься.

Тут почему-то мои хозяева не ответили мне взаимностью — мое замечание повисло в воздухе. Разговор зачах. К счастью, подоспел печатный текст расписки. Мы вторично расписались. Затем меня проводили до дверей, и мы расстались…

Заехав за женой, я отправился в гости. Мы, конечно, безнадежно опоздали, поскольку визит к Виктору Николаевичу занял несколько часов. В гостях мне было не до веселья. Я снова и снова проигрывал в уме происшедшее. Казалось бы, теперь они могут успокоиться…

И как сложилась ситуация с Лорой Финогеновой? За себя я не беспокоился, но кто знает, как они действовали с ней? Я очень волновался. А кроме того, меня мучил главный вопрос: что делать дальше? Тут, увы, посоветовать мне не мог никто. Отец в больнице, и разговор с ним исключался. Предстояло и дальше решать самому.

Итак, давать ли санкцию на подготовку книги к печати или повременить? Ясно, что опубликование мемуаров вызовет большой шум. Правда, еще два года назад мы обсудили с отцом все детали. Но наступил ли именно сейчас критический момент? А с другой стороны, публикация покажет всему миру, что мемуары существуют, и, значит, они будут жить.

Несомненно, это вызовет переполох среди моих новых «друзей». Они-то, бедолаги, уверены в полной победе, а тут такой конфуз.

Затем мои мысли перешли на то, как они там, в КГБ, взаимодействуют между собой. Мой новый знакомый Виктор Николаевич следит за мной, «оберегает от американских

шпионов», и в то же время какой-то другой «Виктор Николаевич», в другом кабинете, помогает нам переправлять материалы тем же американцам. Эти мысли я прогнал. На пустое сейчас недоставало времени…

Словом, промучившись в гостях, а потом и полночи дома, я решил, что происшедшее нужно считать критическим моментом и, следовательно, не ожидая дальнейшего развития событий, незамедлительно приступить к подготовке публикации книги на Западе. Было ясно, что ждать больше нечего. Ситуация к лучшему не изменится. Конечно, я оказался в щекотливом положении: приходилось решать за автора, но отец выйдет из больницы только в конце лета, а то и осенью. Время будет безвозвратно упущено. Кто знает, что еще придумают Титов с Расщеповым.

Наконец я решился. Наблюдение за мной никто не снимал, но я больше не обращал на него внимания. Мои контакты и с Луи, и с Финогеновой давно перестали быть секретом. Утром, без предварительного звонка, я отправился в Баковку. По Минскому шоссе за мной неотступно следовала уже ставшая привычной «Волга». На мгновение всплыло в памяти, как пять лет тому назад неподалеку, на Окружном шоссе, мы с Галюковым искали укромное местечко для «важного» разговора. Как много воды утекло и как наивны мы тогда были.

Вот и поворот на Переделкино. На обычно пустом перекрестке маячит милиционер. Через секунду замечаю второго, он прячется в кустах. Постовой внимательно вглядывается в машину и, пытаясь разглядеть получше номер, буквально бросается под колеса, но не делает ни малейшей попытки меня остановить. Я благополучно сворачиваю на ведущую в Баковку узкую лесную дорожку. Несколько поворотов, и вот я уже подъезжаю к знакомым воротам. К счастью, Виталий Евгеньевич оказался на месте, он любил посибаритствовать, вставал поздно. Я буквально силком вытащил его на утреннюю прогулку, в доме я не решался произнести ни слова. Когда мы вышли на знакомый пригорок, где обычно вели доверительные разговоры, вдали я приметил две характерные мужские фигуры. Не вызвало сомнений: за нами наблюдали и здесь. Но делать нечего, сбиваясь, я начал рассказывать о вчерашнем происшествии. Луи слушал меня не перебивая. Мои слова о том, что пришло время издания на Западе, он воспринял с видимым удовлетворением. Что ж, здесь у него был свой интерес.

Отправиться со своей миссией в США он решил не откладывая, прямо на следующей неделе.

Вернувшись дней через десять, Луи сообщил, что дело улажено: «Первый том выйдет в конце года или в начале

следующего. Со вторым, сообщили мне, работы гораздо больше, а потому для подготовки его в печать потребуется несколько лет».

Впрочем, в тот момент вторая книга меня не интересовала: важно начать.

Объявить о книге решили в октябре, а первые журнальные публикации предполагались в ноябре.

— Но слухи могут просочиться уже в сентябре, — предупредил меня Виталий Евгеньевич.

По срокам все складывалось удачно: отца я так или иначе успею предупредить.

В отношении отца к публикации я не сомневался: ведь эту возможность мы обсуждали много раз, и сейчас я действовал строго в соответствии с заранее разработанной нами схемой. Но вот его реакция на то, что я сдал материалы, честно говоря, не давала мне покоя, хотя с позиций логики я поступил правильно. Тем не менее меня не оставляло чувство, что этически мой поступок выглядел не лучшим образом. Ведь отец не отдал мемуары Кириленко…

Эти мысли не оставляли меня. И, должен признаться, мучают они меня и по сей день — через много лет после происшедших событий…

О чем я думал тогда?

Отец прошел революцию, Гражданскую и Отечественную войны, ленинский, сталинский и послесталинский периоды развития нашего государства. Ошибки его сейчас не имели значения — всю свою долгую активную жизнь он посвятил общему делу. Теперь, на пенсии, в своих воспоминаниях он пытается воскресить историю, осмыслить прожитое, предостеречь тех, кто пришел на смену. Все это необходимо обществу, ведь без знания прошлого невозможно отчетливо разглядеть будущее.

И вот парадокс. Мало того что, оказывается, опыт, история никому не нужны и по сей день — за мемуарами гоняются, как за подрывной литературой, нас низводят на положение едва ли не преступников, а сами воспоминания зачислили в разряд нелегальщины, издаваемой за границей.

Мемуары отца — в высшей степени партийный и патриотический документ, в чем сомнений быть не может. В чем же дело? Так я и не нашел в то время вразумительного ответа на этот простой вопрос…

Только я вернулся домой после встречи с Луи, как раздался настойчивый телефонный звонок. Оказывается, с самого утра меня добивалась Юля, теперь уже Левина вдова. Ей позвонили из КГБ и назначили встречу на вторую половину дня. Я поспешил к Юле. Выглядела она перепуганной, вся дрожала. Я, как мог,

успокоил ее.

— Главное, говори правду, ты же ни в чем не принимала участия. Лева тебя в эти дела не посвящал. Все это знают, — инструктировал я ее.

Разговаривали мы в сквере, примыкавшем к ее дому.

— Но у меня остались две бобины с надиктовками отца, — жалобно проговорила Юля. — Что с ними делать? Может быть, отдать им?

Я категорически воспротивился: это только осложнит дело, возбудит подозрения, что материалы хранятся не только у меня.

— Сотри их и забудь, — приказал я. Юля покорно кивнула.

Разговор с ней прошел без каких-либо осложнений, допрашивающие тоже знали, что Юля держалась в стороне от работы над мемуарами. Ее расспросили о Леве, обо мне, об отце и отпустили. В общем, все закончилось благополучно, и я пожалел, что, запаниковав, попросил Юлю стереть запись отца с магнитофонных бобин. Они бесследно исчезли для истории. Но кто тогда мог предвидеть, как повернутся события.

После встречи с Юлей я бросился разыскивать Леонору. Как выяснилось, с ней обращались далеко не так вежливо, как со мной.

Наблюдение за ней велось уже долго. Несколько последних недель какие-то подозрительные типы бродили вокруг ее дома, выспрашивали что-то у соседей. Мой визит к ней в больницу только добавил преследователям уверенности. По словам соседей, таинственных посетителей очень интересовало, что у нее за магнитофон? Откуда? Что она печатает? Пытались они завести знакомство и с самой Леонорой, но из этого ничего не получилось.

Однажды, когда она уехала в командировку, кто-то попытался проникнуть в ее квартиру. Но непрошеных визитеров постигла неудача — мать Леоноры болела и сидела дома. Тогда применили испытанный прием. Леонору вызвали в отдел кадров (к тому времени она перешла на работу в наш Институт электронных управляющих машин) и попросили заполнить длиннющую анкету, намекнув при этом, что ей хотят поручить интересную, но строго секретную работу. Таким образом, ее удалили из дома по крайней мере на несколько часов. Больную мать срочно пригласили на обследование в больницу.

Как утверждала Леонора, в квартире побывали «неизвестные». Времени на тщательный обыск было достаточно, правда, и без него все сразу стало ясно: в шкафу лежали машинописные страницы с текстом мемуаров, здесь же были и магнитофонные пленки с записью голоса отца.

В тот день, по словам Лоры, исчезли только два листа использованной копирки. Понятно, что «гости» старались не оставлять следов. Однако наблюдательную Леонору им провести не удалось.

11 июля утром Леонора шла домой. Возле дома ее ждали. Подошли трое, предъявили документы. Особенно не церемонясь, усадили в стоявшую неподалеку от дома «Волгу». Двое сели по бокам, третий — рядом с шофером. Ее привезли на Лубянку и сразу — на допрос. Первый, беглый, судя по всему, ознакомительный. Леонора ничего не скрывала: «Да, печатала мемуары Хрущева. Разве это запрещается? Что тут противозаконного?»

Потом все вместе поехали к ней домой. Устроили тщательный обыск, впрочем, не предъявив ордера и не пригласив понятых. Забрали и магнитофонные пленки, и отпечатанные страницы. Протокола обыска никто не составлял. И тут же вернулись обратно в КГБ, теперь уже к Титову и Расщепову.

Допрос Леоноры вел Расщепов. Он не считал нужным сдерживаться и сразу заявил, что она, очевидно, не понимает, что участвует в заговоре против Советского государства, и ей это так просто не обойдется. Она, сказали ей, должна была немедленно прийти и доложить, что ей предложили печатать антисоветские материалы! А вместо этого она позволила втянуть себя в антисоветскую деятельность.

Вот какой букет обвинений обрушили на голову бедной женщины! Через пятнадцать лет после XX съезда КПСС ее обвинили в антисоветской деятельности только за то, что она печатала воспоминания бывшего Первого секретаря ЦК КПСС! Чудны дела твои, Господи…

В результате этого «свидания» у Леоноры случился нервный шок, и еще долго она не могла успокоиться.

Через несколько дней в Москву вернулся последний из действующих лиц — Вадим Трунин. О его приезде мне сообщили из… КГБ. Я позвонил к нему утром, поднял с постели. О происшедших событиях сообщать не стал, только условился, что заеду. Он жил в районе Варшавского шоссе, в пустовавшей квартире своего друга, кинорежиссера Андрея Смирнова.

Приехав, я рассказал ему о событиях последних дней и в заключение сказал, что заберу папки, поскольку обещал сдать их на хранение в КГБ. Я был вынужден повторить объяснения Виктора Николаевича: мера временная, после выздоровления отца все отдадут, и мы вернемся к прерванной работе. Своим словам я не очень верил, а Вадим только скептически хмыкнул — мол, жди, чтобы они тебе отдали.

— Впрочем, материалы твои, хочешь — забирай, — он не стал ни спорить, ни отговаривать меня.

Собрали папки, и я отвез их Расщепову. Отдельной расписки за них я не получил — он сослался, что эти материалы упоминаются в предыдущей. Правда, там не указывалось количество страниц. Настаивать я не стал, ведь это были копии. Хотелось со всем этим кошмаром поскорее покончить.

Но оставался еще вопрос о моей магнитофонной бобине.

Евгений Михайлович извинился, сказав, что у него очень много работы и ее еще не прослушали. Он попросил меня подождать, обещав, что вернут ее в ближайшее время.

— Что ж вы столько тянете? — рассердился я. — Сделайте копию и слушайте сколько хотите. Снять копию несложно.

Это тема явно заинтересовала Расщепова, и он спросил меня, насколько легко снимается копия с магнитофонных пленок.

Я понимал, что он неспроста интересуется моими знаниями в этой области, и ответил, что дело это нехитрое. Надо только иметь два магнитофона и время. Понятно, что на копирование уходит столько же времени, сколько на запись. Другими словами, для снятия копии с пленок отца мне понадобилось бы около трехсот часов. В условиях прессинга и неослабного наблюдения я этого незаметно сделать не мог. Я сильно надеялся, что Расщепов сделает именно этот вывод.

На самом деле я затрачивал на копирование значительно меньше времени, переписывая на максимальной скорости и одновременно на обе звуковые дорожки. Это приводило к ухудшению качества записи, текст распадался на фрагменты, но тогда мне и в голову не приходило заботиться о таких «мелочах».

Продолжая разговор, Расщепов полюбопытствовал, не мог ли снять копию кто-либо из домашних?

— Исключается, — категорически ответил я.

Тогда Расщепов осведомился, не мог ли снять копию Никита Сергеевич.

— Не знаю, — пожал я плечами. — Это его дело. Я таких вопросов ему никогда не задавал.

На этом мы расстались.

На следующий день Вадим рассказал мне, что, как только за мной закрылась дверь, в квартиру ввалился незнакомец, представился Владимиром Васильевичем, показал удостоверение и… увез его в КГБ. Возились с ним долго. Спрашивали, кто видел и читал мемуары. Где они хранились? И так много часов подряд.

— Ну и втянул же ты меня в историю, — беззлобно ворчал Трунин. — Ничего они тебе не отдадут, помяни мое слово.

В связи с мемуарами Титов с Расщеповым вызывали к себе

очень многих людей. Допросы, видимо, длились не одну неделю. Причем порой людей, вообще мне незнакомых. К примеру, кинорежиссера Андрея Смирнова: на свою голову он сдал квартиру Трунину и теперь влип в это дело. У моего друга Барабошкина выясняли и обо мне, и о магнитофонах. Были и другие известные и, наверное, по сей день неизвестные мне участники этой операции.

Раду и Аджубея не трогали. Их лояльность, очевидно, сомнений не вызывала. В своих воспоминаниях Алексей Иванович вскользь касается вопросов, связанных с написанием и опубликованием мемуаров отца. Он отмечает, что лично этой работой не занимался, как были опубликованы мемуары, не знает и выражает надежду, что со временем найдется ответ на этот вопрос.

Как мог, я постарался на него ответить…

Отец все еще лежал в больнице и ничего не знал о разыгравшихся бурных событиях. Посещал я его так же регулярно, стараясь, чтобы внешне ничего не изменилось; разве что перестал подробно рассказывать о работе над мемуарами. Врать не хотелось, ведь скоро надо будет ему обо всем доложить. Сам отец вопросов о рукописи мне не задавал. Тем временем дела его шли на поправку.

Я периодически позванивал Расщепову по поводу своей магнитофонной пленки. Наконец во второй половине августа Евгений Михайлович сказал, чтобы я приехал: он готов вернуть пленку. Кроме того, со мной выразил желание поговорить Виктор Николаевич.

В эти дни отец готовился к выходу из больницы. Уже был назначен срок выписки — через полторы-две недели. В санаторий на реабилитацию он ехать отказался. Сказал, что лучше чувствовать себя будет на даче. О происшедшем я ему все еще не говорил. Решил рассказать по его возвращении в Петрово-Дальнее. Внутренне мне всеми силами хотелось оттянуть неприятный и тяжелый разговор.

Итак, я снова в здании, успевшем стать мне таким знакомым. И вот мы уже с Евгением Михайловичем поднялись к Титову. Виктор Николаевич любезно поздоровался, вынул из сейфа мою бобину в серой пластмассовой коробочке, но не отдал ее мне, сказав, что мою запись прослушали и она показалась им очень интересной и живой. Очевидно, диктовалась она по горячим следам?

Я кивнул. Виктор Николаевич предположил, что мои тогдашние чувства предопределили очень резкие и не совсем правильные оценки. Наверное, сейчас, когда прошло время, я

более объективно оцениваю происходившие тогда события.

Я промолчал, пожав плечами.

— Мы вернем вам пленку, — улыбнулся Виктор Николаевич, — но давайте запись при вас, не выходя из кабинета, сотрем.

Возражать, понятно, не имело смысла. А кроме того, я смогу восстановить ее слово в слово.

Как бы прочитав мои мысли, Титов продолжил:

— Вы, конечно, можете восстановить эту запись, но мы рассчитываем на ваше благоразумие.

В кабинет зашел Владимир Васильевич. В руках у него был какой-то громоздкий аппарат серого цвета, явная самоделка. Включили шнур в розетку, аппарат загудел. Владимир Васильевич поводил им над бобиной и протянул ее мне. Операция закончилась. По замыслу «хирургов», очевидно, следовало, что память уничтожена, а значит, и эти события не происходили. Что-то вроде магнитофонной лоботомии.[65] И все-таки стертую запись было очень жаль. Исчезла как бы частица меня самого. Конечно, я восстановлю ее, но новая запись, несомненно, будет в каких-то деталях отличаться от прежней.

— Ну вот и хорошо, — опять улыбнулся Виктор Николаевич, — забирайте свою пленку. Как видите, мы всегда точно выполняем свои обещания.

Он был явно доволен спектаклем. Но я не торопился покидать этот «гостеприимный» кабинет.

— За пленку спасибо, — начал я, — но вы запамятовали еще об одном вашем обещании.

Виктор Николаевич недоуменно поднял на меня глаза.

— Вы мне обещали — и это зафиксировано в расписке, — что, как только Никита Сергеевич выйдет из больницы, все материалы, которые вы у меня забрали, будут возвращены. На днях он выписывается и переедет на дачу. Я хочу, чтобы к его приезду и пленки, и распечатки лежали на своем месте. Ну а насчет обещанных вами секретаря и машинистки надо говорить с отцом, — закончил я.

Виктор Николаевич с ясной улыбкой посмотрел на меня и заявил, что… никаких материалов у него нет!..

Я, понятно, ожидал отказа, был готов спорить, но такого поворота не предусмотрел.

— Как же так? — растерялся я. — Ведь и вы сами, и Евгений Михайлович постоянно говорили мне, что они хранятся у вас в кабинете, в вашем личном сейфе, что вы никому не отдадите их, поскольку опасаетесь за их сохранность даже в этих стенах, — кивнул я на сейф в углу. — Но где же они?

Мне было сказано, что материалы переданы в ЦК.

Я пожал плечами и посетовал, что мне обещали их вернуть как раз от имени ЦК. Виктор Николаевич с готовностью подтвердил свое обещание, но тут же сослался на приказ передать их в ЦК, который они обязаны были выполнить. Он явно потешался моим замешательством.

Тогда я повторно попросил организовать встречу с товарищем Андроповым. В ответ мне сообщили, что это невозможно, поскольку Андропов уехал в командировку, а оттуда поедет на юг в отпуск. В Москву он вернется не скоро.

Говорить было больше не о чем. Я ушел…

Положение мое было крайне незавидным. Отец выходит из больницы, а материалы исчезли. Действительно ли они в ЦК или попросту уничтожены? И к кому в ЦК обращаться?

И тут я подумал, что сигнал к публикации был абсолютно оправданным. Я настроился на борьбу и перебирал в уме варианты поиска мемуаров в недрах ЦК. Однако искать мне их не пришлось. Они нашли меня сами…

На следующий день после разговора с Титовым у меня на работе раздался телефонный звонок. Мною интересовался сотрудник Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Он назвал свою фамилию,[66] но я ее запамятовал. Он предложил мне прибыть завтра в КПК и назвал номер комнаты.

— Пропуск вам будет заказан, не забудьте партбилет, — строго напомнил он. О причине приглашения мне не сообщили, а я не спрашивал. Все было ясно

и без вопросов. Мое «качание прав» в кабинете Виктора Николаевича показало, что я еще «недозрел» и меня не мешало прижать посильнее.

Я явился в КПК, принял меня звонивший накануне сотрудник — человек довольно любезный. Он сказал, что знаком с историей мемуаров и просит все происшедшие события подробно описать на бумаге. Писал я долго, стараясь ничего не упустить.

Он внимательно прочитал исписанные мною листки и молча вышел. Я остался в одиночестве. Впрочем, ждать пришлось недолго.

Через несколько минут меня пригласили к заместителю председателя КПК Мельникову. В темноватом кабинете за стандартным письменным столом сидел высокий угловатый человек с грубыми чертами лица.

Мельников начал расспрашивать меня о том, как велась работа над мемуарами, что сопутствовало ей. Видно было, что, кроме всего прочего, ему просто любопытно — хочется узнать скрытые от посторонних глаз подробности жизни отца.

Я пересказал ему все, что уже было известно Титову, но в дополнение подробно изложил, как за мной велась слежка. Особо я подчеркнул то обстоятельство, что Титов взял на хранение мемуары от имени ЦК, именем ЦК обещал их вернуть, а теперь заявляет, что их у него нет и где они — ему неизвестно.

Рассказывая, я наивно полагал, что все эти злоупотребления возмутят моего собеседника, назначат расследование, и справедливость восторжествует.

В ответ же на свою историю я услышал, что в Центральном Комитете мне ничего не обещали. Материалы действительно находятся в ЦК, но в распоряжении Мельникова их тоже нет. О возвращении их сейчас не может быть и речи. ЦК примет соответствующее решение, и о нем нам своевременно сообщат. Так закончилась наша встреча.

В конце августа отец вышел из больницы и вернулся к себе в Петрово-Дальнее. Он был слаб, бледен. Гулял мало, больше сидел на террасе или дремал в комнате в своем кресле. Дни шли за днями, силы постепенно возвращались к нему. Он уже начал спускаться вниз, под горку, на свою любимую опушку леса: взглянуть на огород, сидя на скамейке, полюбоваться видом на реку.

О мемуарах мы пока не говорили. Отец больше молчал, думал о своем. Возможно, он и догадывался, что что-то произошло, слишком уж старательно обходил я теперь эту тему. В разговорах пытался отвлечь его внимание пересказом легковесных московских новостей.

Отказ вернуть материалы, хотя и не слишком неожиданный, сильно угнетал меня. Скрывать от отца эту неприятную историю становилось все труднее. Он мог что-то узнать помимо меня или просто задать прямой вопрос: «Как идут дела с мемуарами?» С другой стороны, он еще слаб. Если я расскажу, как было дело, отец разволнуется, а сердце еще не окрепло. Но рано или поздно, а рассказать придется…

Постепенно отец пришел в себя, и как-то, когда мы не спеша брели к опушке, я решился передать ему все: рассказал и о КГБ, и о КПК, упомянул и о скором выходе книги. Разрешение на публикацию книги он одобрил. Беспардонное поведение по отношению к нему делало и его свободным в принятии решения.

— Правду не скроешь. Пусть пока напечатают не у нас… Плохо, что за границей, но ничего не поделаешь. Когда-нибудь она доберется и к нам, — горько посетовал он.

Но за то, что я отдал материалы Титову, мне здорово попало. Отец так и не простил мне этого проступка до самой смерти. Он заявил, что я не имел права ни под каким видом отдавать их.

Дело не в том, что текст пропадет. Тут дело в принципе. Они нарушают Конституцию. А я взял на себя смелость распорядиться тем, чем не имел права распоряжаться. Он сказал, чтобы я немедленно связался с Титовым и, заявив от его имени решительный протест, потребовал все назад. В ЦК ходить нечего, там ничего не отдадут. Они же говорят, что ничего не обещали. Требовать надо с того, кто дал расписку. Иначе он грозился устроить скандал.

Отец сильно разволновался. Достал валидол, сунул в рот таблетку. Теперь он не расставался с ним. Я боялся, как бы ему не стало плохо с сердцем, но на этот раз обошлось.

— Конечно, хорошо, что можно все восстановить, труд даром не пропал, — немного успокоившись, проговорил он, — но с таким отношением мириться нельзя. Нельзя им такое спускать, — опять начал было возбуждаться отец.

— Давай кончим этот разговор, — внезапно оборвал он.

Мы погуляли еще, о чем-то говорили, но к вопросу мемуаров больше не возвращались.

Выполняя отцовское требование, я стал разыскивать Титова. Он, конечно, знал о разговоре в КПК и понимал, зачем я его ищу. Естественно, Титов стал неуловим.

— Виктор Николаевич вышел… Виктор Николаевич вам позвонит сам… Виктор Николаевич в командировке… — то и дело слышал я в ответ на свои звонки.

Конца этому, казалось, не будет. Но я был чрезвычайно настойчив и звонил не один раз на дню, прекрасно понимая ситуацию. Наконец Виктор Николаевич — о чудо! — оказался на месте, и мы договорились о встрече. Он, очевидно, понял, что я не отстану, и предпочел самолично встретиться со мной, гарантируя себя от возможных неожиданностей.

Явившись к Титову, я сделал официальное заявление, сказав все то, что велел передать отец. Виктор Николаевич повторил, что у него ничего нет. Комитет госбезопасности подчинен Центральному Комитету. По его требованию материалы передали в ЦК. КГБ ими не располагает и не распоряжается. Он выразил сожаление, что они не выполнили своего обязательства, и принес личные извинения. Но в настоящий момент органы к этому делу касательства не имеют, а посему Титов снова переадресовал меня в ЦК.

Я пересказал наш разговор отцу. Он в сердцах даже плюнул.

— Ну их!.. Ничего теперь с ними не сделаешь! Ничего от них не добьешься!!! И не ходи туда больше, — буркнул он.

Жизнь сложилась так, что мое знакомство с Евгением Михайловичем и его «командой» затянулось на долгие годы.

Интерес ко мне то, казалось, совсем затухал, то разгорался с новой силой. В начале октября у меня состоялась еще одна встреча с Евгением Михайловичем и Владимиром Васильевичем. На Западе объявили о предстоящей публикации в издательстве «Литтл, Браун энд компани» мемуаров отца «Хрущев вспоминает». Говорилось, что издательство располагает машинописным текстом и магнитофонными пленками с записью голоса отца. Эксперты подтвердили подлинность магнитофонных записей.

Название книги было с нами предварительно согласовано — скромно и спокойно, без излишних претензий.

На этот раз Расщепов выглядел удрученно. Оно и понятно. После «блестящей» операции в июле вдруг такой финал в октябре…

Встретились мы в знакомом номере гостиницы «Москва». Разговор был коротким. Нетрудно догадаться, что интересовало их одно: каким образом мемуары попали в Америку?

Ответ мой был прост:

— Пока все хранилось у нас, о публикации не было и речи. Сегодня этот вопрос следует задать вам, а не мне.

И по большому счету я не кривил душой.

В завершение разговора я снова потребовал вернуть материалы их владельцу, тем более что в сложившихся обстоятельствах изъятие их теряло всякий смысл — они скоро будут опубликованы.

Расщепов со злостью ответил, что в такой ситуации он не советует мне вообще поднимать этот вопрос.

Но и на этом наши испытания не кончились: отцу, как выяснилось, предстояла новая встреча с бывшими соратниками. Книга еще не вышла, никто ее в глаза не видел, я не говорю уж «прочитал», а не оправившегося от болезни отца грубо вызвали в ЦК.

Никого не интересовало, что написано в книге, о чем она. Насколько мне известно, содержанием отобранных у меня записей тоже никто не поинтересовался. И все же…

10 ноября, сразу после октябрьских праздников, отцу позвонили из секретариата Пельше и приказали немедленно прибыть в КПК.

Брежнев набрал силу, заматерел, чувствовал себя все безнаказаннее. Это был еще, конечно, не конец семидесятых, но уже и не либеральные шестидесятые.

Отец ответил, что немедленно приехать не может — не на чем. У него нет машины.

— Машина за вами уже выслана, — последовал ответ.

В Комитете партийного контроля отца ожидали Пельше,

Мельников и, как я понял из его рассказа, тот же самый сотрудник аппарата, который два месяца тому назад занимался мною (С. О. Постовалов). Заранее составленный сценарий беседы разлетелся вдребезги с первых же минут разговора.

Отец и без того был разъярен безобразным отношением к нему: фактом изъятия мемуаров, грубым обманом, хамским ответом Титова. Он с трудом сдерживался, вызов к Пельше стал каплей, переполнившей чашу терпения. Состояние его здоровья не предполагало острого разговора, но не он стал его инициатором. И тут уж советы Беззубика — не волноваться, сохранять спокойствие, не принимать близко к сердцу — не действовали. Отец пошел в бой, как всегда, без оглядки.

Словом, «воспитательной» беседы, как на то, очевидно, рассчитывали приглашавшие, не получилось. Не хотел бы я быть на месте «воспитателей»…

Встреча с Кириленко не протоколировалась, теперь же все обставили официально, на манер допроса.

Записанная в КПК стенограмма сегодня стала доступной, она опубликована, тем не менее я оставлю свой текст без изменений. Так, как мне запомнилось со слов отца. По существу, его рассказ, за исключением некоторых деталей, не расходится с официальной записью беседы, если происходившее можно назвать беседой.

Отцу предложили уже подготовленный текст заявления, где было написано, что он, Хрущев, никогда не писал воспоминаний и никому их не передавал, а публикуемая книга является фальшивкой. Отец сейчас же напрочь отверг эту редакцию, заявив, что подобный документ он подписывать не будет. Это ложь, а лгать грешно, а в его возрасте — особенно. Пора думать о лучшем мире. Да и другим не помешает… Воспоминания он писал. Каждый человек имеет на это право. Эти мемуары предназначены для партии, для народа. По мнению отца, они принесут пользу в понимании эпохи, в которой он жил и работал. Его воспоминания — это уже история. И тут он заверил своих оппонентов, что будет ими заниматься и в дальнейшем. Затем он сказал, что готов подписать документ о том, что работа над мемуарами еще не завершена, а потому они не приобрели вид, пригодный для публикации.

Что касается выхода книги за границей, то отец согласился написать, что сам он материалов для публикации за рубеж не передавал. Такой компромисс устроил Пельше. Оперативно подобрали формулировку, отпечатали, и отец подписал.

Здесь главное и, на мой взгляд, единственное несовпадение с официальной записью. Из стенограммы следует, что заранее

заготовленного текста не существовало, заявление продиктовал отец. Я верю отцу, а не Пельше. Предусмотрительные чиновники не могли пустить такое важное дело на самотек, позволить отцу «самовольничать».

Подредактировать же запись труда не составляло, дело это для них привычное. Подобный фокус кремлевские факиры уже проделали с отцом шесть лет тому назад, в октябре 1964 года. И тогда он подписал заранее заготовленное прошение об отставке со всех постов, а в официальных документах записали, что отец продиктовал его сам. Но все это сути не меняет. Подписанный отцом текст опубликовали уже на следующий день. Приведу его полностью.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Как видно из сообщений печати Соединенных Штатов Америки и некоторых других капиталистических стран, в настоящее время готовятся к публикации так называемые мемуары или воспоминания Н. С. Хрущева. Это — фабрикация, и я возмущен ею. Никаких мемуаров или материалов мемуарного характера я никогда никому не передавал — ни «Тайму», ни другим заграничным издательствам. Не передавал таких материалов я и советским издательствам. Поэтому я заявляю, что все это является фальшивкой. В такой лжи уже неоднократно уличалась продажная буржуазная печать.

Н. Хрущев

Возражать против вставленной в текст и так резанувшей мой слух «фальшивки» отец не стал, иначе пришлось бы зайти слишком далеко, сказать слишком много, подставить под удар других людей, доверившихся ему.

Однако подписанием заявления встреча не закончилась, отца прорвало, и он решил высказаться до конца. Главный разговор только начинался. Отец обратился к Пельше и напомнил ему об изъятии мемуаров.

Пельше не был готов к ответу и сказал, что ему ничего не известно. Мельников на помощь своему шефу не пришел. Отец тем временем перешел на новую тему, еще более острую.

Прошло шесть лет, как они работают без него, стал говорить отец. Тогда на него всех собак повесили. Говорили: избавимся от Хрущева — и дела пойдут как по маслу. А ведь отец предупреждал своих бывших соратников, что надо перестраиваться, по-новому вести хозяйство, иначе ничего путного не получится. Но они вернули министерства и разрушили то хорошее, пусть малое, что было сделано.

Сельское хозяйство разваливается. При отце повысили цены на масло, мясо, чтобы стимулировать производство продуктов, но этого не произошло, в магазинах ничего нет. В 1963 году, опять же при нем, закупили зерно в Америке, но это как исключительный случай. А без него ввели это в практику. Позор!!! Советский Союз закупает зерно!!!

Значит, продолжал отец, дело не в нем, а в порочной системе хозяйствования. Они успокоились и ничего делать не хотят.

Сидят в тихом болоте, а надо действовать, искать.

А международные отношения? Говорили, что Хрущев поссорил нас с Китаем. Прошло шесть лет, отношения только ухудшились. Теперь всем видно — тут действуют более сложные закономерности. Пройдет время, и отношения нормализуются, но для этого должны прийти новые люди, и здесь, и там, способные по-новому взглянуть на проблему, отбросить накопившуюся шелуху.

Как рассказывал потом отец, Пельше было встрепенулся, желая что-то возразить, но отец не дал ему вмешаться и продолжал в пух и прах разносить своих прежних соратников.

Он говорил, что в Египте все прозевали (употребив при этом более крепкое выражение). Сколько денег, труда вложено в эту страну, а они допустили, чтобы наш союзник проиграл войну,[67] хотя был вполне к ней готов, имея современную, отлично вооруженную армию. Коснулся отец и некоторых других вопросов, связанных с внешней и внутренней политикой. Вся эта гневная тирада потребовала немалых сил. Наконец он закончил свою «обвинительную» речь и замолчал.

Отцу встреча далась нелегко. Пришлось идти против своей натуры, изворачиваться, недоговаривать. Но это еще можно перенести. За себя он не боялся, это видно из вышеприведенного текста, но за его спиной стоял не только я, но и все те, кто рисковал, пусть не бескорыстно, переправляя надиктованное за кордон.

А вот то, что они, его преемники, так бездарно губят все, что отец начинал, и он не может ничего поправить, превратило разговор в настоящую пытку. К концу перепалки отец почувствовал себя окончательно обессиленным. Сказал, что выполнил их требование. Подписал. А сейчас хочет уехать домой…

Арвид Пельше немедленно доложил о своей «победе» коллегам по Политбюро ЦК. Я не могу не воспроизвести и этот текст дословно, он говорит сам за себя.

ЦК КПСС

По поручению ЦК КПСС, в связи с предстоящей публикацией в США и ряде других стран Запада «воспоминаний Н. С. Хрущева», 10 ноября т. г. в Комитете партийного контроля состоялась беседа с т. Хрущевым Н. С.

Во время этой беседы т. Хрущев вел себя неискренне, неправильно, уклонялся от обсуждения вопроса о своих

неправильных действиях. Он утверждал, что никому не передавал свои мемуарные материалы для публикации. В итоге беседы согласился сделать заявление для печати.

Прилагаем стенографическую запись беседы с т. Хрущевым и заявление, им подписанное.

13. XI.70. А. Пельше

Это была последняя встреча отца с партийным руководством. Он высказал все, что наболело на душе за последние годы, о чем он мучительно раздумывал в одиночестве.

Я ничего не знал, и только мама, позвонившая мне в тот же день, рассказала, что отца вызывали в КПК и выспрашивали о мемуарах.

Я немедленно приехал на дачу. Отец сидел на опушке. Я присел рядом. Мы долго молчали, потом он стал рассказывать, все больше распаляясь. Закончив, он помолчал и вдруг, видимо, отвечая своим мыслям, добавил:

— Теперь я окончательно убедился, что решение об издании книги было правильным. То, что отобрали, они уничтожат. Они правды боятся. Все правильно.

Мы опять замолчали, каждый по-своему думал об одном. Вечером я уехал, поскольку это был рабочий день. Дома по свежим следам записал рассказ отца.

Визит этот не прошел отцу даром. Пельше добился результата — отца снова уложили в больницу. Владимир Григорьевич Беззубик объявил, что у отца микроинфаркт.

— Это совсем не то, что было летом, — старался успокоить он нас, — никакого сравнения. Все равно что кошка когтями царапнула.

Сравнение меткое, но, думаю, слишком слабое…

Отец был мудрым человеком. Многое он предвидел заранее. Еще в начале нашей работы он распорядился, чтобы в случае, если он заболеет и ляжет в больницу, я все связанное с диктовкой убирал в надежное место. На всякий случай.

Снова я посещал отца каждый день. Как обычно, он ворчал на меня. А на экране, как и прежде, выписывались колеблющиеся зеленые зубцы…

Отец сильно постарел, и не только внешне. Весь этот град ударов, обрушившийся на него в последнее время, не прошел даром. Скандал в КПК он пересказывал всем: врачам, сестрам, посетителям. Впрочем, он не ждал реакции. Ему надо было выговориться, разрядиться.

К новому, 1971 году, последнему Новому году в жизни отца,

его выписали из больницы. Праздник он встретил на даче. Внешне жизнь входила в привычное русло: те же прогулки, встречи с отдыхающими, возобновившими свои экскурсии в Петрово-Дальнее, известные вопросы и известные ответы.

Но в последнее время появились и новые штрихи: его спрашивали о мемуарах. Ведь многие слушали разные «голоса». Как попали мемуары за границу, не мое дело, отвечал отец. Свои воспоминания он диктовал и считает, что их нечего прятать. Там нет секретов, ничего такого, чего нельзя было бы опубликовать.

Воспоминаниями, естественно, интересовались не только москвичи, их публикация вызвала поток корреспонденции из-за рубежа, отцу писали со всех концов планеты. Но до отца письма не доходили, ручеек приходившей на дачу корреспонденции в те дни почти иссяк. Почему? Власти отреагировали на воспоминания в своем, естественно, духе: из КГБ в ЦК ушло предложение «Об ограничении поступления зарубежной корреспонденции в адрес Хрущева Н. С.».

3502-А
Особая папка
Совершенно секретно
25 декабря 1970 г.

В последнее время в адрес Хрущева Н. С. направляется большое количество различной корреспонденции от частных лиц из капиталистических стран.

Большая часть корреспонденции представляет собой открытки с поздравлениями с Новым годом и Рождеством. В отдельных из них приводятся изречения религиозного характера, сравнения Хрущева Н. С. с библейскими «героями».

Авторы писем обращаются к Хрущеву Н. С. как «к борцу за мир и противнику антисемитизма», выражают сочувствие в связи с его болезнью, в отдельных случаях высказывают одобрение появлению на Западе его «мемуаров», обращаются с просьбой дать отзывы в отношении некоторых бывших государственных деятелей Запада. Направляются также журналы, в которых помещены фотографии Хрущева Н. С., статьи с упоминаниями его имени.

Учитывая, что подобная корреспонденция носит тенденциозный характер и может инспирироваться зарубежными подрывными центрами, полагали бы целесообразным ограничить ее поступление на адрес

Хрущева Н. С.

Просим согласия.

Председатель Комитета госбезопасности Андропов

Приложена записка с согласием секретарей ЦК КПСС М. Суслова и И. Капитонова.

Помета:

Тов. Крючкову В. А. (КГБ) сообщено о согласии Секретарей ЦК.

31. XII.70 г.

Они панически боялись отца, беспомощного, старого, больного, изолированного от окружающего мира, и тем не менее боялись.

События последних месяцев заметно подорвали моральные и физические силы отца. Здоровье на этот раз возвращалось очень медленно. Он быстро уставал. Уже не мог без отдыха пройти до опушки леса: по дороге усаживался на раскладной стульчик, который по-прежнему носил с собой. Арбата уже не было. Он умер в весьма преклонном возрасте, и таскать стульчик стало некому. Отец завел себе новую собаку — дворняжку. Назвал ее Белкой за рыжую шерсть и живой характер. Она повсюду бегала за ним, преданно смотрела в глаза, лизала руки, но такта и воспитанности Арбата ей явно не хватало. Мы ему предлагали взять породистую собаку.

— Дворняжки и умнее, и преданнее, и неприхотливее. Зачем мне оболтус с родословной? — отказался отец.

Хотя беседа в ЦК и не прошла бесследно, отец не был сломлен. Уже в феврале он сказал мне: «Будем продолжать работу. Наладь все».

Диктовка шла с трудом. Он силой заставлял себя входить в рабочее настроение. Теперь он уже не жил работой, а выполнял самим на себя возложенные обязанности, тем самым доказывая и себе, и своим обидчикам, что не смирился, не думает сдаваться.

Так, через силу, он надиктовал три неполные катушки, где говорилось о встречах с конструкторами самолетов и ракет, учеными, в частности Петром Капицей, с деятелями культуры. Диктовал он о непомерных военных расходах, о том, как, по его мнению, можно разорвать этот заколдованный круг.

В январе Луи привез долгожданный экземпляр мемуаров — черный том с красно-золотыми буквами заглавия и фотографией улыбающегося отца на суперобложке. Я тут же поспешил в Петрово-Дальнее показать книгу отцу. Он перелистал ее, посмотрел фотографию и вернул мне. По-английски он не читал. Книгу он ощущал все-таки чужой. Вот если бы она вышла у нас…

В январе меня еще раз пригласили в КГБ. Евгений Михайлович передал, что меня просили ознакомиться с переводом английского издания мемуаров отца и дать заключение о его соответствии оригиналу.

Я удивился:

— Ведь у меня нет мемуаров. Все у вас. Проще всего сравнить два текста, сразу будут видны разночтения.

Он напомнил, что мне уже неоднократно разъясняли: мемуаров в КГБ нет — их передали в ЦК. Так что сравнить не с чем. Поэтому они и просят меня, человека, хорошо знакомого с оригинальным текстом.

Конечно, трудно поверить, чтобы они не могли получить материалы. Я так и не догадался, чего они добивались, попросив у меня заключение. Тем не менее я с охотой согласился. По-английски я читаю прилично, но профессиональный перевод позволял точнее оценить, насколько тексты аутентичны. Мне выделили комнату, поручили заботам Владимира Васильевича, и я погрузился в машинописный перевод книги.

У меня сразу вызвали внутренний протест коротенькие введения Эдварда Кренкшоу[68] к каждой главе. Я давно не перечитывал книгу, но остро помню чувство неприятия, которое в ту пору возникло у меня. В остальном все было правильно, текст не отличался от надиктованного по смыслу, мало разнился он и с рассказами отца, слышанными нами по многу раз.

В своем заключении я отметил, что материал сильно сокращен, в частности, выброшено почти все, относящееся к войне. Остались лишь отдельные эпизоды. Отсутствовали и некоторые другие факты, относившиеся к различным периодам нашей истории. Я отдал свое заключение Владимиру Васильевичу, он поблагодарил, и на том мы расстались.

К отцу по поводу мемуаров не обращался больше никто. Как мы и предполагали, публикация книги сняла напряжение.

В том же 1971 году обратный перевод с английского на русский был издан для ограниченного круга читателей в издательстве «Прогресс» с маркировкой «ДСП» («Для служебного пользования»). Таким образом, хотя и в переводе с английского, но все же вторым изданием стало русское.

Мемуары Хрущева изданы ныне еще на пятнадцати языках

нашей планеты. Их прочитали практически во всех странах мира.

На книжной полке у меня дома вслед за английским постепенно выстраивались немецкое, французское, итальянское, японское и даже турецкое издания.

Конечно, отец мог и не писать мемуаров. У него были и другие увлечения: выращивание овощей, прогулки, фотографирование. Если бы не мемуары, этот образ жизни, очевидно, вполне устроил бы власти и, наверное, позволил бы отцу прожить еще несколько лет. Но он выбрал другой путь, будучи уверен, что его слова нужны нашему народу и, что бы ни случилось, они когда-нибудь все-таки дойдут до его главного читателя. И тот резонанс, который вызвало в мире опубликование его воспоминаний, подтверждает правоту отца.

Евгений Михайлович и его «команда», казалось, обо мне забыли, и только иногда, во время важных государственных визитов, как, например, приезд в Москву генерального секретаря ООН, я замечал в зеркальце заднего обзора знакомую «Волгу». Изредка до меня доходила информация о подготовке второго тома. Правда, от меня уже ничего не требовалось и ничего не зависело.

В 1974 году, через три года после кончины отца, второй том мемуаров под названием «Хрущев вспоминает. Последнее завещание» наконец вышел в свет. На белой суперобложке с красно-черным траурным заголовком была помещена фотография отца, сидящего зимой на его любимой скамейке на опушке леса.

Тут-то обо мне снова вспомнили. Мы опять встретились с Евгением Михайловичем в том же номере гостиницы «Москва». Его сопровождал неизменный Владимир Васильевич. Речь зашла о том же: как мемуары попали в издательство «Литтл, Браун энд компани».

Мне показали заранее подготовленное как бы мое письмо на имя одного из известных американских редакторов господина Нормана Казинса.[69]

Недавно, разбирая старые бумаги, я нашел копию этой заготовки. Евгений Михайлович предлагал мне подписать такой текст:

> Уважаемый господин Казинс!
>
> Мне стало известно о том, что в США публикуются материалы, которые выдаются за мемуары моего отца. В действительности это не что иное, как провокационная акция реакционной западной прессы, направленная на дискредитацию советской действительности и создания препятствий на пути дальнейших улучшений советско-

американских отношений.

Известно, что изданный в США и некоторых других капиталистических странах первый вариант «мемуаров» Н. С. Хрущев рассматривал как очередную фальшивку, сфабрикованную буржуазной печатью, и официально заявил об этом в газете «Правда».

Сейчас отца уже нет в живых, и он, естественно, не может выступить с подобным заявлением. Поэтому я считаю своим долгом заявить от себя лично и членов нашей семьи, что никакие мемуарные материалы Н. С. Хрущева никому не передавались, а также высказать возмущение по поводу неблагоприятных действий отдельных американских издательств в отношении СССР, советского народа и нашей семьи в частности.

Надеюсь, что через Ваш журнал Вы доведете до сведения американской общественности содержание моего письма.

Искренне Ваш С. Хрущев.

По замыслу, мое письмо должно было вызвать скандал и дискредитировать мемуары. План простой, но эффективный: Казинс, как конкурент корпорации «Таймс», которой принадлежит и издательство «Литтл, Браун», с удовольствием воспользуется представившейся возможностью посадить соперников в лужу.

Согласиться с предложенным текстом я, естественно, не мог, но и отказываться с ходу посчитал неразумным, решил потянуть время и сказал, что мне нужно посоветоваться с мамой, поскольку такое дело не могу решать в одиночку. Мы условились встретиться через несколько дней. В тот же день я рассказал обо всем маме. Она поинтересовалась, читал ли я книгу.

— Нет, — ответил я, — даже не видел.

— Так как же можно писать, что это фальшивка, даже не ознакомившись с текстом, — логично возразила она. — Ты не должен делать такое заявление о книге, которую никто из нас в глаза не видел. Можно написать то, что написал отец: мы не знаем, как эти материалы попали на Запад.

С этим я и пошел на следующую встречу. Я понимал, что разговор будет не из легких, и приготовил неотразимый аргумент — мама запретила. Это было правдой, а к Нине Петровне они не подступятся. Кроме того, по поведению моих собеседников я заметил, что сейчас вопрос стоит не так остро, как четыре года назад.

Я еще раз перечитал заготовленный текст и попросил переделать его в соответствии с позицией мамы. Завязался спор. Я настаивал на своем.

— Дайте мне книгу. По-английски и мама, и я читаем. Правда, не слишком быстро, так что изучение текста займет примерно пару недель. Если книга не соответствует мемуарам, то я буду провозглашать на каждом углу, что это фальшивка. И напишу об этом кому угодно. А так — увольте. Не могу.

У Евгения Михайловича вырвалось:

— Как мы вам дадим книгу? У нас пока нет ни одного экземпляра. Мы сами ее не видели.

Я ухватился за эти слова:

— Ну а как же я могу что-то утверждать о книге, которую, оказывается, не только я, но и вообще никто в глаза не видел?

Расщепов понял, что после его обмолвки нам не сговориться. Пришлось долго возиться с текстом письма Казинсу, спорить из-за каждого слова. Наконец удалось согласовать редакцию в стиле заявления отца четырехлетней давности. Меня попросили переписать письмо от руки и собственноручно надписать адрес. Наконец все закончилось, и письмо отправилось к господину Казинсу по адресу: Соединенные Штаты Америки, округ Колумбия, город Вашингтон.

С тех пор мне не доводилось больше встречаться ни с Евгением Михайловичем Расщеповым, ни с его верным другом Владимиром Васильевичем.

Мое письмо дошло до господина Казинса и заинтересовало его. Он прислал своего человека в Москву, поручив ему встретиться со мной и, если я пожелаю, опубликовать серию разоблачительных статей.

В то время я занимался надгробием отцу, которое создавал скульптор и художник Эрнст Неизвестный. Вокруг Неизвестного всегда толклось много иностранных корреспондентов. Посланец господина Казинса легко вышел на него и попросил передать мне просьбу о встрече. Эрнст Иосифович, не осведомленный обо всей этой истории, воспринял обращение как желание новичка взять у меня интервью. Он предупредил собеседника, что я интервью не даю. В ответ его заверили, что речь идет не об интервью, а о чрезвычайно важном деле, хорошо известном мне.

Неизвестный в подробностях передал мне разговор и предложил встретиться у него в мастерской.

Миссия предстояла не из приятных, но я даже обрадовался такому повороту событий. Отправленное письмо меня беспокоило, теперь же мне представлялась возможность вернуть контроль над ситуацией.

У Неизвестного в мастерской я бывал часто, и мои визиты давно не вызывали профессионального интереса коллег Виктора Николаевича из «большого дома».

На этот раз Эрнст Иосифович предупредил: рядом с мастерской стоит машина со специальными антеннами. Ясно, что они будут нас подслушивать.

— Она всегда приезжает, когда приходят интересующие их иностранцы, — беззаботно проинформировал меня Неизвестный.

Я подумал, что при нашем разговоре Евгений Михайлович был бы не совсем к месту.

Только мы устроились в маленькой комнате, как раздался звонок в дверь — пришел корреспондент. Встретили мы его радушно. Пригласили отведать что бог послал. На столике стояла бутылка водки, какая-то незатейливая закуска. Наш гость по-русски говорил неплохо, что, конечно, облегчало общение.

Выпили по рюмке, закусили. Осведомились, как дела в Америке. Затем поговорили об искусстве, религии. Выпили еще. Обсудили последние международные события. Поговорили о диссидентах. Еще выпили. Разговор перешел на творческую манеру Неизвестного. Открыли вторую бутылку. Осмотрели скульптуры в мастерской.

Гость наш ничего не понимал. Он попытался было перейти к теме, ради которой приехал в Союз, но я всякий раз переводил разговор на другое. Наконец ему, видно, надоела вся эта несуразица. На лице читалось явное недоумение: он решительно поднялся, поблагодарил за теплый прием. Мы попрощались. Недоумение его усилилось еще больше. Я пошел проводить его до машины.

Я не знал, прослушивают ли нас на улице. Машина с антеннами стояла в десятке метров от корреспондентского «Вольво». Мне не хотелось расстраивать Евгения Михайловича и потому предпочел бы, чтоб он не узнал о нашем коротком разговоре. Однако дальше тянуть было невозможно.

Гость открыл дверцу машины, и тут я задержал его за руку:

— Прошу извинить меня. В доме нас подслушивали.

Он обрадованно улыбнулся, наконец положение стало проясняться.

— Передайте господину Казинсу мои глубочайшие извинения. Я вынужден был в силу ряда обстоятельств ввести его в заблуждение. Всякое бывает в жизни. Мемуары настоящие. Я их прочел, так что разоблачать нечего.

После этого мы попрощались.

Это была последняя попытка компетентных органов вмешаться в жизнь западного издания воспоминаний отца. С тех

пор они живут респектабельной жизнью, приличествующей мемуарам отставного главы правительства великого государства. На них ссылаются. Они стали частью мировой истории.

Правда, у нас продолжали распространять информацию о том, что мемуары эти — фальшивка.

В конце семидесятых годов я решил вернуться к своим запискам. Услужливо стертую в КГБ магнитофонную ленту я восстановил тогда же, по горячим следам, теперь пришло время перенести все на бумагу. Моя личная жизнь сложилась так, что к тому времени я развелся с женой и переехал к маме в Староконюшенный переулок. После смерти отца в 1971 году и последовавшей через год кончины моей младшей сестры Лены она там жила в одиночестве.

По складу организма я — жаворонок, работается легче с утра. Однажды утром я разложил бумаги на обеденном столе, раскрыл окно, выходящее в «колодец» арбатского двора, и принялся за работу. Весна была в разгаре, середина мая. Внизу под окнами зеленели распускающиеся липы. Сначала слова с трудом цеплялись друг за друга. Затем пошло легче. У меня даже появилось удовлетворение. Осмелев, я вставил первое прилагательное, дальше — больше. Незаметно промелькнуло три часа, мое утреннее время истекло, пора было собираться на работу.

Оставил маме записку с просьбой ничего не трогать, порядок на столе не наводить. Мама не терпела, когда вещи покидали отведенные им места, аккуратно складывала в пачки разбросанные листы бумаги, следила, чтобы нигде не было пыли.

Через месяц у меня набралась пара сотен рукописных страниц. Я, стараясь не упустить мельчайших подробностей, описал драматические события сентября-октября 1964 года, жизнь отца после вынужденной отставки, первые шаги на вновь отведенном ему месте жительства в Петрове-Дальнем.

Отдавать в перепечатку рукопись я не решался. Никакого практического применения своим запискам в те дни я не видел, а рисковать не хотелось. Я сложил рукопись в небольшой чемоданчик и поставил к стенке за прикроватной тумбочкой.

В суете повседневных дел я нечасто вспоминал о своих записках. Изредка бросив взгляд в угол, убеждался, что чемоданчик на месте, и тут же переключался на другое. Событий в моей жизни происходило немало. Основное время отнимала работа, да и дома было неладно. Мама болела. Ей стало трудно ходить, ноги отказывали из-за отложения солей. Она мужественно, как и все в своей жизни, переносила болезнь. Ухаживать за собой не позволяла, все старалась делать сама.

Основное время она проводила на выделенной ей правительством после смерти отца маленькой деревянной дачке в подмосковной Жуковке.

Там собралось много пенсионеров различного калибра и рангов. По опоясывающей поселок асфальтированной дорожке по утрам и вечерам проделывал ритуальный моцион Молотов. Несмотря на свой возраст, он выглядел бодрым и подтянутым. Я с ним почтительно здоровался издали, он кивал в ответ и возвращался к оживленному разговору с сопровождавшими его людьми. Один он появлялся редко.

Маминым соседом по даче стал Александр Петрович Волков. В последние годы перед пенсией он был председателем Комитета по труду и заработной плате. В пятидесятые годы Волков работал под началом отца в Московском комитете партии. К нему на огонек часто заглядывал Василий Павлович Мжаванадзе. Наперебой они ругали Брежнева, отправившего их на отдых, по их мнению, преждевременно и совершенно незаслуженно. Завидев меня, они приветливо здоровались, осведомлялись о здоровье Нины Петровны.

На соседней даче жила вдова Сергея Павловича Королева Нина Ивановна. Она порой забегала проведать маму, перекинуться парой слов.

Было вокруг немало и других знакомых. Теперь, отставленные с высоких постов, они нас не сторонились, а наиболее смелые даже вспоминали отца добрым словом.

В первые годы после смерти отца мама любила погулять, следила за прилегающим к дому участком соснового леса, вырезала прошлогодние ветки дикой малины, окружавшей дом плотным кольцом. Мама часами возилась на двух небольших грядках, разбитых мною по ее просьбе прямо в лесу. Там у нее росла ремонтантная земляника. Маме доставляло большое удовольствие попотчевать ягодами наведывающихся в выходные дни детей и внуков.

Теперь все это отошло в прошлое. Сил хватало лишь на несколько шагов по дорожке, да и то только с помощью палки. Остальное время мама проводила на раскладном полотняном стульчике на крыльце дома. Свое отношение к происходившим вокруг нее событиям она аккуратно заносила в дневник, который завела после смерти отца. Он составляет заключительную главу этой книги.

А затем пришла беда. Как это бывает, вдруг организм разладился, и болезни посыпались со всех сторон. Мама полгода почти не выходила из больницы и 9 августа 1984 года скончалась…

Прошло несколько лет. Я жил там же, в когда-то предоставленной отцу квартире. Однажды мне позвонила соседка по дому Джейн Темпест. Ее отец — британский коммунист, поэт, связанный в прошлом с легендарным советским разведчиком Кимом Филби, с «Кембриджской пятеркой», много лет проработал в Советском Союзе. Она родилась у нас и выросла настоящей москвичкой. Мы часто встречались семьями. Сейчас она вернулась в Англию, преподает там славистику в одном из университетов.

— С тобой хочет встретиться один мой новый знакомый. Он много занимался мемуарами Никиты Сергеевича, — сказала Джейн.

Я пригласил их зайти ко мне на следующий день. Так мы в первый раз встретились со Строубом Тэлботом, симпатичным молодым человеком, прилично говорившим по-русски.

Значительную часть своей жизни он посвятил мемуарам моего отца, сделав на них журналистскую карьеру. Он прекрасно разбирается в нюансах нашей жизни. Хрущев стал для него близким и понятным человеком. Он рассказал мне, как строилась работа над мемуарами, что он сократил и почему. Под сокращение попали разделы о войне, о жилищном строительстве, и особенно «не повезло» сельскому хозяйству.

— Он там очень много говорит о кукурузе, убеждая читателя в ее преимуществах. Нам это непонятно, в этом американских фермеров убеждать не надо, — рассказывал Строуб.

До этой встречи я практически ничего не знал о том, кто и как работал над воспоминаниями. Для меня было приятной неожиданностью то внимание и, я бы сказал, почтение, с каким сотрудники издательства отнеслись к запискам отца.

В разговоре мы не затрагивали вопросов, связанных с получением мемуаров. Шел последний период застоя, и говорить об этом было небезопасно.

Я думал, что мы больше не встретимся. Однако судьбе было угодно распорядиться иначе. В 1988 году Раде Никитичне позвонили из московского представительства журнала «Таймс» и попросили о встрече, чтобы обсудить важное предложение. В середине июня мы принимали представителей журнала на квартире моей племянницы Юлии Леонидовны.

От «Тайма» пришли Строуб Тэлбот и сотрудники московского отделения Энн Блэкман и Феликс Розенталь. Мы были в недоумении. Чего же от нас хотят?

Тэлбот вспомнил и о нашей предыдущей встрече, и о многом другом, а затем сказал, что они не могут считать свою миссию выполненной, пока воспоминания Хрущева не вышли на русском

языке, не стали достоянием народа, которому они предназначались. Он добавил, что они готовы приложить к этому все усилия и оказать в этом деле нашей семье посильную помощь. Кроме того, сказал Тэлбот, компания «Тайм» чрезвычайно горда тем, что ей выпала честь быть первым издателем воспоминаний этого великого человека.

Строуб пояснил, что, когда он прочитал мое интервью югославской газете «Виесник», он позвонил своим шефам и сказал, что пришла пора действовать. Надо ехать в Москву. Его идею одобрили. И вот они здесь.

Дело в том, что весной 1988 года у меня попросил интервью корреспондент хорватской газеты «Виесник» Милан Якеш. В ответ на его вопрос о мемуарах Хрущева я объяснил, что они находятся в ЦК КПСС и, по моему мнению, в условиях перестройки и гласности без затруднений могут быть изданы в Советском Союзе.

Это интервью получило широкую огласку в мире, его передали ведущие информационные агентства.

От имени нашей семьи я поблагодарил представителей компании «Тайм» за добрые слова и намерения и сказал, что больше всего нам мог бы помочь русский текст мемуаров, распечатанный с пленок. Тэлбот ответил, что все пленки «Тайм» передал в Гарримановский институт Колумбийского университета в Нью-Йорке. Там хранится собрание записей голосов наиболее выдающихся государственных деятелей.

— Эти записи доступны любому исследователю. Нам не представит труда получить их для вас, — обнадежили они меня.

Мы договорились о следующей встрече. Прошло меньше месяца, и в начале июля нас посетили руководители «Тайма» Генри Маллер и Джон Стакс, а также наши знакомые Строуб Тэлбот, Энн Блэкман и Феликс Розенталь.

Маллер и Стакс не принимали участия в издании мемуаров, так как пришли в компанию позднее. Они вручили нам экземпляры воспоминаний Хрущева на английском языке. У меня эти книги были, а Рада и Юля получили их впервые.

Они еще раз заверили нас, что компания «Тайм» считает для себя делом чести довести публикацию воспоминаний Хрущева до победного конца, и сказали, что распечатки с пленок будут у нас в ближайшее время…

Надо сказать, что, несмотря на резко отрицательное официальное отношение к имени Хрущева во времена брежневщины, осторожный возврат интереса к имени отца начался задолго до встречи с американцами.

В конце семидесятых годов мне позвонил Алексей Владимирович Снегов и сказал, что историк Рой Медведев пишет

биографию отца. Алексей Владимирович рассказал ему все, что знал сам, и теперь, выполняя просьбу Медведева, просил меня встретиться с ним.

Я много слышал о Рое Медведеве. Читал его книгу о Сталине «К суду истории». По тем временам это был чрезвычайно смелый шаг, который не мог не вызвать уважения. Хорошо о нем отзывался в свое время и Эрнст Неизвестный, собиравшийся нас познакомить, однако сделать это до своего отъезда за рубеж в 1975 году не успел.

Читал я книги Медведева об отце на английском языке. По правде говоря, мне они не понравились. Я не почувствовал в них глубокого анализа исторического периода, многие события освещались поверхностно, какие-то факты оказались искаженными, а с оценками, как ни старался быть объективным и преодолеть родственные чувства, я согласиться не мог — слишком близко они оказывались к стандартным в те времена словам о волюнтаризме и субъективизме Хрущева.

Не надо забывать обстановку тех лет. Тогда даже простое упоминание его фамилии могло быть чревато неприятностями для автора издания, но Медведеву позволялось.

Мы договорились о встрече. И вот седой, интеллигентного вида мужчина сидит напротив меня. Мы поговорили о его замысле, о необходимости объективного освещения истории. Казалось, мы вполне поняли друг друга, и встречи наши продолжались. Я рассказывал ему об отце, и эти рассказы автор использовал при написании многих глав своей книги.

Наконец Рой Александрович принес окончательный вариант. Он сказал, что книга уже набирается в Лондоне. Событие это совпало со смертью Брежнева.

Книга мне не понравилась. Отдельные ее разделы были полны неприятия хрущевских реформ. Лишь бесспорные события, такие, как XX съезд, разоружение, не подвергались разгрому. Особенно, как я помню, досталось «неправильным» действиям отца в области сельского хозяйства, приведшим к сокращению выпуска сельскохозяйственных машин — тракторов и комбайнов.

Свои обвинения автор позаимствовал из доклада Брежнева весной 1965 года на первом, не организационном, постхрущевском Пленуме ЦК. Там на отца валили все без разбора. Производство тракторов и комбайнов в 1959–1960 годах действительно сократили в соответствии с предполагаемыми потребностями. Потом, в 1961–1963 годах, когда потребности возросли, увеличили. Потом… Что происходило после того, я уже не помню, но наверняка промышленность следовала указаниям Госплана, а он отслеживал ситуацию на селе. Ничего необычного

и ничего трагичного, но тогда Брежнев на этом незначительном эпизоде спекулировал, а теперь Медведев, вторя ему, политическую спекуляцию превращал в историю.

Дальнейшие разделы книги строились примерно по тому же принципу, как если бы их писали в ведомстве Евгения Михайловича.

Значительную часть книги автор отвел критическому разбору школьной реформы — вопросу, который не числился у отца в приоритетных, но оказался наиболее близким самому Медведеву, в прошлом учителю.

Словом, как я ни старался отстраниться от понятного родственного субъективизма и трезво взглянуть в лицо историческим фактам, у меня ничего не выходило. Обо всем этом я откровенно сказал Рою Александровичу при нашей встрече в декабре 1982 года.

Расстались мы холодно. Рой Александрович сказал, что каждый историк имеет свой взгляд на прошлые события, да и книга уже в издательстве. С этим спорить не приходится. На этих страницах я тоже высказываю свой личный взгляд на события тех лет.

Через несколько дней мне позвонил Снегов. В оценках он был более категоричен, чем я, назвал Медведева провокатором, и даже еще похуже, долго извинялся за то, что вывел его на меня.

Прошел год, и я снова услышал в телефонной трубке знакомый голос Роя Александровича. Мы с ним повстречались. О последнем разговоре не вспоминали.

Медведев подарил мне свою книгу «Политическая биография Хрущева» на русском языке. Она мало походила на предыдущий вариант, хотя и содержала, на мой взгляд, целый ряд неточностей.

Наше знакомство восстановилось. Рой Александрович рассказал, что пишет книгу о Брежневе, просил помочь. Я согласился.

Начавшиеся после смерти Брежнева изменения позволили всерьез задуматься о возможности работы над воспоминаниями отца в нашей стране, восстановлении его доброго имени. Я стал обдумывать письмо Юрию Владимировичу Андропову, но не успел его написать. Андропова не стало. Над страной опять стали сгущаться сумерки. Обращаться с просьбой к Черненко было не только бессмысленно, но и опасно.

К счастью, Черненко правил страной недолго, в марте 1985 года к власти пришел Горбачев. Я вернулся к мысли отправить письмо в ЦК, обратиться непосредственно к Михаилу Сергеевичу.

Его выступления, слова, действия внушали оптимизм,

вселяли веру в перемены к лучшему. Весь стиль его деятельности, динамизм, общительность, стремление к новому напоминали мне отца. К сожалению, только внешне, но это прояснилось не сразу.

Я еще какое-то время приглядывался к новой власти, затем долго мучился над текстом письма. От него зависело так много. Наконец, в конце лета или начале осени 1985 года я решился.

Довольно легко я дозвонился до помощника Горбачева Анатолия Сергеевича Черняева. На следующий день он принял меня. С волнением я входил в первый подъезд знакомого здания на Старой площади. Как давно я здесь не был…

Анатолий Сергеевич подробно расспросил меня обо всем, пообещав изложить мой вопрос Михаилу Сергеевичу в ближайшие дни, чем удивил меня несказанно. Я рассчитывал на ответ минимум через несколько недель, а то и месяцев. Видимо, новые времена начались всерьез.

Действительно, дня через три-четыре, когда я опять дозвонился до Черняева, он сказал, что Михаил Сергеевич посоветовался с другими членами Политбюро и они решили, что в соответствии с нынешним курсом исторической науки работа над мемуарами Никиты Сергеевича актуальна. Черняев добавил, что мне будут предоставлены все условия, а конкретно реализацией решения занимается Секретарь ЦК КПСС Александр Николаевич Яковлев. Он тут же продиктовал мне номер телефона помощника Яковлева Валерия Алексеевича Кузнецова, предложив в случае затруднений звонить.

Я был на седьмом небе! Оказывается, вот как бывает! А я рассчитывал на обычную у нас волокиту. Вот что значит новое мышление!

О Яковлеве в Москве говорили как о человеке нового склада, демократе, полном антиподе Суслову. Я очень надеялся, что Александр Николаевич меня примет, мы с ним обсудим план действий, он возьмет публикацию мемуаров под свой контроль.

Потребовалось длительное время, чтобы понять, что среди «идеологов» старой школы (а именно к ней принадлежали и Суслов, и Яковлев) разница между «либералами» и «ретроградами» весьма иллюзорна. Все они, бывшие и нынешние, одинаково не прощали отцу ни его антисталинского выступления на XX съезде, ни его намерения ограничить всевластие бюрократии. Не прощали, но только одни — открыто, другие — порой не признаваясь в этом даже самим себе.

Через много лет, в апреле 1994 года, в Москве в Колонном зале, где отмечали столетие со дня рождения отца, я впервые лицом к лицу повстречался с Александром Николаевичем. На мой вопрос, почему же он не посодействовал мне в получении

рукописей воспоминаний отца, по сути, замотал прямое поручение Горбачева, Яковлев пустился в путаные объяснения, сказал, что КГБ отзывался обо мне отрицательно, и не только в политическом плане, но и в отношении моей работы в институте.

Через некоторое время Александр Николаевич передал мне через общих знакомых, что дело вообще не в нем, а в злокозненном Болдине. Именно у него в Общем отделе хранились мемуары отца, и именно он их не желал возвращать.

Наверное, все это правда. Вряд ли КГБ простил мне то, что я переиграл их в 1970 году, увел из-под носа мемуары отца. И на работе я не всегда вел себя правильно. К примеру, как на меня ни давили, в характеристиках на отъезжавших в Израиль сотрудников писал то, что я о них думал, а не то, что требовалось. И Болдин, наверное, не горел желанием отдать отцовские воспоминания, которые действительно хранились у него.

Все это правда, но правда и то, что Александр Николаевич не пожелал заниматься этим делом, его помощник сказал мне об этом в открытую и переадресовал к заведующему отделом пропаганды Юрию Александровичу Склярову. Тот со мной соединился незамедлительно. Разговор был предельно любезным. Юрий Александрович заверил меня, что в ближайшие дни разберется. Позвонит мне сам.

Прошел месяц. Тишина… Я позвонил снова. Оказалось, что все прошедшие с момента изъятия годы мемуарами никто не только не занимался, но даже и не поинтересовался. Их предстояло разыскать в архивах. Юрий Александрович опять заверил меня, что при первых же новостях позвонит мне сам. Так мы и перезванивались почти два года.

В августе 1987-го пришлось снова обращаться к Михаилу Сергеевичу. Я отправил письмо, но никакой видимой реакции не последовало. Позднее до меня дошла информация, что «мой вопрос» 23 апреля 1988 года обсуждался на Политбюро ЦК и проголосовали за то, чтобы вернуть мемуары отца наследникам. Почему все произошло с задержкой на семь месяцев, я не знаю. Возможно, письмо долго валялось в канцелярии. Или Михаил Сергеевич решил задним числом подстраховаться? Не исключено и что это реакция на саботаж его указаний в аппарате Яковлева, о котором ему мог доложить кто-то из помощников, скорее всего Черняев. Так или иначе, но последовало новое указание, подтверждавшее предыдущие. Я с новой силой принялся звонить Юрию Александровичу. Сначала в архиве шел ремонт. Потом он переезжал в новое помещение.

В августе 1988 года наконец что-то нашли.

Мне позвонили из ЦК и пригласили на следующий день утром зайти к товарищу Склярову. Через несколько минут раздался еще один звонок. На сей раз густой мужской голос, назвавшийся Смирновым из журнала «Огонек», интересовался фотографиями похорон моего отца. У них предполагалась статья об этом печальном событии, а иллюстраций не было, ведь ни один советский журналист там не присутствовал.

Мы уговорились со Смирновым встретиться завтра у здания ЦК на Старой площади, у 10-го подъезда. Там на пятом этаже меня ожидал не просто Скляров, возможно, мне наконец-то удастся вернуть отобранные более пятнадцати лет тому назад воспоминания отца. О том, что со встречи со Смирновым начинается новый период в борьбе за опубликование мемуаров, я, естественно, и не подозревал.

Я опаздывал. То и дело сверяясь с бумажкой, на которой записал маршрут, с трудом нашел десятый подъезд. Вот, кажется, нужная мне дверь. Возле нее переминается с ноги на ногу высокий мужчина. Это и есть Смирнов. Лицо располагающее, усы над верхней губой как раз впору, а улыбка заставляет вспомнить двух котов: добряка Леопольда и хитреца Базилио.

Я передаю ему фотографии и берусь за массивную ручку двери. Однако Смирнов удерживает меня, ему любопытно, зачем я приехал сюда, в отдел ЦК, ведающий идеологией. Я в двух словах обозначаю: борюсь за публикацию воспоминаний отца. Времени для подробного разговора нет. Смирнов не отпускает меня и тут же предлагает опубликовать материалы в «Огоньке». У меня нет времени объяснять ему все сложности, предлагаю встретиться в начале сентября.

Поднимаюсь на лифте. Вот и кабинет Склярова.

У Юрия Александровича уже сидела моя сестра Рада Никитична. Присутствовал еще один человек — Василий Яковлевич Моргунов, которому руководство поручило помогать нам в работе над мемуарами.

Юрий Александрович открыл добротную картонную папку, вернее, даже коробку, и сказал, что ему принесли 400 страниц и мы можем начинать над ними работать.

— Почему четыреста? А где же остальные? Где магнитофонные пленки? — забеспокоился я.

Просматриваю предложенный текст — редакция не моя, но это и не перевод с английского. Видимо, кто-то занялся этой работой помимо нас.

На первой странице кроваво-красные зловещие штампы: «Совершенно секретно», «Копии не снимать», «Подлежит возврату в Общий отдел ЦК». Юрий Александрович с улыбкой

подталкивает пачку бумаг ко мне: берите, работайте. Мне же вспоминаются Расщепов, Титов, Мельников; нет никакого сомнения — продолжается та же игра. Как только я прикоснусь к этим листам, западня захлопнется, я никогда не смогу воспользоваться ни копией воспоминаний отца, захороненной у Шумилова, ни копией, которую мне обещали прислать американцы. Обе они автоматически станут совершенно секретными, подлежащими возврату в Общий отдел ЦК.

Рада молчит.

— Но у меня забрали около полутора тысяч страниц, а здесь всего четыреста. Для компоновки книги нужно иметь весь исходный текст и магнитофонные пленки в придачу для сверки. Только тогда можно быть уверенным, что ничего не упущено, оригинальный текст не искажен, — объясняю я.

Скляров встревоженно смотрит на Моргунова. Моргунов молчит.

Собираясь в ЦК, я перечитал расписку Титова об изъятии материалов и переписал ее от руки. Показываю копию расписки. Юрий Александрович высказывает искреннее удивление. О существовании расписки тут не знали. Скляров еще раз, теперь уже не очень уверенно, предлагает взять хотя бы четыреста страниц, а они займутся поиском остальных. Я вежливо отказываюсь. Разговор окончен, договариваемся созвониться… в сентябре.

Только через много лет, когда я в третий раз, в 2008 году редактировал эту книгу, мне пришло в голову, что разысканные Скляровым — Моргуновым четыреста страниц — это распечатки прослушки диктовок отца, сделанные КГБ в конце 1960-х годов. Я уже упоминал о них, ссылаясь на запись в дневнике Шелеста за июнь 1968 года. Он тогда насчитал 450 страниц, присланных ему из Общего отдела ЦК, здесь — около четырехсот, там «совершенно секретные» штампы и требование все возвратить в ЦК — и здесь то же самое. Все сходится. Иначе откуда эти 400–450 страниц взялись? Трудно предположить, что их подготовили специально для меня, но тогда я считал именно так.

Покинув здание ЦК и попрощавшись с Радой, я из телефона-автомата — так и быстрее и конспиративнее — звоню Розенталю в представительство «Тайма», осведомляюсь, не пришли ли из Гарримановского института обещанные распечатки. Оказывается, они уже в Москве. Договариваемся с Розенталем о встрече.

Вскоре в моей квартире вслед за сияющим Розенталем появился его водитель с большой картонной коробкой в руках.

— Мне ее не поднять, — объяснил Феликс Розенталь. — Здесь все, как мы и договаривались. Мои начальники из Нью-

Йорка передают вам наилучшие пожелания и желают успеха.

Розенталь ушел. После длительного путешествия и стольких лет разлуки мемуары вернулись домой. Вот они, передо мной.

Открываю первую папку. Да, это, несомненно, тот самый текст: такие родные слова отца и моя пусть не профессиональная, но старательная редакторская правка:

«Ко мне давно обращаются мои товарищи и спрашивают, и не только спрашивают, но и рекомендуют записать свои воспоминания, потому что я и вообще мое поколение жили в очень интересное время…»

Так я снова получил это бесценное, надеюсь, не только для меня, историческое свидетельство…

На самом деле для работы мне не требовался ни экземпляр, похороненный в недрах ЦК, ни американская копия. Работать я собирался с материалами, хранившимися у Шумилова и Вити — Виктора Викторовича Евреинова, мужа моей покойной сестры Лены. К тому времени из Вити он превратился в солидного доктора наук, но работал там же, в «Химфизике», в институте теперь уже тоже покойного академика Семенова. Что мне требовалось, так это «прикрытие», ответ на вопрос, откуда все мое «добро» взялось.

Я не забывал, как заверял своих собеседников в КГБ и расписывался в протоколах допросов в КПК, что у меня ничего не осталось, я полностью «разоружился», все сдал. Мыслишка о том, не притянут ли к ответу, если события отвернут в иную сторону, не раз приходила мне в голову. Теперь, по получении распечаток от «Тайма», я легко отвечал на этот вопрос.

Начинался второй, заключительный период работы над воспоминаниями отца. Я поговорил с Лорой, мы пришли к выводу, что старая схема работы наиболее удобна. Надо только привести в работоспособное состояние технику. За прошедшие почти два десятилетия она здорово растрепалась. Починили магнитофон, купили новые наушники, благо за эти годы они перестали быть редкостью. Машинка — основное орудие труда Лоры — постоянно находилась в работе.

Наконец появились первые распечатки, и мы с женой Валентиной Николаевной, разделив драгоценные листки, взялись за карандаши. Дело стронулось, но на душе было неспокойно. Ведь работа, по существу, ведется по-старому — на полку, снова в расчете на будущее…

Визит к Склярову, неизвестно откуда взявшиеся четыреста страниц «совершенно секретных» воспоминаний отца приводили меня в уныние, но вместе с тем подталкивали к действиям.

Я решил написать новое, третье письмо Горбачеву. В нем я

информировал его об изменениях, происшедших за истекший год, обстоятельствах, складывающихся вокруг мемуаров отца. Теперь уже речь шла не о получении их из архивов, а о согласии на публикацию того, что лично мне удалось добыть. Своими планами я поделился с Радой, и она предложила передать письмо через другого помощника Михаила Сергеевича — Ивана Тимофеевича Фролова. Она с ним была хорошо знакома и теперь решила поделиться со мной своим заветным контактом в высшем эшелоне ЦК.

С Фроловым мы условились о встрече на последнюю неделю сентября 1988 года, уже не помню точно, 26-го или 27-го, соответственно в понедельник или во вторник.

Принял он нас очень тепло. Обещал при первой оказии доложить Горбачеву. Посетовал на то, что дело с воспоминаниями Хрущева безобразно затянулось.

Памятуя историю со Скляровым, я проявил настойчивость: когда можно осведомиться о результате. На приветливом лице Фролова проступила озабоченность. Он стал вдруг сетовать на чрезвычайную загрузку Горбачева, непростую обстановку. Тут он замолк. Мы так и не поняли: непростую обстановку — где и в чем? В мире? В стране? В ЦК?

Прозвучала еще одна, как мне кажется, непроизвольная фраза:

— Вы себе представить не можете, что здесь делается! Этого мы при всем старании представить себе не могли.

— Так что на этой неделе я Михаилу Сергеевичу доложить не смогу, — произнес Иван Тимофеевич, — позвоните мне в начале следующей недели — во вторник, среду.

В субботу 1 октября на первых страницах газет появилось сенсационное сообщение: в пятницу 30 сентября на Пленуме ЦК КПСС из Политбюро и Секретариата вывели старожилов — политических долгожителей: бывшего министра иностранных дел, а ныне Председателя Президиума Верховного Совета СССР Громыко, Председателя правительства Российской Федерации Соломенцева, отправили на пенсию секретарей ЦК Долгих, Демичева и даже горбачевского назначенца Добрынина. На их место избрали тех, кого Горбачев считал своими верными сторонниками, в том числе Вадима Андреевича Медведева, человека мне дотоле не известного. Его не только сделали полноправным членом Политбюро ЦК, но и назначили председателем вновь избранной Идеологической комиссии ЦК, прямым начальником Склярова, тогда как Яковлева перебросили на международные дела, поручили ему заведывание соответствующей комиссией. Одновременно «порекомендовали»

избрать Горбачева на освободившееся от Громыко место Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Теперь стало понятным, что всю эту неделю творилось в ЦК. Удивительно, что Фролов вообще нашел время встретиться с нами. Но меня волновали мои проблемы, и в среду 5 октября я набрал номер городского телефона Фролова в ЦК. Я поспел ко времени. Мой вопрос доложили Михаилу Сергеевичу и получили поддержку. Сам Горбачев не взял на себя ответственность за принятие решения, по поводу нашего письма «товарищи обменялись мнениями на Политбюро, одобрили идею опубликования воспоминаний Хрущева». Напомню, что «мой вопрос» Горбачев уже ставил на Политбюро в апреле, и тогда его тоже решили положительно. Практическую реализацию поручили преемнику Яковлева на посту главного идеолога — вновь избранному члену Политбюро Вадиму Андреевичу Медведеву.

— Вот видите, все в порядке, — заключил наш разговор Иван Тимофеевич. — В ближайшие дни позвонят от товарища Медведева, и вы сможете договориться о начале работы. — Помедлив, он добавил: — Если они немного задержатся, то не волнуйтесь. У них там предстоят большие перемены, возможно, в первый момент будет не до вас.

Я не волновался, я был в восторге. Мне мерещились машинистки, редакторы, корректоры и в итоге — новенькие тома книг.

Потом я перечитал краткую биографическую справку о вновь избранном члене Политбюро, и энтузиазма поубавилось. Почему-то подумалось, что мне он не позвонит. Сам я звонить больше не намеревался: история со Скляровым многому научила. Переговоры с аппаратом затягиваются, как трясина. Звонки, переталкивание из кабинета в кабинет, где все время обещают, заверяют, но не решают.

Рассчитывать следует только на себя.

Если в связи с мемуарами отца надо мной довлели воспоминания о зловещих разговорах в ЦК и КГБ, то с собственными записками дела обстояли проще — формально я никому ничего не обещал. Поэтому сразу после первого письма Горбачеву я вытащил из-за кровати заветный чемоданчик, отряхнул с него пыль, вынул пожелтевшие от времени листки и начал писать. Я не просто писал, но тем самым проверял, насколько пристально Виктор Николаевич следит за мной. Мы вновь перезванивались с Лорой, я относил ей рукопись, получал распечатки, и хотя телефон при наших разговорах подозрительно пощелкивал, ничего более серьезного не происходило. Ее никуда не вызывали, мне никто не звонил. Работал урывками: я стал

заместителем директора, институтские заботы поглощали все время.

Ко времени визита к Склярову рассказ об отстранении отца от власти я закончил. Лора аккуратно перепечатала мои каракули. Что делать дальше, я не знал. По сравнению с мемуарами отца, собственные воспоминания представлялись мне второстепенными. О публикации их я всерьез не задумывался. Какой из меня писатель? В школе сочинения доставляли мне одни мучения, в последующей жизни ничего, кроме технических отчетов и писем в министерства, из-под моего пера не выходило.

Конечно, и мне мерещились типографски отпечатанные странички, аккуратно переплетенные и увенчанные моим именем тома, но расплывчато и очень редко. Никому из издателей я свою рукопись не предлагал, да и не знал я никого. И тут случайная встреча со Смирновым у десятого подъезда здания ЦК КПСС на Старой площади.

Не стану забегать вперед, постараюсь не нарушать хронологию событий.

В течение прошедших двух месяцев, августа-сентября 1988 года, обстановка вокруг мемуаров отца смягчилась, популярные журналы — сначала «Огонек» в лице Смирнова, а затем и «Знамя» — выразили желание опубликовать их. Однако все упиралось в цензуру, в то, хватит ли у нас сил прорваться сквозь нее.

Сразу по получении из Америки распечаток воспоминаний отца я, даже не разбираясь в них, достал свой экземпляр, до того хранившийся у Шумилова, и в августе 1988 года начал хождение по редакциям.

Здесь требуется сделать отступление.

В первое издание моей книги, вышедшей в издательстве «Новости» в 1990 году и озаглавленной «Пенсионер союзного значения», рассказ о событиях, последовавших за встречей со Скляровым, не вошел. Я все тогда подробно записал, но остерегся с этим куда-либо соваться.

Через десятилетие, в конце 1990-х годов, издательство «Вагриус» предложило мне переиздать «Пенсионера» под заглавием «Хрущев». Я поморщился, название «Пенсионер» мне нравилось больше, но издательство настаивало, и я согласился.

В новой книге я решил довести историю мемуаров до их публикации и заодно восстановить истинные фамилии кагебешных начальников, «присматривавших» все эти годы за мной. В первом издании по просьбе «товарищей» с Лубянки я Расщепова переделал в Рассказова, а Титова — в Попова.

Готовя книгу к переизданию, я перечитал записи и усомнился в датировке. Выходило, что между визитом к Склярову и

публикацией моего рассказа в «Огоньке» прошло менее двух месяцев. Такой бег времени показался мне просто невероятным.

Я уже жил в США, «Огоньков» за 1988 год под рукой не оказалось, и после долгих прикидок и колебаний я «волюнтаристски» растянул ход событий в угоду своему «здравому смыслу», сместил год публикации рассказа с 1988 на 1989 год.

Большинству читателей нет особого дела до 1988 или 1989 года. Годом раньше, годом позже… Но я, обнаружив «прокол», очень расстроился, тем более что проверить даты оказалось проще простого: в библиотеке Браунского университета, где я преподаю, хранится подписка, начиная с первых номеров, не только «Правды», «Известий», «Комсомолки», «Литературки», но и «Огонька», «Знамени», «Нового мира» и многих других советских и российских изданий. В настоящем издании я восстановил последовательность событий в хронологии, по сути вернулся к первоначальной рукописи.

Итак, сразу после встречи со Скляровым я приступил к хождению по редакциям. Теперь в моем портфеле лежали не только воспоминания отца, но и моя собственная рукопись. К тому времени она обрела отчетливые очертания. Начал я со «Знамени», они недавно напечатали воспоминания Аджубея и поэтому представлялись мне посмелее других. И вот я поднимаюсь на третий этаж старого обшарпанного дома, спрятавшегося в глубине двора по улице Двадцать Пятого Октября (сейчас она переименована в Никольскую). Главный редактор журнала Григорий Яковлевич Бакланов был занят, но приветливая секретарша, тем не менее, без промедления проводила меня в кабинет.

Григорий Яковлевич разговаривал с посетительницей. Вид у него был затравленный, на него наседала полная дама с пухлой рукописью в руках. Наконец дама удалилась. Григорий Яковлевич, беззащитно щурясь, развел руками — вот как бывает.

На длинном светлого дерева столе для заседаний по-домашнему расставлены пестрые чайные чашки, на тарелке горкой лежат конфеты, рядом — пирожные.

Мое дело мы обсудили за чашкой чая. Разговор оставил ощущение нерешительности и неконструктивности.

Договорились, что надо подождать решения наверху. Беседа завершалась, и я, смущаясь, промолвил, что вот тут еще я и сам кое-что написал. Порывшись в сумке, я достал объемную рукопись. Я еще не успел ее перепечатать, страницы топорщились во все стороны. Григорий Яковлевич поглядел на меня с испугом. Я вспомнил недавнюю посетительницу и, вздохнув, засунул

сверток назад в сумку.

— Это я так… Может быть, когда-нибудь в будущем… — выдавил я.

— Конечно, конечно, — заторопился Бакланов.

Через несколько дней, созвонившись со Смирновым (звали его Костя), я направился в «Огонек». Его редакция размещалась в многоэтажном здании комбината газеты «Правда» наискосок от Савеловского вокзала.

Если в «Знамя» мог зайти любой, то тут потребовалось выписывать пропуск — чувствовалось, что журнал не литературный, а политический.

После недолгого разговора Смирнов увлек меня к Гущину, первому заместителю главного.

— Его зовут Лев Никитич. Он здесь все решает, — наставлял меня Костя. Мы уже входили в дверь кабинета, но я успел шепнуть:

— А Коротич?[70]

— Коротич тоже, — закивал головой Костя.

Вышедший навстречу молодой еще человек весь лучился благожелательностью. Уселись вокруг большого стола. После короткой паузы Лев Никитич стал излагать свои мысли о возможности публикации воспоминаний моего отца. Говорил он четко, не рассусоливая, чувствовалось, что он не только знает, чего хочет, но знает, как этого добиться. Его позиция вкратце сводилась к следующему: «Если есть что печатать, давайте печатать. Когда запретят, тогда и будем спрашивать разрешения».

Если дряблость предыдущей встречи меня донельзя расстроила, то напор нынешней несколько испугал.

Ситуация разрядилась сама собой: дверь раскрылась, и в комнату вкатился Коротич. Весь он состоял как бы из кругляшков, с лукавой улыбкой на шарике головы.

Оглядев всех, он спросил: «Что вы здесь делаете?» Так, как будто ничего не знал, заглянул сюда совершенно случайно.

Гущин изложил ему суть дела.

— С мемуарами Никиты Сергеевича ничего не выйдет. Есть решение ЦК, правда, из застойных лет, от 1973 года, о том, что воспоминания высших руководителей публикуются только с разрешения Секретариата ЦК. Никто нас не выпустит, нечего и пытаться… — подытожил он.

Гущин кивнул, Смирнов открыл рот, подумал и осторожно прикрыл его. Улыбка так ни на минуту и не сошла с лица Коротича. Он повернулся ко мне:

— Вот если бы у вас было что-нибудь свое…

Костя сделал стойку: пока мы дожидались Гущина, я успел рассказать ему о моих записках. Я полез в сумку за бумажками. Честно говоря, я почти был уверен, что рассказ о смещении отца опубликовать значительно труднее, чем его мемуары.

— Вот, например, рассказ об отставке в 1964 году. Только не знаю, хватит ли у вас решимости?… — подзавел я своих собеседников.

Они «завелись», что называется, с полоборота. Едва взглянув на протянутую мною пачку листов, Коротич бросил:

— Будем печатать!

Через несколько минут Коротич, одарив нас прощальной улыбкой — масса дел, его уже ждут в другом месте, — выкатился из кабинета, а мы с Костей отправились работать. Убирали из текста «красивости», бесконечные «был, было, будет», но в основном моя редакция оставалась неизменной. Костя меня похвалил, и я немного возгордился.

1 октября 1988 года, в субботу, вышел «Огонек» с первой частью моего рассказа об отрешении отца от власти.[71] Он произвел эффект разорвавшейся бомбы, в один день я стал знаменитым.

Напомню, что в тот же день опубликовали сообщение о только что завершившемся Пленуме ЦК, на нем Горбачев добился отставки большинства своих оппонентов. Именно это имел в виду Фролов, говоря о непростой обстановке в ЦК.

Привычные к тому, что в Москве ничего не происходит случайно, иностранные журналисты тут же связали мой рассказ в «Огоньке» с информацией «Правды» о Пленуме ЦК, а корреспондент японской газеты «Асахи» впрямую спросил: правда ли, что Горбачев лично заказал мне публикацию в журнале «Огонек»?

Как бы то ни было, с того момента многое переменилось — хотя табу с имени отца так и не сняли, на него (табу) стали меньше обращать внимания: появились, правда редкие, статьи с упоминанием запретного имени, меня наперебой приглашали выступить с воспоминаниями об отце. Во время одной из таких встреч в октябре 1988 года, в телевизионной программе «Добрый вечер, Москва», я впервые упомянул о мемуарах отца, сказал, что они существуют. После передачи я чувствовал себя героем, приготовился к возможным санкциям. Их не последовало, что я расценил как добрый знак.

Я, уже не таясь, редактировал воспоминания отца и, воодушевленный оглушительным успехом моего рассказа, развивал его в книгу о жизни отца в опале и забвении. Постепенно работа над книгой стала для меня основной, и я

попросился у своего министерского начальства в творческий отпуск. Начальство не возражало. Я переселился на дачу. Там писалось легче, и московская суета не так отвлекала.

Однако на Старой площади все оставалось без изменений. Из ЦК мне не звонили, казалось, распоряжение Политбюро затерялось между зданиями. Там продолжали «искать» и никак не могли найти изъятые у меня магнитофонные бобины и более тысячи страниц машинописи. Я терпеливо ждал. Юрия Александровича Склярова сменил Александр Семенович Капто. Он теперь возглавил объединенный отдел ЦК, осуществлявший надзор над всей идеологией страны.

В то время вошли в моду встречи руководства с интеллигенцией, что-то наподобие устраивавшихся отцом в шестидесятые годы. На одну из таких встреч пригласили Бакланова. Он решил воспользоваться случаем, провентилировать обстановку в кулуарах. Вернулся Бакланов обескураженным. В перерыве ему удалось поймать Медведева и задать вопрос о мемуарах отца. Тот не поддержал разговора, только недовольно буркнул: «Пока не время» — и отошел.

К весне 1989 года, по мере того как информация о воспоминаниях отца половодьем растекалась по стране, меня наперебой приглашали выступать. Я охотно откликался, считал своим долгом рассказывать правду об отце. Благо цензурные ограничения на устные выступления сняли. Все больше становилось предложений о публикации воспоминаний отца, звонили из областей и республик, из толстых и тонких журналов. Но преодолеть цензурные рогатки оказалось никому не по силам. В редакции очень популярного в те годы еженедельника «Аргументы и факты» попытались было поставить в номер мемуары отца, посвященные XX съезду, но цензура раз за разом снимала материал, требовала санкции ЦК КПСС. Наконец после длительной осады на третьей странице этой самой массовой в стране газеты появилось несколько абзацев из воспоминаний отца.

Мы праздновали победу. Теперь публикация воспоминаний в «Знамени» и «Огоньке» становилась реальностью. Но это лишь первый шаг, я по-прежнему мечтал напечатать весь текст целиком. И такой случай представился. Мне позвонил член-корреспондент Академии наук СССР Ахмет Ахметович Искендеров и предложил начать печатать воспоминания отца в журнале «Вопросы истории», где был главным редактором, все, от первой до последней строки.

В моем сознании складывалась стройная стратегическая диспозиция: первым «Огонек» со своим огромным тиражом, но

малым объемом продекларирует сам факт наличия воспоминаний отца, привлечет к ним внимание. Затем последует более обстоятельная публикация в толстом журнале, в «Знамени», а параллельно академическое издание начнет номер за номером в течение нескольких лет печатать полный текст, со всеми отступлениями, повторами и научными комментариями.

План был хорош, но меня волновала несогласованность «Огонька» и «Знамени». После октябрьской публикации огоньковцы считали меня «своим» и распространяли свои преимущественные права на все, связанное с моей фамилией. Бакланов же, в свою очередь, считал воспоминания отца принадлежащими ему, и только ему. Я оказался между двух огней.

На мои призывы связаться с Баклановым и согласовать диспозицию Смирнов прикидывался «винтиком». Гущин мило улыбался, обещал позвонить, но не звонил.

Параллельно срочно готовился материал к печати. Смирнов перекраивал, компоновал, старался втиснуть сотню страниц в десяток, максимально спрессовать текст. Я робко возражал, предлагал взять отдельные отрывки целиком, а остальное опубликуется в других изданиях. Однако сил противостоять непреодолимо вкрадчивому напору Кости у меня не было. Если он не мог убедить, то просто не слушался.

Публикация в «Огоньке» ожидалась в середине лета 1989 года. Первый напечатанный в журнале отрывок я прочитал в день своего рождения — второго июля.

«Вопросы истории» планировали начать с августа, но они вечно запаздывали, «Знамя» под давлением обстоятельств, пересмотрев первоначальные планы, передвинуло свои сроки на сентябрь.

На публикацию «Огонька» верхи никак не отреагировали, но меня не покидало чувство опасности, и, как оказалось, не зря.

В середине июля мы с женой отправились в гости за границу, в Лондон. С 1964 года меня не выпускали в капиталистические страны. Теперь полегчало, и мы, как и многие наши сограждане, выправили себе частное приглашение от нашей хорошей знакомой, в прошлом москвички, а теперь корреспондентки болгарской газеты в Лондоне Бригитты Иосифовой и двинулись в путешествие.

Все было прекрасно: и гостеприимство хозяев, и город, и жаркая сухая погода. Такой там не помнили уже восемьдесят лет.

Наше пребывание перевалило на вторую половину, когда утром, подняв трубку отчаянно трезвонившего телефона, хозяйка с недоумением позвала меня:

— Сергей, тебя спрашивает какой-то Гущин.

Я похолодел. С некоторых пор я с опаской отношусь к телефонным звонкам. Почему-то мне кажется, что они несут плохие вести.

— Цензура сняла Хрущева, — выдохнул Гущин, — что будем делать?

Я был сражен. Случилось именно то, о чем я не хотел думать. Слишком уж гладко все шло последние месяцы.

Предпринимать что-либо из Англии не имело смысла, следовало дождаться возвращения домой.

По приезде в Москву я поспешил в «Огонек». Там меня ждали. На совет в кабинет Коротича, кроме него самого и меня, пришли Гущин и Смирнов. Мы сгрудились вокруг письменного стола хозяина, поближе к телефонам.

Коротич предложил начать разведку по низам, я его поддержал. Костя рвался немедленно звонить Горбачеву.

По «кремлевке» Коротич набрал номер одного высокопоставленного чиновника. Там не отвечали. Позвонили другому. Опять неудача. Наконец дозвонились в цензуру.

Елейным голоском, разыгрывая полнейшее недоумение по поводу случившегося недоразумения, Виталий Алексеевич просил посоветовать, как ему действовать, — ведь читатели в растерянности, в предыдущем номере журнала объявлено продолжение воспоминаний Хрущева, а продолжения нет. Ситуация требует объяснения, а в эпоху перестройки не с руки кивать на цензурный запрет публикации записок недавнего нашего лидера.

На том конце провода сослались на постановление Секретариата ЦК от 1973 года.

Коротич заворковал:

— Кто же сейчас может руководствоваться этим документом? Принимали его в застойное время, а нынче на дворе перестройка. Мы не можем дать подобный ответ нашим читателям.

Сошлись на том, что надо подумать, посоветоваться и, не откладывая дела в долгий ящик, созвониться.

Закончив разговор с цензурой, Коротич набрал номер телефона «Знамени». Трубку снял Бакланов. Он сообщил, что отправил материал в цензуру и ждет результата. Конечно, он слышал о запрете, но звонить, обращаться куда-либо не намеревается — вот когда запретят, тогда посмотрим. У «Знамени» был запас времени, и Бакланов мог себе позволить выждать, посмотреть, что же получится у «Огонька». Договорились держать друг друга в курсе дела.

Вечером мне позвонил Костя, сообщил, что Коротич решил

воспользоваться своими правами главного редактора. Инструкция предусматривала, что при возникновении расхождения с цензурой главный редактор имеет право поставить в номер запрещенный материал под свою ответственность. Это не было перестроечным новшеством, такой пункт существовал всегда. Просто раньше не находилось редактора, пожелавшего хоть раз воспользоваться им.

— Материал ушел в номер, — Костя опять был полон оптимизма.

Очередной номер «Огонька» вышел с Хрущевым. За ним — следующий и еще один. Каждое воскресенье, открывая «Огонек», я искал Хрущева и, найдя, удовлетворенно отмечал: «Вот он, все в порядке».

Подошел сентябрь. Наконец-то вышел девятый номер «Знамени», с Хрущевым. В «Огоньке» заканчивалась публикация военного периода воспоминаний. Костя прислал мне подготовленный им к печати раздел о смерти Сталина, за ним следовал арест Берии, потом предполагался XX съезд.

В конце сентября мне позвонил Бакланов. Он раздраженно сообщил, что у него были очень неприятные телефонные звонки от читателей, они возмущались повторением в «Знамени» отдельных мест из воспоминаний отца, уже опубликованных в «Огоньке». Григорий Яковлевич поставил ультиматум: или я запрещаю «Огоньку» публикацию мемуаров о послевоенном периоде, или он, проинформировав читателей о моей непорядочности, перестает печатать воспоминания в «Знамени».

Принять требование Бакланова я не мог: в критический период один Коротич боролся за продолжение публикации. Теперь, когда он добился положительного решения, запрещать успешно начатую работу было невозможно ни по моральным, ни по рациональным соображениям. Ведь если возобновится атака, то я останусь один, предыдущие события показали, что Григорий Яковлевич не боец.

С другой стороны, не требовалось особой проницательности, чтобы понять: помирить две редакции не удастся. В тот день я так и не позвонил Бакланову, мне нечего было ему сказать…

Ночью я плохо спал, вставал, сосал валидол, глотал валокордин. Наконец решился — пусть публикация продолжается в «Огоньке», даже ценой потери «Знамени».

Позвонив в «Огонек», я через Смирнова сообщил им о своем решении.

К сожалению, вся эта битва оказалась напрасной. Через пару дней Костя убитым голосом попросил меня заехать в редакцию — цензура опять снимала Хрущева.

Все началось с того, что от пребывавшего на отдыхе товарища Медведева в цензуру пришла краткая, но выразительная резолюция. Всего два слова: «Никакого Хрущева» — и подпись: «В. Медведев». Видимо, непослушание «Огонька» вызвало нешуточное раздражение.

В очередные номера должно было войти описание последних дней Сталина. Коротич отправился объясняться в ЦК к товарищу Капто. Вернулся он с плохими вестями. Продолжать публикацию воспоминаний отца запретили окончательно, ссылаясь на все то же пресловутое постановление от 1973 года. В ответ на тираду Коротича о застойных временах ему предъявили новую бумагу, подтверждавшую ту, старую. Подписи датировались буквально прошлой неделей. Коротичу с трудом удалось уговорить Капто еще на два выпуска, с тем чтобы запрет не выглядел слишком демонстративно. Но дальше — ни-ни…

В процессе разговора товарищ Капто посетовал, что Хрущев работал в одиночестве, он мог ошибаться в описании каких-то фактов, а проверить у него не было возможности.

— Нехорошо, если у нашего Никиты Сергеевича обнаружатся неверные положения. Мы должны заботиться о его авторитете. Сейчас в ЦК уже имеется распечатка около четырех тысяч страниц. Мы передадим ее в Институт марксизма-ленинизма. Там все выверят, что надо поправят, и тогда можно будет издавать. Такие серьезные документы нельзя печатать где попало, воспоминания пойдут в «Политиздате», — подытожил он.

На прощание товарищ Капто попытался успокоить Коротича, сказал, что через пару дней, в начале следующей недели, Вадим Андреевич вернется из отпуска, ему, товарищу Капто, доподлинно известно, что Медведев пригласит к себе Сергея Хрущева и они договорятся, как в дальнейшем работать над мемуарами.

У меня эти слова вызвали грустные воспоминания о беседах с Виктором Николаевичем Титовым в КГБ, когда он, также елейно, обещал вернуть все изъятые материалы, как только отец выйдет из больницы.

Дни шли за днями, звонка из ЦК не последовало. Нетерпеливый Смирнов предлагал позвонить Медведеву мне самому, он узнает номер телефона, но я отказался — это не случайная забывчивость.

К тому времени даже неунывающий Коротич утратил значительную часть своего оптимизма. Бакланов наконец-то осуществил свою угрозу — объявил, что прерывает публикацию. Добровольно. Впрочем, не вызывало сомнения, что цензура не

пропустила бы воспоминаний. В десятом номере «Знамени» не могло появиться «никакого Хрущева».

С «Вопросами истории» поступили аналогично — из восьмого номера 1989 года цензура сняла воспоминания отца.

Искендеров ходил к товарищу Капто, но ему, как и Коротичу, показали, как он сказал, бумажку, подтверждавшую пресловутое решение от застойных годов.

— Там было несколько подписей, — рассказывал Искендеров, — я не разобрал, чьи. Узнал только одну — Медведева.

Далее разговор пошел по наезженной колее. Капто сказал о имеющихся у них четырех тысячах страниц расшифрованных надиктовок отца, о необходимости тщательной проверки фактов, о последующем издании воспоминаний отца под эгидой ИМЛ (Институт Маркса — Энгельса — Ленина). Однако Ахмет Ахметович не собирался сдаваться, к борьбе он готовился обстоятельно, по-академически строго.

— Если они требуют проверки, пошлю свои материалы в ИМЛ, — пояснил он мне по телефону, — я сказал в ЦК, что в эпоху гласности мы имеем такие же права на издание исторических материалов, как и «Политиздат», где Капто предполагал напечатать свой вариант воспоминаний отца. Поэтому пусть там проверят и дадут заключение. Я уже созвонился с Георгием Лукичом Смирновым, директором Института марксизма-ленинизма.[72]

Как теперь стало известно, запреты выросли не на пустом месте. Последнее время в ЦК КПСС никак не могли прийти к единому мнению, как нейтрализовать меня, и если не удается запретить публикацию воспоминаний отца, то как взять ее под свой контроль.

Еще в июле 1989 года заведующие идеологическим и общим отделами ЦК КПСС товарищи Капто и Болдин послали руководству, в первую очередь секретарю ЦК КПСС по идеологии Вадиму Медведеву, пространную записку. В ней они констатировали, что получили из КГБ 3 926 машинописных страниц с воспоминаниями отца и что эти воспоминания «страдают существенными издержками, Н. С. Хрущев демонстрирует личные пристрастия, допускает фактологические неточности (именно это Капто говорил Коротичу), проявляет необъективность в оценках», а посему «нуждаются в тщательной экспертизе во многом субъективные положения и выводы воспоминаний». Такими же словами Кириленко увещевал отца двадцать лет тому назад. Казалось, за эти годы ничего не изменилось. Нет, изменилось, теперь стало невозможным просто

запретить воспоминания, авторы записки предлагали издать воспоминания, поручив Институту марксизма-ленинизма привести их в приемлемый для властей вид, другими словами — фальсифицировать.

Однако директор института академик Смирнов не спешит взять под козырек, он понимает, что все это чревато, на него давит Искендеров, да и вообще обстановка постоянно меняется. Он тянет, только 17 июля 1990 года Георгий Лукич в своем ответе в ЦК справедливо отмечает, что «в своих выступлениях С. Н. Хрущев (то есть я) ставит под сомнение законность изъятия у него магнитофонных записей с воспоминаниями его отца и намерен предъявить на них свои претензии». Поэтому Смирнов предлагает договориться с наследниками по-хорошему.

И тут же получает отлуп: заместители заведующих идеологическим и общим отделами ЦК КПСС товарищи Дегтярев и Соловьев 24 августа 1990 года пишут, что «юридически обосновывать право ЦК КПСС на имеющиеся в его распоряжении мемуары Н. С. Хрущева вряд ли целесообразно. Такой практики не было, в ней не возникало необходимости. Право архива на публикацию имеющихся в распоряжении документов никогда не подвергалось сомнению». Что верно, то верно, но времена изменились.

Максимум, на что предлагалось пойти ЦК КПСС, другими словами, Медведеву, — это «предложить принять участие в подготовке и публикации данного издания воспоминаний Н. С. Хрущева дочери Р. Н. Аджубей (Хрущевой) и сыну С. Н. Хрущеву… а также определиться с отношением (к публикации) в журнале “Вопросы истории”».

Как отреагировал Медведев на эти письма, мы знаем: «Никакого Хрущева!» А вот другой секретарь ЦК, В. Фалин, человек более дальновидный, высказал сомнения в целесообразности такой лобовой стратегии. Он спрашивал:

> 1. Что предполагается делать, если:
>
> а) наследники Н. С. Хрущева откажутся сотрудничать или в) наследники выдвинут неприемлемые условия? Не ясно.
>
> 2. Вопрос о праве ЦК (или архива) на мемуары Н. С. Хрущева сложнее, чем подан в записке. Записки и рукописи изъяты в административном порядке, и судебного решения, меняющего статус собственности, нет. Юридически при жизни таковыми оставался автор, после его смерти — наследники. Существовавший прежде порядок права не создавал и не избавляет ЦК от

возможных осложнений.

В. Фалин 12 сентября 1990 года.

В ответ Дегтярев и Соловьев 19 сентября 1990 года предлагают вступить в переговоры с наследниками Н. С. Хрущева и выработать приемлемое для всех решение.

Пока тянулась вся эта бюрократически-идеологическая канитель, я продолжал работать над книгой, с дачи выбирался только в случае крайней необходимости. В начале октября 1989 года «Пенсионер союзного значения» (так я ее назвал с подачи Кости Смирнова) обрел окончательный вид, а в моей голове уже складывался план новой книги — о ракетах, о взаимоотношениях отца с руководителями западных держав, в первую с американскими президентами Дуайтом Эйзенхауэром и Джоном Кеннеди, о том, как ему удалось принудить США признать Советский Союз равной себе сверхдержавой.

Параллельно с работой над книгой, я принял участие в международной конференции посвященной истории Карибского кризиса, происшедшего в октябре 1962 года. С согласия ЦК меня пригласил на конференцию академик Евгений Максимович Примаков, в то время академик-секретарь отделения Мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР. Мероприятие проходило под его эгидой, и он определял круг участников с советской стороны. Впервые с 1964 года, с момента отстранения отца от власти, мне предстояло сесть за один стол с его бывшими соратниками, а потом недоброжелателями. Я очень волновался. Но я и предположить не мог, что с этой конференции начнутся перемены во всей моей жизни.

Изучением обстоятельств Карибского или, как его называют в США, Кубинского ракетного кризиса за пару лет до московской конференции занялся американский профессор Джеймс Блайт. Он попытался собрать вместе участников событий 1962 года из США, СССР и Кубы, столкнуть их лбами, устроить «перекрестный допрос» и так докопаться до истины, понять, что же на самом деле произошло в те октябрьские дни и, главное, почему. Американцы откликнулись охотно. Из Советского Союза на первую встречу приехали люди проверенные, но о кризисе знавшие только понаслышке. Кубинцы приглашение проигнорировали.

При Брежневе у нас о Карибском кризисе не вспоминали, фамилия Хрущева находилась под запретом, а как можно говорить о кризисе, не упоминая о нем? Вот и молчали. Теперь, в период провозглашенной Горбачевым гласности, Примаков

предложил принять конференцию в Москве. ЦК согласился, утвердил состав участников с советской стороны. Кубинцы тоже пообещали приехать.

В последних числах января1989 года собрались в беломраморном Доме приемов, кажется, профсоюзов, в самом конце Ленинского проспекта. К тому времени таких роскошных мест сборищ высокого начальства в Москве расплодилось множество. Как проходили заседания, я описывать не буду, конференция как конференция. Упомяну только несколько эпизодов.

В перерыве между заседаниями меня отозвал в сторону бывший министр иностранных дел Громыко, завел в какой-то служебный коридор и, оглядываясь на следовавшего за ним повсюду охранника (он ему полагался как отставному члену Политбюро ЦК), понизив голос почти до шепота, стал рассказывать, как в мае 1962 года, когда он вместе с отцом летел из Болгарии в Москву, тот сказал ему первому об идее послать баллистические ракеты средней дальности Р-12 и Р-14 на Кубу, чтобы тем самым предупредить американцев о серьезности наших намерений уберечь Кастро от их неминуемого вторжения. Андрей Андреевич сказал, что сообщает об этом только мне, а на конференции промолчит. И промолчал. Я не понял почему, но тоже пообещал сохранить тайну.

Еще меня поразило то, с каким остервенением, с пеной у рта в буквальном значении этого слова, американские гости набросились на отставного советского разведчика полковника Феклисова (Фомина), когда тот стал рассказывать, как присутствовавший тут же американский журналист Джон Скэйли сделал ему, в то время резиденту советской разведки в Вашингтоне, предложение от имени президента Кеннеди: разменять вывод наших ракет с Кубы на гарантии неприкосновенности острова.[73] Что тут началось! Сам Скэйли, бывший помощник Кеннеди Теодор Сорренсен, историк Артур Шлезингер-младший вскочили со своих мест, наперебой, в крик, начали доказывать, что Феклисов ничего не помнит, что это не ему сделали предложение, а он сам по поручению Хрущева пришел к американцам. И так далее, горячась и перебивая друг друга.

Оказывается, в большой политике совсем не одно и то же: согласиться на советские предложения, чтобы потом иметь возможность заявить, что Хрущев под американским нажимом дал слабину, ретировался с Кубы, а они высаживаться на остров вообще не собирались, или самим предложить то же самое. Фактический результат один, а ощущения — разные. Я тогда так

и не понял, из-за чего разгорелся сыр бор, и больше всего боялся ошибиться сам. Но тут же ошибся.

Следующий скандал разгорелся уже из-за меня. Я не очень разбирался, что американцы знают, что стараются узнать и что мы от них скрываем. В мемуарах отца я вычитал, как в разгар кризиса Кастро предложил использовать ракеты для превентивного удара по США, что подтолкнуло советское руководство к решению поскорее убрать их с острова.

За обедом я оказался рядом с профессором Блайтом и в разговоре мельком упомянул о телеграмме Кастро, а он на очередном заседании, не ссылаясь на меня, задал вопрос советским и кубинским участникам.

Кубинцы пришли в бешенство и пригрозили покинуть конференцию. Примаков созвал пресс-конференцию, назвал вопрос Блайта провокацией. Я перепугался не на шутку, но все обошлось, Блайт меня не выдал.

Так завязалась наша дружба. В феврале того же года, по приглашению профессора Блайта, я приехал на неделю к нему в Гарвардский университет. Там тоже не обошлось без курьезов. Мне предложили выступить на студенческом форуме. Народу собралось много, человек пятьсот, если не больше. Только я начал говорить, как откуда-то выскочил здоровенный негр, бросил на стол президиума грязный ботинок, наверное, сорок шестого размера и что-то заорал. Хозяева поначалу растерялись, но быстро пришли в себя, приняли меры, верзилу выставили за дверь, студенты в ответ зааплодировали. Я ничего не понял, столь популярное на Западе происшествие с ботинком в ООН у нас давно забылось, и я все списал на американскую непосредственность и повышенную возбудимость.

Наши контакты с Блайтом продолжились. Осенью 1990 года я снова оказался в Гарвардском университете, а вот Блайт из него собрался уходить. Его непосредственный начальник, директор центра имени Кеннеди Джо Най рассчитывал, и не без оснований, на скорый приход к власти демократов. Он надеялся, что тогда его назначат заместителем директора ЦРУ. А Блайт рвался на Кубу. Визит подчиненных к Кастро мог помешать карьере Ная, Блайт же не соглашался менять свои планы. Вот и пришлось ему подыскивать себе место. Он теперь обосновывался в расположенном неподалеку от Бостона Браунском университете, в центре международных исследований, основанном бывшим президентом компьютерной фирмы IBM Томасом Уотсоном.

В один из дней он предложил мне выступить там с лекцией. Так совпало, что глава научного центра оказался тем Томом Уотсоном, который в 1959 году принимал отца на одном из своих

заводов в Калифорнии, показывал ему производство. Они друг другу понравились, испытали взаимную симпатию. Лекция произвела впечатление, и на следующий день мне сделали предложение поработать несколько лет в Уотсоновском центре.

За все приходится платить. Время, пока я писал мемуары, не прошло бесследно, в 1990 году я покинул пост заместителя Генерального директора, превратился в научного сотрудника без зарплаты, без рабочего стола, без клеточки в штатном расписании. Вроде я есть, но на самом деле меня нет. Но я о происшедшем не сожалел. После всех лет работы над мемуарами отца, своей собственной книгой я перерос институт и свою должность. Всю жизнь я занимался сложными распределенными системами, сначала ракетно-космическими, от перехвата чужих спутников до глобальной радиотехнической разведки, потом компьютерными, оптимизировавшими производство и распределение электроэнергии в масштабах Украины или Средней Азии или полив узбекских хлопковых плантаций водами реки Зеравшан, прогнозом землятресений. Теперь меня заинтересовала куда более сложная задача: мне захотелось понять, как на самом деле устроено наше советское общество, почему не получилось то, что казалось столь очевидным, почему мы не догнали Америку, почему в 1990 году живем хуже, чем в 1964-м?

У себя в институте я этим заняться не мог. Пришла пора искать новое место работы. Так что предложение центра Томаса Уотсона оказалось очень кстати. Я согласился, но только на один 1991/1992-й учебный год. Год оказался непростым, в декабре 1991 года моя страна перестала существовать. То, чем и ради чего мы жили, новая власть объявила вне закона. Мой институт дышал на ладан. Возвращаться оказалось незачем и некуда. Я решил продлить контракт с американцами еще на год. Потом еще на год, и еще, и еще. В 1996 году меня зачислили в штат университета. Его интересы совпадали с моими. Эффективность работы преподавателя оценивается количеством публикаций и качеством прочитанных лекций. Я засел за работу. В результате мне удалось написать книгу «Реформатор», которой открывается «Трилогия об отце». Одновременно учил студентов, рассказывал им об истории России, объяснял, что происходит с нею сейчас. Многие из них если не полюбили мою страну (такое ожидать от иностранцев не приходится), то научились понимать ее.

Но это в будущем, пока же я продолжал продавливать публикацию мемуаров. К сожалению, без особого успеха. Однако надежда сохранялась, все выглядело не столь безнадежно, как в брежневские времена, хотя кое-какие рычаги заржавевшего

механизма еще продолжали вращаться. Система принимала меры, сделанные в КГБ распечатки воспоминаний отца поступили в Институт марксизма-ленинизма, там ими поручили заниматься историкам Николаю Барсукову и Василию Липицкому. Зимой 1991 года Липицкий позвонил мне, попросил зайти поговорить. Но разговор не получился. В ответ на предложение о сотрудничестве я ему задал только один вопрос:

— А исходные магнитофонные пленки у вас есть?

— Нет.

— Так какой же вы историк, если работаете над материалами, достоверность которых ничем не подтверждена? — возмутился я. — Может быть, кто-то изменил текст, а вы об этом даже не догадываетесь?

Липицкий снова пожал плечами. Мы оба прекрасно понимали, о чем идет речь. У меня сложилось впечатление, что Липицкий по-серьезному и не рассчитывал вовлечь меня в свою авантюру, попросту отрабатывал полученное сверху указание. Расстались мы по-хорошему, а вскоре события завертелись так, что ЦК КПСС стало не до фальсификации истории.

Но распечатка КГБ не исчезла бесследно, ее подобрал другой участник акции — Барсуков, человек уже в летах. Впоследствии мне пришлось с ним поспорить. Уходя из ИМЛ, Барсуков прихватил с собой в числе других документов и экземпляр распечаток воспоминаний отца. Он упорно доказывал, что его вариант единственно верный, в своих статьях цитировал отца только по своим распечаткам, демонстративно игнорировал текст, опубликованный «Вопросами истории». Можно было бы, конечно, не обращать внимания на его чудачества, но Барсуков своими действиями вольно или невольно продлевал жизнь фальшивке, вышедшей из недр органов. Неважно, поправили текст до его передачи в ИМЛ (на тех страницах, что я видел, явно проступала рука редактора) или приведение его в «надлежащий вид» возлагалось на Барсукова и Липицкого. Сейчас это уже история.

Оба текста находятся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории,[74] там же есть копия магнитофонных лент. Дотошному историку, который захочет сравнить два текста, остается отыскать истинный и пришедший из ЦК КПСС и вынести свой вердикт.

В 1991 году редактирование воспоминаний подошло к концу, мы с женой окончательно «отполировали» последние разделы, размножили нужное количество экземпляров. Предстояло решить, что делать дальше, и не только с мемуарами…

Осенью 1991 года мы с женой отправлялись в уже

упоминавшуюся годичную командировку в США, в Браунский университет, в неведомый мне город Провиденс в столь же неведомом штате Род Айленд. Кто мог предположить, что за этот год произойдет с нашей страной?

Согласно контракту, я должен был прибыть в университет в первых числах сентября, к началу учебного года. До этого следовало утрясти судьбу мемуаров.

Я договорился с Московским объединением архивов, директором Алексеем Самойловичем Киселевым и его заместителем Владимиром Александровичем Манькиным, что они примут на хранение весь комплект: копию магнитофонных лент, распечатки с них, распечатки с моей правкой, окончательный текст. Полноте комплекта я придавал особое значение, тем самым хотел сделать прозрачной для будущих исследователей свою редакторскую «кухню». Архив, в свою очередь, пообещал издать полный текст воспоминаний. На всякий случай я приготовил еще два таких же полных комплекта: один для Гарримановского института в Колумбийском университете в США, другой — для моей заначки у профессора Шумилова.

В августе 1991 года впервые за много лет все экземпляры сошлись вместе, громоздились горой в горнице у меня на даче. Перед заложением на длительное хранение требовалось все рассортировать.

Можно представить мое состояние, когда рано утром 19 августа 1991 года, включив телевизор, я услышал, что в Москву ввели танки. Глянув на гору папок, я подумал: «Вот тут-то “они” меня и возьмут. Столько лет прятал, а сейчас все сам свез в одно место».

Растерянность длилась недолго, повлиять на события я не мог и решил продолжить свои занятия. Уже на следующий день я сдал все причитающееся в Московский объединенный архив, потом отвез копию Шумилову, остальное забрал с собой в США.

К сожалению, злоключения на этом не кончились. Издать воспоминания отца архиву не удалось: сначала Барсуков внес сумятицу, попытался всучить им свой вариант мемуаров Хрущева, пока разбирались в архиве, кончились деньги. Пришлось вновь заняться поиском издателя, эти заботы теперь полностью легли на плечи моего сына Никиты. Я тогда уже преподавал в американском университете.

Отрадно, что «Вопросы истории» в 1995 году завершили публикацию полного текста воспоминаний, правда без вариантов диктовок.

Издательство «Вагриус» в 1997 году выпустило однотомник отобранных мной с Никитой отдельных глав из воспоминаний

отца. Он имел успех, стал даже бестселлером. В 2008 году вышло второе издание.

О мемуарах заговорили. В одной из газет их даже назвали «учебником для будущих политиков». Вскоре после публикации «Вагриуса» к Никите пришли люди из возглавляемого Александром Николаевичем Яковлевым фонда «Демократия» с предложением опубликовать полный текст воспоминаний отца. Того самого Яковлева, от которого я так натерпелся в конце 1980-х годов.

Далее все произошло, как в доброй сказке. Для публикации воспоминаний у Яковлева требовались деньги, сами они финансировать проект не собирались. Никита обратился к президенту издательского общества «Московские новости» Александру Львовичу Вайнштейну: не войдет ли он в долю. (Никита с 1989 года до конца жизни работал в «Московских новостях». Он умер 22 февраля 2007 года. Вслед за ним скончались и сами «Московские новости».) Александр Львович отреагировал мгновенно: «А зачем нам Яковлев, мы сделаем всю работу сами». Никита не мог поверить услышанному. На исходе XX века публикация мемуаров Никиты Сергеевича не сулила прибылей, легко могла обернуться потерями. Издание предполагалось в четырех томах, другими словами недешевое, не по карману большинству потенциальных читателей, а те, кому они по средствам, если что-либо и читают, то не политические мемуары. Большое спасибо вам, Александр Львович.

Работа началась в ноябре 1998 года. Сложился небольшой, но очень слаженный коллектив: главный редактор проекта Григорий Иванович Резниченко, художник Геннадий Иванович Максименков, редактор Валерия Семеновна Воробьева, редактор архивных документов Анатолий Владимирович Новиков, Петр Михайлович Кримерман, истовый фотограф, я бы даже сказал, фотодокументалист-историк — давний почитатель отца, сам Никита и Анатолий Яковлевич Шевеленко из «Вопросов истории». К сожалению, Анатолий Яковлевич не увидел всех результатов своего труда — он умер в начале 1999 года. Ответственным за проект Вайнштейн назначил своего заместителя Григория Федоровича Рабина. Я с благодарностью перечисляю имена и фамилии людей, которые выпустили книги в свет. Денег «Московские новости» не пожалели: закупили лучшую бумагу, подыскали лучшую типографию.

Я подключился к работе, достал в библиотеке номера «Вопросов истории», в которых публиковались воспоминания отца, скрупулезно сверил с оригиналом, исправил огрехи, а главное, внес в исходный текст добавления из вариантов

диктовок. Добавления, к слову сказать, кое-где получились весьма обширные. К примеру, в разделе сельского хозяйства объединение трех диктовок почти утроило объем и существенно обогатило содержание. В результате сформировался канонический текст воспоминаний.

В марте 1999 года увидел свет первый том, в мае — четвертый, последний. Рыжевато-коричневые тома с черной накладкой на обложке, а по ней золотое тиснение букв, так и просятся на книжную полку. Доставляет наслаждение листать приятно холодящие пальцы гладкие страницы, разглядывать четкие фотографии. Наконец-то жизнь поставила точку — воспоминания отца, человека, возглавлявшего нашу страну в бурное десятилетие 50 — 60-х годов, увидели свет. История с их диктовкой и публикацией отошла туда, где ей давно надлежало быть, — в историю. В этом деле поставлена последняя точка.

С этого времени «Воспоминания» зажили собственной жизнью. Их перевели на английский, в 2007 году в издательстве Пенсильванского университета вышли три толстенных тома полных воспоминаний Хрущева, сопровождаемые подробными комментариями. Они заменили отживший свое урезанный вариант в редакции Строуба Тэлбота. А там, возможно, последуют издания и на других языках.

Однако в истории мемуаров оказалось рано ставить точку. В Браунском университете, где я преподаю, в 1990-х годах решили создать хрущевский архив. В него собирают не только документы, написанные и напечатанные на бумаге, но и аудио— и видеоматериалы. Библиотека, которой принадлежит архив, купила современный компьютер, наняла специалистов и поручила им привести в порядок магнитофонные записи диктовок отца. Работа адова. У меня сохранилась только копия, к тому же вторая или третья. Я уже упоминал, что в целях конспирации переписывал четырехдорожечные бобины на скорости в девять раз большей исходной, к тому же одновременно на двух дорожках — первую в направлении диктовки, а вторую задом наперед. Длина магнитофонной ленты в бобинах оказалась разной, и в результате моих экспериментов текст распался на фрагменты, которые приходилось собирать как головоломку. Собрали, но трудности на этом не закончились. При нормальной записи скорость протяжки ленты магнитофоном изменяется на плюс-минус пару процентов, тембр звука меняется, но эти изменения за пределами различимости человеческим ухом. А вот два процента, умноженные на девять — это восемнадцать, то ли в плюс, то ли в минус. Голос то замедляется и косноязычно басит,

то частит немыслимым дискантом. При распечатке такие нюансы не очень важны, а вот прослушивать запись неприятно. Пришлось браунским умельцам проводить компьютерную коррекцию скоростных флуктуаций, расправляться с накопившимися за эти годы другими помехами. Результат получился вполне приличный. Копии оцифрованных на компьютере диктовок Хрущева сейчас можно прослушать не только библиотеке Браунского университета, но и в Российском государственном архиве социально-политической истории, который пришел на смену Институту марксизма-ленинизма, и в московском Музее современной истории, бывшем Музее Октябрьской революции.

К моему удивлению, аудиозапись голоса отца оказалась востребованной, в первую очередь кинодокументалистами, сначала японцами, затем американцами и европейцами. В 2008 году канадский режиссер российского происхождения Тим Тоидзе по заказу российского Первого канала начал снимать четырехчасовой фильм о Хрущеве. Я ему помогал чем мог, в основном подсказывал, в каком архиве что лежит. По замыслу автора, показ должен был сопровождаться не дикторским текстом, а голосом самого Хрущева. Он, с моего разрешения, без труда получил в Браунском архиве копию аудиозаписи.

Чтобы совместить отобранные Тоидзе фрагменты печатного текста с голосом, требовались сделанные Лорой исходные распечатки. В Москве они находились в двух местах: Московском городском объединении архивов, куда я в 1991 году передал оригинал, и копия в Российском государственном архиве социально-политической истории. После завершения работы над четырехтомником Никита отдал им магнитофонные ленты, магнитофон Uher 4400 report stereo и распечатки, сохраненные Шумиловыми. Тоидзе обратился в Архив социально-политической истории, после некоторых проволочек получил из фонда 397, опись № 1, авторские документы № 1-65, 6453 страницы и усадил ассистентку за сверку текста с голосом. И ничего не совпало. Тоидзе в панике позвонил мне. Я начал разбираться. Что же оказалось? Лежавший в архиве Хрущева текст оказался не копией с оригинала, а все той же распечаткой, которую в 1991 году мне подсовывал Липицкий. Просто наваждение какое-то.

Я порекомендовал Тоидзе обратиться в Московское городское объединение архивов, где должен находиться оригинал. Начальство в архиве давно сменилось, Киселева с Манькиным там не помнили, а о мемуарах Хрущева не слышали. Тоидзе настаивал, его отсылали от одного сотрудника к другому и, наконец, нашли… все ту же присланную в 1991 году из ЦК в Институт марксизма-ленинизма неизвестно где и кем сделанную

распечатку. То ли ее подсунул архиву Барсуков, то ли она материализовалась каким-то иным образом. А вот оригиналы так и не отыскались. Тоидзе махнул рукой, решил работать с четырехтомником. Из-за совмещения в его тексте вариантов диктовок поиск замедлялся, но нужные абзацы рано или поздно отыскивались.

Вот такая таинственная история. Получается, что история мемуаров все еще не закончена.

Глава пятая
Проводы

Новый, 1971 год не предвещал беды.

Конечно, отец сильно постарел, недавние события сыграли не последнюю роль в ухудшении его здоровья. Дело было даже не в изъятии мемуаров и не в откровенной бесцеремонности, сопровождавшей всю эту историю. В последнем разговоре с Пельше отец сказал, что все свои силы он отдал стране, народу, и это было правдой. А сегодня он просто перестал существовать. Такого человека как бы никогда не было. Даже в официальных изданиях межгосударственной переписки на письмах отправителя (к примеру, президента США Дуайта Эйзенхауэра), адресованных нашему правительству, стоит фамилия, а под нашими посланиями безликое «Председатель Совета Министров СССР». В редких случаях, когда где-то в печати упоминалась фамилия Хрущев, ее неизменно сопровождала стандартная фраза о волюнтаризме. Чаще же и в этих случаях фамилию предпочитали не упоминать, оставляя один «волюнтаризм».

В душе отца обида и горечь от предательства бывших друзей смешивалась с неутешительными вестями о состоянии нашего народного хозяйства. Нововведения, принятые при отце, отменили, вернулись к старой, забюрократизированной централизованной структуре, дела шли все хуже и хуже, полки магазинов пустели на глазах. Все прежние усилия пошли насмарку.

— Главное — накормить, одеть и обуть людей, — повторял отец. Он остро вспоминал и голод, и разруху Гражданской войны, послевоенный голод на Украине, лежавшие у дороги трупы, людоедство. Для того чтобы это никогда не повторилось, чтобы наше государство по праву заняло достойное место среди сильнейших и богатейших стран мира, он и предпринимал все усилия, на это направлялась его кипучая энергия.

И раньше, при нем, дела шли не так, как хотелось бы; сейчас же, видел отец, при полном попустительстве и даже содействии власти разваливается фундамент, на котором он планировал построить процветающее советское общество. Это было самым ужасным — вся жизнь, казалось, прошла зря, все, на что он положил годы упорного труда, гниет на помойке. Так заканчивался переходный период от бурных шестидесятых к застою семидесятых.

Физические силы отца тоже были на исходе, приближалось

восьмидесятилетие.

Зимой 1971 года отец сильно сдал. Было явно видно, что организм ослабел. Очевидно, наступил тот физиологический момент, когда все органы разом начинают отказывать. Все чаще и чаще его одолевали мрачные мысли, и тогда он горько сетовал:

— Вот пришло время, стал я никому не нужен. Зря только хожу по земле, хоть в петлю лезь.

Мы, конечно, старались его подбодрить, возражали как могли, протестовали против таких настроений, но наши усилия не приносили желаемого результата — отец мрачнел на глазах. Ясно было, что это не сиюминутная слабость, а проявление каких-то глубинных процессов в его душе.

При этом внешне жизнь не изменилась. Распорядок дня оставался прежним. Как я уже упоминал, потихоньку отец начал опять диктовать воспоминания.

Наступила весна. Как обычно, 17 апреля собрались все, кто позволял себе приехать в Петрово-Дальнее поздравить отца с днем рождения. Он, как и прежде, не поощрял обычного сборища родных и друзей, ворчал, но, конечно, внимание было ему приятно. По традиции, все отправились на луг, постояли на «ужиной горке». Земля отогревалась, появились первые цветы. Обошли огород. За время болезни отца он пришел в запустение — не стало заботливой хозяйской руки.

Отец походил между грядками, потыкал землю своей палочкой, вздохнул и заявил нам:

— Врач работать запрещает, так что в этом году огород заводить не будем. Все хором стали возражать, даже самые ленивые.

Огород общими усилиями мы все-таки затеяли, правда, поменьше, чем обычно. Когда земля оттаяла, приехали друзья, всем миром вскопали землю, разрыхлили и засеяли. Отец был доволен, следил, чтобы все сделали по науке, поругивал нас за «безрукость», показывал, как надо разравнивать, подбирать землю на грядки.

Весеннее солнышко, просыпавшаяся природа разогнали его хандру. Отец казался прежним — деятельным, с неизменной улыбкой и энергией. Вот только сам поработать тяпкой или лопатой уже не мог. Два-три взмаха — и лицо его серело, он начинал тяжело дышать и возвращался на свой неизменный раскладной стульчик. Отдышавшись, грустно шутил:

— Теперь я бездельник. Могу только командовать.

Сам он так и не смог работать, с надеждой ожидая конца недели. В уме готовил план действий к приезду «рабочей силы». Наконец приезжали дети. Обычно, кроме меня, это был муж Лены

Витя, реже — внуки Юля и Юра. Рада с Алексеем Ивановичем проводили выходные дни у себя на даче. Дел накапливалось много. Надо было успеть за два дня сделать то, что раньше он сам делал за неделю.

Отец вел «бригаду» (так он называл нас) на поле, раздавал задания, а сам наблюдал, как идут дела. Постепенно работа его захватывала, он принимался раздавать указания, сердился на наши огрехи. Наконец, не выдержав, вскакивал и начинал показывать, как держать тяпку или полоть одуванчики. Мы всячески поддерживали огород, выполняя его агротехнические указания. Выглядели грядки неплохо.

Наступило лето, подошел июль. Свой день рождения я решил отпраздновать на даче. В Петрове-Дальнем собралась шумная компания. Мои друзья хорошо знали и уважали отца, а ему было приятно и увидеть знакомые лица, и пообщаться со «свежими» людьми. Мы, родные, порядком поднадоели ему.

Как водится, первым делом отец повел гостей на огород. Выслушав заслуженные похвалы, не преминул посетовать на низкую квалификацию помощников. Потом все отправились в дом, куда он пригласил нас на «угощение» музыкой. Гости набились в спальню отца, где стоял его проигрыватель.

Отец, предвкушая удовольствие, стал перебирать пластинки, горкой лежавшие на столике у его кресла и на подоконнике. Программу мы знали, но ритуал никто не нарушал.

Покопавшись в пластинках, отец улыбнулся:

— Начнем с украинских песен, моих любимых. Все дружно поддержали.

И вот звучат: «Взяв бы я бандуру», «Реве та стогне Дніпр широкий» и, наконец, самые любимые, в исполнении Козловского: «Дивлюсь я на небо» и «Чорнії брови, карії очі».

Отец сидит в кресле, глаза его полуприкрыты, губы шевелятся, про себя он подпевает.

Затем следуют русские народные песни, арии из опер и в завершении голос Руслановой. Задорная песня напоминает отцу дни его молодости.

Наконец концерт окончен, и все разбредаются по лесу. Главное угощение — шашлык — требует костра. Гости отправляются за дровами.

Отец ненадолго исчез и вернулся с фотоаппаратом «Хассельблат», подарком какого-то датского бизнесмена. На очереди — ритуал фотографирования.

Сначала общее фото у костра. Затем гости попросили разрешения сфотографироваться с отцом.

Это был последний сбор в Петрове-Дальнем…

В конце июля я собрался в отпуск, хотел, как обычно, попутешествовать на машине с палаткой. Потом засомневался. Спросил отца.

— Нечего тебе здесь делать. Только мешать мне будешь. Поезжай, — выпроваживал он меня.

Отец не переносил мысли, что он невольно требует повышенного внимания, заставляя близких поступаться своими планами. Больше всего он боялся стать обузой для нас.

Оснований для особого беспокойства не было, и я уехал. С дороги часто звонил, все было в порядке. Через месяц я вернулся, намереваясь остаток отпуска провести дома. Отец выглядел по-прежнему.

Мама рассказала, что пока я отсутствовал, он опять говорил о ненужности, бессмысленности своей жизни, несколько раз заговаривал о самоубийстве. Владимир Григорьевич Беззубик отнесся к этим разговорам весьма серьезно, долго беседовал с отцом и советовал маме не оставлять его надолго одного. Приступы меланхолии проходили, и снова отец шутил, рассказывал, гулял.

В конце августа внучка Юля привезла в гости Евгения Александровича Евтушенко, давно просившего о встрече. Отец был рад гостю. Они провели вместе несколько часов. Отец рассказывал о смерти Сталина, аресте Берии.

После отставки отца я его постоянно фотографировал, снимал на кинопленку. Раньше этим занимались профессионалы. Людей, записывавших каждое слово, фиксировавших каждое его движение, было более чем достаточно. В доме скопились горы альбомов. Теперь у меня не было конкурентов. Впрочем, не имелось и заказов на мою продукцию. Но я твердо верил, что придет время, и мои материалы потребуются истории.

В те годы я был убежден, что произойдет это при моей жизни. Со временем уверенности у меня поубавилось. Все чаще меня стал занимать вопрос: кому передать эти материалы? Казалось, фамилию Хрущев прочно забыли, иные же доброхоты плодотворно лепили образ сталинского шута, малообразованного чудака-кукурузника из анекдота.

В том году мне удалось приобрести кинокамеру, синхронизированную с магнитофоном. Последние недели я ее активно опробовал на встречах отца с обитателями дома отдыха.

Теперь пришла очередь снимать Евтушенко. Я одним ухом слушал разговор. Помню, они заговорили о памятных обоим шестидесятых годах, когда было сказано много резких и несправедливых слов, разъединивших отца и порожденных его

временем литераторов, художников, кинематографистов. Отец не раз вспоминал об этих встречах. Сейчас он по-иному оценивал свои высказывания. Он сказал Евтушенко, что чувствует свою вину перед молодыми людьми искусства за резкие слова, произнесенные в их адрес.

Вернулись домой. Отец озяб, попросил чаю. Тут инициатива перешла к Евтушенко. Он стал рассказывать о своих недавних поездках по стране. Особенно его поразило полное незнание современной молодежью жизни при Сталине, масштабов репрессий. Он сказал, что недавно был на Байкале, встречался с рабочими, интеллигентами и завел разговор о сталинских репрессиях. На вопрос, сколько примерно тогда погибло людей, ему ответили: тысячи две. Кто-то поправил: больше, тысяч двадцать. То есть они даже приблизительно не представляют, что тогда происходило!

Вскоре Евгений Александрович собрался уезжать. Отец вышел на крыльцо проводить гостя. Евтушенко поблагодарил отца за прием, а тот, в свою очередь, пригласил его заезжать…

Настала осень. Отпуск мой закончился, и в Петрове-Дальнем я стал бывать только по выходным.

В воскресенье, 5 сентября, отец с мамой собрались в гости к Раде на дачу. Дорога была неблизкой, километров шестьдесят, и такие поездки превращались в целое путешествие. Это разнообразило жизнь отца — он встречался с новыми людьми, заряжался новыми впечатлениями.

К сожалению, поездка не удалась. Во время прогулки отец почувствовал себя плохо, защемило сердце. Мама дала ему таблетку, и он кое-как отсиделся на стульчике, который и здесь был с ним. Раньше обычного они вернулись домой. Отец принял еще лекарство, и, хотя оно не помогло, хуже ему, кажется, не стало. В воскресенье врача решили не беспокоить.

Ночь не принесла облегчения, темнота давила на грудь, стало трудно дышать. Отец позвал маму — дверь в ее комнату на всякий случай не закрывалась.

— Посиди со мной, мне как-то тяжело. Видно, эту осень я не переживу, — с каким-то детским испугом сказал ей отец.

Утром приехал Беззубик, посмотрел, послушал, ничего угрожающего не нашел, но посоветовал лечь в больницу. Отец в больницу не хотел, и Владимир Григорьевич не настаивал. Но днем приступ повторился, и Беззубик стал неумолим. Правда, и отец присмирел, только попросил, чтобы отвезли его на «Волге». Очень он не любил «кареты», говорил, что чувствует себя в них почти покойником. Владимир Григорьевич согласился. Стали ждать машину.

Мама позвонила мне на работу, сказала, что отца забирают в больницу. Я бросил все дела и помчался на дачу. Но не успел. Отца уже увезли. Дома застал только маму — растерянную, какую-то жалкую. Она только что вернулась из больницы. Мама, словно пытаясь сама себя успокоить, стала подробно рассказывать, как они с отцом ехали в Москву: спокойно, как будто отправились на прогулку. Отец, по словам мамы, шутил с водителем, спросил, откуда он родом, рассказывал о Лихачеве, первом директоре ЗИЛа. Когда в Ильинском переехали мост через Москву-реку, он посмотрел на колхозную кукурузу и стал возмущаться неправильным посевом: посеяли бы реже, получили бы урожай, больше были бы початки. Перестал возмущаться после маминой и доктора просьбы не волноваться. Сказал: «Вот такой характер, не могу спокойно говорить о подобных вещах…» Доехали они до Москвы хорошо. По пути отец похвалил растущие вдоль проспекта Калинина (Нового Арбата) каштаны, вспомнил, как сопротивлялись московские озеленители, когда он, будучи секретарем ЦК и МГК в пятидесятых годах, настаивал на посадке каштанов на улицах Москвы. Отец тогда ездил к Курскому вокзалу посмотреть на растущий во дворе какого-то дома большой каштан — доказательство, что МОГУТ расти в Москве каштаны, радовался, когда увидел три больших каштана в Кунцеве. Советовал озеленителям заложить питомник каштанов, что и было сделано. На даче в Огарево (на Успенском шоссе, по соседству с деревней Усово) тоже посадили каштаны у ворот. Они хорошо цвели, давали плоды.

В больницу проехали через двор, прямо к лифту. Встретил их знакомый санитар Петя, поднял на третий этаж, пожелал отцу скорее поправиться. До палаты № 8 (в конце коридора) отец прошел самостоятельно, без поддержки под руку, своим обычным шагом. В палате оживленно беседовал с сестрой, санитаркой, буфетчицей — тоже знакомыми по прежнему пребыванию здесь. Сидел у стола, пока мама не попросила его снять брюки и лечь в постель. Она ему помогла с брюками, он лег. Остался у постели Владимир Григорьевич, пришла лечащий врач Софья Анатольевна, заместитель заведующего отделением Евгения Михайловна Мартынушкина. Мама вышла.

Отец не велел ей возвращаться — он будет занят с врачами. Мама уехала на дачу. В ответ на мои расспросы, мама раз за разом повторяла, что у отца инфаркта нет, это хорошо, но самочувствие плохое. «Авось обойдется», — без особой уверенности заключила она.

От мамы я направился в комнату отца. В его отсутствие там не должны были оставаться бобины с диктовкой. Об этом, как я

уже упоминал, мы с отцом условились в самом начале работы.

Я привычно снял с магнитофона катушку с последней диктовкой отца, убрал ее в свой портфель. На магнитофон поставил чистую. Посидел в отцовском кресле. На душе скребли кошки.

За стеной, в своей комнате, тихо, как мышки, затаились моя сестра Лена и ее муж Витя.

«Если что… — мелькнуло у меня в голове. — Теперь я самое ненадежное звено в цепи. Пленки будут искать у меня».

Решение пришло спонтанно. С бобиной в руке я постучал в комнату Лены. Войдя, я увидел сидящих на кровати сестру с мужем. В углу у платяного шкафа стоял открытый объемистый портфель, с ним Витя ходил на службу.

Приложив палец к губам, я молча опустил в портфель драгоценную картонную коробочку с бобиной. Затем, также молча, поманил Лену и Витю за собой. Мы вышли во двор. Обойдя от дома на «безопасное» расстояние, я пояснил им, в чем дело, и попросил в случае чего спрятать пленку. Витя сказал, что он знает надежное место. Я не спросил, какое.

После смерти отца я передал им остававшиеся у меня еще две бобины. Оригиналы. В той нервозной обстановке я поостерегся снимать копии.

Позвонил Владимир Григорьевич и сообщил, что состояние отца удовлетворительное. Поговорить с ним нельзя — снимают кардиограмму, а вечером можно его навестить.

Как-то, когда отец в очередной раз слег, я спросил доктора Беззубика, что значит это пресловутое «удовлетворительное состояние». Владимир Григорьевич, помолчав, поглядел в потолок и тихим голосом объяснил, что отец находится в том возрасте, когда можно ожидать всего. Когда надежд мало, мы говорим «плохо». Все остальное — «удовлетворительно»…

И вот снова отец в больнице, и снова привычное: состояние удовлетворительное.

Вечером я зашел к нему. Выглядел он неплохо и вообще бодрился — сидел на кровати, смотрел телевизор. Сердце, видно, отпустило. Долго рассиживаться он мне не дал, стал шутя выпроваживать:

— Нечего время тратить. У тебя что, дел нет? Иди домой, передавай привет своим и вообще, не мешай, видишь, я делом занят: таблетки пора принимать, температуру измерять. Нам тут скучать не дают. Завтра придешь — принеси что-нибудь почитать.

И тон, и слова звучали настолько привычно, что я невольно поддался им — все в порядке, скоро все пройдет.

Но на следующий день книги, которые я принес, не

понадобились — ночью развился тяжелейший инфаркт. Отца даже остереглись переводить в реанимационное отделение, боялись, что он не выдержит перевозки.

Я тихо зашел в палату, и первое, что бросилось в глаза, — у постели капельница.

Рядом на стуле сидела мама, она гладила руку отца, потом поцеловала в ладонь. Отец в ответ погладил ее по щеке. Отец выглядел очень плохо: серое лицо, тяжелое, прерывистое дыхание. Без кислорода он уже не мог обходиться, но присутствия духа не терял. Кислород подводили к носу по двум прозрачным трубочкам. На лице их закрепляли пластырем. Отец еще находил силы дурачиться, обращаясь к дежурившей у его постели сестре:

— Что-то у меня усы растрепались, поправьте, пожалуйста.

Весь он был обвешан какими-то датчиками, а на экране рисовала зигзаги все та же зеленая линия.

Владимир Григорьевич не стал меня успокаивать, сказал, что состояние отца чрезвычайно тяжелое и конец может наступить каждую минуту. Оставалось надеяться на то, что организм у отца для его возраста очень здоровый.

Я, конечно, готов был верить любым оптимистическим прогнозам, но… Прошел день, а состояние не улучшалось.

Эти дни все мы — мама, сестры и я — сменяли друг друга у постели отца. Утром в четверг, собираясь после работы заехать в больницу, я позвонил дежурной сестре.

— Еще дышит, — коротко ответила она на мой вопрос и повесила трубку.

Я кинулся в больницу, доктор объяснил, что прошедшая ночь была крайне тяжелой. У отца развилось дыхание Чейн-Стокса, но его удалось выправить, и состояние слегка стабилизировалось.

О пресловутом дыхании Чейн-Стокса я помнил со времени бюллетеней о болезни Сталина в марте 53-го. От этих слов веяло могильным холодом.

Осторожно приоткрыв дверь, я заглянул в палату. На высокой кровати лежал отец. Увидев меня, он попытался улыбнуться, но улыбка не получилась. Я посидел какое-то время, пытался что-то рассказать, но рассказ не клеился. Отец лежал, закрыв глаза, — то ли уснул, то ли просто не было сил поднять веки. Но вот он открыл глаза.

— Уходи, — пробормотал он привычную шутку, — не видишь — я занят. Не трать зря время…

Посидев еще немного, я ушел. Меня сменили мама, Рада и Лена.

В пятницу отцу стало чуть лучше. Собрался очередной

консилиум, констатировавший, что в сравнении со вчерашним положение, как записали в истории болезни, не крайне, а очень тяжелое. Но и это вселяло призрачную надежду.

На следующее утро, 11 сентября, отцу еще немного полегчало. Мама, когда я позвонил, была в больнице и на мой вопрос об отце сказала:

— Здесь много народу — и я, и Рада, так что ты сейчас не приезжай, а то он сердится, гонит нас. Мы еще немного посидим и пойдем, а ты приезжай попозже.

Я спустился во двор и занялся машиной. Вскоре мне что-то понадобилось дома и я поднялся в квартиру. Еще за дверью услышал телефонный звонок. Подбежав к аппарату, схватил трубку. В эти дни каждый звонок вселял тревогу.

Это была мама:

— Отцу очень плохо. Приезжай немедленно.

От улицы Станиславского, где я жил, до улицы Грановского, где находилась больница, рукой подать, и через пять минут я был на месте. Но в палату меня не пустили.

Мама сидела на деревянном диванчике в коридоре.

— Я отошла на минуту, а когда вернулась… Там врачи что-то делают с ним… Реаниматоры… Меня попросили выйти. Я только слышала: «Никита Сергеевич, вдохните, вдохните!»

Я сел рядом, мимо пробегали сестры, врачи. Никто не обращал на нас внимания. Я увидел знакомую сестру, которая дежурила у отца последние дни. Бросился к ней.

— Очень, очень плохо, — на ходу она покачала головой.

— Безнадежно?

— Да. Видимо, да…

Я подошел к маме, сказал, что дело очень плохо. Она сидела с окаменевшим лицом.

Из палаты вышла дежурный врач Евгения Михайловна Мартынушкина. Мы знали ее много лет, она давно работала в этой больнице. Молча села рядом с мамой.

— Ему очень больно? — как-то растерянно спросила мама.

— Нет… сейчас уже не больно, — сдавленным голосом ответила Евгения Михайловна.

Такой ответ, видно, вселил в маму какую-то надежду. Она начала еще о чем-то спрашивать. Евгения Михайловна молчала, долго не отвечала, а потом, решившись, обняла маму, негромко произнесла:

— Он умер.

Мама заплакала. Евгения Михайловна плакала рядом с ней.

Я позвонил домой, через полчаса приехали остальные члены семьи. Нас завели в соседнюю пустую палату и попросили

подождать. Мама плакала. Через некоторое время Евгения Михайловна подозвала меня и разрешила зайти к отцу.

На лестничной площадке, перед дверью палаты, жадно курили трое дюжих парней — реаниматоры. Они проводили меня сочувственным взглядом.

Я вошел один. Отец сильно изменился. У него стало совершенно другое, незнакомое лицо: нос заострился, появилась горбинка. Нижняя челюсть подвязана бинтом. Простыня прикрывает его до подбородка. На стене алеют капли крови, целая полоса. Следы усилий реаниматоров.

Горло сжал спазм, но я понимал, что не могу давать волю чувствам, раскисать нельзя, силы еще понадобятся. Постоял несколько минут, дотронулся до лица, оно холодело. Поцеловал в лоб и вышел. Ноги у меня стали ватными, в голове туман.

Зашел в палату, где сидели все наши. Невольно подумав о том, как тяжело будет маме увидеть отца таким, я, не очень соображая, что говорю, спросил:

— Может, ты сейчас не пойдешь?

— Что ты! — удивилась она. — Пойдем обязательно. Все зашли к отцу. Сели вокруг. Я стоял сзади, у окна. Молча посидели какое-то время.

«Мы потеряли ЕГО. Он лежал под простыней. Лоб холодный, затылок посинел, пальцы рук похолодели, ноги — тоже, а плечи, грудь, ноги в верхней части еще долго оставались теплыми. Я и сейчас ощущаю на ладонях эту теплоту. Я просила детей потрогать теплого отца, чтобы сохранить воспоминания теплоты, а не льда» — так мама записала в своем дневнике.

Евгения Михайловна, приглядывавшая за мамой, прошептала мне на ухо:

— Надо уходить. Скажите Нине Петровне.

Мы вышли. У дверей уже ждала каталка с носилками из морга. Отца повезли. Мы проводили его до лифта. Двери сомкнулись. Все двинулись к выходу.

По дороге Евгения Михайловна спросила так, чтобы не слышали остальные:

— У Никиты Сергеевича были золотые коронки?

— Да, — не понял я.

— А сколько?

Я пожал плечами.

Объяснять, что в морге и у бывшего премьера могут выдернуть золотые коронки, ведь там все равны, она не стала. А я этой стороны жизни просто не знал. Мы спустились вниз. У подъезда маму ждала машина отца. Мама и сестры сели в нее. Вот и кончилось все…

— Сергей Никитич, задержитесь ненадолго, — замялась Евгения Михайловна. — Как быть со справкой, похоронами?

Тут наконец до меня дошло, что впереди масса хлопот. Раньше похоронами я не занимался.

Все эти годы по всем вопросам, касающимся отца, связь с внешним миром осуществлялась через начальника охраны. Ему высказывались просьбы, пожелания. Он кивал, и через несколько часов, дней или недель приносил обезличенный ответ — это можно, это нельзя.

Кинулся разыскивать Кондрашова или Лодыгина, возглавлявших последнее время охрану, но они исчезли.

Подопечный их умер, на этом их функции закончились. Я окончательно растерялся. Евгения Михайловна поняла, что толку от меня не добьешься, и взяла дело в свои руки. Мы прошли в кабинет дежурного по больнице.

На большом столе стояла батарея телефонов. Из окна виднелось огромное серое здание Библиотеки имени Ленина.

Евгения Михайловна села за стол и уверенно сняла ближайшую трубку. Однако нас ожидали неудачи. Невидимые и неизвестные мне собеседники не могли ничего ответить: с таким случаем они никогда не сталкивались. Решение должны принять где-то в другом месте. Они были абсолютно бессильны и торопились закончить «опасный» разговор.

Наконец Евгения Михайловна дозвонилась до какого-то своего начальника, который, впрочем, не смог дать ответа на самые простые вопросы: можно ли выдать справку мне? Как будут организованы похороны — на уровне государственном или частном?

Все произошло в субботу, мы, конечно, хотели добиться какой-то ясности как можно скорее.

Она сказала, что свидетельство о смерти сможет выдать после вскрытия, а сейчас ничего делать не следует.

Понятно, что все вопросы, связанные со смертью и похоронами отца, будут решаться на самом высоком уровне и никто сейчас не возьмет на себя инициативу.

Но я, слабо соображая после всего пережитого, все-таки отдавал себе отчет, что предстоящая процедура ложится на меня, а потому жаждал действий.

Евгения Михайловна успокаивала:

— Через пару часов все решится, и вам сообщат.

Наконец я понял, что все мои попытки что-то предпринять бесполезны, и поехал домой. Там никого не было, все уехали в Петрово-Дальнее. Я бесцельно бродил по комнатам. Вспоминались какие-то эпизоды, но я никак не мог представить

себе отца, что в тот момент казалось мне очень важным. К горлу подкатил комок, и я заплакал. После этого мне полегчало — и я снова взял себя в руки.

Было горько сознавать, что даже посмертную судьбу отца будут определять враждебные ему люди, которые, несомненно, постараются, чтобы фамилия Хрущев затерялась в других официальных сообщениях, а то и вообще не захотят сказать людям о нашем несчастье.

Этого допустить я не мог и решил действовать сам. Ведь умер не просто мой отец, а крупный государственный деятель, сделавший столько хорошего за свою жизнь. Пусть сейчас о нем молчат, а то и говорят гадости, но я знаю, найдутся и те, кто посочувствует нам, вместе с нами поклонится его праху.

Я набрал номер Луи.

Через него о случившемся узнает весь мир. Он сразу снял трубку, как будто ждал моего звонка. Выразил мне свои соболезнования, по голосу чувствовалось, что они идут от сердца. Как мог, он успокоил меня и посоветовал ничего не предпринимать по собственной инициативе. Попросил, если удастся, позвонить ему вечером.

— Не суетись. Поезжай и поддержи мать. Сам ты ничего не добьешься. Надо ждать. Где положено примут решение, тебе останется только подчиниться. Вечером созвонимся, — трезво рассудил он.

Совет был дельный, и я решил поехать в Петрово-Дальнее. Перед выездом позвонил на дачу.

Трубку подняла Лена:

— Тут происходят ужасные вещи! Мы приехали и нашли дом запертым! Перед дверью — охранник. Он не хотел нас впускать без разрешения начальства. Мама тут же собралась уезжать, мы ее еле отговорили.

Начальники, Кондрашов и Лодыгин, правда, вскоре появились — видимо, доложили по команде и вернулись. Так что дом открыли, но в комнату отца не пускали — ее опечатали, а перед дверью стоял часовой.

Лена в нашей семье всегда считалась самой бескомпромиссной, а уж в этом случае возмущение ее не имело границ — она буквально кипела.

Так уж повелось, что наша жизнь всегда складывалась вокруг отца. Каждый шаг невольно сверялся с тем, как посмотрит на тот или иной поступок отец: похвалит, промолчит.

Поэтому для нас его смерть стала не просто потерей близкого и любимого человека; казалось, распалась связь времен, нарушился ход нашего бытия. Опечатанная дверь стала словно

символом этого крушения.

Ход событий, о котором рассказала Лена, не был для меня неожиданным. Мне рассказывал о подобных случаях Серго Микоян. В последние годы эта практика установилась прочно — не дай бог исчезнет какой-нибудь документ. Думаю, основанием для подобных действий послужила не столько боязнь пропажи государственных секретов, сколько опасение упустить из-под контроля какие-то оценки, записки о ныне здравствующих руководителях. Для подобных операций выделялись специальные люди. Что в этом случае чувствуют родные, потерявшие близкого человека, никого не волновало. Как, впрочем, не беспокоила и такая мелочь, как конституционно закрепленная неприкосновенность жилища.

Через полчаса я был на даче. За это время нового ничего не произошло. Часовой у двери спальни отца переминался с ноги на ногу, его растерянное лицо свидетельствовало, что ему не по себе, стыдно за всех: за себя, торчащего в чужом доме в этот скорбный час, за тех, кто его послал, но помочь ни ему, ни нам было некому. Мы просто старались его не замечать.

Я пошел к Кондрашову выяснить, что будет дальше и что нам делать. Он сказал, что должны приехать из ЦК, они просмотрят личные вещи отца и примут решение, что с ними делать.

Таким образом, нас ожидал обыск…

Наступил вечер. Но ситуация не изменилась — никаких сведений извне к нам не поступало. Наконец я не выдержал и опять зашел в комнату охраны. Оказывается, новости были, но Кондрашов даже не счел нужным проинформировать нас о том, что образована комиссия по разбору архива Никиты Сергеевича во главе с заместителем заведующего Общим отделом ЦК Боголюбовым. Сюда уже выехали члены этой комиссии Аветисян и Кувшинов. Последнего я знал, он работал заместителем управляющего делами ЦК, и мне приходилось с ним сталкиваться по бытовым вопросам. Впечатление он производил хорошее. Об Аветисяне я слышал впервые.

Я намеревался предупредить маму, чтобы эти люди не свалились как снег на голову, но не успел закончить разговор с Кондрашовым, как к дому подъехала машина. Из нее вышли два человека в темных пальто и шляпах. Они топтались у входа, не решаясь войти в дом. Кувшинова я узнал, второй, среднего роста, в очках в тонкой оправе, по-видимому, Аветисян.

Вместе с Кондрашовым мы направились к приехавшим. Кувшинов ободряюще пожал мне руку. Я пригласил их в дом. Кондрашов шел следом за нами. Выразив соболезнование маме, они извинились за вторжение, но, что поделаешь, таков порядок,

и установлен он не ими. Они лишь выполняют свой служебный долг. Охранника отпустили, сломали печать, открыли дверь, ключ от которой был у приехавших. У нас попросили ключи от сейфа, стоявшего в комнате.

В первую очередь их интересовали бумаги и магнитофонные бобины. Памятуя историю с изъятием мемуарных материалов, я молчал, вмешиваться было бесполезно.

Очистив сейф, двинулись дальше. Магнитофонные бобины забирались без разбора. На наши объяснения внимания не обращали — в портфель перекочевали и записи музыки, и утренней зарядки, и просто чистые пленки. Маме почему-то очень не хотелось отдавать бобину с зарядкой. Методист-физкультурник, начитавший текст, начинал ее словами: «Доброе утро, Никита Сергеевич! Как вы сегодня спали?» Наши слабые протесты не помогали, посетители оставались непреклонны. Нам, правда, пообещали, что после прослушивания вернут все материалы, не представляющие исторической ценности и не содержащие государственных секретов. Действительно, запись зарядки после неоднократных напоминаний через несколько месяцев вернули. Остальные пленки, в том числе и чистые, предназначенные для воспоминаний, остались там.

Осмотр бумаг отца не составил труда. Архива у него, по сути дела, не было. Все его деловые бумаги хранились в ЦК, мемуары забрали в прошлом году, а переписка, вернее приходившие к отцу уже перлюстрированными письма, наших «гостей» не интересовала.

Они методично осматривали комнату. Заглядывали во все ящики, коробочки, гардероб, листали книги, сложенные на столе у кресла и на подоконнике. Каждую заинтересовавшую их бумагу внимательно изучали, показывали маме, а затем Аветисян прятал ее в свой необъятный портфель. Особое внимание почему-то привлек проигрыватель.

Лена и я растерянно наблюдали за происходившим. Я молчал, понимая, как уже сказал, бессмысленность вмешательства. Опыт у меня уже был. А Лена кипела, вставляла колкие замечания. Когда на подоконнике среди книг Аветисян нашел отпечатанное на машинке стихотворение Мандельштама о Сталине и, прочитав его, стал засовывать в портфель, она взорвалась.

Как-то академик Лев Андреевич Арцимович с женой Нелли заезжали поздравить отца с днем рождения. Это стихотворение они преподнесли в качестве подарка. Лев Андреевич написал в уголке многозначительное посвящение отцу. Текста его я не помню, но в нем говорилось что-то о репрессиях и освежающем

ветре XX съезда. Словом, ничего крамольного. Вот это посвящение и привлекло особое внимание Аветисяна. Он поинтересовался, кто написал стихотворение. Услышав в ответ, что его автор Мандельштам, он похмыкал и осведомился, кто сделал приписку.

Вот тут Лена не выдержала и с возмущением стала говорить Аветисяну, что он не имеет права изымать подарок академика отцу, что это память для нашей семьи.

Они выслушали Ленину исповедь молча. А когда та выдохлась, Аветисян тихим бесцветным голосом вежливо пояснил, что стихи Мандельштама с дарственной надписью Хрущеву от Арцимовича представляют большую историческую ценность, а посему должны храниться в архиве ЦК.

Возмущенная Лена выскочила из комнаты.

Что еще забрали? Мне запомнился оригинал приветствия Президиума ЦК по случаю 70-летия Хрущева с подлинными подписями всех членов Президиума, текст его я привел в первой главе. Напомню, там говорилось, что все они счастливы работать вместе и под руководством Никиты Сергеевича, желают ему многих лет жизни и плодотворной деятельности. Приветствие это в свое время было опубликовано во всех газетах. Сегодня слова приветствия явно не соответствовали духу времени.

Но вот почему забрали орденские грамоты за подписью М. И. Калинина, мы так и не поняли. Больше ничего интересного для них не оказалось.

Товарищ Аветисян попросил нас, в случае если мы найдем что-то примечательное, сообщить в ЦК. Все документы, связанные с жизнью Хрущева, очень важны для истории, подчеркнул он.

Я уже знал цену подобным словам, но мама бесхитростно предложила:

— У меня хранится магнитофонная запись выступления Никиты Сергеевича на XVI съезде Компартии Украины, пластинки с его голосом, другие материалы съездов.

Аветисян сказал, что эти материалы можно оставить в семье…

На дворе совсем стемнело. Я посмотрел на часы — начало девятого.

Но одного вопроса, причем важнейшего, наши визитеры так и не затронули: как и когда сообщат о смерти отца и как будут организованы похороны.

Я ждал, когда они коснутся этой темы, но, к своему удивлению, так и не дождался. Комиссия работу закончила, собралась уезжать. Лишь тогда я спросил, есть ли решение о порядке похорон. Оказалось — есть. Сами они об этом не

вспомнили, поскольку были поглощены другими заботами.

Все уже было расписано: похороны будут неофициальные, семейные, состоятся они на Новодевичьем кладбище. Сообщение о смерти Хрущева опубликуют утром в понедельник, 13 сентября; тогда же, в 10 утра, прощание в кунцевской больнице и в 12 часов похороны. Расходы по похоронам берет на себя ЦК КПСС.

Церемония была предусмотрена очень оперативная, без задержек. Кувшинов оставил свои служебный и домашний телефоны:

— Если возникнут вопросы по организации похорон, обращайтесь прямо ко мне.

Мама сказала, что она позвонила в Киев. Завтра приедут Юлия Никитична с мужем, другие родственники.

Тут до меня дошло, что сообщение о смерти отца дойдет до людей в лучшем случае одновременно с похоронами, а то и позже. И, конечно, все это не случайно. Я решил обзвонить всех, кого только возможно, оповестить о похоронах как можно больший круг людей. Я был возмущен до крайности, меня обуревало желание сорвать эту мелкую гадкую провокацию.

Как мы договорились с Луи, я позвонил ему вечером. Он рассказал мне, что все крупнейшие информационные агентства мира уже передали сообщение о смерти Хрущева, при этом даются обширные комментарии, аналитические статьи, и общий тон этих сообщений положительный, без выпадов. Высоко оценивается роль отца в деле осуществления политики мирного сосуществования, отмечаются и другие его добрые дела. «Слушай радио. Сегодня весь мир говорит о твоем отце», — закончил он.

Стало чуть легче. После последних напряженных часов доброе слово было так необходимо.

Я рассказал о разговоре домашним и опять засел за телефон. Обзвонил друзей, знакомых, сообщил о времени похорон, выслушал неизбежные соболезнования, в свою очередь, попросил их сообщить всем, кому только возможно.

Конечно, я сразу подумал о Микояне. Мне очень хотелось пригласить Анастаса Ивановича, старого друга отца, единственного, кто его поддерживал в тяжелые дни октября 1964 года. В то же время я знал, что положение Микояна сложное, он, как и отец, не в чести у властей предержащих. Его появление на похоронах они могут расценить как вызов. Поколебавшись, я набрал номер квартиры Серго. Он оказался дома, но еще ничего не знал.

Сказав мне какие-то добрые слова сочувствия, он заверил, что обязательно придет проститься, а сегодня вечером, когда поедет на дачу к отцу, сообщит ему о случившемся.

Пока я обзванивал друзей и знакомых, вдруг сообразил, что раз прощание назначено на 10 утра, людям придется вставать ни свет ни заря — ведь добираться предстоит в загородную больницу в Кунцево. Тогда это было значительно сложнее, чем сейчас. Место было действительно загородным.

Посоветовавшись с домашними, я решил позвонить Кувшинову с просьбой перенести начало ритуала на более поздний час. Был уже вечер, и я звонил ему домой. Он был чрезвычайно любезен, но непреклонен, поскольку у него, очевидно, имелись жесткие инструкции, а посему Кувшинов заявил, что решение принято и другого помещения для прощания найти невозможно, время прощания перенести нельзя, есть и другие умершие. Там ведь тоже очередь. У них тоже горе. Да и время похорон перенести никак невозможно.

Говорить все это ему было, видимо, неприятно, и он сменил тему, сказав, что завтра начнут готовить могилу на кладбище. Он предложил мне посмотреть место и, если оно не понравится, подыскать другое. Он, со своей стороны, обещал созвониться с кладбищем и дать необходимые распоряжения.

Впоследствии стало ясно, что эта его любезность оказалась чрезвычайно важной: нам удалось подыскать для могилы место, удобное для посещения.

Честно говоря, мы ждали, что позвонит кто-нибудь из членов Политбюро. Ведь и с Брежневым, и с другими отец не только проработал десятилетия — большинство из них выросли под его руководством, они дружили, ходили друг к другу в гости, хорошо знали маму да и всю нашу семью. Смерть уравнивает всех, и что, в сущности, значат перед ней людские ссоры и политические конфликты?

Никто из них так и не позвонил…

Поздно вечером мы включили радио. Желая избавиться от подслушивания, вышли на крыльцо. Так и сидели там на скамейке в темноте холодной ночи, слушая сквозь помехи и работу глушилок различные «голоса». Все они, кроме Московского радио, говорили о смерти отца. Зачитывались соответствующие сообщения, комментарии, воспоминания.

Проскользнуло в эфире и первое официальное соболезнование в адрес Советского правительства. Его направил мало известный в ту пору политический деятель Мадагаскара Дидье Рацирака, который впоследствии стал президентом этого государства. Видимо, там, на Мадагаскаре, не очень разбирались в тонкостях наших внутренних взаимоотношений, но международный протокол блюли.

Соболезнования создали проблему для чиновников Совета

Министров и Министерства иностранных дел. Никто не знал, что с ними делать. Где-то, скорее всего в КГБ, послания распечатывали и оставляли валяться на столах. Однако протокол требовал ответа, благодарности за добрые слова, и отнюдь не от КГБ. Тогда решили переправить их маме и, думаю, не случайно, в самой неуважительной форме. От извинявшегося почтальона местного отделения связи мы еще долго, до самого Нового года, получали грязные, кем-то небрежно разорванные пакеты с посланиями глав правительств, президентов, руководителей коммунистических партий, общественных деятелей и — самое ценное — просто от людей, помнивших и чтивших отца. Их было много…

Соболезнований набралось немало — целый чемодан. Перебираю пачки телеграмм, писем и выбираю наугад. Иосиф Броз Тито и Янош Кадар, Амиторе Фанфани и Урхо Кекконен, Жаклин Кеннеди и семья бывшего посла США в СССР Томпсона, семья фермера Гарста и семья Рерихов (к Гарстам и Рерихам отец испытывал особенно теплые дружеские чувства)… Всех, конечно, не перечислишь.

Письма шли и на домашний адрес, и моей сестре Раде в журнал «Наука и жизнь», и просто в Москву — вдове Хрущева. Многие соболезнования так и не дошли до адресата, в том числе с Мадагаскара, о них мы узнавали из сообщений иностранных радиостанций и газет.

Весь конец этого года и начало следующего мама писала ответы с благодарностью за соболезнования. Думаю, правда, что не все, ею написанное, дошло по назначению.

Один из таких ответов имел особую историю.

Очень теплые строки в связи с кончиной отца прислал академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Он был уже сильно не в чести. В пятидесятые годы мне, тогда еще студенту, он — тридцатитрехлетний академик, «отец водородной бомбы» — представлялся личностью легендарной. Я с ним не был знаком даже шапочно, но отец часто рассказывал его историю, относясь к нему (не найду другого слова) с благоговением.

Соболезнование Сахарова нас особенно тронуло. Ведь в 1961 году он резко разошелся во взглядах с отцом при обсуждении проблемы возобновления атомных испытаний. Победил Хрущев, поскольку он принимал решение. Серию испытаний завершили в соответствии с изначальным планом.

Как обычно, успешную работу венчало награждение орденами. Никита Сергеевич, как правило, в эти дела не вникал, списки готовили ведомства, Президиум ЦК только парафировал награждение. Я случайно присутствовал в тот момент, когда отцу

доложили о том, что списки подготовлены, осталось только получить «добро» на оформление Указа в Президиуме Верховного Совета СССР. Дело происходило на даче.

Отец спросил докладывавшего ему помощника, включен ли в список на присвоение звания Героя Социалистического Труда академик Сахаров. К тому времени Андрей Дмитриевич уже был дважды Героем.

Оказалось, фамилия Сахарова отсутствует — он-де не принимал активного участия и, более того, выступал против проведения испытаний.

Отец возмутился, загремел, что это безобразие! Вклад Сахарова в нашу оборону огромен. Пусть у них разные точки зрения, но каждый делает свое дело. Он — как руководитель государства, Сахаров — как ученый. Хорошо, что они спорят, высказывая, обсуждая разные точки, подходы. В этом шанс совершить меньше ошибок. Правительство не согласилось с Сахаровым, не послушалось его, тем более его награждение будет свидетельствовать об уважении его точки зрения. С такими людьми, как Сахаров, надо говорить, убеждать их, они многого не понимают, живут в своем мире, далеком от перипетий политических и межгосударственных отношений. Но и взгляды Сахарова, при всей их наивности, интересны. Они идут от сердца, от желания блага всем людям. К ним надо прислушиваться.

Андрей Дмитриевич Сахаров стал трижды Героем Социалистического Труда.

Каждый пошел своим нелегким путем. Наблюдая, будучи в отставке, процесс дальнейшего взаимного отчуждения академика Сахарова и советского руководства, отец переживал, повторял, что с таким человеком надо разговаривать, а не выговаривать ему. Его надо выслушать, поспорить. Только так можно прийти к конструктивному решению, остаться на общих позициях. Они же относятся к Сахарову как к врагу. Это непростительная ошибка.

Во время наших прогулок по тропкам Петрова-Дальнего он не раз возвращался к судьбе Сахарова. Парадоксально, но они оба — и Хрущев, и Сахаров — жили на одинаковом положении диссидентов. Правда, каждый по-своему не соглашался с проводившейся тогда политикой, но не менялось главное: их мыслями о том, как сделать наш мир лучше, справедливее, просто никто не интересовался. Брежневскому руководству было бы куда спокойнее, если бы вообще не существовало ни Хрущева, ни Сахарова, ни многих других, кому не находилось места на Родине.

И вот теперь мама написала ответ на соболезнование Андрея Дмитриевича, встал вопрос, как отправить его Сахарову. И хотя

адрес был известен, не было сомнений, что по почте письмо не дойдет. Я решил отвезти его сам. Не скрою, мне очень хотелось познакомиться с Андреем Дмитриевичем.

Ехать предстояло далеко, в незнакомый район. В то время за мной опять стали приглядывать, и я не удивился, когда, подъезжая у «Сокола» к развилке Волоколамского шоссе, углядел две знакомые «Волги».

Я кружил и кружил по Щукинским улицам, а нужная все не находилась. Я ехал темными закоулками, чтобы передать выдающемуся ученому благодарность за соболезнование по случаю смерти бывшего главы нашего правительства!.. Наконец, расспросив редких прохожих, нашел дом. Подъехать к нему не удалось. Дальше предстояло идти по тропке вокруг дома. Мой «эскорт» остался где-то позади, а может быть, впереди меня ждали их коллеги. Нервничая, я нашел подъезд. У дверей никого. Лишь поднимаясь по лестнице, я услышал внизу чьи-то шаги. На мой звонок быстро отозвались, дверь открылась. Я назвался. Увы, меня ждало разочарование: Андрея Дмитриевича дома не оказалось. Знакомство наше не состоялось. Оставалось передать конверт и ретироваться. У подъезда беседовали два высоких человека в темных демисезонных пальто. Мы «не обратили» друг на друга внимания, каждый занимался своим делом. На обратном пути разглядывать в зеркало заднего вида моих сопровождающих, выискивать их среди других машин не хотелось. И так было ясно, что они тут.

Но это все потом, а пока нас ожидали грустные хлопоты.

В воскресенье 12 сентября мы поехали на Новодевичье кладбище. До этого я там бывал один или два раза. Многое я должен был узнать теперь в этом новом для меня месте. Ведь мне предстояло стать его постоянным посетителем.

Нас ждал директор, фамилия его была Аракчеев. Она меня поразила, поскольку в те дни все совпадения казались мне зловещими. Впоследствии у нас сложились очень добрые отношения. Он оказался чрезвычайно порядочным и принципиальным человеком. К сожалению, когда кладбище закрыли для свободного посещения, он показался начальству не слишком удобным подчиненным — предлагал организовать экскурсии, издать каталог. После бурного партийного собрания появился новый директор кладбища…

Нас проводили к дальней правой стене. Почти в самом углу отрыли могилу, с которой начинался новый ряд. Место мне не понравилось. Я уже думал о памятнике. А тут не подойти, не развернуться. От дорожки могила отделяется непроходимым густым кустарником.

Я спросил, нельзя ли перенести захоронение на широкую аллею, пересекающую территорию кладбища поперек, где оставалось много свободного места. Сейчас там могилы академика Янгеля, бывшего министра финансов Зверева, сына помощника Брежнева Цуканова и других. Мои спутники посовещались и отказали — никак нельзя. Я понял — место слишком заметное и престижное.

— Тогда, может быть, можно выкопать могилу в том же ряду, но ближе к дорожке? — попросил я.

На этот раз возражений не было.

Выкопали новую могилу. Я стоял рядом, пока могильщики не закончили. Ранее предложенная могила недолго оставалась пустой. В декабре того же 1971 года в нее опустили нашего выдающегося поэта Александра Трифоновича Твардовского…

Закончив дела на кладбище, мы вернулись домой. Все готовились к завтрашнему дню: собирали ордена, мыли тарелки для поминок, расставляли мебель. Мы с Витей искали подходящую к случаю фотографию отца. Подобрав портрет десятилетней давности, принялись запаивать его в полиэтилен, чтобы уберечь от дождей.

Тем временем собирались родственники из других городов. Одни остались в городе ночевать на квартире, другие приехали в Петрово-Дальнее. Дом заполнялся людьми. Вечером опять слушали радио. Во всех странах комментировали смерть Хрущева. Москва по-прежнему хранила молчание.

Надо было расположить всех вновь прибывших на ночлег. Мест не хватало, заняли все диваны, поставили раскладушки. Пустовала только комната отца. Мама предложила мне переночевать на его кровати. Я замялся, мне стало как-то жутко — еще неделю назад здесь спал он… Вслух я ничего не сказал. Лег. Всю ночь продумал об отце, глядел в потолок, вспоминались какие-то эпизоды недавнего прошлого…

В день похорон, в понедельник, 13 сентября, встали рано — требовалось успеть в Кунцево до 10 часов. Я поспешил за газетами. В «Правде» внизу первой страницы мелким шрифтом напечатано траурное сообщение: «Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР с прискорбием извещают, что 11 сентября 1971 года после тяжелой продолжительной болезни на 78-м году жизни скончался бывший Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР, персональный пенсионер Никита Сергеевич Хрущев».

Бросилась в глаза формулировка: в подобных сообщениях писали «с глубоким прискорбием», а здесь ни ЦК, ни Совмину «глубоко» скорбеть не о ком. Потом мне рассказывали, что

поначалу вообще хотели ограничиться траурной рамкой на последней странице, но главный редактор якобы категорически за протестовал, пригрозив отставкой, — ведь ему отвечать перед всем миром.

До этого дня информацию о смерти работающего или отставного государственного деятеля всегда сопровождал некролог, помещенный в зависимости от ранга на второй или последней полосе. Сейчас же, похоже, не знали, что писать, а потому решили пойти по самому простому пути — промолчать.

В результате создался прецедент: появился новый обычай, когда о бывших министрах — персональных пенсионерах некролог сочиняется, а о бывших членах Президиума или Политбюро ЦК — персональных пенсионерах некролог не пишется. С этим столкнулись, когда вслед за отцом умер Андрей Андреевич Андреев. Так хоронили и Булганина, и Кириченко, и Первухина, и многих других…

Мама заставила всех позавтракать — впереди тяжелый день. Кусок не лез в горло, но пришлось подчиниться. Наконец отправились в морг.

По дороге в Кунцево я вдруг задумался о том, что предстоит ставить памятник. Надо найти решение, которое соответствовало бы личности и судьбе отца. Но как это сделать? С чего начать? Я не знаком ни с одним скульптором, чрезвычайно далек от этого мира. Да и кто еще согласится? Одни струсят, с другими он поругался в Манеже. Вряд ли они согласятся…

Подъехали к ритуальному залу прощания в больнице. Небольшое красное кирпичное здание, тесный зальчик, рассчитанный только на родных. Перед зданием собралась толпа — в основном иностранные журналисты. Все сдержанны, предупредительны. Расступились перед нами, не задавая никаких вопросов. Мелькали и знакомые лица друзей. Кувшинов и Аветисян предупредили нас, что похороны чисто семейные, государство в этом мероприятии не участвует.

У гроба были только наши венки от родных и близких и скромный венок с надписью на ленте: «Товарищу Н. С. Хрущеву от ЦК КПСС и Совета Министров СССР».

Впрочем, государство все-таки участвовало в похоронах: вокруг полно сотрудников органов госбезопасности, а в лесочке за забором расположились бронетранспортеры, солдаты в полной выкладке. Расхаживали командиры, что-то докладывавшие по рации. Словом, обстановка боевая.

Наконец все в сборе. Нас немного. Пробраться в тот день к залу прощания оказалось непросто. Мало того что больница далеко от центра города, на подходе к залу начинали проверять

документы, и, чтобы пройти дальше, требовалось доказать принадлежность или близость к нашей семье. Остальных просто не пускали.

Все прошли в зал. У гроба — ряд стульев для родных, по стенам тоже стулья. Никто, впрочем, не сел. Зазвучала траурная музыка. Окружив гроб полукругом, стояли родные, группа старых коммунистов, со многими из которых отец работал еще в Донбассе. Пришли наши друзья, мои товарищи по работе, соседи. Журналисты остались за порогом.

Отдельной группой держались официальные лица: управляющий делами ЦК КПСС Георгий Сергеевич Павлов, еще кто-то, мне незнакомый, возможно, из КГБ.

Отец лежал в гробу строгий, совершенно не похожий на себя, с незнакомым, чужим лицом.

Стоявшая у гроба мама потянула меня за руку. Я наклонился, и она шепотом спросила, не узнавал ли я, где состоится митинг и кому поручено выступить?

Я отрицательно кивнул головой.

— Пойди узнай, — попросила она.

На ее лице застыло страдание, но она не плакала. Видимо, проблема траурного митинга волновала ее давно. В ее восприятии не укладывались похороны человека, связанного с общественной деятельностью, лишенные обычного в таких случаях ритуала.

Я понимал, что больше всего власти не хотят никаких речей и потому приняли решение о чисто семейных похоронах. В тот момент мне очень не хотелось ссориться с ними, идти поперек, просто не оставалось на это сил, да я и не придавал надгробным речам особого значения. Но мама просила, и в тот момент я, понятно, не мог и подумать, чтобы отказать ей — любая мелочь имела для нее сейчас особое значение.

Я подошел с этим вопросом к Павлову. Он ответил, что так как похороны неофициальные, то и никакого митинга не предусмотрено. С таким ответом я не мог вернуться.

— Вы не будете возражать, если я скажу несколько слов и еще, может быть, кто-нибудь из друзей?

Чувствовалось, что мой собеседник находится в затруднительном положении. Эта миссия ему была явно неприятна, и он, очевидно, решил не выходить за рамки формально полученных указаний. Павлов пожал плечами: «Пожалуйста».

В том, что мне надо говорить, я не сомневался. Еще не зная, будет митинг или нет, на всякий случай я прикидывал, что сказать, искал нужные слова. Но не могу же я выступать один.

Подойдя к группе старых коммунистов, я спросил их, кто хотел бы выступить. Они пошушукались, и одна из женщин ответила: «Гаврюша Пилипенко может сказать. Поговори с ним».

Однако Пилипенко (а он считался другом отца еще с дореволюционного времени) отказался, сославшись на больное сердце. Стоявшая рядом маленькая седая женщина — Надежда Диманштейн, знавшая отца с 1920-х годов, сейчас же предложила свои услуги.

Я хотел найти еще кого-нибудь помоложе, один скажет от старых товарищей, другой от молодого поколения. На глаза мне попались стоявшие вместе Евтушенко и Трунин.

Подходя к ним, я краем глаза отметил нервно курившего поодаль Аджубея. Он стоял в группке кагэбэшников, время от времени перебрасывался с ними какими-то фразами. В тот день он держался особняком, подчеркнуто дистанцировался от происходившего. В зал прощания заходил урывками, в перерывах между сигаретами. Вспомнив недавний приезд Евтушенко к отцу, их долгий разговор, я подумал, что он самая подходящая кандидатура. Я тут же предложил Евгению Александровичу выступить.

Он несколько опешил, но потом сказал, что, по его мнению, это лишнее. «В молчании есть что-то более значительное», — добавил Евтушенко.

С тем же предложением обратился к Трунину. С ним было проще: мы знали друг друга давно. Ему выступать тоже не хотелось. Я понимал его, ведь все это будет зафиксировано, и никто не знает, какими окажутся последствия.

— Если надо, я выступлю, но совершенно не знаю, о чем говорить. Решай сам, как ты скажешь, так и будет, — сказал Вадим.

Но я уже передумал. Трунин не был знаком с отцом. Я отошел.

Вадим выговаривал мне потом: он всю дорогу от зала прощания до кладбища готовился, но я его не позвал.

На глаза мне попался Вадим Васильев, мой старый друг по Московскому энергетическому институту, все пять с половиной лет мы учились в одной группе. Его отец погиб в сталинских лагерях, на него во всем можно было положиться, он-то не струсит. «Да, конечно, я скажу», — ответил он не раздумывая.

Пока я организовывал митинг, время прощания истекло, пришла пора ехать на кладбище. Я подошел к маме и сообщил ей о митинге. Естественно, умолчав о том, как я договаривался. Мои слова ее успокоили.

Навсегда запомнилась картина в зале прощания: рыдающие

Юля-старшая и Юля-младшая, окаменевшая Рада и обессилевшая мама.

Присутствующие ушли из зала, мы остались семьей. Это были самые тяжелые минуты. Мама собрала все силы и держалась молодцом. Рядом Рада.

Поцеловали отца. Страшно: совсем недавно это был живой, подвижный, веселый человек, а тут губы встречаются с каким-то чужим холодом…

У меня есть фотографии, запечатлевшие вынос тела: Антон Григорьев — певец Большого театра, Валерий Самойлов, Семен Альперович — мои друзья и сослуживцы по ОКБ, Миша Жуковский — профессор, врач.

Сели в автобус, посередине стоял гроб. Тронулись. Впереди шла милицейская машина. За нами следовала машина из поликлиники с медицинской сестрой, на всякий случай, за ней еще несколько автомобилей. А следом растянулась кавалькада журналистов.

Едва мы тронулись, из лесочка, окружавшего ритуальный зал, посыпались солдаты — набилось их там много больше, чем казалось поначалу.

Выехали на Рублевское шоссе, и вот мы уже на Кутузовском проспекте. Не задерживаясь, проскакиваем перекрестки. Машины едут быстро, на мой взгляд, неприлично быстро для похоронной процессии. Вот и Бородинский мост через Москву-реку. Здесь нет левого поворота, но за мостом специально по этому случаю стоял регулировщик. Четко выброшенный влево жезл остановил движение, и мы беспрепятственно и неожиданно для меня свернули на набережную. Значит, по Садовому кольцу мы не поедем. Очевидно, нас не хотели пускать по людным улицам.

Подъехали к Новодевичьему. Вокруг оцепление, войска, а за оцеплением группы людей. Свернули в ворота. Тогда кладбище было открыто для посещений. Поэтому в глаза сразу бросилось необычное объявление: «Сегодня кладбище закрыто. Санитарный день». Мы проехали внутрь, а остальные машины остановились у входа. Миновали центральную площадку, где всегда стояли деревянная трибуна и постамент для гроба. Сегодня там ничего не было, их предусмотрительно убрали.

Сохранилось еще два свидетельства происходившего вне и внутри Новодевичьего кладбища в день похорон отца. «Санитарный день» — записки писателя Анатолия Злобина о похоронах Никиты Сергеевича Хрущева, напечатанные в мартовском номере журнала «Новое время» за 1993 год, и «Проводы» доктора исторических наук Георгия Федорова, впервые появившиеся 18 августа 1988 года в журнале «Огонек». Именно в

связи с этой публикацией меня начал разыскивать Костя Смирнов и благодаря ей мы встретились у 10-го подъезда здания ЦК КПСС. И Федоров, и Злобин задались целью пробиться на похороны Хрущева, заранее поехали на Новодевичье кладбище и, преодолев массу препятствий, попали внутрь.

Дальше я время от времени вставляю в текст цитаты из обоих авторов. Я смотрел на происходившие события изнутри, они видели их извне.

«Новодевичий монастырь, к чьей территории примыкает кладбище, обложен со всех сторон. У грузовиков стоят солдаты, у офицеров на пузе рация. На погонах обозначено — ВВ, Внутренние войска, — записывает свои впечатления писатель Злобин. — Ворота кладбища наглухо закрыты. Рядом с нами стоит автобус с грифом УВД (Управление внутренних дел). Над автобусом — многоколенчатая мачта. По соседству второй автобус с мачтой и антенной. От автобуса тянется по траве провод полевого телефона. Но все спокойно и тихо. Рации бездействуют. Похаживают полковники и генералы в штатском. Монастырь в осаде. У осажденного монастыря самый мирный вид: видны луковицы собора Богоматери Смоленской, шестиярусная соборная колокольня обхвачена вполне мирными реставрационными лесами.

«Десяток грузовиков, крытых брезентом и битком набитых солдатами, которых видно со стороны заднего борта, стояли вокруг Новодевичьего кладбища. — Теперь я цитирую Георгия Федорова. — Бегали офицеры, по рации кричали: “Тринадцатый, ты слышишь? Говорит первый! Прием” и так далее. Такое ощущение, что этот район Москвы не то оккупирован какими-то воинскими частями, не то какие-то войска собираются выступить в поход. А дальше кольцом вокруг кладбища различные милицейские чины, ближе к кладбищу стояли люди в штатском. На внешнем кольце милицейской цепи жались кучки людей, которых не пропускали. Время от времени кто-то из них тщетно пытался пройти, но их отбрасывали назад. Наглухо закрыты не только железные ворота, но и калитка. Справа на стене висит бумажка, на которой красным карандашом написано: “Кладбище закрыто. Санитарный день”».

А вот еще один свидетель.

Как вспоминал Виталий Петрович Курильчик, работавший в то время заместителем начальника управления бытового и коммунального обслуживания Мосгорисполкома, в чьем ведении находились и кладбища, волнения у начальства по поводу возможного митинга на кладбище начались еще накануне, в воскресенье. Его разыскал дома какой-то работник ЦК, чтобы

осведомиться, есть ли трибуна на кладбище. Узнав, что трибуна установлена на ритуальной площади, приказал ее убрать — на случай стихийного митинга. Виталий Петрович резонно возразил, что ни присутствие, ни отсутствие трибуны погоды не сделает, и со своей стороны предложил объявить на кладбище санитарный день. Трибуну, правда, он убрал. Курильчик отметил и грубое нарушение общепринятого ритуала похорон: машина не должна въезжать на территорию кладбища, согласно ритуалу, от ворот гроб полагается нести на руках.

В тот день устроителям было не до приличий. Доехав до упора, мы остановились: дальше вела узенькая дорожка, машине не проехать, и последние несколько десятков метров гроб несли на руках мои друзья: Юра Дедов, Юра Гаврилов, Володя Модестов, Петя Кримерман и многие другие.

Я тем временем поспешил к воротам — хотел убедиться, что пропустили всех, кто приехал с нами. Еще не раз я бегал к воротам, пропуская своих и всех тех, кому удалось пробраться через многочисленные кордоны.

Все предусмотрели. Ближайшие станции метро не выпускали пассажиров, городской транспорт, шедший к кладбищу, не работал. Сотрудники КГБ и милиция придирчиво проверяли документы, и надо было проявить чудеса настойчивости и изобретательности, чтобы прорваться. Какой-то учитель привел к кладбищу отряд пионеров со знаменем. Пионеров затолкали за военный автобус. Сестру репрессированного Сталиным командарма Ионы Якира Беллу Эммануиловну пропустили, а сына Петю Якира, к тому времени уже известного диссидента, препроводили в отделение милиции. Происходили и другие прискорбные случаи, о которых мы узнали много позже.

Спустя много лет я узнал, что приходил проститься с отцом Андрей Дмитриевич Сахаров. Охрана не посмела его задержать, а вот сопровождавших его единомышленников на кладбище не пропустили. Как впоследствии рассказывала мне Юлия Вишневская[75] (она была в этой группе), они бегали вокруг высоченной каменной ограды кладбища, пытаясь хоть что-то разузнать, что-то увидеть, но тщетно.

Каждого проникшего к воротам и на территорию, не скрываясь, фотографировали сотрудники органов в штатском. Их было в избытке.

Когда я вернулся от ворот, гроб уже установили рядом с могилой на металлическую подставку, вроде госпитальной, но только без колесиков.

«Семидесятисемилетний Никита Сергеевич лежал в гробу на возвышении, окруженном венками и цветами. В ногах у него

красные подушечки с тремя звездами Героя Социалистического Труда и орденами. Лицо его было значительным, таким значительным и спокойным, каким мне не доводилось видеть его на страницах газет или журналов, на экранах кино и телевидения. Высокий мощный лоб, волевые скулы. Казалось, на лице его запечатлелась какая-то важная дума, которой так и суждено остаться тайной. Рядом стояли члены его семьи, жена Хрущева Нина Петровна, в сером пальто с черной кружевной накидкой. Лицо, очень простое, открытое, бесхитростное, чем-то очень привлекательное, залито слезами. Тут же стояла Рада Никитична с каким-то отрешенным взором. Казалось, что ей очень холодно. Рядом высокий мужчина. Он очень похож и на отца, и на мать, и ясно, что это Сергей Никитич Хрущев. Тут же стоял Алексей Аджубей с красивым, несколько припухшим и замкнутым лицом» (Г. Федоров).

Всю дорогу, сидя в автобусе у гроба, я мучительно обдумывал, что мне говорить. Никакой подготовленной речи у меня, понятно, не было, только обрывки ночных мыслей. Я не намеревался говорить о конкретных заслугах отца. Подобный тезис всегда спорен, и сегодня это звучало бы вызовом властям, а задираться мне не хотелось. Естественно, не собирался я касаться и самих властей. Все суетное осталось для отца позади. Я так и не придумал ничего конкретного, слова должны прийти сами собой.

На кладбище возникла новая проблема — без трибуны меня никто не увидит и не услышит. У могилы собралась довольно большая толпа. Видимо, на физическую невозможность проведения митинга и рассчитывал Павлов, не возражая против моей просьбы.

Я растерянно огляделся, мое внимание остановилось на куче земли, вынутой из могилы. Рядом на подставке — гроб с телом отца. У изголовья стояли мама, Лена, Рада, Юля, Юра, другие наши родные, еще какие-то знакомые и незнакомые люди. Не раздумывая, я полез на эту кучу. Сверху было хорошо видно. На меня внимания не обращали, я мало кому был знаком. Все молча ждали, что дальше. Толпа сжималась вокруг.

На солнце набежала туча, начал накрапывать дождь.

— Вот и небо плачет вместе с нами, — непроизвольно вырвалось у меня. Затем я начал говорить: — Товарищи, мы сегодня прощаемся с нашим отцом, Хрущевым Никитой Сергеевичем…

Слова цеплялись друг за друга. Я говорил о том, что мы не проводим официальный траурный митинг, нет запланированных ораторов. Тем не менее я хочу сказать несколько слов о человеке, тело которого мы сейчас опустим в могилу.

Я сказал, что не хочу говорить о роли Никиты Сергеевича как государственного деятеля. Моя оценка — сына и современника — не может быть объективной. Свое суждение вынесет история, она расставит все на свои места, оценит каждого по заслугам. Единственно, в чем невозможно сомневаться, — это в том, что Никита Сергеевич искренне стремился сделать все для построения нового, светлого мира, мира, где бы лучше жилось всем. Конечно, были на его пути и ошибки, но не ошибается тот, кто ничего не делает. А он делал, и делал много. Не вызывает сомнения, что личность Хрущева не будет забыта, она не оставляла и не оставляет никого равнодушным: у него есть друзья, есть и враги. И споры о нем, о его делах не затихнут еще долго. Это еще одно свидетельство того, что жизнь свою он прожил не зря. Я говорил о нем как об отце, моем отце, отце всего нашего семейства. Он был хорошим отцом, мужем, другом. Он жив в наших сердцах. Пусть он остается в сердцах близких, в сердцах его многочисленных друзей. Нет слов, способных выразить наши чувства. Говорил я и о том, что мы потеряли человека, который имел все основания называться человеком. Не так много людей, которых можно поставить рядом с ним. Закончил я свое выступление традиционным прощанием:

— Да будет земля ему пухом!

Сверху я видел микрофоны журналистов, протянутые ко мне, и старался говорить погромче. Мне хотелось, чтобы мои слова запомнились, еще раз напомнили людям о человеке, отдавшем им всю свою жизнь. Видел я и другое — рядом с каждым журналистом стояли похожие друг на друга люди в одинаковых одеждах и что-то громко бубнили, стараясь помешать записи.

Потом мне рассказывали, что когда я начал говорить, среди присутствовавших там по службе возникло замешательство: нельзя, не положено. Но действовать никто не решился, такой команды не поступало.

Я огляделся и предоставил слово Надежде Диманштейн, а сам отступил в сторону.

Несмотря на преклонный возраст, она легко вскарабкалась по скользкой глине и, глядя поверх голов, звонко заговорила. Она сказала о работе Никиты Сергеевича на Украине, где им пришлось работать рука об руку, об успешном решении возникавших задач. Потом она перешла к теме сталинских репрессий и реабилитации невинно пострадавших и роли в этом деле Хрущева.

Закончила она словами:

— Наш Никита Сергеевич всегда был честный, правдивый человек, настоящий ленинец. Прощай, дорогой товарищ!

После нее говорил Вадим Васильев. Я не обратил внимания, мне было не до того, а вот Злобин отметил, что он «заметно волновался и все время твердил “так сказать”». Вадим сказал о том, что у него наболело. О своем безвременно погибшем отце, о реабилитации, о других жертвах того времени.

— Низкий поклон тебе, дорогой Никита Сергеевич, — закончил он.

Речи кончились, наступили минуты последнего прощания. Задние ряды стали напирать, всем хотелось сказать последнее «прости».

«Зина (подруга Злобина) оказалась ближе меня, прямо с родственниками, за ней цепочка штатских. Кто-то сбоку командует: “Взялись за руки. Не подпускать”» (А. Злобин). Оказывается, кагэбэшники намеренно «отсекали» публику от гроба. Я этого, в отличие от писателя Злобина, не заметил.

Чтобы хоть как-то восстановить порядок, я собрал своих друзей, мы растолкали «сотрудников в штатском», они не сопротивлялись, а кое-кто, по старой памяти, узнавал меня и здоровался. Образовался коридор. По нему двинулись люди. Они клали цветы, прощались с отцом. Минут через пятнадцать кагэбэшники перекрыли проход, опять началась давка, и мне пришлось снова вмешаться, со мной не спорили, подчинялись. Наконец прошли все. Последними, один за другим, потянулись иностранные журналисты. Советских журналистов там не было. В наших архивах это печальное событие не оставило документальных свидетельств.

Настало время прощаться и нам. Мама держалась с трудом.

«Кто-то, верно внучка Хрущева, Юля всхлипнула. Рада ее тут же одернула: “Держись, тебе говорят. Мы же договорились”. Поперек могилы лежит лом. Приготовлены веревки. Рядом могила Сергея Садовского, ее всю затоптали. Сергей Садовский — кто он такой?[76] Забивают гвозди».

Вот и все. Гроб опускается в могилу. Бросаем горсти земли. Заработали лопаты могильщиков, и выросший холмик покрылся немногочисленными венками, живыми цветами.

Мама не может удержаться и закрывает лицо платком. Ее бережно поддерживает Антон Григорьев.

А вот как этот момент видится со стороны: «Подошла Нина Петровна и положила большую красную розу. Вообще она прекрасно держалась, да и все остальные из близких. Только один Алеша Аджубей все время пытался быть в отдалении, стремясь раствориться в дождике» (А. Злобин).

Мы уже собрались уходить, когда я увидел, что по дорожке от входа к могиле спешит человек с венком в руках. Запыхавшись, он

с удовлетворением честно выполненного долга бережно уложил венок на могилу. На ленте надпись: «Никите Сергеевичу Хрущеву от Анастаса Ивановича Микояна».

Оказывается, Серго в субботу не сказал отцу о случившемся. Приехал он на дачу поздно — Анастас Иванович допивал свой чай. Выглядел он усталым. Поговорили о том о сем. Серго сомневался — надо ли сообщать о смерти Хрущева сейчас. Отец разволнуется, не сможет заснуть. Решил отложить сообщение до утра. А поскольку он возвращался в город, то сообщить печальную новость Анастасу Ивановичу попросил секретаря. Она жила вместе с семьей Микояна на даче.

Она горячо поддержала решение Серго перенести разговор на следующий день и заверила, что утром непременно все передаст. Конечно, она ничего ему не сказала. Тем, кто направлял ее действия, совсем не нужен был Микоян на похоронах Хрущева. Так что Анастас Иванович узнал о смерти Хрущева только утром в понедельник из газеты «Правда».

Отца похоронили. Толпа стала растекаться. Я непроизвольно заметил, как какой-то журналист, по виду японец, поднял из-под ног цветок и бережно положил его на могилу.

> «Кладбище оставалось закрытым еще 6 часов, людей не пускали, чтобы они могли положить цветы на могилу. А зона оцепления начиналась от метро “Спортивная”, тысячи людей скопились там. Вот и получились семейные похороны с участием вооруженных сил. Тайные похороны, запрещенные похороны, тупее не может быть, но мертвецов ни с того ни с сего не пугаются»
>
> *(А. Злобин).*

Друзей, близких и просто знакомых мама пригласила на поминки в Петрово-Дальнее. Пока доехали, тучи разошлись, выглянуло солнце.

Собрались за большим столом. Места хватило всем, хотя и сидели тесновато. Говорили много. Одни лучше, другие хуже, но все тепло. Особенно мне вспоминаются добрые слова Петра Михайловича Кримермана и Михаила Александровича Жуковского. Когда старые «друзья» разбежались, именно они стали его собеседниками и товарищами. И сегодня они пришли разделить наше горе, и их слова об отце звучали особенно задушевно.

Еще несколько эпизодов, завершивших этот нелегкий день. К

нам пришел некий молодой человек, студент факультета журналистики. Он не смог пробиться на кладбище и добрался до дачи, узнав каким-то образом адрес, чтобы выразить свои соболезнования. В течение ряда последующих лет он звонил мне, иногда заходил, потом исчез…

Прошло несколько часов, за столом стало шумно, часть гостей, разбившись на группки, о чем-то беседовала в парке. Я стоял у крыльца, когда прибежал потрясенный Миша Жуковский.

— Ты знаешь, я тут гулял, зашел за угол, — он показал на дом охраны, — слышу голоса. Прислушался, а это мы, выступает кто-то.

Он был не столько испуган, сколько заинтригован. Я успокоил его:

— Это обычная подслушивающая система. Они, наверное, прослушивали запись, перед тем как отправить ее начальству.

Вскоре нам рассказали о Льве Андреевиче Арцимовиче. Он не мог быть на похоронах: возглавляя делегацию на научном конгрессе в Швейцарии. На заседании в день похорон он попросил всех почтить память Хрущева. Думаю, что кто-то другой на подобное не осмелился бы.

На следующий день после похорон позвонил с выражением соболезнований мэр Сан-Франциско Джордж Кристофер. Оказалось, он только вчера прилетел в Москву по какому-то делу, рассчитывал встретиться с отцом, привез ему сувениры. Из газет он узнал о постигшем нас горе, неведомыми путями разыскал мой телефон. Мы договорились о встрече на следующий день в его номере в гостинице «Националь».

Отец познакомился с господином Кристофером в 1959 году во время визита в США. Тогда впервые глава Советского правительства и к тому же еще секретарь ЦК Коммунистической партии должен был ступить на американскую землю. Отец гордился приглашением, видел в нем признание возросшей мощи нашей страны, ее авторитета в международном сообществе.

Подготовка к визиту велась на государственной даче в Пицунде. Отец, Громыко, помощники под тентом на морском берегу с жаром обсуждали стратегию поведения, старались предугадать возможные неожиданности, согласовывали последние редакции речей. Не раз отец возвращался к волновавшей его теме, говоря, что разве можно было представить двадцать лет назад, что мощнейшая капиталистическая страна пригласит в гости коммуниста. Это невероятно. Сейчас же они не могут с нами не считаться. Пусть и через силу, а им приходится признавать наше существование, нашу силу. Разве могли мы подумать, что его, рабочего, позовут в гости капиталисты. Видите,

чего мы добились за эти годы, втолковывал он своим слушателям.

С таким настроением он и приехал в США. Визит проходил успешно, но обе стороны осторожно прощупывали друг друга. В поездке по стране по мере продвижения на запад все чаще появлялись транспаранты с приветствующими гостя надписями.

Помню, на одном полустанке в Калифорнии (назывался он Санта-Барбара) парень размахивал плакатом. На одной стороне его было написано: «Привет Хрущеву», на обороте: «Свободу Казахстану». Его физиономия лучилась дружелюбием, любопытством, и не было сомнений, что о Казахстане лично он имеет очень смутное представление.

А вот в выступлениях местных руководителей все чаще и чаще звучали слова, которые отец расценивал как вмешательство в наши внутренние дела.

Эту кампанию (она получила название «спорь до изнурения») инспирировал ни больше ни меньше вице-президент США Ричард Никсон. Открыть кампанию поручили мэру Нью-Йорка Роберту Вагнеру. После официального обеда, где он выступал в роли хозяина, Вагнер долго поучал Хрущева и других советских гостей, рассказывал о расовой гармонии в Соединенных Штатах, о всеобщем благоденствии — в общем, выставлял свой товар лицом. Однако на рожон не лез, нашу страну не задевал, и отец в ответ только благодушно улыбался.

Никсон счел выступление Вагнера слишком мягким, последовала команда ужесточить давление на гостя. И его ужесточили. Сначала отец делал вид, что не обращает на них внимания, но внутри накапливалось раздражение. Каждое такое слово воспринималось как проявление неуважения к нашей стране, а этого отец терпеть не собирался.

Скандал разразился в Лос-Анджелесе. На вечернем обеде в честь нашей делегации мэр города Нортон Поулсон стал говорить, что СССР якобы намерен уничтожить США, затронул и другие дежурные темы. На сей раз формулировки звучали жестче, чем раньше. Он явно старался вывести гостя из себя — и вывел.

В ответном слове отец взорвался. Он заявил, что как представитель великой державы не потерпит подобного отношения к себе, что США привыкли так обращаться со своими вассалами, но от нас получат должный отпор. Говорил он горячо, громко и долго. Господин Поулсон поеживался, крутя в руках бокал с вином. Зал заинтригованно молчал, ожидая, чем закончится этот спектакль. В заключение отец обратился к члену нашей делегации, авиаконструктору Алексею Андреевичу Туполеву:

— Как наш самолет? Мы можем отсюда немедленно улететь

домой? Владивосток ведь тут не очень далеко.

— Самолет готов. Будем во Владивостоке через несколько часов, — ответил Алексей Андреевич.

— Если так будет продолжаться, мы улетим домой, — повторил отец, — столько лет жили без вас и еще проживем. Мы согласны только на равноправные отношения, — закончил он свой экспромт и перешел к протокольному завершению тоста.

Зал гудел, гости комментировали бурное выступление русского премьера.

Весь этот спектакль, казалось, произошел спонтанно — просто взрыв эмоций не очень выдержанного человека. Однако все основывалось на расчете и спокойствии.

После приема делегация, помощники и сопровождавшие лица собрались в обширной гостиной премьерских апартаментов. Все были растеряны и подавлены происшедшим. Отец снял пиджак и сел на банкетку. Следом и мы расположились на диванах и в креслах.

Отец внимательно всматривался в лица, вид его был суров, но в глубине глаз проскальзывали веселые искорки. Он прервал паузу, сказав, что мы, представители великой державы, не потерпим, чтобы с нами обращались как с колонией. Затем он в течение получаса, не очень стесняясь в выражениях, высказывал свое отношение к тому, как принимают нашу делегацию. Он почти срывался на крик. Казалось, ярость его не знает пределов. Но глаза почему-то лучились озорством. Периодически отец поднимал руку и начинал тыкать пальцем в потолок — мол, мои слова предназначены не вам, а тем, кто прослушивает.

Наконец монолог прекратился.

Прошла минута, другая, все растерянно молчали. Отец вытер пот с лица — роль потребовала изрядного напряжения — и повернулся к Громыко:

— Товарищ Громыко, идите и немедленно передайте все, что я сказал, Лоджу.

(Генри Кэбот Лодж, в то время представитель США в ООН, сопровождал Хрущева в поездке по стране от имени президента.)

Андрей Андреевич встал, откашлялся и направился к двери. На и без того неулыбчивом его лице обозначилась мрачная решимость. Он уже взялся за ручку двери, как его жена Лидия Дмитриевна не выдержала.

— Андрюша, ты с ним повежливее!.. — взмолилась она.

Андрей Андреевич никак не отреагировал на эту трагическую реплику, дверь за ним беззвучно затворилась.

Я взглянул на отца. Он прямо-таки ликовал: реакция Лидии Дмитриевны свидетельствовала, что речь удалась.

Лодж немедленно доложил обо всем президенту. Эйзенхауэр возмутился, «этот сукин сын Поулсон портил ему всю обедню». Он, видимо, не знал, что «обедню портит» не Поулсон, а его собственный вице-президент. Поостыв, Эйзенхауэр попросил Лоджа по возможности сгладить последствия, а на будущее он примет меры сам.

На следующий день мы приехали в Сан-Франциско. Наших хозяев, казалось, подменили: лица дружелюбны, ни одного обидного слова.

Настроение Джорджа Кристофера, мэра Сан-Франциско, совпадало с мнением президента, который позвонил ему накануне ночью и предупредил: гостей надо принять приветливо. Лед растаял уже на вокзале. Отец вышел из вагона настороженный — мало ли что еще придумают американцы? После вчерашнего происшествия он никак не мог успокоиться. Заметив, что гость не в лучшем настроении, Кристофер решил взять быка за рога. Пожав руку отцу, он подчеркнуто внимательно огляделся и без улыбки спросил: «А где ваш босс, господин председатель?» Отец удивленно вскинул на него глаза. Широко улыбаясь, Кристофер, указывая на стоявшую поодаль свою жену, она держала большой букет роз в руках, продолжил: «Мой босс ожидает вашего. Ведь мы только притворяемся важными шишками, вся власть в их руках».

Отец расплылся в улыбке. В этот момент в дверях вагона показалась мама. Дальше все шло как по писаному, и не только в Сан-Франциско, но и в течение всей остальной поездки.

С того памятного дня и возникла взаимная симпатия у Хрущева и Кристофера. Они обменивались поздравлениями к праздникам, сувенирами. Не изменилось его отношение к отцу и после отставки.

Когда мы встретились в «Национале», господин Кристофер тепло вспоминая об отце, очень сожалел, что не смог попасть на похороны, передал свои соболезнования нашей семье. На всю жизнь я сохранил теплые воспоминания о сердечности мэра Сан-Франциско. Авторучку, которую он так и не успел подарить отцу, я храню как знак дружбы между этими двумя людьми, между нашими странами…

Вскоре после смерти отца маму переселили в Жуковку — совминовский дачный поселок неподалеку от Петрова-Дальнего. Там среди других пенсионеров она провела остаток своей жизни.

Мама похоронена на Новодевичьем кладбище рядом с отцом. В последние годы, когда ноги совсем отказывались ей служить, она редко посещала его могилу, всего два-три раза в году. «Похорони меня здесь», — просила она, показывая на место под

посаженными мною березами.

Честно говоря, я не надеялся, что это получится.

К тому времени процедура захоронения на Новодевичьем кладбище очень усложнилась. Требовалось специальное решение Секретариата ЦК. Максимум, на что я позволял себе надеяться, — это захоронение урны в могилу отца.

Помог случай. В момент ее смерти, 9 августа 1984 года, Генеральный секретарь ЦК КПСС Черненко ушел в отпуск, и в Москве «на хозяйстве» находился Михаил Сергеевич Горбачев. На просьбу о захоронении мамы рядом с отцом, с которой я обратился к управляющему делами ЦК КПСС Н. Е. Кручине, через полтора часа был дан положительный ответ.

Глава шестая
Памятник

В первый раз я подумал о памятнике по дороге на кладбище. Мысль прочно засела в голове. После похорон мы оказались в одной машине с Вадимом Труниным, и я спросил его мнение. Он, долго не раздумывая, сказал, что единственный скульптор, о котором стоило бы говорить, — Эрнст Неизвестный.

О Неизвестном я тогда почти ничего не знал. Мой мир был миром ракет, спутников, удачных и аварийных пусков. Конечно, и до меня докатывались отзвуки столкновений в Манеже,[77] где отец громил «абстракционистов», но эти шумные баталии меня не слишком интересовали.

Когда Вадим назвал Неизвестного, я вспомнил о Манеже, но как о художнике я о нем не знал ничего. В одном был убежден — надгробие надо заказать настоящему мастеру, чтобы образ отца не оставлял людей равнодушными.

Слова Вадима запали в душу, хотя я сильно сомневался в реальности воплощения идеи в жизнь и потому сказал Трунину, что Неизвестный едва ли возьмется. Ведь отец обидел его и его друзей в Манеже. Да он просто может выгнать меня. По сути дела, я предлагал ему сделать памятник своему противнику.

Трунин не согласился, заявив, что Неизвестный — глубоко интеллигентный человек. Он объективно подходит к личности Хрущева, ценит его роль в нашей истории. Те события, конечно, не забылись, но теперь они отошли на второй план и оцениваются несколько иначе. Я промолчал. Как ни хотелось согласиться, но до конца Вадим меня не убедил.

— Если хочешь, я могу позвонить ему, — предложил Трунин. — Если он откажется, ты вообще с ним связываться не будешь, а согласится — съездишь к нему. Я уверен — вы договоритесь…

На поминках я спросил о том же Юлю младшую.[78] Она у нас считалась экспертом в области культуры. Она думала недолго, почти дословно повторив слова Трунина, заявила, что, видимо, единственный человек, о котором имеет смысл говорить, это Неизвестный. Многие считают его лучшим скульптором в стране.

Когда два порознь спрошенных человека говорят одно и то же, это, согласитесь, не случайно. Я решил обратиться к Неизвестному и стал ждать сигнала от Трунина, который, как назло, куда-то запропастился.

В это время спонтанно возникла еще одна кандидатура —

Зураб Константинович Церетели. Его имя гремело: восходящая звезда! Мы с ним познакомились недавно и, казалось, испытывали взаимную симпатию. Вскоре после похорон отца мы встретились в доме общих знакомых. Наши места за столом оказались рядом. Я, конечно, спросил его совета.

Он загорелся и сразу же заявил, что сам возьмется за это дело. Церетели предложил завтра же поехать на кладбище, чтобы посмотреть все на месте. Он готов немедленно приступить к работе.

Я, честно говоря, смутился и промямлил о своих планах относительно Неизвестного.

— Отличная идея, — обрадовался Церетели. — Я с удовольствием буду работать вместе с ним.

На следующее утро мы поехали на Новодевичье. Зураб обошел могилу, все внимательно осмотрел, промерил шагами расстояние до дорожки, до стены, остался доволен, объявив, что нам повезло, поскольку вокруг нет могил. Тут можно поставить настоящий памятник. Потребуется площадка примерно пять на шесть метров. В тот день он уезжал домой и пообещал по приезде в Тбилиси набросать первый вариант. Через неделю Церетели собирался вернуться и обсудить со мной проект. Мне предстояло за это время решить вопрос с площадкой.

На том мы расстались, весьма довольные друг другом. Расстались, как позднее выяснилось, навсегда…

Тогда же я, полный энергии, ринулся в битву за участок пять на шесть метров. Проблема оказалась много сложнее, чем я думал. Изменить стандартный размер участка не мог и не хотел никто. Я ходил по кабинетам, дни летели за днями. И невдомек мне было, что, пока я обивал пороги, в дело включались все новые действующие лица.

От Трунина так никаких известий и не поступало, с Неизвестным связь я не наладил, а тем временем мои неуверенные шаги где-то проанализировали, сделали выводы, приняли решения, и… последовали действия.

Не прошло и двух дней после нашего похода с Церетели на кладбище, как через одну хорошую знакомую меня предостерегли.

— Я хочу тебя по-дружески предупредить, — начала она. — ТАМ тобой недовольны. У них о тебе сложилось не лучшее мнение после опубликования мемуаров твоего отца в Америке. Они считают, что ты их обманул. Прикинулся простаком, даже глуповатым, а на самом деле оказался хитрецом.

— Совершенно не понимаю, почему ОНИ так обо мне думают. Я всегда откровенно отвечал на все их вопросы, — возразил я.

— Ну хорошо, — отмахнулась она. — А сейчас? Решил поставить памятник отцу — это естественно. Но это же Хрущев! Ты же, с одной стороны, хочешь пригласить Неизвестного — художника, которого он ругал, а с другой — грузина Церетели. Такое сочетание явно неспроста.

Я удивился: подобное толкование мне в голову не приходило.

— Тебе не надо разговаривать с Неизвестным. — Знакомая, понятно, передавала чужие рекомендации. — Самое лучшее — пойти в Союз художников, там порекомендуют толкового скульптора. Кто знает, справится ли Неизвестный с такой сложной работой, а политический резонанс получится нехороший. Он вообще любитель скандалов, а зачем тебе скандалы? Зачем неприятности с властями? Кстати, сможешь в Союзе посоветоваться и насчет Неизвестного. Может быть, они как раз его и порекомендуют, — предложила приятельница.

Полученные советы вызвали у меня мало энтузиазма. Однако от них нельзя было просто отмахнуться. После истории с мемуарами раздражать столь могущественную организацию, как Комитет государственной безопасности, честно говоря, не хотелось.

Я решил посоветоваться с Серго. Оказалось, он знаком с Неизвестным и готов немедленно позвонить ему. Что же касается «дружеских» предупреждений, тут Серго был категоричен:

— Плюнь на них, они тебя заведут неизвестно куда. У вас противоположные цели: ты хочешь сделать отцу хороший памятник, а им главное — не допускать работы, выделяющейся на общем сером фоне. Представь, ты придешь в Союз, тебе порекомендуют скульптора, который тебя не устраивает. Тебе придется с ними спорить, конфликтовать, попадешь в невыгодное положение. А сейчас ты придешь к Неизвестному просто как заказчик, сын своего отца. Без сомнения, насчет него в Союзе ты получишь отказ, и положение станет совсем другим. И если ты все-таки решишься, придется действовать вопреки рекомендациям Союза, а это конфликт.

С ним нельзя было не согласиться. Я решил, не откладывая, связаться с Неизвестным. Серго набрал номер и начал было рассказывать о моих проблемах, но Неизвестный перебил его:

— Не надо лишних слов. Мне уже звонил Трунин, и я ему ответил, что с удовольствием встречусь с Сергеем Никитичем. Я настроен принять его предложение.

На следующий день мы с Серго отправились в мастерскую. Она располагалась в небольшом одноэтажном домике неподалеку от нынешнего спортивного комплекса на Олимпийском проспекте. Сейчас домика нет — его снесли.

Потоптавшись по двору, нашли нужную дверь. Постучали и вошли, очутившись в маленькой прихожей. На полу стояла скульптура. Скажу по правде, тогда она мне не понравилась. Как выяснилось, называлась она «Орфей, играющий на струнах своего сердца». Я был твердым воспитанником социалистического реализма, и главным мерилом художественности для меня были и остаются качество исполнения и, естественно, похожесть. А тут не было ничего подобного, да еще и разорванная грудь. Так не бывает, подумал я. Впрочем, в тот момент я решил со своими оценками не высовываться.

Из маленькой комнаты вышел хозяин — плотный человек небольшого роста лет пятидесяти. По первому впечатлению запомнились его кряжистая устойчивость, пронзительные глаза и тонкая полоска усов над верхней губой. Встретил он нас приветливо.

Помещение оказалось невелико. Собственно мастерская — комната метров тридцать пять — сорок, и две подсобные комнатки метров по восемь-десять. В той, куда пригласил нас хозяин, стояли диван, застеленный солдатским сукном, два книжных шкафа, стол, пара стульев. Вот и все убранство. По стенам висели картины. В другой комнате, похожей на коридор, стоял верстак и лежали разные приспособления для отливки, сварки и еще чего-то, мне тогда непонятного.

Я впервые попал в мастерскую скульптора. Было, конечно, очень интересно.

Познакомившись, Эрнст Иосифович, пригласил нас посмотреть работы. Середину комнаты занимал макет невероятного по моим понятиям здания: в центре — голова человека и стремительно отходящее от нее крыло с рельефами-символами, лицами людей.

— Это проект «Дома мысли» — центрального здания в Академгородке в Сибири, — пояснил Эрнст Иосифович. — При вашем отце мне долго не давали работать, потом, наконец, разрешили. Проект утвердили в 1964 году, а теперь он опять задвинут далеко.

Под потолком по всему периметру стен висели рисунки — единственная цветная композиция, высвечивающаяся то тут, то там резкими яркими пятнами.

Закончив этот беглый осмотр, мы вернулись в комнату и приступили к главному разговору.

— Я хочу внести ясность, — начал Неизвестный. — Вследствие моих споров с Никитой Сергеевичем я пережил тяжелые времена, но сейчас это в прошлом. Я глубоко уважаю его и, это может показаться странным, вспоминаю о нем с теплотой.

Этот человек знал, чего хотел, и стремления его не могут не вызывать сочувствия, особенно сейчас, когда многое видится яснее. У нас с вами речь идет не о личных обидах, а о памятнике государственному деятелю. Я возьмусь за эту работу.

Эрнст Иосифович тут же начал набрасывать рисунок на листке бумаги: вертикальный камень, одна половина белая, другую заштриховал — черная, внизу большая плита.

Я ничего не понял.

— Почему белая и черная? Это что означает? — спросил я.

Неизвестный сказал, что пока ничего конкретного в этом рисунке нет. Он только объяснил, что это воплощение философской идеи. Жизнь, развитие человечества происходит в постоянном противоборстве живого и мертвого начал. Наш век тому примером: столкновение разума человека и машины, порождение разума, убивающего его самого. Взять хотя бы атомную бомбу. Олицетворением такого подхода в мифологии является кентавр. В нашем надгробии черное и белое можно трактовать по-разному: жизнь и смерть, день и ночь, добро и зло. Все зависит от нас самих, наших взглядов, нашего мироощущения. Сцепление белого и черного лучше всего символизирует единство и борьбу жизни со смертью. Эти два начала тесно переплетаются в любом человеке. Поэтому камни должны быть неправильными, входить один в другой, сплетаться и составлять одно целое. Все это предполагалось установить на бронзовую плиту.

— На мой взгляд, получается неплохая композиция. — Он вопросительно посмотрел на меня.

Я заранее решил не вмешиваться, не лезть со своим мнением. Трудно рассчитывать на хороший результат, поправляя художника. Или надо довериться ему, или ориентироваться на ремесленника. Середины не бывает.

— Я целиком полагаюсь на вас. А будет ли портрет? — поинтересовался я.

— Считаю, никакого портрета быть не должно. Мы даем некий символ. Портрет нужен тогда, когда человека никто не знает и хочется сохранить его внешний образ, не дать ему стереться из памяти, — пожал плечами Эрнст Иосифович. — Лицо Никиты Сергеевича хорошо всем знакомо, и нет необходимости в портрете.

Меня он не убедил, но свои сомнения я пока оставил при себе. Впереди еще много времени, к тому же я, честно признаться, слегка робел перед знаменитостью. С некоторой опаской я сказал о разговоре с Церетели и его желании принять участие в этой работе.

— Я буду с ним сотрудничать, если вы этого хотите, — просто ответил Неизвестный.

И еще деталь. Поскольку меня насторожило предупреждение с Лубянки, я решил как-то застраховаться, узаконить наши отношения и предложил заключить официальный договор.

— Это просто, — ответил Эрнст Иосифович, — у меня есть знакомый юрист, он все оформит.

На этом мы расстались.

Мои опасения о возможном продолжении давления на нас оказались отнюдь не беспочвенными. Как выяснилось позже, побеседовали и с Церетели, и с Неизвестным, правда, с противоположными результатами.

Через несколько лет, уже после установки памятника, когда все осталось позади, Эрнст Иосифович рассказал свою часть этой истории. Вскоре после нашего с Серго посещения состоялась в известном здании беседа с ним. Ему настойчиво советовали отказаться от заказа. Сначала рассказали какие-то гадости о нашей семье, обо мне, но этот элементарный прием не подействовал. Тогда применили аргументы повесомее. В то время Неизвестный работал над рельефами, которые должны были украсить вновь строящееся здание одного из институтов в Зеленограде. Заказ престижный, работа по всем параметрам претендовала на Государственную премию. Советчики сокрушались: как бы работа над надгробием Хрущева не навредила Неизвестному при выдвижении его кандидатуры, да и вообще не испортила его карьеры.

Однако «доброжелатели» выбрали глубоко ошибочный путь, не изучив психологию своего объекта.

— Именно после их угроз я принял окончательное и бесповоротное решение. Если раньше еще сохранялись сомнения, поскольку мы не знали друг друга, то тут я уж решил быть твердым до конца, — заключил Эрнст Иосифович.

Вот такая разная реакция оказалась у двух людей, у двух скульпторов — Церетели и Неизвестного. Кто прав? Кто выиграл? Не знаю.

После нашей встречи дела завертелись. На следующий день мы оформили в нотариальной конторе договор, съездили на кладбище. Эрнст Иосифович обещал через несколько дней показать первый эскиз.

На кладбище я бывал регулярно. Поддерживал порядок на могиле. Время и осень сделали свое дело. Венки пожухли, фотография промокла. Несмотря на все наши старания, вода просочилась под пленку. Мне в очередной раз помогли друзья. На моей старой работе, в ОКБ Челомея, сделали добротную стойку,

там же надежно заварили в плексиглас новую фотографию.

Мне казались неуместными на могиле официальные портреты отца. Хотелось поставить фото почеловечнее, чтобы все видели не бывшего премьера, а живого человека. Так появился на могиле последний сделанный при жизни отца снимок. Он там без галстука, домашний, с усталой улыбкой смотрит в объектив.

Маме фото не понравилось, и она попросила его заменить. Я какое-то время сопротивлялся. Однако она оказалась не одинока, портрет не понравился и другим родственникам и близким. В конце концов я сдался. Установили фотографию, сделанную к семидесятилетию, — улыбающийся, довольный отец со всеми своими медалями на груди. Неизвестный был прав: Хрущев — символ, он не должен показываться людям с расстегнутым воротничком.

Тем временем продолжались хлопоты насчет увеличения размера участка для сооружения надгробия. Неизвестный тоже считал, что площадь должна быть побольше, хотя предложение Церетели он определил как «чисто грузинский размах». Требовались решительные шаги, и я обратился к управляющему делами ЦК.

Павлов, однако, сам решать вопрос не взялся:

— Я переговорю с товарищем Промысловым, он поможет. Вы ему завтра позвоните.

С председателем Моссовета Василием Федоровичем Промысловым мы жили в одном доме, неизменно здоровались и вообще, были хорошо знакомы — ведь его сделали мэром Москвы еще при отце. Я был абсолютно уверен в его быстром и положительном ответе. Как выяснилось, я и понятия не имел, кем теперь стал мой сосед. Сам он со мной разговаривать не стал. В секретариате меня адресовали к его заместителю Валентину Васильевичу Быкову.

Быков принял меня любезно, но оказался совершенно не в курсе дела. Тут же побежал к Промыслову, но вернулся обескураженным:

— Он говорит, что ему никто не звонил. Так, бросил мне: набавь ему сантиметров по тридцать. Просто не знаю, что делать!

Видно, Промыслов решил покуражиться.

Сам Валентин Васильевич очень хотел помочь, готов был сделать все, что в его силах. Мы сговорились, что он своей властью выделит участок размером два с половиной на два с половиной метра. Тут же Быков подписал нужные бумаги.

Дело сдвинулось. Мне тогда казалось, что через год, от силы полтора, работа завершится. Я не мог себе представить, что она растянется на долгих четыре года.

Когда я рассказал о посещении Неизвестного маме, она восторга не выразила, но и не возражала. Черно-белую идею она оставила на совести скульптора, а вот на памятник без портрета категорически не соглашалась.

— Надгробие — произведение сугубо личное, память о близком человеке. Мнение Нины Петровны — решающее. Я найду способ поместить портрет Никиты Сергеевича, — согласился Эрнст Иосифович.

Работа пошла. Раз, а то и два раза в неделю я приезжал по вечерам в мастерскую. Эрнст Иосифович работал утром и днем. Допоздна мы засиживались в его комнатке, говорили обо всем: о памятнике, политике, его и моей работе, Боге, встречах с отцом, вообще о жизни.

Семнадцатилетним мальчишкой Неизвестный ушел на фронт. Окончил военное училище в Кушке. Воевал десантником. Был награжден, и не раз. Тяжело ранен — ему перебило позвоночник, стал инвалидом первой группы. «Нуждается в постоянном уходе», — показывал он запись в медицинском заключении. С этим он не мог согласиться, характер не позволял. Он преодолел болезнь, получил высшее художественное и философское образование. Перетаскивая с места на место какую-нибудь тяжелую скульптуру, улыбаясь, приговаривал: «Нуждается в постоянном уходе».

Круг его друзей был необычайно широк, разнообразен и интересен. Часто вечерние посиделки превращались в шумные диспуты. Иногда, когда настроение было особенно хорошим, Эрнст Иосифович развлекал нас своими устными рассказами: серьезными об Индии, шутливыми о поясном портрете маршала Чойболсана, грустными о разных историях, происшедших с ним в Москве.

С каждой встречей я — профан — все больше начинал понимать кое-что в его творчестве. Многие из работ Эрнста Иосифовича, вызывавшие раньше недоумение и даже протест, мне стали нравиться.

Я уже упоминал о стоявшем в прихожей цинковом Орфее. Чем дольше я вглядывался в него, тем больше он меня захватывал. Передо мной раскрывался глубокий философский смысл этого произведения, и в моей душе он стал перекликаться с духовной сущностью моего отца — он вот так же отдал себя до конца людям. Я подолгу стоял перед скульптурой, вглядывался в нее. Благо, в мастерской я стал своим человеком и давно уже своим присутствием никого не смущал.

Как-то раз я даже предложил Неизвестному использовать эту скульптуру в качестве надгробия. Он удивился и сказал, что хотя

всегда приятно устанавливать свою работу, но эта не годится. Нам нужно что-то более строгое, монументальное. Орфей же слишком легкомыслен, он подошел бы в качестве памятника поэту, а не государственному деятелю. То, что задумано, значительно лучше и больше подходит для могилы Хрущева.

Общаясь с Неизвестным, я старался понять его взгляды на искусство, его философию. На душе у меня было неспокойно. Конечно, Неизвестный большой художник, но он «абстракционист» — слово для меня было если не ругательным, то не очень престижным. Как его манера творчества выразится в памятнике отцу? А главное, что меня беспокоило, будет ли похож портрет? Я боялся увидеть кубики, треугольники, искаженные черты.

Однажды я все высказал Эрнсту Иосифовичу. Он весело рассмеялся:

— В нашем деле все и проще, и сложнее. Например, я не отношу себя к какому-то одному направлению в искусстве — ни к абстракционистам, в чем меня обвинял твой отец, ни к реалистам. Каждое из них ограничивает, обедняет художника. Все хорошо на своем месте. Возьмем наш памятник. Нина Петровна хочет видеть портрет Никиты Сергеевича. И это должен быть именно его портрет, а не мое осмысление его философии через портрет. Тут все необходимо сделать максимально похоже. Реализм, приближающийся к натурализму. И это правильно. Именно так я и буду лепить. Ведь я делаю надгробие. Вы, родные, когда придете на кладбище, захотите увидеть своего отца, а не мое представление о нем.

— Теперь давай посмотрим на замысел всего памятника, его идею, — продолжал Неизвестный. — В нем заложено извечное противоречие, борьба светлого прогрессивного начала с реакционным. Как ее показать в виде реальных, фотографических изображений? Они будут уводить нашу мысль в сторону, сводить ее к обыденному. Здесь просится абстрактная идея, отражающая полет мысли художника. В нашем случае — это сцепившиеся в противоборстве белое и черное.

Не сразу Неизвестный рассказал мне историю злосчастных столкновений в Манеже.

— Почему ни я, ни мои друзья не держим зла на Хрущева? Он противоречив, но проводил честную, прогрессивную политику, а в Манеже его просто натравили на нас. И выставку эту устроили нарочно, привезли все в последний момент. Мы поначалу понять не могли, почему вдруг так заторопились. Им надо было нас уничтожить, чтобы самим выжить.

Главное для них — деньги, а я к тому времени собрал

обширный материал о коррупции и взяточничестве среди наших московских заправил в искусстве. Они приглашали и меня вступить в мафию. Когда я отказался, решили дать бой и уничтожить.

Эта история началась давно, я тогда еще учился в институте. В 1954 году объявили закрытый конкурс на монумент в память 300-летия воссоединения Украины с Россией. Место выделили на площади у Киевского вокзала, камень заложили. Все работы представлялись под девизами, и никто не знал истинных фамилий авторов. Я, студент третьего курса, его выиграл. Вон на полке макет — «Бандурист». Твой отец видел фотографии макета. Он ему понравился, по крайней мере, ни слова против он не сказал. Все другие меня хвалили, а в газетах писали: победитель — бывший фронтовик, студент. И тем не менее его не поставили и никогда не поставят. Предлоги выискивали самые объективные: то средства не выделили, то бензина нет, то камня, то экскаватор сломался. Правда же была в другом.

Я хотел вступить тогда в московское отделение Союза. Все проголосовали «за», меня приняли. И тут же вежливо отвели в сторону и стали объяснять правила жизни: «У скульпторов гонорары очень высокие, жить можно хорошо. У нас существует некая неофициальная, конечно, очередь. Сегодня вы выиграли, завтра — другой. Этим правилам мы все следуем и вам советуем». Я был молодой, горячий. Послал их: «Надо честно соревноваться, я же всех вас талантом одолею!» Мои собеседники посмеялись — посмотрим-де, но предупредили: «Без нас путь в большое искусство тебе заказан».

К сожалению, они знали, что говорили. Ни одной моей работы в Москве не поставили: ни «Бандуриста» у Киевского вокзала, ни «Крылья» на площади перед Военно-воздушной академией Жуковского, ни «Строителя Кремля». А ведь были постановления правительства, мощнейшая поддержка сверху. «Строителем Кремля» лично Секретарь ЦК КПСС Шепилов занимался. Но опять — то нет цемента, то камня, то рабочих. Время протянули, и можно списать. Все забыли о старых решениях.

Рассердился я, набрал целое досье и на наших мэтров, и на министерское начальство, как они взятки собирают. Был у нас один там начальник главка, все ходили ему «спинку мылить». Так у них почему-то называлась передача денег. Решил я вывести их на чистую воду, разоблачить безобразия. Собрался к Хрущеву. Уже и его помощнику Владимиру Семеновичу Лебедеву позвонил, он день и час свидания назначил. По молодости проговорился кому-то. Накануне вечером зашел я в «Националь» поужинать.

Подсели ко мне какие-то незнакомые ребята. Слово за слово, и началась драка. Ты меня знаешь, со мной справиться нелегко. В армии меня, десантника, не бить, а убивать учили. Но тут, видно, подобрались профессионалы. Избили меня по всем правилам.

На следующий день мне в ЦК идти, а там уже донос о пьяном дебоше, учиненном скульптором Неизвестным. Не мог же я идти к Лебедеву открывать ему глаза с фингалом под собственным глазом. Позвонил, извинился, придумал, что заболел. Он сочувственно похмыкал и перенес встречу. Так она и не состоялась.

Решили добить меня в Манеже, а заодно и других проучить. Стоим мы тогда у своих произведений, ждем. Появляется твой батя: он нас не видел, не знает, работ не смотрел. Конечно, ему уже до этого разъяснили, настроили, а сюда привезли лишь для подтверждения нашего «буржуазного идеализма» и «абстракционизма».

Тут и произошел наш бурный разговор. Я, знаешь, ощутил, что то, что я не сдался, а попер на твоего отца, как и он на меня, ему понравилось. Он всегда уважал сильных людей. А когда он под конец заявил, что я просто своего дела не знаю, и вся свита радостно закивала, я ему ответил:

— А вы проверьте, комиссию назначьте.

Он осекся, посмотрел на меня пристально и совсем другим, спокойным тоном закончил:

— И назначим.

Тут же бросает своим:

— Назначьте авторитетную комиссию, пусть он покажет, на что способен на деле. И дальше пошел.

Правда, кое-кто все понимал. Лебедев после всего шепнул мне:

— Будет совсем плохо — звоните. Выберем момент, доложим Никите Сергеевичу!

После Манежа такое началось! Они почувствовали безнаказанность, полезли рвать живое мясо. Сначала меня обвинили в том, что я ворую стратегическое сырье — бронзу. Опять Хрущеву донесли. Назначили проверку: все чисто. Показал, что для своих отливок я собирал старье — краны, ступки, другой лом. Не удалось.

Тогда снова вытащили обвинение в профессиональной непригодности: я-де не умею делать реалистические скульптуры, и потому мои изображения абстрактны. И это говорили профессионалы, академики! Я напомнил: Хрущев велел собрать комиссию. Собрали комиссию. Я в их присутствии по всем канонам соцреализма в течение нескольких дней сделал

скульптуру — два с половиной метра! — сталевара, разливающего сталь. Вот ее фотография. Ее потом тиражировали по всему Союзу. За нее я получил такой гонорар, какой мне никогда и не снился. Но это не искусство, а только поделка. Мысли-то — никакой. Опять вышла у них осечка.

Тогда решили созвать собрание. Обвинили нас в отсутствии патриотизма. Мы, обвиняемые, прошли фронт, ранены, награждены, а обвинители тогда надежно «забронировались», защищали Родину с тыла. Вот мы и решили «пошутить»: пришли в гимнастерках, у всех грудь в боевых орденах, нашивки за ранения. А они с трибуны талдычат о патриотизме.

А к Хрущеву я так и не попал. Звонил Лебедеву, да он все откладывал: то занят, то просто считал — пока не время. Позже он мне помог: видно, и Хрущеву доложил. В 1964 году вдруг дали мне проект Дворца мысли в Академгородке под Новосибирском. Но уж не везет так не везет. Я только развернулся, как твоего отца сняли, и опять все по нулям.

Сегодня побеждают они. Меня снова предупредили: «И не рыпайся. Кто бы где бы ни решал, ни одной работы в Москве у тебя стоять не будет». Оказалось, правда.

Последний пример. Несколько лет назад я выиграл конкурс на сооружение мемориала на Поклонной горе в честь Победы над фашизмом, было несколько туров. За меня выступали и общественность, и генералы, и даже Моссовет. Против — только мои собратья-художники. И чем все кончилось? Мемориал даже не начали строить.

Мои же идеи присвоил другой скульптор и построил мемориал в Волгограде. Вот смотри — он показал иллюстрацию из «Огонька» — у меня женщина с флагом, а у него точно такая же, но с мечом. У меня флаг позади, он уравновешивает фигуру, рвущуюся вперед. Центр тяжести на месте, и скульптура устойчива. Он же сунул в руку меч, и теперь ее удерживает от падения целый пук стальных канатов, натянутых внутри торса. И рельефы на стенах похожи.

Но все это не главное. И, ты меня извини, памятник твоему отцу — тоже для меня не главное. Это большая работа, и посвящена она большому человеку, но главное для меня — другое. Моя мечта и цель в жизни — монумент, олицетворяющий развитие духа, историю развития жизни, цивилизации, борьбу разума с творениями рук своих, убивающих человека, его дух.

Это будут семь колец Мёбиуса, вставленных одно в другое. Самое большое — сто пятьдесят метров в диаметре. «Мёбиусы» я покрою рельефами, изображающими историю развития нашего разума, борьбы жизни и смерти, добра и зла. Есть и макет

памятника, и рисунки рельефов. Все эти альбомы — заготовки к моей главной работе.

К монументу должны вести четыре дороги: с востока, запада, севера и юга. Подходя все ближе и ближе, человек ощутит все величие сооружения, величие своего разума. Подняться на кольцо можно будет через семь коридоров, олицетворяющих семь смертных грехов. Проект готов, дело — за заказчиком.

Я обращался в ЦК. Там у меня есть друзья, они меня поддерживают. Но они — идеологи в международном отделе у Пономарева. Мне же нужны заказчики, располагающие средствами и ресурсами. Сооружение такого масштаба — не простая инженерная задача. По моим подсчетам, все обойдется миллионов в десять-пятнадцать. Не получится у нас — предложу проект ООН. Идея монумента соответствует целям этой организации, а сейчас приближается ее сорокалетний юбилей.

Так что, видишь, мои злоключения в очень незначительной степени связаны с твоим отцом. Он сам оказался жертвой хорошо продуманной провокации и в конце концов пострадал больше, чем я. В Манеже одним ударом и с нами свели счеты, и его лишили союзников. Я хочу сделать памятник, отражающий значительность, противоречивость и трагизм личности Хрущева, — сказал Эрнст Иосифович.

«Мёбиусы» («Древо жизни») постигла та же участь. Грандиозный монумент так и не сооружен ни у нас, ни за рубежом. В начале XXI века Неизвестному удалось уговорить власти Москвы, но они согласились установить только уменьшенную в десять раз копию «Мебиусов» и не на самом видном месте. Экспертной комиссии показалось, что они не столько отражают историю развития человеческого разума, сколько напоминают грибовидное облако атомного взрыва. У меня же сохранился фотоколлаж — макет «Мёбиусов», величественно парящий над панорамой некоего города.

Неизвестный продолжал работу над надгробием. Задача вписать портрет оказалась непростой. Отбрасывались вариант за вариантом. Сначала поставили бюст на стеле перед камнем. Получился разрыв в композиции. Убрали стелу, бюст как бы повис без опоры. Все эти варианты Эрнст Иосифович проверял на гипсовых макетах.

Наконец решение нашлось: бронзовая голова цвета старого золота стоит в нише на белом мраморе на фоне черного гранита.

О цвете головы у нас было много споров. Я уговаривал Неизвестного затонировать ее темнее, он не соглашался. Наконец решили сделать под старое золото, тем более что бронза от времени неизбежно потемнеет.

Так в хлопотах прошло более полугода. Наступало лето 1972 года. Идея надгробия окончательно выкристаллизовалась. Мы решили устроить семейное утверждение проекта. В мастерскую приехали мама с Радой. Лена была уже смертельно больна.

В большой комнате на вращающейся подставке стоял затонированный макет надгробия. Поговорили, задали вопросы, выслушали ответы и согласились с автором.

До начала осуществления проекта требовалось еще многое завершить: во-первых, в деталях разработать конструкцию монумента, а главное — утвердить его на художественных советах Художественного фонда РСФСР и Главного архитектурно-планировочного управления (ГлавАПУ) Моссовета. Без их печатей на чертежах памятник не возьмется делать завод и его не позволят установить на Новодевичьем кладбище.

Эрнст Иосифович откровенно боялся совета. Он накопил богатый и весьма печальный опыт. Однако, на удивление, все прошло гладко. После получасового обсуждения члены совета Художественного фонда поздравили Неизвестного с большой творческой удачей. Нашей радости не было границ.

На совете произошел курьезный случай. Пока Эрнст Иосифович готовился к выступлению, я развил бурную деятельность — таскал с места на место макет, отвечал на вопросы, требовал у секретаря проект протокола.

Когда все закончилось, секретарь совета обратился к Неизвестному:

— А как фамилия вашего соавтора?

Эрнст Иосифович сначала не понял, встрепенулся и ощетинился:

— Я работаю один! — Но тут же улыбнулся: — Это не соавтор, а заказчик. Познакомьтесь — Сергей Никитич Хрущев.

Мы весело рассмеялись.

Начались чисто производственные хлопоты. Чтобы сделать надгробие, предстояло решить вопрос, где взять материалы. Бронза относилась к стратегическим материалам, для ее получения требовалось специальное разрешение Совета Министров СССР. Здесь нам помог управляющий делами Совмина М. С. Смиртюков. Он без волокиты откликнулся на мою просьбу, и буквально на следующий день появилось решение о выделении бронзы. Одновременно управлению нерудных материалов Моссовета поручили помочь с камнем.

В управлении нам очень хотели помочь, его начальник начинал свою карьеру еще при отце, в начале пятидесятых, и сохранил о нем самые теплые воспоминания. Но при всем желании камня нужного размера — высотой почти в два с

половиной метра — у них не было и быть не могло. В стандартах такие размеры отсутствовали.

Эрнст Иосифович стал настаивать на спецзаказе. Нам не возражали, но предупредили: нестандартный камень добывают взрывами. Они вызывают коварные микротрещины, которые обнаруживаются только в последний момент, при полировке готового изделия. Камни же стандартных размеров, 900 х 600 миллиметров, выпиливаются специальными машинами. В них трещин не бывает. Это было заманчиво, но требовалось переделать проект.

Мы рядились несколько дней.

Наконец Неизвестный решился.

В новом варианте каждая половина — белая и черная — составлялись из трех камней стандартных размеров.

— Получилось даже лучше, — удовлетворенно заметил он, — скульптура стала более динамичной.

Теперь можно было делать следующий шаг — искать изготовителя. В управлении нам порекомендовали обратиться на завод в Водниках. Мы заручились письмом из управления делами Совета Министров и поехали туда. Однако нас ждало разочарование. Шел 1972 год, и фамилия Хрущева упоминалась только в сочетании с «волюнтаризмом» и «субъективизмом» и чуть реже в контексте «исторических» решений октябрьского Пленума 1964 года.

На заводе мы появились летом. Директор был в отпуске. Нас принял главный инженер — напыщенный и самодовольный человек. Фамилию я его забыл. Он небрежно кивнул:

— Садитесь. Какие вопросы? — Его прямо-таки распирало от ощущения собственной значимости.

Неизвестный начал объяснять, я протянул письмо из управления. Все это не произвело никакого эффекта. Хозяин кабинета остался холоден.

— Эту работу мы принимать не будем, — заявил он. — Наше предприятие загружено важнейшим заданием. По поручению Девятого управления КГБ (эти слова он произнес с особым вкусом) завод ремонтирует Мавзолей Ленина. Из-за вас мы не можем рисковать срывом сроков.

После этих слов он еще больше напыжился.

— Я думаю, вам камни вообще ни к чему. Хрущев все носился с железобетоном, даже наш завод хотел закрыть. Вот вы бы и сделали ему памятник из железобетона. Эдакую финтифлюшку гнутую. Я недавно был за границей, там много такого наставлено, — не удержался и похвастался он.

Неизвестный напрягся, покраснел. От такого хамства усы его

вытянулись тонкой линией, глаза впились в лицо обидчика. Казалось, он сейчас поговорит с ним по-десантски. Обид Эрнст Иосифович не спускал никому. Я с большим трудом удержал его. Мы ушли, чтобы больше сюда не возвращаться.

Художественный фонд имел свой завод в Мытищах, но мы поначалу не стали обращаться туда, зная, что у них всегда большая очередь. Теперь у нас не оставалось другой возможности. Директор завода Павел Иванович Новоселов встретил нас любезно, но ответ его был несколько обескураживающим. До начала работ требовалось утвердить проект в Главном архитектурно-планировочном управлении Москвы. Неизвестный боялся этой инстанции еще больше, чем совета Художественного фонда. Он хотел схитрить — прийти к ним с готовым надгробием. В этих хлопотах незаметно наступила осень, а мы так и не успели даже обратиться в ГлавАПУ.

Слухи о проекте надгробия распространились к тому времени довольно широко. Мои друзья и просто доброжелатели отца интересовались, что же установят на могиле. Как идут дела? Когда откроют памятник? Вопросам не было конца. Я решился показать проект наиболее близким людям. Ни мама, ни Неизвестный не возражали.

В один из сентябрьских дней мои друзья поехали со мной в мастерскую. Там нас ожидала моя племянница Юля младшая. Когда мы зашли в мастерскую, Юля оживленно что-то обсуждала с Неизвестным. Рядом с ней стоял ее друг, утопающий в бороде, — кинодраматург Игорь Ицков. Она нас не предупредила о его появлении, и оно вызвало смутную тревогу. Все мы хорошо знали, что работу в кино он совмещает с сотрудничеством в совсем другой организации. Я засомневался, но ничего не сказал — не выгонять же его.

События последних месяцев, предупредительная помощь управляющего делами Совета Министров сделали нас благодушными, притупили бдительность. Как-то забылись «профилактические» беседы со мной, с Эрнстом Иосифовичем, исчезновение Церетели, предупреждения и намеки.

Неизвестный демонстрировал модели, рассказывал об отброшенных вариантах, о находках и решениях. Всем нравилось. Ицков спросил об идее, заложенной в надгробие.

— В основе самой жизни в философском смысле лежит противоборство двух начал, — привычно вещал Неизвестный, — светлого — прогрессивного, динамичного, и темного — реакционного, статичного. Одно стремится вперед, другое тянет назад. Эта основная идея развития бытия очень хорошо подходит к образу Никиты Сергеевича. Он начал выводить нашу страну из

мрака, разоблачил сталинские преступления. Перед всеми нами забрезжил рассвет, обещавший скорый восход солнца. Свет стал разгонять тьму.

Такой подход позволит лучше понять основные идеи надгробия. Главный компонент — белый мрамор, его динамичная форма наступает на черный гранит. Тьма сопротивляется, борется, в том числе и внутри самого человека. Не зря голова поставлена на белую подставку, но сзади сохраняется черный фон. В верхнем углу на белом — символическое изображение солнца. Вниз от него протянулись лучи. Они разгоняют тьму. Голова цвета старого золота на белом не только хорошо смотрится, но это и символ — так римляне увековечивали своих героев. Все покоится на прочном основании бронзовой плиты. Ее не сдвинуть. Не повернуть вспять начавшийся процесс.

В плите слева, если смотреть от стелы, отверстие в форме сердца. Там должны расти красные цветы, олицетворяющие горение, самопожертвование. Тут же надпись «Хрущев Никита Сергеевич», с другой стороны даты рождения и смерти. И ничего больше, никаких пояснений. Все лаконично и величественно. Помните надпись на могиле Суворова: «Здесь лежит Суворов». И все. Никаких полководцев, фельдмаршалов, орденов.

Впервые Эрнст Иосифович так подробно объяснял замысел посторонним. Обычно он ограничивался общими словами о добре и зле, жизни и смерти. Позже, в трудные времена, он оправдывался: «Ты привел своих друзей. Я думал, можно говорить все».

Вскоре после демонстрации наша деятельность на некоторое время приостановилась. Неизвестный давно собирался в Польшу, поездка была частной, по приглашению, и все откладывалась. Сейчас трудно себе представить, каких трудов стоило ему оформление. Наконец разрешение было получено, и в конце года он мог отбыть. Польские друзья, к которым он ехал, предусмотрели широкую программу. Вернуться он намеревался лишь в будущем году, к концу зимы.

Особого беспокойства вынужденный перерыв не вызывал — работа практически завершена. Даже хорошо — за это время все устроится, можно будет взглянуть на проект свежим взглядом. А там получим последнее разрешение и — на завод.

В Польше Эрнст Иосифович хотел устроить небольшую выставку своих работ. В то время об официальном разрешении нечего было и думать. Он решил захватить с собой только гравюры. Они привлекали меньше внимания и занимали относительно немного места. Возникла проблема, как их довезти, не повредив.

Порывшись на чердаке на даче, я нашел огромный чемодан. В нем когда-то хранилось отцовское обмундирование, аккуратно убранное туда мамой после окончания войны. Сейчас он опустел… Этот чемодан я отдал Неизвестному. Гравюры хорошо ложились на дно, не мялись, и сам старый, обтянутый брезентом твердый чемодан с кожаными ремнями ему очень понравился. Кроме того, импонировало отправиться в дорогу с хрущевским чемоданом.

Наконец Эрнст Иосифович уехал, работа замерла, и я лишь изредка справлялся по телефону мастерской о новостях из Польши. В конце января — начале февраля Неизвестный вернулся. Он был полон впечатлений. Принимали его тепло. Выставка гравюр прошла с успехом. Он подарил ее устроителям.

На границе произошел курьезный случай. Чемодан своим необычным видом и размерами привлек внимание таможенника.

Ничего недозволенного Неизвестный не вез, но из-за гравюр волновался. Разрешение на вывоз работ брать не стал. Мы опасались, и не без оснований, что начнется волокита, согласования и в результате последует отказ. Теперь же гравюры могли задержать.

Таможенник без особого рвения перебрал лежащие в чемодане вещи, добрался до гравюр, на лице его явно читалось недоумение. С таким художественным стилем ему, видимо, сталкиваться не приходилось. Посмотрел один, два, три листа, десять. Недоумение нарастало, он не знал, что делать.

— Что это? Чьи рисунки? — наконец спросил он.

— Это мои рисунки, — небрежно отозвался Неизвестный, — я сам рисую.

— Понятно, — с облегчением захлопывая чемодан, ответил таможенник, — можете следовать.

За время отсутствия Неизвестного многое изменилось. Кто и как комментировал откровения Эрнста Иосифовича, кому и что доложил Ицков, я не знаю. Одно не вызывало сомнений: реакция начальства стала резко отрицательной. Ее довели до сведения всех причастных к сооружению надгробия Хрущеву. Одни мы оставались пока в неведении и рассчитывали в новом, 1973 году закончить работу.

Пришло время получать визу в ГлавАПУ. Сначала мы пошли по «низам», в отдел, где обычно ставят на проект штамп «Разрешаю». Эрнст Иосифович знал здесь все входы и выходы. Его знакомая дама повертела наши бумаги, повздыхала, посочувствовала и сказала, что без рассмотрения работы на заседании художественного совета не обойтись. Она записала нас в очередь.

Наступил день совета. Обстановка куда помпезнее, чем в Художественном фонде, — огромный зал, огромный стол, множество людей. Мы приехали заранее. Хотелось осмотреться, расположить макет поудачнее. Он привлек всеобщее внимание. Без сомнения, многие из присутствующих пришли специально на «Неизвестного и Хрущева». Когда члены совета заходили в зал, они мельком оглядывали представленные работы. Вдруг взгляд натыкался на знакомый образ. Они оживлялись, выражение лица становилось заговорщицким, кое-кто оглядывался. Главный архитектор Москвы Михаил Васильевич Посохин, выдвиженец отца, отсутствовал, и, думаю, не случайно. Совет предстояло вести его заместителю Дмитрию Ивановичу Бурдину.

Заседание началось. Поначалу обсуждались проекты памятных мемориальных досок на домах. Все зевали, глазели по сторонам, как обычно бывает на подобных собраниях. Постепенно очередь дошла до нас.

Бурдин коротко представил работу. Следом выступил Неизвестный. Мы, конечно, предполагали, что с членами совета уже проведена необходимая работа. Доложив, Эрнст Иосифович ответил на многочисленные вопросы. Затем началось обсуждение. Я впервые был на таком сборище и потому очень волновался.

Все сходились в одном — проект очень интересен, но не ясна символика сочетания черно-белых цветов.

— Такой контраст, — отмечал скульптор Цигаль, — разбивает композицию, свидетельствует о недостаточном вкусе автора. Не лучше ли сохранить форму, но заменить материал на серый гранит? И… может быть, выровнять резкие углы.

Неизвестный сидел молча, глядел в пол и сопел. С Цигалем они вместе учились, но творческие пути развели их по разным лагерям. Я от всего этого потока слов просто растерялся, дернулся что-то вставить, но Эрнст Иосифович прошипел:

— Молчи, еще не то будет.

Слово взял следующий оратор. Ему казалось, что предлагаемый памятник высоковат. Он будет давить на зрителя. Выступавший рекомендовал уменьшить высоту с двух метров тридцати сантиметров до двух метров десяти сантиметров.

Я ничего не понял, но у меня возникла твердая ассоциация с высотой дверных проемов в жилом доме.

Спектакль продолжался. На трибуне — новый член совета. Его тоже беспокоила черно-белая гамма. Предлагалось иное решение: красный порфир — символ революции, революционного прошлого Хрущева. Залу идея понравилась. Ее поддержали и другие выступавшие, но с дополнением — хорошо бы увеличить размер раз в пятьдесят. В этом случае надгробие, вернее, не

надгробие, а циклопическое сооружение, очень выигрышно смотрелось бы на большой городской площади. Автор предложения не уточнил, на какой.

Среди этой разноголосицы прозвучало предложение поставить бюст на стеле, как у Кремлевской стены. Кто автор этого предложения — не помню. Я тогда не придал ему особого значения. Вскоре выяснилось, что это не случайная идея. Долгое время ее мусолили в разных кабинетах, она нравилась чиновникам своей стандартностью.

В результате «подробного и всестороннего обсуждения» проект утвержден не был. Не помогло и мое выступление, ссылки на Нину Петровну, на семью. Решение звучало: «Вернуть автору на доработку, с учетом высказанных замечаний, и после переработки рассмотреть повторно».

Мы упрятали макет в сумку и, понурые, поехали в мастерскую. Там нас ждали друзья, но порадовать их было нечем.

Эрнст Иосифович мастерски, с юмором пересказывал выступления ораторов на заседании, комментировал их, но что делать дальше — не знал. Кто-то предложил написать Брежневу. Я вспомнил свою неудачную попытку общения с ним в 1968 году, и предложение отставили.

Мы недоумевали, старались отыскать причину такого резкого поворота в отношении к проекту. Кто-то вспомнил, что в западной прессе появились заметки о памятнике. Там якобы говорилось, что черно-белое сочетание отражает противоречие в нашем обществе и противоречивую роль самого Хрущева в процессе демократизации в Советском Союзе. И еще что-то подобное. Откуда и как туда попала информация, сказать трудно. Проект видели уже многие, интерес к нему был велик. Словом, мы разошлись, так ничего и не придумав.

Со следующего дня я стал звонить в высокие инстанции, но и там отношение изменилось. Раньше дозвониться до управляющего делами Совмина было непросто, но вполне реально. Сейчас же Смиртюков стал неуловим. То он у Косыгина, то обсуждает пятилетку, то еще где-то. В ГлавАПУ то же самое: то Посохин вышел, то не вошел. Бурдин же только уныло убеждал меня в необходимости переделать проект. Я не соглашался, зная по опыту, что стоит только уступить — и от памятника не останется и следа.

Моих собеседников больше всего волновало сочетание белого и черного, они выискивали, что за этим кроется. Видимо, в душе каждый придумывал свой вариант, один страшнее другого.

Как-то я в сердцах сказал Бурдину:

— Вы считаете, что черный цвет олицетворяет Брежнева? Вот

глупость! Памятник ставится навсегда. Если принять вашу трактовку, то что же мне делать с памятником, когда Брежнев умрет?

Бурдин промолчал. Он ничего не мог поделать. Решения принимались в другом месте.

Неизвестный пал духом, однако, хотя и медленно, работа продолжалась. К нашему неудачному дебюту на совете камень и плита были проработаны основательно. К голове он пока не приступал, не желая понапрасну тратить силы.

И все же мне удалось убедить его начать работу над портретом. Сразу возникли трудности. В первые часы после смерти отца из-за растерянности я не подумал о посмертной маске. Теперь лепить приходилось по фотографиям.

Эрнст Иосифович поначалу, казалось, нашел выход. Он вспомнил, что у президента Академии художеств Николая Васильевича Томского будто бы есть бюст Хрущева, сделанный с натуры.

— При всем моем неприятии творчества Томского нельзя не признать, что он отличный портретист. Если он лепил с натуры, то бюст можно использовать вместо оригинала, — сказал Неизвестный.

Я разубеждал его, поскольку не помнил, чтобы кто-то лепил с натуры бюст отца. Тем не менее я позвонил Томскому. Говорить он со мной не стал. Только референт сухо ответил:

— Да, бюст у нас есть, но это собственность Министерства культуры. Без их санкции он никому выдан быть не может.

Неизвестный, выслушав рассказ о моих переговорах, пробурчал:

— Обойдемся без них, будем работать по фотографиям.

В безрезультатной борьбе с инстанциями прошел весь 1973 год и наступил 1974-й. Мама нервничала, я ее успокаивал: «Еще одна последняя ступенька, еще один последний звонок…» Но звонок оказывался не последним, а за ступенькой ждала следующая… Настроение падало с каждым днем: и Бурдин, и Моссовет, и Совмин сошлись в одном — делать бюст на стеле. Этот вариант устраивал всех, кроме нашей семьи. Надгробие получалось безликим, ничего не выражающим, что кое-кому и требовалось. Я выдвинул новый контраргумент: раз платит не государство, а семья, последнее слово за нами. Мы бюст на стеле не одобрим никогда.

Создавалась патовая ситуация, как в шахматах.

Поползли слухи, что Моссовет хочет взять расходы на себя, а это означало, что они получат решающий голос. Я упорно настаивал на повторном рассмотрении на художественном совете.

Бурдин не выдержал и пообещал утвердить проект.

Опять мы сидим в том же зале, с тем же макетом.

Бурдин сдержал слово. Стиль обсуждения изменился. Выступающие признавали, что после доработки проект можно утвердить с замечаниями. До начала заседания ни о каких замечаниях речи не было. Они появились в последний момент и превращали решение в бесполезную бумажку.

Окончательный текст решения гласил: «Учитывая настойчивые просьбы семьи Никиты Сергеевича Хрущева, художественный совет Главного архитектурно-планировочного управления Мосгорисполкома утверждает представленный автором Неизвестным Э. И. проект надгробия Н. С. Хрущеву. Однако, со своей стороны, художественный совет рекомендует рассмотреть вариант стенки из серого гранита меньшей высоты. Кроме того, художественный совет считает более целесообразным вместо предложенного проекта в качестве надгробия сделать бюст на стеле».

Я считал, что мы победили — есть слово «Утверждаю». Неизвестный был настроен скептически и оказался прав. Никто этого решения не признавал. Более того, пока мы спорили, художественный совет Художественного фонда аннулировал свое положительное решение. Было из-за чего опустить руки.

Я пытался поймать Посохина — он прятался. Наконец я пошел к нему домой. Этого он не выдержал.

— Не имеет значения, нравится мне проект или нет. Пока не будет команды сверху, я ничего утверждать не стану. Не подпишу ни одной бумаги! — категорически заявил он.

Круг замкнулся…

Пришла беда, открывай ворота: на пост начальника главка, ведающего кладбищами, пришел новый человек — отставной полковник, бывший начальник лагеря на Севере. Фамилию я его не запомнил. Он одним махом отменил прежнее решение об увеличении участка под памятник. Я просидел полдня в его приемной, пока наконец он меня соблаговолил принять и грубо отказал.

Я позвонил в Моссовет Быкову. Он удивился самоуправству и тут же вызвал к себе начальника управления. Я тоже пришел. Пяти минут хватило на восстановление справедливости, вопроса об уменьшении участка больше не существовало. Валентин Васильевич Быков оказался единственным человеком, не изменившим своего мнения, не отказавшимся от своих слов.

Окончательно стало ясно, что на этом уровне решения не найти. Оставалось пробиваться на самый «верх».

Я предложил начать с Гришина. Он — первый секретарь

Московского Комитета партии, много лет проработал бок о бок с отцом, часто бывал у нас дома.

Неизвестный узнал телефон, и я на удивление быстро дозвонился до помощника Гришина Юрия Петровича Изюмова. Он обещал доложить. Через неделю последовал ответ:

— Мы этими вопросами не занимаемся. Это дело Моссовета и ГлавАПУ, с одной стороны, и управления делами Совета Министров — с другой. Мы ничем помочь не можем. Обращайтесь туда.

До Неизвестного дошел слух, видимо, специально предназначенный для наших ушей, что якобы Гришин в беседе с помощником сетовал на свое бессилие в этом деле.

— Если бы у меня было другое положение, я, конечно, разрешил бы. Сейчас сложилась ситуация, в которой я ничего сделать не могу, — оправдывался он.

Отказ нас окончательно обескуражил. Кроме как самому Брежневу, звонить больше было некому.

Крайне неохотно я взялся за это дело. Но другого пути не видел.

Оказалось, что с 1968 года, когда я последний раз общался с секретариатом Генерального секретаря, все телефоны поменялись. Поиски номера телефона заняли почти месяц. Дозвонившись в секретариат, я изложил свое дело. Мне посоветовали обратиться к помощнику Леонида Ильича — Георгию Эммануиловичу Цуканову и дали номер его телефона. Опять последовали многократные безуспешные попытки. Не помню, на какой раз мне повезло и я наконец услышал в трубке барственный голос:

— Я вас слушаю…

— Товарищ Цуканов, здравствуйте, — заволновался я. — Вас беспокоит Хрущев Сергей Никитич по вопросу сооружения памятника моему отцу. Все дело застопорилось. Уже год мы бьемся и ничего решить не можем. Осталась одна надежда — на помощь Леонида Ильича.

— Я не понимаю, зачем вы звоните мне? Этим занимается Управление делами Совмина. Звоните туда. — Голос звучал крайне недовольно.

— Я год пытаюсь решить этот вопрос с ними, но никакого толку добиться не могу. Только поэтому я решил обратиться к вам, — заторопился я, понимая, что дело мое лопнуло.

— Вы думаете, у нас нет более важных вопросов? Этим делом мы не занимаемся и заниматься не будем.

— Но кто же может мне помочь?…

В трубке послышались гудки отбоя…

Теперь стало окончательно непонятно, что делать дальше. Обращаться выше? Выше оставался только Господь Бог…

Кончался март 1974 года.

Мне очень не хотелось втягивать в эти хлопоты маму. Не хватало ей на старости лет выслушивать грубые ответы. Но другого выхода не оставалось. Я вкратце рассказал ей о сложившейся ситуации. Она выслушала меня на удивление спокойно.

— Я давно говорила тебе, что пора мне вмешаться. Хорошо, я позвоню Косыгину.

Я не очень верил в положительный результат, слишком много разочарований пришлось испытать на этом пути. Косыгина долго добиваться не пришлось. Узнав, кто звонит, секретарь сказал, что Алексей Николаевич занят, спросил номер телефона и пообещал соединить при первой возможности. Через полчаса раздался звонок.

— Нина Петровна? Говорит секретарь Косыгина. Соединяю вас с Алексеем Николаевичем…

Косыгин был так же внимателен, как и десятилетие назад. Осведомился о здоровье, посетовал на годы.

— Я вас слушаю, Нина Петровна, что случилось? — перешел он к делу. Мама коротко рассказала о наших бедах. Косыгин, не перебивая, слушал.

— А вам самой этот проект нравится? — задал он единственный вопрос.

— Да, нравится, иначе бы я не звонила.

— Хорошо. Я поручу с этим разобраться. Ваши телефоны мы знаем. Вам позвонят.

Он любезно попрощался.

Мама позвонила мне на работу и рассказала о состоявшемся разговоре. Окрыленный, я решил немедленно ехать к Неизвестному с радостной вестью. Однако как только положил трубку, раздался новый звонок. Меня разыскал заместитель начальника хозяйственного управления Совмина и попросил срочно доставить рисунок памятника для доклада Косыгину. Машина завертелась.

Через день цветной рисунок лежал в хозяйственном управлении на столе у начальника Леонтьева. Он его долго рассматривал, вертел так и этак, потом сказал:

— Товарищ Посохин представил нам свой вариант надгробия — бюст на стеле по аналогии с памятниками у Кремлевской стены. Мы доложим все-таки оба варианта.

Он показал мне небольшой листок из блокнота с небрежным наброском тушью схемы стелы с бюстом. Я начал возражать,

привел все свои аргументы. Они не подействовали.

— Ну что же, посмотрим. Доложим оба варианта и сообщим вам результат, — подвел итог Леонтьев.

Началось томительное ожидание. Прошла неделя. Тишина. Я не выдержал, позвонил в хозяйственное управление.

— Алексей Николаевич еще ничего не смотрел. Как только доложим, мы вас известим, — ответили мне.

Опять ожидание. Прошла еще неделя.

Мне запомнился тот теплый солнечный апрельский день. Телефонный звонок застал меня на работе. Это был начальник отдела из хозяйственного управления, который занимался моим делом.

— Алексей Николаевич рассмотрел проекты. Мы бы просили вас подъехать.

— А что он сказал? — не удержался я.

— По телефону я сказать ничего не могу. Приезжайте.

Моя контора располагалась в районе Университета, между проспектами Ленинским и Вернадского, ближе к Ленинскому, и добраться в тот день на улицу Разина (Варварка) оказалось необычно сложно. Кого-то в очередной раз встречали, и в ожидании торжественного кортежа Ленинский проспект уже начали перекрывать. Пришлось пробираться закоулками. Наконец я доехал и буквально вбежал в ставший мне уже знакомым кабинет начальника отдела хозяйственного управления…

— Поздравляю вас! — встретил меня его хозяин. — Пойдемте к товарищу Леонтьеву. Он ждет.

Леонтьев рассказал подробности доклада у Косыгина:

— Алексей Николаевич рассмотрел проект и дал команду о сооружении памятника. Он считает: если семья одобрила его, то незачем Управлению делами или еще кому-то вмешиваться. Мы уже позвонили товарищу Посохину. Созвонитесь с ним, он даст все нужные распоряжения. Будут заминки или понадобится помощь — не стесняйтесь, звоните. Поможем.

— Нужно написать письмо в Министерство культуры РСФСР о выделении бронзы, — вспомнил я.

— Сделаем немедленно. Скажите только, какая должна быть форма письма.

— Еще надо дать указание заводу, — лихорадочно перебирал я в уме наши проблемы.

— Дадим сегодня же.

Было видно, что Леонтьев рад такому исходу дела. Источник наших неприятностей находился в другом месте.

Вернувшись на работу, я первым делом набрал телефон Посохина. Секретарша, все последние месяцы не знавшая, как от

меня отделаться, на сей раз обрадовалась мне как родному:

— Как чудесно, Сергей Никитич, что вы позвонили! Михаил Васильевич вас разыскивает, каждые пять минут спрашивает. Мы никак не можем до вас дозвониться! Сейчас я вас соединю. На всякий случай позвольте записать номер вашего телефона.

Посохин был сама доброжелательность:

— Здравствуйте, Сергей Никитич! Я все уже знаю. Поздравляю вас! Мне звонили из Совета Министров. Мы немедленно утвердим ваш проект!

— Когда собирается совет?

— Что вы! Никакого совета не нужно. Сегодня же поставим печать. Когда вы можете приехать?

— Сейчас. Синьки со мной.

— А нельзя ли поставить печать на тот рисунок, который был у Алексея Николаевича? — замялся Посохин.

Меня стал разбирать смех.

— Нельзя, — строго ответил я, — нужно иметь несколько экземпляров: вам, Художественному фонду, заводу, мне. Никак нельзя. Тем более что на рисунке не проставлены размеры, а на синьках они есть. Опять возникнут недоразумения, какая должна быть высота — два тридцать или два десять.

Посохин минуту помолчал.

— Ну приезжайте, я жду…

В приемной у Посохина было многолюдно. Присутствующие кинулись ко мне с поздравлениями. Многие и раньше сочувствовали мне, памятник им нравился. Теперь же им восхищались все поголовно. Я двинулся было к двери кабинета Посохина, но секретарша вежливо, но решительно остановила меня.

— Сергей Никитич, вам нужно пройти к начальнику отдела, — она назвала фамилию, — он все подпишет.

— А разве… не Михаил Васильевич? — искренне удивился я. — Мы только что с ним разговаривали.

— Нет, нет. Он уже дал все команды, — оттесняла она меня от двери. Видно, Посохин, покуда я ехал, передумал и свою подпись решил не ставить.

На всякий случай.

И вот у меня в руках синьки с долгожданной печатью ГлавАПУ, штампом «Утверждаю» и подписью. Я позвонил Неизвестному. Радость его не знала границ.

— Приезжай немедленно. Расскажи все в деталях, — потребовал он.

Когда я закончил рассказ, на душе было ощущение праздника. Эрнст Иосифович довольно улыбался.

— Теперь главное — не расхолаживаться, — встрепенулся он. — Нужно торопиться, торопиться и торопиться! Мы должны успеть поставить памятник, пока опять что-нибудь не изменилось.

Жизнь преподала ему немало горьких уроков. Он знал, что говорил.

В тот же день мы поехали ко мне домой, отобрали фотографии отца. Еще через пару дней форматоры сделали заготовку для головы. Когда я пришел в мастерскую поглядеть, как идет работа, то поначалу очень удивился — передо мной стояла голова Ленина. Эрнст Иосифович рассмеялся.

— Для начала работы годится любое изображение — нужны уши, нос, глаза, рот и тому подобное. Дальше вступаю я, буду делать голову Хрущева. Форматоры так набили руку на бюстах Ленина, что его вылепить им проще всего.

Работа спорилась. Голова все больше становилась похожей на отцовскую, но Неизвестного не удовлетворяла.

— Портрет Никиты Сергеевича должен быть очень и очень похожим. На других надгробиях я допускал некоторую стилизацию, здесь же он должен быть чисто реалистическим, я бы сказал, даже натуралистическим, — повторил он уже слышанные мною слова.

Ему долго не удавался разрез глаз, нижняя часть лица. Наконец голова в глине обрела знакомые очертания. Последние придирчивые осмотры. Мы оба уже привыкли, сжились с портретом, требовался свежий глаз.

Собрали свою, домашнюю «комиссию». Приехали мама, Рада, Юля младшая. Рядом со скульптурой поставили фото отца. Сравниваем снова и снова. Все одобрили.

Работа окончена. Пришла пора передавать ее на завод.

Поехали в Мытищи. Директор любезен, но непреклонен: «Где решение совета Художественного фонда?!» Я попытался подсунуть старое решение, но трюк не удался. Вернулись в Москву ни с чем. Пришлось звонить в Художественный фонд. Директор оказался в отъезде, и трубку взял заместитель.

— Вы по вопросу изготовления надгробия Хрущеву? А у вас есть решение об установке? — забеспокоился он.

— Есть положительное решение ГлавАПУ, — гордо ответил я.

— Ну если так, поставим вопрос на совете, — успокоился мой собеседник. На этот раз совет повел себя не столь благожелательно, как прежде. Особых

придирок не высказывали, но все чего-то побаивались. Вдруг стали обсуждать стоимость — проект не укладывался в отведенные государством три тысячи. Чувствовалось подспудное опасение членов совета: коли отвели три тысячи, значит, знали,

что делали, а тут — дороже. Нет ли подвоха? Как бы не утвердить что-то не то. Следом усомнился председатель: ему захотелось посмотреть голову в натуре — мало ли что может придумать этот Неизвестный.

Постановили: утвердить условно, окончательно решить после посещения мастерской для осмотра головы в натуре.

Через две недели в мастерскую приехали члены совета. Голова, сделанная в лучших реалистических традициях, им понравилась. «Вот, может ведь, если захочет», — читалось на их лицах. Эрнст Иосифович принимал поздравления.

Итак, все мыслимые советы пройдены, надо начинать собственно изготовление. На завод позвонили из Совмина. Работу приняли вне очереди.

В производстве возникли трудности. «Плиту 2,5 х 2,5 метра качественно отлить невозможно, — сказали технологи. — Надо ее разделить на четыре части, а потом сварить».

Подумали и решили делать плиту не единую, а разбить на четыре, оставив зазоры между ними, иначе следы сварки со временем проявятся, да и от теплового расширения, вызываемого перепадом зимних и летних температур, цельная плита может покоробиться.

В день моего сорокалетия, 2 июля 1975 года, заложили на кладбище фундамент под памятник. Сделали его на совесть: откопали яму почти до гроба и все, укрепив стальной арматурой, залили бетоном. Та же бригада взялась за установку памятника. Необходимую технику выделило хозяйственное управление Совета Министров. Все делалось как по мановению волшебной палочки, и понемногу мы стали забывать о своих недавних мытарствах.

…Солнечный, но уже прохладный августовский день 1975 го да. Мы приступали к завершению нашего четырехлетнего труда — установке надгробия.

С утра мы с Неизвестным поехали на завод в Мытищи встречать машину. Условились на десять часов. Десять часов — машины нет, одиннадцать — нет. Мы забеспокоились, умом понимая, что задержка чисто техническая, и все же уже забытый страх ожил: неужели все началось опять?

Наконец машина появилась. Выяснилось, что по дороге сломалось колесо, его пришлось менять.

И вот камни погружены. За плитами приедут следующим рейсом. Голову бережно укладываем в мои «Жигули». Через час с небольшим приехали на Новодевичье кладбище. Там уже ждал кран. Рядом прохаживался товарищ из Совмина. В первый день монтаж решили не начинать. Камни и бронзу сложили рядом с

фундаментом до завтра. Голову отвезли в мастерскую.

И вот настал день монтажа. Погода не подвела, солнце светило как по заказу. Кран бережно подхватил первую бронзовую плиту.

Вокруг нас суетились иностранные корреспонденты, фотографировали каждый шаг. Представителей советской прессы, как и на похоронах, не было. Неизвестный обратился к журналистам с просьбой ничего не публиковать до окончания работ. Мы хотели застраховаться от любых случайностей.

Кладбище тогда еще было открыто для свободного посещения, у могилы собралась внушительная толпа. Нашли канат, отгородили место работ. То и дело приходилось загонять за него не в меру любопытных. Наконец последняя операция — установка головы. Закатное солнце ярко освещало памятник.

Неизвестный взял голову, подошел к камням. Ниша по его росту оказалась расположенной слишком высоко. Нашли какой-то ящик. Он забрался на него и — торжественный момент — голова установлена. Работа закончена!..

Фотография с Неизвестным, стоящим на ящике, обошла все газеты мира.

Оставался последний штрих: площадку вокруг памятника засыпали песком. Высыпали целую машину. Впрочем, посетители унесли весь песок на подошвах.

Мы тепло поблагодарили за помощь представителя Совмина. Видно было, что и он доволен. Да и правду сказать, он очень старался.

— Я могу передать, что у вас нет замечаний? — спросил он на прощание.

— И огромную благодарность! — с полным на то основанием ответил я.

К этому времени пространство вокруг могилы заполнилось людьми: собрались мои друзья, друзья Неизвестного, просто знакомые и незнакомые. Все были возбуждены, смеялись, поздравляли Эрнста Иосифовича и меня вместе с ним. Словом, праздник!

Официальных лиц не было. Пришел только один член художественного совета — Цигаль. Обошел памятник со всех сторон, поздравил Неизвестного, но не удержался:

— Ты все-таки не учел нашего пожелания уменьшить высоту.

Камень выдержали в размерах проекта, но Эрнст Иосифович не спустил замечания:

— Нам пришлось даже несколько поднять высоту по сравнению с прикидками.

На этом они разошлись.

— Пора расплачиваться, — весело обратился я к Неизвестному. — В договоре оговорен гонорар, и вручен он должен быть по завершении работ.

Когда мы познакомились и начали переговоры, Неизвестный отказывался от денег. Однако, поразмыслив, он согласился, что бесплатная работа может быть расценена как некая демонстрация. Мы оговорили сумму гонорара.

— Что же, работа сделана большая, и деньги я заработал честно, — в тон мне ответил Неизвестный, пряча конверт с деньгами. — Теперь приглашаю отметить это событие.

Мы отправились в «Националь». Импровизированный банкет завершил этот счастливый день.

На следующее утро мы снова пришли на кладбище. Вокруг памятника стояла толпа людей. Вся плита завалена осенними цветами. Люди обсуждали, спорили, фотографировали…

…И по сей день вокруг памятника много споров: одним он нравится, другие активно против. Но главное — никто не остается равнодушным. Мы добились цели — на могиле незаурядного человека встал столь же незаурядный монумент. Многие заходят сбоку в поисках авторской подписи. Иногда возникает недоумение:

— Автор Неизвестный, почему он пожелал сохранить свое имя в тайне? Другие поясняют:

— Это фамилия — Неизвестный.

Больше всего вопросов вызывает сочетание белого и черного. Когда меня спрашивают, я, как правило, не пересказываю замысел автора.

— Каждое настоящее художественное произведение живет своей жизнью, и вы видите в нем себя, оно отражает ваши мысли, — говорю я как заправский искусствовед. — Думайте и смотрите.

Мнений много: добро и зло, жизнь и смерть, удачи и неудачи в судьбе Хрущева. А одна женщина объясняла:

— Белое — это хорошие дела, черное — плохие. Что ж, каждый из них по-своему прав.

Много разговоров вызвал бюст. Замысел автора остался непонятным большинству. «Голова как отрубленная», — говорят многие.

Не получил одобрения у первых посетителей и цвет старого золота. Впрочем, это уже прошлое. Время распорядилось цветом. Сейчас голова почти черная, а плита сероватая.

Мне кажется, что усилия и Неизвестного, и мои, и всех, кто нам помогал, не прошли даром, и отцу установлено надгробие, достойное его имени и его непростой жизни.

Хотя мы стремились закончить установку памятника к годовщине смерти отца, в наши планы не входила церемония официального открытия. Мы не хотели раздражать власти — всякие речи неизбежно вызовут резонанс, привлекут к памятнику ненужное внимание. Наученные горьким опытом, мы не брались предсказать, чем это может кончиться. Приказом снести памятник? Жизненный опыт говорил, что это предположение не так уж абсурдно. Более вероятными были неприятности для тех, кто нам помог — думаю, не исключая и Алексея Николаевича Косыгина.

Мне вспомнились слова Евтушенко: «В молчании есть что-то более значительное», — и я решил последовать его рекомендации. Однако жизнь распорядилась иначе.

В годовщину смерти мама собиралась прийти на кладбище попозже, после закрытия, когда посетители разойдутся и можно тихо постоять у могилы. 11 сентября 1975 года было пасмурно, холодно, временами шел дождь. Когда мы подъехали к воротам кладбища, там собралась большая толпа. К тем, кто каждый год в этот день приходил почтить память отца, на сей раз добавились и незнакомые его почитатели, иностранные корреспонденты.

К машине подбежал Женя Евтушенко. Он открыл дверцу, бережно поддержал под локоть маму, помог ей выйти. Раскрыл над ней большой зонт. Все время он держался рядом с ней, в центре внимания. Тихонько спросил меня:

— Кто будет говорить?

Видимо, отказ от выступления четыре года назад не давал ему покоя, и теперь он хотел исправить свою ошибку. Но мы не хотели ни митинга, ни речей. Тем не менее у памятника он сказал несколько теплых слов об отце.

Вспыхивали блицы, нас фотографировали иностранные корреспонденты, но вопросов не задавали — момент был не подходящим для интервью. Через полчаса мы разошлись. За спиной в темноте остался заваленный цветами памятник.

Когда через несколько дней мы встретились с Неизвестным, он рассказал, что его посетила делегация бывших заключенных сталинских лагерей. Они пытались вручить ему собранные ими деньги в знак благодарности за памятник. «Мы установили дежурство у памятника. Каждый день меняем цветы», — рассказывали они Неизвестному.

Какой-то армянский скульптор положил к подножию памятника сделанный им мраморный лик отца, сопроводив свое подношение трогательной запиской.

Ежедневно у памятника собиралась огромная толпа. Она то растекалась вокруг, то сжималась. То тут то там вспыхивали

жаркие споры. Равнодушных не было.

Это, конечно, не прошло мимо внимания тех, кто по долгу службы должен знать все. Оправдывались «мрачные» прогнозы — памятник всколыхнул, поднял на поверхность интерес к Хрущеву. Возродил затухнувшие было воспоминания о бурных шестидесятых. Теперь они объединились — Хрущев и Неизвестный, — и слава одного поддерживала, подсвечивала славу другого.

Долго этого терпеть не могли. Новодевичье кладбище закрыли для посетителей «в связи с ремонтом». Так оно и простояло «на ремонте» более десяти лет. С конца 1980-х годов запрет снят, по кладбищу водят экскурсии, незнакомые люди приносят на могилу отца живые цветы…

Глава восьмая
Вдовий дневник

Казалось бы, мой рассказ завершен, но я решил добавить еще одну главу — мамин дневник, она начала вести его после смерти отца. Я уже упоминал о толстой грязно-желтой общей тетради, исписанной маминым твердым, даже жестким, угловатым почерком. Писала она лаконично, сухо, строго. Так, как ей представлялось важное в жизни. Она не терпела сюсюканья, продолжала руководствоваться идеалами и принципами революционерки, целиком отдавшей себя борьбе за счастье людей, что, впрочем, не мешало ей заботиться о семье, с радушной улыбкой принимать гостей, хлопотать вокруг подрастающих внуков.

Кое в чем ее записи повторяют мой рассказ. Это естественно, ведь говорим мы об одном и том же, только мама пишет по горячим следам, а я принялся за книгу через пару десятилетий после смерти отца. Поэтому в ее тексте больше деталей и больше сиюминутностей, которые стираются с годами. Там, где мама обращается к прошлому, память ей порой не то что изменяет, но временные границы налезают одна на другую, события разных лет сливаются воедино. Например, она пишет, что инфаркт у отца случился после его разговора с Кириленко, хотя разговор состоялся в апреле 1968 года, а инфаркт произошел 29 мая 1970 года. Есть и другие неточности. Но я мамин текст изменять не стал, тем более что эти погрешности — редкое исключение из правил.

Открывается дневник краткой справкой о детях, а затем следуют регулярные записи.

Итак, «Вдовий дневник».

Рада (рождения 1929 года) кончила факультет журналистики Московского университета и пошла работать в журнал «Наука и жизнь». Обнаружила, что нужны более глубокие научные знания, пошла учиться на вечерний факультет биологии Московского университета. За это время родила 3-х сыновей: Никиту, Алешу и Ваню.

Жили мы на даче в Огарево, что на Успенском шоссе, рядом с деревней Усово, были няньки, хорошее медицинское обслуживание, растить детей легко было.

Алексей Иванович Аджубей работал редактором «Комсомольской правды», затем до 1964 г. — «Известий».

Славился как способный журналист и организатор. Был членом ЦК и депутатом Верховного Совета СССР.

Сергей Никитич (рождения 1935 года) кончил Энергетический институт, женился на Галине Михайловне Шумовой, студентке того же института. Им устроили шумную свадьбу в Огареве, куда приезжали Ворошиловы и другие товарищи Никиты Сергеевича по Президиуму ЦК КПСС, собрались все родственники со стороны Гали.

Они стали работать по специальности в закрытых предприятиях (ящиках). В 1959 г. у них родился сын Никита и 1/XI 1974 г. — Сережа.

5/IV— 77 г. Сережа развелся с Галиной Михайловной.

Лена (рождения 1937 года) кончила юридический факультет Московского университета. Работала один год в уголовном розыске г. Москвы, затем в научно-исследовательском институте (экономики США), училась в аспирантуре. Диссертацию не защитила. Вышла замуж за Виктора Викторовича Евреинова и через 5 лет умерла (14/VII 1972 года) от красной волчанки.

Дочь Юлия Никитична Хрущева (Юля старшая) родилась 21 января 1916 года.

После школы училась на географическом факультете Московского университета, но ушла со 2-го курса, заболела тяжелой формой туберкулеза. После операции на легком ей наложили пневмоторакс, с ним она уехала в эвакуацию в 1941 году в г. Алма-Ата, где тогда работал ее муж Виктор Петрович Гонтарь. После войны она жила в Киеве (муж — директор театра Русской драмы, а затем — Оперного), училась на курсах Хозяйственного актива, до 1970 г. работала в лаборатории Института Богомольца.[79] Детей не имела. После переезда в 1950 г. всей семьи в Москву Юлия Никитична осталась с мужем в Киеве.

Юлочка (Юля младшая) рождения 22/1-1940 года, дочь погибшего на войне Леонида Никитича, росла с нами. Мать ее, Любовь Илларионовна Сизых, была несправедливо репрессирована в 1942 году и пробыла в сталинских лагерях до середины 50-х годов. После школы Юля пошла на факультет журналистики Московского университета, работала в Агентстве печати «Новости», затем в театре им. Вахтангова заведующей литературной частью. Неудачно выходила замуж в 18 лет, на II курсе университета за Николая Шмелева,[80] разошлась и вышла замуж за Льва Сергеевича Петрова[81] — журналиста АПН. Родила двух дочерей, Нину и Ксению. К сожалению, муж Лева рано умер от болезни почек (1970 г.).

Жили мы в Москве сначала на ул. Грановского, а

впоследствии в особняках (№ 36 и 40) на Воробьевском шоссе. Много времени занимали разные дипломатические дела — поездки, приемы. Дети росли без особого нашего внимания, учились хорошо, считалось, что все в порядке.

28 сентября 1971 года. Пошел 17-й день, как не стало Никиты Сергеевича. Хотела записать разные мелочи, пока не стерлось из слабеющей памяти. Умер Никита Сергеевич 11-го сентября, в субботу, утром, в 11 часов с минутами, в больнице, куда мы с Владимиром Григорьевичем Беззубиком[82] привезли его во вторник 7/IX.

Дома с понедельника на вторник ночью у него был сердечный приступ, с 2-х до 5 часов ночи. Сначала он сам себя лечил, ходил по дому, разбудил меня после 4-х часов. После приема таблетки нитроглицерина в лежачем положении боль в сердце отошла. Когда стал засыпать, я хотела погасить свет настольной лампы у кровати, — не велел. Сказал, что ему почему-то страшновато в темноте. Я сказала, что посижу в кресле, сидела примерно час. Н. С. уснул, даже всхрапнул, через какое-то время проснулся, погасил свет и велел мне уходить спать. Сказал, что все прошло, он тоже будет спать. Было уже светло, 6 часов утра. Я ушла, спросила, оставить ли дверь открытой. Ответил: «Как хочешь». (Перед тем в течение некоторого времени — $1^1/_2$ часа — 2 недели он сам оставлял дверь открытой, несмотря на свет из прихожей комнаты, на шум моих шагов, шелест газет и разные шумы. Тогда еще не топили, начались дожди, было холодно, но, может быть, он уже тогда начал бояться темноты, а сказать не хотел?)

Я поднялась в 8 часов и все боялась заглянуть к нему в комнату, чтобы не прервать сон. Зашла в 10–30. Проснулся, спросил время, бодрый, сказал, что хорошо выспался, пошел умываться. Вернулся из ванной опять с болью в сердце. Попросила лечь в постель, дала нитроглицерина, боль сразу не прошла. Позвонила доктору. Владимир Григорьевич сказал, что надо класть в больницу, что он приедет с сестрой и заберет его. Я говорю доктору, что надо же спросить Н. С., чтобы его не волновать неожиданно. Владимир Григорьевич согласился, ждал у телефона, пока я спрашивала. Н. С. сказал, что, пожалуй, стоит лечь в больницу, хотя и не хочется — последние хорошие дни осени, но что мы будем делать с тобой (со мной), если опять будет приступ ночью?

30 сентября. Владимир Григорьевич Беззубик (лечащий врач) приехал с сестрой из процедурной (не из скорой помощи) на обычной «Волге», Н. С. просил, чтобы ехать ему в сидячем, не в лежачем положении. Пока доктор ехал, Н. С. позавтракал в

постели, но не разрешил кормить себя в лежачем положении, а сел на кровать. Сказал, что положить в чемоданчик. Не велел класть халат, сказал, что в больнице хорошие халаты. Лежали на окошке три книги «Последняя глава» Голсуорси, велел взять, хотя сомневался, что это его заинтересует.

Одели его, опять заболело сердце, дали одну таблетку нитроглицерина, через короткое время — вторую, стало легче. Перед выездом сестра сделала инъекцию промедола, боль прекратилась.

Ехали на «Волге» (новой модели) вчетвером: впереди с водителем Н. С., сзади него Владимир Григорьевич, посередине сестра, слева — я. Перед уходом из дома Н. С. попрощался с Леной, с Аней Дышкант[83] (она потом плакала, почему не поцеловала его), у машины стоял Леонид Сергеевич — рабочий участка, тот попрощался издали, пожелал поскорее выздороветь. Дежурный Ладыгин Владимир Иосифович[84] ехал сзади на нашей машине, взял чемоданчик с вещами.

Ехали спокойно, Н. С. шутил с водителем, спросил, откуда он родом, рассказывал о И. А. Лихачеве.[85] Когда переехали мост через Москву-реку, посмотрел на колхозную кукурузу и стал возмущаться неправильным посевом: посеяли бы реже, получили бы больше, были бы початки и т. д. Перестал возмущаться после моей и доктора просьбы не волноваться. Сказал: «Вот такой характер, не могу спокойно говорить о таких вещах…» Доехали до больницы хорошо. Похвалил каштаны на проспекте Калинина, рассказал, как сопротивлялись московские озеленители, когда Н. С., будучи Секретарем ЦК и МГК в 50-х годах, настаивал на посадке каштанов на улицах Москвы. (Я помню, что он ездил к Курскому вокзалу посмотреть растущий во дворе какого-то дома большой каштан — доказательство, что МОГУТ расти в Москве каштаны. Радовался, когда увидел три больших каштана в Кунцеве у одного дома. Советовал озеленителям заложить питомник каштанов, что и было сделано. У нас на даче в Огарево посадили каштаны у ворот, и они хорошо росли, цвели, давали плоды.)

В больницу проехали через двор, к лифту. Встретил знакомый санитар Петя, поднял на 3 этаж, пожелал Н.С. скорее поправиться. До палаты № 8 (в конце коридора) Н. С. прошел самостоятельно, даже без поддержки под руку, своим обычным шагом. В палате оживленно беседовал с сестрой, санитаркой, буфетчицей — знакомыми по прежнему лежанию в палате. Сидел у стола, пока я не попросила его снять брюки и лечь в постель. Я ему помогла с брюками, он лег. Остался у постели Владимир Григорьевич, пришла лечащий врач Софья Анатольевна,

заместитель заведующего отделением Евгения Михайловна Мартынушкина.

Я ушла на 2 этаж сделать процедуру на руках (немеют), пока не ушла процедурная сестра, — было уже 3 часа дня.

Н. С. не велел мне возвращаться, так как он будет занят с врачами, с лаборанткой, обедом и т. п.

Я уехала на дачу, особого беспокойства не чувствовала. Позвонила ему в палату в 20.30 (8.30 вечера), он ответил сам, сказал, что боли нет, самочувствие приличное, что смотрел телевизионную передачу, не понравилось, выключил, собирается пораньше лечь спать, и того же мне пожелал. Это было во вторник 7 сентября 1971 года.

На следующий день утром в 8 часов я позвонила ночной сестре узнать, как прошла ночь, и узнала, что всю ночь с ним были врачи (дежурный Нина Лаврентьевна Корниенко и врач-реаниматор), долго продолжался сердечный приступ, сейчас спит.

Пока я получила машину, пока добралась, пришла в палату — было уже 12 часов.

Н. С. спал, мгновениями открывал глаза, опять засыпал, доктор Софья Анатольевна сказала, что положение тяжелое, она подозревает инфаркт (3-й уже!), что она проконсультирует последнюю ЭКГ со специалистами. Еще добавила: «Какое счастье, что вчера я его не повезла на рентген легких (у него были хрипы в легких после простуды, банки двукратные не помогли), там бы его тормошили… Я бы себе этого никогда не простила».

Но говорила Софья Анатольевна об этом инфаркте с тревогой, перечисляла области сердца, которые у нее под подозрением. Сказала, что если доберется поражение до желудочков, то ничто нельзя будет сделать.

1 октября. Под впечатлением свежего разговора с Валентиной Лукиничной — массажисткой. Она разговаривала с сестрой, которая делала ЭКГ в понедельник 6/IX, Н. С. недомогал и доктор Владимир Григорьевич приехал по моей просьбе на дачу не вечером, как хотел раньше, а утром и сделал ЭКГ. Особых изменений по сравнению с прошлой ЭКГ не было, один зубец не понравился… Валентина Лукинична говорит: «Надо было настоять доктору, чтобы Н. С. ехал в лежачем положении и не шел по коридору в палату. Почему он не настоял? Ведь инфаркт стал развиваться в больнице…»

А доктор Леонид Романович Абрамов[86] сказал, что этот процесс развивался все время, и катастрофа могла совершиться и раньше и позже.

Профессор Лукомский консультировал ежедневно. В среду 8/

IX я его встретила на лестнице в вестибюле, он спешил, но остановился, сказал, что положение очень тяжелое. Я спросила: «Обречен?» Он ответил: «Мы так не говорим, но очень тяжелое».

Днем в среду собрались все дети. Лена принесла гладиолусы. Он сказал: «Ну зачем мне цветы? Лучше тебе». Когда вскоре зашла доктор Мартынушкина, он подозвал ее поближе для секретного разговора и сказал: «Лене очень хочется, чтобы эти цветы попали к вам. Обязательно возьмите, мне так спокойнее будет. Не забудьте». Евгения Михайловна обещала зайти за цветами, когда будет уходить домой.

Почти все время сидел Сережа. Днем я уехала на дачу поесть и привезти легкий плед Лены (одеяло тяжело было держать). В среду он уже лежал на финской хирургической кровати, на ней легко менять положение.

Часов в 6 вечера на вопрос доктора, устал ли, Н. С. ответил, что устал от посетителей. Действительно, в палате собрались: три доктора (Владимир Григорьевич, Софья Анатольевна и дежурный), сестра дежурная и хирургическая, Сергей, Рада, Юля (старшая), я. (Лену отправили домой с повышенной температурой и не велели ей ездить к нему, так что она его живого больше не видела.) Мы договорились по требованию Владимира Григорьевича приходить по очереди.

В этот день я была с ним до позднего вечера, и Сережа, кажется, и Юля (старшая).

Ночевали в городе, чтобы утром в 8-40 застать проф. Лукомского и Н. С. в палате.

В четверг 9 сентября пришли с Радой и Юлей (старшей) к 8-40, примчался и Сережа. Узнали, что ночь опять была очень тяжелой, мучили боли в сердце. Дежурил доктор Абрамов — «приятель» Н. С. по прежним двум лежаниям в больнице. Он рассказал, что после моего ухода накануне они вдвоем беседовали и даже включили телевизор, но не надолго, а ночь была очень тяжелой».

Я села у постели, поцеловала ему ладонь левой руки, он погладил меня по щеке.

Не разговаривал, когда просыпался, на вопросы кивал головой утвердительно или качал отрицательно. В 12–30 я ушла, осталась Юля (старшая) одна. Сережа и Рада тоже ушли.

Когда я вернулась в 5 часов, Юля рассказала, что все время Н. С. спал, только раз спросил, приехала ли она (Юля) одна или с Виктором Петровичем. Спросил обо мне. Самочувствие стало лучше, сам мне сказал и на аппарате — маленькое улучшение.

Я отправила Юлю с Леной и Витей на дачу (Юле надо было выспаться), а сама осталась ночевать в городе, чтобы прийти к

консультации профессора Лукомского. Рада со мной тоже приехала. Опять — крайне тяжелое состояние. Сказал, что пока утешить нечем.

10 сентября. В пятницу все мы сидели в палате по переменно, я была весь день до позднего вечера, пока дежурный доктор велел уходить. Как будто стало лучше. Вечером Юля (старшая) с Витей уехали на дачу, Сережа ушел домой. Я тоже должна была поехать на дачу, но потом осталась, чтобы придти к 9 часам утра в больницу. Я им звонила, что отец спит, доктор успокаивает, аппарат показывает лучшее состояние. Все мы чуточку успокоились.

В субботу 11 сентября Рада приехала со мной к 9 часам. Профессор Лукомский сказал, что хотя положение тяжелое, но маленькое улучшение есть: спал ночь спокойно, к 24 часам (12 часов ночи) ЭКГ заметно улучшилось и еще какие-то показатели. Владимир Григорьевич тоже как-то облегченно говорил с нами, что успокаиваться нельзя, но какие-то проблески улучшения можно назвать. Позвонила об этом Сереже (домой) и Юле (старшей) на дачу.

Мы с Радой зашли в палату. Н. С. не спал, помахал нам рукой, опять я поцеловала ладонь, он меня погладил по щеке; так и осталось ощущение руки на щеке. Попросил соленого огурца, такого, как готовит Евгения Ивановна, бывшая летчица, теперь соседка Рады по даче. Еще попросил пива, принесли из буфета. Выпил немного, сказал, что пиво плохое. Рада съездила, купила огурцов соленых, съел немного, похвалил. Потом съел немного белкового омлета и через пять минут все вырвало.

Когда успокоился, сказал, что будет спать, обменялся каким-то анекдотом из коллекции Мануильского[87] с Владимиром Григорьевичем, помахал ему рукой «до вечера». Меня отослали на 2 этаж лечиться (я принимала лечение от онемения рук), в палате осталась Рада и дежурная сестричка.

Когда я вернулась через 25 минут, Рада сидела в коридоре, ее попросили выйти. Дежурная сестра бежала с бутылкой физиологического раствора, прошла быстро Евгения Михайловна и начальник спец. сектора профессор Гасилин (сердечник).

Я зашла в палату, дверь была открыта. Была включена капельница в ноге, у головы реанимационный аппарат, доктор просил поглубже вздохнуть в воронку, и тут меня попросили выйти. Я вышла и позвонила Сереже и Юле (старшей) на дачу, чтобы она выехала с Витей. Через недолгое время вышла Евгения Михайловна. Я спросила: «Плохо?» — «Плохо». — «Хуже, чем в четверг?» Она ответила: «Умер».

Вот так мы потеряли ЕГО. Через некоторое время нас

впустили в палату. Он лежал под простыней. Лоб был холодный, затылок посинел, пальцы рук похолодели, ноги — тоже, а плечи, грудь, ноги в верхней части еще долго были теплые. (Я и сейчас ощущаю на ладонях эту теплоту.) Я просила детей потрогать теплого отца, чтобы сохранить воспоминание теплоты, а не льда.

Даже Сергей не застал его в живых, так как я успокоила его со слов докторов и просила приехать к 2 часам на смену мне и Раде, чтобы не толпиться в палате.

Сережа сказал Юлочке (Юле младшей), она тоже примчалась. (А в среду или в четверг она просилась навестить отца; он не велел ей приходить, сказал, что и так много народу, пусть приедет потом, когда станет лучше…)

Приехали Юля (старшая) и Лена с Витей, пришли с плачем уже в палату (их встретила Евгения Михайловна в коридоре). Посидели мы с НИМ, наверное, с час, пока пришла машина из морга, посидели еще немного в дежурке у докторов, потом уехали на дачу, домой. И тут обнаружили: спальня Н. С. запломбирована, входная дверь в дачу заперта изнутри, а на веранде — пост, чтобы никто не зашел.

Владимир Иосифович Ладыгин (дежурный) объяснил, что это сделано по распоряжению ЦК, что это было так у К. Е. Ворошилова и Н. М. Шверника,[88] не только у нас; комиссия из ЦК приедет, как только я попрошу, объяснит и снимет пломбы. Я попросила, чтобы скорее это сделали. Через час приехали двое: заместитель управления делами ЦК т. Кувшинов и заместитель заведующего общим отделом ЦК — фамилию не помню. (Аветисян.)

Я обратилась сразу к Кувшинову: «Что же, т. майор, вы так поспешили, могли бы меня дождаться и все делать при мне…» Но он ответил: «Выражаем вам соболезнование. Я — не майор, а работник ЦК», — и назвал себя. Тогда я присмотрелась и узнала его, он помогал нам въезжать в квартиру на Староконюшенном пер. Объяснил, что они заинтересованы «для истории», чтобы документы Н. С. попали к ним нетронутыми.

Пломбы они сняли, пост также, я открыла им сейф. Боголюбов (Аветисян)[89] взял оттуда 4 (магнитофонные) пленки (давние очень), пересмотрел папки, забрал поздравление Н. С. с 70-летием, подписанное всеми членами и кандидатами Президиума ЦК, хотел взять указ о награждении медалью «За победу над фашисткой Германией», подписанный М. И. Калининым, но потом оставил.

Забрал с магнитофона пленку с записями физкультурных упражнений и какие-то схемы управления магнитофоном, стихотворение (о Сталине, то, где «его пальцы, как черви…»),

написанное Осипом Мандельштамом перед войной и подаренное Н. С. академиком Арцимовичем[90] года полтора назад. Кувшинов спросил, какие вопросы, сказал, что все неинтересное «для истории» возвратят. Сказал, что приедет сотрудница Мария Никифоровна по вопросу похорон (справка о смерти, могила, одежда, морг, венки, автобусы, продукты, так как в воскресенье купить обычным способом нельзя, все закрыто). Сказал, что тело будет выставлено в морге в Кунцево (ЦКБ) в понедельник с 10 часов утра, в 11 часов гроб поставят в автобус и в 12 часов дня — захоронение на Новодевичьем кладбище. Сказал еще, что некролог будет напечатан в понедельник.

Остаток субботы и воскресенье сидели мы все на даче, как потерянные, осиротевшие, взрослые и дети. Я занималась, сколько могла, хозяйственными делами: собирала ордена Н. С., переписала их, одежду, составляла примерные заказ на продукты (вместе с товарищем Марией Никифоровной), потом рассчитывала, когда продукты привезти… Показывала Юле (старшей) наши пленочные теплицы, еще что-то делала, как каменная.

В понедельник 13/IX принесли газету — сообщение в 4 строки на первой странице «Правды» и никакого некролога, во вторник перепечатали сообщение «Известия»:

«ЦК КПСС и Совет Министров СССР с прискорбием сообщает, что на 78 году жизни 11 сентября 1971 года скончался бывший 1 секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета Министров, персональный пенсионер Никита Сергеевич Хрущев».

Редакция даже не выделила имя и фамилию из общего текста сообщения.

К 10 часам поехали в морг. Я — с Леной, Юлей и Ниной (племянница Нины Петровны) (приехала накануне с Виктором Петровичем из Киева), во второй — Василий Михайлович (Кондрашов) (дежурный офицер КГБ), Виктор Петрович и Тихон Иосифович Кухарчук (тоже приехали накануне). Галя и Ника[91] поехали с Сергеем.

На повороте от шоссе увидели массу машин и милиционеров, у помещения морга стояли люди, приехавшие в автобусах ЦК, и друзья наших детей, приехавшие на своих машинах.

Зал маленький, людям проходить не дали, почетный караул не организовали, постояли мы, поплакали у гроба под траурную музыку. Сергей Иванович Степанов и Петр Михайлович Кримерман[92] сделали снимки. В 11 часов сели в автобус с гробом. Автобус шел быстрым темпом, невольно напрашивалось сравнение с похоронами Пушкина.

5 октября. Автобус не остановился, как обычно, на площадке посреди кладбища, а промчался к концу аллеи, к стене, где справа была подготовлена могила. Там стоял помост из досок, на который поставили гроб. Дождь лил. Кто-то держал зонт над головой Н. С. Пропустили к могиле небольшую группу родственников и друзей — 150–200 человек. На кладбище был объявлен санитарный день, так что обычные посетители не допускались.

Я ждала, что траурный митинг откроет хотя бы секретарь парторганизации, где Н. С. состоял на учете, озиралась, растерянно метался Сережа. Через какое-то время Сережа встал на край могилы и обратился к присутствующим с хорошими словами.

Передаю по отчету Роберта Г. Кайзера для парижского издания «Геральд Трибюн» от 14/IX 1971 г.:

«Мы просто хотим сказать несколько слов о человеке, которого мы хороним и которого оплакиваем», — начал Сергей и остановился, чтобы овладеть собой, губы его дрожали. «Небо тоже плачет с нами», — прибавил он (шел небольшой дождь).

«Я не буду говорить о большом государственном деятеле. За последние дни печать всего мира, за редкими исключениями, и все радиостанции говорили об этом. Я не буду оценивать вклад, сделанный Никитой Сергеевичем, моим отцом. Я не имею права делать это. История сделает это. Единственное, что я могу сказать — это то, что он никого, с кем встречался, не оставлял безразличным. Одни его любили, другие — ненавидели, но никто не мог пройти мимо него, не оглянувшись. От нас ушел человек, который имел право называться человеком. К сожалению, таких людей мало…»

Журналист передал выступление Сережи более-менее правильно, хоть и сокращенно. Потом Сергей предоставил слово Наде Диманштейн, которая сказала о Н. С. в период ее работы с ним в Донбассе, в Юзовке: о его принципиальности, настойчивости в проведении намеченных задач, о его умении работать с людьми, воодушевлять их на большие дела и еще многие хорошие слова. «Примером был для молодых». (Это истинная правда!)

Затем Сережа назвал своего товарища по Энергетическому институту Васильева Вадима. Он сказал, что Н. С. вернул доброе имя (посмертно) его отцу, погибшего в бериевском лагере, и дал возможность ему, Вадиму, и его детям свободно учиться, работать и гордиться погибшим отцом.

После Вадима Сережа опять встал на холмик и закрыл этот печатный митинг, попрощались мы с отцом и опустили гроб в

могилу. Перед этим присутствующие проходили мимо гроба, причем Сережа спокойно регулировал это движение, а сотрудник-распорядитель все время старался не пускать людей, скорее закончить. Сережа подходил к нему и просил пропускать, тот отступал.

Когда могилу зарыли, положили венки от ЦК и Совета Министров, наш, от товарищей и от Анастаса Ивановича Микояна (всего четыре), причем надписи на лентах дождь смыл (венки везли в открытом грузовике) и только на венке Анастаса Ивановича надпись видна была ясно.

Большая гора свежих цветов легла на могиле. Поставили фото (взяли в столовой, что было под рукой). Впоследствии Сережа заменил эту на другую фотографию (она мне не нравится).

Прошло уже три недели и три дня, как мы осиротели, не могу реально подойти к этому факту, наверное до конца своих недолгих (оставшихся) лет не примирюсь.

6 октября. Живем на даче, как при Н. С. (я, Лена, Витя приезжает каждый день). Сережа приезжает по вечерам, когда свободен после работы. Юля и Виктор Петрович уехали, временно, в субботу 2/X. Приедут помогать переселяться. Продукты по заказу привозят, в поликлинику езжу лечиться. Никто ничего не говорит.

Пришло много телеграмм и писем, в том числе от зарубежных государственных деятелей, но ни один бывший товарищ Н. С. по работе, ни одна из их жен — никто не позвонил и не прислал соболезнующую записку. Исключение — Анастас Иванович Микоян. Он прислал венок и письменное соболезнование от него привезли 13/IX — в день похорон.

9 октября. Сегодня суббота, уже месяц прошел, как не стало Н. С., а мы живем и все вокруг продолжается, как будто ничего не случилось. И дети занимаются своими живыми делами, так полагается.

Позвонила Зинаида Сергеевна Груздева,[93] что она сегодня навестила ЕГО.

Привезла корзину цветов, а притащить к могиле некому, сама еле передвигается. Спасибо, нашелся сын ее приятельницы, «совсем молодой, только год на пенсии». Он-то и притащил ее корзину к могиле Н. С. Очень ей пришлось по сердцу, что вся могила в живых цветах, даже некуда было поставить ее корзину.

Еще я отвечала на несколько писем, выразивших соболезнование. Среди них одно из Пензы. Прислал его Иван

Семенович Аленкин. Они с женой пенсионеры, два раза побывали на могиле Н. С. (21 и 24 сентября), приехали домой и написали взволнованное письмо с выражением сочувствия. Дошло, к счастью. Второе письмо дала мне Рада. Его принес в редакцию ленинградский поэт Шумилин вместе со стихотворением «Памяти Н. С. Хрущева»:

Читаю этот странный некролог,
Читаю и глазам своим не верю:
Всего-то пять скупых, затертых строк,
А мог бы снимок быть по крайней мере.
Обычная газетная заметка.
А ведь гремел,
кипел
и волновал,
И вдруг ушел так скромно, незаметно.
Мир присмирел, зимы с тревогой ждет,
Взметнутся листья, стоит ветру дунуть.
Путь помолчит и снимет шапку тот,
Кого невольно он заставил думать.
Пусть постучится тихо грусть к тому,
Кому невольно он расправил плечи.
И в этот час дождливый ни к чему
Напыщенные траурные речи.
Мир ждет,
желает,
жаждет
перемен, —
Кого поднять, низвергнуть
и ославить?
Пусть мир жесток, и все в нем прах и тлен,
И все же след мы в нем должны оставить!

Он проездом был в Москве, зашел в редакцию и отдал Раде приготовленное к отправке письмо. *Человек*. Я ему тоже послала *спасибо*.

А вообще, кроме ответов, мне надо *успеть* проанализировать присланные письма.

10 октября. Какая несправедливость природы: мы живем, ходим, читаем и всякие дела делаем, а ЕГО нет. Все стоит нетронутое, кажется — вот-вот войдет и что-нибудь скажет, а нет…

Умерла Граня Писарева (сестра первой жены Н. С.), лежала

два дня в квартире, а я не смогла зайти к ним, просто не смогла. Собрались сестры, плачут, еще кто-то, а я не могла. Не могу приходить на кладбище, когда кого-то хоронят. Все у меня в голове траурный марш играет, никак не уходит. Это, наверное, нехорошо.

15 октября. Пишу каждый день ответы приславшим мне соболезнования. Пока успела ответить государственным и общественным деятелям за рубежом. Часть послала через посольства, часть — почтой (заказными письмами и телеграммами). Прислал большую телеграмму президент Мальгашской Республики (Мадагаскар) из Тананариве на французском языке. Стала искать посольство или консульство — нет в Москве. Решили коллективно, что надо ответить телеграммой на французском языке. Пришлось просить перевести мой ответ на французский, у нас никто не знает французский язык достаточно хорошо. Ответы послала:

— 21-го сентября товарищам 1) Тито и Иванке, 2) Эдварду Карделю, 3) Поповичам Коче и Лепе, 4) Мичуновичам Велько и Будиславе, 5) Цвиетину Миятовичу, 6) Иосановичу Прегради (Загреб), 7) семье Краячич (Загреб) — через посольство Югославии,

— 22-го сентября — 8) Анти Карьялайнену и 24-го сентября Урхо Кекконену — пос-во Финляндии,

— 25-го сентября 10) Мохаммеду Дауду — пос-во Афганистана, 11) Луиджи Лонго — Рим 00185 Viadel Tanrini 19, L. Unita. 12) т. Яношу Кадару — Будапешт, ЦК, 13) телеграмму Перецу Диасу — председателю Конгресса Венесуэлы, Каракас, 14) телеграмму Авереллу Гарриману — Вашингтон Д.С., США, 15) Такое Мики — председателю палаты представителей Японии, Токио — телегр., 16) Елене и Николае Чаушеску — ЦК, 17) Елене и Иону Мауреру — Бухарест, Совет Министров, 18) Эдварду Хиту — премьер-министру Англии — через пос-во, 19) Дугласу Хьюму — министру иностранных дел Англии — через пос-во, 20) Сирима Р. Д. Бандаранайке — премьер-министру Цейлона — через посольство), 21) Послу Индии А. К. Дамодаран и 22) Индире Ганди — через посольство Индии, 23) Роже Сейду — послу Франции — ул. Димитрова, 43, 24) Форду Р. А. Д. — послу Канады, 25) Секу Туре — президенту Гвинейской Республики — через посольство, 26) Анвару Садату — президенту Арабской Республики Египет — через посольство, 27) Адаму Малику — министру иностранных дел Индонезии — через посольство (Новокузнецкая, 12), 28) Хайнриху Хаймерле — послу Австрии (Староконюшенный, № 1), 29) Бруно Крейскому — федеральному

канцлеру Австрии (через посольство).

— 7-го октября. 30) Лапиро — Флоренция, Италия, 31) Девике и Святославу Рериху — по адресу: M-me Devika Rani Koerich c/o The Indian Bank Ltd, Lady Curzon Road, Cantonment, Bangalore-1, Mysore State, South India, 32) Сайрусу Итону и Анне — Кливленд, США, 33) Улофу Пальме — премьер-министру Швеции — через посольство.

— 10 октября. 34) Томпсону — экс послу США в СССР для его жены Джейн — Вашингтон, Госдепартамент.

— 11-го октября. 35) Хансу Кюнслер — Швейцария, cm. Georgenster 73st. Gallen Schweiz N.B., 36) Хельмуту Мартенс — Гамбург, Wandsbek Rd. Gallee 233, 37) Хайнц Шеве — Гамбург, 55 Дюпенталь 1 °С.

— 12-го октября. 38) Аминторе Фанфани, председатель Итальянского Сенана, 39) Жаклин Кеннеди-Онассис — Афины, потом Нью-Йорк.

— 14-го октября. 40) Люси Джарвис — NBC Co. Нью-Йорк, 41) Жоннипас, Торонто, Канада, 42) Гарсту — Айова — Кун Рэпидс, США.

Все конверты с адресами на посольства приняла сотрудница стола заказных писем. Опасаюсь, что они не были отосланы. Квитанцию дала одну на все конверты.

Сегодня встретила в коридоре поликлиники Нину Ивановну Королёву,[94] она неизменно подходит, обнимает и целует, говорит: «Мужайтесь». Кто-то спросил меня, (когда я была) у Нюры Писаревой (сестра первой жены Н. С.), прислали ли космонавты соболезнование? Сегодня при встрече с Ниной Ивановной я впервые подумала, что она — единственная из той среды прислала телеграмму сочувствия.

Позвонил Александр Васильевич Осипов, бывший зав. орг. Сталинского РК,[95] сказал слова сочувствия. Не ожидала, никогда не звонил, а сегодня взял телефон у Поли.[96]

Прислал письмо-соболезнование Константин Симонов с хорошими воспоминаниями о фронте и XX съезде КПСС.

24 октября. Занялась разной неблагодарной работой вроде разборки писем, а время летит.

Хочу записать со слов Вити. Сотрудница их Института (физической химии АН СССР) ехала на такси, спросила у водителя, куда он приготовил такие хорошие цветы. Тот ответил, что поедет на кладбище к Н. С. Хрущеву. Когда женщина удивилась, то водитель спросил: «А вам не нравится?» Она ответила, что сама собирается туда же. Тогда водитель смягчился и стал говорить с ней о том, что Н. С. много сделал для народа, и

это люди помнят.

В письмах, которые я разбирала сегодня весь день, а письма — к 17 апреля (День рождения Н. С.) и к 1 Мая 1965 г., много высказываний таких же, как у того водителя такси.

14 ноября. При разборке книг с автографами былых лет до октября 1964 г. нахожу много волнующих надписей, которые характеризуют Н. С. в его разносторонней деятельности. Интересно, как сейчас те люди (если живы) написали бы? Например, М. Бажан,[97] если они побоялись прислать слова соболезнования?

В 1959 г. Ефим Пермитин на своей книге «Ручьи весенние» написал: «Достойному преемнику Ленина — Н. С. Хрущеву, с чувством восхищения и преклонения перед энергией, бесстрашной прямотой и искренностью Вашей». 14/1 1959 г., тел. 130-25-19.

Вернулся Пилипенко[98] из Донецка, видел там многих товарищей Н. С. и наших общих, привез приветы и сочувствия. Рассказал, что комсомольцы Механического завода (бывшего Боссе), на котором Н. С. работал в юности, хотели послать делегацию на похороны Н.С. (Наивные!)

А один итальянец из Сарагосы[99] написал 18 сентября письмо на клочке бумаги без адреса, подписался: Erabajo: «Синьоре, вдове Никиты Хрущева. Я обычный человек, посылаю свои сердечные соболезнования Вам и Вашей семье. Ваш муж сумел подчинить усилия своей страны работе на благо человечества. Да будет мир душе *этого великого труженика*, отдавшего все своей стране». Вот ТАК верно судит незнакомый человек!

24 ноября 1971 года. Говорил Н. С. мне: «Когда я умру, а ты останешься, плохо тебе будет». Угадал. Никогда и в мыслях не было, что в моем доме кто-то будет оскорблять меня и моих детей. Из-за чего? Из-за барахла разного, которое при переезде я отдаю одному, а не другому. Начал Алексей Иванович (Аджубей) у себя дома выкидывать котел на помойку, вещи, которые я им послала, в том числе подарок Н. С. от польских товарищей к его 70-летию: машину (радиолу) с пластинками. Кончилось тем, что ее забрал Борис Иванович (шофер), который вещи возил.

Вчера *недостойный тон* в разговоре позволил себе Виктор Петрович (Гонтарь, муж Юли-старшей). У меня с того времени не прекращается сердцебиение, несмотря на лекарства.

Была на кладбище 22 ноября, отнесла немецкие розы.[100] Видела, как бегом (чтобы успеть до закрытия) прошла группа

молодежи без цветов. Ко мне подошли две женщины, сказали, что часто приходят к могиле с добрым словом, видят, что много народа приходят к могиле. У одной из них муж погиб в сталинском лагере.

8 мая 1972 года. Полгода не брала тетрадь в руки. Многое пришлось пережить, переболеть. Виктора Петровича (Гонтаря) до сих пор не могу забыть с его требованием отдать ему долю наследства Н. С., а он «отдаст» его в детский дом. Юлия Никитична сказала, что не надо переживать, куда же его девать такого? Кончилось все тем, что Юлия Никитична приехала в феврале вторично, чтобы получить у Сергея машину «Фиат» для успокоения Виктора Петровича. Взяла у Сережи крупную сумму денег, у меня серебряный чайный сервиз — подарок к 70-летию Н. С. от РСФСР, два набора бокалов польских (16 шт.), именных, и с тем Юля уехала. Для компании привезла Раду за бокалами тоже. Раде досталось 6 наборов (48 шт.)

Когда прихожу к Н. С., мне кажется, что он с портрета подмигивает иронически: «Каково?»

У меня такое щемящее чувство, что я уже никому не нужна, что кто-то ждет моей смерти. Тяжелое чувство.

А у Н. С. бывает много народа, всю зиму на могиле лежат живые цветы.

17 апреля 1972 г. мы всей семьей и Сережины друзья собрались у могилы, принесли много цветов. Даже Лена приехала, хотя плохо себя чувствовала. Потом поехали к Сереже, и там посидели два часа, вспоминали отца и деда, и гос. деятеля Н. С. добрыми словами.

За это время меня лечили массажем после падения. Валентина Лукинична (массажистка) разное вспоминала о Н. С. Например, рассказала о таком случае на Пицунде.[101] Н. С. очень аккуратно приходил на процедуру. Валентина Лукинична пришла раньше приготовить стол-топчан и обнаружила, что в кабине очень душно. Предложила д-ру Беззубику и Литовченко[102] перенести топчан в бассейн, где продувало. Они не согласились. Н. С. пришел и сразу спросил: «Как же Валентина Лукинична будет работать в такой духоте? Они не подумали об этом». Пошел в бассейн и нашел то же место, что и Валентина Лукинична. Н. С. не любил, когда с ним разговаривали тоном приказа или что-то подобное. Валентина Лукинична спрашивала: «Когда, Н. С., разрешите прийти провести процедуру?» Он назначал время, и все было в порядке. Это она рассказывала, чтобы подчеркнуть, что другие пациенты заставляют ждать долгое время, хотя сами назначают время.

В первых числах мая поставили на могиле фото Н. С. в черном пиджаке и со звездами. Многие звонили и спрашивали, почему стоит фотография, где Н. С. снят даже без галстука? (Поставил Сережа по своему выбору.)

Скульптор Неизвестный (фамилия) показал проект памятника. Не особенно мне понравился, Сергею и другим понравился.

26 июня 1972 года. Мучает меня много недель вопрос, чувствовал ли Н. С., что он умирает? В один из дней в больнице, утром, когда я сидела у его кровати, он сказал такую фразу: «Вот и с Леной так нехорошо получилось…» Было ли это продолжением его мыслей о его собственном тяжелом положении, после трудной ночи… Ведь все ночи он мучился приступами сердечной боли.

Сегодня еду в город (с дачи), у Лены t = 38, сердечные боли. Завтра возьмут ее в больницу на ул. Грановского. Требовалось специальное разрешение начальника 4-го управления Чазова, так как по его приказу туда кладут только определенную категорию лиц (в отделе госпитализации месяц назад отказали).

Давно не была на могиле, кружится голова. Сергей и Галя посадили какие-то цветы, надо посмотреть, как выглядит.

10 июля 1972 года. Аленушке очень плохо. Вторая неделя, как она лежит в больнице на улице Грановского, а улучшений мало. Очередная вспышка задела сердце, двустороннее воспаление легких, болит живот, одышка, большая слабость. Удалось остановить падение лейкоцитов, температура упала, субъективно состояние улучшилось, но объективно, говорит доктор, почти нет улучшения, о котором стоило бы говорить.

Что имел в виду Н. С., говоря о Лене тогда, в больнице? Неужели он мог предвидеть?

3 августа 1972 года. Все! Лена умерла 14 июля, кремировали 18 июля, похоронили урну 1 августа в могилу бабушки (Екатерины Григорьевны Кухарчук), моей мамы на Новодевичьем кладбище. Для этого потребовалось разрешение Моссовета.

Витя совсем извелся, похудел, погас как-то. Не хочет ночевать с нами на даче, не хочет со своей мамой, живет один в квартире в Староконюшенном переулке.[103]

Со мной на даче жила Вера Федоровна, мама Вити, сейчас живет Анна Осиповна Тарасова.[104] Галя и Сережа приезжают в пятницу, уезжают в воскресенье.

Рада очень переживала смерть Лены: похудела, почернела. У

меня перед глазами стоит, как она прижимала к груди урну с прахом Лены, пока готовили место в могиле, потом отдала Вите, и он опустил урну на место. Мастер зацементировал, бросили мы по горсти земли, постояли пока забросали землей могилу. Подруги Лены — Ляля из Багдада и Ляля московская[105] посадили цветы, посеяли траву, вымыли надгробие, поставил Витя мраморную доску с именем Лены.

Потом все пошли к могиле Н.С., там навели порядок с цветами, полили землю.

Пришли Витины и Сережины товарищи, родители Гали, пробыли с нами до конца.

Юлия Никитична не приезжала, она себя плохо чувствует, мы и доктор ей не советовали ехать в 30-градусную жару в таком состоянии.

Болит душа за Лену и не верится, что она никогда не придет. И Н. С. тоже. Все забочусь о них в мыслях. Теперь очередь за мной.

19 августа 1972 года. Сегодня ночью приснился мне Н. С. Выглядел усталым, так, как он выглядел в последние месяцы в 1971 году. Он лег в постель в незнакомой комнате, устал. Когда я позвала его в другое место, он сделал жест недовольства и сказал: «Уже лег, не пойду». И я проснулась. Удивительно, что не забыла сон.

Витя ездит на кладбище каждый день: к Лене, потом к Н. С., поливает траву, цветы. Вчера рабочий кладбища Леша сказал ему, что накануне к вечеру пришли два лейтенанта и поливали могилу Н. С. Хорошо, что Н. С. похоронен на кладбище, люди приходят к нему, все кто хочет, и много людей, цветы свежие на могиле все время.

Живу с весны в Жуковке с кем-нибудь: Ника, Сережа с Галей, Анна Осиповна, мать Вити. Пока я тут, чувствую себя более-менее нормально. В Москве пока мне плохо, наверное, из-за жары. Выезжаю в Москву только в поликлинику.

«Что имеем — не храним, потерявши — плачем…»

(?Шота Руставели)

«Чтобы стать оптимистом, надо пережить отчаяние и победить его»

(композитор Скрябин).

29 сентября 1972 года. Уехала вчера Вера Гостинская,[106] прожила со мной в Жуковке 25 дней. Из добрых побуждений она меня «развлекала» разговорами, смехом непрерывным, а я так устала, что обрадовалась ее отъезду. Вот так получается.

Из статьи Александра Кривицкого «Итальянские силуэты», ЛГ (Литературная газета), 27 сентября 1972 г. «Неофашизм двоедушен, как изощренный политик, холодно свиреп, как наемный палач, труслив и неврастеничен, как профессиональный уголовник… Античеловеческая политика зовет на помощь биологию, вовлекая в свою орбиту, да и намеренно культивируя порочные характеры». «Morte al popolo» — «Смерть народу» — на лозунге на фасаде старого дома на Пьяцца де Ла Республика.

6 октября 1972 года. Заехала на кладбище в 14–00, не заходя домой. Посадила тюльпаны Лене, почистила могилу Н.С., поставила гвоздики. Когда шла под стеной старого кладбища, встретила пару пожилых людей. Он, проходя мимо меня, смотрел на боковую дорожку, позвал: «Ира, пойдем еще к Никите Сергеевичу». Она ответила из-за чьего-то памятника: «Пойдем, пойдем к нашему родному».

Когда возилась у могилы Н.С., подошла группа людей. Я подрезала цветы и головы не поднимала. Вдруг над моей головой раздается мужской голос: «Нина Петровна, что передать Вашим истринским знакомым? Я с ними часто говорю…»

Другой отозвался: «Тут со всех концов… Мы с Дальнего Востока…» Женщина говорит: «Много доброго Н.С. сделал для моей семьи».

21 октября, в Жуковке.[107] Пока я на даче, чувствую себя хорошо, вожусь на кухне, легко хожу, не устаю. В Москве же очень быстро устаю, еле добредаю из поликлиники домой (4 квартала).

Руки очень беспокоят, немеют, надо ходить в поликлинику, иначе я бы сидела в Жуковке, даже в одиночестве. В Москве тоже сижу в квартире одна, вернее — топчусь. Может быть, и устаю от этого.

Ездили с Сережей и Радой к скульптору Эрнсту Неизвестному, смотрели проект памятника Н. С. в миниатюре. Последний вариант лучше первого. Оказалось, что нет монолитных плит, и скульптор должен придумывать новый вариант из кусков гранита и мрамора. Долгое это дело.

Несколько дней жила со мной на даче Галина Ивановна Бурмистренко.[108] С ней очень легко быть, вспоминались пред— и послевоенные годы в Межигорье.[109] Молодые (относительно) годы, — в памяти многое осталось. Как родная.

18 марта 1973 года, Жуковка. Не пишу подолгу. Живу в городе, тетрадь на даче. Сегодня было много народа. Кроме меня, Сережа, Галя, Ника, Юлка с Ксаной,[110] Климашевские[111] — отец и сын — зашли с лыжами. Шумно. Дети играли, под стол лазили, хихикали и прочее. Все съедено, много посуды. Уехали они все, я осталась одна у телевизора и вдруг определила: для меня все это уже не жизнь, а только ее осколок. Как зеркало разобьется, осколок его еще отражает окружающее, но это уже не зеркало. Так и я стараюсь что-то сделать для детей, но помимо этих моих стараний я для них для всех не нужна. Прошла жизнь, остался *осколок*.

26 марта 1973 года. Вчера приехали (в Жуковку) с Никой на каникулы. Температура воздуха внезапно поднялась до +14 °С, снег усиленно тает. Сегодня встретила Нэлю Арцимович[112] — свежую вдову, она приехала на дачу. Опять нахлынули тяжелые переживания, она плакала, и я тоже. Жаль молодого академика, прошлым летом познакомились. Пострадал ради науки, как Курчатов.

На меня действует весна (и возраст, наверное), трудно ходить и работать. Сижу на крыльце на раскладном стульчике.

Передают по телевизору выступление днепропетровского ансамбля «Славутич».

Не так воспринимаю, как раньше, равнодушнее.

13 апреля 1973 года, пятница (в Москве). Две встречи. Утром шла проходным двором в поликлинику, поздоровался пожилой мужчина. Потом прошел со мной некоторое расстояние, сказал: «У вас горе — дочь умерла, у меня горе — сын погиб в авиакатастрофе, летчик, полковник. Жена моя, его мать не в себе, как будто помешалась. Жена его сына горюет, но не так, как мать. Жена есть жена… А как вы себя чувствуете?»

В поликлинике села в кресло в вестибюле после болезненного укола лицом к выходу. Идет седой человек, я подумала: «Как похож на Сердюка».[113] Оказался он. Вчера вернулся из Сибири (Абакан), ездил по поручению ЦК ВЛКСМ. Присел, рассказал немного, полон энергии и восхищения своей поездкой. Главное — не пострадал от большой активности, выступлений, езды по плохим дорогам, плохих гостиниц. Позавидовала ему.

16 апреля 1973 года, понедельник. Ходили с Радой на кладбище убрать могилу Н.С. Она рассказала со слов своего знакомого, какой-то деятель физкультуры, который добывал ее

Никите билеты на соревнование по хоккею. Кто-то, указывая на Никиту, спросил о нем. Этот кто-то был иностранный член жюри. Узнав, что Никита — внук Н. С., иностранец сказал: «Мы очень уважаем и любим Н. С. Когда будете показывать нам Москву, обязательно свезите на кладбище, хочу положить цветы на могилу Н. С.»

17 апреля 1973 года. Сегодня исполнилось бы 79 лет Н. С. После работы пришло на кладбище много народа: родственники и друзья Сережи и Вити. Рада пришла только с Алексеем Ивановичем, а Галя взяла Нику. Ушли мы оттуда после 7 часов. Принесли много цветов, главным образом — розы. Товарищи зашли к Сергею, а я попросилась домой, очень устала.

19 апреля. Позвонила Каменская,[114] сказала, что долго болела. Обещала пойти к Н. С., как только поправится, а ей уже около 80 лет.

Рассказала одна знакомая, что была у могилы Н. С. и видела старого человека, который стал на колени перед могилой Н. С., поклонился, положил цветы.

4 июня 1973 года. Посадили цветы на могилу Н. С., сняли 18 крашеных яиц, принесенных в пасхальные дни. Лежало пшено на могиле, раскрошенное яйцо; для птиц, как мне объяснила Варвара Дмитриевна.[115]

11 сентября 1973 года. Вчера в 6 часов вечера ходили на кладбище к Н. С. Рада на этот раз привела (младшего сына) Ваню. Она с Галей и Лялей Власенко приводили в порядок цветы, положенные на могилу посетителями. Сделали два громадных букета из роз и гвоздик. Розы поставили у изголовья, гвоздики — у ног в большие зеленые вазы, привезенные Сережей весной.

Со мной приехала Анна Осиповна Тарасова. Нас уже ждали товарищи Сергея, архитектор, знакомый Н. С., Юлка (Юля-младшая) с дочками и с Машей,[116] Галя с Никой, незнакомые люди были. Через какое-то время пришел Игорь (Ицков)[117] с Людмилой Зыкиной, она принесла искусственные цветы. Оказалось, они вместе работали на кино, когда Игорь заторопился на кладбище, она тоже захотела поехать. Я даже заплакала, вспомнила, как Н. С. слушал ее пение по телевизору, на пластинках.

А Юра с Машей[118] не пришли, не знаю почему.

Обратно в Жуковку отвозил нас Сережа с Марией Дмитриевной[119] и Сергеем Ивановичем, оттуда они поехали в

«Трудовую».[120]

На кладбище Рада привезла громадный букет гвоздик, Сережа — красных роз.

Все это организовали дочки в вазах. Мы пришли после 6 часов, когда посетители ушли. Но 12 сентября в 9 часов утра ни у Лены, ни у Н. С. не было уже роз и гвоздик. Витя видел.

Лето прожила в Жуковке с Верой Федоровной, Верой Гостинской и Анной Осиповной Тарасовой. Когда начались грозы и дожди (в июле), у меня возобновилась стенокардия, после лечения, к концу сентября, прошло.

До сих пор не делают памятник Н.С., нет какой-то бумаги. Такое впечатление, что Сергей от меня что-то скрывает.

Больше года уже прошло, как не стало Лены. В квартире все остается так, как было при ней. Витя живет со мной, успокоился, ездил отдыхать. После работы не торопится домой. Надо бы ему жениться уже. За цветами и рыбками Лены он сам ухаживает. Нужна ему квартира.

30 сентября 1973 года, воскресенье. Лето пролетело, наступает осень. Приехала вчера в Жуковку одна, погода улучшилась, солнышко светило. Жаль мне было терять такой день в Москве. Сегодня не поеду в город. Вчера зашла Нэля Арцимович, мы с ней погуляли долго, она рассказывала о своих делах, заботах о сыне. Сегодня долго спала, медленно делала физкультуру, вчера болело сердце, не проходила боль, пока не легла в постель и не приняла таблетку нитроглицерина.

Сегодня позвонила Сереже, что ехать к ним на его дачу не хочу (без объяснения причины). Он не огорчился, у них много народа.

15 октября 1973 года. Из песни:

«Живут во мне воспоминанья,
Пока я помню, я живу».
«Не удивляйся, что умрешь,
Дивись тому, что ты живешь…»

9 января 1974 года. Сегодня 50 лет Алексею Ивановичу Аджубею. Дата!

Вчера прочла в дневниках Льва Кассиля: «Иной раз, когда все не ладится и томит, ловишь себя на позорном малодушии: “Скорее бы уж этот день прошел!”

Какая безнравственная расточительность! Много ли дней нам

вообще отпущено, можно ли добровольно отказаться хотя бы от одного, как бы труден и каторжен он ни был? Дело ли так взывать к милосердию времени, которое и без того торопится покончить с нами? Нет, время надо подчинять себе, заполняя его целиком, не давая ему уходить зря сквозь решето пустых часов…» (Лев Кассиль. Жить надо во весь рост // Знамя. № 3. 1973. С. 186).

«Бездари талантов и за гробом не прощают» (из какого-то стихотворения 1971 года).

13 января 1974 года. «В народе продолжают чтить память Вашего супруга, что проявляется, в частности, в присвоении своим детям его имени. В Москве доктор геологических наук (сын бывшего царского банкира А. Хрущева, расписывавшегося на первых советских червонцах) назвал своего внука Никитой, а в Ереване академик Мергелян Сергей дал это имя своему сыну. Они наши знакомые, и это абсолютно верно». (Из новогоднего поздравления супругов Ванюшиных из Еревана, 24 декабря 1973 г.)

Звонят разные товарищи и спрашивают, почему нет надгробия на могиле Н. С., а я сама толком не знаю причины. Сергей что-то темнит. Даже профессор Жуковский[121] говорил, что был у могилы недавно и слышал, как люди возмущаются этим фактом.

> «Нет другого средства охранить сердце от разрушительных сотрясений, как то, что нужно стать выше бедствий. Трудно этого достигнуть. Если сам не задушишь твердой волей бедствий жизни, то они задушат тебя…»
>
> *Пирогов*

9 февраля 1974 года. Ездила на кладбище с Таисьей Матвеевной Павкиной (Она моя многолетняя корреспондентка из Омска, мать 14 детей, сама на костылях — ТБК (туберкулез) колена, муж был безногий, умер от ТБК три года назад.

Проездом из Ленинграда от брата остановилась в Москве, захотела повидаться и посетить могилы моих…)

Пока стояли у Н. С., слышали от всех подходивших: «А памятника еще нет».

У профессора Вотчала[122] тоже еще нет надгробия, стоит портрет.

Головокружение не проходит полностью, неважно себя чувствую…

3 апреля 1974 года. Ездила с Радой на кладбище. Могилы еще не оттаяли. У Н. С. лежит много живых цветов на земле и стоят гвоздики и нарциссы в вазах. Так много народа было, что я не могла подойти вплотную, стояла сбоку. Рада немного поправила цветы. У Лены тоже стоят цветы, мы свои положили на землю.

16 апреля 1974 года. Начинаю читать «Khrushchev remembers» translated and edited by Strobe Talbot (Boston, Toronto). Дала малознакомая женщина. Очень многое похоже на записки Н. С., но общее впечатление такое, будто это компиляция разных высказываний, которыми умело воспользовался способный журналист.

* * *

«Что есть у человека, кроме жены? — заговорил Гомбург (физик, лауреат Нобелевской премии). — Родители всегда уходят слишком рано, а дети — слишком поздно, когда отношения уже безнадежно испорчены. Друзья? Но это такая редкость! Открытие интимно близко тебе, пока живет в твоей голове, затем оно становится шлюхой, доступной каждому. Остается лишь жена, стареющая, слабеющая, надоедливая, сварливая, глупая и все же — единственная и вечная.

Лишь в ней одной доказательство того, что ты — личность или хотя бы особь…» (Ю. Нагибин. «Пик удачи», «Знамя», № 9, 1970 г., стр. 81)

14 сентября 1974 года. Памятник разрешили после того, как я позвонила А. Н Косыгину.[123] Сказала, что в Управлении делами СМ не дают согласия на проект памятника. После звонка Косыгина все было сделано в один день.

К третьей годовщине смерти Н. С. поставили, наконец, памятник. Фамилия скульптора — Эрнст Неизвестный. Голова и плита, на ней надпись — из бронзы. Остальное — глыбы белого и черного полированного гранита. Всем нам и большинству знакомых памятник понравился, но есть не одобряющие (Аня Тарасова).

Одиннадцатого сентября 1974 года к 6 часам у ворот кладбища собралось много людей, товарищей и незнакомых, ждали Евтушенко и Григорьева[124] (певец). Все вымокли, дождь шел два часа, все время, пока собирались и стояли у могилы. Говорил кто-то, что были иностранцы, фотографы щелкали. Рада и Ляля (подруга Лены) остались, чтобы организовать массу цветов, принесенных людьми. Промокли очень, из ботинок выливали воду. К счастью обошлось без простуды.

Евтушенко громко говорил, что лицо скульптор сделал живым, что Н. С. с нами и т. п.

Мэр Флоренции Лапиро прислал телеграмму: «Памятник будет всегда напоминать о борьбе и борце за мир».

Когда езжу по Москве, в глаза бросаются места и вещи, за которые Н. С. боролся, не жалея сил и здоровья. Набережные реки Москвы одеты камнем, он организовал еще до войны. Расширен Дорогомиловский мост. — Н. С. после войны добился этого.

Липы и другие деревья, посаженные по улицам Москвы взрослыми, — опять же он выискал автора пересадки деревьев

зимой Павла Спиридоновича Лесничего. Применил широко его метод, Москва быстро озеленилась. Травяные площадки в центре города. Сколько он внушал озеленителям, что надо траву сеять, это дешевле и доступнее, чем цветы… Каштаны растут сейчас по всей Москве, а Н. С. ездил специально по Москве, выискивал, растут ли где каштаны. Нашел, доказал и после этого стали выращивать каштаны для посадки в городе. Рябинка алеет на Калининском проспекте — он продвигал. Красиво…Целина. Когда шли передачи о торжествах на Целине, звонили мне некоторые люди и просили объяснить, почему не называют имени Н. С., ведь большинство помнит «автора» целины. Что я могла ответить?

А к могиле его приходит очень много людей и летом, и зимой. Не могу привыкнуть, все жду, что приедет откуда-то…

20 сентября 1974 года. Слушаю ОДНА радио. Передают голос певицы Анастасии Дмитриевны Вяльцевой.[125] Композитор рассказал, что когда ее хоронили, то весь путь до могилы был усыпал цветами, собралось много студентов, всякого народа.

А когда Н. С. хоронили, народа собралось много, несмотря на дождь, но народ не пускала милиция. А машину с гробом гнали на большой скорости. Каждый раз, когда вспоминаю, думаю о похоронах А. С. Пушкина.

Когда хоронили моего брата Ивана Петровича Кухарчука в Киеве, то женщины с фабрики, где он работал директором, так же сыпали сирень под ноги от ворот кладбища до могилы. И все время товарищи с фабрики заботятся о его семье.

15 октября 1974 года. До чего хорош октябрь в этом году! Все желтеет, краснеет, березки прозрачные, дубы коричневые, только сосны темно-зеленые. Приехала сегодня одна в Жуковку, очень уж теплая погода (+19 °С), жаль сидеть в городской квартире.

16 октября 1974 года. На что я употребила загородный досуг за сегодняшнее утро: встала в 7-30 (как всегда), лечебная физкультура, завтрак, уборка спальни, столовой, крылечка. Молоко привозят к 10–30 утра, до этого решила вскопать мини-грядку и набросать в цветы торфа. Времени это заняло полчаса, а устала сильно. Отдыхала на кушетке, сидела на крыльце. Принесли молоко (и на долю Гали) и решила почистить мойку, плиту, умывальник, чайник, кастрюли и даже лопату Маргариты Георгиевны. Галя дала мне пасту для чистки ржавчины и жирных пятен «Нивьера». Хорошая паста.

Все это я сделала и очень рада, что ничего не заболело от

этих трудов. До 3-х (15 часов) почитала «Версты любви» (роман) Анатолия Ананьева. Автор мне незнакомый, пишет оригинально о современной деревне. С 3-30-ти вырезала остатки цветов «Шары», немного малины и шиповника, убрала все на мусорную кучу. В 17.00 иду гулять, потом буду читать, и так день завершится. Завтра поеду в Москву. К 22.00 закончила «Версты любви» — 160 стр. Завтра 17 октября немного почитаю «Khrushchev remembers».

4 января 1975 года. Вот и Новый год наступил. В разных хлопотах незаметно кончился старый 1974 г. Много событий прошло за последнее время: визиты и беседы государственных руководителей, сессия Верховного Совета, выборы партбюро, лекции, визит к товарищу Зориной, которая вернулась из Парижа. Главное — Галя родила Сережу 1 ноября 1974 г. К 7 ноября ее уже выписали из роддома (перепелнено), начались переживания. Малыш очень много кричит, трудно приспосабливается к жизни. Хожу помогать с пеленками хоть немного. Ходит мама Гали Мария Дмитриевна, приходила в свои отпускные дни Зоя Павловна Кухарчук — жена моего умершего двоюродного брата Гриши. Надо помогать Гале, одной Никитиной няне Груше не справиться, тем более что она заявила об уходе. Пока осталась.

Юля Никитична приезжала в декабре. Сначала она жила со своим Петровичем у Рады, а после его отъезда в санаторий перебралась ко мне. Уехала в конце декабря, чтобы успеть вернуться домой до его приезда из санатория. Один раз только мы с ней ходили на кладбище, и то продуло сильно, я даже лежала с радикулитом.

При ней приходила Ирма Кобяк,[126] рассказала, что она два года не встречалась с Роной. Работает где-то на должности инженера.

Наступили школьные каникулы. Ника принес двойки по алгебре и геометрии. Сейчас он на «Трудовой» с Сергеем Ивановичем, уехал на три дня. Новый год встречали у Сережи, просидела до 3-х часов утра с родителями Гали. Больше никого не было. 1 января провела у Гали, а 2 января приехала в Жуковку отсыпаться в обществе Катерины Осиповны Симочкиной.[127] Она, бедная, в одиночестве провела тут две недели. Не хотела ехать домой даже 31 декабря.

Перед Новым годом один за другим умерли родители Левы[128] — Сергей Иванович и Татьяна Соломоновна Петровы, оба от рака. Успокоились…

Я начинаю чувствовать приближение 75 лет, думая, что куда пристроить еще при моей жизни. Нестоящие мысли, но они есть.

Хочется много читать, чтобы прочесть новые произведения и

нечитанные старые… Сил мало.

Звонят почитатели Н. С. Недавно рассказала Каменская, как она «грохнулась» на колени перед памятником, хотя нам стояло много народа. Сейчас на кладбище не пускают людей (реконструкция кладбища), но цветов у Н. С. все равно много. Приносят их те, кто навещают могилы своих родственников. Редко пишу; живу в Москве, а тетрадь держу в Жуковке. Неувязка. Читаю второй том «Khrushchev remembers».

25 января 1975 года. Вдруг собралась и приехала в Жуковку, заскучала в Москве по тишине и свежему воздуху. Нагулялась, начиталась, хорошо выспалась. Можно и вернуться в Москву.

Рада показала фронтовое фото Н. С. с (писателем Константином) Симоновым, который подарил ей это фото. Очень приятная фотография. Н. С. еще в старой (до введения погон), со звездами (на отворотах воротника), шинели, улыбается.

21 января Юлочке исполнилось 35 лет. Были у нее Рада с Алексеем Ивановичем, Сережа, Юра, я не ездила, тяжела на подъем стала. Позвонила 22 января Юлии Никитичне и поздравила ее с днем рождения.

Кладбище еще закрыто, Рада ездила, сказала, что цветы на могиле Н. С. лежат.

Как-то жизнь проходит быстро и незаметно. Читаю, вожусь на кухне, хожу помогать Гале, изредка гуляю, а время летит… Надо бы кое-что написать, но не пишется… Хорошо, что Н. С. надиктовал свои воспоминания, жаль, что они не напечатаны у нас. Очень интересные.

8 мая 1975 года, среда, 15 часов. Сижу у телевизора в Жуковке (одна). Смотрю торжественное заседание, посвященное 30-летию Победы над фашистской Германией. Зал Дворца съездов сразу напомнил Н. С., вложившего много своих сил в постройку этого дворца к XXII съезду партии.

По дороге в Жуковку смотрела на цветущие яблони, на чудесные лиственницы вдоль дороги и опять вспомнила Н. С. Это он добивался после войны, чтобы подмосковные дороги были обсажены этими красивыми деревьями. Теперь они во всей красе, но не знаю, кто помнит автора этих посадок. В Москве цветут каштаны, прекрасное цветение. А Н. С. много сил положил, чтобы убедить московских работников в том, что каштаны будут расти и цвести в Москве. Помню, как он ездил по московским дворам и выискивал растущие уже каштаны. Потом их стали выращивать в питомниках и высадили на Калининском проспекте, на бульварах.

Вчера сама любовалась «свечками» и рябинами в цвету.

Торжественно проходит собрание, как и положено. Выступление героев Советского Союза (рабочий завода им. Лихачева) — бывший танкист, у которого жена Анна служила башенным стрелком, товарища А. Федорова,[129] партизанского командира на Украине, рабочего из Челябинска, председателя колхоза из Костромы — все были сердечными и волнующими. Особенно волнующими были приветствия военных и комсомольской молодежи, трогали до слез выступления детей. Многие в зале вытирали глаза, в том числе и Брежнев. Брежнев докладывал в своем обычном тоне, еле выговаривая слова, наверное с речью у него все хуже и хуже.

Очень неприятное впечатление производил Подгорный, как старец опустил губы. За столом неправильно разговаривал, главным образом с Брежневым. Очень неприятно выглядит на экране лицо Кириленко и наоборот — хорошо лицо Суслова, сам спокойный, подтянутый.

Валя Терешкова сидела в военной форме, других космонавтов не заметила.

Зал был заполнен людьми в военном и штатском, груди сплошь в орденах и медалях. Операторы показывали только сплошной зал и только ораторов, заметить знакомые лица было трудно.

К 81-й годовщине со дня рождения Н.С. Рада и Сергей посадили деревца возле могилы: кусты калины, плакучую иву, березки. У основания памятника, внизу, Сергей сделал маленькую загородочку, в которую насыпали землю, посеяли траву и посадили маленькие (карликовые) сосенки (5 штук). Их привезла Ляля Власенко из Таллина, добыла в Ботаническом саду. Она же их и посадила. Опасаюсь, что они не выживут от недостатка ухода. Сергей уехал почти на месяц, я не хожу поливать, а местная работница не очень ухаживает.

P.S. Только что передали по радио, что Подгорный вручил Брежневу маршальскую звезду. Вот это да! Что будет дальше?

9 мая 1975 года. Целый день сижу у телевизора. Утром — манифестация комсомольцев на Красной площади, очень впечатляющая. Чудесная молодежь собралась там. Позвонила знакомая художница Ольга Прокофьевна, поздравила с праздником и рассказала, что она с мужем гуляла в Александровском саду и по улицам вблизи Арбата и Калининского проспекта. Сказала, что встречала какую-то молодежь, не такую как обычно: серьезную и радостную и не было совсем «гитаристов» и т. п.

После обеда показали «Белорусский вокзал», я не видела фильма раньше. И все время в перерывах показывают встречи ветеранов. Передали в «Новостях» о приеме в Кремле. Речь произносил Подгорный. Воображаю…

10 мая. В передаче «Клуб кинопутешествий» показали Волгоград. Меня поразило большое количество четырех— и пятиэтажных домов, разных, приятной конструкции. Я подумала, что Н. С. ругали за строительство этого типа домов. А ведь восстановлен Сталинград и другие города благодаря именно этим дешевым и быстро возводимым домам. Сколько миллионов людей получили жилье после войны благодаря тому, что Н. С. добился организации промышленности строительных материалов, из которых быстро, сериями возводились дешевые дома. Он (Н. С.) все время думал о том, чтобы меньше людей пострадало от возможных бомбардировок — ведь продолжалась холодная война. Он хорошо понимал опасность войны. Хорошо последним руководителям, пришедшим почти на готовое, сравнивать достижения последнего десятилетия с предыдущим. Почему-то забывают, что ТО время было временем послевоенной разрухи, а ЭТО десятилетие пользуется накопленными ранее средствами. Хорошо тратить денежки, когда их заработали раньше!

Вспомнила, как Н. С. отодвигал *«на потом»* строительство залов-дворцов, чтобы больше денег осталось на строительство жилья, хотя и дворцы культуры были нужны. После его отставки, как грибы после дождя, стали расти административные здания и дворцы. Этим хвастались по недостаточной сознательности.

14 мая 1975 года. Очень жарко, t = 25–28 °С. Убежала в Жуковку одна и тут провожу время в молчании, пока кто-нибудь не позвонит по телефону. Шью одеяло ватное, слушаю радио, поливаю грядки, гуляю в тени.

Сегодня в Колонном зале было торжественное собрание по поводу 20-летия Варшавского договора. Докладывал Громыко А. А. и выступал Москаленко.[130]

Громыко много раз повторил «договор» (ударение на первом слоге), даже неудобно для чл. политбюро и министра иностранных дел. Выступления содержательные, от Москаленко даже не ожидала.

Витя сказал, что на кладбище к нему обратилась вдова певца Михайлова[131] с просьбой пересадить иву, посаженную у Н. С., ей она мешает ходить вокруг могилы мужа. Она не права, я сама проверяла.

…Делать ничего не хочется. Глаза смотрят на развивающуюся природу, и насмотреться не могут. В молодые годы они так не смотрели, все — мельком, все — бегом…

28 мая 1975 года. Опять я одна в Жуковке, но сейчас холодно: 7–9 градусов тепла, холодный северный ветер, в доме тепло +20 °С. По дороге сюда смотрю каждый раз на придорожные липы и лиственницы и вспоминаю: их сажали в начале 50-х годов, когда Н.С. приехал работать в Москву и занимался этими делами. Как много лет ушло, какие роскошные липы выросли из палок. Казалось, никогда из них ничего не будет.

22 июня 1975 года. Много событий прошло за прошедший месяц. Переболела радикулитом шеи и головы. В самое жаркое время ходила в пуховом платке, грела больную голову и шею. До сих пор еще не прошло, болит шея справа.

17 июня (день рождения Лены) были на кладбище, кроме меня и Вити, приехал Сережа, Рада, Вера Федоровна, Ляля. Пришла Юлина Маша,[132] Ляля с Радой устроили красивые корзины у Лены, помыли камень, потом пошли к Н. С. и там тоже убрали: Сережа и Витя мыли плиту из шланга, вытирали остатки воды, поливали деревья и траву возле могилы. Мы пришли после закрытия кладбища, но люди все время подходили к нам.

В прошлую пятницу, 20 июня ездила на дачу к Гале, завезла детское молоко, чернику, помидоры. Пробыла до вечера, пока приехал Сережа с Никитой и отвез меня в Москву.

Вырос очень Сергунька, но зубов еще нет, сам не садится. Меня долго рассматривал, пока улыбнулся. Хочу пожить у них, просила Сережу отвезти мою кровать на «Трудовую».

Сегодня ночевала у меня Елена Михайловна Булганина. Им СМ дачу не дал, они с Верочкой и малышом сняли комнату в Жуковке, но спать ей там негде. Она полностью обслуживает семью Веры,[133] мечтает о тишине и покое.

Витя начал перевозить мамины (Веры Федоровны) вещи на свою новую кооперативную квартиру.

6 июля 1975 года. Странное настроение — ничего не хочется, ни есть, ни писать, даже читать. Все время клонит ко сну. Неужели это признак полного угасания жизнедеятельности организма? Или я устаю, позволяю себе несвойственную возрасту деятельность, например, поездку из Москвы на «Трудовую» и сразу оттуда в Жуковку в жаркое время дня? Может быть действует еще погода: дожди, высокая влажность, скачка атмосферного давления? *Какая-то жизненная искра выскочила из*

меня, хотя я делаю все, что делала раньше.

Вчера я ждала машину в нашем переулке. Подошла ко мне женщина, еще молодая, сказала, что работает рядом, во дворе, часто меня видит, что по сравнению с прошлыми годами я стала выглядеть лучше; стала спрашивать поддерживают ли дружеские связи теперешние руководители, бывшие наши с С. Н. друзья. Удивилась при отрицательном ответе. Еще много вопросов она задавала, я ей отвечала, а потом пожалела. Она призналась, что идет завтра в отпуск и поэтому случаю выпила вина с сослуживцами, поэтому набралась храбрости подойти поговорить.

Нет Сереги, поехал с Никиткой в отпуск. Витя вернется из отпуска не раньше 15 августа. Звала пожить в Жуковку Веру Федоровну, отказалась, боится оставить новую квартиру.

Рада каждый день ездит на свою дачу, не вижу и почти не слышу. Заскучала уже.

Н. С. приснился на днях: валялся поперек кровати и что-то мне указывал, а что — не запомнила. Лицо было не последним, а 50-х годов. Странный сон, Н. С. никогда не валялся, даже на диване, а тут — на кровати…

Вспомнила, как он с Леной и Витей и Серегой ездил за грибами по Смоленской дороге — 150 км…

29 марта 1976 года. Больше чем полгода не писала. За это время болела инфарктом, лежала в больнице с 19 августа по конец октября 1975 года, потом месяц провела в санатории им. Герцена. В декабре выздоравливала дома, в квартире. К концу декабря приехала Юлия Никитична мне на помощь (когда ее Виктор Петрович уехал в санаторий).

Новый 1976 год встречала у Сергея, просидели долго, но не очень устали. А 2 января 1976 года обе сразу заболели тяжелым гриппом, лежали дома (ухаживали: Рада, Витя, Зоя Павловна, Сергей). Потом в больнице до середины февраля. Так не повезло… Юля (старшая) до сих пор не полностью выздоровела, жалуется на слабость. Я как будто выскочила на этот раз.

В больнице Юле исполнилось 60 лет, 22 января 1976 г. Рада и Алексей Иванович принесли ей цветы, Ася Колчинская[134] — куклу (украинский казак). Я дома предложила ей выбрать из моих «сокровищ». Она выбрала китайскую каменную вазочку (подарок Лю Сяо)[135] и китайский камень: красивый, зеленый, не знаю названия.

Сейчас я в Жуковке с Никой, у него каникулы до 1 апреля. Хорошо тут, когда в дому тепло. Конечно, мне надо жить здесь, чтобы дышать свежим воздухом, самочувствие совсем другое, лучше, чем в городе.

Радочка не была в отпуске в 1975 году, неважно себя чувствует, тоже грипповала. Они с (сыном) Ваней уехали на неделю на дачу.

15 мая 1976 года, суббота. Приехала вчера в (в Жуковку) середине дня, дождь прекратился, такое все чистое, свежее, дышать легко… Решила вдруг уехать со своего пятого этажа, все равно, где лежать и ждать, пока сердце перестанет болеть (приступы стенокардии начались две недели тому назад).

Вчера перечитывала свои записи, наткнулась на строчки о вручении Брежневу маршальской звезды. Там есть слова: «Что-то будет дальше?» В последние дни только и разговора, что о присвоении ему звания «Маршал Советского Союза» и о возведении бюста в Днепродзержинске. Все сопровождалось настоящим «show».

Зачем ему это? Неужели на нем сбывается народная поговорка: «Если бог хочет наказать кого-то, то отнимает у него разум»…

Я стремилась в Жуковку, чтобы поближе побыть к Н. С. Вспомнила, как он однажды сказал в квартире, что он чувствует себя дома только на даче, а в квартире у него нет этого ощущения.

Если бы не было затруднений с продуктами и зимой с теплом, я бы предпочла жить в Жуковке, здесь легче дышится. Совсем я постарела, не только слабость, но и психика другая — не хочется мне общаться с другими людьми (чтобы со мной жили, ходить в гости и т. п.).

В этом году 17 апреля (в день рождения Н. С.) на кладбище ходили в меньшем количестве, но пришли все же Михаил Александрович Жуковский, подружка Юлочки Света (Светана), [136] Маша, еще какие-то приятели Сережи и Юлы. Рада была одна, приехала с Лялей (подругой Лены), еще была помощница скульптора Лена (Елагина),[137] она примеряла надпись на камне у Лены. Галины родители пришли (17 апреля — суббота), а она сидела дома с Сергунькой. Юра приехал один, без Маши, она приболела.

А бывшие «друзья» делали вид, что не было в Киеве Н. С. Хрущева, не он освобождал город, не он его восстанавливал, не было его на Украине, не было его в Москве… Но люди-то помнят и своим детям и внукам, наверное, говорят.

Почему-то мне вспомнился эпизод с Л. И. Брежневым. Как-то Н. С. рассказал мне дома, очень взволнованно рассказывал: Брежнев (в 1956 году) уехал из Казахстана, с Целины и пришел к Н. С. по этому поводу и так говорил, говорил, что расплакался.

Его тогда отозвали из Казахстана. Н. С. ценил Брежнева. Я слышала отповедь, какую дал Н. С. моей приятельнице Вере Гостинской (из Варшавы), когда она пренебрежительно сказала, что никто не знает, откуда он (Брежнев) взялся. Н. С. рассказал ей, что Брежнев обладает характером, преданностью партии, что его уважают люди, с которыми он работает. Например, когда восстанавливали «Дзержинку»[138] в Днепродзержинске, то Брежнев даже поставил свою кровать в конторе, чтобы не терять времени на переезды домой. А теперь что?

27 мая 1976 года. Распустились березы, рябина, кустарники, малина, выросла трава. Но листва еще прозрачная, трогательно нежного цвета, на солнышке все блестит. Вчера видела — у Бородинского моста цветут каштаны, это Н. С. настоял, чтобы их выращивали и высаживали в Москве.

Какая-то я бессильная сейчас.

25 июня 1976 года, 12.00. Только что узнала от Гали, что сегодня суд, что она не пошла, что вчера Сергей сказал ей о том, что заявления он не заберет. Значит, все мои просьбы ни к чему. Наверное, я не переживу позора судебного разбирательства и несчастья детей. Не понимаю, зачем ему это. Сказал мне, что нет у него другой женщины… Так кто же его торопит совершить это предательство по отношению к Нике, в первую очередь? Уже начинаются у меня боли в горле, неужели разволновалась до инфаркта? Отец не одобрил бы поведение Сергея.

20 июля 1976 года. Месяц прошел, а мне некогда взять тетрадь в руки. Как будто дел особых нет.

Ника на первом экзамене в МГУ (математика, биологический факультет) получил двойку и выбыл из абитуриентов. Вчера начал готовиться на Психологический факультет, лишь бы пройти в МГУ. Я против такой практики, но Галя решила дать ему попробовать, отступить всегда можно. Галя взяла отпуск за свой счет и сидит с Никой в квартире, решает задачи.

Ваня (Аджубей) 25 июля кончает экзамены и получит месяц отдыха.

Живу в Жуковке второй месяц, не обращаю внимания на проливные дожди. В доме тепло, а на улице бывают просветы, можно погулять. Сегодня, сидя на стульчике, собирала чернику. Вспомнила, как моя мама рассказывала: в июле запрягали коней, грузили на подводу корыта, ведра и ехали в Томашовский лес за черникой. Собирали не по ягодке, как я, а прочесывали кусты пятерней, сразу горсть ягод набиралась…

Перечитываю «Remembers» первую книгу, со словарем, медленно читается, много слов перезабыла.

8 августа 1976 года, воскресенье. Ника сдал вчера историю, получил 5, а по математике (1-й экзамен) — 3. Через три дня — сочинение. Хорошо бы ему успеть. Серега второе воскресенье не приезжает под разными предлогами. Сегодня он чинил машину и повез Светлану Светану (подругу Юлы) в Воскресенск. Почему-то он стал таким услужливым, раньше не замечала с его стороны особой внимательности к Светлане.

Ваня и Алешенька отдыхают на даче, Рада приезжает к ним не реже двух раз в неделю, а в отпуск собирается осенью. В прошлом году они с Алексеем Ивановичем не были в отпуске.

В четверг ездила в «Трудовую», получила полное удовольствие от Сергуньки. Не устала нисколько.

Лето прошло холодное, малина только сейчас начинает поспевать. В прошлом году в это время ягоды были собраны. 19-го августа 1975 года я заболела инфарктом, а до того успела вырезать большую часть отплодоносившей малины.

Хоть бы не заболеть сейчас…

18 октября 1976 года. Вот как редко я теперь пишу… Прожила хорошо лето в Жуковке с Екатериной Иосифовной Симочкиной. Не знаю, как ей, а для меня лето прошло благополучно, а в конце сентября опять начались нелады с сердцем. На этот раз что-то новое: сердце как будто выскакивает из груди при малейшем движении. Лечилась в городе почти три недели, как будто прошли нелады, а по ночам появляются разные недомогания. Старая стала, сердце изношено, ишемическая болезнь, удивляться нечего… Только умирать еще не хочется, хотя и жизнь моя как будто не очень нужна… Какие печальные мысли навеяла на меня болезнь! Я как-то легкомысленно отношусь к своей болезни, мне кажется, что у меня впереди много лет жизни, а надо думать о конце… Только сил нет и думать.

Юля старшая звонила на днях, неважно себя чувствует. Неужели начнется старая история с животом? А Рада с Алексеем Ивановичем купаются в Черном море на Пицунде, поехали по путевке. Очень рада за них. Далеко от дома, от всех забот, отдохнут за 2 года.

А Сережа вернулся из отпуска две недели тому назад и уже устал, жаловался на днях.

Соскучилась за Сергунькой, не могу поехать к ним на «Трудовую».

При своих несчастьях вспомнила Галину Ивановну

Бурмистренко. Узнала у ее родственника, что она собирается в Москву в декабре. Оказывается, у нее что-то с ногами, не может ходить. А еще в 1972 году ездила на Волгу, обещала заезжать в Москву почаще. На мои приглашения присесть, когда она чистила картошку, Галина Ивановна отвечала со смехом: «Ноги еще меня держат!»

13 ноября 1976 года. Третий день живу в Жуковке одна-одинешенька. Свет гашу в 12 — 1 час ночи, встаю в 9 — 10 час. и никто меня не проверяет и не осуждает. Вчера целый день никто не звонил, я начала искать Раду в 5 часов, но не нашла. Серега в Ташкенте,[139] позвонил в четверг, и то спасибо.

Вчера позвонила Юре и узнала, что Юра в госпитале, и ему сделали операцию — удалили желчный пузырь с камнями. Он очень расстроен, но не операцией, а возможностью отстранения от полетов.

…Пропагандируем решения Пленума ЦК и задачи сельского хозяйства — одной из главных задач в его развитии будет расширение посевов озимых и кукурузы. Так сказал Брежнев. А о чем толковал Н. С. в последние годы своей работы? Об этом же! Буквально пробивал… 10 лет потери, пока вспомнили и сами дошли…

Читаю со словарем воспоминания Н. С. на английском языке и удивляюсь тому, как много он делал и думал, а я почему-то не знала. Наверное, ему стало неинтересно рассказывать мне или рассказывал о том, что необходимо сказать, а не о том, что его занимало… А до войны я знала о всех его планах и переживаниях.

28 февраля 1977 года. Солнышко появилось с самого утра. Как радостно! Зима прошла незаметно потому, что не болела гриппом. Никуда не ходила, только на свои собрания и к Сергуньке. У Рады не была целую вечность. Считала, что после отпуска Сергей образумится и прекратит дело о разводе. Оказалось, что в студенческие каникулы они с Галей ходили в суд, но дело отложили по просьбе Сергея, у него не готов проект раздела дачи. Никитка был со мною здесь и все мне рассказывал. Я его спросила, с кем он захочет жить после развода родителей, он ответил, что, конечно, с мамой, надо же Сергуньку растить. Вот так решил 17-летний мальчик, а отец не хочет думать о том, какое зло он несет семье. Самое непонятное для меня то, что он не называет истинной причины этого поступка. Наверное, я умру от переживаний после его развода. А еще так хочется пожить, еще что-то сделать, если будет мир.

Вчитываюсь и вслушиваюсь в новейшие решения ЦК и

правительства, все эти вопросы поднимал Н. С., а теперь представляется, что это — инициатива Л. И. Брежнева.

Опять началось сердцебиение, начинается при самой небольшой нагрузке.

Изменилось зрение, пишу без очков. Подшивала пододеяльник большой иглой без очков и нитку вдела в крупное ушко.

1 марта 1977 года. Вспомнила Серафиму Ильиничну Гопнер.[140] Она уже не вставала с постели. Я ее навестила по возвращении Н.С. из Китая в 1959 г. Когда я рассказала Серафиме Ильиничне о разногласиях с Мао Цзэдуном, она сильно огорчилась, чуть не заплакала. «Как это плохо будет для нашей партии! Трудно даже предсказать, как плохо!!!»

16 июня 1977 года. Много времени я не писала, много событий произошло за это время и в семье, и в стране. Развод у Сергея и Гали совершился (4 апреля, я не умерла, хотя и переживала сильно. Сергей объявил, что у него есть любимая женщина, живет в Душанбе, у нее двое детей и родители. Похоже, что организуется (последовательно) переезд в Москву. Сам переехал ко мне, а новую семью тоже ко мне? Пока уехал в отпуск в Ригу, там где-то находилась «она». Не лежит у меня сердце к этой новой родне, не знаю даже, как себя вести, не могу я изменять Гале и детям. Считаю, что будет изменой им, если я признаю эту «любовь» Сергея, а вообще говоря, как я могу препятствовать, не мне жить.

Пока Управление делами ЦК не разрешает оставить квартиру за Галей и детьми, и неизвестно, как с пропиской Сергея у меня. Никитка избегает приезжать в Жуковку, когда здесь находится Сергей, не приехал, и даже не позвонил отцу в субботу 2 июля в день его рождения, хотя я его звала.

Все закономерно. Беды и неприятности только начинаются, трудно представить будущее.

Живу на даче одна, никого не зову серьезно, скоро и лето кончится. Мотаюсь между дачей и городом, идут дожди часто, не успеваем прочувствовать теплое лето.

…Немощная я стала во всем, в том числе и во взаимоотношениях в семье. Тяжело сознавать и чувствовать, а что поделаешь?

> «Словом стреляй осмотрительней в споре,
> Не забывай, дорогой человек:
> Рана от пули — затянется вскоре,

Рана от слова — пылает весь век».

Гамзат Цадаса (аварский поэт к его 100-летию)

14 июня 1978 года. Читаю «За тех, кто в дрейфе» В. Санина[141] («Знамя», № 4, 1978 г.). Нашла мысль, которая мне всегда была близка. Выписываю: стр. 60… «Андрей любил… мечтать, но в острых ситуациях был холоден и трезв. Одно другому, кстати, не противоречит. То ли дело — сентиментальность, родная сестра жестокости. Андрей сторонился сентиментальных, он не верил слезам, вызываемым сладкой музыкой или сломанным цветком…»

В такой мысли я укрепилась во время войны: сентиментальные немцы оказались самыми жестокими людьми, человек способен был играть на скрипке сентиментальные арии, целовать фото своей жены и тут же убивать наших детей.

Не пишу давно, все некогда, время уже не идет, не бежит, а скачет. Похоронили Зину Сергеевну Груздеву,[142] у нас в парторганизации двух человек — это в один месяц май.

Прошла моя очередная 78-я весна, наступило лето, холодное лето. Трава выросла, дубы уже распустились, зацвели ландыши на мой грядке, а другие цветы (посаженные) не цветут. Взошел салат, укроп, но растут плохо, мало солнца. У Гали салат сеяли 2-го мая, и он уже готов. Земляника у нее буйно цветет. Сергуня говорит: «Она покраснела, буду хватать ягоды с грядки».

Юля Никитична болеет, не приезжала к нам в этом году. Рада ездила к ней в Киев, провела там 10 дней. Очень довольна поездкой.

Живу одна на даче, даже довольна одиночеством. Звала Аню Тарасову, а у нее обнаружились приступы печени, пока не может. Катя Симочкина приехала бы, но я ей предложила после А. Тарасовой. В субботу-воскресенье бывает Сережа. Собирается в отпуск на машине с Олей[143] и ее детьми. Зачем ему это?

26 июня 1978 года, понедельник.

«Что ты спрячешь, то пропало,
Что ты отдал, то — твое».

(Ш. Руставели)

«Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен…»

(А. Блок)

«Лицом к лицу лица не увидать.
Больше видится на расстоянье».

(С. Есенин)

«Она не звук окостенелый,
Не просто некий матерьял, —
Нет, СЛОВО — это тоже дело,
Как Ленин часто повторял…»

(Александр Твардовский)

Приехал Никитка, сын Сергея, со мной в пятницу 23 июня. Конечно, побежал «гулять» — навещать своих многочисленных друзей в окрестностях. А вчера (воскресенье) ушел в 11 часов утра и вернулся в 10 часов вечера, половину дня провел в семье Сергеевых[144] (отец Лолиты, внучки Ибаррури). Не хочется думать, что Ника уклоняется от общения с отцом. И со мной?

Провожу инъекции АТФ, может пройдет моя невероятная сонливость? Второй день приличная погода, может начнется рост земляники. Ландыши отцвели, купава отцвела, сейчас цветут аквилегия, незабудки, лютики всех видов. Мои прививки на яблоню и сливу не принялись. Травы зацветают. Лето свое берет. Новое в характере — спокойствие и даже равнодушие к нежелательным явлениям. Л. И. Брежнев вручал в Белоруссии орден Ленина и медаль «Золотая звезда» гор. Минску.

Вчера заезжала Юлка (Юля-младшая) с Ниной,[145] привезли мне цветы. Я им подарила прошлогоднее желе из черной смородины. Нине 1 августа исполняется 16 лет, она с 29 июля будет в санатории. Оставила адрес, хочет получить от меня письмо. Жалко мне детей Юлы, семья совсем не та, что была при жизни Левы и его родителей. Я сказала Юлке о предстоящей «свадьбе». Она пожалела Сергея, сказала, что он влип и тут ничего не поделаешь, нужно время, чтобы увидеть то, что другим видно и ясно теперь. Жаль мне Сережу, если ему придется вспомнить жизнь с Галей как светлые дни… А это будет.

За время перерыва в моих записях полетали и пожили в космосе две группы космонавтов, с первой летал чешский космонавт, со второй — поляк Ермашевский. Вчера по телевизору

показывали его и нашего Климука — его командира на «Союзе-30». Наша основная группа Коваленок и Александр Иванченков продолжают трудиться на космической станции. Так быстро забываю фамилии! Вовремя надо записывать. Прекрасный телефильм сделали Климук и Севастьянов о мелочах полета и жизни в космосе. На днях показывали, с удовольствием посмотрела.

Прочитала последнюю автобиографическую книжку Мариэтты Шагинян «Человек и время». Вот удивительная голова у этой 90-летней писательницы!..

За это время читала Константина Симонова «Разные дни войны» в 2-х томах. Очень удачно оформил автор фронтовые дневники.

По телевидению показали установку железобетонных опор (вместо металлических) на ЛЭП Омск — Петропавловск. Н. С. много крови попортил, внедряя эти опоры, особенно после поездки в Австрию. А сейчас говорят об этом как о новинке.

Хочется запечатлеть интересный факт: польская женщина-капитан Кристина Хайновска-Лескевич вернулась 18 июня из кругосветного путешествия на яхте «Мазурек». Она одна провела в плавании более 2-х лет и сделала более 30 000 миль.

Она — конструктор-строитель кораблей в Гданьске. Сегодня показали по телевидению репортаж о ее возвращении домой.

31 июля 1978 года. Сегодня 3-я годовщина подписания заключительного акта совещания 35 государств в Хельсинки в 1975 г. Сегодня США делают все, чтобы аннулировать значение этого акта.

Несколько дней стоит относительно теплая погода, но по ночам прохладно (+8 — 14 С), растения медленно развиваются, малина не зреет. В прошлом году в это время все ягоды созрели, а в этом году 28 июля продали первый урожай вишни, ягоды сплошь растрескались от дождя. Записываю об этом для памяти. Проявляю интерес к росту и самочувствию растений: в моем ящике огурцы выросли только в 4 листочка, помидор выбросил веточку будущего цветения, на грядке у земляники этого еще нет (там меньше света).

Алешенька[146] кончил медицинский институт, получил назначение на работу в Институт микробиологии АН СССР, побыл 2 недели в доме отдыха под Ригой, уже вернулся. Ваня[147] закончил практику, а Никитка Сергеевич еще трудится на набережной в строительном отряде МГУ. Вчера он целый день навещал своих друзей в Жуковке, уехал после 10 часов ночи.

Очень болят у меня ноги, не могу ходить, а чем лечиться,

если противопоказаны электропроцедуры?

2 августа 1978 года.

> «…Отцы умирают внезапно, матери постепенно. Ведь отцы обязаны выглядеть сильными,…и это их подтачивает, подтачивает изнутри».
>
> *Вардгес Петросян из Армении.*

27 августа 1978 года. Хочу записать о космонавтах. Коваленок и Иванченков еще трудятся на космической станции, а им вчера послали новую пару на неделю: командир — Валерий Быковский, исследователь из ГДР — Зигмунд Иен. Сегодня их показали с семьями по телевидению.

Вспомнила, как Н. С. волновался, когда летал Гагарин, как он высоко отзывался о душевных качествах его жены Вали.

Н. С. считал неправильным, что Валю Терешкову произвели в военные перед полетом, требовал, чтобы она появлялась на народе в штатском. Почему-то вспомнила о ее свадьбе с Николаевым в доме приемов Совмина на Ленинских горах. Кому я отдала фотоальбом? (О свадьбе.)[148]

29 августа 1978 года. 19 августа 1978 г. Сережа зарегистрировал свой брачный союз с Олей в ЗАГСе. Там были кроме них дети Оли — Глеб (13 лет) и Лена (8 лет), Семен и Валя Альперовичи и Слава[149] из Душанбе как свидетели. В таком составе они приехали в Жуковку на обед. Предварительно я ничего не готовила, Сережа не велел. Оля на ходу жарила пирожки с мясом, помогал ей Глеб. Икра из баклажан и перцы были приготовлены в городе. Выпили $1^1/_2$ бутылки шампанского и $^1/_2$ бутылки водки, песен не пели, не танцевали, речи поздравительные произносили Валя, Семен и Слава. Посуду мыла Валя. Потом вместе с детьми ходили в клуб в кино. Какая была свадьба, такая, боюсь, будет и семейная жизнь. Очень грустная перспектива для меня, боюсь, что для Сережи — тоже. А что же теперь делать?

Очень болит у меня правая нога (колено), еле хожу. От «блокады» тилэфиром и повязок пока толку мало. Совсем падаю духом…

17 сентября 1978 года. Сижу в Жуковке одна, а сделать запись вовремя — некогда. Вчера заехала Юла (младшая) с дочками, привезли много яблок (грушовка). Сегодня целый день возилась с

ними, но еще много осталось. Обещала Юле обработать, недооценила трудность работы.

Четыре дня на прошлой неделе прожила у меня Анна Осиповна, но больше не хочет, все время дожди и холодно.

Катя Симочкина позвонила, вышла из больницы после операции на желчном пузыре. Долго болела, сейчас плохо с сердцем. Сказала: «Лучше бы я умерла в больнице».

Сережа уехал в Ташкент в начале сентября, два раза звонил. Не знает, когда кончится его совещание. Он не говорит со мной о своих семейных планах, я не знаю, что будет дальше.

Сосед Александр Петрович[150] уехал в Крым, другие соседи тоже дачи покинули, даже поговорить не с кем.

Радочка лежит в больнице, с чем не знаю, не говорит; целую декаду лежала дома с высокой температурой.

Витя ездил в отпуск на Северное море, на байдарке плавал с Илюшей[151] в холодную дождливую погоду. Привез ягоду морошку (никогда раньше не видела!), а черника в конце августа еще не созрела.

А у нас малина отошла недели полторы тому назад, перед отъездом Сергея в командировку угощала его малиной.

Земляничная рассада, высаженная в июле почти не выросла. Посеяла в ящик с землей земляничные семена, взошли, но не растут. Зато подсолнух растет.

Никита Аджубей[152] ездил в Варшаву, жил две недели в квартире Веры Александровны. На днях застала у них (у Никиты и Маши) Олю — внучку Веры Александровны, она заехала по дороге в Ташкент, там у нее знакомые.

Ване Аджубею сделали операцию на втором глазу,[153] поэтому он не поехал на уборку картошки.

Военные убирают хлеб, студенты — картошку, НИИ (научно-исследовательские институты), наверное, тоже.

Звонил Лёня[154] проездом из Сибири, где он с солдатами убирал хлеб. Солдаты поехали еще в одну область, а Лёня поехал домой.

Юлия Никитична звонила из Киева, хочет приехать в Москву после уборки своего урожая. Чувствует себя неважно.

Сегодня заметила, что в этом году Марковы[155] ни разу не зашли ко мне, хотя в кино приходили.

Не могу успокоиться — умер Перепелков, самый молодой член нашей парторганизации.[156]

20 сентября 1978 года. Болит нога, целыми днями сижу и лежу, гулять не могу. Прошлась до клуба нарезать крапивы, нужны ее листья в набор трав, рекомендовал эндокринолог, а в

аптеке нет. После этой прогулки лежала, нога разболелась…

В 18 часов по телевизору показали приезд Л. И. Брежнева в Баку (для вручения ордена и участия в празднике). Танцы на улицах взрослых и детей, крики «Ура!», большую толпу людей и, конечно, толстого генерала[157] рядом с Леонидом Ильичом. Со вчерашнего дня передают по радио и телевидению репортажи о встречах по дороге на железнодорожных станциях, о беседах и «указаниях». Чему учится молодежь на этих примерах? Мне тяжело участвовать в этом подхалимстве.

Сережа позвонил из Душанбе, что вернется 24–26 сентября, в зависимости от того, когда достанет билет. Ника позвонил из Крыма, Рада еще не вышла из больницы. Завтра поеду в город.

Прочла «Мы не увидимся с тобой…» Константина Симонова, конец войны, работа и переживания корреспондентов газеты «Красная звезда» об их семьях, встречах. Люблю читать книги К. Симонова. Виля Липатова читаю все, что печатают, хоть некоторые не любят его.

Прекрасный вечер поэзии Юлии Друниной передавали из Концертного зала Останкино. В зале — молодежь, очень много девушек с глазами, горящими интересом и взаимоотзывчивостью. Никогда не прочитала бы столько стихов ее, сколько услышала на вечере (по телевизору) — стихи о войне.

18 октября 1978 года, вторник, 22 часа. Передают по телевизору вечер поэзии Андрея Вознесенского. Он сам читает стихи. Мне не нравится его манера чтения, пропадает впечатление от существа его стихов.

Радочка вышла из больницы, 19 октября уезжает в дом отдыха «Пицунда». Оказалась у нее желчекаменная болезнь, повышалось кровяное давление.

Юля Н.(икитична) попала в больницу «Епифания»[158] с микроинфарктом.

Звонила (проездом) Ася Колчинская, она навещала Юлю в больнице, сказала, что Юля начинает выздоравливать. На обратном пути из Болгарии Ася зайдет взять для Юли панкреатин. Юля говорит, что здешнее лекарство лучше киевского.

Неожиданно потеплело, третий день нет дождя, солнце светит, и я осталась в Жуковке. Решила, что побыть в такую погоду лучше, чем ходить по коридорам поликлиники.

А космонавты Коваленок и Иванченков до сих пор летают… Мне их уже жалко.

«Чем больше от себя отрываешь,

Тем больше тебе остается…»

(Андрей Вознесенский)

«Человеку мало надо,
Лишь бы дома кто-то ждал…»

(Роберт Рождественский)

22 октября 1978 года, воскресенье. Уехал в город Сережа, сижу у телевизора. С большим успехом выступают в зале Чайковского таджикские артисты балета, Малика Сабирова (народная артистка Таджикской ССР). Очень правильное мероприятие! Пусть смотрит весь мир на достижения бывших отсталых народов.

Закончилась 6-я серия телефильма «Как закалялась сталь» производства Киевской киностудии им. А. Довженко. Хорошо сделана картина, вопреки плохой славе студии. Я даже поплакала.

Сережа позвонил, что умер Анастас Иванович Микоян. Еще один «звонок». Жалко Анастаса Ивановича, а особенно его сынов и внуков.

23 октября 1978 года. Болит сердце. Никак не могу успокоиться. Реагирую на смерть Анастаса Ивановича. Сказала Сереже, что на похороны не пойду, чтобы не взбудоражить сердце, а оно дома взбудоражилось.

Слушала и смотрела заключительный концерт армянского искусства в РСФСР.

Удивляет большое количество государственных ансамблей и в них большое количество участвующих. Н. С. сказал бы: «А сколько же их по процентам работает на производстве, если столько на сцене и за счет государства?»

«Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть…»

Тютчев

4 ноября 1978 года. Приехала в Жуковку на праздничные дни с А. О. Тарасовой. Здесь лучше дышится, зря я пробыла в городе

10 дней, а все — мелкие домашние дела.

Космонавты Коваленок и Иванченков благополучно приземлились. Хочется сказать «слава богу»… Вид у них был по телевидению неважный.

Сережа уехал в командировку в Гарм,[159] там было землетрясение, и не звонит давно. Тревожно…

Сегодня провели торжественное заседание во Дворце съездов. Доклад делал (1 час 20 минут) А. Н. Косыгин. Хороший доклад, хорошо читал, приятно слушать.

17 апреля 1979 года (утро). Как долго не записывала ничего, а жизнь идет, время мчится… С 25 февраля 1979 года в космосе летают на станции «Салют-6» Ляхов и Рюмин. 11 апреля 1979 года на корабле «Союз-33» были запущены в космос Николай Рукавишников и Георгий Иванов (болгарин). Цель — стыковка с «Салют-6», но в двигателе появились неполадки, и космонавты через два дня вернулись на землю. Хорошо, что вернулись! Перед полетом было организовано в Болгарии и у нас большое «шоу», летели накануне Дня космонавтики. Когда не состыковались, Сережа сказал, что отец (Н. С.) не позволил бы лететь накануне праздника. И я помню, что Н. С. очень возмущался, когда погиб корабль с тремя космонавтами,[160] а при отлете «посвящали» его какому-то празднику. Нельзя подгадывать к событию, надо серьезно, тщательно готовиться и только тогда лететь.

Болят у меня ноги, болит сердце, никому я не нужна, только и остается, что жаловаться на свою судьбу.

Н. С. исполнилось бы 85 лет. Сережа читал в 5 часов лекцию в Институте[161] и с нами на кладбище не ходил. Его друзья, конечно, тоже не пришли. Привез корзину гвоздик Витя и уехал, не дождался моего приезда. Юлка с Любой и Машей тоже не дождались. Я приехала с Радой, Алексеем Ивановичем, Нюрой Писаревой[162] и Ирмой (племянница Н. С.). Ирма зашла, чтобы рассказать о своей поездке в Киев на экскурсию. Видела Юлю-старшую.

1 мая 1979 года. С 10 до 12 ч. продолжалась манифестация трудящихся на Красной площади. Несмотря на дождь, шествие было веселое, оформление — масса искусственных цветов, очень впечатляющее. Портретов членов Политбюро почти не было, изредка — несли портрет Ленина, а Маркса-Энгельса — только в колонне Тимирязевского района. Зато портрет Брежнева несли все колонны. Много воздушных шаров несли, отдельными и пачками. Вечером показали кусочки демонстраций в других республиках, так там не видно было ни портретов, ни цветов,

только знамена и шары. Любопытно… А стареньким руководителям на трибуне тяжело лишний раз руку поднять в приветствии людям или улыбнуться. За 2 часа выдела одну улыбку только у Косыгина! Особенно мрачными выглядели Брежнев и Кириленко.

Вспомнила, как Н. С. оживленно вел себя на трибуне Мавзолея, не стеснялся снять шляпу и помахать ею проходящим.

Даже лозунги провозглашали кто-то скучно, без энтузиазма, и отклик «Ура» бывал слабый и короткий. Вот какие впечатления от сиденья у телевизора в одиночку…

22 мая 1979 года. Вот как время летит… 3 мая было жарко (+25С), я разделась, нагрелась, продуло ветерком — в результате на 10 дней простуда, провалялась на городском диване, пропустила весну, ее начало, не видела, как распускались березки.

После холодов наступили жаркие дня и все стало расти. Цветов почти нет, цвели лютики, сейчас зацвели незабудки, но очень мало, так же как и белых лесных цветов (я их называю «звездочки»). Медуницы не видела. Яблони почти все померзли, слива замерзла, а малина только подмерзла, уже распускается и выбрасывает бутоны. В этом году зацвела черная смородина. Может это потому, что я два года аккуратно обрываю почки с клещом? Земляника живая, а цветочных почек нет, тоже померзли. Черника вымерзла.

Дома событий много, но писать о них *не хочется*. Посмотрим, что будет дальше.

Вчера читала в журнале «Дружба народов» № 2 — 79 г. беседу редакции журнала с руководителями колхозов, руководителями Ядринского района и секретарем обкома Чувашии, «Нечерноземье, пять лет спустя». Беседа велась о промышленном земледелии, о комплексах и др. наболевших вопросах. Квалифицированные люди, понимающие интересы общегосударственные и колхозные, знающие, ЧТО надо и КАК надо. Но один председатель колхоза недоумевал, почему Госплан отошел от такой удобной формы заданий, как мясо, молоко, зерно и прочего на 100 га пашни. Может быть потому, что ЭТО придумал Н. С.?

31 мая 1979 года, четверг. Лето развивается кругом. Дни стоят жаркие — до 3 °С, дождей нет, пока все растет бурно. Отцвела крапива, цветут ландыши, незабудки и еще какие-то лесные цветы. Одна яблонька выпустила листочки, а другая — нет. Слива тоже не ожила.

На днях передавали по телевизору заседание Комитета по году ребенка, председатель — Терешкова. Выступали Лыкова (заместитель председателя СМ РСФСР) и Дементьева[163] (секретарь МГК) Я смотрела на них и думала: активной работой они сохраняют себе активность физическую, до какой-то степени — «молодость».

12 июня 1979 года, вторник. Семеро комсомольцев по инициативе газеты «Комсомольская правда» на лыжах прошли около 2 тысяч км до Северного полюса. Благополучно вернулись, выступили по телевизору. Оказывается, они тренировались, готовились к этому переходу 10 лет. Рассказал об этой подготовке журналист Песков по радио. Люди безусловно с героическим характером. Лев Ошанин написал стихотворение в их честь: «На полюсе».

В век техники в любом пруду моторка,
И вдруг, с запасом личного тепла,
Отчаянная лыжная семерка
Торосами до полюса дошла!
Так, значит, можно!
Значит, не отпелась
Былина о семи богатырях!
И, значит, человеческая смелость
Лишь до поры стоит на якорях.
Спасибо вам, ребята!
Так и надо.
И целый мир сегодня вами горд.
Пусть впишет ваш поход Олимпиада
Как самый сногшибательный рекорд!

Это напечатано в «Литературной газете» от 6 июня 1979 года, № 23. Я решила записать об этом событии, жизнь мчится, память сглаживается, а хочется запомнить такое впечатляющее событие.

Смотрю по телевизору двадцатисерийный фильм Романа Кармена «Великая Отечественная война». В серии «Сталинградская битва» показали два кадра с Н. С., но отметить этот факт трудно, так мгновенно проходят эти кадры. Обидно за Н. С. и особенно за Андрея Ивановича Еременко, его роль почти не отмечена. Зато Сталин, Жуков, Василевский показаны часто.

9 августа 1979 года, четверг. Совсем я перестала записывать, все некогда, иногда не хочется из-за слабости, а в июле-августе болит правая рука — сустав плечевой, а вся рука не хочет работать. Сразу, чтобы не забыть, хочу записать о впечатляющем

вечере калмыцкого поэта Давида Кугультинова в концертной студии «Останкино» 8 августа 1979 года. Сам поэт производит прекрасное впечатление: остроумный, образованный, хорошо читает на чистом русском языке. И стихи на разные темы, особенно лирика, хорошие. Молодежная аудитория отдавала ему должное.

Сейчас живу в Жуковке одна, отдыхаю. Конец июня и июль со мной жили Никита С. и Нина (дочь Юлочки). Приятная компания, но я очень уставала от непрерывных забот по дому, поэтому отдыхаю теперь, хотя приходится ходить в магазин за продуктами, а тогда они ходили… Нина сдает вступительные экзамены на факультет филологии в МГУ, Никита должен был ехать с мамой на Украину, но в машине испортился тормоз, пришлось остаться. Хотели бы поехать в Таллин, если удастся организовать жилье.

Умерла Катя Симочкина. Лечили от неполадок в печени, умерла от воспаления поджелудочной железы. Кончились ее житейские переживания. Задумываюсь о своей перспективе, радостного мало. Пришла к твердому выводу, что не нужна я своим младшим родственникам: живу — позвонят по телефону; умру — раз в год вспомнят, а может быть, и нет… Один Ника С. проявляет какое-то сердечное внимание и как-то — Рада.

В июле приехала Оля с детьми, поселилась в моей квартире. Придется мне привыкать к непривычному режиму жизни, никогда еще не жила в коммунальной квартире, в молодости было студенческое общежитие.

Сергей с ними поехал в Карелию к Вадику[164] на озера, пробудут до половины августа. Это хорошо, я успею привыкнуть к мысли о жизни в новой семье.

А земляника-то зацвела и плодоносит! И малина дала небольшой урожай.

31 августа 1979 года, пятница. Хоронили сегодня Константина Симонова, урна будет поставлена в стене Новодевичьего кладбища (там, где похоронены его мать и отчим, Симонов так просил).[165] Я не могу успокоиться второй день, так мне его жалко. Только на днях прочитала его воспоминания о разных писателях. Несправедливая природа: умирают полные жизненных сил, способностей, относительно молодые; живут старые, никчемные, не живут — доживают.

Нина (дочь Юлы) поступила в МГУ на филологию. Ника побывал с мамой в Таллине, удачно — была хорошая погода. Завтра начинает заниматься в Университете. Бродил тут в лесу, выискивал подходящие деревяшки, обрабатывает.[166]

Позвонил Алешенька (сын Рады), сказал, что подумывает заехать в Жуковку, когда родители поедут отдыхать.

Нюра Писарева вернулась из Киева, рассказала о Юле Н. (икитичне), передала приветы.

«Литературная газета» № 36 5 сентября 1979 года посвятила целую страницу памяти Константина Симонова: «Писатель-коммунист» — Алексей Сурков. «Мир, увиденный не со стороны» — Ираклий Абашидзе, «Неповторимая личность неповторимой эпохи» — Степан Щипачев. «Он славно жил» — Александр Кривицкий.

«Это был сильный, красивый, благородный человек» — Эдуардас Межелайтис.

В его статье есть такие строки: «Константин Симонов был одним из тех литераторов, чье перо можно приравнять к боевому оружию. Жизнь для него была фронтом, в окопах которого изо дня в день идет борьба между добром и злом, передовым и отсталым, между новым и старым».

7 сентября 1979 года, пятница. Два дня жила у меня Зоя Павловна.[167] Вчера отвезла ее по дороге за продуктами. Получила пакет с шофером, распечатала у Гали и сразу уехала на дачу. В квартиру не заходила: Оля вынесла газеты, я ей передала продукты. Очень удачно получилось. Успела пообщаться с Никой, а Ваню (сына Рады) не увидела, он пришел позже меня.

Позвонила Юлия Никитична из Киева. Очень была рада услышать ее голос. Обещала приехать в Москву через месяц.

Сегодня Л. И. Брежнев вручил награды космонавтам Рюмину и Ляхову за 175-дневный полет в космическом пространстве.

Юлочка (Юля-младшая) сказала, по телефону, что в октябре пойдем в ЗАГС с Борей Жутовским[168] (художник). Желаю ей успокоиться немного.

Рада с Алексеем Ивановичем уезжают в отпуск на Пицунду, едут машиной 9 сентября. Не хотят страдать на обратном пути на аэродроме. Жаль, что похолодало.

24 сентября 1979 года, понедельник. Повезло нам с погодой, три дня нет дождя, солнце светило, два дня температура поднималась до 24 °С, сегодня — 16 °С, но все равно тепло. Работала в пальто — жарко стало. Добрые руки Никиты, Сережи вырезали отплодоносившую малину, а я проверяла, подвязывала. Вырезала несколько растений на грядке, собрала в ведро опавшие листья березы, отнесла на кучу под орешник. Собрала горсть ягод земляники.

Осень расцветила деревья и кусты, кругом: красное, желтое

на зеленом фоне.

Позвонила Вера Федоровна, рассказала как Витя пропадает свободное время на яхте. Хорошо, не будет кашлять.

Рада звонила домой из Пицунды, все у них хорошо пока.

Юлочка вчера в обморок падала, доктор сказал, что это последствия гриппа, перенесенного на ногах.

Надо записать, что на прошлой неделе Ника возвращался из И-та в 9.30 вечера, и на него напал грабитель, молодой парень, хотел снять штаны (джинсы), но успел взять часы и разбить Нике губу. Заявили в милицию, а там «в утешение» рассказали о нескольких подобных случаях. Если бы их не увидела женщина и не закричала бы, что сейчас звонит в милицию, наверное, Ника лишился бы и часов, и джинсов.

Очень все забываю. Например, завернула тарелки, чтобы взять их на дачу, нарезала листков алоэ, тоже взять, положила на столе в кухне. Отвлеклась полить цветы и забыла все на столе полностью на два дня. Перелила молоко в бутылки, убрала их в холодильник, а кастрюлю забыла на мойке до следующего прихода в кухню. И так много раз.

«…Без общения с другими душами
Наша собственная душа мелеет…»

С. Маршак.

«…Цветная осень, вечер года
Мне улыбается светло…»

3 октября 1979 года, среда. Сегодня не было дождя. Жгла костер из сухих веток жасмина, их вырезал Никита в свое время. А в середине дня закружилась снежная крупа. У Никиты день рождения (20 лет), но его нет — в Ленинграде слушает выступления на заседании психологического симпозиума. Читаю 3-ю книгу «Кузнецкий мост» Саввы Дангулова. Там есть такое место: автор описывает визит Коллинза (англ.) и Бекетова (наш дипломат в пос-ве) к Бернарду Шоу: «…За год, минувший со времени последнего визита Сергея Петровича (Бекетова) в Эйот-Сен-Лоренс, его (Шоу) седины не стали ярче. Наоборот, они точно потускнели, сделались серо-зеленоватыми, точно мох привядший, усохло лицо и веки стали малиновыми, — «Видно, новый поворот возраста».

Какая «перспектива» перед нашим поколением! Глаза у меня

уже стали маленькими.

Умерла Маруся (Мария Ивановна, сестра-хозяйка, проработавшая с Н. С. с 1930-х годов) еще в мае, я а узнала только на днях. Не сказала мне Рада, спасибо ей. Очень расстроена этой смертью…

По поводу 30-летия Китайской Народной Республики напечатано приветствие китайцам от Президиума Верховного Совета и Совета Министров СССР, вчера по телевидению была обзорная передача, напечатаны цифры о состоянии экономики КНР. Население КНР к началу 1979 года составляет 975 млн человек!

6 октября 1979 года, суббота. Савва Дангулов изрекает мысли (в III книге «Кузнецкий мост»), которые хочется мне записать. Французский корреспондент русского происхождения Галуа в беседе с Тамбиевым (МИД) говорит о Черчилле в дни Потсдамской конференции: «…Человек бессилен перед властью событий — оно возносит человека и оно его низвергает. Оно творит личность по образу своему и подобию, при этом согласитесь, что крупные фигуры не возникают на свете вне крупных событий, а? Если событие на ущербе, стремительно мельчают и люди, которые к нему причастны, не так ли? Есть в облике этих людей нечто от последышей в многодетных семьях — то, что наскребла природа на самом донышке, что слепила из завалящих материалов, больше не сотворишь!.. Взгляните на Трумэна и Эттли, и дополнительных объяснений не потребуется: великое событие пошло на спад…»

12 ноября 1979 года, понедельник. Давно собиралась записать воспоминание о давнем переживании в связи с письмом — просьбой старой женщины, чтобы ей дали комнату в квартире с ванной. Проработала она всю жизнь на текстильном предприятии, всегда ходила в баню, а в старости не стало сил, и предел ее мечтаний было — помыться в ванне, погреть кости в теплой воде… Не знаю, помогли ей или нет в аппарате Н. С., а вспоминаю об этом письме теперь потому, что сама так чувствую, когда моюсь теплой водой. Если моюсь холодной водой, болит сильнее рука.

Вот и прошли дни праздника 62-й годовщины Октября, еще годок прибавился.

Праздничные дни провела в Жуковке. Собиралась приехать Юля Н(икитична), но в последний день передумала. Заехала 7 ноября Юлочка со своим семейством, привезла чудные гвоздики. Посидели они немного и поехали на свою дачу.

8 ноября приезжал Витя с мамой. Вера Федоровна привезла печеные пирожки, они тоже быстро уехали. Витя собирался в гости к Сергею, я решила не ехать, чтобы им не мешать в квартире.

10 ноября, в субботу встретилась с Асей Колчинской в квартире, она рассказала о Юлии Никитичне. Ничего утешительного: Юля слаба, а ей приходится делать на троих — Галина Петровна[169] живет у них как гостья.

Радочка лежит в инфекционном отделении с вирусным воспалением легких, болеет больше месяца, а улучшения пока не видно. Антибиотики она не принимает (аллергия), а другие лекарства слабо действуют.

…Вернулась я из Москвы в Жуковку вчера как в родной дом! В квартире чувствую себя как на вокзале; как временный случайный человек. Теперь понимаю, почему Н. С. говорил, что дома он — в Петрове-Дальнем, а в квартире он не чувствует себя дома. На даче я вымылась, выспалась, начиталась, насмотрелась телепередач, одним словом — дома.

Читаю в «Новом мире» № 4, 5, 6 (литературный журнал) очень интересные для меня необычные впечатления и размышления об Англии журналиста Всеволода Овчинникова «Корни дуба». Очень интересные записки. А на дворе — зима, гнилая, каждый день идет снег с дождем. Даже гулять страшно, скользко на асфальте.

Аня Тарасова похоронила Паолу 6 ноября, рак легкого! Такая несправедливая природа! Матери 83 г., живет, а молодая дочь умерла…

…Сергуне исполнилось 5 лет, а папы дома нет… Вспомнила, как он бежал навстречу Сергею с воплем «Наш папа идет!», когда ему было около 3-х лет. Мы с ним гуляли во дворе на улице Станиславского, где они жили, и я тогда сказала, что кто-то идет к нам навстречу…

10 декабря 1979 года. Кончается еще один год, мне скоро исполнится 80 лет. Подумать только! И чувствую себя по этому возрасту: переступаю ногами медленно, сгибаюсь, устаю от любого усилия. Радуюсь, когда ложусь в нагретую постель (электрический матрас подарили Н. С. Ульбрихты[170] к 70-летию), и каждый раз вспоминаю старую текстильщицу, которая писала в письме к Н. С. о том, как она мечтает погреть кости в теплой ванне (а жила она в коммунальной квартире, где не было ванны).

Радочка до сих пор в больнице, только начинает поправляться. Очень тяжелое заболевание оказалось. Вчера

Алексей Иванович и Никита (старший сын Рады) навещали ее в больнице, Никита вымыл ей ноги и отрезал ногти (эту работу почему-то не делают сестры).

Вчера принимала много гостей: Алешеньку (средний сын Рады), Алексея Ивановича (Аджубея), Нику, Сергея с его семьей. У меня очень болела нога, все обслуживали себя сами. Хорошо, что я приготовила себя накануне.

18 декабря 1979 года. Несколько дней стояли морозы, а сегодня опять 0 С. Я болею уже вторую неделю — простудилась. Лечусь без врача самостоятельно, температура нормальная, совестно вызывать доктора. Но что-то я подхватила — сплю целыми днями и ничего делать не хочется, даже читать.

Юлочка (Юля-младшая) позвонила, что болеет тяжелым гриппом, высокая температура, очень плохое самочувствие… К счастью, никого не заразила, а в больницу лечь не предлагали ей. Советовала мне не ездить в город.

Юлия Никитична послала письмо, может быть она мне позвонит… Нюра Писарева сказала, что ей звонил Виктор Петрович из Хосты, а Юля не поехала в Москву потому, что побоялась приступа.

Раду перевели в другое отделение, где общий телефон в коридоре. Она чувствует себя значительно лучше и каждый день звонит. Пока не гуляет, еще есть хрипы.

Очень болит у меня левая рука, мешает даже одеваться. А вдруг у меня то же, что было у Паолы, племянницы Анна Осиповны? У нее катастрофа началась с боли в руке, и за лето развитие привело к концу… Очень я сонливая, хотя инъекции папаверина и платифилина должны были снять сердечную слабость. После завтрака сплю почти до обеда. Как можно спать, если человек только что встал…

Наверное *так* организм готовится к вечному сну…

24 декабря 1979 года. Сегодня в 9.30 передавали по радио «Поэтическую тетрадь». Когда я включила, подумала: «передают революционные песни». Пели «Варшавянку» Глеба Максимилиановича Кржижановского. По окончании диктор сказала, что он написал еще одно стихотворение (уже в старости) и поместил его портрете, подаренном Ивану Семеновичу Козловскому. Иван Семенович был в гостях у Глеба Максимилиановича и получил на память фото с надписью в стихах. Козловский поет очень торжественную кантату, посвященную 60-летию Октябрьской революции, и в конце помещает слова Глеба Максимилиановича, и там есть такие

(приблизительно): «…вспомните ли нас, давно ушедших?»

8 января 1980 года, вторник. Начались ночные морозы до -28 С, в квартире температура упала до +16 С. Неужели придется уезжать в город? С грустью об этом думаю. Аня Тарасова пожила со мной неделю (30 декабря — 4 января) и уехала домой. Не привыкла к такой прохладе. А я могу жить, только нога болит очень. Не успеваю читать газеты…

10 января 1980 года. Хочется записать, чтобы не забыть. В «Правде» за 6 января напечатан очерк Георгия Яковлева «Мать» о Дусе Королевой, всю жизнь проработавшей на шахте Рутченкова[171] и которой исполнилось недавно 100 лет. Вот жизнь!

Сегодня по телевидению показывали чествование актера Малого театра Анненкова по поводу его 80-летия и 60 лет работы в театре. Приветствовала и обнимала его также Гоголева, которой уже за 80. Очень талантливый актер — сегодняшний юбиляр.

Прочла в «Правде» за 7 января очерк Леонида Кудреватых «Принадлежат орлам вершины». Автор поставил в заголовок слова Ивана Алексеевича Лихачева, сказанные в 1936 году в адрес Московского автозавода по поводу досрочного выполнения 2-й пятилетки. Хорошие слова! А очерк перечисляет книги, посвященные И. А. Лихачеву: роман Василия Гришаева «Рожденный на рассвете» (изд-во «Советский писатель»), Тамара Леонтьева «Лихачев» — серия Ж.З.Л. (Жизнь замечательных людей), изд-во «Молодая гвардия». С интересом прочту, если достану.

16 января 1980 года, среда. Кайсын Кулиев читает стихи на вечере в Останкино. Очень его люблю, хороший поэт. Очень болит нога, не знаю, как завтра поеду в Москву. Нюра Писарева говорит, что эта боль от ветра, который дует сегодня. Вряд ли. Второй день болит.

В пятницу приезжает в гости Нина из Киева и выписывается из больницы няня Аграфена Георгиевна. Надо машину туда и сюда.[172]

Радочка уже ходит гулять на улицу. Скорее бы вышла из больницы…

26 января 1980 года, суббота. Вчера сообщили, что Тэтчер не разрешила Ромешу Чандра[173] въезд в Англию, куда он собирался на собрание сторонников мира в Англии. Наглеет реакция…

У нас: академика Сахарова лишили всех наград и званий

(кроме академика) и, говорят, выслали в Горький за активную антисоветскую деятельность.

На днях сообщили, что президенту Югославии Тито отрезали ногу. Сочувствую ему очень.

Прожила у меня пять дней Нина Ткач, в среду уехала. Наверное, мы с ней виделись в последний раз, мне так подумалось.

Очередной раз написали в открытке к Новому году Ванюшины:[174] «С грустью отмечает забвение заслуг Н. С. в освоении Целины и ликвидации культа личности в последних газетах и кинофильмах». Помнят еще люди Н. С. А молодое поколение не будет его знать, наверное…

28 января 1980 года. Сообщили сегодня, что Ромеш Чандра был арестован в Лондоне, его содержали 18 дней в тюрьме, а затем выслали из Англии.

Усилился мороз, ночью в доме температура опустилась до 12 ˚С в даче. Не хочется уезжать.

12 апреля 1980 года, суббота. Сегодня торжественный День космонавтики. Накануне полета в космос очередная пара: Леонид Попов и Валерий Рюмин (недавно вернулся после 175 дней пребывания в космосе). Сегодня показывали их по телевидению, и они приветствовали людей по случаю дня космонавтов.

За последние два месяца много произошло событий, а мне некогда записывать.

Радочка вышла из больницы, но еще не выздоровела, долечивается дома. Немного пожила у меня, уехала домой, сегодня опять приехала, чтобы побыть с Юлей Н(икитичной). Юля-старшая приехала в конце марта проконсультироваться у московских медиков. В начале недели пойдет в больницу Института гастроэнтерологии на специальное обследование. Она очень похудела, ничего почти не ест (рис, мясо вареное, чай), плохо себя чувствует.

Радины сыны отличились: Никита защитил успешно диссертацию аспиранта МГУ. Алешенька выступил на конкурсе молодых ученых по специальности и получил первую премию.

Ваня и Ника сдают экзамены, Ваня сдал военное дело и получил звание младшего лейтенанта. На полдня загордился.

Сергуня ходит в детсад, а дома…

…Лето кончилось, а погреться не успела. Малина до сих пор висит зеленая и даже цветет. Флоксы только теперь зацвели и дали бутоны. Ремонтантная земляника до сих пор цветет и плодоносит (слабо, мало тепла). Береза сильно роняет листья.

Очень у меня нарвал большой палец правой руки. Почти ничего не могу делать.

Хорошо, что Ника поехал на «Трудовую»: поможет дедушке сажать смородину и облепиху, а мне не надо беспокоиться о его кормежке. Поехал поездом чуть не в 8 часов утра. Так непохоже на него (условился с Лялей Власенко накануне).

Привыкла я за лето к обществу, так сегодня уже думаю, что никому я не нужна… Может быть, так оно и есть…

Ехала на днях в Москву через новый район, все зелено — липы, кустарники, трава, все ухожено. Опять вспомнила, что это Н. С. добился облагорожения этого района.

9 октября 1980 года, четверг. Нюра Писарева вернулась от Юлии Никитичны из Киева. Рассказала, что Юля полностью не поправилась. Ест все, но кишечник работает неустойчиво. Настроение у нее тоже неустойчивое. Как будто собирается в Москву попозже, когда Виктор Петрович уедет на юг в санаторий.

Объявили по радио, что космонавты завтра будут приземляться. Они уже перекрыли все рекорды пребывания в космосе.

Меня поразила заметка в «Правде» за 9 октября 1980 года о том, как в Каире полиция и госбезопасность вломились в помещение редакции (советского журнала) «Новое время», все забрали, а сотрудников с семьями полицейские посадили в самолет и выслали из страны. Это произошло по распоряжению министра внутренних дел.

Нога болит, еле проковыляла сегодня за молоком и обратно, и то благодаря сумке с колесами.

Галя вернулась из своей «дикой» (без путевки в дом отдыха) поездки в Сочи. Довольна, что хотя бы две недели купалась в море, от всех забот отрешилась. Очень плохо отзывается об обратном поезде.

Радочка пробыла на своей даче отпускные две недели, но в норму не вошла. Кровяное давление 150/100 никак не поддается лечению. Это — результат лечения аллергии преднизолоном, а аллергию ей вызвали лекарствами в больнице.

Сережа вчера сказал по телефону, что едет в командировку в Душанбе на неделю. Показалось мне, что он доволен.

А мне ничего не хочется, ко всему равнодушна. Даже еду для себя готовлю неохотно.

20 ноября 1980 года. Сергунька вернулся из санатория, где пробыл 2 месяца, вернулся с легким насморком, а дома разболелся сильно, и сегодня отвезла его Галя в больницу с

подозрение на астму. Не везет маленькому человеку…

Ехала из города, по дороге смотрела на обочины, — какие выросли березы, клены, елки! Когда мы приехали в Москву в 1950 году, то по обочинам ставили щиты на зиму от возможных заносов… Сейчас разрослась лесная полоса у шоссе, наверное грибы водятся.

Никак не приходит в норму нога правая, теперь начало болеть бедро. Придется ехать в город жить, чтобы как-то лечиться.

13 декабря 1980 года, суббота. Если так редко писать, как я сейчас пишу, то нескольких оставшихся листов хватит до конца дней. За это время Л. И. Брежнев слетал в Индию и вернулся обратно. При этом встреча готовилась заранее на разных уровнях (семинары, собрания, печать, радио, теле…). Было страшно за него, выдержит ли он такую нагрузку (переговоры, обеды, встреча в Парламенте, встреча с руководством компартии, с активом Общества индо-советской дружбы) и везде выступления. Не знаю, как в самолете, а ходит на аэродромах нормально. Правда, поблизости держится толстый генерал (начальник охраны).

За это время на новом космическом корабле «Союз-3» слетали в космос, поработали на станции «Салют-6» и вернулись на землю три космонавта: Кизим Леонид Борисович (командир), Макаров Олег Григорьевич (бортинженер, дважды Герой Советского Союза) и Стрекалов Геннадий Михайлович (космонавт-исследователь). Уже объявлены правительственные награды, но космонавты еще приходят в себя на Байконуре. Сегодня показывали по телевидению, как они сажали маленькие карагачи (по обычаю). Они провели работу на станции «Салют-6» и испытали корабль «Салют-Т».

Я простудилась и уже пять дней болею. Если отойдет с легкими (кашель), то должна выздороветь. Врача не вызывала, температура нормальная, но самочувствие — плохое.

1 декабря приехала из Душанбе Олина мама и уже уезжает. Привезла громадные лимоны (больше грейпфрутов), выращенные ее мужем Борисом Михайловичем. Таких я еще не видела.

Меня выручает Ника младший, а старший Никита (Аджубей) упал и повредил ногу, не то растяжение, не то разрыв мышцы. А Сергуня так и не выздоровел. Один раз сходил в детсад и опять сидит дома, даже температурит. Как важно до конца высидеть в постели или хотя бы дома, не выходить на улицу.

Никто со мной не живет. Аня Тарасова уезжает в санаторий. Ника ночевал в субботу на прошлой неделе, может быть приедет в воскресенье 14 декабря. Он и его мама — единственные, кто мне

помогают в моем неустроенном быту. Я очень переживала всю неделю, — Сережа стал хромать. Почему? Не палочка ли Коха (бацилла туберкулеза) ожила под влиянием теперешнего образа жизни… Сегодня сказал, что фтизиатр ничего не нашел.

Вечером уснула в кресле, и мне приснилось, что мы катались в голубой машине: Н. С. и Сергей отошли от машины, а я и Сергуня стояли рядом, а на капоте блестели капли воды…

За это время пало правительство Польши и руководство ПОРП,[175] страну сотрясали забастовки, экономика расстроилась. Оказывается, они набрали на 20 млрд долларов займов у США и других, а платить нечем. Построили заводы, а их продукция никому не нужна, даже самой Польше, товары неходкие и низкого качества. Диссиденты получили поддержку кредиторов и с 1976 года сумели организовать настоящую контрреволюцию. Есть призывы: «Без коммунистов и без русских!» ЦРУ имело время и хорошо поработало, а где были глаза и уши коммунистов? Партию и даже руководство засорили людьми, из-за которых население отвернулось от партии. Чем все кончится, пока неясно… Бжезинский[176] обещал дать оружие, а деньги уже дали диссидентам АФТ[177] и другие в США.

23 февраля 1980 года, вторник. Похоронили сегодня Алексея Николаевича Косыгина в стене на Красной площади. Участвовали члены Политбюро (не все), войска, представители трудящихся. Хватило совести у Брежнева похоронить члена ЦК и депутата Верховного Совета в Кремлевской стене!..[178]

Вспомнила, как хоронили Н. С., даже не пришел представитель парторганизации, где состоял на учете Н. С. Наверное, совесть должна беспокоить Брежнева за эти похороны… Выглядит он плохо. Как будет отчитываться на 26-м съезде партии?

А у меня утром очень заболела голова над правым глазом. Подумала, что это для меня начало пути, по которому прошел Косыгин. Шум в голове не прекращается никогда. Начала бояться, что при инсульте никто меня не найдет: соседи не ходят, дети далеко и заняты своими делами. Так умерла Марианна Георгиевна[179] (из секции 200): ушли дети на работу, оставили мать здоровую, а вернулись вечером — она мертвая лежит в коридоре.

И сосед уехал в санаторий.

Позвонила Тамара Тамарина,[180] поплакала в трубку. Все жалеет Косыгина.

Кончается декабрь, а я никак не могу выздороветь, кашляю. Но выходить надо.

4 января 1981 года. Какой плохой период сейчас: темнеет рано, светлеет поздно, то дождь, то снег… Были морозные дни, стало тепло. Новый год встречали под шум дождя. От простуды я избавилась, лишь бы не захватить теперь грипп.

Сонливость невероятная. Полдня после завтрака сплю, а вечером сижу до 1–2 ночи. Ложусь спать, не читаю в постели, сплю 3–4 часа, а потом часами валяюсь без сна, только под утро засыпаю. Думаю, неужели это от старости?

Рада звонила Асе в Киев, узнала о Юле-старшей. Лежит она в больнице с сердцем и с кишечником. Профессор А. М. Марков считает, что сердечные приступы связаны с воспалительным процессом в кишечнике. Ася говорит, что Юле уже лучше, но она не может есть больничную пищу, надо ей приносить из дома. А кто готовит? Нина Владимировна (Бажан),[181] Ася? Какая трудная старость…

Позвонила Надя Диманштейн из санатория с приветом от Ани Тарасовой. Аня уже вернется на этой неделе, так быстро кончается срок путевки!

8 января 1981 года. Рада все-таки заболела гриппом и с высокой температурой.

Лекарства принимать она не может. Может быть, ляжет в больницу?

Сегодня была в поликлинике на приеме у терапевта. Вчера сделала ЭКГ (электрокардиограмму). Изменения небольшие, а самочувствие неважное. С физиотерапией советовала подождать.

В вестибюле встретила В. Г. Беззубика. Расспросила о его тахикардии. Не излечился он, приступов нет, а есть постоянная неполноценность. Еще работает.

Обо всех спросил.

23 марта 1981 года, понедельник. Почему-то не хочется писать, наверное потому, что сильно постарела. Хотела записать сообщение о полете космонавтов Коваленка (командир) и В. П. Савиных (бортинженер) 12 марта 1981 года. Они успели перейти на станцию, разгрузить прибывший раньше корабль и отправить его на землю, успели провести большую работу внутри станции и ждут стыковки «Союза-39», на котором вчера вылетели Владимир Александрович Джанибеков (командир) и Жугдэрмидийн Гуррачча — космонавт-исследователь из Монголии.

Напугалась позавчера ночью: проснулась оттого, что нечем было дышать. Хрипела довольно долго. Сухарики с нитроглицерином и валидолом сняли спазму. Думала, что

пришел очередной инфаркт или еще похуже. Сегодня отоспалась и чувствую себя прилично.

А Юля Н(икитична) — в больнице, немного лучше ей, но нет признаков выздоровления. У нее отсутствует кишечная флора, и все, что она ест, не идет ей на пользу. Каждый день Виктор Петрович возит ей пищу, а готовит Ася и Галина Петровна. Прямо беда.

Хорошо, что Рада выздоровела и работает.

В феврале побывала у меня Нина Ивановна (Ткач), но неудачно, лежала в простуде. Сочувствую ее несчастьям в семье, а ничем помочь не могу.

Сегодня началась настоящая весна, температура +9С, а завтра до +14С. Вот поплывет все в Жуковке, — полно снега.

30 марта 1981 года. В. Джанибеков и Ж. Гурракча благополучно вернулись на землю. Коваленок и Савиных летают уже 4-ю неделю.

Не хочется работать. В доме много дел, а меня тянет на диван поспать. Колют мне камфару, но одышка и тяжесть на сердце пока не проходит. Не хочется уходить из жизни весной…

8 апреля 1981 года, среда. Наконец-то вздохнула сегодня более-менее нормально.

Завтра кончают колоть камфару, а я собираюсь в Москву, если ничего не приключится ночью.

Очень хорошую телепередачу смотрела из детской телестудии «Орленок»: космонавт Юрий Малышев встречался с десятиклассниками школы, где есть музей космонавтики. В ответах на вопросы Малышев рассказывал о своем детстве, о полетах, об отборе космонавтов и многое другое.

23 мая 1981 года, суббота. Вернулись из космоса Леонид Попов (командир) и Думитру Прунариу (румын). Летали благополучно и работали на станции с Коваленком и Савиных в течение недели. Как приятно, что все благополучно. Основная пара тоже готовится к возвращению. Вернулась.

12 июля 1981 года. Не хочется писать, не хочется общаться с людьми, ничего не хочется. 1 июля умерла Юля Н(икитична), 3 июля умер Иван Семенович Сенин.[182]

На похороны ездили Рада с Никитой (Аджубеем), Сергей и Юлочка. Сергей и Юлка вернулись сразу, Рада с Никитой побыли в Киеве три дня. Оказалось, что у Юли не работала пожелудочная железа, поэтому она так похудела и не прибавляла в весе,

несмотря на все усилия врачей и окружающих. Виктор Петрович очень угнетен, хочет, чтобы урну захоронили в Москве, а не в Киеве. Как это сделать, никто пока не знает.

10 сентября 1981 года, четверг. Захоронили Юлю в могиле моей мамы рядом с Леночкой. Рада хлопотала о разрешении в ЦК, оказывается — вот как надо. На Новодевичьем теперь не хоронят, и Моссовет не распоряжается. А кладбище закрыто, стоит милиционер, а люди как-то проходят, и у Н. С. на могиле всегда живые цветы.

Завтра 10 лет после смерти Н. С. Поедем на кладбище. Рада должна приехать из Киева и позвонить мне.

Прочитала на днях «Осень патриарха» Маркеса. Сколько ужасов он описал в книге! И сколько стариков он должен был изучить, чтобы описать этого старого латиноамериканского диктатора…

8 октября 1981 года. Открылся Международный конгресс женщин в Праге.

Л. И. Брежнев послал им приветствие.

6 октября был военный парад в Каире. На трибуне сидел президент Египта Анвар Садат, военные руководители, иностранцы. И вдруг с расстояния 20 метров стали стрелять базуки, пулемет. Два офицера и четверо солдат стреляли по трибуне. 8 убиты, 38 человек ранено. Садат умер от ран. В стране объявлено на год чрезвычайное положение. США двинули свои военные корабли в этот район и привели в боевую готовность силы быстрого реагирования.

Алешенька 10 октября идет в ЗАГС регистрировать брак и вечером уезжает в Ленинград. Свадьбы не хочет.

28 октября 1981 года. Сегодня приехала Зина[183] из Киева. Пока остановилась у Юлочки. Завтра поеду в поликлинику и увижу ее у Галины Михайловны.

Так дрожат руки, что писать не могу. Вчера руками работала, а сегодня нет, а все равно дрожат. Может быть, это этап по пути к инсульту?… Рада в больнице по поводу почек, третий день сегодня.

10 января 1982 года. Много времени ушло, много событий произошло. Умерли: Суслов Михаил Андреевич, Марков Александр Михайлович, Поля Фельдман, Арсений — муж Маруси Писаревой…[184] и все почти одновременно.

Больные (в том числе и я) выздоровели, работают, учатся.

Жизнь идет как положено.

А у меня усиливается настроение, что надо активнее готовиться к финишу, за это меня упрекает сосед.

Каждую ночь снятся мне Н. С., Юля-старшая, Лена в самых разных обстоятельствах. Еще я активно жду весну, как будто никогда не видела ее. А в доме не хочется хозяйничать, апатия…

У Рады сгорела дача, еле выскочили с Алексеем Ивановичем, все сгорело. Ночью случилось.

Сергей активно строит удобства на своей даче. Ко мне не приезжает, нет времени.

Ника только выручает и Алешенька Аджубей.

12 февраля 1982 года, пятница. Два дня прожила в городе, сегодня вернулась «домой». В квартире тепло, а здесь холодно, +15 ˚С. Батареи чуть теплые.

Зашла в поликлинику сделать ЭКГ, а меня из кабинета повели к кардиологу — групповые перебои в сердце. Отговорилась кое-как.

А в голове непорядок: вчера убрала из сумки паспорт, а партбилет оставила. Сегодня в поликлинике забеспокоилась. Все идет к худшему.

17 марта 1982 года. На 17-м съезде профсоюзов Л. И. Брежневу вручили золотую медаль Всемирной федерации профсоюзов. Вручал Гашпар — председатель венгерского объединения профсоюзов и заместитель председателя Федерации.

Умер Каманин, один из первых героев Советского Союза. Прочитала в корреспонденции Владимира Коккинаки, его товарища по учебе и полетам.

17 мая 1982 года, понедельник. Хочу записать, что опять космонавты в полете.

13 мая в 13 часов 58 минут запущен в космос «Союз Т-5» с экипажем: командир Березовой Анатолий Николаевич и бортинженер герой Советского Союза летчик-космонавт Лебедев Валерий Витальевич. Программа — стыковка со станцией «Салют-7» — выполнена на второй день и сейчас они работают на станции, появляются в телевизоре.

Завтра, 18 мая, открывается 19 съезд ВЛКСМ.

Я совсем схожу на нет: почти не хожу гулять, не позволяет нога, почти не пишу — не позволяет рука. Почти не бываю в квартире: трудно подниматься, спускаться. Нет сил заняться малиной, земляникой. Еще ни разу не было так весной.

По дороге в Москву очередной раз любуюсь лиственницами,

липами, каштанами, высаженными по инициативе Н. С.

Все чаще обращаю внимание на телепередачи, в которых участвуют люди, которые ушли из жизни. Вчера вечером пел Бернес.

1 июля 1982 года. Анатолий Березовой, Валентин Лебедев, Владимир Джанибеков, Александр Иванченков и Жан Луи Кретьен летают в космосе уже неделю. Счастливого им полета и возвращения на землю.

2 июля 1982 года. Джанибеков, Иванченко и Жан Луи Кретьен приземлились в районе заданном в 18 часов 25 минут.

20 августа 1982 года. Березовой и Лебедев работают в космосе три месяца. 19 августа к ним запущен корабль «Союз Т-7» с экипажем: Л. И. Попов (командир), А. А. Серебров и Светлана Е. Савицкая.

27 августа 1982 года. Тройка космонавтов сегодня приземлилась благополучно.

10 декабря 1982 года. Приземлились Березовой и Лебедев, пробыли в космосе 211 суток, дольше всех. Хвалят их за выполненную работу.

Пока я не писала, в начале ноября умер Л. И. Брежнев,[185] похоронили в гробу позади мавзолея В. И. Ленина на Красной площади, назвали его именем район в Москве и много предприятий.

Через недолгое время умер Георгадзе, секретарь Президиума Верховного Совета, похоронили на Новодевичьем кладбище.

Оба умерли внезапно, собираясь на работу.

Генеральным секретарем ЦК КПСС избран Ю. В. Андропов, Секретарем Президиума Верховного Совета — бывший секретарь Тбилисского горкома партии.[186]

Звонил Пилипенко, ездил в Донбасс на праздники, активно хромал и выступал там. Потом ездил с Юлей в санаторий, вернулся хромая, как и до санатория. Теперь ему хуже, а не лучше от процедур. Это я подробно продумываю, думаю, что больница мне не поможет, не стоит лечиться.

12 декабря 1982 года. Были у меня Рада, Никита С., Зина (из Киева), а в середине дня приехали за ними Алексей Иванович (отец Светы — жены Алешеньки) и А. И. Аджубей. Обед был великолепный, Рада привезла готовые блюда после приема гостей

в пятницу, накрыла скатерть. Рада все делала сама.

Сережа не приезжает ко мне, занят своей дачей. Ездит один на дачу с лета. В чем дело?

Светлана (жена Алеши Аджубея) в ГДР в командировке на 6 месяцев, Алешенька собирается к ней на Новый год.

Сегодня троллейбусу 50 лет. От 2-х до 2000 машин — таков результат развития. Записываю потому, что помню переживания Н. С., когда решался вопрос о пуске троллейбуса. Приходилось преодолевать сопротивление…

10 февраля 1984 года. 8 февраля запущены в космос в корабле «Союз Т-10» три человека и уже стыковались с орбитальной станцией «Салют-7». Кизим Леонид Денисович — командир корабля. Соловьев Владим Алексеевич — бортинженер. Атоков Олег Юрьевич — врач.

На борту экипажу предстоит выполнить научно-технические и медико-биологические исследования и эксперименты.

* * *

Это последняя мамина запись, у нее начали сильно дрожать руки. Свидетельствовавший о твердости характера угловатый почерк стал расплываться, неверная рука с трудом выводила буквы. Писать стало физически трудно, почти невозможно, и мама дневник забросила.

notes

Примечания

1

На самом деле Алексей Владимирович Снегов вернулся из заключения в Москву, по инициативе отца, значительно раньше. Они встретились в Кремле, и Снегов активно включился в трудную работу по реабилитации невинно осужденных. Вряд ли он запамятовал дату своего освобождения. Вероятно, в таком виде рассказ представлялся ему драматичнее. Я не стал исправлять допущенную им неточность. *(Здесь и далее примеч. автора.)*

2

Гришин В. В. От Хрущева до Горбачева: Политические портреты пяти Генсеков и А. Н. Косыгина. Мемуары. М.: НСПОЛ, 1996. С. 26.

3

Там же.

4

Шелест П. Е. «Да не судимы будете…»: Дневниковые записи, воспоминания члена Политбюро ЦК КПСС. М.: Росспэн, 1995. С. 173.

5

Н. Г. Егорычев — политик и дипломат. М.: Книга и бизнес, 2006. С. 108.

6

Игнатов Николай Григорьевич, 1901–1966, в то время Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР, а ранее член Президиума ЦК КПСС.

ВЧ — высокочастотная линия междугородной правительственной телефонной связи.

8

Заробян Яков Никитич, 1908–1980. В 1961–1966 годах — Первый секретарь ЦК Компартии Армении.

Байбаков Н. К. — Председатель Госкомитета по нефти и нефтехимии.

10

Смирнов Леонид Васильевич, 1916–2001. В 1963–1985 годах заместитель Председателя Совета Министров СССР, Председатель Военно-промышленной комиссии.

11

Шелест П. Е. «Да не судимы будете…» М.: Edition, 1992. С. 217.

Там же. С. 219.

13

Захаров Николай Степанович — в октябре 1964 года заместитель Председателя КГБ, в прошлом начальник Управления охраны.

14

На самом деле 20 июня 1957 года.

Все они — высокопоставленные чиновники, члены ЦК КПСС. В 1960–1961 году сменили должности или отправлены на пенсию.

16

«Двадцатка» — группа из 20 членов ЦК КПСС, которая поддерживала Н. С. Хрущева в борьбе с антипартийной группой Молотова, Маленкова и др. и потребовала немедленного созыва Пленума ЦК.

17

Вскоре после XIX съезда партии, когда Сталин резко расширил Президиум и Секретариат ЦК, Брежнева избрали секретарем ЦК. После смерти Сталина состав этих органов был сокращен до прежних размеров. Пришлось подыскивать места для «безработных». Брежнева определили начальником политуправления Военно-морского флота, что было, без сомнения, не очень почетно для него. Леонид Ильич остро переживал такой поворот своей судьбы. Когда обстановка несколько разрядилась, Никита Сергеевич вспомнил о своем старом соратнике, и Брежнев вновь занял пост секретаря ЦК. В июне 1957 года на заседаниях Президиума и Секретариата ЦК он оказался среди меньшинства, поддерживающего Хрущева.

Дебаты были бурными. Когда очередь выступать дошла до Леонида Ильича, он начал что-то говорить, отстаивая свою позицию, но слушать его не стали, а Каганович грубо оборвал: — А ты чего лезешь? Молод еще нас учить. Никто твоего мнения не спрашивает. Мало во флоте сидел? Смотри, обратно загоним — не выберешься.

Расстановка сил на заседаниях была не в пользу Хрущева, и угроза оказалась вполне реальной. Брежнев испугался, силы ему изменили. Пришлось вызывать врача.

18

В понедельник 28 сентября 1964 года, в тот день, когда отец все рассказал Подгорному.

19

Микоян прилетел в Адлерский аэропорт в 2 ч 30 мин. 3 октября и оттуда прямиком направился в Пицунду.

Шелест П. Е. Указ. соч. С. 215.

21

Минуя все иерархические ступени, директора янгелевского ракетного завода Смирнова назначили сначала министром, а затем зампредом Совета Министров СССР.

22

Цыбин Николай Иванович, личный пилот Хрущева. Летал с ним с 1941 года, с начала войны.

23

Как смещали Н. С. Хрущева: Интервью с В. Е. Семичастным // Аргументы и факты. 1989. № 20. С. 5.

24

На деле, как это часто бывает в жизни, все оказалось иначе. В трудный момент Лебедев проявил искреннюю преданность делу отца и ему лично. Он не поступился ничем и в результате был уволен из ЦК, тяжело заболел и вскоре умер. Шуйский же был оставлен на работе в ЦК, где спокойно просидел до ухода на пенсию.

25

Там жил Брежнев.

26

Георгадзе Михаил Порфирьевич, 1912–1982. В 1956–1957 годах Второй секретарь ЦК Компартии Грузии. С 1957 по 1982 год Секретарь Президиума Верховного Совета СССР.

27

Горюнов Дмитрий Петрович, 1915–1992. С 1960 по 1970 год Генеральный директор Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС) при Совете министров СССР.

28

Григорян Грант Тигранович — приятель Аджубея, заместитель Управляющего делами ЦК КПСС, доверенный человек Шелепина.

29

Как правило, члены Президиума ЦК обедали вместе. Это стало своего рода традицией. Во время этих совместных обедов часто принимались важные решения, обсуждались насущные вопросы жизни страны.

30

Отец имел в виду, что он подписал заявление без борьбы. Текст его, там же, на заседании Президиума ЦК, набросали Виктор Васильевич Гришин и Секретарь ЦК Леонид Федорович Ильичев.

31

Опубликован в: Никита Хрущев. 1964. Документы. М.: МФ «Демократия», Материк, 2007. С. 182–216.

32

Пихоя Р. Москва. Кремль. Власть. 40 лет после войны. М.: АСТ, 2007. С. 464–469, 479.

Шелест П. Е. Указ. соч. С. 225–236.

Сейчас более или менее известно, кто и что говорил на том заседании Президиума ЦК. Преданы гласности рукописные записи выступлений, сделанные заведующим Общим отделом ЦК В. Н. Малиным. Они подтверждают написанное мною выше, и я решил в книге не менять, не загромождать текст подробностями стандартных в таких случаях обвинений. Материалы Пленума ЦК тоже опубликованы. С ними может ознакомиться любой желающий.

35

Семичастный ссылается на книгу воспоминаний А. И. Аджубея «Те десять лет» (М.: Сов. Россия, 1989).

36

Н. С. Хрущев. Материалы к биографии. М.: Политиздат, 1989. С. 217.

Аргументы и факты. 1989. № 2. С. 5–6.

38

Речь идет о технологии производства стали. В те годы в Советском Союзе преобладал медленный мартеновский процесс, тогда как в мире отдавали предпочтение более эффективной конверторной переработке чугуна в сталь. Хрущев проталкивал прогрессивную технологию, но встречал сильное сопротивление бюрократии. Я описываю эту историю в «Реформаторе», первой книге «Трилогии об отце».

39

Твардовский А. Т. Рабочие тетради 1960-х годов // Знамя. 2000. № 12. С. 138–139.

Твардовский А. Т. Указ. соч. С. 138.

41

Никита Хрущев. 1964. Документы. М.: МФ «Демократия», Материк, 2007. С. 406–409.

42

В 1966 году на XXIII съезде КПСС Президиум ЦК КПСС был переименован в Политбюро.

Семичастный В. Е. Беспокойное сердце. М.: Вагриус, 2002. С. 407–427.

44

Впоследствии, уже став «отцом перестройки», Александр Николаевич рассказывал, что его, как он выражался, «сослали» в Канаду якобы за либеральную статью в «Литературке» от 15 ноября 1972 года, «Против антиисторизма». Для меня с самого начала его версия звучала фальшиво: умеренных вольнодумцев-цековцев, таких как Бурлацкий или Бовин, за аналогичные прегрешения отправляли не так далеко, назначили обозревателями в «Правду» или «Известия». Брежнев их всерьез не опасался, в отдаленные посольства он изгонял только потенциальных заговорщиков. Все прояснилось с публикацией воспоминаний Александра Бовина, в те годы — аппаратчика ЦК высокого ранга. Он и напомнил нам давно забытое: двух Александров Николаевичей, Яковлева с Шелепиным, связывал накрепко не только идеологический консерватизм, но и элементарный карьеризм. «Железный Шурик» казался Яковлеву куда перспективней краснобая Брежнева. Сегодня такое определение «отца перестройки» звучит невероятно, но если внимательно вглядеться в карьеру Александра Николаевича, то все становится на свои места. Просто тогда он поставил не на того, в первый и последний раз просчитался. Брежнев же сослал подальше от Москвы не безобидного литературного критика, а активного и опасного шелепинца (*Александр Бовин*. XX век как жизнь. М.: Захаров, 2003. С. 161. Любопытно сравнить с: *Александр Яковлев*. Омут памяти. М.: Вагриус, 2001. С. 162–165, 188–193).

Существует и несколько иная версия событий, сопровождавших избавление от Шелепина. Согласно ей, разговор с Шелепиным состоялся не на заседании Политбюро, а с глазу на глаз с Брежневым. После этого Шелепин тут же написал заявление с просьбой отпустить его, еще не достигшего 60-летнего возраста, на пенсию. Брежнев согласился и проголосовал соответствующее решение вкруговую, то есть разослал его членам Политбюро, которые поставили свои подписи. В результате Шелепина вывели из Политбюро ЦК, а вот отпускать на пенсию передумали.

Аджубей А. И. Те десять лет. М.: Сов. Россия, 1989. С. 11, 296.

47

Эта история подробно рассказана в «Реформаторе», первой книге «Трилогии об отце».

48

Президиум ЦК КПСС 1954 — 64 г. Т. 1. Черновые протокольные записи. Стенограммы. М.: Росспэн, 2003. С. 734–735.

49

В воскресенье 15 сентября 1974 года группа неформальных художников решила выставить свои работы, без разрешения властей, на одном из московских бульваров, точно не помню где, кажется, в районе метро Беляево. Милиция, под предлогом запланированных на тот день работ по культивации бульвара, попросила свернуть выставку. Художники не подчинились, и тогда в их направлении двинулась пара бульдозеров. Картины спешно эвакуировали. ульдозеры еще какое-то время демонстративно передвигали пласты земли, а затем тоже ретировались.

50

Моис Чомбе — глава провинции Катанга Республики Конго, один из организаторов убийства Лумумбы.

51

Эту накидку отцу подарил г-н Буссак, крупный французский предприниматель, специализировавшийся на текстильном производстве, владелец реакционной «правой», как тогда докладывали отцу, газеты «Орор». Повстречавшись во время визита отца во Францию, они почувствовали взаимную симпатию, и их контакты продолжились. К праздникам Буссак присылал отцу сувениры: то бутылку вина, то еще что-то. Так попала к отцу и накидка. Ему она очень понравилась своей рациональной простотой, и он не расставался с ней до последних дней.

52

Юля, Юлия Леонидовна Хрущева, дочь моего сводного брата Леонида, летчика, погибшего на фронте во время Второй мировой войны.

53

Отца прозвали «кукурузником» за то, что в период нахождения у власти он повсеместно насаждал посевы кукурузы, чтобы обеспечить население мясом и другими продуктами животноводства. «Кукурузная» кампания вызвала много насмешек, в основном среди городского населения.

Хрущев и Горбачев. М.: ЛДПР, 2005. С. 35.

55

Мысль о том, что пленки представляют историческую ценность, пришла ко мне не сразу. Первые бобины после распечатки текста я пускал снова в дело, передавал отцу для новых диктовок: магнитофонная пленка тогда была в дефиците. Спохватился я на четвертой бобине — начиная с нее, все пленки копировались в трех экземплярах и сохранялись для потомков.

56

«Ленинградское дело» — сфальсифицированный в 1949 году процесс против ряда высших государственных деятелей, работавших в Ленинграде или бывших выходцами из Ленинграда. Сотни людей расстреляли или посадили в тюрьму. В то же время Сталин получил донос, что в Москве тоже «неблагополучно». Он вызвал отца и поручил ему разобраться. Отцу удалось убедить Сталина, что донос — фальшивка, спустить дело на тормозах.

Шелест П. Е. «Да не судимы будете…» М.: Edition, 1992. С. 317–318.

58

Когда в 1992 году Билла Клинтона избрали Президентом США, он назначил Строуба Тэлбота заместителем Государственного секретаря и поручил ему все дела, связанные с Россией.

59

Юлиус и Этель Розенберг в 1940-е годы помогали советской разведке, передавали техническую информацию, связанную с разработкой радиолокаторов. Изобличены в результате измены шифровальщика в советском посольстве в Канаде И. Гузенко, осуждены к смерти и в 1953 году казнены на электрическом стуле.

60

Красочное иллюстрированное издание, печатавшееся на разных языках и распространявшееся в основном за границей. По межгосударственному соглашению, в СССР продавался такой же пропагандистский журнал «Америка».

61

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 60. Д. 25. Л. 118. Опубликовано в книге «Пресса в обществе (1959–2000)». М., 2000.

62

Наумов Борис Николаевич, 1927–1988. С 1984 года академик. Специалист в области нелинейных систем управления и управляющих вычислительных комплексов.

63

Архив Президента РФ. Особая папка. Записка КГБ от 25.III.70. № 745-А/ов.

Второе главное управление КГБ — контрразведка, они следили за нами, противодействовали нам, тогда как Первое главное — разведка — способствовало нам.

65

Лоботомия — операция на лобных долях головного мозга, в результате которой утрачивается память.

С. О. Постовалов — член Комиссии партийного контроля при ЦК КПСС.

67

Речь идет о так называемой «Шестидневной войне», случившейся в сентябре 1967 года.

68

Эдвард Кренкшоу (Edward Crankshaw), британский историк и политолог, специалист по Советскому Союзу, автор монографии о Н. С. Хрущеве.

69

Норман Казинс (Norman Cousins), американский журналист и политический активист, сторонник президента Кеннеди. Главный редактор журнала «Saturday Review», автор книги «Невероятный триумвират» (1972), где дает политические портреты президента США Кеннеди, председателя Совета Министров СССР Хрущева и папы римского Иоанна XXIII. По мнению автора, при всем различии, усилия этих трех выдающихся личностей совпадали в стремлении сохранить мир на земле.

70

Коротич Виталий Алексеевич (р. 1936), украинский поэт и публицист. В 1986–1991 годах — главный редактор журнала «Огонек».

Полностью эта история заняла четыре номера «Огонька» за октябрь 1988 года, № 40–43. 14 ноября того же года ее перепечатал в сокращенном виде американский журнал «Таймс», а дальше она пошла гулять по свету.

72

До 1987 года Смирнов работал помощником Горбачева, и в предыдущих изданиях книги я перепутал его с Фроловым, другим помощником Горбачева, к которому мы с Радой ходили в сентябре 1988 года.

Эта история подробно изложена в «Рождении сверхдержавы», второй книге «Трилогии об отце».

Ныне РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории.

Юлия Вишневская — известная в те годы диссидентка.

76

Садовский Федор Титович (1892–1971) в 1930-е годы работал у отца помощником по строительству. Последняя должность — заместитель министра промышленности строительных материалов. Надо же такому случиться, они умерли в один год и похоронили их рядом. Я пишу о Садовском в «Реформаторе», первой книге «Трилогии об отце».

77

События, происходившие 1 декабря 1962 года во время посещения советским руководством выставки, посвященной тридцатилетию Московской организации художников (МОСХ), описаны в «Реформаторе», первой книге «Трилогии об отце».

Юля младшая, дочь моего брата Леонида, погибшего на войне, работала заведующей литературной частью в Театре им. Е. Б. Вахтангова.

79

Богомолец Александр Александрович, 1881–1946. Патофизиолог, один из основателей геронтологии — науки о старении организма. С 1932 года академик. Директор Института геронтологии в Киеве и в 1930–1946 годах президент Академии наук Украины.

80

Шмелев Николай Петрович (р. 1936). Ученый, писатель, публицист. С 2005 года академик. Труды по проблемам мирового хозяйства. Исторические повести.

81

Петров Лев Сергеевич, 1922–1970. Журналист-международник, специалист по англоговорящим странам и одновременно сотрудник Главного разведывательного управления Генерального штаба.

82

Беззубик Владимир Григорьевич — лечащий врач отца, главный врач так называемой Кремлевской больницы, располагавшейся на углу улицы Калинина (Воздвиженка) и улицы Грановского (Романов переулок).

83

Анна Григорьевна Дышкант, 1920 —? Повар, работала с Н. С. Хрущевым с 1948 года.

84

Владимир Иосифович Ладыгин — охранявший Н. С. Хрущева офицер КГБ.

85

Лихачев Иван Алексеевич, 1896–1956. Старинный приятель отца. В 1926–1950 годах (с перерывами) директор Московского автомобильного завода имени И. В. Сталина (впоследствии имени И. А. Лихачева). В 1953–1956 годах министр автомобильного транспорта.

86

Абрамов Леонид Романович, анестезиолог. Он лечил Н. С. Хрущева, когда тот лежал с инфарктом летом 1970 года, и они подружились. Никита Сергеевич даже подарил ему одно из своих ружей.

87

Мануильский Дмитрий Захарович, 1883–1959. Революционер-украинец. Выпускник Сорбонны в Париже (1911). После революции на разных должностях на Украине и в Коминтерне. В 1944–1953 годах министр иностранных дел Украины. Человек с хорошим чувством юмора. Близкий приятель отца.

88

Шверник Николай Михайлович, 1888–1970. С 1957 по 1966 год член Президиума (Политбюро) ЦК КПСС. Революционер, участник Гражданской войны. Затем на разных партийных и государственных должностях. В 1953–1966 годах Председатель Комиссии партийного контроля, а затем Парткомиссии при ЦК КПСС. С 1960 года на пенсии.

89

Боголюбов Клавдий Михайлович, 1909 —? По профессии учитель. С 1940 года на партийной работе. В 1966–1982 годах первый заместитель заведующего Общим отделом ЦК КПСС. На дачу он не приезжал, но его фамилию Аветисян называл, когда представлялся. Вот и произошла подмена имен.

90

Арцимович Лев Андреевич, 1909–1973. Физик-атомщик. С 1953 года академик. Разработал метод электромагнитного разделения изотопов урана. Впервые получил в лабораторных условиях термоядерную реакцию. Вместе с другими ядерщиками Арцимовичи жили на даче в Жуковке, неподалеку от Петрова-Дальнего, и время от времени навещали отца.

Ника — Никита, сын Сергея.

92

Сергей Иванович Степанов, отчим Галины Михайловны, первой жены Сергея. Работал в строительном управлении Совета Министров СССР. Петр Михайлович Кримерман — фотограф и приятель Никиты Сергеевича, упоминается в одной из предыдущих глав книги.

93

Груздева Зинаида Сергеевна в 1930-е годы работала вместе с Ниной Петровной на Московском электроламповом заводе.

Вдова Сергея Павловича Королева, Главного конструктора ракет и космических систем.

95

Заведующий организационным отделом районного комитета в городе Сталино (до революции Юзовка, ныне Донецк), где когда-то работал отец.

Поля, Полина Сергеевна Фельдман, вдова одного из московских партийных руководителей, с которым отец работал в 1930-е годы. Фельдман был в 1937 году арестован и расстрелян.

97

Бажан Николай (Микола) Платонович, 1903–1983. Украинский поэт и общественный деятель. В Киеве жил в одном подъезде с Юлей-старшей, с которой тесно общался. Хороший знакомый отца.

98

Гаврила Пилипенко — приятель отца по Донбассу с дореволюционного времени. Я о нем пишу в главе «Проводы» этой книги.

99

Мама ошиблась, город Сарагоса находится не в Италии, а в Испании.

100

Красивый букет красных искусственных роз, когда-то подаренный маме делегацией немецких женщин.

101

Мыс Пицунда в Абхазии, где находилась правительственная резиденция.

102

Литовченко Никифор (Леонид) Трофимович — начальник личной охраны отца.

103

Эту квартиру предоставили отцу после отставки. В ней жили он с мамой и Лена с Витей.

104

Тарасова Анна Осиповна — близкий друг мамы. В 1930-е годы они вместе работали на Московском электроламповой заводе.

105

«Ляля из Багдада» — подруга Лены, которая вышла замуж за иракца и жила в Багдаде. «Ляля московская» — Елена Александровна Власенко.

106

Гостинская Вера Александровна, польская коммунистка, старая подруга моих родителей. В конце 1920-х годов они жили вместе в коммунальной квартире на Ольгинской улице в Киеве. В 1930-е годы арестована и сослана в лагерь. После освобождения в 1956 году жила в Польше.

107

Дачный поселок Жуковка под Москвой на Успенском шоссе, куда мама после смерти отца переехала из Петрова-Дальнего.

108

Бурмистренко Галина Ивановна, вдова Бурмистренко Михаила Алексеевича, в 1938–1941 годах работавшего Вторым секретарем ЦК Компартии Украины, заместителем отца. В 1941 году Бурмистренко во время боев за Киев погиб в окружении. Галина Ивановна в Москве жила в одном подъезде с мамой в доме № 57 по Староконюшенному переулку.

109

Межигорье — государственная дача вверх по Днепру от Киева. В 1938–1941 годах там жила наша семья и семья Бурмистренко.

110

Юля-младшая и ее дочь Ксения.

111

Климашевский Виктор Андреевич — мой друг, в то время работал в Совете экономической взаимопомощи социалистических стран. Его сын Игорь — шести лет.

112

Академик Арцимович умер в 1973 году. Арцимовичи жили на даче в Жуковке, по соседству с мамой и последний год часто ее навещали. Она забыла, что познакомились они много раньше, Арцимовичи навещали отца в Петрове-Дальнем. Об этом есть отметка в мамином дневнике.

113

Сердюк Зиновий Тимофеевич, 1903–1982. С 1937 года на партийной работе, сначала в Киеве, потом в Москве. В 1962–1966 годах первый заместитель Председателя Комиссии партийного контроля при ЦК КПСС. В 1964 году не присоединился к заговорщикам. С 1966 года на пенсии. Хороший знакомый отца.

Каменская — приятельница мамы с 1930-х годов.

115

Величкина Варвара Дмитриевна — двоюродная сестра Н. С. Хрущева.

Маша — няня дочерей Юли-младшей.

117

Ицков Игорь Моисеевич — киносценарист, друг Юли-младшей. Я о нем рассказываю в предыдущей главе.

118

Хрущев Юрий Леонидович — летчик-испытатель, полковник, внук Н. С. Хрущева. Маша — его жена.

119

Степанова Мария Дмитриевна — мать Галины Михайловны, первой жены Сергея.

120

В поселке «Трудовая Северная» по Савеловскому направлению находилась дача Сергея.

121

Жуковский Михаил Александрович — врач-эндокринолог, близкий приятель отца.

122

Вотчал Борис Евгеньевич — профессор-кардиолог. Он лечил обоих, и отца, и маму.

123

Косыгин Алексей Николаевич — в то время Председатель Совета Министров СССР. Эта история подробно рассказана в предыдущей главе.

124

Григорьев Антон — певец Большого театра, приятель Рады.

125

Вяльцева Анастасия Дмитриевна, 1871–1913. Знаменитая эстрадная певица (сопрано), исполнительница цыганских песен, артистка оперетты.

126

Ирма Авраамовна и Рона Авраамовна Кобяк — племянницы отца, дочери его сестры Ирины Сергеевны и Авраама Мироновича Кобяк. Я о них пишу в «Реформаторе», первой книге «Трилогии об отце».

127

Екатерина Осиповна Симочкина — старый мамин друг, в 1930-е годы они вместе работали на Московском электроламповом заводе.

Льва Сергеевича Петрова.

129

Федоров Алексей Федорович, 1901–1989. Генерал-майор. Во время Великой Отечественной войны один из руководителей партизанского движения в Черниговской и Волынской областях Украины.

130

Громыко Андрей Андреевич, в то время министр иностранных дел СССР. Москаленко Кирилл Семенович, маршал Советского Союза. В то время инспектор Министерства обороны.

131

Михайлов Максим Дормидонтович, 1893–1971. Певец Большого театра, бас. Похоронен на Новодевичьем кладбище по соседству с могилой отца.

132

Няня детей Юли-младшей.

133

Коровина (Булганина) Елена Михайловна — вдова Николая Александровича Булганина, умершего 24 февраля 1975 года. В 1955–1958 годах Булганин был Председателем Совета Министров СССР, и мама считала, что его вдова может претендовать на такую же, как у нее, половину скромной щитовой деревянной дачки в совминовском дачном поселке Жуковка. Вера Николаевна — дочь Булганиных, хороший врач-педиатр.

134

Ася Колчинская — подруга Юли-старшей. Они работали в одной лаборатории в институте имени А. А. Богомольца в Киеве.

135

Лю Сяо — во времена Хрущева посол Китайской Народной Республики в СССР.

136

Светлана Светана — соученица Юли-младшей по Московскому государственному университету, в то время профессор на факультете филологии.

137

Елена Елагина — художник и скульптор, до 1975 года работала вместе с Эрнстом Неизвестным.

138

«Дзержинка» — металлургический завод имени Ф. Э. Дзержинского в Днепродзержинске на Украине.

139

Наш Институт разрабатывал компьютерную систему оптимизации полива хлопка водами реки Зеравшан в Узбекистане. Приходилось постоянно связываться с министерством ирригации Узбекской СССР в Ташкенте.

140

Гопнер Серафима Ильинична — мамина старая знакомая. С лета 1921 года мама работала в городе Бахмут, в Донбассе, преподавала историю в партийной школе. В 1922 году заболела тифом. Серафима Ильинична ухаживала за мамой. См. «Рождение сверхдержавы» — вторую книгу «Трилогии об отце».

141

Владимир Санин — автор книг об освоении Арктики. Мама цитирует строки из заключительной части трилогии об экспедиции под руководством Ивана Папанина на Северный полюс в 1937 году. Она посвящена Евгению Константиновичу Федорову, участнику экспедиции, геофизику.

142

Она умерла 14 апреля 1978 года.

143

Оля, Ольга Борисовна Крейдик, вторая жена Сергея. Вскоре после переезда из Душанбе в Москву развелась с ним.

144

Артем Сергеев — генерал, в прошлом разведчик, сын известного большевика Сергеева. После его смерти воспитывался в семье Сталина. Был женат на дочери вождя испанских коммунистов Долорес Ибаррури. Они жили в Москве в одном доме с Никитой и на даче неподалеку от мамы в поселке Жуковка. Никита учился в одном классе с Лолитой.

145

Нина — дочь Юли младшей.

146

Алешенька, Алексей Алексеевич Аджубей — средний сын Рады.

147

Ваня, Иван Алексеевич Аджубей — младший сын Рады.

148

Этот альбом хранится в Российском государственном архиве социально-политической истории.

149

Семен Абрамович Альперович — друг Сергея и его сослуживец по ОКБ В. Н. Челомея. О нем можно прочесть в предыдущих главах этой книги и в «Рождении сверждержавы» — второй книге «Трилогии об отце». Валентина Трофимовна Першина — его жена, врач-педиатр. Станислав (Слава) Ломов — приятель Ольги, второй жены Сергея, почвовед, профессор Душанбинского государственного университета в Таджикистане.

150

Волков Александр Петрович, 1910–1990. В 1956–1974 годах Председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы.

151

Илья (Илюша) Израилев — друг и сослуживец Виктора (Вити) Евреинова.

152

Никита Алексеевич Аджубей — старший сын Рады, экономист, Маша — первая жена Никиты.

153

Операцию по исправлению близорукости сделали в клинике Святослава Федорова, Радиного приятеля и соседа по дачному поселку.

154

Леонид (Лёня) Пучков — сын няни Сергея, Наташи. Она ухаживала за ним в период болезни туберкулезом сумки бедра в 1941–1945 годах. В 1978 году Лёня — курсант Кремлевского пехотного училища.

155

Марков Александр Михайлович, профессор-педиатр. В прошлом начальник 4-го Управления Министерства здравоохранения СССР. Старый мамин приятель. Марковы жили неподалеку на даче и регулярно ходили в клуб поселка Жуковка.

156

Партийная организация жильцов дома № 57 по Староконюшенному переулку.

157

Начальник охраны Брежнева.

«Епифания» — больница в пригороде Киева.

159

Гарм — город в Таджикистане, где находилась сейсмическая станция Института физики Земли АН СССР. Мы вместе с ними разрабатывали компьютерную систему сбора информации для прогноза землетрясений и испытывали ее прототип в Гарме. В ноябре 1978 года ночью в горах южнее Гарма произошло очень сильное землетрясение. К счастью, трясло в безлюдном месте и никто не пострадал. Мы проснулись от гула, двухэтажный дом, где мы располагались, дрожал, как дрожала моя дача, находившаяся вблизи от Савеловской железной дороги, когда шел груженый товарняк. Пока соображал что к чему, все закончилось.

Это несчастье случилось и июне 1971 года. Погибли Владимир Волков, Георгий Добровольский, Виктор Пацаев.

161

Раз в неделю я преподавал по совместительству в Московском высшем техническом училище имени Н. Э. Баумана.

162

Анна Ивановна (Нюра) Писарева — сестра первой жены отца.

163

Лыкова Лидия Павловна, 1913 —?. В 1958–1961 годах министр социального обеспечения Российской Федерации. В 1967–1985 годах заместитель Председателя Совета Министров Российской Федерации. Дементьева Раиса Федоровна, 1925 —?. С 1947 года на комсомольской и партийной работе. В 1960–1980 годах Секретарь Московского городского комитета (МГК) КПСС.

164

Вадим Иванович Мягков (Вадик) — инженер, специалист по автоматизированным системам, друг Сергея. Он жил в Ленинграде и имел дачу в Карелии.

165

На самом деле прах Симонова, по его завещанию, развеяли в Белоруссии над полем, где в 1941 году шли бои, которые он описал в книге «Живые и мертвые».

166

Никита (Ника) занимался изготовлением художественных поделок из дерева.

167

Зоя Павловна Кухарчук — мамина родственница.

168

Художник и график Борис Жутовский упоминается в предыдущих главах этой книги. Его жена, подруга Юли-младшей, погибла в автомобильной катастрофе.

169

Галина Петровна — сестра Виктора Петровича Гонтаря, мужа Юли старшей.

170

Ульбрихт Вальтер, 1893–1973. В 1950–1971 годы Генеральный (первый) секретарь ЦК Социалистической Единой партии Германии. В 1960–1971 годах Председатель Государственного Совета Германской Демократической Республики. Его жена — Лотта.

171

Рутченково — поселок в Донбассе, где до революции работал отец. Назван по имени владельца шахты Рутченкова.

172

Нина Ивановна Ткач (Кухарчук) — племянница мамы, дочь Ивана Петровича, упоминавшегося выше. Аграфена Георгиевна — няня моего сына Никиты. Согласно распоряжению Совета Министров СССР, мама имела право использовать служебную машину в течение 30 часов в месяц.

173

Чандра Ромеш, 1919 —? Индийский коммунист. В 1977–1990 годах президент Всемирного Совета Мира.

Одни из многих маминых корреспондентов.

175

ПОРП — Польская объединенная рабочая партия, правящая партия Польши.

176

Бжезинский Збигнев (р. 1928). Американский социолог и государственный деятель. В 1977–1981 годах помощник по национальной безопасности в администрации президента США Джимми Картера.

АФТ — Американская федерация профсоюзов.

178

Согласно принятого в те годы ритуала, Председателя Совета Министров СССР, то есть А. Н. Косыгина, следовало похоронить в могилу позади мавзолея В. И. Ленина на Красной площади. В Кремлевскую стену захоранивали прах людей рангом пониже: министров, маршалов, космонавтов.

179

Марианна Георгиевна — заведующая 200-й секцией ГУМа на Красной площади, знакомая мамы.

180

Тамара Тамарина — подруга мамы, они вместе работали на Московском электроламповом заводе в 1930-е годы.

181

Нина Владимировна Бажан — соседка Юли-старшей, жена украинского поэта Миколы Бажана.

182

Сенин Иван Семенович — приятель отца еще с 1920-х годов. Они вместе работали в Донбассе, где Сенин возглавлял комсомольскую организацию. В послевоенные годы Сенин работал заместителем Председателя Совета Министров Украины.

183

Зинаида (Зина) Тихоновна Кухарчук — дочь двоюродного брата мамы, жила в Киеве. Зина — одногодка с Юлей-младшей. Пока мы жили в Киеве, Зина много времени проводила в нашей семье, Юля-младшая и Зина воспитывались вместе.

184

Мария Ивановна Писарева — сестра первой жены отца.

185

Л. И. Брежнев умер 10 ноября 1982 года.

186

Ментешашвили Тенгиз Николаевич, 1928 —? В 1974–1982 годах Второй, а затем Первый секретарь Тбилисского городского комитета партии. В 1982–1991 годах Секретарь Президиума Верховного Совета СССР.